Анатоль Франс

Государственное
издательство
художественной
литературы

Анатоль Франс

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в восьми томах

•

Под общей редакцией

Е. А. ГУНСТА, В. А. ДЫННИК,
Б. Г. РЕИЗОВА

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

Анатоль Франс

ТОМ ШЕСТОЙ

ОСТРОВ ПИНГВИНОВ
РАССКАЗЫ ЖАКА ТУРНЕБРОША
СЕМЬ ЖЕН СИНЕЙ БОРОДЫ
БОГИ ЖАЖДУТ

Переводы с французского

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

ANATOLE FRANCE

ŒUVRES

L'ILE DES PINGOUINS

LES CONTES DE JACQUES TOURNEBROCHE

LES SEPT FEMMES DE LA BARBE-BLEUE

LES DIEUX ONT SOIF

Фронтиспис работы

художника Г. Г. Филипповского

ОСТРОВ ПИНГВИНОВ

Перевод *В. А. Дынник*
под редакцией *Д. А. Горбова*

ПРЕДИСЛОВИЕ

При всем разнообразии развлечений, казалось бы занимающих меня, жизнь моя посвящена лишь одному предмету. Вся она безраздельно служит осуществлению великой задачи: я составляю историю пингвинов. И работаю упорно, несмотря на постоянно возникающие трудности, порою непреодолимые.

Я производил раскопки, извлекая из-под земли древние памятники этого народа. Камни были первыми книгами человечества. Я изучал камни, представляющие собою как бы начальную летопись пингвинов. На берегу океана мною был разрыт еще никем не тронутый древний курган; я обнаружил в нем, как это обычно бывает, каменные топоры, бронзовые мечи, римские монеты, а также монетку в двадцать су, с изображением французского короля Луи-Филиппа Первого *.

Что касается времен исторических, то здесь мне оказала большую помощь летопись Иоанна Тальпы, монаха Бергарденского монастыря *. Я черпал из нее обильные сведения, тем более что по истории пингвинского раннего средневековья другими источниками мы до сих пор не располагаем.

Начиная с XIII века имеется уже более богатый материал, — более богатый, но и более зыбкий. Писать историю — дело чрезвычайно трудное. Никогда не знаешь наверное, как все происходило, и чем больше документов, тем больше затруднений для историка. Когда

сохранилось только одно-единственное свидетельство о некоем факте, он устанавливается нами без особых колебаний. Нерешительность возникает лишь при наличии двух или более свидетельств о каком-либо событии, — так как они всегда противоречат одно другому и не поддаются согласованию.

Конечна, предпочтение того или иного исторического свидетельства всем остальным покоится нередко на прочной научной основе. Но она никогда не бывает настолько прочна, чтобы противостоять нашим страстям, нашим предрассудкам и нашим интересам или препятствовать проявлениям легкомыслия, свойственного всем серьезным людям. Вот почему мы постоянно изображаем события либо пристрастно, либо слишком вольно.

О трудностях, возникавших предо мною при составлении истории пингвинов, я не раз заводил речь с археологами и палеографами, как пингвинскими, так и иностранными. Но вызывал к себе одно лишь презрение. Они смотрели на меня с сострадательной улыбкой, в которой можно было ясно прочесть: «Да разве мы, историки, пишем историю? Разве мы стремимся извлечь из текста, из документа хотя бы крупицу жизни или правды? Мы попросту, не мудрствуя лукаво, издаем тексты. Мы во всем придерживаемся буквы. Только буква обладает достоверностью и определенностью. Духу эти качества недоступны: мыслить — значит фантазировать. Писать же историю могут только пустые люди: тут нужна фантазия».

Все это я читал во взгляде и в улыбке наших известных палеографов, и беседа с ними глубоко меня обескураживала. Но как-то раз, после разговора с одним из светил сигиллографии, повергшего меня в полное уныние, мне вдруг пришла в голову такая мысль: «Однако ведь существуют же историки, ведь не совсем же вывелась эта порода людей! В Академии нравственных наук их сохранилось пять-шесть. Они не издают текстов — они пишут историю. Уж они-то не скажут мне, что лишь пустые люди способны к такого рода занятиям».

И я приободрился.

На другое утро, как выражаются обычно (или наутро, как следовало бы сказать), я пошел к одному из них, человеку преклонных лет и тонкого ума.

— Милостивый государь! — сказал я ему. — Прошу вас помочь мне своим просвещенным советом. Я все силы свои полагаю на то, чтобы составить историю, но у меня ничего не выходит!

Он пожал плечами.

— Зачем же, голубчик, так утруждать себя составлением исторического труда, когда можно попросту списывать наиболее известные из имеющихся, как это принято. Ведь если вы выскажете новую точку зрения, какую-нибудь оригинальную мысль, если изобразите людей и обстоятельства в каком-нибудь неожиданном свете, вы приведете читателя в удивление. А читатель не любит удивляться. В истории он ищет только вздора, издавна ему известного. Пытаясь чему-нибудь научить читателя, вы лишь обидите и рассердите его. Не пробуйте просвещать его, он завопит, что вы оскорбляете его верования.

Историки переписывают друг друга. Таким способом они избавляют себя от лишнего труда и от обвинений в самонадеянности. Следуйте их примеру, не будьте оригинальным. Оригинально мыслящий историк вызывает всеобщее недоверие, презрение и отвращение.

— Неужели, сударь, вы думаете, — прибавил мой собеседник, — что я добился бы такого признания и почета, если бы вводил в свои исторические книги какие-нибудь новшества! Ну, что такое новшество? Дерзость — и только!

Он встал. Я поблагодарил его за любезный прием и пошел к двери. Он меня окликнул.

— Еще два слова. Если вы хотите, чтобы ваша книга была хорошо принята, не упускайте в ней ни малейшего повода прославить добродетели, составляющие основу всякого общества: почитание богатства, благочестие и особенно смирение бедняков, — этот краеугольный камень общественного порядка. Заверьте читателей, что происхождение собственности, благородного сословия и жандармерии будет рассмотрено в вашем

труде с подобающим уважением. Предупредите, что вы допускаете возможность вмешательства сверхъестественных сил в ход исторического процесса. При этих условиях вы стяжаете успех у благомыслящей публики.

Я продумал эти разумные указания и стал всемерно ими руководствоваться в своей работе.

Не буду здесь говорить о пингвинах до их превращения. Они интересуют меня лишь с того момента, когда из области зоологии они перешли в область истории и богословия. Ведь именно пингвины были превращены в людей великим святым Маэлем. Но здесь требуется кое-что разъяснить, поскольку в настоящее время термин «пингвин» дает повод к недоразумениям.

По-французски пингвинами называются арктические птицы, принадлежащие к семейству альцидовых; отряд же сфенисцидовых, населяющих антарктические моря, мы называем маншотами. Такое наименование находим мы, например, у господина Ж. Лекуэнта [1] в его отчете о плавании на *«Belgica»* *. «Изо всех птиц, населяющих область Герлахского пролива, — пишет он, — наибольший интерес представляют, несомненно, маншоты. Их иногда ошибочно именуют южными пингвинами». Доктор Ж.-Б. Шарко *, напротив, утверждает, что именно тех антарктических птиц, которых мы называем маншотами, и следует считать единственно настоящими пингвинами, — и ссылается на то, что у голландцев, достигших в 1598 году Магелланова мыса, эти птицы получили название *«pinguinos»,* очевидно за свою тучность *. Но если маншотов надо называть пингвинами, то как же в таком случае будут называться пингвины? Доктор Ж.-Б. Шарко не дает указаний, да, по-видимому, это его ничуть и не заботит [2].

Ну, что ж! Впервые ли дает он своим маншотам название пингвинов или только восстанавливает его, — спорить не приходится. Как первый исследователь этих

---

[1] Ж. Лекуэнт. В стране маншотов. Брюссель, 1904, in-8°. (*Прим. автора.*)

[2] Ж.-Б. Шарко. Дневник французской антарктической экспедиции. Париж, 1903, 1905, in-8°. (*Прим. автора.*)

птиц, он тем самым получил право дать им любое название. Но по крайней мере пусть предоставит он и северным пингвинам право оставаться пингвинами. Пускай же будут существовать пингвины южные и пингвины северные, антарктические и арктические, альцидовые (или прежние пингвины) и сфенисцидовые (или прежние маншоты). При этом возникнут, быть может, некоторые затруднения для орнитологов, озабоченных описанием и классификацией перепончатолапых; встанет, конечно, вопрос о том, удобно ли, в самом деле, одинаково называть два разные семейства птиц, населяющие полярно противоположные области и отличающиеся к тому же друг от друга целым рядом признаков, как-то: строением клюва, крыльев и лап. Меня же такое несоответствие нисколько не смущает. Сходство между моими пингвинами и пингвинами г-на Ж.-Б. Шарко разносторонней и глубже различий; как для тех, так и для других характерен невозмутимо спокойный, важный вид, какое-то комичное достоинство, дружелюбная доверчивость, добродушное лукавство, неуклюжая торжественность движений. Те и другие миролюбивы, болтливы, чрезвычайно любопытны, отличаются живым интересом к вопросам пингвинской общественной жизни и, быть может, не вполне чужды зависти и тщеславия.

У моих гиперборейцев *, по правде сказать, крылья вовсе не чешуйчатые, а покрыты мелкими перышками; хотя ноги у них не так сильно отставлены назад, как у их южных собратьев, но ходят они так же: горделиво, в раскачку, грудь колесом, голова кверху; а выдающийся вперед клюв, os sublime, послужил одним из важных поводов к ошибке христианского проповедника, принявшего их за людей.

Настоящий труд мой, следует признать, относится к истории в старом понимании этого слова, — то есть в известной последовательности излагает события, о коих сохранилась память, и указывает по мере возможности их причины и следствия, — так что принадлежит скорее к области искусства, чем науки. Существует мнение,

что подобный метод перестал уже удовлетворять умы, требующие точных знаний, и что древняя Клио, по нынешним временам, попросту болтунья. И, разумеется, когда-нибудь появится история более достоверная, исследующая условия существования, устанавливающая, что производил и потреблял тот или иной народ в ту или иную эпоху в разных областях своей деятельности. Такая история будет уже не искусством, а наукой, соблюдая точность, старой истории недоступную. Но для этого необходимо множество статистических данных, коими народы — и, в частности, пингвины — до сих пор не располагают. Возможно, что современные нации дадут когда-нибудь материал для создания подобного рода истории. Что же касается истекших времен, то, боюсь, придется ограничиваться и впредь повествованием на старый лад. Достоинства такого повествования зависят главным образом от проницательности и добросовестности рассказчика.

Как сказал один из великих писателей Альки *, жизнь народа соткана из преступлений, бедствий и безумств. Пингвиния в данном случае не исключение, однако в ее истории попадаются страницы, способные даже вызвать восторг, и надеюсь, я достаточно осветил их.

Долгое время пингвины отличались большой воинственностью. Один из них, а именно Жако Философ *, оставил маленькую картинку их нравов, которую я приведу, — уверен, к удовольствию читателей:

«Мудрый Грациан объезжал Пингвинию во времена последних Драконидов. Однажды, углубившись в зеленеющую долину, где в чистом воздухе звенели колокольчики коровьего стада, он присел отдохнуть на скамью под сенью дуба, возле какой-то хижины. На пороге женщина кормила ребенка грудью; рядом другой ребенок, мальчик, играл с большой собакой; слепой старик, греясь на солнце, впивал полуоткрытыми устами теплоту ясного дня.

Хозяин дома, молодой человек богатырского сложения, предложил Грациану хлеба и молока.

Совершив сельскую трапезу, мудрец из страны дельфинов * сказал:

— Благодарствуйте, милые жители милой страны! Как все у вас дышит весельем, сердечным согласием и миром!

В это время мимо прошел пастух, наигрывая на волынке какой-то марш.

— Что это за резкие звуки? — спросил Грациан.

— Это гимн, призывающий к войне с дельфинами, — ответил крестьянин. — У нас все поют его. Младенцы знают его прежде, чем научатся говорить. Все мы — истинные пингвины.

— Вы не любите дельфинов?

— Ненавидим!

— По какой же причине вы их ненавидите?

— Что за вопрос! Разве дельфины не соседи пингвинам?

— Соседи.

— Ну вот поэтому-то пингвины и ненавидят дельфинов.

— Разве это причина для ненависти?

— Разумеется. Сосед — значит, враг. Посмотрите на это вот поле, рядом с моим. Его хозяина я ненавижу больше всех на свете. После него злейшие враги мои — жители вон той деревни, что лепится по горному склону с другой стороны долины, пониже березовой рощи. В этом ущелье, стиснутом горами, только и есть, что две деревни — наша и та: они и враждуют одна с другой. Стоит нашим парням встретиться с их парнями, как сейчас же начинается перебранка, а там и потасовка. И вы хотите, чтобы пингвины не питали вражды к дельфинам. Неужели вы не понимаете, что такое патриотизм! Нет, из моей груди рвутся лишь клики: «Да здравствуют пингвины! Смерть дельфинам!»

Тринадцать веков подряд пингвины вели войны против всех народов на свете — с неослабевающим пылом, хотя и с переменным успехом. Потом, за каких-нибудь несколько лет, они прониклись отвращением к тому, что так долго любили, и стали отдавать решительное предпочтение миру, выражая новые чувства, конечно, с подобающей сдержанностью, но от всей души. Их генералы прекрасно приспособились к новым веяниям; вся

армия, офицеры, унтер-офицеры, рядовые, новобранцы и ветераны не за страх, а за совесть прониклись этим духом. Одни только бумагомараки и библиотечные крысы выражали недовольство, да безногие калеки все никак не могли утешиться по поводу такой перемены.

Упомянутый Жако Философ составил нечто вроде нравоучительного рассказа, где с большой комической силой были изображены разные деяния человечества; для этого рассказа он позаимствовал многие черты из истории своей собственной страны, своего народа. Некоторые спрашивали его, зачем он создал эту карикатуру на историю человечества и какую пользу может она принести его родине.

— Превеликую пользу, — отвечал философ. — Когда мои соотечественники пингвины узрят себя представленными на такой манер и лишенными всяких прикрас, они будут справедливее судить о своих деяниях и, быть может, станут разумнее.

Я старался не упустить в своей истории ничего, способного заинтересовать людей искусства. Они найдут здесь особую главу, посвященную пингвинской живописи средних веков, и если мне не удалось развить эту тему с той полнотой, как хотелось бы, то не по моей вине, в чем можно убедиться, прочтя о страшном случае, описанием которого я и заканчиваю настоящее предисловие.

В июне прошлого года я возымел мысль посоветоваться по вопросу о происхождении и развитии пингвинского искусства с незабвенным Фульгенцием Тапиром *, просвещенным автором «Всеобщего летописания живописи, ваяния и зодчества».

Меня проводили к нему в кабинет, и за письменным столом с цилиндрической крышкой, среди невероятного нагромождения бумаг, я увидел маленького человечка в золотых очках, беспрестанно мигающего подслеповатыми, чрезвычайно близорукими глазками.

Компенсируя недостаток зрения, он исследовал внешний мир своим длинным подвижным носом, наделенным тончайшей чувствительностью. При помощи этого органа Фульгенций Тапир и общался с царством красоты и искусства. Установлено, что во Франции му-

зыкальные критики по большей части глухи, а критики в области живописи — слепы. Это помогает им самоуглубляться, что необходимо для эстетического мышления. Если бы Фульгенций Тапир обладал зрением, способным различать формы и краски, облекающие полную тайн природу, — разве достиг бы он, преодолев гору документов, опубликованных в печати и рукописных, вершины доктринерского спиритуализма? Разве воздвиг бы он величайшую теорию, согласно которой искусство всех времен и народов в своем развитии устремлено было к единой высокой цели — Французскому Институту! *

На стенах кабинета, на полу, даже под потолком громоздились кипы бумаг, чудовищно разбухшие папки, ящики, набитые неисчислимым множеством карточек, — и, полный восхищения, а вместе с тем и ужаса, я созерцал эти хляби учености, готовые разверзнуться.

— Дорогой мэтр, — произнес я взволнованно, — прибегаю к вашей неисчерпаемой снисходительности и таким же неисчерпаемым познаниям. Не согласитесь ли вы руководить моими изысканиями в столь трудной области, как происхождение пингвинского искусства?

— Милостивый государь, — отвечал мне мэтр, — в моем распоряжении все искусство, да, да, все искусство, разнесенное на карточки в алфавитном порядке, а также по содержанию. Считаю своим долгом предоставить вам все относящееся к пингвинам. Поднимитесь на эту стремянку и выдвиньте вон тот ящик, наверху. Вы найдете в нем все, что вам надобно.

Я повиновался, весь дрожа. Но едва я выдвинул злополучный ящик, как из него посыпались голубые карточки и, скользя у меня между пальцев, полились дождем. Вслед за этим, — видимо, из чувства солидарности, — пооткрывались соседние ящики, и оттуда вырвались целые потоки карточек, розовых, зеленых, белых, а после этого один за другим все ящики стали извергать карточки разного цвета, и те с шумом хлынули вниз, подобно горным водопадам апрельскою порой. В одну минуту пол покрылся толстым слоем бумаги. Изливаясь с возрастающим гулом из своих неисчерпаемых хранилищ, она все яростней обрушивалась

с высоты. Утопая в ней по колена, Фульгенций Тапир при помощи своего внимательного носа следил за катаклизмом. Он понял причину происшедшего и побледнел от ужаса.

— Сколько искусства! — воскликнул он.

Я позвал его, наклонился, чтобы помочь ему взобраться на лестницу, начинавшую гнуться под ливнем. Слишком поздно! Подавленный, полный отчаяния, жалкий, потеряв свою бархатную ермолку и золотые очки, тщетно отбивался он коротенькими ручками от новых и новых волн, захлестнувших его по самые плечи. Вдруг налетел целый смерч карточек и закружил его в гигантском водовороте. На какую-то долю секунды в пучине промелькнула блестящая лысина ученого и его толстенькие ручки, затем бездна сомкнулась — ни звука, ни движения, а над нею продолжал бушевать потоп. Чтобы самому не утонуть подобным же образом на стремянке, я выскочил наружу, проломив верхнее стекло окна.

Киберон, 15 сентября 1907 г.

Книга первая
ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Глава I
Жизнь святого Маэля

Маэль, отпрыск камбрийского королевского рода, был на девятом году жизни отдан в Ивернское аббатство, ради книжного обучения, духовного и светского. В возрасте четырнадцати лет он отказался от наследства и принес обет служения господу. Сообразно с монастырским уставом, он посвящал свое время пению гимнов, занятиям грамматикой и размышлениям над вечными истинами.

Вскоре же небесное благоухание возвестило всему монастырю о добродетелях нового инока. И когда преставился настоятель Ивернской обители блаженный Галл, то молодой Маэль стал его преемником в управлении монастырем. Он устроил там школу, больницу, странноприимный дом, кузницу, мастерские всякого рода, судостроительные верфи, а также заставил монашескую братию распахать близлежащие земли. Он сам возделывал монастырский сад, обрабатывал металлы, наставлял послушников, и жизнь его текла безмятежно, подобно реке, отражающей небо и несущей плодородие окрестным нивам.

На склоне дня сей служитель господа имел обыкновение сидеть на краю обрывистого берега, в том месте, которое и поныне называют креслом святого Маэля. А внизу, у ног его, огромные скалы, похожие на черных

драконов, поросшие зелеными и бурыми водорослями, выставляли навстречу пенистым волнам свои чудовищные груди. Он смотрел, как солнце опускается в океан, алое, будто вино причастия, и обагряет славной кровью своей облака в небесах и гребни морских волн. И праведник прозревал в этом образе тайну креста, на котором пролита была божественная кровь, облекшая всю землю царской багряницей. В открытом море виднелась темно-синяя полоса — берег острова Гад, где святая Бригита, принявшая пострижение от святого Мало, управляла женским монастырем.

Наслышанная о заслугах преподобного Маэля, Бригитта высказала желание получить как драгоценнейший дар какое-либо изделие его рук. Маэль отлил для нее медный колокольчик и, закончив работу над ним, благословил его и бросил в море. И колокольчик, звеня, поплыл к берегам острова Гад, где святая Бригитта, услышав над волнами медный звон, благоговейно приняла дар и, в сопровождении своих духовных дочерей, под пение псалмов, торжественно перенесла его в монастырскую часовню.

Так праведник Маэль совершенствовался в добродетелях. Он уже прошел две трети жизненного пути и надеялся дождаться безмятежной кончины среди братий своих во Христе, как вдруг ему было знамение, возвещающее о том, что божественная мудрость располагает иначе и что господь призывает его к трудам, не столь мирным, но не менее славным.

Глава II

Апостольское призвание святого Маэля

Однажды, погруженный в раздумье, шел он по берегу спокойной маленькой бухты, защищенной, словно естественной плотиной, грядою скал, выдавшихся далеко в море, — и вдруг он увидел каменное корыто, плывущее по водам, подобно ладье.

А ведь в каменных чанах св. Гирек, великий св. Коломбан, шотландские и ирландские монахи

отправлялись проповедовать евангелие в Арморике. И еще недавно св. Авойя, прибыв из Англии, поплыла вверх по течению реки Орэ в ступе из розового гранита — той самой, куда впоследствии сажали детей, чтобы они росли сильными; святой же Вуга переправился из Ибернии в Корнуэльс на скале, — потом ее обломки, сохранившиеся в Пенмархе, начали исцелять от лихорадки, стоило богомольцам приложиться к ним головой; св. Самсон приплыл в залив близ горы св. Михаила в гранитном чане, впоследствии названном мисой св. Самсона. Вот почему при виде этого каменного корыта св. Маэль понял, что господь предназначил его для просвещения язычников, еще во множестве обитавших по бретонским островам и на побережье.

Он вручил свой ясеневый посох Будоку, человеку святой жизни, тем самым передавая ему управление обителью. Затем, захватив с собою каравай хлеба, бочонок пресной воды и святое евангелие, сел в каменное корыто, и оно тихо поплыло с ним к острову Эдику.

На острове этом постоянно бушуют ветры. Бедняки ловят там рыбу в расщелинах между скал и с трудом выращивают кой-какие овощи на песчаной и каменистой земле своих огородов, окруженных либо невысокой каменной стеною сухой кладки, либо тамарисковой изгородью. В лощине росла могучая смоковница, широко раскинувшая ветви. Островитяне поклонялись ей как божеству.

И сказал им Маэль, человек святой жизни:

— Вы поклоняетесь этому дереву, потому что оно прекрасно. Значит, вы чувствительны к красоте. Так вот, я пришел раскрыть перед вами красоту сокровенную.

И он проповедал им евангелие. И, наставив их, окрестил солью и водой.

Морбиганские острова были в те времена многочисленнее, чем ныне. Ибо с тех пор многие из них погрузились в море. На шестидесяти островах проповедал св. Маэль христианскую веру. Затем в своем гранитном корыте он поднялся вверх по реке Орэ и после трехчасового плавания вышел на берег перед каким-то

римским домом. Над крышей вился дымок. Святой переступил порог, украшенный мозаичным изображением собаки с ощеренными зубами и напряженными мускулами лап. Его приняли в этом доме престарелые супруги — Марк Комбаб и Валерия Мэренс, жившие плодами своей земли. Вокруг внутреннего двора высились колонны портика, снизу до половины выкрашенные в красный цвет. В стене был устроен фонтан из раковин, а под портиком стоял алтарь с нишей, куда хозяин дома поместил терракотовых идолов, побеленных известкой. Некоторые из них изображали крылатых детей, другие — Аполлона или Меркурия, а иные были в виде нагой женщины, выжимающей воду из волос. Разглядывая эти фигурки, святой Маэль нашел среди них изображение молодой матери с младенцем на коленях.

Тотчас же, указывая на нее, он сказал:

— Это пресвятая дева, матерь божья. Поэт Вергилий возвестил о ней в Сивиллиных песнях * еще до ее рождения и ангельским голосом воспел «Jam redit et virgo» [1]. И среди язычников распространены были фигурки, пророчествующие о ней, подобно вот этой на твоем алтаре, о Марк! Она, без сомнения, покровительствовала твоим скромным дарам. Таким-то образом все послушно следующие естественному закону уже подготовлены к тому, чтобы воспринять откровение истины.

Марк Комбаб и Валерия Мэренс, просвещенные этой речью, обратились в христианскую веру. Они приняли святое крещение вместе с их юной вольноотпущенницей Целией Авителлой, которую любили, как свет своих очей. В тот же день отреклись от язычества и были крещены все колоны *.

Марк Комбаб, Валерия Мэренс и Целия Авителла посвятили с тех пор свою жизнь подвигам добродетели. А после праведной кончины были причислены церковью к лику святых.

Так на протяжении тридцати семи лет блаженный Маэль просвещал язычников внутренних областей. Его

[1] «Дева вернулась уже» (*лат.*).

тщанием воздвигнуто было двести восемнадцать часовен и семьдесят четыре монастыря.

Но вот однажды, пребывая в городе Ванн и проповедуя там евангелие, прослышал он, что в его отсутствие ивернские монахи отступили от устава святого Галла. Тотчас же, рьяный, как наседка, собирающая своих цыплят, поспешил он к заблудшим чадам своим. Ему шел тогда уже девяносто седьмой год; но, согбенный годами, он сохранял еще силу в руках, а звуки его голоса широко разносились вокруг, как зимний снег по глубокой долине.

Аббат Будок вернул святому Маэлю ясеневый посох и поведал ему о том жалком состоянии, в коем находился монастырь. Монахи рассорились из-за вопроса о том, когда надлежит праздновать пасху. Одни стояли за римский календарь, другие — за греческий, и обитель раздирали ужасы хронологического раскола.

Царила в ней и другая причина беспорядков. Монахини острова Гад, в прискорбном забвении былой добродетели, то и дело подплывали в лодке к ивернскому берегу. Монахи принимали их в страннопримном доме, и греховный соблазн распространялся все больше и. больше, приводя в отчаяние благочестивые души.

Свое правдивое повествование аббат Будок закончил следующими словами:

— Появление этих инокинь погубило невинность и покой наших монахов.

— Готов этому поверить, — отвечал блаженный Маэль. — Ибо женщина — это ловко расставленная западня. Только почуял ее — и уже попался. Увы, восхитительная прелесть этих созданий издали действует еще сильнее, чем вблизи. И чем меньше они удовлетворяют страстное желание, тем больше внушают его. Именно потому и сказал поэт, обращаясь к одной из них:

> Вы здесь — от вас бегу, вас нет — я снова с вами.

Оттого-то мы и видим, сын мой, что приманки плотской любви более властны над отшельниками и монахами,

нежели над мирянами. Бес похоти всю жизнь искушал меня разными способами, и самым сильным искушениям подвергался я вовсе не при встрече с какой-либо женщиной, даже прекрасной и благоуханной. Они порождались во мне образом женщины отсутствующей. Еще и поныне, на закате дней моих, когда я вступаю в девяносто восьмой год жизни, враг рода человеческого нередко вводит меня в грех против целомудрия, по крайней мере в помыслах моих. По ночам, когда я зябну на своем ложе и старые кости мои глухо стучат одна о другую, я слышу чьи-то голоса, читающие мне второй стих третьей Книги Царств: «И сказали ему слуги его: пусть поищут для господина нашего, царя, молодую девицу, чтобы она предстояла царю, и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему, царю». И Диавол показывает мне отроковицу в расцвете первой юности, и она говорит мне: «Я — твоя Ависага. Я — твоя Сунамитянка *, господин мой, дай мне место на ложе твоем».

— Поверьте мне, — добавил старик, — только особая милость божья помогает монаху сохранять целомудрие в делах и в помыслах.

Приступив к восстановлению в монастыре мира и чистоты нравов, он исправил календарь сообразно хронологическим и астрономическим исчислениям и обязал всех монахов отныне его придерживаться; падших духовных дочерей святой Бригитты он отослал в их обитель, — однако не только не изгнал их с позором, но велел проводить на корабль с пением псалмов и литаний.

— Окажем уважение им, как дочерям Бригитты и невестам Христовым! — говорил он. — Не уподобимся фарисеям, лицемерно презирающим грешниц. Нужно унизить в этих женщинах грех, а не их самих, и заставить их стыдиться содеянного, а не самих себя: ведь они — создания божьи.

И святой обратился к своим монахам с увещанием соблюдать монастырский устав.

— Когда над кораблями не властвует кормило, — говорил он, — над ними властвуют подводные скалы.

Глава III

Искушение святого Маэля

Не успел блаженный Маэль восстановить благочиние в Ивернском аббатстве, как до него дошла весть, что жители острова Эдика, первые его новообращенные, самые дорогие его сердцу, снова впали в язычество и снова стали вешать венки из цветов и шерстяные повязки на ветви священной смоковницы.

Лодочник, принесший это прискорбное известие, высказал опасение, как бы эти заблудшие не предали огню и мечу воздвигнутую на берегу острова часовню.

Святой решил незамедлительно навестить неверных чад своих, дабы вернуть их на стезю истинной веры и удержать от святотатственных бесчинств. Подойдя к бухте, где стояло на причале его каменное корыто, он обратил свои взоры на судостроительные верфи, уже тридцать лет как сооруженные им в глубине бухты и в этот час оглашаемые визгом пил и стуком молотков.

И тут диавол, неутомимый в своих кознях, вышел из верфей, приблизился к святому, приняв обличье одного из монахов, по имени Самсон, и стал так искушать его:

— Отец мой, жители острова Эдика непрерывно предаются греху. С каждым мгновением они все больше удаляются от бога. Они уже готовы предать огню и мечу часовню, воздвигнутую трудами славных рук твоих на берегу острова. Время не терпит. Не полагаешь ли ты, что твое каменное корыто быстрее пойдет по водам, если оснастить его, как судно, снабдив рулем, мачтой и парусом? Ведь тогда тебе будет помогать ветер. Руки твои еще сохранили силу и способны управлять судном. А также неплохо бы к передней части твоего апостолического корыта приладить острый волнорез. В своей мудрости ты сам, должно быть, уже подумал об этом.

— Конечно, время не терпит, — отвечал святой старец. — Но поступить по твоему совету, сын мой Самсон, — не значит ли уподобиться маловерам, не желающим положиться на помощь божью? Не значит ли это презреть дар самого господа, пославшего мне каменное корыто без всякой оснастки и без паруса?

На этот вопрос диавол, превеликий богослов, ответил другим вопросом:

— Но, отец мой, похвально ли будет ждать сложа руки помощи свыше и все испрашивать у всемогущего, вместо того чтобы действовать по человеческому разумению, своими силами?

— Конечно, нет, — ответил святой Маэль. — Отказываться действовать по человеческому разумению — значит искушать господа бога.

— А в наших обстоятельствах, — продолжал диавол, — не велит ли человеческое разумение оснастить корыто?

— Это было бы так при невозможности другим способом поспеть вовремя к цели.

— Хе-хе, значит твое корыто так быстроходно!

— Оно так быстроходно, как это угодно господу богу.

— Что ты об этом знаешь? Оно способно двигаться не быстрее, чем мул нашего аббата Будока. Это просто старый башмак. Разве нам возбраняется прибавить ему быстроты?

— Сын мой, доводы твои блестящи, но чрезмерно смелы. Не забывай, что корыто мое обладает чудесным свойством.

— Все это так, отец мой. Гранитное корыто, плавающее по воде, как пробка, несомненно обладает чудесным свойством. Но что из этого следует?

— Я в большом затруднении. Надлежит ли совершенствовать человеческими, естественными средствами столь чудесное судно?

— Отец мой, если ты потеряешь правую ногу и господь вернет ее тебе, будет ли такая нога чудесной?

— Несомненно, сын мой.

— Будешь ли ты обувать ее?

— Разумеется.

— Так вот, если ты допускаешь, что можно обувать в простой башмак чудесную ногу, то должен допустить и простую оснастку для чудесного судна. Это ясно как день! Ах, отчего даже у самых праведных людей дух подвержен порою затмению и нерешительности! Казалось бы, кто из вероучителей Бретани достиг большей славы, кто более способен свершать дела, достойные

вечной хвалы?.. Но дух медлителен, и руки ленивы. Что ж, отец мой, прощай. Плыви себе полегоньку, а когда достигнешь наконец берегов Эдика, полюбуйся дымом пожарища на месте часовни, воздвигнутой и освященной твоими руками. Язычники сожгут ее — и с нею бедного диакона, поставленного тобою, который будет поджарен, как колбаса.

— Я в великом смущении, — отвечал слуга господень, отирая рукавом выступивший на лбу пот. — Но послушай, сын мой Самсон, ведь не так-то легко будет оснастить это каменное корыто. И, взявшись за такую работу, не потеряем ли мы время, вместо того чтобы выиграть его?

— Ах, отец мой, — воскликнул диавол, — не успеет один только раз просыпаться песок в часах, как все будет готово. Мы найдем необходимые снасти на верфях, некогда заложенных тобою здесь, на берегу, и на складах, обильно снабжаемых благодаря твоим заботам. Я собственноручно оснащу корыто. Ведь до поступления в монастырь я был матросом и плотником, да и на кое-что другое неплохим мастером. Приступим!

И вот он увлекает святого в сарай, полный всяких принадлежностей для мореплавания.

— Забирай, отец мой!

И взваливает ему на спину парус, мачту, гафель и гик.

Затем, сам нагрузившись форштевнем и рулем с кормовой частью киля, прихватив мешок со столярным инструментом, бежит он к берегу, таща за полы святого мужа, а тот едва поспевает за ним, задыхаясь, весь в поту, согбенный под тяжестью паруса и деревянных снастей.

Глава IV

Плавание святого Маэля по Ледовитому океану

Подоткнув свою одежду к самым подмышкам, диавол вытащил корыто на песок, и не прошло и часу, как оснастил его.

Лишь только святой Маэль взошел на борт, корыто на всех парусах стало разрезать волны с такою быстротой,

что берег вскоре исчез из виду. Старец правил на юг, намереваясь обогнуть Лендз-Энд. Но непреодолимое течение относило его к юго-западу. Проплыв вдоль южного берега Ирландии, судно вдруг повернуло к северу. Вечером ветер посвежел. Тщетно пытался Маэль свернуть парус. Корыто неистово неслось вперед, к баснословным морским далям.

В лунном свете пышнотелые северные сирены, с волосами цвета конопли, плавали вокруг, выставляя из воды свои белые груди и розовые бедра; они ударяли изумрудными хвостами по вспененным волнам, под мерные звуки своей песни:

Куда, о кроткий Маэль,
Плывешь ты в корыте безумном?
Вздулся твой парус, —
Так груди Юноны вздувались,
Млечный Путь разбрызгивая в небе.

Некоторое время они, при свете звезд, преследовали его гармоническим смехом. Но корыто шло во сто крат быстрее красной ладьи викинга, и буревестники, настигнутые на лету, запутывались лапами в волосах святого мужа.

Вскоре поднялась буря, и, гонимое яростным ветром сквозь мрак и вой, корыто летело, как чайка, среди тумана и клокочущих волн.

После этой ночи, длившейся трое суток, пелена мрака внезапно разорвалась. И вдали, на самом горизонте, святой муж увидел берег, сверкающий ярче алмаза. Берег рос на глазах, и вскоре, при льдяном свете солнца, застывшего низко в небе, перед Маэлем возник над волнами белый город с пустынными улицами; более обширный, чем стовратные Фивы *, он далеко, насколько видит глаз, простирал развалины своего снежного форума *, своих дворцов, одетых изморозью, хрустальных арок, обелисков, переливающихся перламутровым блеском.

Океан был весь в плавучих льдинах, среди которых ныряли моржи с диким и кротким взглядом. Пронесся Левиафан *, извергая к самым облакам целый столб воды.

Между тем на ледяной глыбе, плывущей рядом с каменным корытом, Маэль увидел белую медведицу с медвежонком у груди и слышал, как она тихо прошептала стих из Вергилия: «Incipe, parve puer...» [1]

И старец заплакал, полный печали и смятения.

Бочонок с пресной водою лопнул, так как вода в нем замерзла. Чтобы утолить жажду, Маэль сосал льдинки. И ел хлеб, пропитанный соленой водою. Волосы в бороде и на голове его стали ломкими, как стеклянные. Обледенелая одежда при каждом движении царапала ему тело. Чудовищные волны поднимались вокруг, разверзая на старца свои покрытые пеной пасти. Раз двадцать лодку затопляло водой. Святое евангелие в пурпурном переплете с золотым крестом, столь заботливо хранимое проповедником, было поглощено океаном.

Но вот, на тридцатый день, море успокоилось. И вдруг, под ужасающий грохот в небесах и на водах, ослепительно белая гора высотою в триста футов надвинулась на каменное корыто. Маэль правит в сторону, но румпель в руках его ломается. Чтобы избежать столкновения со скалой, он хочет свернуть часть паруса. Но, когда он пытается подвязать линьки, ветер вырывает их у него из рук, и трос, резко выскальзывая, обжигает ему ладони нестерпимою болью. И он видит трех демонов с черными кожистыми крыльями, усеянными множеством крючков: повиснув на мачте, демоны дуют в парус.

При виде их он понимает, что поддался наущениям врага рода человеческого, и осеняет себя крестным знамением. И сразу же бешеный порыв ветра, в котором слышатся рыдания и вой, поднимает каменное корыто, уносит мачту и парус, срывает руль и волнорез.

И корыто, отнесенное течением в сторону, опустилось в спокойных водах. Преклонив колена, святой муж возблагодарил господа за спасение из диавольской западни. Тут он снова увидал на ледяной глыбе медведицу-мать, говорившую человеческим голосом среди бури. Она прижимала к груди свое любимое дитя, а в

---

[1] «Маленький мальчик, начни...» * (*лат.*).

лапах держала книгу в пурпуровом переплете с золотым крестом. Подплыв на своей льдине к гранитному корыту, она приветствовала святого мужа словами: «Pax tibi, Mael!» [1] — и протянула ему книгу.

Святой муж узнал свое евангелие и, пораженный, преисполненный удивления, огласил потеплевший воздух гимном во славу творца и его творения.

Глава V

Крещение пингвинов

Отнесенный течением в сторону, святой муж через час пристал к узкой береговой полосе, замкнутой островерхими горами. Целый день и целую ночь шел он вдоль берега, обходя скалы, высившиеся непреодолимой преградой. И таким образом убедился, что попал на округлый остров, посредине которого возвышалась увенчанная облаками гора.

С восторгом впивал он свежее дыхание влажного ветра. Шел дождь, и дождь этот был так сладостен, что святой муж сказал господу:

— Господи, остров сей — остров слез покаянных.

Взморье было безлюдно. Изнемогая от усталости и голода, он сел на камень и увидел рядом с собою, в углублении камня, птичьи яйца, желтые, в черных крапинках и по размерам сходные с лебедиными. Но он не притронулся к ним, говоря:

— Птицы — живые славословия господу. Не хочу, чтобы хоть одно из этих славословий исчезло по моей вине.

И стал жевать лишайники, росшие в расселинах камня.

Святой муж обошел уже почти весь остров, не встретив никаких обитателей, как вдруг обнаружил на своем пути обширную круглую площадь, замкнутую бурыми и рыжими скалами, которые звенели множеством водопадов и уходили голубоватыми вершинами под самые облака.

---

[1] Мир тебе, Маэль! (*лат.*).

Глаза у старца были обожжены сиянием полярных льдов. Но все же набухшие веки пропускали еще слабый свет. И он различил какие-то живые существа, громоздившиеся на выступах скал, подобно человеческой толпе на ступенях амфитеатра. А в то же время и уши его, оглушенные ревом морских волн, казалось, различили слабые звуки голосов. Полагая, что перед ним люди, живущие еще по одним естественным законам, и что господь послал его к этим людям, дабы наставить их в законе божеском, он стал проповедовать им евангелие.

Взобравшись на высокий камень посередине этого естественного амфитеатра, он обратился к ним со словами:

— Островитяне! Хоть вы и малорослы, но больше похожи на сенаторов некоего благоустроенного государства, чем на толпу рыболовов и моряков. Степенные, молчаливые, спокойные, вы на своем собрании посреди этих диких скал подобны римским отцам города, сошедшимся на совещание в храм Победы, или скорей даже афинским философам, дискутирующим на скамьях Ареопага. Конечно, вы не обладаете ни их ученостью, ни их дарованиями, но, быть может, в глазах господа нашего, вы их и превосходите. Я догадываюсь, что вы простодушны и добры. Обойдя берега вашего острова, я не обнаружил ни следов смертоубийства, ни признаков кровопролития, ни вражеских голов или скальпов, вздетых на высокие шесты или пригвожденных к сельским воротам. Мне кажется, вы не знаете ремесел и не обрабатываете металлов. Но сердца ваши чисты и руки не запятнаны греховными делами. И истина легко проникнет к вам в души.

Однако те, кого он принял за людей, хоть и малорослых, но степенных, были пингвины, собравшиеся на птичий базар, как это бывает весною, — они сидели парами на естественных выступах скалистой горы, а большие белые животы придавали им величественную осанку. Порою они взмахивали своими короткими, похожими на руки крыльями и мирно покрикивали. Они не боялись людей, так как не знали их и никогда не видели от них зла, а от этого монаха веяло такой

кротостью, что он внушал доверие самым пугливым животным и пингвинам чрезвычайно понравился. С дружественным любопытством каждый из них обратил к нему свой круглый глазок с белой овальной каемкой, удлиняющей его спереди и придающей взгляду нечто странное и как бы человеческое.

Тронутый их невозмутимым спокойствием, святой стал проповедовать им евангелие.

— Островитяне, земной день, только что взошедший над вашими скалами, это образ духовного дня, восходящего в душах ваших. Ибо я несу вам внутренний свет; несу свет и тепло духовные. Подобно тому как солнце растапливает ледники у вас на горах, Иисус Христос растопит лед сердец ваших.

Так говорил старец. А всюду в природе один голос вызывает в ответ другой, и все живое на земле любит песенную перекличку, — вот почему на слова старца откликнулись все пингвиньи глотки. И голоса были нежны, так как это время года для пингвинов — пора любви.

Святой, убежденный, что пред ним племя идолопоклонников и что они на своем языке признали истинность христианской веры, тут же предложил им принять крещение.

— Полагаю, что вы часто купаетесь, — сказал он им. — Ведь все впадины этих скалистых гор полны чистой воды, и я сам, идя сюда, видел, как многие из вас погружались в эти естественные купели. Так знайте же, что чистота телесная есть образ чистоты духовной.

И он поведал им о происхождении, природе и последствиях крещения.

— Крещение, — объяснил он, — это Присоединение, Возрождение, Восстановление, Просвещение.

И растолковал им это по пунктам.

А затем, предварительно благословив воду горных водопадов и творя очистительные молитвы, он окрестил новообращенных, пролив каждому на голову каплю воды и произнеся при этом священные слова.

Так в течение трех дней и трех ночей крестил он птиц.

Глава VI

Совещание в раю

Когда вести о крещении пингвинов дошли до рая, они вызвали там не радость, не печаль, но крайнее удивление. Сам господь бог не знал, как быть. Он созвал ученых и богословов, чтобы обсудить с ними вопрос, имеет ли такое крещение силу.

— Никакой! — заявил св. Патрик *.

— Почему никакой? — спросил св. Галл *, просветитель Корнуэльса, воспитавший святого мужа Маэля для апостольских трудов.

— Таинство крещения не действительно, — отвечал св. Патрик, — если оно совершено над птицами, подобно тому как недействительно таинство брака, если оно совершено над евнухом.

Но св. Галл возразил:

— Что же общего между крещением птиц и браком евнуха? Ровно ничего! Брак есть таинство условное, так сказать, предвосхищающее. Священник заранее благословляет некий акт; совершенно очевидно, что в случае, если этот акт не осуществится, благословение не будет иметь действия. Это каждому ясно. В земной своей жизни я знавал в городе Антриме богатого человека, по имени Садок. Он состоял в сожительстве с одной женщиной и прижил с нею девять детей. В старости, уступая моим увещаниям, он согласился обвенчаться с нею, и я благословил их союз. К несчастью, преклонные лета не позволили Садоку осуществить этот брак. Немного времени спустя он лишился всех своих богатств, и Термина (так звали женщину), будучи не в силах выносить такую нужду, просила о расторжении брака, оставшегося неосуществленным. Папа исполнил эту просьбу, ибо она была справедлива. Вот как обстоит дело с таинством брака. Что же касается крещения, то оно не ограничено никакими условиями и оговорками. Не может быть сомнений: таинство над пингвинами совершено.

Когда попросили поделиться своим мнением по этому поводу св. Дамасия, папу, он высказался следующим образом:

— Чтобы определить, имеет ли крещение силу и вызовет ли оно нужные последствия, то есть освятит ли крещаемых, следует знать, кто его совершает, а не над кем оно совершается. В самом деле, освящение, происходящее при этом таинстве, есть результат внешнего действия, совершенного над крещаемым, меж тем как сам он в своем освящении не принимает никакого участия; будь это иначе, не крестили бы новорожденных. И чтобы крестить, нет надобности в каких-либо особых условиях, нет необходимости пребывать в состоянии благодати, — достаточно возыметь намерение поступить сообразно с указаниями церкви — произнести священные слова и исполнить предписываемый обряд. А нельзя сомневаться в том, что преподобный Маэль соблюл все эти условия. Следовательно, пингвины крещены.

— Вот как? — спросил св. Гвенолий. — Тогда, по-вашему, что ж такое крещение? Крещение — это акт обновления, при котором крещаемый вновь рождается из воды и духа, ибо, войдя в воду весь запятнанный грехами, он выходит из нее новопосвященным христианином, совершенно другим существом, предуготовленным к подвигам праведности; в крещении, как в зерне, заключено бессмертие; крещение — залог воскресения; крещение есть сопогребение с усопшим Христом и совосстание с ним из гроба. Такой дар — не для птиц! Посудите сами, отцы! Крещением смывается первородный грех, — но ведь пингвины не зачаты в грехе; оно освобождает от наказания за грехи, — но ведь пингвины не грешат; оно осеняет благодатью и готовит к добродетельной жизни, соединяя христиан с Иисусом Христом, как части тела соединены с головою, — но ведь нельзя допустить и мысли, чтобы пингвины могли украшаться добродетелями наподобие христианских исповедников, дев и вдовиц, могли осеняться благодатью и приобщаться к...

Святой Дамасий не дал ему окончить.

— Это доказывает только, что крещение было напрасно, — живо заметил он, — но отнюдь не доказывает, что оно недействительно.

— Однако в таком случае, — отвечал ему св. Гвенолий, — можно крестить во имя отца, и сына, и святого духа, погружением в воду или окроплением, не только птиц и четвероногих, но также и неодушевленные предметы — статуи, столы, стулья и тому подобное. И такое животное стало бы христианином, такой идол, такой стол были бы христианами? Что за нелепость!

Затем взял слово св. Августин *. Его выслушали в глубоком молчании.

— Я сейчас покажу вам на примере могущество ритуала, — сказал пламенный епископ Гиппонский. — Правда, дело идет о заклятии диавольском. Но если установлено, что ритуал, внушенный диаволом, оказывает действие на неразумных животных или даже на неодушевленные предметы, как же усомниться в том, что священный ритуал оказывает действие на разум животных и на косную материю? Вот пример.

При жизни моей была в городе Мадавре, на родине философа Апулея *, одна волшебница, умевшая привлекать к себе на ложе любого мужчину: для этого ей достаточно было сжечь на своем треножнике несколько волосков с головы ее избранника, подкладывая при этом в огонь какие-то травы и произнося какие-то слова. Но однажды, пожелав таким способом добиться любви некоего юноши, она введена была в обман своею служанкой и вместо волосков с головы юноши сожгла клочок шерсти, выдернутый из козлиной шкуры, которая служила кабатчику мехом для вина. И вот ночью мех этот, полный вином, сорвался со стены и проскакал через весь город прямо к порогу волшебницы. Случай совершенно достоверный. В таинстве, как и в волшебстве, все зависит от соблюдения формы. Действие божественного ритуала не может быть слабее и ограниченней, чем действие ритуала адского.

Высказавшись таким образом, великий Августин сел на свое место под шум рукоплесканий.

Какой-то блаженный муж преклонных лет и унылого вида попросил слова. Никто не знал его. Он звался Пробом * и не числился в списке канонизированных святых.

— Прошу прощения у почтенных слушателей. У меня нет ореола, и я не прославлен блестящими подвигами, хоть и достиг вечного блаженства. Но после всего сказанного великим святым Августином я считаю уместным поделиться с вами собственным жестоким опытом, благодаря которому я узнал, чем обусловлена действенность таинства. Справедливо сказал епископ Гиппонский: в таинстве все зависит от ритуала. В ритуале — его сила, в ритуале и его слабость. Выслушайте, исповедники и священнослужители, мою горестную повесть. Я был священником в Риме, в правление императора Гордиана *. Не отличаясь выдающимися заслугами, подобными вашим, я все же отправлял с благоговением свои священнические обязанности. Сорок лет священствовал я при церкви святой Модесты-за-стенами. Жизнь моя протекала размеренно. Каждую субботу я ходил к кабатчику по имени Бархас, занимавшему со своими амфорами помещение у Капенских ворот, и покупал у него вино, дабы освящать его ежедневно всю неделю. За долгий срок моего священства не случилось ни разу, чтобы я не отслужил утром обедни с пресуществлением святых даров. И, однако, я не знал радости, и тоска стесняла мне сердце, когда я вопрошал на ступенях алтаря: «Отчего ты печальна, душа моя, и отчего смущаешь меня?» Приобщая верующих, я испытывал постоянные огорчения, ибо, можно сказать, еще ощущая на языке вкус тела и крови Христовой, полученных из моих рук, они снова впадали в грех, как если бы таинство не имело силы и не оказывало на них никакого действия. Наконец исполнились сроки земных испытаний моих, и я, опочив в господе, пробудился в блаженных селениях. И вот тогда из уст ангела, перенесшего меня сюда, услышал я, что кабатчик Бархас продавал у Капенских ворот под видом вина какой-то отвар из овощей и древесной коры, в котором не содержалась ни капли виноградного сока; что я не мог претворять такое варево в кровь, ибо это было не вино, — а одно лишь вино претворяется в кровь Христову; что, следовательно, и совершаемое мною таинство не имело силы, а я с моею паствой, сами

того не ведая, на протяжении сорока лет лишены были таинства евхаристии — и, значит, по существу отлучены от церкви. Я был поражен таким открытием, и поныне угнетающим меня в этих райских селениях. Я непрестанно обхожу их от начала до конца, но не встретил еще здесь ни одного из тех, кому некогда давал причастие в базилике блаженной Модесты.

Лишенные хлеба небесного, они были бессильны противостоять самым отвратительным порокам и все попали в ад. Утешаю себя мыслью, что и кабатчик Бархас осужден на адские муки. В этом есть логика, достойная создателя всяческой логики. Тем не менее мой горестный пример показывает, как бывает иногда прискорбно, что в таинствах форма важнее содержания. И я смиренно вопрошаю: не может ли мудрость предвечного оказать здесь целебное действие?

— Нет, — отвечал господь. — Лекарство опаснее самой болезни. Если бы для спасения души содержание имело больше силы, чем форма, это означало бы уничтожение священства.

— Увы, господи, — со вздохом промолвил смиренный Проб, — поверьте моему печальному опыту: сводя таинства к соблюдению ритуала, вы создаете ужасающие помехи своему правосудию.

— Знаю лучше вас! — отвечал господь. — Я охватываю одним взором и трудные задачи нынешних времен, и задачи времен грядущих, не менее трудные. И вот могу возвестить вам, что, когда солнце совершит еще двести сорок раз свой путь вокруг земли...

— Какой возвышенный язык! — воскликнули ангелы.

— И достойный творца вселенной! — поддержали священнослужители.

— Такие обороты речи связаны с моей старой космогонией, — заметил господь, — и если я откажусь от нее, это нанесет ущерб моей неизменности... Итак, когда солнце совершит еще двести сорок раз свой путь вокруг земли, в Риме не останется ни одного ученого, знающего латинский язык. В церквах, при пении литаний, будут взывать к святым Орихилу, Рогуилу и

Тотихилу, — имена же эти, как вам известно, суть имена диавольские, а не ангельские. Многочисленные воры, желая причаститься, но опасаясь, что их заставят для прощения грехов отдать похищенное в церковь, будут исповедоваться у бродячих священников, которые, не зная ни итальянского, ни латинского языка и говоря только на своем деревенском наречии, будут ходить по городам и весям и отпускать грехи за ничтожную плату, а то и просто за бутылку вина. По всей вероятности, подобные отпущения не будут иметь к нам никакого касательства, как полученные без раскаяния и по этой причине недействительные; но крещения, весьма возможно, еще доставят нам немало забот. Священники станут до такой степени невежественны, что будут крестить младенцев «во имя отцов, сынов и святых духов» *, о чем сообщит не без удовольствия Луи де Поттер * в третьем томе своей «Философской, политической и критической истории христианства». Разрешать вопрос о действительности такого рода крещения будет весьма нелегко, ибо, если в Священном писании я мирюсь с греческим языком, далеко уступающим в изяществе языку Платона, и с латынью, отнюдь не цицероновской *, то все-таки не могу же я принять в качестве литургического текста полную тарабарщину! Нельзя без содрогания подумать, что такие неправильности будут допущены по отношению к миллионам новорожденных. Но вернемся к нашим пингвинам *.

— Ваши божественные речи, о господи, уже подвели нас снова к этому вопросу, — сказал св. Галл. — В религиозных символах и правилах, от которых зависит спасение души, форма безусловно важнее содержания, и действительность таинства зависит исключительно от формы. Следовательно, нужно только знать, была ли соблюдена форма при крещении пингвинов: да или нет? Ответ совершенно ясен.

Отцы и ученые богословы согласились со св. Галлом, но это привело их еще в большее замешательство.

— Обращение пингвинов в христианство сопряжено для них с немалыми трудностями, — сказал св. Корнелий. — Ведь этим птицам надо будет заботиться о сво-

ем вечном спасении. Как же они могут его достигнуть? Птичьи нравы во многих отношениях противоречат предписаниям церкви. А у пингвинов нет разумных оснований эти нравы изменять. То есть, я хочу сказать, пингвины недостаточно разумны, чтобы стать благонравными.

— Они не могут измениться, — сказал господь. — Этому препятствуют мои предначертанья.

— А вместе с тем, — продолжал св. Корнелий, — будучи крещены, они теперь отвечают за свое поведение. Оно станет отныне хорошим или дурным, достойным похвалы или порицания.

— Да, именно так стоит вопрос, — сказал господь.

— Я вижу один только выход, — сказал св. Августин. — Пингвины пойдут в ад.

— Но ведь у них нет души, — возразил св. Ириней *.

— Досадно, — со вздохом сказал св. Тертуллиан *.

— Что и говорить! — согласился св. Галл. — Приходится признать, что праведный Маэль, ученик мой, в слепом рвении своем, создал для святого духа немалые трудности богословского характера и погрешил против порядка совершения таинств.

— Легкомысленный старик! — воскликнул, пожимая плечами, св. адъютор Эльзасский.

Но господь укоризненно взглянул на адъютора и сказал ему:

— Позвольте, позвольте! Ведь святой Маэль, в отличие от вас, блаженный муж, не наделен дарованным свыше знанием. Я недоступен его лицезрению. Он обременен старческими немощами, наполовину глух и на три четверти слеп. Вы слишком суровы к нему. Но признаю, положение в самом деле весьма затруднительно.

— К счастью, это трудность преходящая, — сказал св. Ириней. — Пингвины получили крещение, но их будущие птенцы не получат его, так что ошибка затрагивает лишь нынешнее поколение.

— Не говорите так, сын мой Ириней, — поправил его господь. — Законы, устанавливаемые естествоиспытателями на земле, допускают возможность исключений,

ибо они несовершенны и не вполне соответствуют природе вещей. Но законы, установленные мною, совершенны и не терпят никаких исключений. Надлежит решить участь крещеных пингвинов таким образом, чтобы ни в чем не нарушить божественных законов и десяти заповедей, а равно и предписаний моей церкви.

— Господи, даруйте им бессмертную душу, — предложил св. Григорий Назианзин *.

— Увы, господи, что им делать с нею? — вздыхая, заметил Лактанций *. — Ведь нет у них приятного голоса, чтобы воспевать вам хвалу. Они не в состоянии будут совершать святые таинства.

— Они, конечно, не будут соблюдать божественного закона, — поддержал св. Августин.

— Они не в состоянии будут соблюдать его, — сказал господь.

— Не в состоянии, — повторил св. Августин. — И если вы, господи, в великой мудрости своей, вдохнете в них бессмертную душу, они пойдут в огнь вечный, согласно с вашими благими предначертаниями. И таким образом верховный порядок, нарушенный этим старым камбрийцем, восстановится.

— Вы предлагаете мне верное решение, сын Моники *, вполне согласное с моей мудростью, — сказал господь. — Но оно не удовлетворяет моего милосердия. А я, хоть и неизменный в своей сущности, с течением времени все более склоняюсь к кротости. Чтобы почувствовать эти изменения в моем характере, достаточно сравнить Ветхий завет с Новым *.

Так как прения затянулись, не внося в вопрос никакой ясности, и блаженные мужи обнаруживали склонность повторять все одно и то же, — решено было обратиться за советом к св. Екатерине Александрийской *. Так обычно поступали во всех затруднительных случаях. Св. Екатерина при земной жизни своей поставила в тупик пятьдесят ученейших богословов. Она одинаково хорошо знала как Священное писание, так и философию Платона и владела искусством риторики.

Глава VII

Совещание в раю

(Продолжение и окончание)

Святая Екатерина явилась на совещание в венце, украшенном изумрудами, сапфирами и жемчугом, и в платье из золотой парчи. Сбоку она держала пылающее колесо — подобие того, которое осколками своими поразило ее мучителей.

Господь спросил ее мнения, и она сказала следующее:

— Господи, чтобы разрешить задачу, милостиво предложенную мне вами, я не стану подвергать разбору нравы животных вообще и птиц — в частности. Я позволю себе только обратить внимание ученых богословов, исповедников и священнослужителей, здесь собравшихся, на то обстоятельство, что между человеком и животным нет резкого разделения, поелику существуют чудовища, совмещающие в себе эти два начала. Таковы химеры — полунимфы и полузмеи; таковы три горгоны; таковы козлоногие; таковы сциллы и сирены, поющие на море. Ведь у последних грудь женская, а хвост рыбий. Таковы и кентавры: они до пояса — люди, а ниже — лошади. Это благородные чудовища. Вам, конечно, известно, что один из них, ведомый лишь собственным своим разумом, достиг вечного блаженства, и порою можно видеть, как он круто выгибает доблестную грудь свою среди золотых облаков. За свои земные труды кентавр Хирон удостоился быть причисленным к лику блаженных. Он был воспитателем Ахиллеса; и этот юный герой, выйдя из-под начала кентавра, провел два года в девичьих одеждах, среди дочерей царя Ликомеда. Он разделял с ними игры и ложе, не дав повода хотя бы на мгновение заподозрить, что он не юная дева, подобная им. Хирон, воспитавший его столь добродетельным, — единственный праведник, если не считать императора Траяна *, достигший славы небесной соблюдением одного только естественного закона. А ведь он был лишь наполовину человек.

Полагаю, этим примером я доказала, что можно достигнуть вечного блаженства, обладая хоть частью

человеческого тела, лишь бы это была часть благородная. И неужели то, чего достиг кентавр Хирон даже без обновляющей силы крещения, будет недостижимо для крещеных пингвинов, если только превратить их в полупингвинов-полулюдей?! А посему умоляю вас, господи, даровать пингвинам старца Маэля человеческую голову и стан, дабы они могли достойным образом воздавать вам хвалу, и наделить их бессмертными душами, однако лишь небольшого размера.

Так говорила св. Екатерина, и отцы, ученые богословы, исповедники и священнослужители сопровождали ее речь одобрительным шепотом.

Но св. Антоний, отшельник, поднялся со своего места и воскликнул, простирая ко всевышнему узловатые красные руки:

— Не делайте этого, господи боже мой! Заклинаю духом святым, не делайте этого!

В пылу речи он тряс длинной белой бородой, как голодная лошадь трясет подвешенной к морде пустою торбой.

— Не делайте этого, господи! Да и птицы с человечьей головой — это уже существует. Воображение святой Екатерины не создало ничего нового.

— Воображение соединяет и сопоставляет, оно ничего не создает вновь, — сухо заметила св. Екатерина.

— ...Это уже существует, — продолжал св. Антоний, не желая ничего слушать. — Такие создания зовутся гарпиями, они — самые непристойные твари во всей вселенной. Однажды, когда у меня в пустыне ужинал игумен святой Павел *, я накрыл стол у порога своей хижины, под сенью старой смоковницы. На ее ветви слетелись гарпии; они оглушали нас своим пронзительным криком и все время гадили нам в пищу. Несносные чудовища помешали мне выслушать поучения игумена святого Павла, и мы вкушали хлеб наш и латук вместе с птичьим пометом. Да как же поверить, чтобы гарпии могли достойно воздавать вам хвалу, о господи!

Подвергаясь искушениям, я, конечно, видел немало существ, являвших собою самые странные помеси. Я видел не только женщин-змей и женщин-рыб, но еще

более нелепые сочетания, — как, например, людей с телами в виде кастрюли, колокола, башенных часов, поставца, полного съестных припасов и посуды, а то и целого дома с дверями и окнами, через которые можно видеть обитателей, занятых домашней работой. Не хватит вечности, чтобы описать все чудовищные существа, осаждавшие меня в моем пустынножительстве, — от китов, оснащенных подобно кораблям, до целого ливня красных козявок, обращавших воду моего колодца в кровь. Но ни одна из этих тварей не была так отвратительна, как гарпии, спалившие своими испражнениями листву моей прекрасной смоковницы.

— Гарпии — чудовища женского пола с птичьим телом, — заметил Лактанций. — От женщины у них голова и грудь. Женская природа гарпий — источник их наглости, бесстыдства и похотливости, как показал поэт Вергилий в своей «Энеиде». Они сопричастны проклятию, тяготеющему над Евой.

— Не будем больше упоминать об этом проклятии, — сказал господь. — Вторая Ева искупила грех первой *.

Павел Орозий *, автор «Всемирной истории», впоследствии нашедший подражателя в лице Боссюэ *, поднялся и стал умолять господа:

— Господи! Внемлите моим мольбам и мольбам Антония. Перестаньте измышлять чудовищ наподобие кентавров, сирен и фавнов, столь любезных грекам, собирателям всяких басен. Вам они не доставят ни малейшего удовлетворения. У таких чудовищ языческие наклонности, и, в силу двойственной природы своей, они не предрасположены к чистоте нравов.

Сладчайший Лактанций возразил на это следующим образом:

— Мы только что выслушали того, кто является в раю, несомненно, лучшим историком, поскольку Геродот, Фукидид, Полибий, Тит Ливий, Веллей Патеркул, Корнелий Непот, Светоний, Манефон, Диодор Сицилийский, Дион Кассий и Лампридий лишены лицезрения божия, а Тацит * подвергается в аду мукам, положенным за богохульство. Но Павел Орозий далеко не так хорошо знает небеса, как землю. Ибо он не подумал о том, что

ангелы, соединяющие в себе человеческое и птичье начало, — сама чистота.

— Мы отклонились от темы, — сказал предвечный. — При чем тут ваши кентавры, гарпии, ангелы! Дело касается пингвинов.

— Воистину так, господи, дело касается пингвинов! — воскликнул старейшина пятидесяти ученых мужей, при земной своей жизни поставленных в тупик александрийскою девой. — И я осмеливаюсь выразить мнение, что, дабы прекратить соблазн, смутивший даже небеса, необходимо, как предлагает святая Екатерина, некогда поставившая нас в тупик, даровать пингвинам старца Маэля человеческое тело половинной величины и вечную душу соответствующего размера.

После этой речи в собрании поднялся великий шум от всяких бесед и ученых споров. Греческие отцы церкви яростно спорили с римскими относительно сущности, природы и размеров души, которую надлежало дать пингвинам.

— Исповедники и священнослужители! — воскликнул господь. — Не уподобляйтесь конклавам и синодам земным. Не переносите в церковь торжествующую те страсти, что смущают церковь воинствующую *. Ибо следует признать, что на всех боговдохновенных соборах в Европе, Азии и Африке благочестивые отцы вцеплялись друг другу в бороду. Но все же они были непогрешимы, ибо я пребывал с ними.

Порядок был восстановлен. Тогда встал старец Гермий и медленно заговорил:

— Слава тебе, господи, за то, что твоим произволением мать моя Сафира родилась среди твоего народа в те дни, когда небесная роса освежала землю, готовую породить своего спасителя. И еще слава тебе, господи, за то, что ты дал моим смертным очам увидеть апостолов твоего божественного сына. Произнесу слово свое в этом блестящем собрании, ибо, по воле твоей, устами смиренных глаголет истина. И скажу: преврати этих пингвинов в людей. Только такое решение достойно твоей справедливости и твоего милосердия.

Многие ученые мужи стали просить слова. Другие брали не спрашивая. Никто никого не слушал, и все

исповедники шумно размахивали пальмовыми ветвями и венками.

Господь мановением десницы утихомирил своих избранных.

— Довольно! — сказал он. — Мнение, высказанное кротким старцем Гермием, одно только согласуется с моими извечными предначертаниями. Эти птицы будут превращены в людей. Предвижу немало осложнений. Многие из таких людей запятнают себя проступками, которые не были бы вменены им в вину, останься они птицами. В связи с превращением участь их, несомненно, будет менее завидна, чем она была бы без крещения и присоединения к семье Авраамовой. Но, как надлежит, мое предвидение не исключает их свободной воли. Дабы не стеснять человеческой свободы, я остаюсь в неведении о том, что знаю, я плотно завешиваю себе очи пеленой, мною самим разорванной, и, в слепой своей прозорливости, дивлюсь тому, что предвидел.

Затем, призвав к себе архангела Рафаила, сказал ему:

— Лети к святому мужу Маэлю, объясни ему, в какую он впал ошибку, и повели, чтобы он моим именем превратил пингвинов в людей.

Глава VIII
Превращение пингвинов

Спустившись на остров пингвинов, архангел застал святого мужа спящим в углублении между скал, среди своих новых учеников. Он положил ему руку на плечо и, пробудив его, сказал тихим голосом:

— Не бойся, Маэль!

Святой муж, ослепленный ярким светом, опьяненный дивным благоуханием, понял, что это ангел господень, и простерся ниц.

И тогда ангел сказал:

— Узнай, Маэль, что ты впал в ошибку: думая окрестить детей Адамовых, ты окрестил птиц; и вот из-за тебя пингвины присоединены к церкви божией.

Услышав это, старец остолбенел.

А ангел продолжал:

— Встань, Маэль, вооружись всесильным именем божиим и повели этим птицам: «Станьте людьми».

И святой Маэль после слезной молитвы вооружился всесильным именем божиим и повелел птицам:

— Станьте людьми!

Тотчас вслед за этим пингвины преобразились. Лоб у них раздался в ширину, а череп стал выпуклым, как купол церкви святой Марии Округлой, что в городе Риме. Удлиненные глаза их широко раскрылись на мир божий; мясистый нос облек щели ноздрей; клюв превратился в рот, и оттуда послышались слова; шея стала короче и толще, крылья преобразились в руки, а лапы — в ноги; грудь стала обиталищем беспокойной души.

Все же в них остались кое-какие следы первоначальной их природы. Они не утратили привычки поглядывать искоса; при ходьбе продолжали раскачиваться на своих коротких ножках; на теле у них сохранился легкий пушок.

Маэль возблагодарил господа за присоединение этих пингвинов к семье Авраамовой.

Но он скорбел при мысли о том, что вскоре навсегда покинет этот остров и что без него, быть может, погибнет вера пингвинов, оставленная без попечения, подобно слишком молодому и слишком слабому деревцу. И он задумал переместить их остров к берегам Арморики.

— Пути вечной премудрости божией неисповедимы, — рассудил он. — Но если богу угодно, чтобы остров был перемещен, кто может этому воспрепятствовать!

И из льна епитрахили своей он сплел тоненькую веревку длиною в сорок футов. Одним концом веревки он обвязал верхушку скалы, торчавшей среди прибрежных песков, другой конец взял в руки и так вошел в свое каменное корыто. Корыто заскользило по морю и потащило остров пингвинов за собою. После девятидневного плавания оно вместе с островом благополучно достигло бретонских берегов.

Книга вторая
ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА

Глава I

Первые одежды

В тот день св. Маэль сел на берегу океана на камень и почувствовал, что камень горяч. Он решил, что это от солнца, и возблагодарил создателя, не подозревая, что здесь только что сидел диавол.

Проповедник стал ждать прибытия ивернских монахов, коим поручено было доставить большой груз тканей и шкур, дабы одеть жителей острова Альки.

Вскоре он увидел, как на берег сошел монах по имени Магис с сундуком на спине. Монах этот славился святой жизнью.

Приблизившись к старцу, он поставил сундук на землю и сказал, отирая лоб рукавом:

— Так значит, отец мой, вы хотите одеть своих пингвинов?

— Это крайне необходимо, сын мой, — отвечал ему старец. — С тех пор как пингвины присоединены к семье Авраамовой, они причастны проклятию, тяготеющему над Евой, и сознают свою наготу, чего раньше не было. Следует незамедлительно всех одеть, ибо у них уже сходит с тела пушок, оставшийся после превращения.

— Это верно, они голы, — сказал Магис, оглядывая берег, где пингвины были заняты ловлей креветок или собиранием ракушек, а то пели песни или спали. — Но

как вы полагаете, отец мой, не лучше ли оставить их голыми? Зачем их одевать? Нося одежды и подчиняясь законам нравственности, они возгордятся, станут лицемерными и слишком жестокими.

— Неужели, сын мой, ты такого низкого мнения о законах нравственности! — со вздохом сказал старец. — Ведь им подчиняются даже язычники.

— Законы нравственности, — заметил Магис, — обязывают людей, каковые суть те же звери, жить не позвериному, — это для них тягостно, но в то же время весьма лестно и успокоительно. А так как люди чванливы, трусливы и падки на удовольствия, они охотно подчиняются принуждениям нравственности, ибо это тешит их самолюбие и внушает им уверенность в нынешнем дне, а также надежду на будущее блаженство. Такова основа всякой нравственности... Но не будем отклоняться в сторону. Мои спутники сгружают на этот остров ткани и звериные шкуры. Пока есть еще время, подумайте хорошенько, отец мой! Решение одеть пингвинов может привести к весьма важным последствиям. В настоящее время, когда какой-нибудь пингвин пожелает пингвинку, ему точно известно, чего он желает, и его вожделения ограничены вследствие ясного представления о вожделенном. Вот и сейчас, на берегу, двe-три четы пингвинов на солнышке предаются любви. Смотрите, с какой простотой это делается! Никто не обращает на них внимания, да и сами они не так уж увлечены всем этим. Но когда пингвинки облекут себя покровами, пингвины не будут так хорошо отдавать себе отчет в том, что же их привлекает к ним. Их неясные желания превратятся в грезы и иллюзии, — словом, отец мой, они познают любовь и ее безумные муки. А между тем пингвинки будут опускать глазки и поджимать губки с таким видом, как будто скрывают под своими одеждами некое сокровище... Тошно подумать!

Зло будет еще терпимо, пока жизнь этих племен останется грубой и скудной; но погодите, отец мой, через какую-нибудь тысячу лет вы увидите, сколь опасным оружием снабдили вы дочерей Альки. Если позволите, я вам заранее покажу это наглядно. В сундуке у

меня имеются кое-какие тряпки. Подзовем любую из этих пингвинок, на которых пингвины обращают сейчас так мало внимания, и постараемся по возможности принарядить ее.

Да вот какая-то пингвинка идет в вашу сторону. Она ни красивей, ни безобразней других. Молодая. Никто на нее и не взглянет. Она беспечно бродит среди прибрежных скал, ковыряя в носу и почесываясь ниже поясницы. Сами видите, отец мой, плечи у нее узкие, груди обвислые, живот жирный, желтый, ноги короткие. Колени красные и при каждом шаге образуют морщины, словно это гримасничают две обезьяньи мордочки. Жилистые растопыренные ступни цепляются за скалы четырьмя крючковатыми пальцами, а большие пальцы ног торчат кверху, словно две змеи, настороженно поднявшие головы. Она всецело занята ходьбой; все ее мышцы напряжены в этой работе. И, видя ее тело в действии, мы получаем впечатление, что это машина, предназначенная больше для ходьбы, чем для любви, хотя, совершенно очевидно, она пригодна и для того и для другого, обладая вдобавок еще рядом разных приспособлений. Посмотрите же, досточтимый отец проповедник, что я из нее сделаю!

При этих словах монах Магис в три прыжка настигает пингвинку, хватает ее поперек тела, тащит, волоча ее волосы по земле, и бросает, охваченную ужасом, к ногам святого Маэля.

Она плачет, умоляет пощадить ее, а Магис меж тем вынимает из сундука пару сандалий и приказывает ей примерить их.

— Стянутые шерстяными тесемками, ее ступни будут казаться меньше, — пояснил он старцу. — Благодаря подошвам толщиною в два пальца ноги у нее изящно удлинятся и она приобретет величественную осанку.

Завязывая на ногах сандалии, пингвинка с любопытством бросила взгляд в открытый сундук и, видя, что он полон нарядов и драгоценностей, улыбнулась сквозь слезы.

Монах свернул ее волосы узлом на затылке и надел ей на голову шляпу с цветами. Руки ее он украсил

золотыми запястьями, а затем, поставив ее перед собою, опоясал широкой льняной повязкой, утверждая, что это придаст бо́льшую пышность груди, гибкость стану и округлость бедрам.

Вынимая изо рта булавку за булавкой, он принялся закалывать на пингвинке пояс.

— Можно чуть потуже, — сказала она.

Старательно и умело придав форму дряблым грудям пингвинки, он надел на нее розовую тунику, мягко обрисовавшую линии тела.

— Хорошо ли сидит? — спросила пингвинка. Изогнувшись, повернув голову набок и уперев подбородок в плечо, она внимательно изучала фасон своего туалета.

Магис спросил, не находит ли она, что платье длинновато, но пингвинка с уверенностью отвечала, что нисколько не длинновато и что она будет подбирать его рукою.

И тотчас же левой рукой подхватила юбку сзади, обтянула ее на себе повыше икр, притом так, чтобы были чуть-чуть видны пятки. Затем она удалилась мелкими шажками, покачивая бедрами. Она не оборачивалась по сторонам, но, проходя мимо ручья, краешком глаза поглядела на свое отражение.

Какой-то пингвин, которому она попалась навстречу, остановился в изумлении, потом, повернув назад, пошел за нею. Все время, пока она шла по берегу, пингвины, возвращаясь с рыбной ловли, подходили к ней, глядели во все глаза и поворачивали за нею следом. Лежавшие на песке поднимались с места и присоединялись к толпе.

При ее приближении все новые и новые пингвины спускались к ней с горных тропинок, выходили из расщелин между скалами, появлялись из воды, так что свита ее непрестанно росла. И все они — зрелые мужчины с могучими плечами и волосатой грудью, гибкие юноши, старики с розовыми морщинистыми телами, поросшими седой щетиной и трясущимися на ходу, или с заплетающимися ногами, тоньше, суше той можжевеловой палки, что служила им в качестве третьей ноги, — все спешили к пингвинке, задыхаясь, издавая

острый запах и громко сопя. Но она оставалась спокойной, словно ничего не замечала.

— Отец мой, — воскликнул Магис, — полюбуйтесь, как все они шагают за ней, нацелившись носами в сферический центр сей молодой особы, — а все оттого, что он прикрыт розовой тканью. Своими разнообразными свойствами шар вызывает у геометров немало размышлений. А если он принадлежит к миру телесному и живому, то приобретает новые качества. И для того чтобы пингвинам открылось полностью все значение этого геометрического тела, понадобилось, чтобы они перестали отчетливо воспринимать его своим зрением и вынуждены были представлять себе в уме. Да, чувствую, что и меня самого неудержимо повлекло к этой пингвинке. Потому-ли, что юбка придала необходимую выпуклость ее заду и, сочетая в нем простоту с величием, облекла его синтетическим, обобщающим смыслом, выявила в нем лишь чистую идею, лишь божественный принцип, — не знаю, но мне кажется, если я обниму ее, то достигну вершины чувственной радости. Несомненно, стыдливость делает женщин непреодолимо заманчивыми. Я полон такого волнения, что не в силах его скрывать.

При этих словах, бесстыдно подняв полы своего одеяния, он устремляется к толпе пингвинов, оттесняет их в сторону, расшвыривает, опрокидывает на землю, топчет их ногами, наконец нагоняет дочь Альки, обхватывает руками ее розовый сфероид, привлекавший к себе взгляды и желания целого племени, — и она, уносимая монахом, внезапно скрывается в прибрежной пещере.

Тут пингвинам показалось, будто солнце померкло. А святой Маэль понял, что это диавол обернулся монахом Магисом, чтобы дать одежду дочери Альки. Плотское искушение овладело и самим старцем, и душа его впала в скорбь. Медленно возвращаясь к своему отшельническому жилищу, он видел, как маленькие пингвиночки, лет шести-семи, не больше, плоскогрудые и тонконогие, опоясались повязками из морских водорослей и разгуливают по берегу, поглядывая, не идут ли за ними мужчины.

Глава II

Первые одежды

(Продолжение и окончание)

Святой Маэль был до глубины души огорчен тем, что первые покровы, надетые на дочь Альки, нанесли только вред целомудрию пингвинов, а отнюдь не послужили ему на пользу. Однако он упорно оставался при своем намерении одеть обитателей чудесного острова. Созвав их на берег, он роздал им привезенную ивернскими монахами одежду. Пингвины получили штаны и короткие туники, пингвинки — длинные платья. Но платья эти произвели далеко не столь сильное впечатление, как туалет той пингвинки. Они были не такие красивые, покрой у них был простой, неизящный, и никто на них не обращал внимания, потому что их можно было видеть на всех. Так как пингвинки занимались стряпней и работали в поле, у них скоро остались одни грязные кофты да измызганные юбки. Пингвины взваливали на несчастных своих подруг непосильную работу, так что те уподоблялись рабочему скоту. Пингвины не знали сердечных волнений и порывов страсти. Нравы их были безыскусственны. Нередкое среди них кровосмешение отличалось сельской простотой, и если какому-нибудь молодому парню случалось в пьяном виде совершить насилие над собственной бабушкой, то на следующий день он об этом уже не помнил.

Глава III

Межевание полей и возникновение собственности

Остров пингвинов отнюдь не сохранял того сурового вида, как во времена, когда, окруженный плавучими льдами, он в скалистом амфитеатре своем давал приют бесчисленному птичьему населению. Гора, некогда высоко возносившая свою снежную вершину, осела, превратившись в небольшую возвышенность, с которой можно было видеть берега Арморики, окутанные вечным туманом, и океан, усеянный угрюмыми скалами, выглядывавшими из водных глубин подобно

некиим чудовищам. Берега, более плоские, чем прежде, были глубоко изрезаны, так что остров стал похож на лист тутового дерева. Он вдруг порос солоноватой травою, до которой так лакомы стада, ивами, могучими смоковницами и величественными дубами. Об этом имеются свидетельства у Бэды Достопочтенного * и у многих других авторов, заслуживающих полного доверия.

На севере берег образовывал глубокую бухту, где впоследствии возник порт, один из самых прославленных во всем мире. На востоке, вдоль берегов, где, набегая на скалы, пенились морские валы, простиралась пустынная низменность, поросшая благовонными травами. Это был Берег Теней, куда островитяне не отваживались проникать, опасаясь змей, гнездившихся в расщелинах скал, и боясь встретить души умерших, скользившие там бледными языками пламени. На юге плодовые сады и рощи окаймляли теплую Гагарью бухту. На этом благословенном берегу старец Маэль поставил церковь и деревянную монастырскую обитель. На западе две речки, Кланж и Сюрель, орошали плодородные долины — Далльскую и Домбскую. И вот однажды, осенним утром, прогуливаясь по берегу Кланжа с одним ивернским монахом по имени Буллок, блаженный Маэль увидел, что по дорогам движутся отряды разъяренных людей, вооруженных каменьями. В то же самое время он услышал со всех сторон крики и стоны, поднимавшиеся из долины к спокойным небесам.

И он сказал Буллоку:

— С грустью замечаю, сын мой, что, с тех пор как жители острова превратились в людей, они стали вести себя менее разумно, чем прежде. Будучи птицами, они ссорились друг с другом только в пору любви. А теперь они враждуют во всякое время, готовые вступать в драку зимою и летом. Где то величавое спокойствие, которое некогда господствовало на собрании пингвинов, придавая ему сходство с сенатом мудро устроенного государства!

Взгляни, сын мой Буллок, в сторону Сюрели. Там, посреди свежей зелени долины, двенадцать пингвинов заняты тем, что убивают друг друга лопатами и мотыгами, вместо того чтобы обрабатывать ими землю.

А женщины, еще более жестокие, чем мужчины, ногтями раздирают лицо обоим врагам. Увы, сын мой Буллок, почему они истребляют друг друга?

— Из чувства общественности, отец мой, и в предусмотрении будущего, — отвечал Буллок. — Ибо человек по природе своей существо предусмотрительное и общественное. Таков его характер. Человек не представляет себе существования без приобретения собственности. Эти пингвины, учитель, заняты тем, что приобретают землю.

— Но разве нельзя приобретать ее без такого насилия? — спросил старец. — Сражаясь друг с другом, они обмениваются бранью и угрозами. Я не разбираю слов, но в голосах слышен гнев.

— Они обвиняют друг друга в воровстве и захватничестве, — отвечал Буллок. — Таков основной смысл их пререканий.

В это мгновение святой Маэль, всплеснув руками, испустил глубокий вздох.

— Смотри, сын мой, — воскликнул он, — смотри, как яростно вон тот пингвин впился зубами в нос своего поверженного противника, а другой мозжит голову женщине огромным камнем!

— Вижу, — отвечал Буллок. — Они заняты тем, что создают право, устанавливают собственность, утверждают основы цивилизации, устои общества и законы.

— Каким же это образом? — спросил старец Маэль.

— Межуя свои поля. Это начало всякого общественного порядка. Твои пингвины, учитель, выполняют величественнейшую задачу. Дело их будет на протяжении веков освящено законоведами, поддержано и утверждено судьями.

Пока монах Буллок говорил это, какой-то крупный пингвин, белокожий и рыжий, спустился в долину, неся на плече ствол дерева. Приблизившись к черному от загара маленькому пингвину, поливавшему свой латук, он крикнул ему:

— Твое поле принадлежит мне!

Произнеся эти властные слова, он ударил маленького пингвина дубиной по голове, и тот пал мертвым на землю, возделанную его собственными руками.

При таком зрелище святой Маэль задрожал всем телом и пролил обильные слезы.

И голосом, сдавленным от страха и отвращения, он вознес к небесам такую молитву:

— Господи боже мой! Ты, приявший жертву Авеля и предавший Каина проклятию, отмсти, господи, за этого пингвина, без вины убиенного на поле своем, да восчувствует убийца тяжесть десницы твоей. Ибо есть ли, о господи, более гнусное злодеяние, более тяжкое оскорбление твоему правосудию, чем это убийство и этот грабеж?

— Имейте в виду, отец мой, — кротко возразил ему Буллок, — то, что вы называете убийством и грабежом, — не что иное, как война и завоевание, священные основы империй, источники всех доблестей и всего величия человеческого. В особенности подумайте о том, что, порицая большого пингвина, вы нападаете на собственность в самом ее зарождении и сущности. Я без труда докажу вам это. Возделывать землю — одно, владеть ею — совсем другое. Эти явления не следует смешивать. В области собственности право первого заимщика весьма неопределенно и юридически слабо обосновано. Право завоевателя, напротив, покоится на прочном основании. Только оно достойно уважения, ибо только оно принуждает уважать себя. Собственность имеет своим единственным и достославным источником силу. Сила порождает собственность, и она же охраняет ее. Поэтому собственность священна и уступает только большей силе. Вот почему справедливо утверждение, что, кто владеет собственностью, тот благороден. И этот высокий рыжий человек, убивая земледельца, дабы завладеть его полем, положил начало одному из благороднейших родов своей страны. Пойду поздравить его.

И Буллок подошел к высокому пингвину, который, опираясь на свою палицу, стоял у окровавленной борозды.

И, поклонившись ему в пояс, промолвил:

— Грозный владыка, великий Греток, я пришел воздать вам уважение, как основателю законной власти и родового богатства. Зарытый в вашей земле, череп

жалкого пингвина, поверженного вами, останется вечным доказательством священных прав ваших потомков на эту землю, облагороженную вами. Счастливы дети ваши и дети детей ваших. Они будут носить имя Гретоков, герцогов Скаллских *, и будут править островом Алькой.

Затем, повернувшись к святому старцу Маэлю, громко прибавил:

— Отец мой, благословите Гретока. Ибо всякая власть от бога.

Маэль стоял, не двигаясь, безмолвно подняв глаза к небу; доктрина монаха Буллока вызывала в нем горькие сомнения. И, однако, именно этому учению суждено было торжествовать в эпохи высокой цивилизации. Буллока можно считать создателем гражданского права в Пингвинии.

Глава IV

Первое собрание Генеральных штатов Пингвинии

— Сын мой Буллок, — сказал старец Маэль, — надобно произвести перепись пингвинов и внести их всех в книгу.

— Это необходимо, — отвечал Буллок. — Без переписи невозможно никакое управление.

И тотчас же проповедник с помощью двенадцати монахов приступил к всенародной переписи.

Потом старец Маэль сказал:

— Теперь, когда у нас есть списки всех жителей острова, сын мой Буллок, следует установить справедливые налоги, чтоб иметь средства на общественные расходы и на содержание монастыря. Каждый должен облагаться сообразно своему достатку. Поэтому, сын мой, созови алькских старейшин, и совокупно с ними мы установим налоги.

Старейшины, числом тридцать, собрались во дворе деревянного скита, под большой смоковницей. Это было первое собрание пингвинских Генеральных штатов. На три четверти оно состояло из богатых крестьян с берегов Сюрели и Кланжа. Греток, как самый знатный среди пингвинов, сидел на самом высоком камне.

Преподобный Маэль, заняв место посреди своих монахов, обратился к собравшимся со следующим словом:

— Дети мои, господь наш, по своему произволению, дает людям богатство и отнимает его. И вот я собрал вас здесь, дабы совместно с вами наложить на народ наш подати для получения средств на общественные нужды и на содержание монахов. Подати эти, я полагаю, надлежит взимать сообразно достатку каждого. Так, имеющий сто быков отдаст из них десять, имеющий десять — одного.

Когда святой муж окончил свою речь, поднялся Морио, земледелец из Аниса-на-Кланже, один из самых богатых пингвинов, и сказал:

— О отец мой Маэль! Я признаю, что совершенно справедливо брать с каждого на общественные расходы и церковные нужды. Уж я-то готов лишиться всего своего имущества ради братьев моих пингвинов, рубашку с себя — и ту готов отдать. Все старейшины народные тоже согласны пожертвовать своими богатствами. Кто усомнится в их преданности своей стране и вере! Поэтому надо считаться только с общественной пользой и все подчинить ее требованиям. И вот, отец мой, общественная польза требует, она предписывает не брать много с тех, кто многим владеет, ибо тогда богатые станут менее богаты, а бедные — еще бедней. Ведь бедные питаются добром богатых; поэтому богатство священно. Не трогайте его, это бесполезная жестокость! Отнимая у богатых, вы не получите никакой выгоды: ведь богатых немного; напротив, вы лишитесь последнего, так как страна впадет в нищету. Между тем, если вы обратитесь за небольшой помощью к каждому из жителей острова, независимо от достатка, то собранного хватит на общественные нужды, и вы избавитесь от необходимости разузнавать о доходах граждан, которых подобного рода расследования способны глубоко задеть. А накладывая тяготы в небольших размерах на всех равномерно, вы пощадите неимущих, потому что оставите им такую подмогу, как богатство имущих. Да и возможно ли распределять налог в зависимости от достатка! Вчера у меня было двести быков, сегодня их шестьдесят, а завтра будет

сто. У Клюника — три коровы, но тощие; у Никклю — только две, зато жирные. Кто же из них богаче — Клюник или Никклю? Признаки благосостояния очень обманчивы. Несомненно только одно: каждый ест и пьет. Вот и установите налог на еду и питье. Это будет мудро и справедливо.

Так сказал Морио, и старейшины рукоплескали ему.

— Эта речь достойна быть запечатленной на бронзовых таблицах! — воскликнул монах Буллок. — Она — завет будущим поколениям; через полторы тысячи лет лучшие среди пингвинов будут высказываться точно таким же образом.

Еще не стихли рукоплескания старейшин, как Греток, положив руку на рукоять меча, объявил без лишних слов:

— Я благороден и налога платить не буду, платить налог неблагородно. Пусть платит чернь.

Выслушав это, старейшины молча разошлись.

Так же, как было в Риме, перепись стали производить в Пингвинии каждые пять лет, и благодаря этому было установлено, что народонаселение быстро растет. Несмотря на необычайную детскую смертность, несмотря на то, что голод и моровая язва то и дело, с поразительной настойчивостью, опустошали целые селения, — новые пингвины, все более многочисленные, содействовали своею личной нищетой общественному процветанию.

Глава V

Брак Кракена и Орброзы

В те времена жил на острове Альке один сильный и хитрый пингвин по имени Кракен. Он поселился в пещере на Берегу Теней, куда жители острова никогда не отваживались ходить, опасаясь змей, гнездившихся в расщелинах скал, и боясь встретить души пингвинов, умерших некрещеными; эти души блуждали по мрачному берегу, похожие на бледные языки пламени, испуская протяжные стоны. Все полагали, неизвестно почему, что среди пингвинов, превращенных блаженным Маэлем в людей, некоторые не полу-

чили крещения и теперь, после смерти, бродят по берегу и плачут под завывания бури. На этом диком берегу и поселился Кракен в неприступной пещере. В нее можно было проникнуть только через естественный подземный ход длиной в сто футов, скрытый в лесной чаще.

Но вот как-то вечером Кракен шел по пустынному полю и вдруг встретил прелестную молодую пингвинку. Это была та самая, которую некогда своими руками одел монах Магис, первая среди пингвинок, стыдливо прикрывшая свою наготу. В память о дне, когда восхищенная толпа пингвинов следила за ее торжествующим бегом в платье цвета зари, эта дева получила имя Орброзы [1].

При виде Кракена она испустила крик ужаса и бросилась бежать. Но герой схватил ее за развевающиеся одежды и обратился к ней со словами:

— Дева, скажи мне, как тебя зовут, какого ты рода, из какой страны?

Однако Орброза смотрела на Кракена по-прежнему с ужасом.

— Вы ли сами передо мною, господин мой, или это ваша беспокойная душа? — с трепетом спросила она.

Она говорила так потому, что жители Альки, ничего не зная о Кракене с тех пор, как он поселился на Берегу Теней, думали, что он умер и стал ночным духом.

— Не бойся, дочь Альки, — отвечал Кракен. — С тобой говорит не блуждающая душа, но сильный и могущественный человек. Скоро я буду владеть огромным богатством.

И юная Орброза спросила:

— Как же рассчитываешь ты приобрести огромное богатство, о Кракен? Ведь ты только пингвин.

— Я достигну этого при помощи своего ума, — отвечал Кракен.

— Да, я знаю, — сказала Орброза, — живя среди нас, ты славился своею ловкостью как рыболов и

---

[1] «Orbe» — поэтическое название шара в применении к небесным телам. В широком смысле слова — всякого рода шарообразное тело (*Литтре* *). (*Прим. автора.*)

охотник. Никто не может с тобой сравняться в искусстве ловить рыбу сетью или пронзать стрелою быстролетных птиц.

— Это занятия низкие и утомительные, о юная дева. Я открыл способ приобрести большое богатство, не изнуряя себя трудом. Но скажи мне, кто ты?

— Меня зовут Орброзой, — отвечала юная дева.

— Почему же ты оказалась в ночную пору так далеко от своего жилища?

— На то была воля неба, Кракен.

— Что это значит, Орброза?

— Это значит, что само небо, о Кракен, поставило меня на твоем пути с неведомой мне целью.

Кракен долго смотрел на нее в мрачном молчании. Потом вдруг ласково промолвил:

— Войди в мой дом, Орброза. Это дом самого искусного и самого храброго среди сынов Пингвинии. Если ты пойдешь за мною, то станешь моей подругой.

Тогда, опустив глаза, она прошептала:

— Я пойду за вами, господин мой.

Так прекрасная Орброза стала подругой героя Кракена. Этот брак не был ознаменован торжественными песнопениями при свете факелов, потому что Кракен не хотел показываться пингвинскому народу: укрывшись в своей пещере, он строил великие замыслы.

Глава VI

Алькский дракон

«Потом пошли мы осматривать кабинет естествознания. Хранитель показал мне какую-то соломенную плетенку, сообщив, что в ней находятся кости дракона. — Доказательство, что дракон — существо отнюдь не баснословное, — прибавил он».
(*Мемуары Джакомо Казановы* *, Париж, 1843, т. IV, стр. 404—405.)

Между тем обитатели Альки предавались мирным трудам. Те, кто жил на северном побережье, ездили на лодках ловить рыбу и собирать ракушки. Домбские

земледельцы сеяли овес, рожь и пшеницу. В Далльской долине богатые пингвины разводили домашний скот, а жители Гагарьей бухты занимались садоводством. Купцы из Порт-Альки вели с Арморикою торговлю соленой рыбой. Бретонское и британское золото, проникая на остров, облегчало торговые сношения. Пингвинский народ спокойно наслаждался плодами своих трудов, как вдруг зловещая молва побежала из селенья в селенье. Всюду сразу стало известно, что ужасный дракон дотла разорил две фермы в Гагарьей бухте.

А за несколько дней до того пропала дева Орброза. Ее хватились не сразу, так как и прежде то один, то другой сильный мужчина, воспылав к ней любовью, похищал ее. И пингвинские мудрецы не удивлялись этому: ведь она была прекраснейшей из дев Пингвиний. Было замечено, что иногда она даже шла навстречу своим похитителям: ведь от судьбы не уйдешь. Однако на этот раз, видя, что ее нет и нет, все испугались: уж не сожрал ли ее дракон?

Вместе с тем жители Далльской долины вскоре убедились, что этот дракон — не пустая выдумка женщин, любящих поболтать у источника. Ибо однажды ночью в деревне Анис чудовище сожрало шесть кур, барана и сиротку-мальчика по имени Эло. Наутро от похищенных не осталось и следа.

Сельские старейшины немедленно собрались на площади Совета и, усевшись на каменную скамью, стали обсуждать, что делать в подобных ужасных обстоятельствах. И, призвав к себе всех, кто видел дракона в эту ужасную ночь, спросили их:

— Заметили ли вы, каков он видом и что у него за повадки?

И все по очереди отвечали:

— У него львиные когти, орлиные крылья и змеиный хвост.

— На спине у него щетинистый гребень.

— Весь он покрыт желтой чешуей.

— Взгляд его зачаровывает и поражает, как молния. Из пасти его извергается пламя.

— Он заражает воздух своим дыханием.

— У него голова драконья, когти львиные, хвост — как у рыбы.

Но одна жительница Аниса, слывшая женщиной положительной и разумной, — та самая, у которой дракон похитил трех кур, — сообщила следующее:

— С виду он совсем как человек. Я даже обозналась и подумала было, что это мой муженек, так что сказала ему: «Иди ты спать, дурачина!»

Другие говорили:

— Он вроде облака.

— Он словно гора.

А какой-то ребенок пришел и сказал:

— Я видел, как у нас в риге дракон снял с себя голову, чтобы поцеловать мою сестрицу Минни.

И еще спрашивали старейшины:

— Какой величины был дракон?

Им отвечали:

— Как бык.

— Как большие торговые корабли бретонцев.

— Ростом с человека.

— Выше смоковницы, под которой вы сидите.

— Не больше собаки.

На вопрос, какого он цвета, жители отвечали:

— Красный.

— Зеленый.

— Синий.

— Желтый.

— Голова у него совсем зеленая, крылья — ярко-оранжевые с розовым отливом и серебристо-серыми краями; зад и хвост — в коричневую и розовую полоску; живот — ярко-желтый в черную крапинку.

— Какого он цвета?.. Бесцветный!

— Цвет у него драконий *.

Услышав эти показания очевидцев, старейшины пребывали в недоумении — что же надлежит предпринять. Одни предлагали подстеречь дракона, напасть на него и пронзить множеством стрел. Другие, считая безнадежным противиться столь могучему чудовищу, советовали умиротворить его приношениями.

— Будем платить ему дань, — сказал один из них, пользовавшийся славой мудреца. — Мы можем умилостивить его дарами — вином, плодами, ягнятами, юной девственницей.

Наконец третьи советовали отравить источники, из которых он обычно пьет, или напустить дыма в его пещеру, чтобы он там задохся.

Но ни одно из этих мнений не возобладало. Долго тянулись споры, и старейшины разошлись, так и не приняв никакого решения.

Глава VII

Алькский дракон

(Продолжение)

Весь месяц, посвященный римлянами их ложному богу Марсу *, или Маворсу, дракон разорял Далльские и Домбские фермы; он уволок пятьдесят баранов, двенадцать свиней и трех мальчиков. Все семьи были в горе, и остров оглашался жалобными воплями. Чтобы заклинаниями избавиться от всеобщего бедствия, старейшины несчастных селений, орошаемых Кланжем и Сюрелью, уговорились собраться и сообща идти за помощью к блаженному Маэлю.

На пятый день месяца, название которого на языке латинян означает *открытие* *, потому что с него начинается год, процессия старейшин подошла к деревянному скиту, возвышающемуся на южном берегу острова. Впущенные в ограду, они огласили обитель стонами и рыданиями. Тронутый их жалобами, старец Маэль покинул монастырский покой, где предавался занятиям астрономией и размышлениям над Священным писанием, и спустился к ним, опираясь на свой пастырский посох. Старейшины при виде его простерлись ниц, протягивая к нему зеленые ветви. А некоторые стали курить благовонными травами.

И святой муж, сев у монастырского колодца, под древней смоковницей, обратился к ним с таким словом:

— О дети мои, потомки пингвинов, почему предаетесь вы плачу и стенаниям? Почему протягиваете ко мне с мольбою эти ветви? Почему возносите к небесам благоуханные курения? Надеетесь ли вы, что я отвращу от вашей главы некое несчастие? О чем умоляете вы меня? Я готов жизнь мою отдать за вас. Скажите же мне, чего ждете вы от своего отца?

На его вопросы ответил первый из старейшин:

— О Маэль, отец детей алькских! Дозволь мне говорить от имени всех. Ужасный дракон опустошает наши поля, уводит наш скот и уносит к себе в логово цвет нашего юного потомства. Он пожрал маленького Эло и еще семь мальчиков. Он растерзал своими прожорливыми зубами деву Орброзу, прекраснейшую из пингвинок. Ни одно селение не может уберечься от его смертоносного дыхания и опустошительных набегов.

Подвергаясь столь страшному бедствию, мы обращаемся с мольбою к тебе, о Маэль, дабы ты, мудрейший, пришел на помощь жителям острова и не дал прекратиться древнему роду пингвинов!

— О первый из алькских старейшин, — отвечал Маэль, — слова твои погружают меня в глубокую скорбь, и я сокрушаюсь при мысли о том, что над вашим островом свирепствует жестокий дракон. Случай сей не единственный, и в книгах можно найти немало рассказов о свирепых драконах. Эти чудовища водятся большей частью в пещерах, у воды и главным образом среди языческих народов. Может быть, некоторые из вас, хотя и получили святое крещение и были причислены к семье Авраамовой, продолжали все же поклоняться идолам, по примеру древних римлян, или же вешали разные изображения, обетные таблички, шерстяные повязки и гирлянды цветов на ветви какого-нибудь священного дерева. А то еще, может быть, пингвинки плясали вокруг волшебного камня и пили воду из источников, где обитают нимфы. Если это так, то следует думать, что господь бог наслал на вас дракона, дабы покарать всех за преступления некоторых и побудить вас, о сыновья пингвинов, уничтожить в вашей среде кощунство, суеверие и нечестие.

А потому укажу вам на спасительное средство против постигнувшей вас беды: тщательно разыскивайте и искореняйте следы идолопоклонства у себя в жилищах. И еще, полагаю, помогут вам молитва и покаяние.

Так сказал святой старец Маэль. И старейшины пингвинского народа, облобызав стопы его, вернулись, обнадеженные, в свои селения.

Глава VIII

Алькский дракон

(Продолжение)

Следуя советам святого Маэля, жители Альки стали усердно искоренять суеверия, зародившиеся среди пингвинов. Они следили за тем, чтобы пингвинские девушки не ходили больше танцевать вокруг дерева фей, произнося заклинания. Они сурово запретили молодым матерям прикладывать своих младенцев, для придания им силы, к камням, воздвигнутым в полях. Один домбский старец, занимавшийся предсказаниями по ячменным зернам, которые он встряхивал на сите, был брошен в колодезь.

Но чудовище продолжало еженощно опустошать птичники и стойла. Перепуганные крестьяне, ложась спать, заваливали двери изнутри кто чем мог. Одна беременная женщина, выглянув в слуховое окно и увидев на дороге, голубой от лунного света, тень дракона, так испугалась, что тут же выкинула раньше срока.

В эти дни испытаний святой Маэль непрестанно размышлял о природе дракона и способах его одолеть. После полугода исследований и молитв ему показалось, что он нашел то, чего искал. Однажды вечером, прогуливаясь по берегу моря вместе с молодым монахом по имени Самуил, он изложил ему свою мысль в следующих словах:

— Я долго изучал историю и нравы драконов, не из пустого любопытства, но в надежде найти примеры, поучительные в нынешних обстоятельствах. Такова польза, приносимая историей, сын мой Самуил.

Известно, что драконы отличаются поразительной способностью непрестанно бодрствовать. Они никогда не спят. Поэтому им часто поручают охранять сокровища. Так, дракон охранял в Колхиде * золотое руно, пока оно не было захвачено с боя Ясоном. Другой дракон стерег золотые яблоки в садах Гесперид. Он был убит Гераклом и превращен Юноною в небесное созвездие. Об этом рассказано в книгах; если это правда, то тут действовала магия, ибо языческие боги — в действительности диаволы. Еще один дракон не позволял людям грубым и невежественным пить из Кастальского ключа. Следует упомянуть также дракона Андромеды, убитого Персеем.

Но оставим языческие басни, где к истине постоянно примешиваются заблуждения. Мы обнаруживаем драконов и в повествовании о преславном архангеле Михаиле, о святых Георгии, Филиппе, Иакове Старшем, Патрике, о святых Марфе и Маргарите. В этих-то рассказах, достойных всяческого доверия, надлежит нам искать утешительных советов.

Так, история силенского дракона может послужить нам драгоценным примером. Надобно знать тебе, сын мой, что на берегу обширного пруда, неподалеку от города Силены, жил страшный дракон, который время от времени приближался к городским стенам и отравлял своим дыханием воздух предместий. И чтобы дракон не пожрал всех жителей Силены, они каждое утро отдавали ему одного на съедение. О том, кого назначить в жертву, метали жребий. И вот в конце концов жребий пал на царскую дочь.

Но святой Георгий, который был военным трибуном, приехав в город Силену, узнал, что царскую дочь только что отвели к дракону. Он тотчас же снова вскочил на коня и, вооружившись копьем, помчался вослед дракону, которого застиг в то мгновение, когда чудовище уже готово было сожрать царственную деву. Когда же святой Георгий поверг дракона на землю, царская дочь обвязала шею зверя своим поясом, и он последовал за нею, словно собака на поводке.

Из этого примера видно, как сильна власть дев над драконами. История святой Марфы может служить еще

более убедительным тому доказательством. Знаешь ли ты ее историю, сын мой Самуил?

— Да, отец мой, — отвечал Самуил.

И блаженный Маэль продолжал:

— На берегах Роны, между Арлем и Авиньоном, жил в лесу дракон, полузверь-полурыба, больше быка величиной, с острыми, как рога, зубами и с большими крыльями. Он топил корабли и пожирал всех, кто плыл на них. И вот святая Марфа, вняв мольбам народа, пошла к дракону, который в это время пожирал какого-то человека. Она повязала своим поясом шею чудовища и без труда привела его в город.

Эти два примера внушают мне мысль прибегнуть к могуществу какой-либо девы, дабы победить дракона, сеющего ужас и смерть на острове Алька.

А потому, сын мой Самуил, тебе надлежит препоясаться и обойти с двумя спутниками все селения острова, оповещая о том, что только непорочная дева может спасти остров от чудовища, истребляющего народ.

Пой псалмы и гимны и возглашай повсюду: «О сыновья пингвинов! Если есть у вас чистая дева, да поднимется она и, осенив себя крестным знамением, да поспешит одолеть дракона».

Так сказал старец, и юный Самуил обещал исполнить его повеление. На другой день он препоясал чресла свои и пустился в дорогу с двумя спутниками, дабы возвестить жителям Альки, что только непорочная дева способна освободить пингвинов от ярости дракона.

Глава IX

Алькский дракон

(Продолжение)

Орброза любила своего супруга — но не только его. В час, когда на бледном небе загоралась Венера, а Кракен наводил ужас на деревни, она спешила в маленький домик на колесах, где ее ждал молодой далльский овчар по имени Марсель, таивший в изящном теле

своем неистощимую силу. Прекрасная Орброза предавалась наслаждениям, разделяя с пастухом благоухающее травами ложе. Но, отнюдь не желая открывать ему свое настоящее имя, она назвалась Бригитой и выдавала себя за дочь садовника из Гагарьей бухты. Когда, с сожалением вырвавшись из его объятий, она шла по дымящимся туманами лугам к Берегу Теней и невзначай встречала какого-нибудь запоздалого крестьянина, то принималась помахивать покрывалом, словно большими крыльями, и кричала громким голосом:

— Прохожий, опусти глаза, чтобы не пришлось тебе говорить потом: «Увы! увы! Горе мне, ибо я видел ангела господня!»

Крестьянин, дрожа, повергался ниц. И на острове стали поговаривать, что ночью по дорогам ходят ангелы и кто их увидит, тот умрет.

Кракен ничего не знал о любовных утехах Орброзы и Марселя, ибо он был герой, а герои никогда не догадываются о проделках своих жен. Но, не подозревая об этой любви, он наслаждался ее благотворными последствиями. Возвращаясь к своей подруге, он видел, что с каждой ночью она становится все более радостной и прекрасной, что она так и дышит сладострастием, распространяя вокруг себя на супружеском ложе чудесное благоухание дикого укропа и вербены. Она любила Кракена любовью, которая была беззаботна и не слишком требовательна, так как распространялась не на него одного.

И счастливая неверность Орброзы вскоре спасла героя от большой опасности, навсегда утвердив его благополучие и славу. Ибо, повстречав в сумерках одного бельмонтского волопаса, который подгонял своих волов стрекалом, она полюбила его еще сильнее, чем овчара Марселя. Он был горбат, голова у него ушла по уши в плечи, колченогое тело раскачивалось из стороны в сторону, злые косые глаза дико глядели из-под всклокоченных волос. Говорил он грубым голосом, смеялся пронзительно и резко; от него пахло хлевом. Но ей он показался прекрасным. Одному полюбилось растение, другому — река, третьему — животное, как сказал Гнатон *.

И вот однажды в деревенском амбаре, вздыхая и предаваясь истоме в объятиях волопаса, она вдруг услышала звуки рожка, топот толпы и гул голосов; выглянула в слуховое окно и увидала, что на рыночной площади собрались жители селения и обступили какого-то молодого монаха, взобравшегося на камень и говорившего громким голосом:

— Жители Бельмонта! Игумен Маэль, досточтимый отец наш, возвещает вам моими устами, что победа над драконом не зависит ни от силы рук, ни от оружия, — одолеть его может только невинная дева. Так если есть среди вас дева, сохранившая себя в нетронутой чистоте, — пусть она встанет и поспешит против чудовища. А подойдя к нему, пусть обовьет ему шею своим поясом, и оно последует за нею покорно, как собачонка.

И, накинув капюшон себе на голову, молодой монах пошел возвещать по другим селеньям слова блаженного Маэля.

Он был уже далеко, а Орброза, поджав ноги, все сидела на соломенном ложе любви; облокотясь на колено и подперев подбородок рукою, она размышляла о словах монаха. Хоть она и считала, что могущество невинной девы гораздо менее опасно для Кракена, чем сила оружия, — однако извещение от блаженного Маэля внушило ей тревогу; какое-то неясное, но верное чутье, управлявшее ее мыслями, подсказывало ей, что отныне Кракен уже не может безнаказанно оставаться драконом.

— Сердце мое, что ты думаешь насчет дракона? — спросила она волопаса.

Мужлан ответил, качая головой:

— В старину, это верно, драконы опустошали землю; и были среди них громадные, величиною с гору. Но теперь таких не бывает. И что бы у нас там ни толковали про чудовище, покрытое чешуей, а мне сдается, тут все дело в морских разбойниках или купцах, это они уволокли к себе на корабль и красавицу Орброзу, и самых красивых алькских ребят. Пусть только кто из этих разбойников попробует увести у меня быков, уж я как-нибудь, силою либо хитростью, отважу его от этих проделок.

Слова волопаса еще больше встревожили Орброзу, и она еще сильнее почувствовала необходимость позаботиться о судьбе любимого супруга.

Глава X

Алькский дракон

(Продолжение)

Шли дни за днями, а на острове все не объявлялось девственницы, чтоб одержать победу над чудовищем. И в деревянном скиту старец Маэль, сидя на скамье под сенью древней смоковницы вместе с благочестивым монахом по имени Регименталий, спрашивал себя с грустью и тревогой, как же это во всей Альке не найдется ни одной непорочной девы, способной одолеть зверя.

Он вздохнул, брат Регименталий — тоже. Увидев в это мгновение юного Самуила, входящего в сад, старец Маэль подозвал его и промолвил:

— Я снова раздумывал, сын мой, о том, как уничтожить дракона, что пожирает цвет нашего юношества, наших стад и нашей жатвы. В этом деле история драконов святого Риока и святого Павла Леонского представляется мне особенно поучительной. Дракон святого Риока был длиною в шесть туазов; головой он походил одновременно на петуха и на василиска *, а туловищем был змеебык. Он опустошал берега Элорна во времена короля Бристока. Святой Риок, будучи тогда двух лет от роду, отвел его на бечевке к самому морю, где чудовище покорно утопилось. Не менее страшен был дракон святого Павла, длиною в шестьдесят футов. Блаженный просветитель Леонский обвязал его своей епитрахилью, а другой конец вложил в руку одному знатному юноше, известному своей чистотой. Эти примеры показывают, что девственник не менее угоден господу, чем девственница. Перед небом они равно достойны. А потому, сын мой, если ты согласен со мною, мы отправимся вдвоем на Берег Теней; подойдя к пещере чудовища, мы громким голосом вызовем дракона из его

логова, и когда он появится, я обвяжу ему шею своей епитрахилью, а ты отведешь его на берег моря, где он непременно утопится.

При этих словах Самуил опустил голову и ничего не ответил.

— Ты как будто колеблешься, сын мой, — сказал Маэль.

Брат Регименталий, вопреки своей привычке, заговорил, не дожидаясь, чтобы спросили его мнения.

— Поневоле заколеблешься, — сказал он. — Ведь святому Риоку было только два года, когда он одолел дракона. Кто поручится, что и лет через девятъ-десять он мог бы сделать то же самое? Не забывайте, отец мой, что дракон, опустошающий наш остров, пожрал ведь маленького Эло и еще нескольких мальчиков. Брат Самуил не настолько самонадеян, чтобы в девятнадцать лет мнить себя чище двенадцатилетних или четырнадцатилетних.

— Увы, — со вздохом продолжал монах, — кто может похвалиться своею чистотой в этом мире, где мы всюду видим примеры любовной страсти, где все в природе — животные и растения — предается на наших глазах сладострастию и внушает нам стремление к любовным утехам. Животные жаждут соединяться на свой лад, но никакие сочетания четвероногих, птиц, рыб и пресмыкающихся не сравнятся в отношении сладострастия с браками среди растений. Все чудовищные непристойности, измышленные язычниками в своих баснях, бледнеют перед тем, что творит простой полевой цветок, и если бы ты подумал о блудодействах лилий и роз, ты удалил бы с алтарей своих эти чаши распутства, эти сосуды соблазна.

— Не говори так, брат Регименталий, — возразил старец Маэль. — Покорствуя закону естества, животные и растения остаются невинными. У них нет души, о спасении которой надлежало бы заботиться, меж тем как человек...

— Ты прав, — отвечал брат Регименталий, — это дело другого сорта. Но не посылай юного Самуила к дракону: тот его съест. Вот уже пять лет как Самуил

потерял способность удивлять чудовищ своей невинностью. В год кометы диавол-искуситель поставил ему на дороге молочницу, подтыкавшую себе юбку, чтобы перейти брод. Самуил почувствовал соблазн, но не поддался ему. Тогда диавол, неутомимый в своих кознях, показал ему во сне образ этой молодой девицы, и сонное видение оказалось могущественней, чем явь. Самуил пал. Пробудившись, он оросил слезами свое оскверненное ложе. Увы! Раскаяние не вернуло ему невинности.

Слушая этот рассказ, Самуил недоумевал, как тайна его могла быть открыта: не знал он, что диавол принял на себя облик брата Регименталия, чтобы смущать души алькских монахов.

А старец Маэль пребывал в задумчивости и, тоскуя, вопрошал себя:

— Кто спасет нас от зубов дракона? Кто охранит нас от его дыхания? Кто защитит нас от его взгляда?

Между тем обитатели Альки понемногу осмелели. Домбские землепашцы и бельмонтские волопасы клялись, что со свирепой тварью они сами справятся получше всякой девы, и, щупая свои мускулы, восклицали: «А ну-ка, дракон, выходи!» Многие мужчины и женщины уже видели его. Они не могли столковаться насчет его обличия, но только все в один голос утверждали, что он вовсе не так уж огромен, как прежде казалось, и лишь немногим больше человека. Стали заботиться об обороне: по вечерам при входе в деревню выставляли караульщиков, чтобы те в случае опасности подняли тревогу; отряды, вооруженные вилами и косами, охраняли по ночам загоны для скота. Однажды в деревне Анис смелые землепашцы даже настигли дракона в то время, когда он перепрыгивал через ограду во двор к Морио; вооруженные цепами, косами и вилами, они бросились к нему и уже подступили вплотную. Один из них, удалой и ловкий, уверял даже, что пырнул его вилами, да, поскользнувшись в луже, упустил. Остальные наверняка догнали бы его, если б не замешкались, кинувшись ловить кроликов и кур, которых он побросал на бегу.

Эти крестьяне сообщили старейшинам селения, что видом и размерами чудовище показалось им похожим на человека и только голова да хвост у него были в самом деле такие, что ужасно глядеть.

Глава XI

Алькский дракон
(Продолжение)

В тот день Кракен вернулся к себе в пещеру раньше обычного. Он стащил с головы свой шлем из тюленьей шкуры с парою бычьих рогов наверху и с грозными клыками, торчащими из-под забрала. Бросил на стол свои страшные когтистые перчатки — на концах пальцев к ним были прикреплены клювы зимородков. Расстегнул пояс с извивающимся зеленым хвостом позади. Потом приказал своему пажу Эло снять с него сапоги, и, так как мальчику все не удавалось справиться с этим, он пинком ноги отшвырнул его в другой конец пещеры.

Даже не взглянув на прекрасную Орброзу, которая пряла шерсть, он уселся перед очагом, где жарилась баранья туша, и пробурчал:

— Что за гнусные пингвины... Последнее ремесло на свете — изображать дракона.

— Что вы говорите, господин мой? — спросила прекрасная Орброза.

— Меня перестали бояться, — продолжал Кракен. — Прежде все разбегались при моем приближении. Я уносил в своем мешке кур и кроликов. Гнал перед собой баранов и свиней, коров и быков. А теперь эта деревенщина стала расставлять караул. Охраняют входы. Только что в Анисе за мною погнались крестьяне, вооруженные цепами, косами и здоровенными вилами, так что мне пришлось побросать кур и кроликов, перекинуть свой хвост через руку и бежать со всех ног. Но, скажите на милость, разве пристало каппадокийскому дракону, подобрав свой хвост, улепетывать, словно какой-нибудь воришка! И вдобавок все эти рога, клыки,

гребень, когти и чешуя так стесняли мои движения, что я еле ноги унес от одного негодяя, который на добрых полдюйма всадил мне вилы в левую ягодицу.

При этом он осторожно поднес руку к пострадавшей части тела. Затем, после довольно продолжительного горького раздумья, прибавил:

— Что за олухи эти пингвины! Мне надоело пускать огонь в их дурацкие рожи. Слышишь, что я говорю, Орброза?

После этих слов герой, держа перед собою свой грозный шлем, долго глядел на него в угрюмом молчании. Потом разразился потоком жалоб:

— Я собственными руками скроил себе этот шлем из тюленьей кожи. Чтобы сделать его еще страшнее, я увенчал его бычьими рогами и оснастил челюстью дикого кабана, пустил поверху конский хвост, крашенный киноварью. Никто из жителей острова не мог вынести его вида, когда он покрывал мне голову до самых плеч при мрачном сумеречном свете. Завидев меня, женщины и дети, юноши и старики в ужасе бежали прочь, и все пигвинское племя трепетало передо мною. Каким же образом этот дерзкий народ, забыв прежний страх, осмеливается глядеть прямо на эту свирепую морду и бежать вслед за этой устрашающей гривой?

И он бросил шлем на каменный пол пещеры.

— Так пропади ты пропадом, изменник шлем! — вскричал Кракен. — Клянусь всеми демонами Армора, никогда больше тебя не надену!

И, произнеся эту клятву, он стал топтать ногами свой шлем, перчатки, сапоги и извивающийся хвост.

— Кракен, — сказала прекрасная Орброза, — позвольте вашей покорной служанке прибегнуть к хитрости, ради спасения вашей славы и вашего добра. Не пренебрегайте помощью женщины. Такая помощь вам необходима: ведь все мужчины — глупцы.

— Что ты задумала, женщина? — спросил Кракен.

И прекрасная Орброза сообщила своему супругу, что по городам и весям ходили монахи, оповещая жителей острова о наивернейшем способе победить дракона; что, по их словам, зверя может одолеть девственница и что, если невинная дева обвяжет дракону шею своим поя-

сом, она без малейшего труда поведет его за собою, как собачонку.

— Откуда ты знаешь, что монахи говорят это? — спросил Кракен.

— Друг мой, — отвечала Орброза, — я беседую с вами о таких важных вещах, а вы перебиваете меня пустыми вопросами... «Итак, — говорили монахи, — если есть среди вас невинная дева — пусть она объявится!» Так вот, Кракен, я решила откликнуться на их призыв. Пойду к святому старцу Маэлю и скажу ему: «Я — эта дева, избранная небесами для одоления дракона!»

При этих словах Кракен удивленно воскликнул:

— Да какая же ты невинная дева? И почему ты хочешь пойти на меня, Орброза? В своем ли ты уме? Ну уж я не дам меня одолеть!

— Чем сердиться, не лучше ли прежде понять, что я предлагаю? — заметила прекрасная Орброза, кротким вздохом выражая глубокое презрение.

И она изложила свой хитроумный замысел.

Герой слушал ее в раздумье. Когда она кончила свою речь, он сказал:

— Ты очень хитро все придумала, Орброза! И если замысел твой осуществится, то принесет мне большую выгоду. Но как же ты станешь чистой девой, избранной небесами?

— Насчет этого не беспокойся, Кракен, — отвечала она. — А теперь пойдем-ка спать.

Весь следующий день, сидя в пропахшей жиром пещере, Кракен плел из ивовых прутьев какой-то безобразный каркас, затем обтянул его отвратительными кожами со взъерошенной чешуей. Прекрасная Орброза пришила к каркасу с одного конца грозный гребень и мерзкое забрало, служившее Кракену в его опустошительных набегах, а с другого — прикрепила извивающийся хвост, который герой имел обыкновение волочить за собою. Окончив работу, они приказали маленькому Эло и еще пятерым мальчикам, что им прислуживали, влезть в это сооружение и тащить его на себе, чтобы оно ползло, а внутри жечь паклю и дуть в раструбы, чтобы драконья пасть извергала пламя и дым.

Глава XII
Алькский дракон
(Продолжение)

Надев платье из грубой шерстяной материи, подпоясавшись простою веревкой, Орброза явилась в скит и попросила допустить ее к блаженному Маэлю для беседы. Так как женщинам доступ в ограду монастыря был воспрещен, то старец вышел за ворота, держа в правой руке своей пастырский посох, а левой опираясь на плечо Самуила, самого молодого из учеников.

— Кто ты, женщина? — спросил он.

— Я — дева Орброза.

Услышав такой ответ, Маэль воздел дрожащие руки к небу.

— Правду ли говоришь ты, женщина? Всем известно, что Орброзу пожрал дракон. И вот я вижу Орброзу и слышу ее! Не было ли так, о дочь моя, что ты осенила себя крестом во чреве чудовища и вышла невредимой из его пасти? Это представляется мне наиболее вероятным.

— Ты не ошибся, отец мой, — отвечала Орброза. — Именно так и было со мною. Выйдя из звериного чрева, я удалилась в уединенное место на Берегу Теней. В своем пустынножительстве я предавалась молитве и размышлению, совершая неслыханные подвиги воздержания, как вдруг получила откровение небесное в том, что только девственница может одолеть дракона и что девственница эта — я.

— Покажи мне какой-нибудь знак, свидетельствующий о твоем призвании.

— Этот знак — я сама, — отвечала Орброза.

— Мне известно о могуществе тех, кто запечатлел плоть свою печатью невинности, — сказал просветитель пингвинов. — Но действительно ли ты такова, как говоришь?

— Увидишь это по моим делам, — отвечала Орброза.

Тут монах Регименталий приблизился и сказал:

— Это будет лучшим доказательством. Царь Соломон изрек: «Три вещи трудно узнать, а четвертую —

невозможно: след змеи на камне, птицы — в воздухе, корабля — в воде, мужчины — в женщине». Я считаю дерзкими тех матрон, что выставляют себя в таких делах осведомленнее мудрейшего из царей. Поверьте мне, отец мой, советоваться с ними относительно благочестивой Орброзы нет никакого смысла. Если они и выскажут вам своз мнение, это ничего вам не даст. Доказать девственность не менее трудно, чем сохранить ее. Плиний * утверждает в своей «Естественной истории», что признаки ее воображаемы или весьма неопределенны [1]. Иная отмечена всеми четырнадцатью знаками растления, но чиста пред очами ангелов, иная же, наоборот, признанная непорочной, после того как матроны оглядели и ощупали ее всю, мнимой невинностью своей обязана уловкам предусмотрительного разврата. Что касается чистоты предстоящей здесь святой девицы, то я готов ручаться за нее, сунув руку в огонь.

Он говорил так потому, что он был диавол. Но старец Маэль не знал об этом. И спросил благочестивую Орброзу:

— Скажи, дочь моя, каким способом предполагаешь ты победить столь свирепого зверя, однажды уже пожравшего тебя?

Дева отвечала:

— Завтра, при восходе солнца, о Маэль, ты созовешь народ на холм, пред которым до самого Берега Теней расстилается пустынная степь, и проследишь за тем, чтобы ни один пингвин не подходил к скалам ближе, чем на пятьсот футов, — иначе он будет тотчас же отравлен дыханием чудовища. Дракон выйдет из скал, и я обвяжу ему шею своим поясом и поведу его на поводке, как послушную собаку.

— Не возьмешь ли ты в помощь себе какого-нибудь отважного и благочестивого мужа, дабы он поразил дракона? — спросил Маэль.

— Именно так, о старец: я отведу чудовище к Кракену, который зарубит его своим сверкающим мечом. Ибо надобно тебе знать, что благородный Кракен,

---

[1] Мы тщетно искали эту фразу в «Естественной истории» Плиния (*Издатель*). (*Прим. автора.*)

которого считали мертвым, вернется к пингвинам и убьет дракона. Из брюха дракона выйдут пожранные им дети.

— То, о чем ты мне возвещаешь, о дева, кажется мне чудесным и превышающим человеческие силы! — воскликнул проповедник.

— Да, это действительно так, — отвечала дева Орброза. — Но знай, Маэль, мне было откровение, что народ пингвинский, освобожденный рыцарем Кракеном, должен будет вознаградить его, платя ему ежегодный оброк в виде трехсот цыплят, двенадцати баранов, двух быков, трех свиней, тысячи восьмисот мер хлеба, а также овощей, смотря по времени года; сверх того мальчики, вышедшие из брюха дракона, должны быть отданы тому же Кракену в полное его распоряжение, чтобы служить ему и покорно исполнять все, что он прикажет.

Если народ пингвинский не исполнит своих обязательств, на острове появится новый дракон, еще ужаснее первого. Я все сказала.

Глава XIII

Алькский дракон

(Продолжение и окончание)

Народ пингвинский, созванный старцем Маэлем, провел ночь у Берега Теней, не преступая границы, указанной святым мужем, — из опасения быть отравленным дыханьем дракона.

Ночной сумрак еще окутывал землю, когда, возвещая о себе хриплым ревом, на скалах неясно обрисовалась движущаяся тень дракона. Он полз по-змеиному, и его извивающееся тело, казалось, имело не менее пятнадцати футов в длину. При виде дракона толпа отпрянула в ужасе. Но тут же все взоры обращаются к деве Орброзе, — в лучах занимающейся зари она выходит вся в белом на лужайку, поросшую розовым вереском. Бесстрашной и скромной поступью подходит она к зверю, а тот, испуская дикое рычание, разевает

огнедышащую пасть. Громкий крик ужаса и жалости вырывается из толпы пингвинов. Но дева, сняв свой льняной пояс, обвязывает им шею дракона и при восторженных кликах присутствующих ведет его за собой, как послушную собаку. Она уже проходит довольно большое расстояние по равнине, как вдруг появляется Кракен, вооруженный сверкающим мечом. Народ, считавший его мертвым, встречает его изумленным и радостным кличем. Герой устремляется на зверя, опрокидывает его, вспарывает ему брюхо мечом, и оттуда, молитвенно сложив ладони, в рубашонках, с кудрявыми головками, выходят маленький Эло и остальные пять мальчиков, проглоченные чудовищем.

Они тотчас же припадают к ногам девы Орброзы, и та заключает их в объятия, нашептывая им на ухо:

— Идите по деревням и говорите всюду: «Мы — бедные малютки, пожранные драконом и вышедшие в рубашках из его брюха». И люди будут щедро одаривать вас всем, чего вы ни пожелаете. А станете рассказывать другое, получите одни щелчки да пинки. Ступайте!

При виде дракона со вспоротым брюхом многие пингвины бросились было к нему, чтобы разорвать его в клочья, одни — в порыве ярости и чувства мести, другие — чтобы завладеть волшебным камнем под названьем драконит, образующимся в голове у драконов; матери возвращенных к жизни мальчиков ринулись вперед, чтобы обнять дорогих сыночков. Но святой Маэль удержал всех, объяснив им, что они недостаточно добродетельны, чтобы приблизиться к дракону, не поплатившись за это жизнью.

Вскоре маленький Эло с другими мальчиками подошли к народу и сказали:

— Мы — бедные малютки, пожранные драконом и вышедшие в рубашках из его брюха.

Все слышавшие целовали их и говорили:

— Благословенные дети! Мы щедро одарим вас всем, чего вы ни пожелаете.

И толпа разошлась в веселии, с пением гимнов и благодарственных молитв.

В память того дня, когда провидение избавило народ от жестокого бедствия, решено было устраивать процессии и носить по улицам изображение дракона, закованного в цепи.

Кракен стал получать оброк и вскоре сделался самым богатым и могущественным среди пингвинов. Для того чтобы внушать благодетельный ужас, он в знак своей победы стал носить на голове драконий гребень и постоянно напоминал народу:

— Теперь, когда чудовище издохло, дракон — это я!

Долго еще обвивала Орброза любвеобильными руками шею волопасов и овчаров, делая их равными богам. Когда же утратила свою красоту, посвятила себя господу.

Она пользовалась всеобщим почитанием, а после кончины своей была причислена к лику святых и стала небесной покровительницей Пингвинии *.

Кракен оставил после себя сына, носившего, подобно отцу, гребень дракона и по этой причине прозванного Драко. Он основал первую королевскую династию Пингвинии.

Книга третья

СРЕДНИЕ ВЕКА И ВОЗРОЖДЕНИЕ

Глава I

Бриан Благочестивый и королева Гламоргана

Короли Альки, происходившие от Драко, сына Кракена, носили на голове ужасный драконий гребень, священный знак, одним видом внушавший всему народу почтение, ужас и любовь. Они непрестанно враждовали либо со своими вассалами и подданными, либо с владетелями островов и близлежащих земель на материке.

Древнейшие из этих королей оставили после себя только имя. К тому же мы не знаем, ни как оно произносится, ни как пишется. Первый Драконид, история которого нам известна, — это Бриан Благочестивый, стяжавший славу своей хитростью и отвагой на войне и на охоте.

Он был христианской веры, любил письменность и покровительствовал людям, посвятившим себя монашеской жизни. В своей дворцовой зале, где под закоптелыми стропилами висели рога оленей и других зверей, он устраивал пиры, на которые собирал арфистов со всей Альки и других островов, да и сам пел хвалебные песни в честь героев. Справедливый и великодушный, но снедаемый пламенной жаждой славы, он не мог удержаться, чтобы не предавать смерти всякого, кто пел лучше его.

После того как ивернские монахи были изгнаны опустошавшими Бретань язычниками, король Бриан призвал изгнанников в свое королевство и велел поставить для них рядом со своим дворцом деревянный скит. Каждый день вместе с супругой своей Гламорганой он отправлялся в монастырскую часовню, присутствовал при богослужении и пел гимны.

В монастыре был один монах по имени Оддул, во цвете юных лет украшенный познаниями и добродетелями. Это причиняло сильную досаду диаволу, и тот неоднократно пытался ввести его в искушение. Он принимал разные обличия и показывал монаху то боевого коня, то юную деву, то чашу с медовым напитком; а как-то раз встряхнул двумя игральными костями в стаканчике и предложил:

— Хочешь сыграть со мной? Ставлю все царства земные против волоска с твоей головы.

Но человек божий, осенив себя крестным знамением, отринул посягательства врага рода человеческого. Видя, что он не поддается соблазну, диавол задумал погубить его при помощи хитроумной уловки. Однажды летней ночью он приблизился к королеве, спавшей на своем ложе, представил ей образ молодого монаха, которого она видела каждый день в деревянном скиту, и приворожил ее к этому образу. Тотчас же любовь, как некий тонкий яд, проникла в жилы Гламорганы. Ее охватило желание испытать с Оддулом утехи любви. Она неустанно изыскивала предлоги, чтобы приблизить его к себе. Не раз просила она его учить ее детей читать и петь.

— Я доверяю их вам, — говорила она. — Я сама буду слушать ваши уроки, чтобы учиться у вас. Заодно вы будете наставником и детей и их матери.

Однако юный монах отказывался, ссылаясь то на недостаток знаний, то на монашеский устав, запрещающий общение с женщинами. Но отказы его только распаляли Гламоргану. Однажды, томясь в невыносимой муке на своей постели, она велела позвать Оддула к себе в спальню. Он повиновался, но стал на пороге, по-

тупя взор. То, что он не хочет даже взглянуть на нее, еще разжигало в ней тяжкое нетерпение.

— Ты видишь, — сказала она, — я совсем обессилела. У меня потемнело в глазах. Меня бросает то в жар, то в озноб.

И так как он молчал, неподвижно стоя на пороге, она позвала его с мольбою:

— Поди, поди ко мне!

И, в исступлении протягивая руки, пыталась схватить его, притянуть к себе.

Но он убежал, порицая ее за бесстыдство.

Тогда, преисполненная гнева и опасаясь, как бы Оддул не стал всем рассказывать о ее позорной страсти, она задумала сама погубить его, чтобы он не погубил ее. С воплями, разнесшимися по всему дворцу, она стала звать на помощь, словно находилась в большой опасности. Сбежались прислужницы и увидели, что из спальни убегает молодой монах, а королева натягивает на себя одеяло. Все в один голос закричали: «Держите убийцу!» Когда король Бриан, привлеченный шумом, вошел в спальню, Гламоргана, показывая на свои растрепанные волосы, на свои слезы, на грудь, которую сама же в любовном исступлении разодрала ногтями, сказала ему:

— Мой господин и супруг, смотрите: вот следы постигших меня оскорблений. Побуждаемый гнусной похотью, Оддул приблизился ко мне и пытался насильно овладеть мною.

Услыхав ее жалобы, увидев кровь, король, вне себя от ярости, приказал стражам схватить юного монаха и сжечь его заживо перед дворцом, на глазах у королевы.

Узнав о случившемся, ивернский аббат пошел к королю и сказал ему:

— Король Бриан, на этом примере вы можете видеть разницу между христианкой и язычницей. Римская Лукреция * была самой добродетельной среди властительниц, поклонявшихся идолам; и, однако, она не имела сил противостоять нападению изнеженного юноши и, смущенная своею слабостью, впала в отчаяние, между тем как Гламоргана победоносно устояла против нападения преступника, охваченного неистовством и одержимого опаснейшим из бесов.

Тем временем Оддул дожидался в дворцовой темнице того часа, когда ему придется быть сожженным заживо. Но господь не допустил гибели невинного. Он послал к нему ангела, и тот, приняв облик Гудруны, одной из прислужниц королевы, вывел его из узилища и привел в комнату той самой прислужницы.

И сказал ангел юному Оддулу:

— Я люблю тебя, ибо ты дерзаешь.

Юный Оддул, думая, что говорит с Гудруной, ответил, опустив глаза:

— Только милостью господней дано мне было устоять против бесчинных притязаний королевы, не убоявшись гнева сей могущественной женщины.

Ангел спросил:

— Как! Ты не совершил того, в чем обвиняет тебя королева?

— Воистину нет, я не совершал сего, — ответил Оддул, положа руку на сердце.

— Не совершал?

— Нет, не совершал. Одно помышление о подобном поступке внушает мне ужас.

— Так что же ты тут торчишь, колбаса этакая! [1] — воскликнул ангел.

И он открыл дверь, дабы способствовать бегству юного монаха.

Оддул почувствовал, что его с силой вытолкнули наружу. Не успел он выйти на улицу, как чья-то рука опрокинула ему на голову ночной горшок.

«Таинственны предначертания твои и неисповедимы пути твои, господи!» — подумал он.

Глава II

Драко Великий. Перенесение мощей святой Орброзы

Род Бриана Благочестивого по прямой линии угас к 900-му году в лице Коллика Курносого. Этому государю наследовал один из его родственников — Боско

[1] Пингвинский летописец, сообщающий об этом факте, употребляет выражение «Species inductilis». Я даю буквальный перевод. (*Прим. автора.*)

Великодушный, который, заботясь о судьбах престола, перебил всю свою родню. От него произошел длинный ряд могущественных королей.

Один из них, Драко Великий, стяжал громкую воинскую славу. Его побеждали чаще, чем кого-либо другого. Именно по такому постоянству в военных поражениях узнаются великие полководцы. За двадцать лет он сжег более ста тысяч деревушек, селений, посадов, малых и больших городов и университетов. Он все предавал огню не только во вражеских землях, но и в собственном своем королевстве. И, чтобы объяснить такой образ действий, обычно говорил:

— Война без пожара — что рубцы без горчицы: слишком пресно!

Он придерживался сурового правосудия. Когда захваченные им в плен крестьяне не могли внести за себя выкуп, он вешал их на дереве, а если какая-нибудь несчастная женщина, жена несостоятельного плательщика, приходила к нему с мольбой за своего мужа, Драко Великий приказывал привязать ее за косы к хвосту своего копя и пускал его вскачь. Жил он по-солдатски, чуждаясь изнеженности. Видимо, он соблюдал чистоту нравов. Он не только не уронил прежней славы своего королевства, но, напротив, во всех превратностях судьбы мужественно поддерживал честь пингвинского народа.

Драко Великий велел перенести в Альку священные останки святой Орброзы.

Тело блаженной погребено было в пещере на Берегу Теней, в конце благоуханной равнины. Первыми богомольцами, являвшимися к ней на поклонение, были юноши и девушки ближних селений. Они ходили туда большей частью парами и по вечерам, как бы невольно ища уединенного места, где можно было бы под покровом темноты удовлетворить свои благочестивые стремления. Ревниво оберегая тайну от взора непосвященных, они пылко и скрытно чтили святую; они избегали говорить вслух о том, что им довелось испытать в ее пещере; но порою их заставали там шепчущими друг другу слова любви, радости и восторга в перемежку с упоминанием святой Орброзы; одни

томно вздыхали, твердя, что там можно забыть весь мир; другие уверяли, что после посещения пещеры чувствуешь покой и удовлетворенность. Девицы делились между собою воспоминаниями об испытанном там блаженстве.

Таковы были чудеса, творимые алькской девственницей на заре ее вечной славы: в них были нежность и неясность рассвета. Но вскоре тайна пещеры, подобно вкрадчивому благоуханию, распространилась по всей стране. Для чистых сердцем в этом были радость и назидательность, и напрасно люди развращенные пытались при помощи лжи и злословия отвратить верующих от источника благодати, струившегося из гроба святой. Церковь озаботилась тем, чтобы эта благодать стала доступна не только нескольким отрокам и отроковицам, но осенила всех христиан Пингвинии. В пещере обосновались монахи; они выстроили на берегу монастырь, часовню и странноприимный дом, и вскоре началось многолюдное паломничество к этим местам.

Как бы обретая все новые силы по мере своего пребывания на небесах, блаженная Орброза совершала теперь более значительные чудеса над всеми, кто приходил с приношениями на ее могилу; она обнадеживала бесплодных женщин, посылала сонные видения ревнивым старикам, дабы внушить им доверие к их молодым женам, несправедливо заподозренным в измене; она охраняла страну от моровой язвы, от падежа скота, от голода, от бурь и от каппадокийских драконов.

Но во время смут, постигших страну при короле Коллике Курносом и его преемниках, богатая гробница св. Орброзы была разграблена, монастырь сожжен, монахи разбрелись кто куда; дорога, исхоженная столькими благочестивыми богомольцами, вся заросла дроком, терновником и голубым репейником, произрастающим в песках. Целых сто лет чудотворную гробницу посещали одни гадюки, совы да летучие мыши, — как вдруг святая девственница явилась одному тамошнему крестьянину по имени Момордик.

— Я — дева Орброза, — сказала она ему. — Ты избран мною, дабы восстановить мое святилище. Опо-

вести жителей сих мест, что если они и впредь оставят память обо мне в небрежении, а гробницу мою без почестей и богатых даров, то явится новый дракон и опустошит страну пингвинов.

Ученые церковники исследовали природу этого видения и признали его истинным, не диавольским, а вполне небесным; впоследствии же было отмечено, что во Франции, при аналогичных обстоятельствах, св. Фидес и св. Екатерина поступили подобным же образом и держали такую же речь.

Обитель была восстановлена, и снова к ней стали стекаться богомольцы. Дева Орброза творила все более поразительные чудеса. Она исцеляла от самых тяжких болезней, как-то: искривление стопы, водянка, паралич и пляска святого Витта. Монахи, взявшие гробницу под свою охрану, достигли уже завидного благосостояния, когда святая, явившись королю Драко Великому, повелела провозгласить ее небесной покровительницей королевства и перенести славные останки ее в Алькский собор.

Во исполнение этого благоуханные мощи девы были с великой торжественностью отнесены в столичную церковь и водружены перед самым алтарем в золотой раке, украшенной эмалью и драгоценными каменьями.

Церковный капитул стал вести запись чудес, совершаемых по предстательству блаженной Орброзы.

Драко Великий, неустанный защитник и ревнитель христианской веры, приял благочестивую кончину, оставив церкви большие богатства.

Глава III

Королева Крюша *

После смерти Драко Великого начались ужасающие смуты. Преемников этого государя нередко обвиняли в слабости. И в самом деле, никто из них ни в малой степени не следовал примеру своего доблестного предка.

Сын его Шум, страдавший хромотою, пренебрегал расширением пингвинских границ. Боло, сын Шума, в девятилетнем возрасте был убит дворцовой стражей, когда уже готовился взойти на престол. Ему наследовал брат его Гун. Семилетний мальчик, он во всем подчинялся матери, королеве Крюш*а*.

Крюша была красива, образована, умна. Но она не умела сдерживать свои страсти.

Вот каким образом отзывается в своей летописи досточтимый Тальпа об этой прославленной королеве:

«Красотою лица и стройностью телосложения королева Крюша не уступает ни Семирамиде вавилонской, ни царице амазонок Пентесилее, ни Саломее *, дочери Иродиады. Но она отличается некоторыми особенностями, кои можно счесть прекрасными или безобразными, соответственно противоречивым вкусам людей и мирским суждениям. На лбу у нее — маленькие рожки, которые она искусно прикрывает своими густыми золотистыми волосами; один глаз у нее — голубой, другой — черный, шея пригнута влево, как у Александра Македонского; правая рука у нее шестипалая, а под пупком имеется как бы подобие обезьяньей головки.

Поступь у нее величественная, обращение обходительное. Она славится щедростью, но не всегда умеет обуздывать свои желания доводами рассудка.

Однажды, заметив в дворцовых конюшнях молодого конюха необычайной красоты, она внезапно воспылала к нему любовью и доверила ему командование войсками. Что в этой королеве, несомненно, заслуживает похвал, так это ее обильные пожертвования на церкви, монастыри и часовни Пингвинии, в особенности на святую обитель Бергарденскую, где милостью господней я, по четырнадцатому году жизни, принес монашеский обет. Она сделала столько вкладов для служения обеден за упокой ее души, что каждый священник церкви пингвинской стал, можно сказать, живою свечой, возженной пред господом, — да не будет августейшая Крюша оставлена милосердием божьим».

По этим строкам, а также некоторым другим выдержкам, коими я украсил свое повествование, можно судить о научных и литературных достоинствах «Gesta

Pinguinorum»[1]. К сожалению, эта летопись обрывается на третьем году правления Драко Простодушного, бывшего преемником Гуна Слабого. Подойдя в своем повествовании к этому моменту, я горько сетую по поводу утраты такого приятного и надежного руководителя.

В продолжение двух следующих веков Пингвиния была охвачена кровавой анархией. Все искусства погибли. Среди всеобщего невежества монахи под сенью монастырей предавались ученым трудам и с неутомимым рвением переписывали Священное писание. Так как пергамент был редок, они соскабливали старые рукописи, чтобы запечатлевать вместо них слово господа. И по всей пингвинской земле расцветали библии подобно кустам роз.

Один монах ордена св. Бенедикта, по имени Эрмольд Пингвин, собственноручно соскоблил четыре тысячи греческих и латинских рукописей, чтобы переписать четыре тысячи раз евангелие св. Иоанна. Так было уничтожено большое количество лучших произведений античной поэзии и красноречия. По единодушному признанию историков, пингвинские монастыри были в средние века убежищами просвещения.

Конец этого периода заполняют столетние войны с дельфинами. Относительно этих войн чрезвычайно трудно установить что-либо достоверное — не по недостатку исторических свидетельств, а из-за их изобилия.

Дельфийские летописцы во всем противоречат пингвинским. Но мало того: пингвины противоречат друг другу так же, как и дельфины. Я обнаружил двух летописцев согласных между собой, но один списал у другого. Несомненно лишь одно, что в это время не прекращались убийства, насилия, пожары и грабежи.

При несчастном короле Боско IX государство было на волосок от гибели. Получив весть о том, что дельфийский флот, в составе шестисот больших кораблей, показался в виду острова Альки, епископ назначил крестный ход; капитул, выборные лица из судейского сословия, магистратура, члены парламентского суда,

---

[1] «Деяния пингвинов» * (*лат.*).

университетские ученые направились в собор, подняли раку св. Орброзы и обнесли ее вокруг города в сопровождении всех горожан, певших гимны. Воззвание к святой покровительнице Пингвинии не осталось неуслышанным; но дельфины все же осадили город одновременно и с суши и с моря, взяли его приступом, а затем три дня и три ночи жгли, грабили, убивали и совершали насилия с безразличием, порожденным привычкой.

Достойно величайшего удивления, что в эти века диких войн среди пингвинов непоколебимо сохранилась вера. Свет истины озарял тогда души, не испорченные софизмами. Этим и объясняется единство верований. Счастливому единодушию паствы, несомненно, способствовало также одно обыкновение, которого придерживалась пингвинская церковь, — немедленно сжигать всякого инакомыслящего.

Глава IV

Письменность. Иоанн Тальпа

Во время малолетства короля Гуна бергарденский монах Иоанн Тальпа, давший обет монашества еще в четырнадцатилетнем возрасте и за всю свою жизнь ни разу не покинувший монастырской ограды, составил на латинском языке знаменитую летопись «De gestis Pinguinorum» [1] в двенадцати книгах.

Бергарденская обитель возносит свои высокие стены на неприступной горной вершине; вокруг — только синие горы да облака.

Иоанн Тальпа предпринял составление «Gesta Pinguinorum» уже в преклонных летах. Достойнейший инок сам сообщает об этом в своей книге. «Уже давно голову мою, — пишет он, — перестали украшать светлые кудри, и череп мой уподобился тем выпуклым металлическим зеркалам, с коими так прилежно и внимательно совещаются пингвинские дамы. От природы

[1] «О деяниях пингвинов» (*лат.*).

невысокий, с годами я стал еще ниже ростом, и стан мой согнулся. Белая борода укрывает грудь мою от холода».

С очаровательным простодушием сообщает Тальпа о некоторых обстоятельствах своей жизни и кое-каких чертах своего характера. «Происходя из знатного рода, — пишет он, — и с отроческих лет предназначенный к духовному званию, я изучал грамматику и музыку. В грамоте наставлял меня учитель по имени Амикус, хотя вернее было бы называть его Инимикус *. Так как я туго усваивал буквы, то он сек меня розгами столь сильно, что, можно оказать, запечатлел азбуку жгучими письменами на моих ягодицах».

В другом месте Тальпа признается, что от природы наделен был сладострастными влечениями. Вот как выразительно пишет он об этом: «В юности плоть моя была столь пылкой, что даже в тени лесной я чувствовал себя так, словно кипел в котле, а не вдыхал лесную свежесть. Я избегал женщин. Но напрасно! При одном виде какого-нибудь колокольчика или бутылки предо мною вставал женский образ».

Пока он составлял свою летопись, жестокая война, одновременно и с иноземными врагами и междоусобная, опустошала пингвинскую землю. Солдаты Крюши, явившись в Бергарденский монастырь для защиты его от дельфийских варваров, прочно там укрепились. Чтобы сделать обитель неприступной, они пробили бойницы в ее стенах и сняли с церкви свинцовую крышу на пули для пращей. Во дворах и крытых галереях они жгли по ночам большие костры, над которыми жарились целые туши быков, вздетых на стволы столетних горных елей, как на вертела; и, собравшись вокруг огней, в дыму, насыщенном запахом смолы и жира, солдаты вышибали днища бочек с вином и брагой. Их песни, проклятия и споры заглушали утренний благовест.

Но вот наконец дельфины, пройдя горными ущельями, осадили монастырь. Это были северные витязи в медных доспехах. Они приставляли к отвесным скалам свои лестницы длиною в полтораста туазов, но те во мраке бурной ночи обрушивались под тяжестью

людей и доспехов, и целые гроздья человеческих тел летели во рвы и горные пропасти. В потемках слышался только протяжный вой, замолкавший где-то внизу. И начинался новый приступ. Пингвины потоками лили со стен кипящий вар, и осаждающие вспыхивали как факелы. Шестьдесят раз дельфины яростно бросались на приступ, и шестьдесят раз были отбиты.

Уже целых десять месяцев монастырь был плотно обложен врагами, когда в праздник крещения какой-то пастух указал им потайную тропу, ведущую на вершину горы, и они проникли в подземелье монастыря, а оттуда хлынули в дворовые галереи, в кухни, в церковь, в залы капитула, в книгохранилище, в прачечную, в монашеские келии, в трапезные и спальни, предавая их огню, бесчинствуя и убивая всех, без различия пола и возраста. Застигнутые во время сна, пингвины бросились к оружию. Ночная тьма и страх мешали им видеть, и они сослепу нападали друг на друга, в то время как дельфины, тоже пуская в ход топоры, отнимали друг у друга священные сосуды, кадильницы, паникадила, ризы, богатые раки и осыпанные драгоценными каменьями золотые распятия.

В воздухе стоял едкий запах горелого человеческого мяса. Из пламени неслись крики и стоны умирающих. По краю кровель, уже готовых обрушиться, во множестве, как всполошенные муравьи, бежали монахи и падали в ущелье. А Иоанн Тальпа все писал свою летопись. Солдаты королевы Крюша, поспешно отступив, завалили все выходы из монастыря каменными глыбами, оставляя дельфинов в пылающих зданиях. А чтобы давить врагов, обрушивая на них камни и обломки стен, они пользовались как тараном стволами вековых дубов. С громовым грохотом рушились пылающие стропила и обваливались великолепные церковные своды, когда шестьсот человек, раскачав гигантское дерево, разом ударяли им в стену. Вскоре от всей богатой и обширной обители осталась только келья Иоанна Тальпы, чудом уцелевшая среди дымящихся развалин на верхушке обгорелой стены. А старый летописец все писал и писал...

Такая поразительная сосредоточенность мысли может все же показаться чрезмерной у летописца, ведущего записи о событиях своего времени. Но, как бы ни был человек рассеян и как бы ни был отрешен от окружающей жизни, он не может не чувствовать на себе ее влияния. Я ознакомился с оригиналом рукописи Иоанна Тальпы, хранящимся в Национальной библиотеке (Пингв. собр., К. L.[6], 12 390 quater). Это рукопись на пергаменте, состоящая из 628 листов. Почерк крайне неровен; буквы ложатся не прямыми строчками, но скачут в разные стороны, сталкиваются и налетают одна на другую в беспорядке, или, вернее, в полном смятении. Они так плохо выписаны, что в большинстве случаев невозможно не только разобрать их, но даже отличить от многочисленных чернильных клякс. Всем видом своим эти бесценные страницы говорят о потрясениях, среди которых они были начертаны. Читать их трудно. Стиль же бергарденского монаха, напротив, не носит никаких следов волнения. Тон «Gesta Pinguinorum» отличается неизменной простотой. Повествование кратко и настолько сжато, что порою впадает в сухость. Рассуждения встречаются редко и в большинстве случаев обоснованны.

Глава V

Искусства. Ранние художники Пингвинии

Пингвинские критики обычно утверждают, что искусство пингвинов с самого зарождения отличалось прелестным и мощным своеобразием и что нигде у других народов нельзя найти такой глубины и такого изящества, какими характеризуются эти первые произведения. Дельфины же заявляют, что это их художники были первыми учителями и постоянными наставниками пингвинов. Трудно судить, кто прав, поскольку пингвины стали восхищаться своими ранними художниками уже после того, как уничтожили все их творения.

Такая утрата в высшей степени плачевна. Я чувствую ее с особенной остротой, так как высоко чту пингвинские древности и преклоняюсь перед первобытным искусством.

Эти художники очаровательны. Нельзя сказать, что все они между собою схожи; но у них есть общие черты, присущие всем школам, — иначе говоря, обязательные для всех приемы и некая законченность, ибо то, что эти художники знают, они знают хорошо. К счастью, о пингвинских примитивах можно составить понятие по примитивам итальянским, фламандским, немецким и особенно французским, превосходящим все остальные; как заметил господин Грюйе, во французских больше логики, потому что логика — это качество чисто французское. Возможно, кто-нибудь не согласится с таким мнением; но во всяком случае надо отдать справедливость Франции, сохранившей свои примитивы, меж тем как другими народами они утрачены. В 1904 году на выставке французских примитивов в Марсанском павильоне было показано несколько маленьких панно времен последних Валуа и Генриха IV *.

Я совершил немало путешествий, чтобы видеть картины братьев Ван-Эйк, Мемлинга, Рогира Ван-дер-Вейдена, автора «Успенья богородицы», Амброджо Лоренцетти и старых умбрийцев *. Но все же мое окончательное приобщение к подобной живописи совершилось не в Брюгге, Кельне, Сиене или Перудже; убежденным приверженцем безыскусственной живописи я стал в маленьком городке Ареццо *. Это произошло лет десять тому назад, а то и раньше. При тогдашней бедности и простоте нравов городские музеи были во всякое время на замке, но во всякое время открывались для «forestieri» [1]. Однажды вечером старушка со свечой показала мне за пол-лиры грязный музей города Ареццо, и я обнаружил там картину Маргаритоне * «Св. Франциск», который исторг у меня слезы своей благочестивой печалью. Я был глубоко растроган; с тех пор Маргаритоне из Ареццо стал

---

[1] Иностранцев (*итал.*).

для меня самым любимым из ранних художников.

Я сужу о ранних художниках Пингвинии по произведениям этого мастера. Поэтому будет не лишним уделить ему здесь некоторое внимание и, не останавливаясь на подробностях, дать о нем хотя бы самое общее и, смею так выразиться, ясное представление. Сохранилось пять-шесть картин, носящих его подпись. На главном его полотне, хранящемся в Лондонской «National Gallery» [1], изображена дева Мария, сидящая на престоле с Христом-младенцем на руках. Что поражает при первом взгляде, так это пропорции фигуры. Тело, от шеи до ступней, больше головы только вдвое: оно кажется чрезвычайно коротким и приземистым. Не менее чем рисунком произведение это замечательно и своими красками. Цвета, бывшие в распоряжении великого Маргаритоне, весьма немногочисленны, и он применял их во всей чистоте, никогда не смешивая тонов. Вот почему в колорите у него больше живости, чем гармонии. Щеки богоматери и младенца — великолепного алого цвета, причем старый мастер, простодушно предпочитая четкие очертания, румянец на обоих лицах изобразил в виде кругов, до такой степени правильных, словно они вычерчены циркулем.

Ученый критик XVIII столетия аббат Ланци * отнесся к работам Маргаритоне с великим презрением. «Это — грубая мазня, — писал он. — В те злосчастные времена не умели ни рисовать, ни писать красками». И такого мнения единодушно придерживались все эти знатоки искусства в напудренных париках. Но великий Маргаритоне и его современники вскоре были отмщены за столь жестокое презрение к ним. В XIX веке в благочестивой Англии, среди деревенских приверженцев библии и в коттеджах реформистов, народилось множество маленьких Самуилов и святых Иоаннов *, курчавых, как барашки, — они-то к 1840—1850 годам превратились в очкастых ученых, установивших культ примитивов.

Выдающийся теоретик прерафаэлизма * сэр Джемс

---

[1] «Национальной галерее» (*англ.*).

Теккет смело причисляет мадонну в «National Gallery» к лучшим произведениям христианского искусства. «Придавая голове богоматери размер, равный трети всей фигуры, — пишет сэр Джемс Теккет, — старый мастер тем самым настойчиво привлекает внимание зрителя к наиболее благородной части человеческого облика — в особенности к глазам, которые недаром называются «зеркалом души». В этой картине колорит, в полном согласии с рисунком, преследует цель создать впечатление чего-то идеального и мистического. Алый румянец щек не похож на естественный; скорей кажется, что старый мастер украсил лица святой девы и младенца райскими розами».

На подобного рода критике, так сказать, играет отблеск превозносимой ею картины; однако серафический эдинбургский эстет Мак-Силли еще острей и проникновенней передал впечатление, произведенное на его душу созерцанием этого примитива. «Мадонна Маргаритоне достигает трансцендентной цели искусства, — говорит почтенный Мак-Силли, — она пробуждает в тех, кто на нее смотрит, невинность, чистоту, уподобляя их малым детям. До какой степени это верно, можно убедиться по тому, что в возрасте шестидесяти шести лет, после упоительного созерцания этой картины в течение трех часов подряд, я вдруг почувствовал себя грудным младенцем. Проезжая в кэбе по Трафальгар-скверу, я тряс футляром от очков, как детской погремушкой, заливаясь смехом и что-то лепеча. А когда в семейном пансионе, где я живу, служанка подала мне обед, я принялся черпать ложкой суп и с детской непринужденностью лить его себе в ухо.

Подобное действие могут оказывать только совершеннейшие произведения искусства», — добавляет Мак-Силли.

«Маргаритоне, — сообщает Вазари *, — умер в возрасте семидесяти семи лет, сожалея о том, что дожил до того времени, когда появилось новое искусство и новые художники были увенчаны славой». Эти строки, приведенные здесь мною дословно, вдохновили в свое время сэра Джемса Теккета на создание страниц, быть может, самых прелестных во всем его литературном

наследии. Они входят в состав «Настольной книги эстетов»; все прерафаэлиты знают их наизусть. Я хочу процитировать их здесь, чтобы они послужили драгоценнейшим украшением моей книги. По общему мнению, ничего более возвышенного не было написано со времени израильских пророков.

ВИДЕНИЕ МАРГАРИТОНЕ

Однажды Маргаритоне, обремененный годами и трудом, посетил мастерскую молодого художника, недавно поселившегося в городе. Он заметил в мастерской одну Мадонну, только что написанную, которая при всей своей строгости и суровости отличалась известной правильностью пропорций и прямо диавольской игрой света и тени, что придавало ей пластичность и жизненность. В этой картине простосердечный и высокий духом мастер из Ареццо с ужасом провидел живопись будущего.

Закрыв лицо руками, он прошептал:

— Какой позор предчувствую я, глядя на это изображение! Я предугадываю в нем конец христианского искусства, которое изображает душу, внушая жгучую тоску по небесам. Будущие художники не ограничатся тем, что станут, подобно этому юноше, воспроизводить на стене или на деревянной доске наше отмеченное проклятием естество, — они будут славить и восхвалять его. Они придадут изображениям пагубное сходство с живым существом, оденут их плотью. У святых появятся тела, под одеждой будут чувствоваться человеческие формы. У святой Магдалины будут женские груди, у святой Марфы — живот, у святой Варвары — бедра, у святой Агнесы — ягодицы (buttocks); святой Севастиан обнажит юношескую красоту своего тела, а святой Георгий выставит из-под доспехов богатую мускулатуру зрелого мужчины. Апостолы, исповедники, ученые-богословы и сам бог отец предстанут в образах непотребных стариков, словно мы, грешные; ангелы будут смущать сердца своей таинственной красой, двусмысленною и дразнящей. Могут ли подобные изображения вызывать в нас жажду небесного? Отнюдь нет; вместо этого они

станут прививать вкус к формам земной жизни. Остановятся ли художники в своих нескромных поисках и на этом? Нет, не остановятся. Они дойдут до того, что станут показывать мужчин и женщин обнаженными наподобие римских идолов. Будет существовать искусство мирское и искусство священное, но и священное будет таким же мирским.

— Сгиньте, бесы! — воскликнул вдруг старый художник.

Ибо в пророческом видении пред ним возникли праведники и святые, подобные задумчивым атлетам; возникли Аполлоны, играющие на скрипке на вершине горы, среди цветов, в окружении нимф, чуть прикрытых легкими туниками; возникли Венеры, спящие под тенистыми миртами, и Данаи *, подставляющие золотому дождю свои восхитительные чресла; возникли Иисусы, под колоннадами, среди патрициев, светлокудрых дам, музыкантов, пажей, негров, собак и попугаев; возникли, в беспорядочном смешении человеческих тел, раскинутых крыльев и развевающихся тканей, Вифлеемские пещеры, едва вмещающие множество суетливых фигур; дородные Святые семейства; торжественные Распятия; возникли святые Екатерины, святые Варвары, святые Агнесы, затмевающие патрицианок бархатом, парчою и перлами роскошных своих нарядов и ослепительной белизною своих обнаженных грудей; возникли Авроры, разбрасывающие охапки роз; возникли многочисленные нагие Дианы и нимфы, застигнутые врасплох среди тенистых зарослей на берегу ручья. И умер великий Маргаритоне, задохнувшись от страшного предчувствия всех ужасов Возрождения и болонской школы *.

Глава VI

Марбод

До нас дошел драгоценный памятник пингвинской литературы XV века — повесть о хождении по преисподней, которое совершил Марбод, монах ордена св. Бенедикта, пламенный поклонник поэта Вергилия.

Этот рассказ, написанный на недурном латинском языке, был опубликован г-ном Дюкло де Люном. Ниже приводится впервые французский перевод. Полагаю, что окажу услугу моим соотечественникам, дав им возможность познакомиться с этими страницами, конечно, не единственными в своем роде среди произведений средневековой латинской литературы. Из подобных фантастических рассказов назовем, например, «Плавание св. Брендана», «Видение Альберика», «Чистилище св. Патрика» * — вымышленные описания предполагаемого загробного мира, вроде «Божественной Комедии» Данте Алигьери.

Рассказ Марбода — одно из самых поздних произведений на такую тему, но отнюдь не наименее странное.

СОШЕСТВИЕ МАРБОДА В ПРЕИСПОДНЮЮ

В году тысяча четыреста пятьдесят третьем от воплощения сына божия, незадолго до того, как враги честного животворящего креста вошли в град Елены и великого Константина *, даровано было мне, брату Марбоду, недостойному монаху, видеть и слышать то, чего никто доныне не слышал и не видел. Я составил о том правдивое повествование, дабы память о происшедшем не исчезла вместе со мною, ибо краток срок жизни человеческой. В первый день мая означенного года, в час, когда в Корриганском аббатстве служили вечерню, я, сидя на камне возле колодца, укрытого под сенью шиповника, читал, по обыкновению своему, одну из песен излюбленного мною поэта Вергилия, поведавшего о труде земледельческом, о пастухах и вождях. Вечер уже окутывал складками своей багряницы своды монастыря, и я в волнении шептал стихи о том, как Дидона Финикиянка влачит дни свои под миртами преисподней *, чувствуя боль еще не зажившей раны. Тут мимо меня прошел брат Гилярий, сопровождаемый братом Гиацинтом, монастырским привратником.

Взращенный в варварское время, до возрождения муз, брат Гилярий не приобщен к античной мудрости; однако поэзия Мантуанца *, словно свет факела, пронизывающий тьму, заронила луч свой и в его разум.

— Брат Марбод, — спросил он меня, — что за стихи произносишь ты прерывистым шепотом, с таким волнением, что у тебя вздымается грудь и сверкают глаза? Не из великой ли они «Энеиды», от которой ты не отрываешь взора с утра до вечера?

Я ответил ему, что читал то место у Вергилия, где сын Анхиза * увидал Дидону, подобную луне за листвою деревьев [1].

— Брат Марбод, — заметил он, — я не сомневаюсь, что Вергилий во всех случаях высказывает мудрые суждения и глубокие мысли. Но песни, которые он наигрывал на сиракузской флейте, полны такой красоты и такого высокого смысла, что способны просто ослепить нас,

— Будь осторожен, отец мой, — испуганно воскликнул брат Гиацинт. — Вергилий был волшебник и совершал чудеса при помощи демонов. Именно так прорыл он насквозь гору близ Неаполя и сделал бронзового коня, обладавшего силой исцелять все конские болезни. Он был некромант, и еще ныне в одном из городов Италии показывают зеркало, в котором он заставлял появляться мертвых. Но все-таки женщина провела этого могущественного колдуна: одна неаполитанская куртизанка поманила его из окошка и склонила его сесть в подъемную корзину, служившую для доставки наверх провизии; а затем коварно оставила его висеть всю ночь между двумя этажами.

Но брат Гилярий, словно не слыша этих речей, сказал:

— Вергилий — пророк. Да, он пророк, далеко превзошедший сивилл с их священными песнями и дочь царя Приама * и великого прорицателя — Платона Афинского. В четвертой из своих сиракузских

---

[1] У Вергилия: «...qualem primo qui surgere mense
Aut videt aut vidisse putat per nubila lunam» *.

(...как тот, кто видит или кому кажется, что он видел, как в начале месяца появляется в облаках луна. — *Лат.*). Брат Марбод, впадая в странную ошибку, созданный поэтом образ заменяет совершенно другим. (*Прим. автора.*)

песней он предрекает рождество господа нашего, причем речь его кажется скорей небесной, чем земной [1].

В те дни, когда я еще учился, впервые прочитанные мною слова: «Jam redit et virgo», — погрузили меня в бесконечное блаженство; но тут же я почувствовал себя уязвленным печалью при мысли о том, что, навсегда лишенный лицезрения господа, автор этой пророческой песни, самой прекрасной среди песней, когда-либо исходивших из уст человеческих, томится в вечном мраке, вместе с язычниками. Эта жестокая мысль не оставляла меня. Она преследовала меня даже во время моих занятий, молитв, размышлений и подвигов воздержания. Думая о том, что господь навеки отвратил от Вергилия лицо свое и тот, быть может, даже разделяет участь всех осужденных на адские мучения, я не знал ни радости, ни покоя и каждый день многократно восклицал, воздевая к небесам руки: «Открой мне, господи, какую участь назначил ты тому, кто пел на земле подобно ангелам в небесах?»

Тревога моя прекратилась через несколько лет, когда в одной древней книге я прочитал, что великий апостол, призвавший язычников в церковь Христову, — святой Павел, прибыв в Неаполь, слезами своими освятил гробницу царя поэтов [2]. Это дало мне основание

---

[1] За три столетия до того времени, когда жил наш Марбод, в церквах на рождество пели:

«Maro, vates gentilium,
Da Christo testimonium».
(*Прим. автора.*)

(О Марон *, прорицатель народов, свидетельствуй о Христе. — *Лат.*)

[2] «Ad Maronis mausoleum
Ductus, fudit super eum
Piae rorem lacrymae.
Quem te, inquit, reddidissem,
Si te vivum invenissem,
Poetarum maxime!»
(*Прим. автора.*)

(Приведенный к гробнице Марона, он пролил росу благочестивой слезы и сказал: «Кем бы я тебя сделал, если бы застал живым, о величайший из поэтов! — *Лат.*)

полагать Вергилия, как императора Траяна, допущенным в рай за то, что он из тьмы заблуждений своих прозревал истину. Такой вывод не обязателен, но мне сладостно убеждать себя в этом».

Затем старец Гилярий пожелал мне мирного и благостного сна и удалился вместе с братом Гиацинтом.

Я снова предался наслаждению моим любимым поэтом. Пока я с книгою в руке размышлял о тех, кто, сраженный Амуром, погиб от жестокой муки и тайными тропами бродит теперь по зарослям миртовой рощи, — в воде монастырского колодца к лепесткам шиповника примешались отсветы звезд. Внезапно огоньки, благоухания ночи, спокойствие небосвода — все исчезло. Чудовищный Борей *, бушуя во мраке, с ревом обрушился на меня, поднял меня в воздух и, как соломинку, понес через города и веси, через реки и горы, сквозь грохочущие громом тучи и нес всю долгую, долгую ночь, слившуюся из целой вереницы дней и ночей. И когда наконец упорная и жестокая ярость урагана утихла, я оказался далеко от родных мест, в глубине некоей долины, окаймленной кипарисами.

И ко мне приблизилась женщина, исполненная мрачной красоты, в длинных, влачащихся по земле одеждах. Положив левую руку мне на плечо и указывая правой на широколиственный дуб, она сказала:

— Смотри!

Тогда я понял, что это Сивилла, охранительница священной Авернской рощи *, и в густой листве дерева, на которое указывал ее перст, я различил золотую ветвь, любезную прекрасной Прозерпине *.

Поднявшись с земли, я воскликнул:

— Так значит, о вещая дева, ты разгадала мое желание и удовлетворила его! Ты показала мне дерево со сверкающей ветвью, без которой никому не дано войти живым в обитель мертвых. А я воистину пламенно желал беседовать с тенью Вергилия.

Сказав так, я сорвал с древнего дуба золотую ветвь и бесстрашно устремился в дымящуюся пропасть, через которую пролегает путь к тинистым берегам Стикса *, туда, где, подобно опавшим листьям, кружатся тени умерших. При виде ветви, посвященной Прозер-

пине, Харон пустил меня к себе в ладью, заскрипевшую под тяжестью моего тела, и я доплыл до берега мертвых, где меня встретил беззвучным лаем трехголовый Цербер. Я замахнулся на него тенью камня, и призрачное чудовище убежало в свое логово. В тех местах, среди камышей, кричат младенцы, едва раскрывшие глаза навстречу сладостному сиянию дня и тут же сомкнувшие их; в глубине мрачной пещеры судит смертных Минос *. Я проник в миртовую рощу, где, тоскуя, влачатся жертвы любви * — Федра, Прокрида, печальная Эрифила, Эвадна, Пасифая, Лаодамия и Кения, и Дидона Финикиянка; вслед за тем перешел пыльные поля, отведенные для знаменитых воинов. По ту сторону полей берут начало две дороги. Левая — в Тартар, местопребывание нечестивцев. Я пошел по правой, ведущей к Елисейским полям и обители Дия *. Повесив священную ветвь у дверей богини, я достиг приятных лугов, одетых пурпуровым светом. Тени философов и поэтов вели там между собой степенную беседу. Грации и музы водили на траве легкие хороводы. Под звон своей сельской лиры пел старый Гомер. Глаза его были закрыты, но уста струили свет божественно прекрасных образов. Я видел Солона, Демокрита и Пифагора *, следивших за играми юношей на зеленом лугу, а сквозь листву древнего лавра заметил Гесиода, Орфея, меланхолического Еврипида и мужественную Сафо *. Проходя мимо прохладного ручья, я среди сидящих на берегу узнал поэта Горация, Вария, Галла * и Ликориду. Немного в стороне от них Вергилий, прислонившись к темному падубу, задумчиво озирал рощу. Высокий, с тонким станом, он и здесь сохранил свой деревенский вид, свой загар и небрежность одежды — весь грубоватый облик, под которым при жизни скрывался его гениальный дар. Я благоговейно склонился перед ним и долго не мог произнести ни слова. Наконец, преодолев смущение, сжимавшее мне горло, я воскликнул:

— О любимец авзонийских муз *, прославивший имя латинян! О Вергилий, ты дал мне познать красоту, ты приобщил меня к пиршеству богов и ложу богинь. Не отвергни хвалы смиреннейшего из твоих почитателей.

— Встань, чужестранец! — отвечал мне божественный поэт. — Я узнаю в тебе живого по длинной тени, отбрасываемой на траву твоим телом при свете этого вечно длящегося вечера. Ты не первый из смертных, сошедший еще при жизни в эти обители, как ни трудно какое-либо общение между живыми и нами. Но перестань восхвалять меня: я не люблю похвал; смутный шум славы всегда оскорблял мой слух. Вот почему, бежав из Рима, где я был известен в среде праздных и любопытных, я уединенно трудился в моей милой Партенопее *. И потом, чтобы оценить значение твоих похвал, я недостаточно уверен, что мои стихи понятны людям твоего века. Кто ты?

— Я — Марбод, из королевства Альки. Принял постриг в Корриганском монастыре. Читаю стихи твои днем и ночью. Только ради того, чтобы видеть тебя, спустился я в преисподнюю: я жаждал знать, какова здесь твоя участь. На земле ученые часто спорят об этом. Одни полагают в высшей степени вероятным, что, прожив всю жизнь при господстве демонов, ты горишь ныне в неугасимом огне; другие, более осторожные, не высказывают никакого суждения, считая все рассказы о мертвых малодостоверными и полными вымыслов; некоторые — надо сказать, не из самых больших умников — утверждают, что, дав голосу муз сицилийских звучать на возвышенный лад и провозвестив пришествие нового сына небес, ты, подобно императору Траяну, был допущен в христианский рай, чтобы вкушать там вечное блаженство.

— Ты видишь, что все это не так, — с улыбкой промолвила тень.

— В самом деле, о Вергилий, я встретил тебя среди героев и мудрецов, в Елисейских полях, описанных тобою самим. Так значит, вопреки всему, что многие думают на земле, никто не приходил сюда за тобою от имени того, кто царит в небесах?

После довольно долгого молчания он отвечал:

— Не скрою от тебя ничего. Он посылал за мною; один из его посланцев, какой-то простодушный человек, пришел оказать мне, что меня ждут и что, хотя я не приобщен к их таинствам, но, во внимание к моим

пророческим песням, мне обеспечено место среди приверженцев новой секты. Однако я отказался от приглашения. Мне совсем не хотелось переселяться. Это не значит, что я разделяю восхищение греков их Елисейскими полями и что я вкушаю здесь утехи, из-за которых Прозерпина забыла свою мать. Я никогда особенно не верил тому, что сам рассказывал обо всем этом в «Энеиде». Воспитанный философами и физиками, я предчувствовал, каково истинное положение дел. Жизнь в преисподней чрезвычайно ограниченна; здесь не испытывают ни радости, ни страдания; существуют как бы не существуя. Мертвые обладают здесь только тем бытием, каким их наделяют живые. И все же я предпочел остаться здесь.

— Но как объяснил ты, Вергилий, столь странный отказ?

— О, весьма убедительно. Я сказал посланцу бога, что не заслуживаю такой чести и что стихам моим придают смысл, которого они не имеют. На самом деле в четвертой эклоге своей я нисколько не изменил вере предков. Только невежественные евреи могли истолковать в пользу некоего варварского бога песнь, где я славлю наступление нового золотого века, возвещенного прорицаниями Сивиллы. И я сослался на то, что не имею никакого права занять место, отводимое мне по ошибке. Затем я указал на свой темперамент и вкусы, не соответствующие нравам новых небес.

«Я отнюдь не нелюдим, — сказал я этому человеку. — При жизни я отличался мягким и легким характером. Крайняя простота всего моего обихода давала повод подозревать меня в скупости, — но я ничего не приберегал для себя одного; моя библиотека была доступна каждому, и я согласовывал свое поведение с прекрасными словами Эврипида: «У друзей все должно быть общим». Хвалы мне докучали, когда имели в виду меня, но доставляли удовольствие, когда были обращены к Варию или Макру *. Однако больше всего влечет меня простая сельская жизнь; мне по нраву общение с животными; я так тщательно их наблюдал, так о них заботился, что прослыл, и не без оснований, очень хорошим ветеринаром. Мне говорили, что люди

из вашей секты признают наличие бессмертной души у себя, но отрицают ее у животных, — это нелепость, заставляющая меня сомневаться в их разуме. Я люблю стада и — быть может, немного слишком — пастухов. У вас на это взглянули бы косо. Есть правило, которому я всегда стремился следовать в своих поступках: ничего «слишком»! Не только слабое здоровье, но главным образом усвоенная мною философия приучила меня во всем соблюдать меру. Я воздержан в пище: какой-нибудь латук, несколько маслин да глоток фалернского составляли всю мою трапезу. Я лишь изредка посещал ложе чужестранок; я не засиживался в таверне, глядя, как молодая сирийка пляшет под звуки кротала [1]. Но если я сдерживал свои страсти, то лишь ради самого себя и в силу хорошего воспитания; а бояться радости и избегать наслаждений — казалось мне всегда самым отвратительным оскорблением, какое можно нанести природе. Меня уверяли, что среди избранников твоего бога некоторые при жизни воздерживались от пищи и избегали женщин из любви к лишениям, добровольно подвергая себя бесполезным страданиям. Я боялся бы встретиться с подобными преступниками, омерзительными для меня своим неистовством. От поэта нельзя требовать слишком строгого подчинения какой-нибудь физической или моральной доктрине. К тому же я римлянин, а римлянам, в отличие от греков, недоступно сложное искусство погружаться в глубины отвлеченной мысли: если они принимают какую-нибудь философскую систему, то главным образом с целью извлечь из нее практическую пользу. Сирон *, которого у нас высоко ценили, преподал мне учение Эпикура, тем самым избавив меня от пустых страхов и отвратив от жестокости, которую внушает религия своим невежественным последователям; Зенон * научил меня терпеливо переносить неизбежные страдания; я воспринял мысли Пифагора о том, что душа есть и у людей и у животных и что у тех и других она божественного происхождения. Это

---

[1] Если верить Марбоду, эта фраза, по-видимому, подтверждает что *«Copa»* принадлежит Вергилию». (*Прим. автора.*)

учит нас не гордиться собою, но и не стыдиться за себя. Я узнал от александрийцев *, как земля, сначала мягкая и податливая, постепенно затвердела, когда Нерей * стал отступать от нее, углубляясь то тут, то там в свою влажную обитель; как незаметно образовалась природа; каким образом дождь, падая из облегчаемых туч, питал молчаливые леса и, наконец, какое долгое развитие потребовалось для того, чтобы первые животные стали бродить по безыменным горам. Я уже не способен примениться к вашей космогонии, более пригодной для погонщиков верблюдов где-нибудь в сирийских песках, чем для ученика Аристарха Самосского *. Да и что мне делать в ваших блаженных селениях, где я не встречу ни своих друзей, ни предков, ни учителей, ни богов, где мне не дано будет видеть могущественного сына Реи, Венеру со сладостной улыбкой на устах, мать Энеад, Пана, юных дриад, сильванов и старого Силена *, которому Эгле * вымазала лицо пурпурным соком тутовых ягод?»

Вот какие доводы я привел простодушному посланцу, с тем чтобы он представил их преемнику Юпитера *.

— А с тех пор, о великая тень, к тебе уже не являлись посланцы?

— Нет, никто не являлся.

— Утешать в твоем отсутствии возложено там на трех поэтов: Коммодиона, Пруденция и Фортуната *, рожденных в темную пору, когда не знали больше ни просодии, ни грамматики. Но скажи, о Мантуанец, ужели не получил ты больше никакой вести о боге после того, как столь неосмотрительно отверг общение с ним?

— Если память не изменяет мне, никакой.

— А разве ты не сказал, что не я первый сошел живым в эти селения и предстал перед тобою?

— Ах да, ты напомнил мне... Вот уже полтораста лет (насколько могу судить, ибо трудно теням вести счет дней и годов), как глубокий покой мой был потревожен странным посещением. Бродя по берегам Стикса, осененным призрачно-бледной листвой, я вдруг увидел пред собой человеческий образ, более плотный и темный, чем обитатели этих мест; я догадался, что

это — живой. Он был высокого роста *, тощий, с орлиным носом, с острым подбородком, ввалившимися щеками; черные глаза его метали пламя; красный капюшон с надетым поверх него лавровым венком прикрывал впалые виски. У него проступали кости под узкой одеждой бурого цвета, доходившей ему до пят. Поклонившись мне с почтительностью, особенно заметной при какой-то мрачной гордости всего его облика, он обратился ко мне на языке, еще более неправильном и темном, чем у галлов, которыми божественный Юлий * наводнил легионы и курию. Мне все же удалось понять, что он рожден близ Фезул *, в этрусской колонии, основанной Суллою * на берегу Арно и впоследствии достигшей процветания; что там он уже занимал почетные должности в городском управлении, но, когда между сенатом, всадниками и народом возникли кровавые распри, он со всем пылом вмешался в них и теперь, побежденный, высланный из родного города, влачил по свету долгие дни изгнания. Он рассказал мне об Италии, еще более жестоко раздираемой смутами и междоусобицами, чем во времена моей молодости, и воздыхающей о приходе нового Августа *. Я пожалел его, памятуя о своих собственных тяжких испытаниях.

В нем чувствовалась страстность отважной души, ум его питал широкие замыслы, но, увы, грубым невежеством своим человек этот свидетельствовал о торжестве варварства. Он не знал ни поэзии, ни науки греков, ни даже их языка *, и взгляды древних на происхождение мира и природу богов были ему неизвестны. Он с важностью повторял басни, над которыми в Риме моего времени посмеялись бы даже самые маленькие дети, допускаемые бесплатно в баню. Чернь легко верит в существование разных чудовищ. В особенности этруски населили преисподнюю безобразными демонами, подобными горячечным видениям больного. Что этруски сохранили приверженность к детским своим вымыслам на протяжении стольких веков, можно объяснить длительными и со временем даже возросшими невежеством и нищетою; но чтобы одно из их должностных лиц *, человек в умственном отно-

шении выдающийся, разделял пустые народные верования и боялся отвратительных демонов, которых во времена Порсены * местные жители изображали на стенах гробниц, — это может огорчить даже мудреца. Этруск прочел мне свои стихи, составленные на новом наречии, которое он называет народным языком *, но смысла их я разобрать не мог. Мне показалось скорее странным, чем привлекательным, его обыкновение подчеркивать ритм, повторяя три-четыре раза через правильные промежутки одни и те же звуки. Такое ухищрение вовсе не кажется мне удачным; но не мертвым судить живых.

Впрочем, этому колону Суллы я ставлю в упрек не то, что, рожденный в злосчастные времена, он слагает неблагозвучные стихи, что он, если только это возможно, такой же плохой поэт, как Бавий и Мевий *, — за ним есть другие провинности, которые больше задевают меня. Поистине, чудовищно и почти невероятно! Этот человек, вернувшись на землю, распространил обо мне отвратительные измышления; он уверяет во многих местах дикой поэмы своей, будто я водил его по новому Тартару, которого я совершенно не знаю; он нагло возвестил повсюду, будто я считаю римских богов ложными и лживыми богами, а истинным богом зову нынешнего преемника Юпитера. Друг мой, когда ты снова увидишь сладостный свет солнца и вернешься к себе на родину, опровергни эти гнусные выдумки; убеди народ свой, что певец благочестивого Энея никогда не воскурял фимиама еврейскому богу.

Меня уверяют, что могущество его клонится к упадку и что несомненные признаки позволяют предвидеть его скорое падение. Такие вести доставили бы мне некоторую радость, если бы можно было радоваться в этих местах, где не испытывают ни страхов, ни желаний.

Так он сказал и, безмолвно простившись со мной, удалился. Я смотрел, как тень эта скользит по цветам асфоделей *, не сгибая стеблей; видел, как она становится все меньше и туманней, по мере того как удаляется от меня; затем она совершенно исчезла, не достигнув вечнозеленой лавровой рощи. Тогда я понял

смысл его слов: «Мертвые обладают только тем бытием, каким их наделяют живые», — и, ступая в задумчивости по бледной зелени лугов, я пошел ко вратам из рога *.

Заверяю, что все здесь написанное — истинная правда [1].

Глава VII

Знаки на луне

Когда Пингвиния еще коснела во мраке невежества и варварства, Жиль Луазелье *, францисканский монах, известный своими сочинениями под именем Эгидия Авкуписа, с неугасимым пылом изучал литературу и науки. Он посвящал свои ночные бдения математике и музыке, называя их двумя прелестными сестрами, гармоническими дочерьми Числа и Воображения. Он знал медицину и астрологию. Его подозревали в занятиях магией, и, кажется, он в самом деле производил превращения и умел находить спрятанное. Монахи его обители, найдя у него в келье греческие книги, которых не в состоянии были читать, решили, что это книги заклинаний, и донесли на своего слишком ученого брата, обвиняя его в колдовстве. Эгидий Авкупис

---

[1] Одно место в рассказе Марбода весьма достойно внимания — именно то, где корриганский монах описывает Алигьери именно таким, как мы его себе представляем в настоящее время. На цветных миниатюрах одной из старейших рукописей «Божественной Комедии» — в «Codex venetianus», — поэт изображен в виде толстенького человечка в короткой тунике, вздернутой на животе. Что же касается Вергилия, то он еще на деревянных гравюрах XVI века представлен с бородою, приличествующей философу.

Равным образом невозможно допустить, чтобы Марбоду или даже Вергилию известны были этрусские гробницы Кьюзи и Корнето *, где действительно имеется стенная живопись со множеством страшных и нелепых изображений дьяволов, на которых очень похожи дьяволы Орканьи *. Тем не менее подлинность «Сошествия Марбода в преисподнюю» не вызывает никаких сомнений: г-н Дюкло де Люн убедительно доказал ее; усомниться в ней — значит усомниться в самой палеографии.

бежал на остров Ирландию, где прожил тридцать лет, предаваясь ученым занятиям. Он посещал монастыри, разыскивая греческие и латинские рукописи, которые там хранились, и делал с них списки. Изучал он также физику и алхимию. Он достиг всеобщего знания и, в частности, раскрыл многие тайны животного, растительного и минерального мира. Однажды его застали запершимся наедине с женщиной совершенной красоты, которая пела, аккомпанируя себе на лютне, а потом оказалось, что это был механизм, собственноручно им сделанный.

Он часто переплывал Ирландское море, чтобы посетить монастырские книгохранилища Уэльса. Во время одной из таких поездок, стоя ночью на палубе, он увидел под водою двух осетров, плывших рядом с кораблем. Он обладал тонким слухом и знал язык рыб.

И вот он слышит, как один осетр говорит другому:

— Человек с вязанкой хвороста за плечами, которого издавна видели на луне, упал в море.

А другой осетр добавил:

— И теперь на серебряном диске увидят изображение двух влюбленных, целующих друг друга в губы.

Через несколько лет, вернувшись в свою родную страну, Эгидий Авкупис увидел, что там возродилась античная литература и науки опять в почете. Нравы стали мягче; люди перестали преследовать нимф источников, лесов и гор своими оскорблениями. Они пристойно украшали сады статуями муз и граций и, как в древние времена, воздавали должные почести Усладительнице людей и богов, вкушающих амброзию с ее божественных уст. Помирившись с природой, они попирали ногами пустые страхи и глядели на небеса, не боясь прочитать в них, как прежде, знаки гнева и угрозы вечных мучений.

При виде всего этого Эгидий Авкупис вспомнил в душе, о чем возвещали два осетра в Эринском море *.

Книга четвертая

НОВОЕ ВРЕМЯ

Тринко *

Глава I

Рукениха

Эгидий Авкупис, пингвинский Эразм *, не ошибся: наступило время свободного исследования. Но великий человек увидел смягчение нравов там, где проявлялось лишь щегольство гуманизмом, и не предвидел, к каким последствиям приведет пробуждение мысли у пингвинов. Оно повлекло за собой реформацию; католики стали истреблять протестантов; протестанты стали истреблять католиков — таковы были первые достижения свободной мысли. В Пингвинии одержали верх католики. Но, сами того не сознавая, они прониклись духом исследования; они стали примирять веру с разумом, стараясь очистить религию от позорящих ее суеверных обычаев, как впоследствии освобождали здания соборов от прилепившихся к ним лавчонок сапожников, перекупщиц и старьевщиков. Слово «легенда», первоначально означавшее то, что надлежит читать верующим, стало названием для всяких благочестивых россказней и ребяческих сказок.

От такого состояния умов пришлось немало пострадать святым обоего пола. Например, некий каноник по имени Пренсто, весьма ученый, весьма строгий, весьма суровый, такое количество их объявил недостойным особого праздника, что его прозвали опусто-

шителем церковных ниш. Он не признавал, что молитва св. Маргарите, приложенная в виде припарки к животу роженицы, облегчает родовые муки.

Заступница Пингвинии, столь чтимая святая, тоже не избежала его суровой критики. Вот что говорит он о ней в своих «Алькских древностях»:

«Чрезвычайно недостоверна история и даже самый факт существования св. Орброзы. Один старый анонимный составитель анналов, домбский монах, сообщает, что диавол овладел женщиной по имени Орброза в пещере, куда потом — еще и во времена самого анналиста — деревенские мальчишки и девчонки приходили играть в дьявола и прекрасную Орброзу. Он добавляет, что женщина эта стала наложницей ужасного дракона, опустошавшего страну. Это совершенно невероятно, однако и в том виде, в каком история Орброзы излагалась впоследствии, она заслуживает не больше доверия.

Житие этой святой составлено аббатом Симплициссимусом * спустя триста лет после того времени, когда якобы произошли описываемые события; автор проявляет чрезмерное легковерие и полное отсутствие критического чутья».

Сверхъестественное происхождение пингвинов стало казаться сомнительным. Историк Овидий Капито решился даже отрицать их чудесное превращение. Свои «Анналы Пингвинии» он начинает так:

«Эти события окутаны мраком неизвестности, и не будет преувеличением сказать, что повествование о них соткано из ребяческих сказок и простонародных небылиц. Пингвины считают, что они будто бы произошли от птиц, окрещенных святым Маэлем и при посредстве этого славного проповедника обращенных богом в людей. Они утверждают также, что, первоначально расположенный в Ледовитом океане, остров пингвинов стал плавучим, подобно Делосу *, достиг морей, благословенных небом, и воцарился среди них, Я предполагаю, что в этом мифе отразились переселения пингвинов, происходившие в древние времена».

В следующее столетие, в век философов, скептицизм стал еще более разъедающим, — в подтверждение

достаточно привести хотя бы знаменитый отрывок из «Опыта о нравственности»: *

«Прибывшие неведомо откуда (ибо происхождение их далеко не ясно), подвергавшиеся одному вражескому нашествию за другим, последовательно покоряемые четырьмя или пятью народами юга, запада, востока и севера, скрестившись, смешав свою кровь, породнившись и слившись с ними, пингвины похваляются чистотою своей расы, и они правы, так как образовали действительно чистую расу. Из такого смешения племен — краснокожих, черных, желтых и белых, круглоголовых и длинноголовых — с течением веков образовалось довольно однородное человеческое семейство, обладающее некоторыми постоянными признаками, выработанными общностью жизни и нравов.

Мысль о том, что они принадлежат к прекраснейшей из всех рас на свете и составляют в ней прекраснейшее из семейств, внушает им благородную гордость, неукротимое мужество и ненависть ко всему человечеству.

Жизнь каждого народа — не что иное, как смена бедствий, преступлений и безумств. Это так же справедливо относительно пингвинов, как и относительно других народов. Тем не менее история пингвинов достойна восхищения от начала до конца».

Два классических века пингвинской истории слишком хорошо известны, чтобы здесь на них останавливаться; однако до сих пор обращалось недостаточно внимания на то, как теологи-рационалисты, вроде каноника Пренсто, породили неверующих следующего столетия. Руководствуясь своим разумом, они уничтожали в религии все, что представлялось им несущественным, оставляя незыблемыми лишь самые основы веры в узком смысле слова; их духовные наследники, привыкнув пользоваться помощью науки и разума, обратили то и другое против всего, что еще оставалось от верований; рационалистическое богословие породило натуральную философию.

Вот почему (если мне дозволено сделать переход от пингвинов былых времен к нынешнему верховному

главе вселенской церкви) достойна высшего восхищения мудрость папы Пия X *, воспретившего заниматься толкованием Священного писания, ибо это противоречит божественному откровению, угрожает истинному богословию и губительно для веры. Если и найдутся монахи, готовые, вопреки запрету, поддерживать права науки, то ученость их пагубна и знания тлетворны, — а если кто из верующих к ним примкнет, так это будет, клянусь, либо безмозглый дурак, либо какой-нибудь проклятый гугенот.

В конце века философов старый режим в Пингвинии был сокрушен, король предан смертной казни *, дворянские привилегии уничтожены и, посреди смуты, под грозными ударами войны, была провозглашена Республика. Собрание, управлявшее тогда Пингвинией, издало указ об изъятии у церквей всех металлических предметов для их переплавки. Патриоты оскверняли гробницы королей. Рассказывают, что, когда открыли гробницу Драко Великого, он лежал там весь как из черного дерева и такой величественный, что грабители в ужасе разбежались. Согласно же другим свидетельствам они всунули ему в рот трубку и предложили в насмешку стаканчик вина.

На семнадцатый день месяца цветов * рака св. Орброзы, пять веков простоявшая в церкви св. Маэля и окруженная благоговейным почитанием народа, была перенесена в городскую ратушу и подвергнута исследованию экспертов, назначенных общиной; рака имела форму корабля из золоченой меди, была покрыта эмалью и украшена каменьями — как обнаружилось, фальшивыми. Капитул предусмотрительно вынул все рубины, сапфиры и изумруды, а также большие шары горного хрусталя, заменив все это кусками стекла. Внутри только и было что немного пыли да какие-то тряпки, которые бросили в большой костер, разведенный на Гревской площади для предания огню всех священных реликвий. Народ плясал вокруг, распевая патриотические песни.

С порога своей лавки, примыкающей к городской ратуше, Рукен и Рукениха смотрели на этот беснующийся хоровод. Рукен занимался стрижкой собак и

холощением котов; он усердно посещал кабачки. Рукениха чинила соломенные сиденья у стульев и промышляла сводничеством; она была женщина неглупая.

— Видишь, Рукен? — сказала она мужу. — Они глумятся над святою. Раскаются они в этом!

— Ничего ты не смыслишь, жена, — отвечал Рукен. — Они стали философами, а коли ты философ, так уж на всю жизнь.

— Говорю тебе, Рукен, рано или поздно раскаются они в том, что нынче затеяли. Расправляются со святыми за то, что те мало им помогали; да ведь все равно никогда того не будет, чтобы жареные перепелки прямо в рот им попадали; останутся они такими же нищими, как прежде, а кончат бесноваться, опять богу молиться начнут. Придет день, — да раньше, чем можно подумать, — и наша Пингвиния снова станет почитать свою заступницу благодатную... Послушай, Рукен, а нехудо бы нам на этот случай припрятать у себя где-нибудь в старом горшке щепотку пепла да несколько костей и тряпок. Скажем, что это мощи святой Орброзы, что мы их, жизнью рискуя, из огня вытащили. За такое дельце мы на старости лет от господина священника еще разрешение получим торговать церковными свечами и давать напрокат стулья в часовне святой Орброзы.

Сказано — сделано: Рукениха выгребла из своего очага немного пепла и, положив его вместе с несколькими обглоданными костями в старый горшок из-под варенья, поставила все это на шкаф.

Глава II

Тринко

Самодержавный народ, отобрав землю у дворянства и духовенства, стал продавать ее по дешевке буржуа и крестьянам. Буржуа и крестьяне рассудили, что революция удобна для приобретения земли, но неудобна для дальнейшего ее сохранения.

Республиканские законодатели издали грозные законы в защиту собственности и эдикты, карающие смертью за призыв к разделу богатства. Но это не помогло республике. Крестьяне, став собственниками, увидели, что она, обогатив их, подорвала право собственности, и стали желать другого режима, более благоприятного для собственников и более способного упрочить новые установления.

Ждать им пришлось недолго. Республика, подобно Агриппине, вынашивала в своем чреве своего собственного убийцу *.

Вынужденная вести большие войны, она создала военные силы, которым предстояло спасти ее — и уничтожить.

Республиканские законодатели рассчитывали сдерживать генералов угрозой наказаний. Но если иногда они и рубили головы военным, терпевшим поражения, то не могли так поступать с военными, одерживающими победу, которые приобретали влияние как спасители республики.

Воодушевленные бранною славой, воспрянувшие пингвины отдались во власть дракону, еще более ужасному, чем дракон их баснословных преданий, и он в течение четырнадцати лет, подобно аисту, призванному на царство лягушками, пожирал их своим ненасытным клювом.

Через полвека после правления нового дракона один молодой малайский махараджа по имени Джамби, совершая, подобно скифу Анахарсису *, образовательное путешествие, посетил Пингвинию и составил любопытное описание этой страны, первую страницу которого мы здесь приводим.

ПУТЕШЕСТВИЕ МОЛОДОГО ДЖАМБИ ПО ПИНГВИНИИ

После девяностодневного плавания по морю я высадился в обширном и пустынном порту войнолюбивых пингвинов и по невозделанным землям добрался наконец до столицы, лежащей в развалинах.

Опоясанная валами, полная казарм и арсеналов, она являла вид воинственный, но разоренный.

На улицах всякие рахитичные калеки, гордо таскающие на себе лохмотья военных мундиров, бряцали ржавым оружием.

— Что вам здесь надо? — грубо окликнул меня у городских ворот какой-то солдат с грозно торчащими в небо усами.

— Сударь, — отвечал я ему, — я приехал сюда из любознательности — осмотреть остров.

— Это не остров, — поправил меня солдат.

— Как! — воскликнул я. — Остров пингвинов — оказывается, не остров?!

— Нет, сударь, это — инсула [1]. Прежде его действительно называли островом, но вот уже сто лет как он согласно декрету именуется инсулой. Это единственная инсула во всем мире. Паспорт у вас есть?

— Вот он!

— Ступайте завизируйте его в министерстве иностранных дел.

Хромой провожатый, посланный со мною, остановился на большой площади.

— Наша инсула, как вам известно, — сказал он, — родина величайшего гения в мире — Тринко, статуя которого — здесь, перед вами; обелиск, направо от вас, воздвигнут в память рождения Тринко; колонна, налево, увенчана фигурой Тринко с диадемой. А там, дальше — триумфальная арка в честь Тринко и его семьи.

— Что же он совершил столь необыкновенного, этот Тринко? — спросил я.

— Он вел войны.

— Но в войнах нет ничего необыкновенного. Мы, малайцы, постоянно воюем.

— Возможно, но Тринко — величайший воитель всех времен и народов. Равного ему завоевателя нет и никогда не было. Входя в наш порт, вы, конечно, видели на востоке конусообразный вулканический остров Ампелофор, небольшого размера, но прославленный

---

[1] Инсула (insula) — остров (*лат.*).

своими винами; а на западе — остров более обширный, который возносит к небесам ряд острых зубьев, почему и зовется Собачьей Челюстью. Он богат медной рудою. До прихода Тринко к власти оба эти острова принадлежали нам, и здесь кончались наши владения. Тринко распространил владычество пингвинов на Бирюзовый архипелаг и Зеленый континент, покорил сумрачную Дельфинию, водрузил свои знамена среди полярных льдов и в раскаленных песках африканской пустыни. Он вербовал войска во всех завоеванных странах, и на смотрах вслед за частями нашей войнолюбивой пехоты и островными гренадерами, гусарами, драгунами, артиллеристами, вслед за нашими обозниками двигались желтолицые воины в синих доспехах, подобные вставшим на свой хвост ракам; краснокожие, с перьями попугая на голове, татуированные знаками солнца и плодородия, с позвякивающими колчанами за спиной, полными отравленных стрел; чернокожие, совершенно голые, вооруженные только своими зубами и ногтями; пигмеи верхом на журавлях; гориллы, опирающиеся на дубину из цельного древесного ствола, предводительствуемые старым самцом с крестом Почетного легиона на волосатой груди. И все эти войска в порыве пламенного патриотизма устремлялись под знаменами Тринко от победы к победе. В течение тридцати лет Тринко завоевал половину известного нам мира.

— Как! — воскликнул я. — Вы владеете половиной мира?!

— Тринко завоевал ее — и потерял. Равно великий в своих поражениях, как и в победах, он отдал все, что было им завоевано. Он вынужден был отдать даже те два острова, которые раньше принадлежали нам, — Ампелофор и Собачью Челюсть. Он оставил после себя Пингвинию обнищалой и обезлюдевшей. Цвет нашего народа погиб во время этих войн. После его падения в нашем отечестве остались только горбатые да хромые, от которых мы и происходим. Зато он принес нам славу.

— Дорого же вам досталась эта слава!

— За славу сколько ни заплати — все будет не дорого! — ответил мой проводник.

Глава III

Путешествие доктора Обнюбиля *

После целого ряда неслыханных превратностей судьбы, большею частью не оставивших по себе даже памяти из-за разрушительного действия времени и плохого стиля историков, в Пингвинии был установлен государственный строй, основанный на принципе самоуправления. Пингвины избрали Собрание, или Ассамблею, и облекли ее правом назначать главу государства. Этот последний, избираемый из среды простых пингвинов, не носил на голове страшного гребня чудовища и не пользовался неограниченной властью. Он сам был подчинен законам своей страны. Ему не был присвоен королевский сан. При его имени не ставилось порядковое числительное. Он звался либо Патурлий, либо Жанвион, Труфальдин, Коканпо, Бредуй и т. и. Такие правители не вели войн. У них не было для этого подходящих одеяний.

При новом строе государство получило название республики, что означает «Общественное дело» *. Сторонники ее получили наименование республиканистов или республиканцев. Их называли также «поддельщиками», а то и сволочью, — последнее, впрочем, считалось слишком грубым.

Пингвинская демократия не была независима, — она повиновалась финансовой олигархии, которая создавала общественное мнение при помощи газет и держала в своих руках депутатов, министров и президента. Она бесконтрольно распоряжалась финансами республики и направляла внешнюю политику страны.

Каждая империя, каждое королевство содержали тогда огромную армию и флот; вынужденная ради своей безопасности подражать им в этом, Пингвиния изнемогала под тяжестью военных расходов. Все сетовали, искренне или притворно, на столь суровую необходимость; однако богатые люди, торговцы и дельцы, охотно подчинялись ей — из патриотизма, а также в расчете на то, что солдаты и моряки защитят их собственность и приобретут для них за пределами страны новые рынки и территории; крупные промышленники

стояли за производство пушек и кораблей, движимые рьяным желанием защищать государство и получать все новые заказы. Из граждан среднего достатка и людей свободных профессий одни безропотно подчинялись такому порядку вещей, считая его незыблемым, другие с нетерпением ждали его прекращения и надеялись добиться от правительств одновременного всеобщего разоружения.

К последним принадлежал и знаменитый профессор Обнюбиль.

— Война — варварство, которое исчезнет с развитием цивилизации, — говорил он. — Великие демократические государства миролюбивы, и с этим духом скоро вынуждены будут считаться даже самодержавные правители.

Профессор Обнюбиль после шестидесяти лет уединенной и замкнутой жизни у себя в лаборатории, куда не проникал извне никакой шум, решил самолично познакомиться с духом народов. Выбрав для начала своих изысканий самое обширное из демократических государств, он поплыл в Новую Атлантиду *.

После двухнедельного плавания пакетбот его вошел ночью в залив Титанпорта *, где стояли на якоре тысячи кораблей. Железный мост, переброшенный над водою, весь залитый огнями, соединял две набережные, до такой степени удаленные одна от другой, что профессору Обнюбилю показалось, будто он плавает по морям Сатурна и видит перед собою чудесное кольцо, опоясывающее планету Старца *. По этому огромному мосту переправлялось более четверти всех богатств мира. Сойдя на берег, ученый пингвин остановился в сорокавосьмиэтажном отеле, где его обслуживали автоматы; затем по большой железнодорожной магистрали он отправился в Гигантополис *, столицу Новой Атлантиды. В поезде были рестораны, игорные залы, стадионы, телеграфное бюро для торговых и финансовых телеграмм, евангелическая часовня и типография большой газеты, которую ученый доктор не мог читать, не зная языка Новой Атлантиды. Проходя вдоль больших рек, поезд встречал на своем пути промышленные города, затемнявшие небо дымом своих

труб, — города, черные днем, города, красные ночью, полные рокота при свете солнца и полные рокота в ночной тьме.

«Вот народ, слишком занятый промышленностью и торговлей, чтобы вести войны, — думал доктор. — Теперь-то я уже уверен, что новые атланты следуют миролюбивой политике. Ибо аксиома, принятая всеми экономистами, гласит, что мир с другими государствами и мир внутри государства необходимы для развития торговли и промышленности».

Осматривая Гигантополис, он утвердился в этой мысли. Люди мчались по улицам с такою быстротой, что опрокидывали все на своем пути. Обнюбиль, неоднократно сбитый с ног, извлек из этого пользу, поняв, как себя вести: к концу часовой прогулки он сам сшиб какого-то атланта.

Выйдя на большую площадь, он очутился перед портиком дворца в классическом стиле, возносившего свои коринфские колонны с большими акантовыми капителями на семьдесят метров от пьедестала.

Когда он стоял в восхищении, запрокинув голову, к нему подошел какой-то скромный с виду человек и заговорил с ним по-пингвински:

— Вижу по вашей одежде, что вы из Пингвинии. Я владею вашим языком: я присяжный переводчик. Перед вами — дворец парламента. В данный момент идут прения. Не угодно ли послушать?

Заняв место на трибуне, доктор устремил взор на множество законодателей, сидящих в плетеных креслах, положив ноги на пюпитры.

Встал председатель и невнятно начал бормотать, посреди всеобщего невнимания, тексты постановлений, которые тотчас же переводил доктору его спутник:

— Ввиду благоприятного для Штатов окончания войны за монгольские рынки предлагаю представить список военных расходов в финансовую комиссию...

Кто против?

Предложение принято.

Ввиду благоприятного для Штатов окончания войны за рынки в Третьей Зеландии предлагаю пред-

ставить список военных расходов в финансовую комиссию.

Кто против?

Предложение принято.

— Не ослышался ли я? — опросил доктор Обнюбиль. — Как! Вы, вы, промышленный народ, ввязались во все эти войны?!

— Конечно, — отвечал переводчик. — Ведь это промышленные войны. Народы, не имеющие развитой торговли и промышленности, не нуждаются в войнах; но деловой народ вынужден вести завоевательную политику. Число наших войн неизбежно возрастает вместе с нашей производственной деятельностью. Как только та или иная отрасль нашей промышленности не находит сбыта для своей продукции, возникает надобность в войне, чтобы получить для него новые возможности. Вот почему в этом году у нас была угольная война, медная война, хлопчатобумажная война. В Третьей Зеландии мы перебили две трети жителей, чтобы принудить остальных покупать у нас зонтики и подтяжки.

В это время какой-то толстяк, восседавший в центре собрания, поднялся на трибуну.

— Я требую, — сказал он, — объявления войны правительству Изумрудной республики, которая на всех рынках мира нагло оспаривает у наших свиней гегемонию на окорока и колбасы.

— Кто такой этот законодатель? — спросил доктор Обнюбиль.

— Это свиноторговец.

— Возражений нет? — спросил председатель, — Ставлю на голосование.

Предложение объявить войну Изумрудной республике было проголосовано поднятием рук и принято весьма значительным большинством.

— Как! — сказал переводчику Обнюбиль. — Вы приняли постановление о войне с такой поспешностью и безразличием?

— О, это война небольшая; она обойдется всего-навсего в каких-нибудь восемь миллионов долларов.

— А люди?..

— Цена людей входит в эти восемь миллионов.

Тут доктор Обнюбиль, сжав голову руками, с горечью подумал:

«Если богатство и цивилизация несут с собою столько же поводов к войнам, как бедность и варварство, если безумие и злоба человеческие неизлечимы, то остается сделать только одно доброе дело. Мудрец должен запастись динамитом, чтобы взорвать эту планету. Когда она разлетится на куски в пространстве, мир неприметно улучшится и удовлетворена будет мировая совесть, которая, впрочем, не существует».

Книга пятая
НОВОЕ ВРЕМЯ
ШАТИЙОН

Глава I
Преподобные отцы Агарик и Корнемюз *

Всякий государственный строй порождает недовольных. Республика (или Общественное дело) создала их прежде всего среди дворянства, лишенного старинных привилегий и теперь с тоской и надеждой обращавшего взоры на последнего из Драконидов, принца Крюшо, который привлекал к себе сердца юношескою красотой и печальной участью изгнанника. Республика вызвала недовольство и среди мелких торговцев, которые по целому ряду глубоких экономических причин лишились прежнего достатка и ставили это в вину республике, с каждым днем все больше отчуждаясь от нее и забывая былое преклонение перед нею.

Финансисты, как евреи, так и христиане, из-за своей наглости и жадности становились бичом страны, которую они грабили и унижали, и позором для государственного строя, которого они не собирались ни свергать, ни поддерживать, уверенные, что могут беспрепятственно действовать при любом правлении. Однако больше всего они желали бы установления самой неограниченной власти, как лучше всего вооруженной против социалистов, их худосочных, но пылких противников. И как они подражали аристократам в образе жизни, так подражали им и в политических и религиозных симпатиях. Особенно жены их, пустые

и легкомысленные, любили принца, мечтая быть допущенными ко двору.

Между тем у республики все же оставались сторонники и защитники. Если она не могла положиться на верность своих чиновников, то могла рассчитывать на преданность простых рабочих, которые, хотя и не получили от нее облегчения своей участи, но, выступая на ее защиту в дни опасности, валили толпами из каменоломен и эргастул * и шли медленно, изможденные, черные, мрачные. Они все готовы были умереть за нее: она подарила им надежду.

Так вот, в правление Теодора Формоза * жил в тихом предместье города Альки один монах по имени Агарик, занимавшийся обучением детей и устройством браков. В своей школе он преподавал основы благочестия, фехтования и верховой езды юным отпрыскам старинных и знатных семейств, утративших как привилегии свои, так и богатство. А когда ученики подрастали, он женил их на молодых девицах из богатой и презираемой касты финансистов.

Высокий, тощий, черный, Агарик все время расхаживал с молитвенником в руке по школьным коридорам и по дорожкам огорода, погруженный в размышления и озабоченный. Он не ограничивал своей деятельности тем, что вдалбливал ученикам начала темных доктрин и механические правила, а затем обеспечивал их богатыми законными супругами. У него были политические замыслы; он стремился осуществить грандиозный план. Заветной мечтой, делом жизни было для него свалить республику. Одушевлял его при этом не личный интерес. Он считал, что демократическое правление враждебно святому сообществу, к которому он принадлежал телом и душою. И все братья его монахи держались того же мнения. Республика непрерывно враждовала с монашеской конгрегацией * и собранием верующих. Конечно, свержение нового режима — предприятие трудное и опасное. Однако Агарику удалось организовать заговор, угрожавший республике. В ту пору монахи руководили высшими кастами пингвинов, и этот инок оказывал глубокое влияние на аристократию Альки.

Воспитанная им молодежь только и ждала случая выступить против народной власти. Потомки старинных родов не занимались искусствами и ремеслами. Почти все они были военными и служили республике. Служили ей, но не любили ее: с тоской вспоминали они о гребне дракона. И красивые еврейки разделяли их тоску, чтобы сойти за родовитых христианок.

Однажды, июльским днем, проходя по улице предместья, ведущей в пыльные поля, Агарик услыхал какие-то жалобные стоны, доносившиеся из замшелого колодца, уже заброшенного садовниками. И он тут же узнал от тамошнего сапожника, что какой-то плохо одетый человек крикнул: «Да здравствует республика», — а за это проезжие кавалерийские офицеры бросили его в колодец, где он теперь с головою ушел в ил. Агарик любил обобщать частные случаи. От потопления этого поддельщика он умозаключил к тому, как сильно возросло брожение всей аристократической и военной касты, и решил, что настало время действовать.

На следующее утро он пошел в самую чащу Конильского леса навестить добрейшего отца Корнемюза. Он застал монаха в уголке его лаборатории за перегонкою золотистого ликера.

Это был толстенький, низенький человечек с румяными щечками и гладко отполированной лысиной. Глаза у него были рубиново-красные, как у морских свинок. Он любезно встретил посетителя и предложил ему стаканчик ликера св. Орброзы, который он делал на продажу, что доставляло ему огромные богатства.

Агарик движением руки отказался. Все еще стоя и прижимая к животу свою унылого вида шляпу, он продолжал хранить молчание.

— Сделайте одолжение, присядьте, — сказал Корнемюз.

Агарик сел на колченогую табуретку и продолжал молчать.

Тогда конильский монах обратился к нему со словами:

— Расскажите мне, пожалуйста, о своих юных учениках. Придерживаются ли детки благонамеренного образа мыслей?

— Я очень ими доволен, — отвечал учитель. — Самое главное в воспитании — это основы. Надо придерживаться благонамеренного образа мыслей еще прежде, чем начать мыслить. Ибо потом уже слишком поздно... Вокруг себя я вижу немало утешительного. Но живем мы в печальное время.

— Увы! — вздохнул Корнемюз.

— Мы переживаем тяжкие дни.

— Годину испытаний.

— И все-таки, Корнемюз, общественный дух не так уж безнадежно плох, как кажется.

— Возможно.

— Народу надоело правительство, которое его разоряет и ничего для него не делает. Каждый день разражаются шумные скандалы. Республика погрязла в позоре. Она погибла.

— Да услышит вас бог!

— Скажите, Корнемюз, какого мнения вы о принце Крюшо?

— Это милый молодой человек и, смею утверждать, достойный отпрыск монаршего рода. Жаль, что в столь нежном возрасте ему приходится претерпевать горечь изгнания! Изгнаннику весна не дарит цветов, осень не дарит плодов. Принц Крюшо весьма благонамерен; он уважает священнослужителей; соблюдает обряды нашей религии; употребляет в большом количестве продукт моего скромного производства.

— Во многих домах, богатых и бедных, ждут не дождутся его возвращения, Корнемюз. Верьте мне, он вернется.

— Только бы мне дожить до того дня, когда я постелю свою монашескую мантию ему под ноги! — со вздохом сказал Корнемюз.

Видя, каковы его чувства, Агарик обрисовал ему состояние умов, опираясь на собственные представления. Он рассказал, что дворяне и богатые люди до крайности раздражены против народной власти, что армия не желает сносить новые обиды, что чиновники готовы на предательство, что народ недоволен, что уже слышится гул близкого восстания и что всех ненавистников монашества, всех пособников власти сбрасывают

на Альке в колодцы. В заключение он объявил, что наступил момент для решительного удара.

— Мы можем спасти пингвинский народ, — воскликнул он, — можем освободить его от тиранов, от самого себя, восстановить гребень Дракона, возродить доброе старое правление во славу веры нашей и к вящему величию церкви. Мы можем совершить все это, если захотим. У нас огромные богатства, мы пользуемся тайным влиянием: через наши газеты, зовущие в крестовый поход и грозящие врагам, мы связаны со всем духовенством городов и селений; мы вдохнем в него наполняющий нас энтузиазм, пламенеющую в нас веру. А от них воспламенятся сердца и у паствы. Я могу опереться на высших руководителей армии; у меня есть связи в народе; я руковожу, незаметно для них самих, продавцами зонтов, виноторговцами, приказчиками галантерейных лавок, уличными газетчиками, жрицами любви, полицейскими. Людей у нас больше, чем требуется. Чего же мы ждем! Пора действовать!

— А что вы намерены предпринять? — спросил Корнемюз.

— Широко развернуть заговор, свергнуть республику, восстановить Крюшо на троне Драконидов.

Корнемюз несколько раз провел языком по губам. Потом промолвил елейным голосом:

— Реставрация Драконидов, разумеется, желательна, чрезвычайно желательна; и я, со своей стороны, желаю ее всем сердцем. Но вот насчет республики... Вы знаете, как я на нее смотрю... Только не лучше ли предоставить ее своей участи и дать ей погибнуть от собственных пороков? Конечно, то, что вы предлагаете, дорогой мой Агарик, благородно и великодушно. Было бы так прекрасно спасти эту великую и несчастную страну, восстановить ее былую славу. Но помните: мы ведь прежде всего христиане, а потом уже пингвины. Нам надлежит проявлять осмотрительность, не впутывая религию в политическую борьбу.

— Не бойтесь, — поспешно ответил Агарик, — у нас в руках будут все нити заговора, но мы сами останемся в тени. Мы будем совсем незаметны.

— Как мухи в молоке, — пробормотал себе под нос конильский монах.

И, обратив на приятеля лукавые рубиновые глаза, сказал:

— Будьте осторожны, друг мой. Республика, быть может, сильнее, чем кажется. Возможно также, что мы еще укрепим ее, если выведем из состояния вялого покоя, в которое она сейчас погружена. Она очень коварна, — если мы нападем, она будет защищаться. Сейчас она издает дурные законы, которые нас нисколько не затрагивают. А испугавшись, начнет издавать грозные законы против нас. Не будем легкомысленно вовлекаться в авантюру, а то как бы нас не потрепали. По-вашему, обстоятельства нам благоприятствуют? Я — другого мнения, и сейчас скажу почему. Что такое нынешний режим, знают еще не все, — вернее, не знает никто. Он объявляет себя «Общественным делом», «Общим делом». Простонародье этому верит и до поры до времени привержено демократии, республике. Но подождите! Тот же самый народ в один прекрасный день потребует, чтобы Общественное дело стало действительно народным делом. Излишне говорить, до какой степени подобные требования представляются мне наглыми, разнузданными, враждебными политике, основанной на Священном писании. Но народ их выдвинет, будет добиваться их осуществления, — и тогда конец нынешнему режиму. Такой момент не замедлит наступить. Вот тогда-то нам и нужно действовать в интересах нашей высокой корпорации. Подождем! Зачем спешить? Нашему существованию ничто не угрожает. Его нельзя считать невыносимым. Республика не оказывает нам уважения и покорности. Она не воздает священникам должного почета. Но все же она дает нам жить. И таково превосходное свойство нашего сана, что жить — для нас значит процветать. Общественное дело нам враждебно, но женщины чтят нас. Президент Формоз не бывает в церкви, но жена его и дочери склонялись к моим ногам. Они закупают мои бутылки оптом. У меня нет лучших покупательниц даже среди аристократии. Признаемся откровенно: для священников и монахов с Пингвинией не сравнится ни одна

страна в мире. Где еще нашли бы мы возможность сбывать в таком количестве и по таким высоким ценам наш нетопленый воск, наш индийский ладан, наши четки, наши нарамники, нашу святую воду и наш ликер святой Орброзы? Какой еще другой народ, кроме пингвинов, платил бы сотню золотых за один взмах нашей руки, за один звук нашего голоса, за одно движение уст наших? Что касается, например, меня, то здесь, в этой кроткой, преданной и послушной Пингвинии, я на извлечении эссенции из пучка богородичной травки зарабатываю в тысячу раз больше, чем заработал бы тем, что сорок лет подряд надсаживал бы себе грудь, призывая ходить к исповеди, в любом из самых населенных государств Европы и Америки. И, по правде сказать, станет ли Пингвиния счастливей оттого, что полицейский комиссар вытащит меня отсюда и поведет на паровое судно, отплывающее к Полночным островам?

Сказав это, конильский монах встал и повел гостя в просторный сарай, где сотни сироток в синей одежде упаковывали бутылки, заколачивали ящики, наклеивали ярлыки. Там стоял оглушительный шум от стука молотков и доносящегося снаружи гуденья рельсов под товарными вагонами.

— Это — экспедиция, — объяснил Корнемюз. — Я добился у правительства прокладки железнодорожного пути через лес, с особой станцией у самых моих ворот. Ежедневно отправляю по три вагона с моей продукцией. Вы видите, республика не совсем истребила веру!

Агарик в последний раз попытался втянуть мудрого винокура в свое предприятие. Он стал убеждать его, что успех обеспечен — быстрый, полный, блистательный!

— И вы не хотите этому способствовать? — добавил он. — Не хотите вернуть своего короля из изгнания?

— Изгнание не тяжко для людей благонамеренных, — отвечал конильский монах. — Послушайте меня, дражайший брат Агарик, — отложите исполнение вашего замысла. А насчет себя я не питаю никаких иллюзий. Я знаю, что меня ждет. Примкну я к вам или не примкну, но, если вы проиграете, мне придется расплачиваться вместе с вами.

Отец Агарик простился со своим другом и довольный вернулся к себе в школу. «Не имея возможности помешать заговору, — думал он, — Корнемюз будет заинтересован в его успехе и даст нам денег». Агарик не ошибался. Действительно, священники и монахи были так солидарны меж собой, что в действия хотя бы одного из них волей-неволей вовлекались и все остальные. В этом было и преимущество и недостаток их положения.

Глава II

Принц Крюшо

Агарик решил незамедлительно посетить принца Крюшо, который удостаивал его своей близостью. В сумерки он вышел из школы с заднего крыльца, переодевшись скотопромышленником, и сел на пароход «Святой Маэль».

Утром он приплыл в Дельфинию. Здесь-то, в этой гостеприимной стране, в замке Читтерлингс *, и вкушал Крюшо горький хлеб изгнания.

Агарик встретил его на дороге: принц в обществе двух девиц мчался на автомобиле со скоростью ста тридцати километров. Монах замахал ему красным зонтиком, и принц остановил машину.

— Это вы, Агарик? Влезайте, влезайте! Нас, правда, уже трое, но можно потесниться. Посадите одну из этих девиц себе на колени.

Благочестивый Агарик сел в автомобиль.

— Что нового, почтенный отец? — спросил молодой принц.

— Весьма важные новости! Но можно ли говорить здесь?

— Вполне. От этих двух девиц у меня нет никаких тайн.

— Выше высочество, Пингвиния призывает вас. Не останьтесь глухи к ее призыву.

Агарик обрисовал состояние умов и изложил план грандиозного заговора.

— По первому моему слову ваши сторонники поднимутся все как один. С крестом в руке и подоткнув одеяния, преданные вам благочестивые иноки поведут вооруженную толпу на дворец Формоза. Мы внесем смятение и смерть в ряды ваших противников. Единственной награды попросим мы, ваше высочество, за все наши труды — не дать им пропасть даром. Умоляем взойти на престол, когда мы его добудем для вас.

Принц ответил просто:

— Я въеду в Альку на зеленом коне.

Агарик оценил этот мужественный ответ. Невзирая на то, что на коленях у монаха, вопреки его привычкам, сидела девица, он в порыве высокого вдохновения стал заклинать молодого принца быть верным своему королевскому долгу.

— Ваше высочество, — воскликнул он со слезами на глазах, — настанет день, когда вы вспомните, что были избавлены от изгнания, возвращены народу, восстановлены на престоле предков рукою ваших монахов, увенчавших вас священным гребнем Дракона. Да сравняется в славе король Крюшо с предком своим Драко Великим!

Растроганный молодой принц рванулся к восстановителю его власти, чтобы обнять его, но еле до него дотянулся через пышные телеса двух девиц, — такая была теснота в этом историческом автомобиле.

— Почтенный отец мой, — сказал он, — я хотел бы, чтобы вся Пингвиния была свидетельницей наших объятий.

— Это было бы для нее утешительным зрелищем, — сказал Агарик.

Тем временем автомобиль ураганом проносился по деревенькам и городкам и своими ненасытными шинами давил кур, гусей, индюшек, уток, цесарок, кошек, собак, поросят, ребятишек, крестьян и крестьянок.

А благочестивый Агарик погружен был в свои великие замыслы. Подавая голос из-за спины девицы, он высказал такую мысль:

— Понадобятся деньги, много денег.

— Это ваше дело, — ответил принц.

Но перед беспощадным автомобилем уже открывались решетчатые ворота парка.

Обед был великолепен. Пили за гребень Дракона. Общеизвестно, что кубок с крышкой — знак державной власти. Поэтому принц Крюшо и супруга его, принцесса Гудруна, пили из кубков, закрывающихся наподобие дароносиц. Принц неоднократно приказывал наполнять свой кубок красными и белыми винами Пингвинии.

Крюшо получил воспитание поистине королевское: он не только превосходно управлял автомобилем, но неплохо разбирался и в истории. Он слыл большим знатоком древности и деяний своих предков; и в самом деле, за десертом он дал блестящее доказательство глубоких познаний в этой области. Когда зашла речь о разных странных особенностях, присущих знаменитым женщинам, он сказал:

— С несомненностью установлено, что у королевы Крюша, в честь которой дано мне имя, под самым пупком была как бы обезьянья головка.

Вечером состоялась чрезвычайно важная беседа Агарика с тремя старыми советниками принца. Решено было просить средств у тестя Крюшо, которому очень хотелось бы иметь зятем короля, затем — у нескольких еврейских дам, жаждущих войти в дворянские круги, и наконец у принца-регента Дельфинии, который обещал Драконидам содействие в расчете, что восстановление принца Крюшо ослабит пингвинов, исконных врагов дельфийского народа.

Трое старых советников поделили между собой три высших придворных должности — первого камергера, сенешала и стольника, предоставив монаху раздавать другие чины в соответствии с высшими интересами принца.

— Надо будет наградить кое-кого за преданность, — заметили трое старых советников.

— И за предательство, — добавил Агарик.

— Совершенно справедливо, — подтвердил один из советников, маркиз де Сепле *, знавший по собственному опыту, что происходит во время революций.

Открылся бал. После танцев принцесса Гудруна разорвала свое зеленое платье на кокарды; она собственноручно пришила лоскуток к груди монаха, пролившего при этом слезы умиления и благодарности.

Господин де Плюм *, конюший принца, в тот же вечер отправился на поиски зеленого коня.

Глава III

Тайное сборище

Возвратясь в столицу Пингвинии, преподобный отец Агарик открыл свои замыслы князю Адельстану де Босено, зная о его приверженности Драконидам.

Князь принадлежал к самому высшему дворянству. Тортиколи де Босено происходили от Бриана Благочестивого и занимали при Драконидах первые посты в королевстве. В 1179 году Филипп Тортиколь *, великий эмирал Пингвинии, человек храбрый, верный, великодушный, но мстительный, без боя сдал врагам королевства порт Ла Крик и весь пингвинский флот, заподозрив королеву Крюша, любовником которой он был, в том, что она изменяет ему с одним конюхом. Именно эта великая королева пожаловала семью Босено серебряной постельной грелкой, каковая изображена на их родовом гербе. Что же касается девиза на гербе, то он восходит лишь к XVI веку. Здесь следует рассказать о его происхождении.

Однажды ночью, во время дворцового праздника, среди тесной толпы придворных, собравшихся в королевском саду смотреть фейерверк, герцог Жан де Босено протиснулся к герцогине Скаллской и запустил руку этой даме под юбку, без какого-либо протеста с ее стороны. Король, проходя мимо и увидев это, ограничился тем, что произнес: «И такое бывает!» Эти три слова стали девизом на гербе Босено.

Князь Адельстан не посрамил имени своих предков; он хранил неизменную преданность роду Драконидов и ничего больше не желал на свете, как восстановления принца Крюшо на престоле — верного знака,

что будет восстановлено и его собственное, весьма пострадавшее, благосостояние. Вот почему он отнесся к намерениям преподобного отца Агарика весьма сочувственно. Он немедленно вошел в соглашение с монахом и охотно помог ему установить связи с самыми пламенными и надежными роялистами среди своих друзей — с графом Клена, г-ном де ла Трюмелем, виконтом Оливом, г-ном Бигуром. Однажды ночью они собрались в загородном доме герцога Ампульского, в двух милях к востоку от Альки, чтобы обсудить план действий.

Господин де ла Трюмель высказался за легальную деятельность. Вот к чему сводилась его речь:

— Мы не должны нарушать закон. Мы — люди порядка. Осуществления своих надежд мы будем добиваться лишь неустанной пропагандой. Надо, чтобы в стране изменилось настроение умов. Наше дело восторжествует благодаря своей правоте.

Князь Босено держался противоположной точки зрения. По его мысли всякое справедливое дело, чтобы восторжествовать, нуждается в силе не меньше, а даже больше, чем дело несправедливое.

— При нынешнем положении, — спокойно рассуждал он, — следует действовать трояким способом: завербовать на свою сторону молодцов из мясных лавок, подкупить министров и захватить президента Формоза.

— Захватить президента было бы ошибкой, — возразил г-н де ла Трюмель. — Он наш единомышленник.

То обстоятельство, что один из дракофилов мог предложить арест Формоза, а другой рассматривал последнего как единомышленника, объяснялось поведением и взглядами главы республики. Формоз покровительствовал роялистам, высоко ценя и сам перенимая их аристократические манеры. Однако если он и улыбался при упоминании о гребне Дракона, то улыбался своему замыслу водрузить этот гребень себе на голову. Он страстно стремился к самодержавной власти не потому, что чувствовал себя способным осуществлять ее, а потому, что любил красоваться. По образному выражению одного пингвинского хроникера, «это был индейский петух».

Князь Босено отстаивал свое предложение двинуться с оружием в руках на дворец Формоза и на палату депутатов.

Граф Клена проявил еще большую решительность.

— Для начала, — сказал он, — перережем глотки, выпустим кишки, размозжим черепа республиканцам и всем правительственным поддельщикам. А дальше посмотрим.

Господин де ла Трюмель принадлежал к умеренным. Умеренные всегда умеренно противятся насилию. Он признал, что в своих политических взглядах г-н граф Клена вдохновлялся чувствами благородными и великодушными, но робко заметил, что, быть может, такой образ действий не совсем соответствует принципам и представляет некоторую опасность. А кончил тем, что предложил свои услуги для его публичного разъяснения.

— Надо бы выпустить воззвание к народу, — добавил он. — Пускай знают, чего мы хотим. За себя ручаюсь — нашего знамени не спрячу в карман!

Затем взял слово г-н Бигур.

— Господа! Пингвины недовольны новым порядком, потому что они живут при нем, а людям свойственно жаловаться на свое положение. Но вместе с тем пингвины не решаются изменить режим, ибо всякое новшество пугает. Они незнакомы с гребнем Дракона, и, если порою им случится выразить сожаление о нем, не надо им верить: очень скоро обнаружилось бы, что они говорили необдуманно и в сердцах. Не будем создавать себе иллюзий насчет их отношения к нам. Они нас не любят. Они ненавидят аристократию и из чувства низкой зависти, и из чувства возвышенной любви к равенству. А два эти чувства, соединившись в одно, представляют в народе большую силу. Общественное мнение не настроено против нас, потому что о нас ничего не знают. Но, узнав, чего мы хотим, за нами не пойдут. Если мы откроем, что намерены свергнуть демократический образ правления и опять вознести гребень Дракона, кто примкнет к нам? Молодцы из мясных лавок и мелочные торговцы Альки! Да и можно ли вполне рассчитывать даже на этих

мелочных торговцев? Они, правда, недовольны режимом, но в глубине души все они поддельщики. Они больше озабочены продажей своих дрянных товаров, чем возвращением Крюшо. Действуя открыто, мы всех перепугаем.

Чтобы вызвать к себе симпатию и привлечь сторонников, мы должны внушать, что вовсе не собираемся свергнуть республику, а, напротив, хотим именно восстановить ее в подлинном виде, очистить, сделать более прекрасной, пышной, нарядной, благоухающей — словом, великолепной и очаровательной. А потому нам не следует действовать самим. Всем известна неприязнь наша к нынешнему государственному строю. Нужно обратиться за помощью к какому-нибудь другу республики, а еще лучше — к одному из защитников этого режима. Выбор у нас огромный. Нужно будет отдать предпочтение самому популярному — так сказать, республиканцу из республиканцев. Мы завоюем его лестью, подарками и, главное, обещаниями. Обещания обходятся дешевле подарков, а ценятся гораздо дороже. Ничем нельзя так щедро одарить, как надеждами. Нет надобности, чтобы этот человек был особенно умен. Я даже предпочел бы кого-нибудь поглупее. Дураки — неподражаемо прелестные плуты. Послушайте меня, господа, — свергните Общественное дело при помощи кого-нибудь из самих поддельщиков. Будем осторожны! Осторожность не исключает энергии. Если я вам понадоблюсь, скажите только, — я всегда к вашим услугам!

Эта речь произвела на слушателей сильное впечатление. Особенно потрясла она благочестивого Агарика. Но каждый обдумывал главным образом, как бы заполучить побольше почестей и выгод. Было назначено тайное правительство, действительными членами которого стали все присутствующие. Герцог Ампульскнй, финансовое светило заговорщиков, был уполномочен производить денежные сборы, ему же было поручено распоряжение средствами, выделенными на пропаганду.

Совещание подходило уже к концу, как вдруг снаружи раздался чей-то простонародный голос, затянувший на старинный мотив:

Ваш Босено — свинья большая.
Колбасы будут из него,
Да и ветчинка неплохая
Для бедняков на рождество.

Это была известная песенка, уже лет двести распеваемая по всем предместьям Альки. Князь Босено не любил, когда ее пели. Он вышел на площадь и, увидев, что поет рабочий, перекрывающий шифером конек церковной кровли, вежливо попросил его петь что-нибудь другое.

— Что хочу, то и пою, — отвечал ему кровельщик.

— Друг мой, окажите любезность...

— Чего ради оказывать вам любезность!

Князь Босено был по натуре миролюбив, однако вспыльчив и отличался необычайной силой.

— Негодяй, сходи с крыши, не то я сам взлезу к тебе! — грозно закричал он.

Но так как кровельщик, сидя верхом на крыше, и бровью не повел, то князь быстро взобрался по винтовой лестнице башни, бросился на певца и нанес ему такой удар кулаком в челюсть, что тот скатился в водосточный желоб. А в это время семь-восемь плотников, работавших на чердаке, выглянули в слуховые оконца на крики своего товарища и, увидев князя на крыше, взбежали к нему по переносной лестнице, что лежала тут же, на шифере, настигли его, когда он уже собирался юркнуть в башню, и заставили стремглав пересчитать все сто тридцать семь ступенек башенной лестницы.

Глава IV

Виконтесса Олив

У пингвинов была первая армия в мире. У дельфинов тоже. Не иначе обстояло дело и у других народов Европы. Если поразмыслить, в этом нет ничего удивительного. Ведь все армии — первые в мире. Вторая армия в мире, если только предположить возможность таковой, оказалась бы в чрезвычайно невыгодном положении, — она была бы уверена в своем поражении.

Пришлось бы немедленно ее расформировать. А потому все армии — первые в мире. Во Франции это понял знаменитый полковник Маршан; * на вопросы корреспондентов, в связи с предстоявшей битвой при Ялу *, о русско-японских военных действиях он без малейшего колебания назвал первою в мире и русскую армию и японскую. Примечательно, что какие бы страшные поражения ни потерпела армия, она не перестает быть первой в мире. Ибо если народы приписывают свои победы искусству своих генералов и храбрости солдат, то поражения они всегда приписывают какой-нибудь непостижимой роковой случайности. Напротив, флот того или иного народа занимает то или иное место в зависимости от количества морских судов. Есть флот первый в мире, есть второй, третий и т. д. Поэтому исход морских сражений всегда можно ясно предвидеть.

У пингвинов были первая армия и второй флот в мире. Этим флотом командовал славный Шатийон *, носивший титул эмирал-ахра, или — сокращенно — эмирала. Это слово — к сожалению, в искаженном виде — существует и поныне у многих европейских народов, обозначая высший чин в морских вооруженных силах. Но так как у пингвинов был только один эмирал, то чин этот пользовался у них, смею сказать, совершенно особым почетом.

Эмирал не принадлежал к дворянскому сословию; он был дитя народа, и народ любил его; народу льстило, что выходец из его недр осыпан почестями. Шатийон был хорош собой, удачлив, ни о чем не размышлял. Ничто не смущало прозрачной ясности его взора.

Преподобный отец Агарик, вняв доводам г-на Бигура, признал, что свергнуть нынешний режим можно только при помощи одного из его защитников, и обратил свой взгляд на эмирала Шатийона. Он отправился к другу своему — преподобному отцу Корнемюзу — просить солидную сумму; тот дал, хотя и со вздохом. На эти деньги отец Агарик нанял шестьсот молодцов из алькских мясных, чтобы они бежали за лошадью Шатийона с криком: «Да здравствует эмирал!»

С тех пор Шатийон шагу не мог ступить, чтобы вокруг него не раздавались восторженные клики.

Виконтесса Олив попросила эмирала о беседе с глазу на глаз. Он принял ее в Адмиралтействе [1], в зале, украшенном якорями, молниями и гранатами.

Она была в скромном платье стального цвета. Шляпка, украшенная розами, прелестно сидела на ее хорошенькой белокурой головке. Глаза сквозь вуалетку сверкали, как сапфиры. Во всем дворянском обществе не было женщины изящнее, чем эта, вышедшая из еврейской финансовой буржуазии. Она была высокая, стройная; фигура у нее соответствовала моде текущего года, талия — последнего сезона.

— Я не в силах скрыть свое волнение, эмирал... — пролепетала она нежным голоском. — Вполне естественно... перед лицом такого героя...

— Вы слишком любезны. Соблаговолите объяснить, виконтесса, чему я обязан честью вашего визита.

— Я давно уже хотела повидаться, поговорить с вами... и поэтому с такой радостью приняла поручение к вам.

— Покорно прошу садиться.

— Какая у вас тишина!

— Действительно не шумно.

— Слышно, как птицы поют.

— Но садитесь же, сударыня.

И он пододвинул ей кресло.

Она села на стул, спиной к свету.

— Эмирал, — сказала она, — я пришла к вам с очень важным поручением, очень, очень важным...

— Я вас слушаю.

— Вы видели когда-нибудь принца Крюшо, эмирал?

— Никогда.

Она вздохнула.

— Очень, очень жаль. А он был бы так счастлив с вами повидаться. Он вас ценит и глубоко уважает. Ваш портрет стоит у него на письменном столе, рядом с портретом принцессы — его матери. Как прискорбно, что принца у нас не знают. Он такой обаятельный

---

[1] Или, правильнее сказать, Эмиралтействе. (*Прим. автора.*).

молодой человек и умеет быть таким благодарным! Это будет великий король. Да, да, он будет королем без всякого сомнения. Он вернется на престол, и даже раньше, чем думают... И должна вам сказать, что мне поручено именно в связи с этим...

Эмирал встал.

— Ни слова более, сударыня. Я пользуюсь уважением и доверием республики. Я не изменю ей. Да и зачем изменять! Я и так осыпан почестями и высокими званиями.

— Но все эти почести и высокие звания далеко не соответствуют вашим заслугам, — уж позвольте мне быть откровенной, дорогой эмирал! Чтобы вознаградить вас за такую службу, следовало дать вам звание эмиралиссимуса и генералиссимуса, назначить вас главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами. Нет, республика проявляет по отношению к вам черную неблагодарность.

— Все правительства в той или иной степени неблагодарны.

— Да, но поддельщики завидуют вам. Такие людишки боятся всякого, кто выше их. Они терпеть не могут военных. Все, что относится к армии и флоту, им ненавистно. Они боятся вас.

— Очень может быть.

— Это негодяи. Они губят страну. Неужели вы не хотите спасти Пингвинию?

— Каким образом?

— Надо разогнать всех этих мошенников, греющих руки на Общественном деле, всех этих поддельщиков.

— Что это вы предлагаете мне, сударыня?

— Совершить то, что все равно неизбежно. Не вы сделаете — так кто-нибудь другой. Да вот наш генералиссимус: он готов хоть сейчас побросать в море всех министров, депутатов, сенаторов и вернуть принца Крюшо.

— Ах, подлец! Ах, мерзавец! — воскликнул эмирал.

— Вот видите, что он против вас задумал! Так обратите же его замыслы против него самого. Принц не останется перед вами в долгу. Он пожалует вас шпагой коннетабля * и щедрой денежной наградой.

А пока мне поручено передать вам этот знак монаршей милости.

Тут она вынула из-за корсажа зеленую кокарду.

— Что это такое? — спросил эмирал.

— Крюшо посылает вам свои цвета!

— Извольте убрать это, сударыня!

— Хотите, чтобы их передали генералиссимусу? Уж он-то не откажется! Нет, дорогой эмирал! Позвольте прикрепить их к вашей доблестной груди.

Шатийон мягко отстранил молодую женщину. Но уже раньше, за несколько минут до того, она показалась ему восхитительной, и это впечатление еще усилилось, когда она, протянув к нему свои тонкие руки, коснулась его груди розовыми пальчиками. Он почти тотчас сдался. Виконтесса долго завязывала ленту. Затем, склонившись перед ним в глубоком реверансе, поздравила его со званием коннетабля.

— Не скрою, я был честолюбив, как и мои товарищи; может быть, честолюбив и теперь, — признался моряк. — Но, честное слово, при виде вас я мечтаю только об одном — о какой-нибудь хижине и о любящем сердце!

Из-под полуопущенных век она устремила на него чарующие лучи своих сапфировых глаз.

— И это тоже возможно... Что вы делаете, эмирал?!

— Я ищу сердце.

Покинув Адмиралтейство, виконтесса немедленно отправилась к преподобному отцу Агарику с отчетом о своем визите.

— Вам надлежит, сударыня, совершать такие посещения неоднократно, — сказал ей суровый монах,

Глава V

Князь де Босено

Все газеты, оплачиваемые дракофилами, в своих утренних и вечерних выпусках восхваляли Шатийона и забрасывали грязью республиканских министров.

На алькских бульварах уличные торговцы громко предлагали портрет Шатийона. Юные потомки Рема *,

расхаживавшие по городу с грузом гипсовых фигур на голове, продавали возле мостов бюсты Шатийона.

Шатийон каждый вечер совершал на своем белом коне прогулку по Лугу Королевы, где бывает самое великосветское общество. Дракофилы расставляли вдоль пути эмирала целые ряды пингвинских бедняков, чтобы они пели: «Шатийона мы хотим!» Благодаря этому буржуазия Альки испытывала глубокое восхищение перед эмиралом. Жены коммерсантов шептали: «Как он хорош». Элегантные женщины, замедлив ход своих автомобилей, посылали ему воздушные поцелуи, а толпа бесновалась, восторженно крича «ура!».

Однажды, когда Шатийон входил в табачную лавку, два пингвина, опускавшие письма в почтовый ящик, узнали его и заорали во все горло: «Да здравствует эмирал! Долой поддельщиков!» У лавки собрались прохожие. Шатийон закурил сигару, окруженный густою толпой исступленных граждан, которые махали шляпами и испускали приветственные клики. Толпа росла, и вскоре весь город, шагая за своим героем, проводил его с пением гимнов до самого здания Адмиралтейства.

У эмирала был старый боевой товарищ, заслуженный воин — субэмирал Вольканмуль. Безупречный, как чистое золото, честный, как его шпага, Вольканмуль, кичась своей неукротимой независимостью, бывал и у сторонников Крюшо, и у министров республики, и тем и этим говоря правду в глаза. Г-н Бигур не без ехидства уверял, что правду про тех он говорил этим, а про этих — тем. И в самом деле, он не раз проявлял совершенно неуместную откровенность, что, впрочем, все снисходительно объясняли прямодушием старого солдата, чуждого всяким интригам. Он каждое утро навещал Шатийона, к которому относился с грубоватой сердечностью товарища по оружию.

— Ну вот, ты стал популярен, старина! — говорил он. — Твою морду изображают на курительных трубках и на бутылках ликера, так что все пьяницы Альки выблевывают твое имя в сточные канавы. Шатийон — герой пингвинского народа! Шатийон — оплот славы и могущества Пингвинии! Ну, кто бы это сказал! Кто бы мог подумать!

И он оглушительно хохотал. А затем, уже другим тоном, спрашивал:

— Ну, шутки в сторону! Тебя нисколько не удивляет то, что происходит с тобою?

— Да нет! — отвечал Шатийон.

И честный Вольканмуль уходил, шумно хлопнув дверью.

Между тем эмирал Шатийон для свиданий с виконтессой Олив снял квартирку с окнами во двор в нижнем этаже дома № 18 по улице Иоанна Тальпы. Они виделись ежедневно. Он любил ее безумно *. За время своей военно-морской жизни он знал множество женщин — краснокожих и желтокожих, черных и белых женщин, среди которых попадались и очень красивые; но до встречи с этой он не знал, что такое женщина. Когда виконтесса Олив называла его своим другом, своим нежным другом, он чувствовал себя как на небе и ему казалось, что звезды запутываются у него в волосах.

Она появлялась всегда с небольшим опозданием, клала свою сумочку на столик и с сосредоточенным видом произносила:

— Позвольте мне сесть у ваших ног.

И говорила с ним, как внушал ей благочестивый Агарик, и речи ее перемежались с поцелуями и вздохами. Она просила отстранить такого-то офицера, а такому-то, напротив, поручить командование, послать эскадру туда или сюда.

И в нужный момент восклицала:

— Как вы молоды, друг мой!

И он исполнял все, потому что был прост, потому что хотел носить шпагу коннетабля и получить щедрую награду, потому что был не прочь вести двойную игру, потому что им владел неясный замысел спасти Пингвинию, потому что он был влюблен.

Прелестная женщина добилась того, что эмирал отозвал военные части из порта Ла Крик, где должен был высадиться Крюшо. И таким образом все было подготовлено, чтобы принц мог беспрепятственно вступить в Пингвинию.

Благочестивый Агарик устраивал публичные собрания, чтобы поддерживать брожение среди пингвинов. Дракофилы выступали каждый день на двух-трех таких собраниях в одном из тридцати шести округов Альки и преимущественно в кварталах, где жил простой народ. Нужно было привлечь на свою сторону всякий мелкий люд, составляющий большинство в стране. Так 4 мая было устроено очень удачное собрание в старом помещении хлебной биржи, в самом центре густо населенного городского предместья, где хозяйки сидели на порогах домов и ребятишки играли в уличных канавах. Народу собралось тысячи две по подсчету республиканцев, а по подсчету дракофилов — не меньше шести тысяч. Присутствовал цвет пингвинского общества — князь и княгиня де Босено, граф Клена, г-н де ла Трюмель, г-н Бигур и несколько богатых еврейских дам.

Генералиссимус национальной армии явился в полной военной форме. Его встретили восторженными приветствиями.

Состав президиума был тщательно продуман. Председательствовал секретарь желтых синдикатов г-н Ро---, из простых рабочих, но вполне благонадежный, — он сидел за столом президиума между графом Клена и г-ном Мишо, молодцом из мясной лавки.

В выступлениях ряда красноречивых ораторов государственный строй, добровольно установленный Пингвинией, был назван выгребной ямой и клоакой. Президента Формоза не затрагивали. Ни о Крюшо, ни о духовенстве не было сказано ни слова.

После речей официальных ораторов были обещаны прения; слово попросил один из защитников нового порядка и республики, какой-то рабочий.

— Господа, — сказал председатель Рошен, — мы объявили, что будут прения. Нам-то они не нужны. Мы не такие, как наши противники: мы честные. Даю слово нашему противнику. Вы сейчас бог знает что услышите! Прошу вас сдерживать, пока будете в силах, свое презрение, свое отвращение, свое негодование!

— Господа, — произнес оппонент...

И тут же был опрокинут, растоптан возмущенной толпою, и его останки, до неузнаваемости обезображенные, были выброшены вон из зала заседаний.

Шум еще не стих, когда на трибуну поднялся граф Клена. Улюлюканье сразу сменилось криками восторга; когда восстановилась тишина, оратор произнес:

— Товарищи, сейчас вы покажете, кровь или вода течет у вас в жилах. Настало время перерезать горло, выпустить кишки, вышибить мозги всем поддельщикам.

Тут грянул такой гром аплодисментов, что своды старого склада дрогнули и едкая густая пыль, посыпавшаяся с грязных стен и трухлявых балок, окутала всех темною тучей.

Была принята резолюция, клеймящая позором правительство и приветствующая Шатийона. После этого участники покинули собрание с пением освободительного гимна: «Шатийона мы хотим!»

Из старой биржи был только один выход — на длинную грязную улицу, зажатую между сараями для омнибусов и складами угля. Ночь была безлунная, моросил холодный дождик. У самого начала предместья большой отряд полицейских преграждал улицу, выпуская дракофилов маленькими группами. Таково было распоряжение начальника, озабоченного тем, чтобы утихомирить неистовую толпу.

Дракофилы, вынужденные замедлить свое шествие по улице, пели, соразмеряя шаг: «Шатийона мы хотим!» Вскоре, раздраженные непонятною задержкой, задние стали напирать на передних. Напор, передавшись по рядам вдоль всей улицы, привел к тому, что толпа навалилась на широкогрудых полицейских. Те не питали никаких враждебных чувств к дракофилам; в глубине души они любили Шатийона; но когда на тебя насядут, ты, понятное дело, станешь сопротивляться, на насилие ответишь насилием; а люди сильные склонны пользоваться своею силой. Вот почему полицейские встречали дракофилов ударами своих подкованных сапог. Толпа то наступала, то шарахалась назад. К пенью примешивались угрозы и крики.

— Убийцы! Убийцы!.. «Шатийоиа мы хотим!»... Убийцы! Убийцы! — раздавались возгласы.

А в глубине темной улицы более благоразумные уговаривали: «Не толкайтесь». Среди них, господствуя над взволнованной толпою благодаря своему высокому росту, расправляя над чьими-то вывихнутыми конечностями и помятыми ребрами свои широкие плечи и мощные легкие, кроткий, непоколебимый, невозмутимо спокойный, высился в темноте князь де Босено. Он снисходительно и мирно ждал. Между тем полицейская застава понемногу, через правильные промежутки, пропускала публику, и вокруг князя уже не так сильно толпились и давили друг друга локтями в грудь; дышать стало свободнее.

— Видите, в конце концов все выйдем отсюда, — с мягкой улыбкой сказал этот добрый великан. — Только чуточку терпения...

Достав портсигар, он вынул сигару и, держа ее во рту, чиркнул спичкой. И вдруг при свете огонька он увидел, что жена его княгиня Анна, томно прильнув к графу Клена, покоится в его объятиях. Он стремительно бросился на них и стал осыпать их ударами трости — их и заодно всех окружающих. Его обезоружили, хотя и не без труда. Но оторвать его от противника было невозможно. И пока потерявшую сознание княгиню передавали из рук в руки над головами возбужденной нелюбопытной толпы, чтобы усадить в карету, князь и граф дрались так, что клочья летели. Князь де Босено в драке потерял шляпу, монокль, сигару, галстук, потерял бумажник, набитый частными письмами и политической перепиской; потерял даже чудотворные образки, полученные от добрейшего отца Корнемюза. Зато он нанес своему противнику такой чудовищный удар в живот, что несчастный перелетел через чугунную ограду, прошиб головой стеклянную дверь и очутился в помещении угольного склада.

Привлеченные шумом борьбы и возгласами окружающих, полицейские бросились на князя, который оказал им яростное сопротивление. Троих, совсем задыхающихся, он повергнул к своим ногам, а семерых обратил в бегство, предварительно раздробив им челюсти,

раскроив губы, расквасив носы, так что алая кровь текла ручьями, проломив черепа, оторвав уши, вывихнув ключицы, сокрушив ребра. Все же его одолели и, окровавленного, изуродованного, в лохмотьях, оставшихся от костюма, уволокли в ближайший полицейский участок, где он и провел всю ночь, бесчинствуя и рыча.

До самого утра шатались по улицам группы манифестантов, распевая «Шатийона мы хотим!» и вышибая стекла в домах, где жили министры Общественного дела.

Глава VI

Падение эмирала

Эта ночь была апогеем дракофильского движения. Теперь монархисты уже не сомневались в полном успехе. Их главари посылали по беспроволочному телеграфу поздравления принцу Крюшо. Дамы вышивали для него перевязи и ночные туфли. Г-н де Плюм разыскал зеленого коня.

Благочестивый Агарик разделял общие надежды. Все же он продолжал вербовать новых сторонников для претендента на престол.

— Нужно проникнуть в самую гущу населения, — говорил он.

С этой целью он вступил в переговоры с тремя рабочими профессиональными союзами.

В то время люди физического труда уже не были разбиты на цеховые организации, как это было при последних Драконидах. Они стали свободны, но не имели обеспеченного заработка. В течение долгого времени они оставались совершенно разобщенными, без всякой помощи и поддержки, но потом образовали профессиональные союзы. Кассы у этих союзов были пусты, так как никто не имел привычки платить членские взносы. В некоторых профессиональных союзах состояло до тридцати тысяч членов, в других — тысяча, пятьсот, двести. Многие насчитывали всего двух-трех членов или и того меньше. Но так как списки членов не пуб-

ликовались, то было нелегко отличить большие профессиональные союзы от маленьких.

После весьма сложной и таинственной подготовки благочестивому Агарику устроили в зале «Мельницы деньжат» * свидание с товарищами Дагобером, Троном и Балафием, секретарями трех профессиональных союзов, из коих один насчитывал четырнадцать членов, другой — двадцать четыре, а третий — одного. Агарик повел переговоры с чрезвычайной ловкостью.

— Господа, — сказал он, — во многих отношениях мы с вами придерживаемся разных политических и социальных взглядов; но по некоторым вопросам мы можем прийти к согласию. У нас — общий враг. Правительство эксплуатирует вас и глумится над вами. Помогите нам свергнуть его; для этого мы предоставим вам все средства, какими только располагаем, а сверх того вы можете рассчитывать в будущем на нашу благодарность.

— Понятно. Гоните деньжата, — сказал Дагобер.

Преподобный отец положил на стол мешок, со слезами на глазах врученный ему конильским винокуром.

— По рукам! — воскликнули три приятеля.

Так был заключен этот торжественный договор.

Как только монах ушел, в восторге от того, что привлек к своему делу широкие массы, — Дагобер, Трон и Балафий свистнули своим женам Амелии, Регине и Матильде, поджидавшим их сигнала на улице, и все шестеро, схватившись за руки, стали плясать вокруг мешка, припевая:

Табачишком я снабжен,
Не про тебя он, Шатийон!
Ату, ату монахов!

И они заказали себе целую миску глинтвейна.

Вечером они пошли вшестером бродить по злачным местам, напевая свою новую песенку. Она имела успех, — сыщики доносили, что с каждым днем все больше и больше рабочих распевает по городским предместьям:

Табачишком я снабжен,
Не про тебя он, Шатийон!
Ату, ату монахов!

Дракофильская агитация не получила распространения в провинции. Благочестивый Агарик тщетно доискивался причин, пока однажды к нему не явился старец Корнемюз, который все и разъяснил.

— Мне достоверно известно, — со вздохом сказал конильский монах, — что казначей дракофилов герцог Ампульский приобрел себе недвижимость в Дельфинии на средства, предназначенные для пропаганды.

У дракофильской партии не было денег. Князь де Босено потерял свой бумажник во время уличной стычки и вынужден был всячески изворачиваться, что претило его горячему нраву. Виконтесса Олив стоила очень дорого. Корнемюз советовал урезать месячное содержание этой дамы.

— Она очень полезна для нас, — возразил благочестивый Агарик.

— Конечно, — отвечал Корнемюз. — Но, разоряя нас, она для нас вредна.

Дело дракофилов подрывалось внутренними несогласиями. Руководители ожесточенно спорили друг с другом. Одни хотели держаться по-прежнему политики г-на Бигура и благочестивого Агарика, продолжая выставлять своей целью только реформирование республики; другие, наскучив долгим притворством, призывали требовать напрямик восстановления драконова гребня и клялись, что под таким знаменем добьются победы.

Эти последние ссылались на преимущества открытых действий и невозможность продолжать двойную игру. В самом деле, публика стала догадываться, к чему клонит агитация и как сторонники эмирала стремятся разрушить самые основы Общественного дела.

Пошла молва о том, что принц должен высадиться в Ла Крике и въехать в Альку на зеленом коне.

Эти слухи воодушевляли фанатичных монахов, восхищали обедневших дворян, радовали богатых еврейских дам и вселяли надежду в сердца мелких торговцев. Но мало кому из них хотелось бы получить желаемые

блага ценой социальной катастрофы и падения государственного кредита, и совсем уже мало кому улыбалось рисковать при этом своими деньгами, своим покоем, своей свободой или, хотя бы на часок, своими развлечениями. Рабочие же, напротив, были, как всегда, готовы пожертвовать целым рабочим днем для республики; в предместьях глухо назревало сопротивление.

— Народ с нами, — говорил благочестивый Агарик.

Однако, выходя после работы из мастерских, мужчины, женщины и дети дружно пели:

Убирайся, Шатийон!
Ату, ату монахов!

Что касается правительства, то оно проявляло слабость, нерешительность, вялость и беспечность, свойственные всем правительствам и оставляемые ими только ради насилия и произвола. Словом, пингвинское правительство ничего не знало, ничего не хотело, ничего не могло. Формоз в недрах своего президентского дворца оставался слепым, глухим, немым, огромным и невидимым, закутанным в гордыню, как в пуховое одеяло.

Виконт Олив советовал объявить новый, уже последний сбор пожертвований и отважиться на решительный удар, пока в Альке еще идет брожение.

Исполнительный комитет, сам себя избравший, постановил захватить палату депутатов и разработал план действий.

Выступление было назначено на 28 июля. В тот день было солнечное утро. Перед дворцом Законодательной палаты проходили хозяйки с корзинками в руках; уличные торговцы выкрикивали свой товар — персики, груши, виноград; извозчичьи лошади, опустив голову в торбу, жевали овес. Никто ничего не ждал; не то чтобы приготовления хранились в тайне, но попросту все считали подобные слухи вздорными. Никто не верил в возможность переворота, из чего можно было заключить, что никто его не желал. К двум часам в боковую калитку дворцовой ограды поодиночке стали проходить депутаты, не привлекая к себе ничьего внимания. К трем часам появились кучки каких-то обор-

ванцев. В половине четвертого густая толпа хлынула из прилегающих улиц на площадь Переворота. Все широкое пространство ее было затоплено целым океаном фетровых шляп, и толпа манифестантов, непрерывно пополняемая любопытными, перейдя мост, мрачной волною подступила к самой ограде Законодательной палаты. Крики, рев, пенье возносились к ясному небу: «Шатийона мы хотим!» Долой депутатов! Долой республику! Смерть поддельщикам!» Священный батальон дракофилов, во главе с князем де Босено, запел торжественный гимн:

Крюшо, виват!
Мудрый на деле,
Ты с колыбели
Храбрый солдат!

За стеной им отвечали молчанием.

Это молчание и отсутствие охраны ободряло, но в то же время пугало толпу. Вдруг раздался громовый голос:

— На приступ!

И на самом верху стены, утыканной железными шипами и шишками, во весь свой гигантский рост встал князь де Босено. За ним бросились его товарищи; их примеру последовала толпа. Кто долбил стену, стараясь пробить в ней отверстие, кто норовил сорвать с нее шишки и вытащить шипы. Кое-где эти защитные приспособления не устояли. В тех местах по нескольку человек осаждающих уже оседлали стену. Князь де Босено размахивал огромным зеленым знаменем. Вдруг толпа дрогнула, испустив протяжный крик ужаса. Полицейская охрана и республиканские карабинеры, выйдя сразу из всех дверей дворца, быстро построились за оградой, от которой мгновенно отхлынули осаждающие. Прошла минута тягостного ожидания, послышался лязг оружия, и полицейская охрана пошла на толпу в штыки. Вмиг на опустевшей площади, усеянной шляпами и тростями, воцарилась зловещая тишина. Дважды пытались еще дракофилы восстановить свои ряды, и дважды были отброшены. Восстание было подавлено. Но князь де Босено, стоя со знаменем в руке на ограде вражеского дворца, один отбивал натиск целого отряда.

Он сбрасывал всех, кто к нему приближался. Наконец, обессиленный, сбитый с ног, повалился на железную шишку ограды и повис на ней, не выпуская из рук знамени Драконидов.

На другой день республиканские министры и члены парламента постановили принять решительные меры. Тщетно на этот раз пытался президент Формоз помочь виновникам увильнуть от ответственности. Правительство поставило вопрос о лишении Шатийона всех чинов и званий и о предании его Верховному суду как мятежника, государственного преступника, изменника и т. и.

Узнав об этом, старые боевые товарищи эмирала, еще накануне неотвязно преследовавшие его изъявлениями дружбы, теперь не скрывали своей радости. Шатийон все же сохранил популярность среди алькской буржуазии, и на бульварах еще можно было услышать пение освободительного гимна: «Шатийона мы хотим!»

Министры были в затруднении. Они намеревались передать дело Шатийона в Верховный суд. Но они ничего не знали. Оставались в полном неведении, как это свойственно тем, кто управляет людьми. Оказались не способны выставить против Шатийона сколько-нибудь веские улики. В качестве материала для обвинения могли представить только нелепые выдумки своих сыщиков. Участие Шатийона в заговоре, его сношения с принцем Крюшо — все это составляло секрет, известный тридцати тысячам дракофилов. У министров же и депутатов были подозрения, даже уверенность, но не было никаких доказательств. Прокурор республики говорил министру юстиции: «Мне нужно совсем немного, чтобы возбудить преследование против политического преступника, но что у меня есть? Ничего, а этого недостаточно». Дело не двигалось. Враги республики торжествовали.

Утром 18 сентября по Альке распространился слух о бегстве Шатийона. Все были изумлены, взволнованы. Не знали, что и подумать.

А произошло вот что.

Однажды, как бы случайно зайдя в кабинет к г-ну Барботану *, министру внутренних дел, храбрый

субэмирал Вольканмуль со своей обычной прямотой заметил:

— Господин Барботан, ваши коллеги не слишком-то расторопны, сразу видно, никогда не командовали на море. Чертовски трусят перед каким-то Шатийоном.

В знак протеста министр широко взмахнул ножом для разрезания бумаги над своим письменным столом,

— Не отрицайте, — настаивал Вольканмуль. — Вы не знаете, как отделаться от Шатийона. Вы не решаетесь передать его дело в Верховный суд, потому что не надеетесь собрать достаточный материал для обвинения. Его будет защищать Бигур, а Бигур — ловкий адвокат... Вы правы, господин Барботан, совершенно правы. Опасно затевать такой процесс.

— О мой друг, если б вы только знали, как уверенно мы себя чувствуем... — непринужденным тоном сказал министр. — Я получаю от своих префектов самые утешительные сведения. Здравый смысл, присущий пингвинам, поможет им по достоинству оценить интриги взбунтовавшегося солдата. Можете ли вы допустить хоть на минуту, чтобы великий народ, умный, трудолюбивый, полный привязанности к своим либеральным установлениям, которые...

Вольканмуль перебил его с глубоким вздохом:

— Ах, будь у меня свободное время, я бы вас выручил — я бы как пить дать похитил, утащил у вас этого Шатийона. Одним щелчком отправил бы его в Дельфинию.

Министр насторожился.

— Раз, два — и готово! — продолжал моряк. — В мгновение ока избавил бы вас от этой скотины... Но сейчас мне не до того... дочиста продулся в баккара. Нужно достать уйму денег. Честь — прежде всего, черт подери!..

Министр и субэмирал с минуту молча смотрели друг на друга. Потом Барботан внушительно произнес:

— Субэмирал Вольканмуль, избавьте нас от мятежного солдата. Вы окажете Пингвинии великую услугу, а министр внутренних дел, со своей стороны, обеспечит вам возможность уплатить ваши карточные долги.

В тот же вечер Волькaнмуль явился к Шатийону и молча, с загадочно скорбным выражением лица, уставился на него.

— Что это за физиономию ты состроил? — спросил встревоженный эмирал.

Тогда Волькaнмуль объявил ему с мужественной печалью:

— Мой старый боевой друг, все открыто. Вот уже полчаса как правительство обо всем узнало.

У Шатийона от ужаса подкосились ноги,

Волькaнмуль продолжал:

— Тебя ждет арест с минуты на минуту. Советую удирать. Нельзя терять ни мгновенья, — добавил он, вынимая из кармана часы.

— Но можно мне хоть повидаться с виконтессой Олив?

— Это было бы безумием, — возразил Волькaнмуль, а затем, протянув ему паспорт и синие очки, пожелал не терять бодрости.

— На этот счет будь покоен, — сказал Шатийон.

— Прощай, старый друг!

— Прощай! И спасибо! Ты спас мне жизнь.

— Я только исполнил свой долг.

Четверть часа спустя храбрый эмирал покинул город Альку.

Ночью он сел в Ла Крике в старую яхту и пустился по волнам в Дельфинию. Но в восьми милях от берега он был захвачен вестовым судном, плывшим без огней, под флагом королевы Черных Островов. Уже давно королева эта питала к Шатийону роковую страсть.

Глава VII

Заключение

Nunc est bibendum[1]. Освободившись от страхов, радуясь избавлению от столь великой опасности, правительство постановило отметить народными празднест-

---

[1] Теперь время пить * (*лат.*).

вами годовщину пингвинского возрождения и установления республики.

На торжественной церемонии присутствовали президент Формоз, министры, члены палаты депутатов и сенаторы.

Генералиссимус пингвинской армии явился в полной парадной форме. Его встретили приветственными кликами.

Неся впереди черное знамя нищеты и красное знамя восстания, с выражением суровой снисходительности на лицах, прошествовали представители рабочих.

Президент, министры, депутаты, высшие чины суда и армии снова принесли, от своего имени и от имени державного народа, древнюю клятву — жить свободными или умереть. Они без колебаний принимали эту альтернативу. Но предпочитали жить свободными. Затем были игры, речи, песни.

После того как отбыли представители власти, толпа граждан растеклась медленными и мирными потоками, возглашая: «Да здравствует республика! Да здравствует свобода! Ату, ату монахов!»

Лишь один случай, омрачивший этот прекрасный день, был отмечен газетами. Князь де Босено спокойно курил сигару на Лугу Королевы, когда появился кортеж правительственных экипажей. Князь подошел к карете, где сидели министры, и произнес громовым голосом: «Смерть поддельщикам!» К нему кинулись полицейские, но он оказал им отчаянное сопротивление. Многих ему удалось сбить с ног, но все же он потерпел поражение от численно превосходящего противника, и его, оглушенного, покрытого синяками и ссадинами, опухшего, исцарапанного, словом, такого, что его не узнала бы и собственная жена, поволокли по праздничным улицам в темные недра тюрьмы.

Суд занялся тщательным следствием по делу Шатийона. В здании Адмиралтейства были обнаружены письма, устанавливавшие, что одним из руководителей заговора был преподобный отец Агарик. Это немедленно вызвало взрыв общественного негодования против монахов; и парламент принял, один за другим, целую дюжину законов, которые сокращали, уменьшали,

ограничивали, разграничивали, упраздняли, пресекали и урезывали права, льготы, вольности, привилегии и доходы монахов, создавая для них многочисленные, весьма утеснительные препоны.

Преподобный отец Агарик с твердостью перенес введение суровых законов, хотя они задевали и сильно ущемляли его самого, с твердостью перенес он и ужасное падение эмирала, сознавая к тому же, что сам был первопричиной этого. Отнюдь не собираясь покориться своей злой участи, он рассматривал ее как нечто преходящее. И уже строил новые политические замыслы, еще более дерзкие.

Когда планы его достаточно созрели, он однажды утром пошел в Конильский лес. На ветке дерева посвистывал дрозд, ежик угрюмо перебирался через каменистую тропинку. Агарик шел большими шагами, что-то бурча себе под нос.

Дойдя до порога лаборатории, где благочестивый предприниматель провел столько прекрасных лет за перегонкой золотистого ликера св. Орброзы, он увидел, что все кругом пусто и дверь заперта. Обогнув постройку, он обнаружил позади нее преподобного Корнемюза, который взбирался, подоткнув свое монашеское одеяние, по лестнице, прислоненной к стене.

— Это вы, дорогой друг? — произнес Агарик. — Что вы здесь делаете?

— Сами видите, — слабым голосом ответил конильский монах, обратив на него страдальческий взор. — Возвращаюсь к себе домой.

Красные глаза его уже потеряли свой победоносный рубиновый блеск; в них тускло светилась печаль. Лицо утратило благодушную округлость. Лысая голова уже не очаровывала взгляда своей безупречно гладкой поверхностью: трудовой пот и какие-то лихорадочные пятна нарушали ее неоценимое совершенство.

— Не понимаю, — сказал Агарик.

— Что же тут непонятного? Пред вами — последствия вашего заговора. Подпав под действие множества законов, я, правда, большинство из них сумел обойти. Но все же от некоторых сильно пострадал. Эти мстительные люди закрыли мои лаборатории и склады, кон-

фисковали мои бутыли, перегонные кубы, реторты; опечатали вход. Приходится теперь лазить через окно. Еле ухитряюсь время от времени извлекать тайком сок из растений при помощи аппаратов, которыми погнушался бы последний из виноделов.

— Вы — жертва преследований. Все мы подвергаемся им.

Конильский монах провел рукою по лысине.

— А я ведь говорил вам, брат Агарик, я ведь говорил вам, что ваша затея обратится против нас.

— Это лишь временное поражение, — горячо возразил Агарик. — Оно вызвано совершенно случайными причинами; тут виновато просто-напросто неблагоприятное стечение обстоятельств. Шатийон — дурак. Сам себя утопил по собственной бездарности. Послушайте, брат Корнемюз. Нельзя терять ни минуты. Нужно освободить пингвинский народ, нужно избавить его от тиранов, спасти от самого себя, восстановить гребень Дракона, возобновить старый порядок. Добрый порядок, во славу религии, во имя торжества католической веры. Шатийон был плохим орудием, оно сломалось у нас в руках. Прибегнем к лучшему орудию. У меня есть на примете человек, способный уничтожить безбожную демократию. Это штатский. Имя его Гоморю. Пингвины от него без ума. Он уже предал свою партию за рисовую похлебку. Вот кто нам нужен!

Уже в начале этой речи конильский монах влез в окно и втащил в него лестницу.

— Знаю все заранее; — ответил он, высунув нос между створок. — Вы не успокоитесь, пока не добьетесь того, что мы все поголовно будем изгнаны из этой прекрасной, любезной сердцу, ласковой Пингвинии. Прощайте, да хранит вас милость господня!

Агарик, стоя перед стеною, стал заклинать своего дражайшего собрата, чтобы тот выслушал его:

— Не пренебрегайте собственными интересами, Корнемюз! Пингвиния в наших руках. Много ли требуется, чтобы завладеть ею? Еще одно усилие... еще небольшое денежное пожертвование, и...

Но, не слушая больше, конильский монах убрал свой нос и закрыл окно.

Книга шестая

НОВОЕ ВРЕМЯ

ДЕЛО О ВОСЬМИДЕСЯТИ ТЫСЯЧАХ КОПЕН СЕНА

Ζεῦ πάτερ, ἀλλὰ σὺ ῥῦσαι ὑπ' ἠέρος υἷας 'Αχαιῶν,
ποίησον δ' αἴθρην, δὸς δ' ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι
ἐν δὲ φάει καὶ ὄλεσσον, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν οὕτως.[1]

(*«Илиада», XVII, ст. 645 и след.*)

Глава I

Генерал Греток, герцог Скаллский

Вскоре после бегства эмирала один еврей из среднего круга по фамилии Пиро *, стремясь сблизиться с аристократией и желая послужить своей стране, вступил в ряды пингвинской армии. Тогдашний военный министр Греток, герцог Скаллский, не выносил его: ему не нравилось его рвение, его крючковатый нос, его честолюбие, усидчивость, толстые губы и примерное поведение. Каждый раз, когда искали виновника какого-нибудь проступка, Греток говорил:

— Это, наверно, Пиро!

Однажды утром начальник Генерального штаба генерал Пантер явился к Гретоку с весьма серьезным сообщением. Пропали восемьдесят тысяч копен сена, запасенных для кавалерии; исчезли бесследно.

Греток сразу решил:

— Это, наверно, Пиро их украл!

Затем, немного подумав, сказал:

---

* Зевс всемогущий, избавь от ужасного мрака данаев!
Дню возврати его светлость, дай нам видеть очами!
И при свете губи нас, когда уже так положил ты!
(*греч.*)

(Перевод Н. И. Гнедича.)

— Чем больше я размышляю, тем больше убеждаюсь, что именно Пиро украл эти восемьдесят тысяч копен сена. И — характерно для него! — он похитил их, чтобы продать по дешевке дельфинам, нашим заклятым врагам. Гнусная измена!

— В этом нет никакого сомнения, — ответил Пантер. — Остается только найти доказательства.

В тот же день князь де Босено, проходя мимо кавалерийских казарм, услыхал, как кирасиры пели, подметая двор:

Ваш Босено — свинья большая.
Колбасы выйдут из него,
Да и ветчинка неплохая
Для бедняков на рождество,

Он счел недопустимым нарушением дисциплины тот факт, что солдаты осмеливаются петь эту незатейливую и вместе с тем революционную песенку, появившуюся впервые во дни восстания из глоток насмешливых рабочих. В связи с этим он стал сокрушаться о моральном упадке армии и с горькой усмешкой подумал, что его старый товарищ Греток, начальник этой разложившейся армии, подлым образом предоставляет ее на расправу злобствующему антипатриотическому правительству. И князь дал себе слово незамедлительно навести в ней порядок.

— Этот негодяй Греток недолго останется в министрах, — решил он.

Князь де Босено был непримиримейшим противником современной демократии, вольномыслия и государственного устройства, которое было свободно установлено пингвинами. Он питал страстную и непримиримую ненависть к евреям; и явно и тайно, и днем и ночью работал он над восстановлением рода Драконидов на пингвинском престоле. Его монархический пыл раздувался еще более по причинам личного характера, в связи с плачевным состоянием его дел, которое ухудшалось день ото дня: он не видел конца собственным денежным затруднениям, пока наследник Драко Великого не вступит в свою столицу Альку.

Вернувшись к себе в особняк, он достал из несгораемого шкафа пачку старой корреспонденции, — это

были частные, весьма секретные письма, переданные ему некиим вероломным приказчиком и могущие послужить доказательством, что его старый товарищ Греток, герцог Скаллский, нагрел руки на военных поставках, получив от одного промышленника, по фамилии Малури, взятку, притом не какую-нибудь огромную, а весьма скромных размеров, так что принявший ее министр лишался уже всякого оправдания.

Князь с острым наслаждением перечитал эти письма, тщательно уложил их обратно в несгораемый шкаф и побежал в военное министерство. Он был человек решительный. В ответ на сообщение, что министр не принимает, он сбил с ног привратников, повалил на пол вестовых, поверг к своим ногам военных и гражданских чиновников, выломал двери и ворвался в кабинет изумленного Гретока.

— Поговорим кратко, но начистоту, — оказал он министру. — Ты — старый подлец. Но это бы еще полбеды. Я просил тебя двинуть по уху генерала Моншена, этого гнуснейшего из поддельщиков, — ты не пожелал. Я просил тебя дать командование корпусом генералу де Клапье, который работает в пользу Драконидов и которому я лично многим обязан, — ты не пожелал. Я просил тебя сместить генерала Тандема, командующего портом Альки, того, что украл у меня пятьдесят луидоров за игрою в баккара и велел надеть на меня наручники, когда меня отправили в Верховный суд как сообщника эмирала Шатийона, — ты не пожелал. Я просил тебя дать мне подряд на поставку овса и отрубей, — ты не пожелал. Я просил тебя послать меня с секретной миссией в Дельфинию, — ты не пожелал. Мало того, не довольствуясь постоянными и решительными отказами, ты обрисовал меня своим коллегам по кабинету министров как человека опасного, за которым надо установить наблюдение, и тебе, старый предатель, я обязан тем, что теперь за мной ходят по пятам полицейские сыщики. Больше я ничего у тебя не прошу, скажу тебе только одно: катись к чертям, ты всем намозолил глаза! Да к тому же мы заставим твое грязное Общественное дело назначить вместо тебя кого-нибудь из наших. Так вот, ты знаешь: я че-

ловек слова. Если ты через двадцать четыре часа не подашь в отставку, я опубликую в газетах материалы по делу Малури.

Но Греток, сохраняя невозмутимое спокойствие, ответил:

— Да уймись ты, идиот! Я теперь готовлюсь отправить одного еврея на каторгу. Я предаю суду Пиро по обвинению в краже восьмидесяти тысяч копен сена.

Ярость князя де Босено сразу спала с него, словно пелена, и он улыбнулся.

— Правда?

— Скоро увидишь.

— Поздравляю, Греток. Но, так как с тобою нужно всегда держать ухо востро, я сейчас же опубликую это приятное известие. Сегодня же вечером все алькские газеты сообщат об аресте Пиро...

И пробормотал, уходя:

— Ну и Пиро! Я всегда подозревал, что он плохо кончит.

Минуту спустя к Гретоку явился генерал Пантер.

— Господин министр, я только что ознакомился с делом о восьмидесяти тысячах копен сена. Против Пиро нет никаких улик.

— Нужно найти! — отвечал Греток. — Этого требует правосудие. Распорядитесь о немедленном аресте Пиро.

Глава II

Пиро

Вся Пингвиния пришла в ужас, узнав о преступлении Пиро; вместе с тем некоторое удовлетворение доставляла мысль, что хищение это, усугубленное изменой и граничащее со святотатством, совершено каким-то евреем из мелких. Чтобы понять подобное чувство, надо знать, как относилось общественное мнение к крупным еврейским дельцам и к евреям из мелких. Мы уже имели случай отметить на страницах этого повествования, что каста финансистов, всеми ненавиди-

мая и захватившая всю впасть, состояла из христиан и евреев. Евреи, входившие в нее и сосредоточившие на себе всю ненависть населения, были крупные еврейские дельцы; они владели огромными состояниями и держали в своих руках, по слухам, больше одной пятой всех пингвинских богатств. За пределами этой опасной касты имелось множество евреев из мелких, людей среднего достатка, которых любили не больше, чем крупных дельцов, и гораздо меньше боялись. Во всяком цивилизованном государстве богатство священно; в демократических государствах священно только оно. А Пингвиния была государством демократическим; три-четыре финансовые организации пользовались там властью более обширной, а главное — более устойчивой, чем власть республиканских министров, которым они предоставляли корчить из себя больших господ и втайне диктовали свою волю, получая от них себе с помощью угроз или подкупов поддержку в ущерб государству, а тех, кто не шел на сделки с совестью, уничтожая при содействии газетных клеветников. Как ни соблюдалась тайна вкладов, все же просачивалось достаточно сведений, чтобы вызывать в стране негодование, — но вместе с тем пингвинские буржуа, от самых крупных до самых мелких, с молоком матери впитавшие уважение к деньгам, да к тому же все владевшие хоть каким-нибудь имуществом, глубоко чувствовали солидарность, существующую между всеми капиталистами, и понимали, что мелкая собственность неприкосновенна только в том случае, если неприкосновенна крупная. А потому к еврейским миллиардам испытывали то же религиозное благоговение, что и к миллиардам христианским: денежный интерес пересиливал вражду, так что все пуще смерти боялись затронуть хоть волосок на голове этих ненавистных крупных евреев. К мелким не испытывали такого почтения и, если какой-нибудь из них падал, старались его затоптать. Вот почему вся пингвинская нация злорадствовала, узнав, что предателем был еврей, но из мелких. На нем можно было сорвать злобу, питаемую ко всем израильтянам, не опасаясь нанести ущерб государственному кредиту.

Что Пиро действительно украл восемьдесят тысяч копен сена — в это, разумеется, поверили без малейших колебаний. Никто не сомневался, потому что при полном неведении относительно всех обстоятельств дела не могло быть повода к сомнениям, а они нуждаются в поводе: без оснований не сомневаются, без оснований только верят. Никто не сомневался, так как повсюду повторяли одно и то же, а для публики повторение означает доказательство. Никто не сомневался, так как хотелось, чтобы Пиро был виновен, а чего хочешь, в то и веришь; никто не сомневался, так как, помимо всего прочего, способность сомневаться встречается у людей редко. Лишь очень немногие умы носят в себе ростки сомнения, нуждающиеся к тому же в заботливом уходе. Оно своеобразно, изысканно, философично, безнравственно, трансцендентно, чудовищно, коварно, вредно для людей и для собственности, враждебно государственному строю и процветанию империй, гибельно для человечества, разрушительно для богов, ненавистно небу и земле. Пингвинская толпа не знала сомнений, — она поверила в виновность Пиро, и эта вера тотчас же стала одной из основ ее национальных верований, войдя существенной составной частью в ее патриотический символ веры.

Пиро судили тайно, он был осужден.

Генерал Пантер поспешил к военному министру сообщить, чем кончился процесс.

— К счастью, — сказал он, — у судей была твердая уверенность, так как не было никаких доказательств.

— Доказательства, доказательства! — пробурчал Греток. — А что они доказывают? Есть только одно верное, неопровержимое доказательство — признание подсудимого. Пиро сознался?

— Нет, генерал.

— Сознается! Должен сознаться, нужно добиться, Пантер; скажите ему, что это в его собственных интересах. Посулите, что, если он сознается, ему окажут снисхождение, смягчат наказание, помилуют его; посулите, что, если он сознается, его признают невиновным; наградят орденом. Надо воззвать к его лучшим

чувствам. Пускай сознается из патриотизма, ради чести знамени, подчиняясь приказу, в порядке субординации, по особому распоряжению военного министра, во исполнение воинского долга... Однако послушайте, Пантер, разве он уже не сознался? Ведь бывают молчаливые признания; молчание — знак согласия.

— Но, генерал, он не молчит; он вопит, как одержимый, что ни в чем не виновен.

— Да, Пантер, но иной раз именно отчаянное запирательство виновного свидетельствует о признании им своей вины. Пиро сознался; нам нужны свидетели его признаний: этого требует правосудие.

В Западной Пингвинии, там, где море образует три небольших бухты, был расположен морской порт под названием Ла Крик, где в прежние времена часто бросали якорь корабли, а теперь все было занесено песком и пустынно. Лагуны, заросшие плесенью, тянулись вдоль низкого побережья, выделяя зловонные испарения, и над сонными водами реяла лихорадка. Там, на берегу моря, высилась четырехугольная башня, похожая на старую венецианскую Кампаниллу, а сбоку у нее, под самой крышей, на цепи, прикованной к поперечной балке, висела решетчатая клетка, куда во времена Драконидов алькские инквизиторы сажали церковников, впавших в ересь. В эту клетку, пустовавшую уже триста лет, заключили Пиро *, отдав его под надзор шестидесяти надсмотрщиков, которые жили в башне и не спускали с него глаз ни днем, ни ночью, подстерегая, не сделает ли он каких признаний, и готовясь немедленно сообщить об этом военному министру, ибо Греток, щепетильный и осторожный, хотел признаний и сверхпризнаний. Хотя Гретока и считали дураком, но в действительности он был очень умен и на редкость предусмотрителен.

Между тем Пиро, палимый солнцем, пожираемый москитами, заливаемый дождем, засыпаемый градом и снегом, терзаемый холодом, сотрясаемый яростной бурей, донимаемый зловещим карканьем воронов, сидящих на его клетке, писал собственной кровью, при помощи зубочистки, на лоскутьях своей рубахи, что он ни в чем не виновен. Но лоскутья тонули в море или

попадали в руки тюремщикам. Впрочем, некоторые дошли до публики. Однако уверения Пиро никого не интересовали, так как уже были опубликованы его признания.

Глава III

Граф де Мобек де ла Дандюленкс *

Мелкие евреи не всегда отличались чистотою нравов; в большинстве своем они были причастны всем порокам христианской цивилизации. Но они сохраняли патриархальную прочность семейных уз и приверженность интересам своего племени. Братья, сводные братья, дядья, двоюродные деды, двоюродные братья, троюродные внуки, племянники и внучатные племянники, родственники и свойственники Пиро, в количестве семисот человек, сначала подавленные ударом, постигшим одного из их среды, заперлись в своих домах, посыпали пеплом главу и, благословляя карающую десницу, сорок дней соблюдали строгий пост. Потом приняли ванну и решили, невзирая ни на какие препятствия, пренебрегая любой опасностью, неустанно добиваться признания невиновности Пиро, в которой они не сомневались. Да и как могли они сомневаться? Невиновность Пиро была для них богооткровенна, как для христианской Пингвинии была богооткровенна его преступность; ведь и та и другая, окруженные тайной, принимали характер мистический и обретали непререкаемость религиозных истин. Семьсот родичей Пиро столь же ревностно, сколь и осторожно, принялись за работу и скрытно повели глубокое расследование всех обстоятельств. Они были повсюду; но их нигде не было видно; можно было подумать, что, подобно кормчему Одиссея, они свободно передвигаются под землей. Они проникли в канцелярии военного министерства, под разными вымышленными предлогами получили доступ к судьям, к секретарям суда, к свидетелям. Вот тут-то и сказалась мудрость Гретока: свидетели ничего не знали, судьи и секретари ничего не знали. Тайные посланцы добрались до самой клетки Пиро и со страстной настой-

чивостью расспрашивали его обо всем, под заунывный гул моря и хриплое карканье воронов. Но напрасно: осужденный ничего не знал. Семьсот родичей Пиро не могли опровергнуть доказательства обвинения, потому что не имели о них понятия; а не имели о них понятия, потому что их не было. Виновность Пиро была неопровержима, потому что нечего было опровергать. И Греток с законной гордостью подлинного художника сказал однажды генералу Пантеру: «Этот процесс — просто шедевр: он создан из ничего». Семьсот родичей Пиро уже отчаивались когда-либо пролить свет на это темное дело, как вдруг из одного украденного письма им стало известно, что восемьдесят тысяч копен сена никогда не существовали, что, правда, один из самых знатных представителей дворянства, граф де Мобек, продал их государству и даже получил за них все сполна, но так их и не доставил, и по совершенно понятным причинам: этот потомок самых богатых землевладельцев древней Пингвинии, отпрыск рода Мобеков де ла Дандюленкс, когда-то владевших четырьмя герцогствами, шестьюдесятью графствами, шестьюстами двенадцатью маркизатами, баронскими и видамскими поместьями, — сам не владел ни клочком земли хотя бы с ладонь величиною, так что не мог бы накосить в своих владениях даже копны сена. А вместе с тем для него было совершенно невозможно и закупить хоть былинку у кого-либо из помещиков или торговцев, ибо, за исключением министров и государственных чиновников, все отлично знали, что легче выжать масло из булыжника, чем какой-нибудь сантим из Мобека.

Семьсот родичей Пиро подвергли тщательному обследованию источники доходов графа де Мобека де ла Дандюленкс и установили, что этот дворянин пользовался главным образом доходами от дома, где сговорчивые дамы встречались с любым желающим ко взаимному удовольствию. Родичи Пиро выступили с публичными обвинениями графа в краже восьмидесяти тысяч копен сена, за которую другой был без вины осужден и посажен в клетку.

Мобек происходил из знатного рода, связанного родственными узами с Драконидами. В демократических

государствах ничто так высоко не ценят, как знатность происхождения. Мобек служил прежде в пингвинской армии, пингвины же с тех пор, как стали все сплошь солдатами, полюбили свою армию прямо до идолопоклонства. Мобек заслужил на полях сражений боевой крест, а это в глазах пингвинов — почет, который они предпочитают даже супружескому ложу. Вся Пингвиния высказалась за Мобека, и глас народа, начинавшего роптать, требовал для семисот родичей Пиро суровых кар за клевету.

Мобек был дворянин. Он вызвал всех семьсот к барьеру, предлагая драться на шпагах, саблях, пистолетах, карабинах, палках, на чем угодно.

«Поганые жиды, — писал он им в своем знаменитом послании, — вы распяли моего господа, а теперь хотите с меня содрать шкуру; но предупреждаю вас, я не такая сопля, как он, — живо пообрубаю вам все семьсот пар ушей. Получайте от меня пинок под все ваши семьсот задов разом».

Во главе государства стоял тогда Робен Медоточивый *, из деревенских, мягкий с людьми богатыми и влиятельными, суровый к беднякам, трусоватый и корыстолюбивый. Он публично поручился за невиновность и порядочность Мобека и предал суду исправительной полиции всех семьсот родичей Пиро, и те были приговорены как диффаматоры к телесным наказаниям, к уплате огромных штрафов и к возмещению проторей и убытков своей невинной жертве.

Казалось, Пиро навеки останется в клетке, на которой сидят вороны. Но пингвины хотели и сами убедиться и убедить других, что еврей виновен, а доказательства далеко не все были вески и порою противоречили одно другому. Офицеры Генерального штаба проявляли усердие, но некоторым из них не хватало осторожности. В то время как Греток хранил великолепное молчание, генерал Пантер разливался неиссякаемыми потоками речей и каждое утро доказывал в газетах виновность осужденного. Пожалуй, лучше было бы о ней помолчать: ведь она была очевидна, а очевидность не требует доказательств. Обилие доводов смущало умы. Вера, все еще крепкая, утратила прежнюю ясность. Чем

больше доказательств приводили пингвинам, тем больше они требовали новых.

Излишнее количество доказательств было бы, впрочем, не так опасно, если бы не нашлись в Пингвинии, как находятся повсюду, независимые умы, способные разобраться в сложных вопросах и склонные к философическому сомнению. Таких было немного; и не все они расположены были высказываться; да и публика оказалась совершенно не подготовленной к тому, чтобы их выслушивать. Впрочем, не все вокруг были глухи. Крупные еврейские дельцы, все алькские миллиардеры-иудеи, когда кто-нибудь заговаривал с ними о Пиро, отвечали: «Мы не знаем этого человека», — но втайне помышляли о его спасении. Они были слишком богаты, чтобы не соблюдать осторожности, и желали, чтобы другие оказались смелей. Их желанию предстояло исполниться.

Глава IV

Коломбан *

Через несколько недель после осуждения семисот родичей Пиро низенький близорукий человек с хмурым лицом, заросшим волосами, вышел однажды утром из своего дома, таща лестницу, горшок клея и пачку каких-то листков и начал расклеивать на улицах объявления, где крупными буквами стояло: «Пиро невиновен — виновен Мобек». То не был расклейщик афиш; звали его Коломбан; автор ста шестидесяти томов пингвинской социологии, по профессии он принадлежал к писателям Альки, притом был самым трудолюбивым и уважаемым среди них. После серьезных размышлений, совершенно убедившись в невиновности Пиро, он решил публично заявить о ней тем способом, какой считал наиболее действенным. Ему удалось без помех расклеить несколько объявлений на малолюдных улицах, по когда он дошел до оживленных кварталов, то каждый раз, как он взлезал на свою лесенку, вокруг него собирались любопытные и, онемев от удивления и негодования, бросали на него угрожающие взгляды, к

чему он, впрочем, относился с полным спокойствием, внушаемым смелостью и близорукостью. Меж тем как, следуя за ним по пятам, привратники и лавочники сдирали со стен его афиши, он шел все вперед, таща свое снаряжение, провожаемый мальчишками с корзинками в руках и ранцами на спинах, не очень обеспокоенными тем, что опоздают в школу; он расклеивал да расклеивал листки. К устремленным на него негодующим взглядам стали присоединяться враждебные выкрики и ропот. Но Коломбан не удостаивал видеть и слышать все это. В начале улицы св. Орброзы, когда он принялся наклеивать очередной листок с напечатанными на нем словами: «Пиро невиновен — виновен Мобек», толпа обнаружила явные признаки ярости. «Изменник, вор, подлец, мерзавец!» — кричали ему. Какая-то женщина, растворив окно, опрокинула ему на голову целый ящик мусора; какой-то извозчик бичом сбил у него шляпу, и та отлетела на другую сторону улицы, под злорадные клики толпы; молодец из мясной лавки свалил его с лесенки прямо в канаву, вместе с клеем, кистью и стопкой листков, — и пингвины с гордостью осознали при этом величие своей родины. Коломбан поднялся, весь залитый нечистотами, с перебитой рукой и ногой, спокойный и решительный.

— Грубые животные *, — пробормотал он, пожимая плечами.

Затем он стал на четвереньки и принялся искать в канаве свое пенсне, оброненное при падении. Тут обнаружилось, что сюртук его лопнул от ворота до самых фалд, а брюки изодраны в клочья. Это вызвало в толпе новый прилив ненависти.

По ту сторону улицы находилась большая бакалейная лавка под вывеской «Святая Орброза». Патриоты стали хватать с выставленных на улице лотков все, что попадалось под руку, и в Коломбана полетели апельсины и лимоны, банки с вареньем, плитки шоколада и бутылки ликера, коробки сардин и горшочки гусиного паштета, окорока и битая птица, жестянки с прованским маслом и кульки с фасолью. Весь вымазанный всякой снедью, избитый, расцарапанный, охромевший,

он, ничего не видя перед собой, обратился в бегство, а приказчики из лавок, подручные из пекарни, бродяги, солидные обыватели, уличные мальчишки — все бросились его преследовать, возрастая в числе с каждою минутой и яростно вопя: «В воду его! Смерть изменнику! В воду!» Весь этот поток озверелой черни прокатился по бульварам и хлынул на улицу св. Маэля. Полиция отнюдь не бездействовала; из-за всех углов появлялись полицейские и, придерживая левой рукою ножны шашки, пускались бежать во главе преследователей. Они уже протягивали ручищи, чтобы схватить Коломбана, но тот неожиданно ускользнул от них, провалившись через открытый люк в канализационную

трубу.

Он провел там всю ночь, сидя в темноте, прямо у сточных вод, среди множества мокрых жирных крыс. Он думал о предстоящей ему задаче; в сердце его росли отвага и жалость. И когда рассвет бледным лучом своим проник в глубину люка, Коломбан вылез и произнес, обращаясь к самому себе:

— Да, борьба, видимо, будет жестокая.

Не откладывая, он составил записку, где убедительно доказывал, что Пиро не мог украсть у военного министерства восемьдесят тысяч копен сена, каковые в министерство вовсе не поступали, поскольку Мобек никогда не поставлял их, хотя и получил за них деньги. Коломбан поручил раздавать эту листовку на улицах Альки. Публика не желала читать и злобно рвала ее в клочки. Лавочники грозили распространителям кулаками, а фурии в образе домашних хозяек обращали их в бегство и гнались за ними с половой щеткой в руке. Все были взбудоражены, и волнение на улицах не утихало целый день. Вечером банды разъяренных оборванцев бегали по городу, вопя: «Смерть Коломбану!» Патриоты вырывали из рук у распространителей целые кипы листков, жгли их на городских площадях и, как оголтелые, плясали вокруг костров вместе с девицами, задравшими юбки до живота.

Наиболее пылкие пошли бить стекла в том доме, где уже сорок лет тихо и мирно жил и трудился Коломбан.

Обе палаты пришли в волнение и запросили главу правительства, какие меры собирается он принять против посягательств Коломбана на честь национальной армии и безопасность Пингвинии. Робен Медоточивый осудил святотатственную дерзость Коломбана и под аплодисменты законодателей объявил, что этот человек будет предан суду и понесет ответственность за свой грязный пасквиль.

Военный министр, вызванный на трибуну, предстал на ней совершенно преображенным. Он уже больше не был похож на священного гуся пингвинских цитаделей. Взъерошенная голова, вытянутая вперед шея и нос крючком придавали ему теперь сходство с символическим коршуном, готовым клевать печень у врагов родины.

Среди торжественной тишины, воцарившейся в собрании, он произнес только следующее:

— Клянусь, что Пиро — злодей.

Эти слова Гретока, распространившись по всей Пингвинии, успокоили общественную совесть.

Глава V

Преподобные отцы Агарик и Корнемюз

Коломбан, удивленный и безропотный, нес бремя всеобщего осуждения; он не мог выйти из дому без того, чтобы его не побили каменьями, так что он совсем перестал выходить и с великолепным упорством писал у себя в кабинете все новые и новые записки в защиту ни в чем не повинного человека, посаженного в клетку. Среди немногочисленных его читателей нашлось все же человек десять, которые были поколеблены его доводами и начали сомневаться в виновности Пиро. Они поделились этим со своими близкими и попытались распространить вокруг тот свет, что забрезжил в их сознании. Один из них был другом Робена Медоточивого и высказал ему свои сомнения, после чего тот перестал его принимать. Другой в открытом письме попросил объяснений у военного министра;

третий выпустил резкий памфлет — это был Керданик, самый опасный из полемистов. Публика оторопела. Говорили, что защитники предателя подкуплены богатыми евреями; их обзывали пиротистами *, и патриоты клялись их истребить. Во всей обширной республике было не больше тысячи или тысячи двухсот пиротистов; но они мерещились повсюду: их видели на прогулках, на заседаниях, на собраниях, в светских гостиных, за семейным столом, в супружеской постели. Половина народонаселения стала подозрительна для другой его половины. Алька была охвачена раздорами.

А отец Агарик, возглавлявший большую школу для знатных юношей, с волнением следил за событиями. Беды, постигшие пингвинскую церковь, не сломили его; он оставался верен принцу Крюшо и по-прежнему питал надежду восстановить потомка Драконидов на пингвинском престоле. Ему казалось, что события, происходившие или назревавшие в стране, состояние умов, вызвавшее их, а вместе с тем поддержанное ими, и смута, как неизбежное их последствие, — все это, если по-монашески хитро направить дело и руководить им, поворачивая то так, то этак, могло поколебать республиканскую власть и настроить пингвинов в пользу реставрации принца Крюшо, набожность которого сулила утешение всем верующим. Нахлобучив себе на голову черную шляпу с широкими полями, похожими на крылья Ночи, он отправился в Конильский лес, — на завод, где его друг, преподобный отец Корнемюз, гнал целебный ликер св. Орброзы. Предприятие славного монаха, столь жестоко пострадавшее во времена эмирала Шатийона, стало понемногу возрождаться. По лесу с гудением неслись товарные поезда, а под навесами складов сотни сироток в синей одежде упаковывали бутылки и заколачивали ящики.

Агарик застал преподобного Корнемюза у печи, посреди реторт. Юркие глазки старца вновь обрели свой рубиновый блеск; безупречно гладкий череп пленительно сиял, как в былое время.

Агарик прежде всего поздравил благочестивого винокура с тем, что его лаборатории и мастерские возобновили работу.

— Да, дела поправляются. Возношу благодарение господу, — ответил конильский старец. — Увы, ведь я пережил полное разорение, брат Агарик. Вы сами видели, как все здесь было разрушено. Не нужно и рассказывать.

Агарик отвернулся.

— Ликер святой Орброзы снова торжествует, — продолжал Корнемюз. — Но мое предприятие все же очень ненадежно и непрочно. Разрушительные и разорительные законы, которые по нему ударили, не отменены, — приостановлено только их действие...

И конильский монах возвел к небесам свои рубиновые глазки.

Агарик положил руку ему на плечо.

— Какое зрелище, Корнемюз, являет нашим взорам несчастная Пингвиния! Везде непокорство, независимость, свобода! Вокруг поднимаются гордецы, спесивцы, мятежники. Презрев законы божеские, они теперь ополчаются и на человеческие законы, ибо, воистину, если ты не будешь добрым христианином, то не будешь и добрым гражданином. Коломбан стремится уподобиться самому сатане. Пагубный пример находит многочисленных преступных подражателей. В своем неистовстве они хотят со всего сорвать узду, сбросить всякое ярмо, освободиться от самых священных уз, избавиться от самого спасительного принуждения. Они наносят удар за ударом своей родине, чтобы подчинить ее себе. Но они падут под тяжестью всеобщего презрения, омерзения, ненависти, осуждения, возмущения и отвращения. Вот в какую бездну их завлекло безбожие, вольномыслие, свобода исследования, чудовищное притязание все решать своим умом, обо всем иметь собственное мнение.

— Конечно, конечно, — отвечал отец Корнемюз, кивая головой. — Но должен признаться, что, занятый дистилляцией сока пользительных трав, я как-то перестал следить за общественной жизнью. Знаю только, что нынче много толкуют о каком-то Пиро. Одни утверждают, что он виновен, другие говорят, что нет, — и мне не совсем ясно, что побудило тех и других ввязываться в дело, которое их совершенно не касается.

Благочестивый Агарик прервал его:

— Но вы-то не сомневаетесь в преступлении Пиро?

— Я не могу в нем сомневаться, дорогой мой Агарик, — ответил канильский монах. — Это означало бы противиться законам моей родины, каковые нужно уважать, если только они не вступают в противоречие с божескими законами. Пиро виновен, раз он осужден. А прибавлять к этому что-либо в доказательство или в опровержение его виновности — значило бы подменять своим авторитетом авторитет судей, чего я решительно остерегусь. Да это все равно бесполезно, раз Пиро уже осужден. Если даже он осужден, не будучи виновен, то он виновен, будучи осужден; ничто от этого не меняется. Я верю в его виновность, как должен верить в нее каждый добрый гражданин; и буду верить до тех пор, пока установленное правосудие велит мне верить, ибо не частному лицу, но судье принадлежит право объявлять осужденного невиновным. Человеческое правосудие должно быть почитаемо даже в своих заблуждениях, неизбежно вытекающих из его несовершенной и ограниченной природы. Такие заблуждения всегда исправимы: если их не исправят судьи на земле, то исправит господь в небесах. Впрочем, я вполне доверяю генералу Гретоку; хоть, судя по внешности, этого и не скажешь, он, думается мне, умнее тех, кто на него нападает.

— Бесценный мой Корнемюз, — воскликнул благочестивый Агарик, — дело Пиро, дойдя до той стадии, когда мы, с помощью господа и необходимых денежных средств, умело подчиним его своему руководству, даст весьма благотворные плоды. Оно разоблачит пороки антихристианской республики, внушив пингвинам желание восстановить престол Драконидов и прерогативы церкви. Но для этого нужно, чтобы народ видел священнослужителей в первом ряду своих защитников. Выступим против врагов армии, против тех, кто возносит хулу на героев, — и все за нами последуют.

— Все — это уж слишком много, — пробормотал конильский монах, покачивая головой. — Да, я вижу, пингвины готовы перессориться. Но если мы вмеша-

емся в их ссору, они помирятся за наш счет, предоставляя нам оплатить военные издержки. Нет, дорогой мой Агарик, послушайтесь меня, не вовлекайте церковь в эту авантюру.

— Вы уже знаете, как я энергичен, — теперь узнаете, как я осторожен. Я ни у кого не вызову никаких подозрений. Бесценный Корнемюз, только от вас, ни от кого другого, я хочу получить средства, необходимые для нашего участия в кампании.

Долго отказывался Корнемюз взять на себя расходы по предприятию, которое считал чреватым опасностями. Агарик то впадал в лирический пафос, то разражался гневом. Наконец, понуждаемый мольбами и угрозами, Корнемюз, понурив голову поплелся в свою строгую келью, где все свидетельствовало о евангельской бедности. В стене, выбеленной известкой, под веточкой освященного букса, был вделан несгораемый шкаф. Монах со вздохом открыл его, вынул пачку ценных бумаг и неохотно, скрепя сердце протянул ее благочестивому Агарику.

— Не сомневайтесь, дорогой мой Корнемюз, — сказал тот, опуская полученную сумму в карман своей стеганой телогрейки, — сам господь бог послал нам дело Пиро, ради славы и возвышения пингвинской церкви.

— Хорошо, если бы так... — со вздохом промолвил конильский монах.

И, оставшись один в лаборатории, он с неизъяснимой печалью окинул взглядом свои печи и реторты.

Глава VI

Семьсот родичей Пиро

Семьсот родичей Пиро внушали публике все больше ненависти. Ежедневно на улицах Альки двое-трое из них подвергались нападению; одного публично выпороли; другого бросили в реку; третьего вымазали дегтем, обваляли в перьях и в таком виде провели по бульварам, под веселый гогот толпы; четвертому драгунский

капитан отрубил нос. Они уже не осмеливались показываться ни в клубе, ни на теннисной площадке, ни на скачках; на биржу они пробирались тайком. При таких обстоятельствах князь де Босено счел необходимым обуздать их дерзкий нрав и осадить наглецов. Поставив перед собой такую цель, он совместно с графом Клена, с г-ном де ла Трюмелем, с виконтом Оливом и с г-ном Бигуром основал большое общество антипиротистов, к которому граждане присоединялись сотнями тысяч, а солдаты — целыми ротами, полками, бригадами, дивизиями, армейскими корпусами; присоединялись целые города, округа, провинции.

В эту приблизительно пору военный министр, заглянув как-то раз к своему начальнику Генерального штаба, с удивлением обнаружил, что стены обширной комнаты, где работал генерал Пантер, еще недавно совершенно голые, заставлены до самого потолка двумя-тремя рядами глубоких полок с отделениями, занятыми множеством каких-то бумаг в папках разной величины и разного цвета, — внезапно возникшим чудовищным архивом, который за несколько дней вырос до размеров многовекового хранилища хартий.

— Что это такое? — спросил изумленный министр.

— Доказательства против Пиро, — с патриотическим удовлетворением ответил генерал Пантер. — У нас их не было, когда мы его судили; теперь мы исправляем это упущение.

Дверь была отворена. Греток увидел на площадке лестницы длинную вереницу носильщиков, сбрасывающих со своих крюков на пол залы тяжелые кипы бумаг. Он заметил также, глядя через их головы, что подъемник еле ползет вверх, кряхтя под тяжестью документов.

— А это что такое? — спросил министр.

— А это новые доказательства против Пиро, только что полученные, — объяснил Пантер. — Я запрашивал их по всем кантонам Пингвинии, по всем генеральным штабам и дворам европейских государей; я затребовал их из всех городов Америки и Австралии, из всех африканских факторий, я жду тюков из Бремена и грузового парохода из Мельбурна.

И Пантер, чувствуя себя героем, обратил на министра спокойный, сияющий взгляд. Но Греток, вставив в глаз монокль, разглядывал ужасающее нагромождение документов скорее с беспокойством, чем с удовлетворением.

— Все это отлично, — сказал он, — все это отлично! Но боюсь, как бы дело Пиро не утратило своей прекрасной простоты. Оно было ничем не затуманено. Оно обладало драгоценной прозрачностью горного хрусталя. В нем не найти было, даже с помощью лупы, ни излома, ни трещинки, ни пятнышка — ни малейшего недостатка. Выйдя из моих рук, оно было ясно, как свет, оно само излучало свет. Я даю вам жемчужину, а вы хотите наворотить на нее целую гору. Скажу откровенно, я опасаюсь, как бы, желая сделать лучше, вы не испортили все. Доказательства! Конечно, хорошо иметь доказательства, но, быть может, еще лучше вовсе их не иметь. Я уже говорил вам, Пантер: возможно только одно-единственное неопровержимое доказательство — признание виновного (или невинного, это все равно!). В том виде, как я построил дело Пиро, оно не допускало критики, в нем не было ни одного слабого места. Оно могло выдержать любые нападки; оно было неуязвимо, потому что скрыто от глаз. А теперь оно дает огромный материал для споров. Советую вам, Пантер, пользоваться своими документами поосторожней. Был бы вам чрезвычайно признателен, если бы вы сообщали поменьше сведений корреспондентам. Вы хорошо говорите, но говорите слишком много. Скажите, Пантер, среди этих документов есть и поддельные?

Пантер улыбнулся.

— Есть обработанные.

— Ну да, я это и имел в виду. Так, значит, есть обработанные, — тем лучше! Они-то и хороши. В качестве доказательств поддельные бумаги вообще ценней подлинных прежде всего потому, что они специально изготовлены для нужд данного дела — так сказать, на заказ и по мерке; словом, потому что они ясны и точны; кроме того, они предпочтительней еще и из-за своей способности переносить мысли в идеальный мир, отрывая их от нашего реального мира, где, увы, ко

всему примешивается столько ненужного... Все же я предпочел бы, Пантер, совсем не иметь доказательств.

Первым выступлением союза антипиротистов была просьба к правительству предать всех семьсот родичей Пиро и их сообщников чрезвычайному суду по обвинению в государственной измене. Князь де Босено, уполномоченный говорить от имени союза, выступил перед Советом министров, экстренно созванным для этих переговоров, и выразил пожелание, чтобы бдительность и твердость правительства были подняты на требуемую обстоятельствами высоту. Он пожал руку каждому министру, а проходя мимо Гретока, шепнул ему в ухо:

— Смотри, не виляй, мерзавец, а то опубликую материалы Малури.

Несколько дней спустя, единодушным голосованием обеих палат по внесенному правительством одобрительному законопроекту, деятельность союза антипиротистов была признана общественно полезной.

Вскоре после этого в Дельфинию, в замок Читтерлингс, где Крюшо вкушал горький хлеб изгнания, союз отправил делегацию, уполномоченную заверить принца в любви и преданности союзников-антипиротистов.

Между тем число пиротистов все возрастало; их насчитывалось уже десять тысяч. Для своих встреч они облюбовали несколько кофеен на бульварах. У «патриотов» были свои кофейни, роскошнее и просторнее; каждый вечер с одной веранды на другую летели пивные кружки, блюдца, спичечницы, графины, стулья, столы; вдребезги разбивались зеркала; темнота, внося путаницу в ряды сражающихся, сводила на нет численное неравенство, и полицейские отряды заканчивали битву, топча без разбора и тех и других своими подошвами на железных шипах.

В одну из таких достопамятных ночей князь де Босено, в компании нескольких «патриотов», вышел из модного кабачка, и г-н де ла Трюмель указал ему на приземистого бородатого человека в пенсне, без шляпы, в сюртуке с одним только рукавом, пробирающегося по тротуару, заваленному всякими обломками.

— Смотрите, — сказал он, — это Коломбан!

Обладая большой физической силой, князь вместе с тем отличался мягкостью характера; он был человек необычайно добродушный, но при имени Коломбана вся кровь его вскипела. Он бросился к человечку в пенсне и свалил его одним ударом кулака прямо в нос.

Но тут г-н де ла Трюмель обнаружил, что, введенный в заблуждение досадным сходством, он за Коломбана принял г-на Базиля, бывшего адвоката, секретаря союза антипиротистов, пылкого и благородного «патриота». В груди князя де Босено жил непреклонный дух, достойный героев древности; однако он умел признавать свои ошибки.

— Господин Базиль, — сказал он, приподнимая шляпу, — я, правда, задел вас по лицу, но вы меня безусловно извините, поймете, одобрите, мало того — поздравите, восхвалите, восславите, когда вам станет известно, какие чувства руководили мной. Я принял вас за Коломбана!

Господин Базиль, унимая платком кровь из носа и выставив голый локоть из обрывков рукава, сухо ответил:

— Нет, милостивый государь, я не восславлю, не восхвалю, не поздравлю, не одобрю вас, так как ваши действия были во всяком случае излишни; я сказал бы даже — чрезмерны; нынче вечером меня уже трижды принимали за Коломбана, обходясь со мною так, как он того заслуживает. Имея в виду его, патриоты переломали мне ребра и перешибли поясницу, — я полагал, милостивый государь, что этого достаточно.

Не успел он кончить речь, как появилась кучка пиротистов и в свою очередь, обманутая роковым сходством, вообразила, что «патриоты» напали на Коломбана. Пустив в ход трости, налитые свинцом, и плетки из бычьих жил, они избили князя де Босено и его спутников, но, повергнув их полумертвыми на землю, тут же забыли об их существовании и завладели адвокатом Базилем, которого, несмотря на его гневный протест, торжественно понесли по бульварам, с возгласами: «Да здравствует Коломбан! Да здравствует Пиро!» — однако

вскоре их настиг отряд полицейских, сбил с ног и поволок в участок, где адвокат Базиль, под именем Коломбана, был истоптан тяжелыми подошвами, утыканными множеством гвоздей.

Глава VII

*Бидо-Кокий * и Манифлора. Социалисты*

Меж тем как буря гнева и ненависти бушевала в Альке, Евгений Бидо-Кокий, самый бедный и самый счастливый из астрономов, устроившись на старой пожарной водокачке времен Драконидов, наблюдал небо в дрянную, подзорную трубу и фотографировал на испорченных пластинках движение падающих звезд. Гениальный ум его поправлял ошибки инструментов, а любовь к науке торжествовала над несовершенством приборов. Он с неугасимым пылом наблюдал за аэролитами, метеоритами и болидами, за всеми пламенеющими обломками небесных тел, за бесчисленными огненными пылинками, с чудесной быстротой проносящимися через земную атмосферу, — наградой же за труды бессонных ночей были равнодушие публики, неблагодарность правительства и неприязнь ученых корпораций. Унесшись мыслями в небесные пространства, он ничего не знал о событиях, происходивших на земной поверхности; газет он никогда не читал, а когда шел по городу, всецело погруженный в раздумье о ноябрьских астероидах, то не раз попадал в садовый бассейн или под колеса автобуса.

Отличаясь высоким ростом и столь же высоким умом, он уважал и себя и других, что проявлялось у него в холодной вежливости, а также в плохоньком черном сюртуке и цилиндре, придававших ему еще более щуплый и возвышенный вид. Он столовался в ресторанчике, откуда постепенно сбежали все посетители, настроенные на менее спиритуалистический лад, чем он, и лишь его салфетка, вдетая в самшитовое кольцо, сиротливо покоилась в одном из отделений ресторанной полки. Как-то вечером в этой харчевне попалась ему на

глаза статья Коломбана в защиту Пиро. Щелкая пустые орехи, он прочел ее — и, охваченный изумлением, восторгом, ужасом и жалостью, сразу позабыл о своих падающих метеорах, о звездных дождях и увидел перед собою только безвинно осужденного, раскачиваемого ветром в своей клетке, на которую слеталось воронье.

С тех пор этот образ не покидал его. Целую неделю он был одержим мыслью о невинно осужденном, как вдруг однажды, выйдя из ресторанчика, увидел, что толпа граждан валит в кабачок, где происходят какое-то собрание. Он тоже вошел туда. Собрание было бурное; в прокуренном зале все галдели, поносили друг друга на чем свет стоит, тузили кулаками. Выступали пиротисты и антипиротисты, встречаемые то восторженными кликами, то бранью. В зале царило какое-то мрачное и смутное возбуждение. С отважной решимостью робкого и одинокого человека Бидо-Кокий вскочил на эстраду и проговорил сорок пять минут. Говорил он торопливо, беспорядочно, но горячо и с глубокой убежденностью математика, преданного мистической идее. Ему аплодировали. Когда он сошел с эстрады, какая-то крупная женщина неопределенного возраста, вся в красном, с победоносно развевающимися перьями на огромной шляпе, бросилась к нему, пылко и вместе с тем торжественно заключила его в объятия и оказала:

— Вы прекрасны!

В простоте душевной он решил, что ее слова, вероятно, заключают в себе долю истины.

Женщина объявила ему, что в настоящее время она целиком посвятила себя защите Пиро и прославлению Коломбана. Бидо-Кокий нашел ее возвышенной и решил, что она красива. Это была Манифлора, старая, впавшая в бедность кокотка, покинутая всеми, никому не нужная и вдруг преисполнившаяся гражданских чувств.

Она так и осталась с ним. Они пережили вместе несравненные часы в подозрительных кабачках и наскоро прибранных меблированных комнатах, в помещениях редакций, в залах для собраний и лекций. Будучи идеалистом, он упорно продолжал считать ее прелестной,

хотя она предоставляла ему широкие возможности убедиться, что не сохранила решительно никаких чар ни в каком смысле и ни в малейшей степени. От былой красоты у нее только и оставалось, что самонадеянное желание нравиться и надменная требовательность женщины, привыкшей к поклонению. Впрочем, справедливость требует признать, что дело Пиро, обильно порождавшее всевозможные чудеса, придало Манифлоре как бы некую гражданственную царственность и преображало ее на народных собраниях в величественный символ правосудия и истины.

Ни у кого из антипиротистов, ни у кого из защитников Гретока, ни у кого из поклонников военщины Бидо-Кокий с Манифлорой не вызывали ни проблеска иронии или смеха. Боги, в гневе своем, лишили этих людей драгоценного дара улыбки. Те всерьез обвиняли куртизанку и астронома в шпионаже, в измене, в заговоре против родины. Бидо-Кокий и Манифлора на глазах вырастали в крупные фигуры благодаря своим преследователям, поносителям и клеветникам.

Уже долгие месяцы Пингвиния была разделена на два лагеря, а социалисты, сколь это ни странно на первый взгляд, все еще не решили, какую занять позицию. В их организации входили почти все люди физического труда, какие только насчитывались в стране, — неопределенная, рассеянная, расчлененная на части, лишенная единства, но грозная сила. Дело Пиро повергло главных руководителей организаций в необычайную растерянность: им одинаково не хотелось примыкать ни к финансистам, ни к военщине. Они рассматривали всех евреев, и крупных и мелкоту, как своих неизбежных противников. Дело Пиро не касалось принципов, не затрагивало их интересов. А все-таки большинство из них чувствовало, как становилось трудно уклоняться от боев, в которые вовлечена вся Пингвиния.

Их руководители собрались в помещении своей федеративной организации на улице Чертова хвоста у церкви св. Маэля, чтобы обсудить, какого образа действий придерживаться при нынешнем положении дел и при могущих возникнуть обстоятельствах.

Первым взял слово товарищ Феникс *.

— Совершено преступление, — сказал он, — самое отвратительное и гнусное, какое только может быть, — преступление судебное. Члены военного суда, уступив требованию или поддавшись обману со стороны своего начальства, приговорили невинного к позорному и жестокому наказанию. Не ссылайтесь на то, что их жертва — человек для нас чужой, что он принадлежит к той касте, которая была и всегда будет нам враждебна. Наша партия — партия общественной справедливости; нет такой несправедливости, к которой она может оставаться равнодушной.

Какой будет для нас позор, если мы предоставим только радикалу Керданику, буржуа Коломбану да нескольким умеренным республиканцам разоблачать преступления военщины. Пускай тот, кто стал жертвой палачей, — чужой для нас, но сами палачи — это палачи наших братьев, и прежде, чем обратить удар на военного, Греток расстреливал наших стачечников.

Товарищи, напрягите все силы — умственные, нравственные и материальные, и тогда вы вырвете Пиро из рук его мучителей; свершая это благородное дело, вы не уклонитесь в сторону от исполнения своего долга — освободительной и революционной борьбы, ибо Пиро стал символом угнетенных, а все проявления социальной несправедливости между собою связаны; уничтожая одно из них, мы ослабляем и все другие.

Когда Феникс кончил, товарищ Сапор * выступил с такою речью:

— Вам советуют забыть о своих задачах и заняться делом, которое вас не касается. Но зачем вам ввязываться в схватку, если, на чью бы сторону вы ни стали, вы окажетесь среди своих прирожденных, неизбежных, заклятых врагов?! Разве финансисты менее ненавистны вам, чем военные? Чьи деньги собираетесь вы спасать — фокусников-биржевиков или паяцев-реваншистов? Что за нелепое и преступное великодушие — бросаться на помощь семистам родичам Пиро, которые всегда будут выступать против вас в социальных битвах!

Вам предлагают навести порядок в лагере ваших врагов и восстановить среди них спокойствие, поколеб-

ленное их же преступлениями. Самоотверженность, доведенная до такой степени, носит уже другое название.

Товарищи, есть предел, дальше которого подлость становится гибельной для всего общественного строя; пингвинская буржуазия задыхается от собственной подлости, а от вас требуют, чтобы вы ее спасли, очистили воздух, которым она дышит. Да ведь это насмешка над вами!

Пускай буржуазия подохнет, — мы будем с отвращением и радостью следить за ее последними судорогами, сожалея только о том, как сильно засорена почва, на которой она возводила свое здание, и какие залежи смрадной грязи придется разворотить, чтобы заложить фундамент нового общества.

После того как Сапор кончил свою речь, выступил с кратким словом товарищ Лаперсон *.

— Убеждая нас вступиться за Пиро, Феникс ссылается на то, что Пиро невиновен. Мне кажется, это очень неубедительный довод. Если Пиро невиновен, то, значит, он вел себя так, как полагается примерному офицеру, старательно исполняющему свои обязанности, которые сводятся главным образом к тому, чтобы стрелять в народ. Это не может служить для народа побудительной причиной встать на его защиту, пренебрегая любыми опасностями. Вот если мне докажут, что Пиро виновен и действительно украл армейское сено, — я готов пойти в бой за него.

Затем взял слово товарищ Лариве *.

— Я не согласен со своим другом Фениксом; не согласен и со своим другом Сапором; я не считаю, что партия должна вступаться за всякого только потому, что на его стороне правда. Боюсь, это — чрезмерное увлечение словами и опасное жонглирование идеями. Ибо государственное правосудие — совсем не то, что правосудие революционное. Между ними — вечный антагонизм, — служить одному, значит идти против другого. Что касается меня, то мой выбор уже сделан: я стою за революционное правосудие против правосудия государственного. И вместе с тем я в данном случае не одобряю самоустранения. Я утверждаю, что раз бла-

гоприятный случай дает нам в руки такое дело, глупо этим не воспользоваться.

Как же так? Нам представляется возможность нанести милитаризму сокрушительный — быть может, смертельный — удар, а вы хотите, чтобы я сидел сложа руки! Предупреждаю вас, товарищи, — я не факир и никогда не примкну к партии факиров; если здесь имеются факиры, пускай не рассчитывают на мое общество. Созерцать собственный пуп — это бессмысленная политика, я отказываюсь придерживаться ее.

Такая партия, как наша, должна непрерывно утверждать себя; она должна напоминать о своем существовании постоянной деятельностью. Мы вмешиваемся в дело Пиро, но вмешиваемся по-революционному; мы прибегнем к насилию... Вы думаете, насилие — старый способ, устарелое изобретение, отжившее свой век вместе с дилижансами, ручными печатными ставками и оптическим телеграфом? Заблуждаетесь! В настоящее время, как и прежде, ничего нельзя достигнуть без насилия; это очень действенный способ, — надо только уметь им пользоваться. Какова же наша задача? А вот какова: мы должны восстанавливать правящие классы один против другого, сталкивать армию с финансовым миром, правительство — с судебным ведомством, дворянство и духовенство — с евреями; подстрекать их при всяком удобном случае ко взаимному уничтожению; поддерживать возбужденное состояние, которое ослабляет любую государственную власть, как лихорадка истощает больного.

Если только умело воспользоваться делом Пиро, оно ускорит на десять лет рост социалистической партии и освобождение пролетариата, которое будет достигнуто путем разоружения, всеобщей стачки и революции.

После того как руководители партии высказали столь разноречивые мнения, дискуссия продолжалась — и не без резкостей; ораторы, как всегда это бывает, обращались снова и снова к тем же самым аргументам, только излагали их все беспорядочней и прямолинейней. Спорили очень долго, во никто никого не переубедил. А все позиции в конечном счете сводились только к двум: позиции Сапора и Лаперсона, рекомендовавших

самоустранение, или позиции Феникса и Ларивe, призывавших ко вмешательству. Да и представителей этих двух противоположных позиций объединяла ненависть к высшим военным чинам с их правосудием и вера в невиновность Пиро. Таким образом, общественное мнение нисколько не ошиблось, считая всех руководителей социалистических организаций опаснейшими пиротистами.

Что касается широкой массы, от чьего имени они выступали и чьи суждения выражали — насколько вообще слово может передать нечто по существу невыразимое, — короче говоря, что касается пролетариев, мысль которых так трудно узнать, ибо она еще не осознала сама себя, что касается пролетариев, то дело Пиро вовсе их не интересовало. Оно было для них делом слишком литературным, слишком классического стиля, с привкусом чего-то присущего крупной буржуазии и финансистам, который пролетариям очень не нравился.

Глава VIII

Процесс Коломбана *

Когда начался процесс Коломбана, пиротистов насчитывалось немногим более тридцати тысяч; но они были повсюду, попадались даже среди священников и военных. Что им больше всего вредило, так это симпатия крупных еврейских дельцов. В малочисленности же пиротистов, напротив, заключены были драгоценные преимущества — и прежде всего то, что они насчитывали в своих рядах меньше дураков, чем их противники, у которых последние водились в чрезмерном изобилии. Крайне незначительный состав группы позволял пиротистам легко договариваться друг с другом и действовать согласованно, избегая раздоров и разнобоя; каждый чувствовал необходимость вести себя солидно и держаться с тем большим достоинством, чем больше он чувствовал себя на виду. Словом, все позволяло думать, что к ним будут примыкать новые последователи, меж тем как их противникам, сначала собравшим

целые толпы, неизбежно грозило все уменьшаться в числе.

Представ перед своими судьями на публичном заседании, Коломбан сразу заметил, что они не отличаются любознательностью. Стоило ему открыть рот, как председательствующий приказывал ему замолчать в видах соблюдения государственной тайны. Исходя из тех же высших, непререкаемых соображений, суд не стал допрашивать свидетелей защиты. Начальник Генерального штаба Пантер давал показания в полной парадной форме, при всех орденах. Он заявил следующее:

— Мерзавец Коломбан утверждает, что у нас нет доказательств против Пиро. Это ложь, они у нас есть; у меня в архиве они занимают семьсот тридцать два квадратных метра, что, считая по пятисот килограммов на метр, составит в целом триста шестьдесят шесть тысяч килограммов.

Затем высокопоставленный военный с изящной легкостью дал характеристику всех доказательств. В общих чертах объяснения его сводились к следующему:

— Мы располагаем против Пиро документами всех цветов и оттенков; на бумаге всевозможного формата, как-то: «горшок», «венец», «щит», «виноград», «голубятня», «большой орел» и так далее. Самый маленький документ представляет собою листочек размером меньше одного квадратного миллиметра. Самый большой имеет семьдесят метров в длину и ноль метров девяносто сантиметров в ширину.

При этом разоблачении публика содрогнулась от гнева.

В качестве свидетеля выступил также Греток. Сохраняя во всем своем облике больше простоты и, быть может, больше величия, он стоял перед судейским столом в старом сером сюртуке, заложив руки за спину.

— Возлагаю на господина Коломбана, — сказал он спокойно, почти не повышая голоса, — всю ответственность за его поступок, из-за которого наша страна оказалась на волосок от гибели. Дело Пиро составляет государственную тайну, оно должно оставаться в тайне. Если его разгласить, то самые жестокие беды, войны, разграбление, опустошение, пожары, убийства, повальные

болезни — все это тотчас обрушится на Пингвинию. Я счел бы себя государственным изменником, если бы позволил себе добавить к сказанному хоть одно слово.

Некоторые лица, известные своей политической опытностью, — в частности г-н Бигур, — нашли показания военного министра более искусными и более ценными, чем показания начальника Генерального штаба.

Сильное впечатление произвели сведения, сообщенные полковником де Буажоли.

— Как-то на вечере в военном министерстве, — сказал этот свидетель, — военный атташе одной соседней державы признался мне, что однажды, проходя по конюшням своего государя, он был восхищен сложенным там сеном, мягким, ароматным, красивого зеленого оттенка, — самым великолепным сеном, какое ему когда-либо приходилось видеть. «Откуда же оно было?» — спросил я его. Он уклонился от ответа. Но у меня не возникло ни малейших сомнений относительно происхождения сена. Это было сено, украденное Пиро. Зеленый цвет, мягкость и ароматность — признаки нашего национального сена! У соседней державы фураж — серого цвета и очень ломок; он хрустит на вилах и пахнет пылью. Вывод ясен каждому.

Полковник Астен * заявил суду под улюлюканье публики, что не считает Пиро виновным. Тотчас же схваченный жандармами, он был брошен в тюремное подземелье, полное жаб, гадюк и толченого стекла, что, однако, не заставило его поддаться ни на обещания, ни на угрозы.

Судебный пристав вызвал нового свидетеля:

— Граф Пьер Мобек де ла Дандюленкс!

Воцарилось глубокое молчание, и к месту для свидетелей направился основательно потрепанный, по величественный аристократ — усы грозно торчали к небу, рыжие глаза метали молнии.

Он приближается к Коломбану и, глядя на него с непередаваемым презрением, произносит:

— Вот мое показание: ты дермо!

При этих словах зал разразился восторженными аплодисментами; все вскочили, охваченные одним из тех порывов, что воспламеняют сердца и вдохновляют на

великие подвиги. Не прибавив ни слова, граф Мобек де ла Дандюленкс удалился. Его приверженцы потянулись за ним торжественной свитой. Склонившись к его ногам, княгиня де Босено в страстном исступлении охватила руками его бедра. Он шествовал, невозмутимый и мрачный, осыпаемый целым дождем цветов и носовых платочков. Судорожно обняв его за шею, виконтесса Олив повисла на нем так, что ее нельзя было оторвать, и спокойный герой унес ее на груди своей, словно легкий шарф.

Когда судебное заседание, по необходимости прерванное, наконец возобновилось, председательствующий предоставил слово экспертам.

Знаменитый эксперт по рукописным материалам Вермийяр * доложил о результатах своего исследования.

— Внимательно изучив бумаги Пиро, отобранные при обыске, — сообщил он, — особенно его книги домашних расходов и списки грязного белья, отдаваемого в стирку, я установил, что под видом самых банальных записей они заключают в себе не поддающуюся пониманию криптограмму, ключ к которой я, однако, нашел. По этому шифровальному коду, слова: «Три кружки пива и Адели двадцать франков» — означают: «Я поставил тридцать тысяч копен сена одной соседней державе». По документам я мог даже установить состав сена, похищенного этим офицером, — так, слова: «сорочка», «жилет», «кальсоны», «носовые платки», «воротнички», «рюмка настойки», «табак», «сигары» — означают клевер, метлицу, люцерну, синеголовник, овес, куколь, душицу и луговой аржанец. А именно эти пахучие травы и входили в состав ароматного сена, купленного у графа Мобека для пингвинской кавалерии. Этим способом и вел Пиро запись своих преступлений, надеясь, что никто ее никогда не расшифрует. Просто поразительно, как такое коварство может сочетаться с такой наивностью.

Коломбан, призванный виновным без смягчающих вину обстоятельств, был приговорен к самому высшему наказанию. Присяжные тут же подписали ходатайство о строгом исполнении приговора.

На Судебной площади, у реки, берега которой за двенадцать веков видели столько великих исторических событий, гудела пятидесятитысячная толпа, ожидая оглашения приговора. Там нервно расхаживали взад и вперед руководители союза антипиротистов, среди которых можно было заметить князя де Босено, графа Клена, виконта Олива, г-на де ла Трюмеля; там теснились преподобный отец Агарик и учителя школы св. Маэля со всеми своими учениками; там отец Дуйяр * и генералиссимус Карагель, обнявшись друг с другом, представляли собой величественную группу, а со Старого моста бежали торговки и прачки с вертелами, совками, щипцами, вальками для белья и котелками щелочной воды; у бронзовых дверей, на ступенях, собрались все, какие только были в Альке, защитники Пиро — профессора, публицисты, рабочие, кто — консервативных, кто — радикальных или революционных убеждений, и среди них по небрежному костюму и грозному облику можно было сразу узнать товарищей Феникса, Лариве, Лаперсона, Дагобера и Варамбиля.

Затянутый в свой траурный сюртук, с церемонным цилиндром на голове, Бидо-Кокий взывал к сентиментальной математике, защищая Коломбана и подполковника Астена. На верхней ступени лестницы, улыбающаяся и грозная, сияла Манифлора, героическая куртизанка, жаждущая заслужить себе памятник подобно Леене *, либо, подобно Эпихариде *, оставить по себе славную память в истории.

Семьсот родичей Пиро, переодевшись продавцами лимонада, разносчиками, подбирателями окурков, антипиротистами, бродили вокруг обширного здания.

Как только Коломбан появился в дверях, поднялся шум, вызвавший такое сотрясение в воздухе и воде, что птицы попадали с деревьев, а рыбы в реке всплыли на воду кверху брюхом. Со всех сторон вопили:

— В воду Коломбана, в воду! В воду его!

Сквозь этот вой послышалось несколько голосов:

— Правосудие, истина!

Кто-то гневно выкрикнул даже:

— Долой армию!

Это послужило сигналом для чудовищной свалки. Сражающиеся падали тысячами; человеческие тела валились друг на друга, образуя ревущие и движущиеся холмы, на которых новые бойцы хватали друг друга за горло. Воспламененные страстью борьбы, растрепанные бледные женщины, готовые не помня себя исступленно царапаться, набрасывались в бешенстве на какого-нибудь мужчину, и неистовство придавало их лицам при ярком дневном свете на городской площади то восхитительное выражение, которое обычно можно подметить в тени постельного полога, на смятой подушке. Вот-вот они уже схватят Коломбана, вопьются в него зубами, задушат его, четвертуют, разорвут на части, оспаривая друг у друга кровавую добычу, — но тут, величавая, целомудренная в своей красной тунике, предстала перед этими фуриями спокойная и грозная Манифлора, и они отступают, объятые страхом. Казалось, Коломбан уже спасен; его приверженцам удалось проложить ему путь через площадь и усадить в извозчичью пролетку, стоявшую у Старого моста. Уж лошадь пустилась рысью, но князь де Босено, граф Клена и г-н де ла Трюмель стащили извозчика с козел; затем, осаживая лошадь так, что колеса двигались задним ходом, они докатили пролетку до самых перил моста и там под аплодисменты беснующейся толпы сбросили ее вместе с лошадью и седоком в реку. Раздался звонкий, веселый плеск, взметнулся сноп воды — и на блестящей речной поверхности осталась только чуть приметная рябь.

Не долго думая, товарищи Дагобер и Варамбиль, с помощью семисот переодетых родичей Пиро, сбросили с моста князя де Босено, и тот самым жалким образом плюхнулся в старую лодку, служившую прачкам для полосканья белья.

Тихая ночь спустилась на площадь, проливая мир и тишину над следами отвратительного побоища. Между тем в трех километрах ниже по течению, под другим мостом, сидя на корточках невдалеке от искалеченной извозчичьей клячи, Коломбан, промокший насквозь, размышлял о невежестве и несправедливости толпы.

«Дело это, — подумал он, — еще труднее, чем мне казалось. — Надо предвидеть новые осложнения».

Он встал и подошел к несчастному животному.

— Ты-то что сделал им, дружок? — сказал он. — Это из-за меня они так с тобою расправились!

Он обнял злополучного конягу за шею и поцеловал его в белое пятно на лбу. Потом взял его за повод и, сам хромая, повел хромую лошадь по улицам спящего города к себе домой, где сон помог им обоим позабыть о людях.

Глава IX

Отец Дуйяр

В бесконечной кротости своей, по указанию отца всех верующих, епископы, каноники, священники, викарии, аббаты и приоры Пингвинии постановили отслужить в Алькском соборе торжественный молебен, дабы испросить у милосердного бога прекращения смуты, раздирающей одну из благороднейших стран христианского мира, и вымолить для кающейся Пингвинии прощение грехов, совершенных ею против господа и его священнослужителей.

Молебен состоялся пятнадцатого июня. Генералиссимус Карагель со своим штабом занимал почетное место. Собралась многочисленная и блестящая публика; по выражению г-на Бигура, это была толпа, но вместе с тем люди избранные. В первом ряду можно было видеть г-на де Бертозейя, камергера его высочества принца Крюшо. Подле церковной кафедры, с которой должен был говорить преподобный отец Дуйяр, монах ордена св. Франциска, стояли в сосредоточенно спокойной позе, опершись обеими руками на свои дубинки, сановные руководители союза антипиротистов — виконт Олив, г-н де ла Трюмель, граф Клена, герцог Ампульский, князь де Босено. Отец Агарик с наставниками и воспитанниками школы св. Маэля расположился у престола. Офицерам и солдатам в военной форме отведено было место около клироса, в боковом приделе, притом — правом, как более почетном, ибо господь, умирая на кресте,

склонил голову на правую сторону. Великосветские дамы, и среди них графиня Клена, виконтесса Олив, княгиня де Босено, сидели на хорах. Огромное пространство между колоннами и всю соборную площадь заполнили двадцать тысяч монахов всевозможных орденов и тридцать тысяч мирян.

После искупительного и очистительного моления преподобный отец Дуийяр взошел на кафедру. Произнесение проповеди первоначально поручено было преподобному отцу Агарику; но потом, несмотря на его заслуги, решили, что он все же не в достаточной степени обладает тем рвением и ученостью, которых требуют обстоятельства, и предпочли красноречивого капуцина, уже полгода проповедующего по казармам, клеймя неповиновение господу и начальству.

Преподобный отец Дуийяр, избрав темой для проповеди слова: «Deposuit potentes de sede» [1], установил, что всякая светская власть исходит от бога, в коем начало и конец ее, и что она сама себя губит и уничтожает, отвращаясь от пути, предначертанного ей промыслом божиим, и от цели, предуказанной им.

Применяя этот священный закон к пингвинскому правительству, он нарисовал страшную картину бедствий, постигших страну из-за того, что государственная власть оказалась не способной ни предвидеть их, ни бороться с ними.

— Вам, братья мои, слишком хорошо известен главный виновник всех несчастий и унижений, — сказал он, — это чудовище, само имя которого оказалось пророческим, ибо происходит от греческого слова «πῦρ», означающего огонь, — так господь бог, в премудрости своей, которой не чужда бывает и филология, предупреждал нас с помощью этимологического смысла этого имени, что еврей зажжет пожар в стране, давшей ему приют.

Он изобразил родину терзаемой врагами, которые были и врагами церкви, и восклицающей на своей

---

[1] «Низвергнул власть имущих с престола» (*лат.*).

Голгофе: «О горе! О слава! Распявшие господа моего — ныне меня распинают».

При этих словах все содрогнулись.

Негодование слушателей еще возросло, когда страстный оратор напомнил о надменном Коломбане, запятнавшем себя такими преступлениями, что их не смоют все воды поглотившей его реки. Он перечислил унижения и опасности, постигшие Пингвинию, и за все это вместе взятое возложил вину на президента республики и на премьер-министра.

— Этот министр, — сказал он, ее проявил позорную трусость, не решаясь истребить семьсот родичей Пиро купно с их союзниками и защитниками, подобно тому как Саул истребил филистимлян * в Гаваоне, — а потому он недостоин осуществлять власть, данную ему от бога, и отныне каждый добрый гражданин может и должен предавать поношению его столь презренное владычество. Небеса будут благосклонно взирать на его ругателей. Deposuit potentes de sede. Господь бог сместит малодушных правителей и на их место возведет сильных людей, которые будут творить волю его. Возвещаю вам, господа, возвещаю вам, офицеры, унтерофицеры и солдаты, внимающие мне; возвещаю вам, генералиссимус пингвинской армии, всем возвещаю: час настал! Если вы ослушаетесь велений господа, если во имя его не сместите недостойных властителей, если не образуете в Пингвинии сильного правительства, приверженного религии, — то бог и без того уничтожит все, что он осудил, он и без того спасет народ свой, спасет его помимо вас, избрав вершителем воли своей какого-нибудь скромного ремесленника или простого капрала. Не упускайте срока! Торопитесь!

Возбужденные этим пламенным увещанием, шестьдесят тысяч собравшихся поднялись как один, охваченные трепетом; зазвучали возгласы: «К оружию! К оружию! Смерть пиротистам! Да здравствует Крюшо!» — и все — монахи, женщины, военные, дворяне, буржуа, лакеи, — благословляемые с престола истины небесной десницею, бурно устремились из храма, распевая гимн «Пингвинию спасайте!», и двинулись по речной набережной на палату депутатов.

Оставшись один в опустелом соборе, мудрый Корнемюз, воздев руки к небесам, пробормотал срывающимся от волнения голосом:

— Agnosco fortunam ecclesiae pinguicanae [1]. Мне слишком ясно, куда это все приведет нас.

Нападение боговдохновенной толпы на палату депутатов было отбито. Под натиском жандармов и городской стражи осаждающие обратились в беспорядочное бегство, а подоспевшие из предместий товарищи, во главе с Фениксом, Дагобером, Лаперсоном и Варамбилем, бросились на них и окончательно их разбили. Г-на де ла Трюмеля и герцога Ампульского потащили в участок. Князь де Босено после отважного сопротивления упал с разбитой головой на окровавленную мостовую.

Воодушевленные победой, товарищи из предместий вперемешку с бесчисленными уличными газетчиками всю ночь ходили по бульварам, триумфально неся на руках Манифлору, а по пути разбивая окна кофеен и уличные фонари, с криками: «Долой Крюшо! Да здравствует социальная республика!» Антипиротисты в свою очередь опрокидывали газетные киоски и тумбы с театральными афишами.

Подобным зрелищем не мог бы восторгаться холодный разум, и оно способно было огорчить эдилов *, озабоченных соблюдением общественного порядка на дорогах и улицах... Но еще с большей грустью честные люди смотрели на лицемеров, которые, опасаясь неприятностей, держались на равном расстоянии от обоих станов и, при явном своем эгоизме и трусости, еще хотели, чтобы все восхищались их высокими чувствами и душевным благородством; они натирали себе глаза луком, плаксиво кривили рот, сморкались на контрабасных нотах и каким-то утробным голосом стенали: «О пингвины, прекратите братоубийственные битвы, перестаньте терзать материнскую грудь, вскормившую вас!..» — как будто человеческое общество может существовать без споров и ссор и как будто гражданские распри не являются необходимым условием национальной жизни

[1] Вижу судьбу церкви пингвинской (*лат.*).

и прогресса общественной нравственности; они, эти лицемерные ничтожества, уговаривали правых и неправых пойти между собой на компромисс и оскорбляли таким образом правых в их правоте, а неправых — в их отваге. Одни из таких людишек, богатый и влиятельный Машимель, великолепный экземпляр труса, вознесся над городом каким-то колоссом скорби; пролитые им слезы образовали у ног его целые пруды, где уже завелись рыбы и плавали рыбачьи лодки, то и дело опрокидываемые его вздохами.

В эти бурные ночи, сидя под ясным небом на верхушке своей старой водокачки и регистрируя на фотографических пластинках падающие звезды, Бидо-Кокий гордился собою в сердце своем. Он сражался за справедливость; он любил и был любим возвышенной любовью. Оскорбления и клевета возносили его выше облаков. Карикатуры на него, вместе с карикатурами на Коломбана, Керданика и полковника Астена, можно было видеть во всех газетных киосках; антипиротисты распространяли слух, будто он получил пятьдесят тысяч франков от крупных еврейских финансистов. Репортеры милитаристских листков запрашивали мнения о его научной компетентности у представителей официальной науки, которые отказывали ему в какихлибо астрономических познаниях, оспаривали самые основательные его наблюдения, отрицали самые убедительные открытия, отвергали самые остроумные и плодотворные гипотезы. Он ликовал, подвергаясь этим лестным нападкам врагов и завистников.

Созерцая внизу у ног своих огромное черное пространство, усеянное множеством огней, он не думал обо всем том, чем полна ночь в большом городе, — о тяжелом сне, свалившем усталых людей, о жестокой бессоннице, о лживых грезах, о всегда чем-нибудь отравленных наслаждениях и о бесконечно разнообразных страданиях. Он возвращался мыслью только к одному: «Вот в этом громадном городе правда сражается с неправдой».

И, подменяя сложную и низменную действительность простой и возвышенной поэзией, образно пред-

ставлял себе дело Пиро как битву ангелов с демонами. Он верил в вечное торжество сынов света и радовался, что сам он, дитя ясного дня, повергал наземь детей ночи.

Глава X

Советник Шоспье *

Прежде ослепленные страхом, легкомысленные и недогадливые теперь, республиканцы, встретившись лицам к лицу с бандами капуцина Дуйяра и сторонниками принца Крюшо, почувствовали, что у них открылись глаза, и поняли наконец истинную суть дела Пиро. Депутаты, которые два года, заслышав рев толпы «патриотов», бледнели от испуга, не стали, правда, храбрее, но трусили уже по-иному — и принялись обвинять правительство Робена Медоточивого во всех тех беспорядках, каким сами потакали, глядя на них сквозь пальцы и даже иной раз трусливо поздравляя их виновников; они укоряли Робена Медоточивого в том, что он навлек опасность на республику своими нерешительными действиями, в которых они сами были повинны, и снисходительностью, которой сами требовали; некоторые из них начинали уже подумывать, не выгоднее ли поверить в невиновность Пиро, чем в его преступность, и с тех пор стали испытывать жестокую печаль при мысли о том, что, быть может, этот несчастный осужден несправедливо и, высоко подвешенный в своей клетке, искупает чужое преступление. «Я из-за этого по ночам не сплю», — говорил депутатам, представлявшим большинство, каждому по секрету, министр Гийомет, рассчитывая занять место своего начальника.

Эти благородные законодатели свалили правительство, и на место Робена Медоточивого президент республики назначил присяжного республиканца с роскошной бородой — некоего ла Тринитэ *, который, подобно большинству пингвинов, ровно ничего не понимал в деле Пиро, но считал, что в дело это, по правде говоря, слишком уж суются монахи.

Генерал Греток, перед тем как покинуть министерский пост, дал последние наставления начальнику Генерального штаба Пантеру.

— Я ухожу, а вы остаетесь, — оказал он, пожимая ему руку. — История с Пиро — мое детище; передаю ее теперь вам, она достойна вашей любви, она прекрасна. Помните, что ее красота требует тени, ей нравится тайна, и она не любит сбрасывать покровы. Щадите ее стыдливость. Уж и так слишком много нескромных взглядов оскверняло ее прелести... Вы хотели доказательств, Пантер, и вы их получили. У вас их много, слишком много. Предвижу наглые попытки вмешательства и настояния опасного любопытства. На вашем месте я изорвал бы все эти бумаги в клочки. Поверьте мне: лучший способ доказательства — не иметь доказательств. Тогда никто и оспаривать их не будет.

Увы, генерал Пантер не оценил всей мудрости этих советов. Будущее слишком хорошо подтвердило проницательность Гретока. Не успел ла Тринитэ занять пост премьера, как тотчас же затребовал к себе материалы по делу Пиро. Но военный министр его Пениш * отказался представить их из высших соображений национальной безопасности, доверительно сообщив ему, что одни только материалы, находящиеся под охраной генерала Пантера, составляют самый обширный архив на свете. Ла Тринитэ изучил процесс как мог и, даже не расследовав его досконально, все-таки заподозрил в нем нарушение законности. Тогда, пользуясь своими правами и прерогативами, он отдал приказ о его пересмотре; в ответ на это военный министр Пениш тут же обвинил его в оскорблении армии и в измене родине и швырнул ему свой портфель. Назначили другого министра, который вел себя точно так же; его сменил третий, последовавший примеру двух первых; и все следующие, до семидесятого включительно, действовали, как их предшественники, — так что почтенному ла Тринитэ оставалось только стонать под ударами доблестных портфелей. Семьдесят первый военный министр, Ван-Жюлеп *, остался при исполнении своих обязанностей не потому, чтобы расходился со столь многочисленными и благородными своими коллегами, но потому,

что они дали ему поручение великодушно предать председателя Совета министров, покрыть его стыдом и позором и обратить пересмотр дела Пиро к вящей славе Гретока и удовлетворению антипиротистов, к выгоде для монахов и на пользу реставрации принца Крюшо.

Генерал Ван-Жюлеп, обладая высокими военными дарованиями, не был наделен достаточно гибким умом, чтобы пользоваться хитроумными способами и изощренными приемами Гретока. Он думал, подобно генералу Пантеру, что нужны осязаемые улики против Пиро, и чем больше, тем лучше, так что, сколько их ни собрать, всегда будет мало. Он высказал эти мысли своему начальнику Генерального штаба, а тот, разумеется, отнюдь не склонен был возражать.

— Наступает такое время, Пантер, — сказал министр, — когда нам потребуются обильные и сверхобильные доказательства!

— Слушаюсь, генерал, — ответил Пантер. — Я немедленно пополню свой архив.

Через полгода доказательства против Пиро занимали два этажа военного министерства, под тяжестью документов провалился пол, и хлынувшая бумажная лавина раздавила двух начальников отделения, четырнадцать столоначальников и шестьдесят письмоводителей, занятых в нижнем этаже разработкой вопроса о новом образце гетр для егерских полков. Пришлось подпереть стены обширного здания. Прохожие с изумлением смотрели на огромные бревна, чудовищные подпоры, которые были наклонно уставлены в некогда великолепную фасадную стену, ныне рассевшуюся и шаткую, и загромождали улицу, мешая движению экипажей и пешеходов и служа препятствием для автобусов, разбивавшихся о них в лепешку вместе со своими пассажирами.

Судьи, вынесшие обвинение Пиро, были в сущности не судьи, а военные. Судьи, вынесшие обвинение Коломбану, были действительные судьи, но судьи мелкие, облаченные в старые черные балахоны, как церковные подметальщики, — жалкие судьи, тощие от голода судьишки. Над ними возвышались великие судьи, в красных тогах и горностаевых мантиях. Стяжавшие

известность своими знаниями и глубиной суждения, они заседали в суде, при одном упоминании которого возникала картина, говорившая о грозной власти: кассационный суд обладал правом пресекать судебные решения, а потому представлялся в виде огромной секиры, нависшей над приговорами и решениями всех других инстанций.

Один из этих великих судей в красном, составлявших высшее судилище, г-н Шоспье, вел тогда скромную и спокойную жизнь в алькском предместье. Он был чист душою, честен сердцем и справедлив рассудком. Каждый день, окончив изучение судебных дел, он играл на скрипке и поливал свои гиацинты. По воскресеньям он обедал у соседок, девиц Эльбивор *. Г-н Шоспье был стар, но это был приятный и бодрый старик, и друзья восхищались его добродушным характером.

Однако за последние несколько месяцев он стал раздражительным и хмурым, а когда развертывал газету, полное розовое лицо его мучительно морщилось и багровело от гнева. Причиной тому был Пиро. Судебный советник Шоспье понять не мог, как это офицер мог решиться на такое черное дело — продать восемьдесят тысяч копен сена, военного фуража, соседней враждебной державе; а еще меньше понимал он, как такой преступник мог найти в Пингвинии столько услужливых защитников. Мысль о том, что на его родине существуют всякие Пиро, полковники Астены, Коломбаны, Кердавики, Фениксы, омрачала для него и красоту гиацинтов, и игру на скрипке, омрачала небо, и землю, и всю природу, и обеды его у девиц Эльбивор.

И случилось так, что когда министр юстиции представил дело Пиро на рассмотрение в верховное судилище, то именно судебному советнику Шоспье поручено было ознакомиться с материалом судебного производства и обнаружить нарушения законности, буде они имеются. Хотя он и был в высшей степени справедлив и неподкупен, хотя за долгие годы привык вершить судебные дела без лицеприятия, — все же он готовился найти в передаваемых ему документах доказательства неоспоримой виновности и явной преступности Пиро. После многочисленных затруднений и упор-

ных отказов со стороны генерала Ван-Жюлепа советник Шоспье добился наконец доступа ко всем бумагам. Когда они были пронумерованы и зарегистрированы, то оказалось, что общее их число составляет четырнадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч триста двенадцать. Приступив к их изучению, советник был сначала смущен, затем удивлен, затем изумлен, затем поражен, затем ошеломлен и наконец, если можно так выразиться, умопотрясен. Он находил в папках объявления галантерейных магазинов, газеты, картинки модных журналов, бумажные мешки из бакалейной лавки, старую торговую корреспонденцию, школьные тетрадки, дерюгу, наждачную бумагу для чистки паркета, игральные карты, чертежи, шесть тысяч экземпляров «Толкователя снов», но ни одного документа, который бы имел хоть какое-либо касательство к Пиро.

Глава XI

Завершение

Судебный приговор был кассирован, и Пиро выпущен из своей висячей клетки. Но антипиротисты не признавали себя побежденными. Военный суд снова привлек Пиро к ответственности. В этом втором процессе * Греток превзошел самого себя. Он добился вторичного обвинительного приговора; он добился его, заявив, что документы, представленные в высшую инстанцию, ничего не стоят, так как от представления действительно ценных пришлось воздержаться из-за их секретного характера. По мнению знатоков, никогда еще он не проявлял такой ловкости. Когда он покинул зал суда и среди любопытствующей публики, спокойным шагом, заложив руки за спину, проходил по вестибюлю, какая-то женщина в красном, под черной вуалью, опущенной на лицо, бросилась к нему и, занеся кухонный нож, воскликнула:

— Умри, мерзавец!

То была Манифлора. Прежде чем присутствующие поняли, что происходит, генерал схватил ее за запястье

и, соблюдая полное спокойствие, так сильно сжал его, что рука Манифлоры от боли выпустила нож.

Он поднял его и с поклоном протянул Манифлоре.

— Сударыня, вы уронили предмет домашней утвари, — оказал он.

Героиню отвели в участок, хотя Греток и просил этого не делать, но вскоре он уговорил отпустить ее, а затем, употребив все свое влияние, настоял на прекращении судебного преследования.

Вторичное осуждение Пиро было последней победой Гретока.

Советник Шоспье, прежде так любивший военных и питавший такое уважение к их судам, теперь, разъяренный против военных судей, расщелкивал в кассационном порядке одно за другим все их решения, как обезьяна щелкает орехи. Он вторично добился оправдания Пиро; а если бы понадобилось, добился бы в пятисотый раз.

Взбешенные тем, что проявляли такую трусость и, поддавшись обману, допустили издевательства над собою, республиканцы обратили свой гнев на монахов и священников; депутаты издали против них законы об изгнании, об отделении церкви от государства и конфискации церковных имуществ. Случилось то, что предвидел отец Корнемюз. Этого славного монаха прогнали из Конильского леса. Агенты налогового управления отобрали в казну его перегонные кубы и реторты, а приемщики поделили между собой бутыли с ликером св. Орброзы. Благочестивый винокур потерял на этом три с половиной миллиона франков годового дохода, которые доставляло его скромное предприятие. Отец Агарик отправился в изгнание, передав свою школу в руки мирян, оказавшихся не способными предотвратить ее упадок. Отделенная от государства, бывшего для нее питательной почвой, пингвинская церковь увяла, как срезанный цветок.

Одержав победу, защитники невинно осужденного передрались между собою, преследуя друг друга оскорблениями и клеветой. Запальчивый Керданик набросился на Феникса, готовый его растерзать. Крупные еврейские финансисты и семьсот родичей Пиро

с презрением отвернулись от товарищей социалистов, которых еще недавно смиренно умоляли о помощи.

— Мы вас знать не хотим, — говорили они. — Оставьте нас в покое с вашей социальной справедливостью. Социальная справедливость — в том, чтоб защищать богатство.

Избранный депутатом и став во главе нового большинства, товарищ Лариве был выдвинут палатой и общественным мнением на пост председателя Совета министров. Он проявил себя как энергичный защитник военных судов, вынесших обвинительный приговор по делу Пиро. Когда его старые товарищи социалисты потребовали немного больше справедливости и свободы для государственных служащих и работников физического труда, он красноречиво выступил против их предложений.

— Свобода — не значит своеволие. Надо выбирать между порядком и беспорядком, и я сделал выбор: революция — это насилие; у прогресса нет врага опаснее, чем насилие. Насилием ничего нельзя добиться. Господа, если вы, подобно мне, хотите реформировать республику, то прежде всего вы должны стараться исцелить ее от этих волнений, которые ослабляют правительство, как лихорадка истощает больных. Наступила пора обеспечить спокойствие порядочным людям.

Речь была покрыта аплодисментами. Республиканское правительство осталось под контролем крупных финансовых компаний, по-прежнему деятельность армии посвящена была исключительно защите капитала, флот предназначался единственно для того, чтобы обеспечивать металлургов заказами; так как богачи не желали вносить справедливую долю налогов, то бедняки по-прежнему платили за них.

Между тем Бидо-Кокий с грустью смотрел со своей пожарной вышки, под сонмом ночных светил, на уснувший город. Манифлора его покинула; терзаемая жаждой новых привязанностей и новых жертв, она уехала с каким-то молодым болгарином в Софию, чтобы отдать там силы свои делу справедливости и мщения.

Бидо-Кокий не жалел о ней, так как после окончания дела Пиро она ни внешне, ни внутренне уже не казалась ему такой прекрасной, какой он представлял себе ее раньше. Так же переоценил он внешний вид и внутреннее содержание многого другого вокруг. И, что было горше всего, он и самого себя считал теперь не таким великим и не таким прекрасным, как ему думалось раньше.

«Ты мнил себя великим, — размышлял он, — а ты был всего лишь чистосердечным и желал добра. Чем ты так кичился, Бидо-Кокий? Тем, что один из первых догадался о невиновности Пиро и гнусности Гретока? Но ведь три четверти тех, кто защищал Гретока от нападений семисот родичей Пиро, знали это лучше, чем ты. Не в том было дело. Так чем же ты так гордился? Тем, что осмелился высказать свое мнение? Но ведь это проявление гражданского мужества, а оно, подобно мужеству военному, не что иное, как результат неосторожности. Ты был неосторожен. Это хорошо, но еще не дает тебе права особенно хвалиться. Неосторожность твоя была незначительна — она подвергала тебя лишь небольшим опасностям, ты не рисковал головой. Пингвины утратили ту жестокую и кровожадную отвагу, которая встарь придавала их революциям некое трагическое величие. Это — роковое следствие развившейся у них слабости убеждений и характеров. То обстоятельство, что в известном вопросе ты проявил чуть больше проницательности, чем толпа, дает ли основание считать тебя выдающимся мыслителем? Боюсь, Бидо-Кокий, что ты, напротив, обнаружил полную неспособность понять условия умственного и нравственного развития народов. Ты воображал, будто проявления общественной несправедливости нанизаны, как жемчужины, на одну общую нить и стоит вырвать одну, как рассыплются все остальные. Но ведь это чрезвычайно наивное представление! Ты тешил себя мыслью, что одним ударом восстановишь справедливость в своей стране и во всем мире. Ты выказал себя порядочным человеком, честным идеалистом, хоть и не очень сведущим в экспериментальной философии. Но, заглянув в себя поглубже, ты должен будешь признать, что действовал

не без задней мысли и, при всей своей наивности, немного хитрил. Ты надеялся сделать выгодное дельце в области морали. Ты думал: «Вот проявлю раз и навсегда справедливость и мужество. После этого можно будет успокоиться, обеспечив себе общественное уважение и почетное место в истории». А теперь, утратив иллюзии, теперь, узнав, как трудно исправлять несправедливости и как всякий раз приходится делать все сызнова, ты решил вернуться к своим астероидам. Ты прав, но гордиться тут нечем, Бидо-Кокий!»

Книга седьмая

НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

ГОСПОЖА СЕРЕС

> Только крайности можно еще выносить.
>
> *Граф Робер де Монтескью* *.

Глава I

Салон госпожи Кларанс

Госпожа Кларанс, вдова крупного государственного чиновника, любила принимать гостей; она собирала у себя по четвергам друзей своих, людей небогатых, которые охотно проводили вечерок за беседой. Среди обычных посетительниц ее гостиной были дамы разного возраста и общественного положения, но все нуждались и перенесли в жизни своей разные несчастья. Среди них имелась герцогиня, похожая на карточную гадалку, и карточная гадалка, похожая на герцогиню. Г-жа Кларанс, еще достаточно красивая для того, чтобы сохранить старые связи, но недостаточно — для того, чтобы заводить новые, вела спокойную жизнь, окруженная общим уважением. У нее была дочь, очень хорошенькая, но бесприданница, внушавшая гостям страх, потому что пингвины пуще огня боялись бедных невест. Эвелина Кларанс замечала их сдержанность, понимала ее причины и разливала чай с презрительным видом. Она, впрочем, редко выходила к гостям, да и то разговаривала только с дамами и какими-нибудь юнцами. Ее кратковременное и малозаметное присутствие не стесняло беседы, так как предполагалось, что в качестве молодой девицы она все равно не поймет того, что ей не следует слышать, либо что в двадцать пять лет она может слушать все что угодно.

Как-то, в один из четвергов, среди гостей г-жи Кларанс зашел разговор о любви; дамы говорили о ней с гордым, осторожным и таинственным видом; мужчины — нескромно и самодовольно, каждый интересовался только тем, что говорил сам. Было пущено в ход много остроумия, брошено немало метких замечаний и удачных реплик. Но в беседу вступил профессор Гэддок и заморил всех.

— Наши представления о любви подобны всем другим представлениям, — сказал он. — Они основаны на нравах далекого прошлого, память о котором совершенно стерлась. В области морали — потерявшие всякий смысл многочисленные предписания, самые бесполезные обязательства, самые стеснительные и жестокие запреты, — все это по причине своей глубокой древности и таинственной неясности своего происхождения менее всего оспаривается и менее всего считается спорным, менее всего исследуется, более всего почитается и уважается, и пренебречь этим, значит навлечь на себя самое суровое порицание. Всякая мораль, касающаяся отношений между полами, опирается на ту предпосылку, что мужчина приобретает женщину раз навсегда и она представляет собою его собственность наравне с его лошадью или оружием. Но так как это уже не соответствует действительным отношениям, то возникают всякие нелепости, вроде брака, то есть заключения договора о продаже такой-то женщины такому-то мужчине с некоторыми ограничительными пунктами относительно права собственности, введенными в результате постепенного ослабления власти собственника.

Непременное требование, чтобы девица приносила в дар супругу свою девственность, сохраняется еще с тех времен, когда девушки вступали в брак едва достигнув брачного возраста; смешно предъявлять подобное требование девице, вступающей в брак в двадцатипятилетнем или тридцатилетнем возрасте. Вы скажете, что этот дар будет приятен ее мужу, если таковой наконец для нее найдется, — но мы видим на каждом шагу, что мужчины ухаживают за замужними женщинами и бывают весьма довольны, получив их такими, как есть.

До сих пор девический долг, предписываемый религиозной моралью, определяется древним верованием, что бог, самый могущественный из военачальников, — многоженец, что он оставляет за собою первое право на девственниц и лишь те, которые не понадобились ему, могут быть взяты другими. Это верование, оставившее следы во многих метафорах мистического языка, в настоящее время уже утрачено большинством цивилизованных народов; тем не менее оно сохраняет силу в воспитании девиц, и не только у наших верующих, а даже у наших свободомыслящих, которые большей частью не мыслят свободно, по той простой причине, что вообще не мыслят.

Разум проявляется в познании. Но так называемая разумная девушка ничего не знает. В ней культивируют невежество. Однако, вопреки стараниям окружающих, и самые разумные девушки все же кое-что знают, ибо от них нельзя скрыть ни их собственной природы, ни их собственных физических состояний, ни их собственных ощущений. Но то, что знают, они знают плохо, кое-как. Вот к чему приводит заботливое воспитание...

— Сударь, — с хмурым видом вмешался в беседу Жозеф Бутурле, главноуправляющий податными сборами Альки, — уверяю вас, существуют невинные девушки, совершенно невинные, и это большое несчастье. Я знал трех таких девушек; они повыходили замуж, и это было что-то ужасное! Одна, как только к ней приблизился муж, в ужасе соскочила с кровати и закричала в окно: «Спасите! Он сошел с ума!» Другую наутро после свадьбы нашли в одной рубашке на зеркальном шкафу, откуда она ни за что не соглашалась слезть. Третья пришла в такое же изумление, но безропотно все снесла. И только через несколько недель после свадьбы как-то раз шепнула матери на ушко: «Между мной и мужем происходит что-то неслыханное, невообразимое, о чем я не решусь рассказать даже тебе». Ради спасения души своей она все описала на исповеди своему священнику и только от него узнала, — быть может, с некоторым разочарованием, — что во всем этом нет ничего необычайного.

— Я заметил, — сказал профессор Гэддок, — что все европейцы, и пингвины в особенности, прежде, до нынешнего увлечения спортом и автомобильными поездками, ничем так не интересовались, как любовью, — то есть придавали важность тому, что имеет самое ничтожнее значение.

— Как, сударь! — вскричала, чуть не задохнувшись, г-жа Кремер. — Женщина отдает всю себя, и этот дар, по-вашему, не имеет никакого значения?

— Нет, конечно, сударыня, это может иметь известное значение, — ответил профессор Гэддок. — Но все зависит от того, приносит ли она в дар мужчине прелестный плодовый сад или же пустырь, поросший репейником и одуванчиками. А кроме того, не слишком ли мы злоупотребляем здесь словом «дар»? Свою любовь женщина скорее отдает во временное пользование, чем дарит. Вот, например, прекрасная госпожа Пансе...

— Это — моя мать! — сказал высокий светловолосый юноша.

— Я бесконечно уважаю ее, сударь, — заметил профессор Гэддок, — не подумайте, что я собираюсь сделать сколько-нибудь обидное замечание на ее счет. Но осмелюсь вам сказать, что, вообще говоря, представление сыновей о своих матерях совершенно несостоятельно: они забывают о том, что мать является матерью только потому, что любила, а следовательно способна любить и в дальнейшем. Между тем это именно так, и пришлось бы пожалеть, будь оно иначе. Я заметил, что дочери, напротив, не ошибаются насчет способности матерей любить, да и насчет применения ими этой способности: ведь дочери — их соперницы, они и наблюдательны, как соперницы.

Несносный профессор говорил еще долго, прибавляя непристойности к бестактностям, грубости — к неучтивостям, нагромождая одну нелепость на другую, выказывая презрение к тому, что почтенно, и почтение к тому, что презренно; впрочем, никто его не слушал.

А тем временем в своей комнате, простой, лишенной всякого изящества, комнате печальной оттого, что ее никто не любит, подобно всем девическим комнатам, и холодной, как зал ожидания, Эвелина Кларанс наводила

справки по ежегодным отчетам клубов и проспектам благотворительных учреждений, стремясь побольше разузнать о светском обществе. Видя, что мать, ограниченная кругом интеллигенции и небогатых людей, не в состоянии вывести ее в свет и содействовать ее успехам, она размышляла о том, что ей нужно самой проникнуть в ту среду, где можно было бы устроить свою жизнь, — размышляла упорно и вместе с тем спокойно, без грез, без иллюзий, видя в замужестве только вступление к настоящей игре, только пропуск в новый для нее мир и отдавая себе ясный отчет во всех помехах и препятствиях, а. также в благоприятных обстоятельствах, могущих для нее возникнуть при осуществлении задуманного. У нее были данные, чтобы понравиться, к тому же она была достаточно холодна, чтобы уметь нравиться. Но у нее имелась слабая сторона — ее ослепляло все, что казалось аристократичным.

Когда они с матерью остались наедине, Эвелина сказала:

— Мама, завтра мы пойдем на проповедь отца Дуйяра.

Глава II

Религиозное общество святой Орброзы

Проповеди отца Дуйяра привлекали по пятницам, к девяти часам, в аристократическую церковь св. Маэля самые сливки алькского общества. Князь и княгиня де Босено, виконт и виконтесса Олив, г-жа Бигур, г-н и г-жа де ла Трюмель не пропускали ни одной проповеди; там присутствовал цвет аристократии, блистали красивые еврейские баронессы, — так как еврейские баронессы Альки все были христианками.

Эти собрания, подобно всем религиозным собраниям, преследовали цель доставлять представителям светского общества возможность время от времени забыть о мирских делах ради спасения своей души; собрания ставили также своей задачей привлечь на все эти благородные и знатные семьи благословение св. Орброзы, которая любит пингвинов. С поистине апостолическим

рвением преподобный отец Дуйяр добивался осуществления своего замысла — восстановить прерогативы св. Орброзы как покровительницы Пингвинии и воздвигнуть ей монументальный храм на одном из холмов, господствующих над городом. Его усилия увенчались необыкновенным успехом: для этого национального дела он объединил уже свыше ста тысяч приверженцев и собрал более двадцати миллионов франков.

Именно в церкви св. Маэля, на клиросе, высится, сияя золотом, сверкая драгоценными каменьями, окруженная свечами и цветами, новая рака св. Орброзы.

Вот что сказано у аббата Плантена в «Истории чудес, совершенных святой покровительницей Альки»:

«Прежняя рака была расплавлена во время террора, и драгоценные останки святой были брошены в костер, зажженный на Гревской площади; но одна бедная благочестивая женщина, по фамилии Рукен, пренебрегая смертельной опасностью, ночью пошла и собрала обугленные кости и пепел блаженной; она сохранила их в горшочке из-под варенья, а после восстановления христианского культа отнесла их священнику церкви св. Маэля. Тетушка Рукен благочестиво дожила свой век, исполняя при часовне св. Орброзы должность продавщицы свечей и предоставляя за плату стулья в пользование молящимся».

Несомненно, что при отце Дуйяре, невзирая на общий упадок веры, поклонение св. Орброзе, уже триста лет как забытое вследствие критики каноника Пренсто и молчания ученых богословов, было восстановлено и осуществлялось с большей торжественностью, большей пышностью, бóльшим рвением, чем когда-либо прежде. Теперь уже богословы не оспаривали в легенде ни йоты, они признавали вполне достоверными все факты, сообщаемые аббатом Симплициссимусом, и утверждали, например, основываясь на словах этого аббата, что дьявол, приняв монашеский облик, завлек святую в пещеру и, набросившись на нее, боролся с нею, пока она над ним не восторжествовала. При этом богословы не затрудняли себя определением места и времени; они воздерживались от толкований и остерегались допустить научное исследование в тех пределах, какие отводил ему

некогда каноник Пренсто: они слишком хорошо знали, к чему это приводит.

Церковь была вся в огнях и цветах. Оперный тенор пел знаменитый гимн св. Орброзе:

О, благости полна,
Явись нам, дева рая,
Как светлая луна,
Тьму разгоняя!

Мадемуазель Кларанс стала рядом с матерью, перед виконтом Клена и, преклонив колени на молитвенную скамеечку, долго оставалась в такой позе, зная, что это приличествует разумным девам и хорошо обрисовывает фигуру.

Преподобный отец Дуйяр поднялся на кафедру. Он был прекрасный оратор; умел растрогать, поразить, взволновать слушателей. Женщины, правда, жаловались, что он громит пороки с чрезмерной суровостью и в таких сильных выражениях, что заставляет краснеть. Тем не менее они очень его любили.

Свою проповедь он посвятил седьмому искушению св. Орброзы, когда ее хотел соблазнить дракон, над которым ей предстояло одержать победу, но она, не поддаваясь соблазну, укротила чудовище.

Оратор без труда доказал, что с помощью св. Орброзы и утвердившись в добродетелях, ею внушаемых, мы в свою очередь можем повергнуть драконов, готовых ринуться на каждого из нас, чтобы нас растерзать: дракона сомнения, дракона неверия, дракона забвения религиозных обязанностей.

Из этого оратор сделал вывод, что заботиться о поклонении св. Орброзе — значит заботиться о нравственном возрождении общества, и заключил свою проповедь страстным призывом к «верующим, стремящимся стать орудиями божественного милосердия и готовым ревностно поддерживать и растить Общество св. Орброзы, доставляя ему все необходимые средства, дабы оно могло воспрянуть и приносить спасительные плоды» [1].

---

[1] Ср. Ж. Эрнест-Шарль, «Цензор», май—июнь 1907 г., стр. 562, столб. 2. (*Прим. автора.*).

По окончании проповеди преподобный отец Дуйяр остался в ризнице, чтобы верующие могли, если пожелают, получить от него сведения о новом обществе или внести пожертвование. Мадемуазель Кларанс понадобилось обратиться за чем-то к преподобному отцу Дуйяру; виконту Клена — тоже; столпилось много народу; выстроились в очередь. По счастливой случайности виконт Клена и мадемуазель Кларанс оказались совсем близко друг к другу — может быть, даже чуточку слишком близко. Эвелина еще раньше обратила внимание на этого изящного молодого человека, почти столь же известного в спортивных кругах, как его отец. Клена, со своей стороны, тоже заметил ее и нашел хорошенькой, а потому поклонился и принес извинения в том, что хотя был, кажется, представлен обеим дамам, но не помнит, где именно. Они притворились, что верят ему.

На следующей неделе он явился к г-же Кларанс, которую считал немножко сводней, впрочем не особенно огорчаясь этим, и, когда опять увидел Эвелину, убедился, что она в самом деле необычайно хорошенькая.

У виконта Клена был самый лучший автомобиль во всей Европе. Три месяца подряд он каждый день катал в нем старшую и младшую Кларанс по горам и долинам, по лесам и лугам. Объезжал вместе с ними всякие живописные места, посещал замки. Он уже сказал Эвелине все, что только может сказать самый усердный поклонник. Она не скрывала от виконта, что любит его, будет любить вечно — только его одного. Она сидела рядом с ним трепещущая и задумчивая. Но, отдаваясь во власть роковой любви, умела в нужный момент призвать себе на помощь свою непреклонную добродетель, полную сознания грозящей опасности. К концу трех месяцев, в течение которых он подсаживал ее и помогал ей выйти, снова подсаживал и снова помогал выйти, а при маленьких авариях, постоянно случавшихся с его автомобилем, бродил с ней взад и вперед, он знал ее, как руль своей машины, но не как-нибудь иначе. Он подстраивал разные неожиданности, приключения, вынужденные остановки в чаще леса или возле ночных кабачков, но ничуть не подвинулся вперед. Разъяренный

тем, что все получается так глупо, он, снова усадив ее в автомобиль, со злости доводил скорость до ста двадцати в час, готовый вывалить Эвелину в канаву или расшибить ее и себя вместе с нею о ствол какого-нибудь дерева.

Как-то раз он заехал за ней, чтобы опять везти на прогулку, и Эвелина показалась ему еще более восхитительной, чем когда-либо, еще более влекущей к себе; он налетел на нее, как ураган налетает на приозерную тростинку. Она не противилась, очаровательно слабея; двадцать раз казалось, что вот-вот, подхваченная и сломленная бурным вихрем, она унесется вместе с ним, и двадцать раз ей, гибкой и дразнящей, удавалось устоять; и после стольких натисков так спокойно возносился прелестный стебель ее тела, словно ее овеял лишь легкий ветерок, и она опять улыбалась с таким видом, как будто только и ждала прикосновения дерзких рук.

После этого неудачного нападения виконт Клена, ошалелый, разъяренный, почти помешавшись в уме, бежит прочь, чтобы не убить ее, попадает не в ту дверь, влетает в спальню, где мать Эвелины надевала перед зеркальным шкафом шляпу, схватывает г-жу Кларанс, бросает на постель и овладевает ею, прежде чем она успевает опомниться.

В тот же день Эвелина, наводившая справки о виконте Клена, узнала, что у виконта нет ничего за душой, кроме долгов, что живет он на средства старой кокотки и занимается рекламированием новых автомобильных марок одного заводчика. Они разошлись по взаимному согласию, и Эвелина опять принялась угрюмо разливать чай гостям своей матери.

Глава III

Ипполит Серес

В гостиной г-жи Кларанс говорили о любви — и высказывали прелестные суждения.

— Любовь — это жертва, — со вздохом произнесла г-жа Кремер.

— И вам в этом можно поверить, — подхватил г-н Бутурле.

Но тут с присущей ему нудной бесцеремонностью стал разглагольствовать профессор Гэддок.

— Мне думается, — начал он, — что пингвинки слишком возомнили о себе, после того как благодаря святому Маэлю стали живородящими. А ведь гордиться-то особенно нечем: это свойство они разделяют с коровами, свиньями и даже с апельсинными и лимонными деревьями, поскольку зерна этих растений созревают в околоплоднике.

— Чванство пингвинок восходит к несколько более позднему времени, — возразил г-н Бутурле. — Оно возникло в тот день, когда святой проповедник дал им одежды, и даже больше — чванство их, долго сдерживаемое, приобрело разнузданный характер только с появлением роскошных туалетов и дает себя знать лишь в узком кругу. Попробуйте отдалиться от Альки мили на две во время жатвы, и вы увидите, жеманничают ли там женщины и чванятся ли собою.

В этот вечер у г-жи Кларанс появился новый гость — Ипполит Серес; он был депутатом от Альки и одним из самых молодых членов палаты; говорили, что отец его держал кабачок, но сам он был адвокат, красноречивый, видный, представительный и, как полагали, знающий свое дело.

— Господин Серес, — сказала ему хозяйка дома, — вы представляете самый прекрасный округ в Альке.

— И становящийся с каждым днем все прекраснее, сударыня!

— К несчастью, здесь ходить стало совсем невозможно! — воскликнул г-н Бутурле.

— Это почему же? — спросил г-н Серес.

— Да из-за автомобилей, конечно!

— Не браните их, — возразил депутат. — Это наша великая национальная промышленность.

— Знаю, милостивый государь. Нынешние пингвины напоминают мне древних египтян. Как утверждает Тэн *, опираясь на сообщение Климента Александрийского *, но, впрочем, несколько погрешая против подлинного текста, — египтяне поклонялись крокодилам,

которые их пожирали; так и пингвины поклоняются автомобилям, которые их давят. Нет никаких сомнений, будущее принадлежит этому металлическому животному. К извозчикам больше не возвратятся, как не возвращаются к дилижансам. Долгие мучения лошади приходят к концу. Автомобиль, пущенный лихорадочной жадностью промышленников, подобно колеснице Джаганнатхи *, на оторопелые народы, автомобиль, служащий дурацкому и смертоносному щегольству бездельников и снобов, скоро станет выполнять свое полезное назначение и, отдав свою силу на службу всем людям, будет вести себя как послушное работящее чудовище. Но, чтобы вместо вреда он приносил пользу, нужно будет построить для него дороги, соответствующие его поступи, такие шоссе, которых он не разворачивал бы своими яростными колесами, обдавая прохожих пылью и отравляя им легкие. Эти новые дороги надо будет закрыть для более медленного транспорта и для скота, устроить на них гаражи и мостки, — словом, упорядочить и наладить дорожную сеть будущего. Таковы пожелания доброго гражданина.

Госпожа Кларанс перевела разговор на благоустройство округа, представляемого г-ном Сересом, и тот с энтузиазмом стал говорить о сносе старых зданий, о прокладке новых улиц, о постройках, перестройках и всяких других полезных работах.

— В наше время строят замечательно, — сказал он. — Повсюду возникают новые великолепные улицы. Когда можно было видеть что-либо подобное нашим мостам с пилонами, нашим особнякам с куполами?

— Вы не упомянули еще о нашем большом дворце, прикрытом огромным колпаком, — проворчал, еле сдерживая ярость, г-н Данизе, старый любитель искусства. — Я просто диву даюсь, какой степени безобразия может достигнуть современный город. Алька американизируется; всюду разрушают последние остатки того, в чем еще чувствуется свободный вкус, фантазия, соразмерность, сдержанность, человечность, традиции; всюду разрушают эту прелесть — старые каменные ограды, через которые свешиваются ветви деревьев; всюду изгоняют последние остатки воздуха и света,

остатки природы, остатки прошлого, остатки памяти о наших предках, частицу нас самих — и возводят огромные, страшные, отвратительные дома, накрытые нелепыми куполами на венский лад, либо в новом стиле, без карнизов, без архитектурной формы, с какими-то устрашающими выступами и смешными кровлями, и подобные чудища лезут вверх, бесстыдно вздымаясь над окружающими домами. По фасадам наляпаны какие-то отвратительные шишкообразные наросты, — и именуется это мотивами нового искусства. Я видел новое искусство в других странах, там оно не так гнусно. Оно там мило, занятно. А наша страна пользуется печальной привилегией выставлять на всеобщее обозрение образцы самой безобразной архитектуры — безобразной на самоновейший манер и в огромном количестве вариантов. Завидная привилегия, нечего сказать!

— А вам не приходило в голову, — строго спросил г-н Серес, — что такая резкая критика может от нашей столицы отпугнуть иностранцев, которые стекаются к нам со всех концов света и оставляют здесь миллиарды?

— Будьте покойны, — ответил г-н Данизе, — иностранцы не затем сюда ездят, чтобы любоваться нашими постройками; они ездят сюда ради наших кокоток, наших портных и наших кабаков.

— Скверная у нас привычка — клеветать на самих себя, — со вздохом промолвил г-н Серес.

Госпожа Кларанс, как тактичная хозяйка, сочла своевременным опять перевести разговор на любовь и спросила г-на Жюмеля, какого он мнения о последней книге Леона Блюма *, где автор жалуется...

— ...на бессмысленный запрет, — подхватил профессор Гэддок, — запрет, возбраняющий светским девушкам заниматься любовью, что они делали бы с удовольствием, меж тем как продажные женщины занимаются ею слишком много и без всякого удовольствия. Это, в самом деле, достойно сожаления; но пусть господин Леон Блюм не огорчается сверх меры: если все и обстоит так плачевно в нашем узком буржуазном кругу, то могу заверить его, что вне этого круга он увидел бы

всюду более утешительное зрелище. В народе, в широкой народной массе города и деревни, девушки занимаются любовью без обиняков.

— Какое ужасное падение нравов, сударь! — заметила г-жа Кремер.

И она воспела хвалу девической невинности в выражениях, полных изящества и целомудрия. Это было восхитительно!

Рассуждения профессора Гэддока о том же предмете было, наоборот, тяжко слушать.

— Светские девушки, — сказал он, — всегда под охраной и под надзором; к тому же мужчины не хотят иметь с ними дело из чувства порядочности, из боязни перед ответственностью и потому, что совращение молодой девицы не принесет им чести в обществе. Впрочем, неизвестно, что́ тут происходит в действительности, — ведь не видишь того, что принято скрывать. Это предпосылка, необходимая для существования всякого общества. Если б у светских девушек добивались любви, они были бы сговорчивее женщин, — и это по двум причинам: у них больше иллюзий, и любопытство их еще не удовлетворено. Женщины в большинстве случаев так плохо начинали с мужем, что у них не скоро появляется решимость продолжать с кем-нибудь другим. Мне лично не раз приходилось наталкиваться на такое препятствие при попытках к обольщению.

Когда неприятные рассуждения профессора Гэддока подходили к концу, в гостиную вошла мадемуазель Эвелина Кларанс и стала лениво разносить чай, с тем скучающим видом, который придавал ее красоте очарование восточной неги.

— Что касается меня, — оказал Ипполит Серес, взглянув на нее, — то я сторонник девиц.

«Дурак», — решила она.

Ипполит Серес, никогда не выходивший за пределы круга политического, круга избирателей и избираемых, нашел, что салон г-жи Кларанс весьма изыскан, хозяйка обворожительна, а дочь отличается какой-то своеобразной красотой; он стал усердно посещать их и ухаживал за обеими. Г-жа Кларанс, которой в ее возрасте

особенно льстило внимание, находила Сереса очень милым, Эвелина же не оказывала ему никакого расположения и обращалась с ним надменно и пренебрежительно; а он, видя в этом аристократичность и хороший тон, еще больше восхищался ею.

Пользуясь своими обширными знакомствами, он старался доставлять им обеим удовольствия, и это ему порой удавалось. Он добывал им пропуска на заседания палаты и ложи в Оперу. Несколько раз давал он Эвелине возможность блистать на разных собраниях, в частности — на сельском празднике, который был, правда, устроен одним министром, но признан подлинно светским и принес республиканской власти первый успех в глазах высшего общества.

На этом празднике Эвелина, замеченная многими, особенно привлекла внимание одного молодого дипломата, некоего Роже Ламбильи, и тот, решив, что она принадлежит к среде, не отличающейся строгостью нравов, пригласил ее к себе, на свою холостую квартиру. Она находила его красивым, думала, что он богат, — и пошла. Немного взволнованная, почти смущенная, она чуть не стала жертвой своей храбрости, избежав поражения только при помощи смелого военного маневра. Это происшествие было самым большим безумством во всей ее девической жизни.

Войдя в круг людей близких к министрам и президенту, Эвелина подчеркивала там свою аристократичность и благочестие, чем привлекла к себе симпатии крупных деятелей антиклерикального и демократического лагеря республики. Ипполит Серес, видя, что она пользуется успехом и что знакомство с ней делает ему честь, еще больше увлекся ею, — он влюбился в нее до безумия.

Тогда и она стала с интересом присматриваться к нему, желая знать, как далеко зайдет его чувство. Она находила его неизящным, лишенным душевной тонкости, дурно воспитанным, но энергичным, сообразительным, способным и не таким уж скучным. Она еще смеялась над ним, но уже думала о нем.

В один прекрасный день она решила подвергнуть его чувство испытанию.

Это был период выборов, и г-н Серес был занят хлопотами, как говорится, по возобновлению своего мандата. У него был конкурент, по началу как будто не очень опасный, без ораторских способностей, но богатый и с каждым днем завоевывавший, казалось, все больше голосов. Ипполит Серес, равно чуждаясь и вялого спокойствия, и пустой тревоги, удвоил энергию. Главным полем его деятельности служили публичные собрания, где он благодаря силе своих легких выступал опасным соперником. Его комитет устраивал широкие собрания с прениями, по субботам — вечерние, а по воскресеньям — ровно в три часа дня. Как-то в воскресенье, явившись с визитом в дом г-жи Кларанс, он застал ее дочь одну в гостиной. Поболтав с нею минут двадцать, он вынул часы и увидал, что уже без четверти три. Эвелина вдруг стала как-то особенно мила, игрива, задорна, завлекательна. Серес, взволнованный, все же поднялся, чтобы уходить.

— Посидите еще немножко! — сказала она с нежной настойчивостью, и он, будучи не в силах отказаться, снова сел.

Она прикинулась участливой, томной, любопытной, слабой. Он краснел, бледнел, но опять поднялся с места.

Тогда, чтобы его удержать, она стала молча глядеть на него, и серые глаза ее подернулись влагой, а грудь прерывисто вздымалась. Сраженный, обезумевший, изнемогающий, он упал к ее ногам; но тут же, опять вынув часы, вскочил и отчаянно выругался:

— Ах ты черт... Без пяти четыре! Только-только поспею...

И выскочил на лестницу.

С тех пор она стала питать к нему некоторое уважение.

Глава IV

Женитьба политического деятеля

Она его совсем не любила, однако хотела, чтобы он ее любил. Впрочем, она была с ним очень сдержанна — и не только потому, что не питала к нему особой склонности: ведь в делах любви многое делается пускай и

равнодушно, но для развлечения, по женскому инстинкту, по традиции и общепринятому обыкновению, чтобы испробовать свою власть и с удовольствием убедиться в ее действии. Эвелина держалась на расстоянии, понимая, что при более близких отношениях он, по своей грубой натуре, способен был задрать нос и нагло попрекать ее же, если бы она их прекратила.

Так как он по профессии был антиклерикал и свободомыслящий, то она считала нужным подчеркивать свою набожность, появляясь перед ним с молитвенниками в руках — изданиями большого формата, в красном сафьяне, вроде «Пасхального двухнедельника» королевы Марии Лещинской и дофины Марии-Жозефы;* и всегда старалась положить перед ним на видном месте список пожертвований, собранных ею на укрепление национального культа св. Орброзы. Эвелина действовала так не затем, чтобы дразнить его, не из озорства или чувства противоречия, и даже не из снобизма, хотя и не была от него свободна; таким способом она утверждала себя, придавала себе особый характер, ставила себя на высоту и, чтобы возбудить в депутате отвагу, облекалась в религию наподобие того, как Брюнхильда, чтобы привлечь Сигурда *, окружала себя пламенем. Дерзкий замысел ее удался. Она стала казаться ему еще прекраснее. В клерикализме, на его взгляд, была особая изысканность.

Переизбранный огромным большинством голосов, Серес стал членом палаты более левой по своим тенденциям, более передовой, чем предшествующая, и, казалось, более ревностной в отношении реформ. Сразу заметив, что под столь большим рвением скрывается боязнь перемен и искреннее желание ничего не делать, он твердо решил следовать политике, которая отвечала бы этим настроениям. В самом же начале сессии он выступил с большой речью, ловко задуманной и прекрасно построенной, которая была посвящена мысли, что всякая реформа требует длительной разработки; это была горячая, даже бурнокипящая речь, так как оратор исходил из принципа, что рекомендовать умеренность надо всегда с крайним пылом. Все собрание рукоплескало ему. На президентской трибуне его слушали мать и

дочь Кларанс; Эвелина невольно затрепетала при торжественном гуле рукоплесканий. На той же скамейке прекрасная г-жа Пансе вся вздрагивала, прислушиваясь к вибрациям этого мужественного голоса.

Сойдя с трибуны, пока еще гремели аплодисменты и раздавались требования расклеить текст этой речи по городу, Ипполит Серес сразу же в своей взмокшей от пота сорочке пошел поклониться г-же Кларанс с дочерью. Эвелина нашла, что он похорошел от успеха; и когда он, склонившись перед сидящими дамами, скромно, быть может лишь чуть фатовато, выслушивал их поздравления, отирая себе затылок носовым платком, молодая девушка, искоса взглянув на г-жу Пансе, увидела, что та в опьянении вдыхает запах пота, исходящий от героя, и, задыхаясь, полузакрыв глаза, запрокинув голову, готова вот-вот лишиться чувств. Эвелина тотчас послала г-ну Сересу нежную улыбку.

Речь представителя Альки вызвала громкие отклики. В политических «сферах» ее оценили как весьма удачную. «Наконец-то мы услышали честные высказывания», — писала большая газета умеренных. «Ведь это — целая программа!» — говорили в палате. Все признавали в ораторе огромный талант.

Ипполит Серес легко мог бы теперь стать и во главе радикалов, и во главе социалистов, и во главе антиклерикалов, которые выбрали его председателем своей группы, самой многочисленной в палате. Ему уже наметили дать портфель при первой же смене правительства.

После долгих колебаний Эвелина решила выйти замуж за г-на Ипполита Сереса. На ее вкус, этот великий человек был несколько вульгарен; да к тому же не было уверенности в том, что он действительно достигнет когда-нибудь той ступени, на которой политическая деятельность начинает приносить крупный доход; но Эвелине скоро должно было исполниться двадцать семь лет, у нее был достаточный жизненный опыт, — и она знала, что не следует ни слишком поддаваться чувству отвращения, ни выказывать себя слишком требовательной.

Ипполит Серес был знаменит; Ипполит Серес был счастлив. Он стал неузнаваем; элегантность его костюма и манер возрастала с ужасающей быстротой, он злоупотреблял белыми перчатками; теперь, став слишком уж светским, он вызывал у Эвелины сомнение, не хуже ли это, чем быть недостаточно светским. Г-жа Кларанс благосклонно смотрела на эту помолвку, радуясь, что будущее дочери теперь обеспечено, и с удовольствием получая по четвергам цветы для своей гостиной.

Вопрос о свадебной церемонии вызвал, однако, некоторые осложнения. Эвелина была набожна и хотела, чтобы брак ее получил благословение церкви. Ипполит Серес, относясь терпимо к религии, сам все же был свободомыслящим и признавал только гражданский брак. По этому поводу происходили споры и даже душераздирающие сцены. Последняя разыгралась в комнате молодой девушки, когда стали составлять текст свадебных приглашений. Эвелина заявила, что без благословения церкви она не может по-настоящему считать себя его женой. Она заговорила о разрыве, о том, что уедет с матерью за границу, уйдет в монастырь. Потом стала нежной, слабой, умоляющей; начала горько жаловаться. И в ее девичьей комнате все горько жаловалось вместе с ней — кропильница, буксовая веточка над белой постелью, душеспасительные книжки на маленькой этажерке, а на мраморной доске камина — бело-голубая статуэтка св. Орброзы, укрощающей каппадокийского дракона. Ипполит Серес растрогался, размяк, растаял.

Прекрасная в своей печали, с блестящими от слез глазами, обвив себе руки четками из ляпис-лазури, словно цепями веры, она вдруг бросилась к ногам Ипполита и обняла его колени в смертельном изнеможении, с распущенными волосами.

Он был готов уступить; он забормотал:

— Церковный брак, венчание в церкви, может быть, мои избиратели еще кое-как переварят; а вот комитет мой не так легко с этим примирится... Впрочем, я им объясню... Веротерпимость, общественные условности... Они сами посылают дочерей к первому причастию... Но уж насчет министерского портфеля... Эх, черт! Я уверен, душенька, что мы его утопим в святой воде.

При этих словах она встала, серьезная, великодушная, смирившаяся, в свою очередь побежденная.

— Друг мой, я больше не настаиваю.

— Значит, без венчанья? Оно и лучше, гораздо лучше!

— Нет, это не так. Но предоставьте действовать мне. Я постараюсь все уладить к общему удовлетворению.

Она отправилась к преподобному отцу Дуйяру и объяснила ему обстоятельства дела. Тот оказался более покладистым и сговорчивым, чем она даже рассчитывала.

— Супруг ваш — человек умный, человек порядка и здравого смысла, в конце концов он придет к вам. Вы принесете ему благословение божье; не напрасно господь дарит ему супругу-христианку. Церковь не всегда требует пышности и блеска для брачного обряда. Ныне, во времена гонений, потемки подземных молелен и тайники катакомб больше пристали ее празднествам. По выполнении всех гражданских формальностей, мадемуазель, приходите с господином Сересом сюда, в мою особую часовенку, одетая как для прогулки, — я обвенчаю вас и сохраню все в строжайшей тайне. Я испрошу у архиепископа необходимые послабления и льготы по части оглашения брака, свидетельства об исповеди и тому подобного.

Ипполит, считая замысел несколько опасным, все же согласился, в глубине души даже польщенный.

— Я пойду в пиджаке, — заявил он.

Он пошел в сюртуке, в белых перчатках, в лакированных туфлях и совершал коленопреклонения.

Ничего не поделаешь, взаимная вежливость...

Глава V

Министерство Визира *

Супруги Серес устроились скромно и прилично, сняв славную квартирку в одном из новых домов. Серес окружил жену чистосердечным и спокойным обожанием, хотя часто задерживался в бюджетной комиссии и три

вечера в неделю был занят подготовкой доклада о почтовом бюджете, надеясь, что этот труд останется в веках. Эвелина считала его «хамом», но нельзя сказать, чтобы он ей не нравился. Скверно было только то, что у них было очень мало денег, верней — почти совсем не было. Служба республике не так уж прибыльна, как думают. С тех пор как нет монарха, раздающего милости, каждый берет что может, и хищения каждого, ограниченные хищениями всех остальных, поневоле сводятся к скромным размерам. Отсюда суровая простота нравов, свойственная вождям демократии. У них есть возможность обогащаться только в периоды больших начинаний, и тогда их преследует зависть менее преуспевающих коллег. Ипполит Серес предвидел большие начинания в ближайшем будущем, он ведь принадлежал к тем, кто их подготавливал; а пока он с достоинством переносил бедность, тем более что Эвелина, разделяя ее с ним, страдала меньше, чем можно было ожидать. Она поддерживала постоянные связи с отцом Дуйяром и посещала часовню св. Орброзы, где встречалась с солидным обществом и с людьми, могущими в случае надобности оказать ей поддержку. Она умела их выбирать и награждала доверием только тех, кто его заслуживал. Она стала более опытной после автомобильных прогулок с виконтом Клена, а главное, поняла, какие преимущества связаны с положением замужней женщины.

Сначала депутата тревожила ее набожность, которую высмеивали демагогические газетки; но вскоре он успокоился, наблюдая вокруг, сколь охотно вожди демократии сближаются с аристократией и церковью.

Это был один из тех периодов (кстати сказать, довольно частых), когда правящие круги вдруг спохватываются, что зашли слишком далеко. Ипполит Серес в известной мере разделял такое мнение. Он признавал не политику преследований, а политику терпимости. Основы ее были заложены в его речи о подготовке реформ. Министерство считалось слишком левым; поддерживая законопроекты, признанные опасными для капитала, оно настроило против себя крупные финансовые компании, а тем самым — и газеты

всех направлений. Видя растущую опасность, правительство отказалось от своих проектов, от своей программы, от своих взглядов, но — слишком поздно: уже был подготовлен новый состав кабинета; после одного коварного вопроса, заданного Полем Визиром и тут же превращенного в интерпелляцию, а также прекрасной речи Ипполита Сереса оно пало.

Составление нового кабинета президент республики поручил все тому же Полю Визиру, который, несмотря на свой возраст, успел уже дважды быть министром, — очаровательному молодому человеку, завсегдатаю танцевальных зал и театральных кулис, очень артистичному, очень светскому и тонкому, поразительно умному и деятельному. Поль Визир составил правительство, рассчитанное на то, чтобы сделать передышку и успокоить встревоженную общественность, — вот почему один из портфелей был предложен Ипполиту Сересу.

Новые министры, принадлежа ко всем группам большинства, представляли самые разнообразные и самые противоположные точки зрения, но все были умеренными и безусловно консервативными [1]. Из старого кабинета остался только министр иностранных дел, чернявый человечек по фамилии Кромбиль, работавший четырнадцать часов в сутки в упоении великими замыслами, молча, таясь даже от собственных дипломатических агентов, ужасно беспокойный, но тщетно пытающийся внушить свое беспокойство другим, ибо народы невероятно беспечны, да и правители не менее того.

Общественные работы отдали в ведение Фортюне Лаперсона, социалиста. Тогда в политической жизни существовало правило, одно из самых незыблемых, самых строгих, самых суровых и, смею сказать, самых

---

[1] Так как это правительство оказало значительное воздействие на судьбы страны и всего мира, считаем своим долгом привести здесь его состав: председатель Совета министров и министр внутренних дел — Поль Визир; министр юстиции — Пьер Бук; * иностранных дел — Виктор Кромбиль; финансов — Террасон; народного просвещения — Лабийет; торговли, почт и телеграфов — Ипполит Серес; земледелия — Олак; общественных работ — Лаперсон; военный министр — генерал Дебоннер; * морской — адмирал Вивье де Мюрен *. (*Прим. автора.*).

ужасных и жестоких, — включать в состав любого правительства, призванного бороться с социализмом, члена социалистической партии, чтобы враги богатства и собственности испытывали горький стыд, когда на них обрушивался их же собрат, и не могли сойтись в своем кругу, не ища глазами, кто же завтра покарает их. Только при полном незнании сердца человеческого можно думать, что среди социалистов было трудно найти пригодного для подобной деятельности. Гражданин Фортюне Лаперсон вступил в кабинет Визира без какого-либо понуждения, по своей воле; и его одобряли даже иные из прежних друзей — так велико было преклонение пингвинов перед всякой властью!

Генерал Дебоннер получил портфель военного министра; он считался одним из самых способных генералов пингвинской армии, но подпал под влияние особы сомнительной нравственности, баронессы де Бильдерман, уже вступившей в возраст интриг, однако еще красивой и состоявшей на жалованье у соседней вражеской державы.

Новый морской министр, почтенный адмирал Вивье де Мюрен, по всеобщему признанию — превосходный знаток морского дела, отличался набожностью, которую следовало бы счесть чрезмерной для антиклерикального правительства, если бы республика, отделившая церковь от государства, не признала религию все же полезной для мореплавания. По указанию преподобного отца Дуйяра, своего духовного руководителя, почтенный адмирал Вивье де Мюрен отдал экипажи военных кораблей под покровительство блаженной Орброзы и заказал христианским бардам во славу алькской девственницы песнопения, заменившие для военно-морского флота национальный гимн.

Правительство Визира открыто объявило себя антиклерикальным, но уважающим религиозные убеждения; оно поставило себе задачей благоразумные реформы. Поль Визир и его сотрудники стремились к реформам, и если воздерживались от предложения реформ, то единственно для того, чтобы не скомпрометировать их: настоящие политики, они знали, что стоит только предложить реформу, как она уже оказывается

скомпрометированной. Это правительство было встречено с одобрением, успокоило порядочных людей и вызвало повышение ренты.

Оно сообщило о постройке четырех броненосцев, о преследованиях, предпринимаемых против социалистов, и обнаружило непоколебимое намерение отвергнуть введение какого-либо подоходного налога, как неизбежно связанного с сыском. Особенно благожелательно встретила большая пресса назначение Террасона министром финансов. Уже не впервые занимавший министерский пост и прославившийся своими смелыми биржевыми спекуляциями, Террасон способен был оправдать все надежды финансистов своим приходом к власти, предвещая большое оживление в делах. Вскоре предстояло набухнуть млеком богатства всем трем сосцам современного государства: массовой скупке товаров, ажиотажу и мошеннической спекуляции. Уже поговаривали о дальних военных экспедициях, о приобретении колоний, а самые смелые выдвигали в газетах проект военного и финансового протектората над Нигритией *. Не успев еще проявить себя в полной мере, Ипполит Серес, однако, рассматривался уже как человек ценный; деловые круги питали к нему уважение. Его приветствовали со всех сторон за разрыв с крайними партиями, с опасными людьми, за его чувство ответственности перед государством.

Госпожа Серес одна блистала среди всех министерских дам. Кромбиль был старый холостяк; Поль Визир женился на богатой, очень достойной девушке из семьи крупных фабрикантов северной провинции, мадемуазель Бланпиньон, благовоспитанной, всеми уважаемой, скромной, вечно больной и по состоянию здоровья почти все время живущей у своей матери, далеко от столицы. Остальные министерши не были рождены чаровать взоры; заметка о том, что на бал во дворце президента г-жа Лабийет явилась с райскими птичками в волосах, вызывала улыбку. Супруга адмирала Вивье де Мюрена, из хорошей семьи, была поперек себя толще, багрова лицом, горласта, как уличный разносчик, и сама ходила за покупками на рынок. Генеральша Дебоннер, длинная, сухопарая, прыщеватая, ненасытная

любительница молодых офицеров, погрязшая в пороках и смертных грехах, пользовалась уважением только из-за своего безобразия и наглости.

Госпожа Серес была украшением министерства и его гордостью. Молодая, красивая, безупречной репутации, она пленяла в равной степени и светское общество, и толпу, сочетая элегантный туалет с ясной улыбкой.

Ее салон вскоре был заполонен крупными еврейскими финансистами. Она давала самые изысканные garden parties [1] во всей республике. Газеты помещали описания ее туалетов, а знаменитые портные не брали с нее денег. Она ходила в церковь, защищала часовню св. Орброзы от общей недоброжелательности и поддерживала в сердце аристократов надежду на новый конкордат.

Золотые волосы, голубовато-серые глаза, гибкая, тонкая фигура, округлый стан — все в вей было красиво: она пользовалась превосходной репутацией — и сохранила бы ее, даже застигнутая врасплох во время любовного свидания: так была она ловка и спокойна, так владела собою.

Сессия закончилась победой кабинета, отвергшего, под единодушные рукоплескания почти всей палаты, проект «сыщицкого» налога, и триумфом г-жи Серес, устроившей у себя подряд три торжественных приема в честь трех приезжих королей.

Глава VI

Диван фаворитки

Во время каникул председатель Совета министров пригласил супругов Серес провести недельки две в горах, в снятом им на лето замке, где он жил один. Здоровье г-жи Визир, поистине плачевное, не позволило ей поехать вместе с мужем; она осталась у родителей, в глуши северной провинции.

---

[1] Приемы гостей в саду (*англ.*).

Замок некогда принадлежал любовнице одного из последних королей Альки; в гостиной сохранялась прежняя мебель и, как в былые времена, стоял диван фаворитки. Окрестности были очаровательны; красивая голубая речка Эзель протекала у подножия холма, на котором возвышался замок. Ипполит Серес любил удить рыбу: за этим однообразным занятием ему приходили в голову его лучшие парламентские комбинации и самые счастливые ораторские находки. Эзель кишела форелью, — он ловил ее с утра до ночи, сидя в лодке, любезно предоставленной ему председателем Совета министров.

А тем временем Эвелина и Поль Визир иной раз прогуливались по саду, иной раз болтали в гостиной. Эвелина, отдавая себе отчет в том, насколько он обаятелен с женской точки зрения, до тех пор кокетничала с ним лишь слегка, от случая к случаю, без особых намерений и определенной цели. Он был знаток и видел, что она красива; палата и Опера не оставляли ему свободного времени, но здесь, в маленьком замке, голубовато-серые глаза и точеный стан Эвелины приобретали ценность в его глазах. Как-то раз, пока Ипполит Серес ловил в речке рыбу, Поль Визир усадил Эвелину на диван фаворитки рядом с собою. В просветы меж занавесей, служивших защитой от жары и яркого солнечного света, длинные золотые лучи ударяли в грудь Эвелины, как стрелы притаившегося Амура. Под белым муслином обрисовывалась вся юная грация ее форм, удлиненных и вместе с тем округлых. От бархатистой, слегка влажной кожи исходил запах свежего сена. Поль Визир поступил, как требовали обстоятельства; она охотно подчинилась игре случая и светских отношений. Она считала, что все это пустяки или нечто не столь уж значительное, — но она ошиблась.

«На городской площади, с солнечной стороны, — говорится в знаменитой немецкой балладе, — на стене, увитой глицинией, висел хорошенький ящик для писем, называвшийся Почта, синий, как василек. Почта всегда была весела и спокойна.

Каждый день к Почте подходили, стуча грубыми башмаками, мелкие торговцы, богатые фермеры, бюр-

геры, сборщик налогов, жандармы и опускали в нее деловые письма, счета, вызовы в суд, извещения по налоговым сборам, судебные прошения и повестки о призыве на военную службу; Почта оставалась веселой и спокойной.

Радостные или озабоченные, шли к ней поденщики и батраки, служанки и кормилицы, счетоводы, канцелярские писцы, хозяйки с младенцами на руках; они опускали туда сообщения о крестинах, свадьбах и похоронах, письма женихов и невест, письма мужей и жен, матерей — к сыновьям и сыновей — к матерям. Почта оставалась веселой и спокойной.

В сумерки пробирались к ней украдкой юноши и девушки и опускали в нее любовные письма, то с расплывшимися от слез чернилами, то — с кружочком в том месте, куда пришелся поцелуй, и все чрезвычайно длинные; она оставалась веселой и спокойной.

Богатые коммерсанты приходили из предосторожности сами, к моменту выемки писем, и опускали конверты со вложением, за пятью красными печатями, набитые банковыми билетами или чеками на крупные финансовые конторы Империи; она оставалась веселой и спокойной.

Но однажды Гаспар, которого она никогда прежде не видела, о котором и знать не знала, пришел опустить какую-то записку, сложенную в виде маленькой шапочки, — вот все, что о ней известно; и тут хорошенькая Почта упала в истоме. С тех пор она навсегда покинула свое привычное место; она бегает по улицам, по лесам и лугам, обвитая плющом, в венке из роз. Вечно носится по горам и долам; полевой сторож застиг ее както в поле, среди колосьев, в объятиях Гаспара, которого она целовала в губы».

Поль Визир уже овладел собой, а Эвелина еще лежала на диване фаворитки, полная сладостного изумления.

Преподобный отец Дуийяр, тонкий знаток богословской этики, сохранивший твердые принципы и во времена упадка церкви, был совершенно прав, утверждая согласно учению святых отцов, что если женщина совершает тяжкий грех, отдаваясь за деньги, то еще

более тяжкий грех совершает она, отдаваясь даром, — ибо в первом случае она поступает так ради средств к существованию и заслуживает порою если не оправдания, то прощения, оставаясь все же достойной милосердия божия, поелику бог ведь запрещает самоубийство и не хочет, чтобы его создания, эти храмы господни, сами себя уничтожали; к тому же, отдаваясь для того, чтобы поддержать свою жизнь, она пребывает смиренной и не получает удовольствия, что облегчает ее грех. Но женщина, отдающаяся даром, грешит, наслаждаясь, ликует в падении своем. От гордыни и сладострастия, коими она усугубляет свой грех, еще увеличивается его гибельная тяжесть.

Пример г-жи Серес должен был показать всю глубину этих нравственных истин. Она обнаружила в себе чувственность; до тех пор она и не подозревала о ней; понадобился только один миг, чтобы заставить ее сделать это открытие, изменить весь ее душевный склад, перевернуть всю ее жизнь. На первых порах было так чудесно научиться познавать себя. «γνῶθι σεαυτόν»[1] античной философии — не такое предписание, которое было бы приятно осуществлять в области духовной, ибо познание собственной души никого не может особенно радовать; совсем иное дело применение его в области жизни телесной, где нам могут открыться источники наслаждений. Эвелина сразу воспылала к своему наставнику признательностью, равной его благодеянию, и вообразила, что тот, кто раскрыл перед ней бездны райского блаженства, один владеет ключом от них. Не ошибалась ли она и не могла ли найти еще других обладателей золотого ключа? Трудно сказать; но когда все эти факты сделались достоянием гласности, что, как мы увидим, не замедлило произойти, профессор Гэддок рассмотрел их в одном специальном научном журнале с экспериментальной точки зрения и пришел к выводу, что для г-жи С. шансы найти вполне эквивалентную замену г-на В. равнялись 3,05 на 975 008 случаев. Иначе говоря, такой замены не нашлось бы. По-видимому,

---

[1] «Познай самого себя» (*греч.*).

Эвелина инстинктивно чувствовала это, потому что привязалась к г-ну Визиру до умопомрачения.

Я изложил эти факты с теми подробностями, которые должны, мне кажется, заинтересовать философические умы, склонные к раздумиям. Диван фаворитки достоин войти в историю; на нем решались судьбы великого народа. Да что я! На нем совершилось деяние, отголоскам коего предстояло распространиться на соседние государства, дружественные и враждебные, и даже на все человечество. События подобного рода, при всей своей бесконечной значительности, слишком часто ускользают от внимания тех людей поверхностного ума и неглубоких чувств, которые необдуманно берут на себя смелость писать историю. Потому-то нам остаются неизвестны тайные пружины событий; падение империй, смены власти удивляют нас и кажутся нам непонятными только потому, что мы не знаем какой-нибудь незаметной мелочи, упустили какую-нибудь потаенную крошечную деталь, которая, будучи приведена в движение, все сокрушила, все опрокинула. Автору этой большой исторической работы лучше, чем кому-либо, известны все ее недостатки и упущения, но он во всяком случае может заверить, что всегда соблюдал то чувство меры, ту серьезность и строгость, которых требует повествование о событиях государственной важности, и ни в чем не нарушал серьезного тона, приличествующего рассказу о человеческих деяниях.

Глава VII

Первые последствия

Когда Эвелина призналась Полю Визиру, что ни разу в жизни не испытывала ничего подобного, он ей не поверил. Хорошо изучив женщин, он знал, что они часто говорят это мужчинам, чтобы еще больше разжечь их любовь. Таким образом, его опытность, как часто бывает, ввела его в заблуждение. Недоверчивый, но все же польщенный, он вскоре почувствовал, что увлечен ею, и даже больше, чем увлечен. Сначала такое состояние

оказало благотворное действие на его умственные способности; в главном городе своего округа Визир произнес изящную, блестящую, исключительно удачную речь, признанную шедевром его ораторского искусства.

Возобновление сессии прошло тихо и мирно; лишь кое-какие одинокие недоброжелатели, кое-какие пока еще не осмелевшие честолюбцы пробовали поднять голову. Но достаточно было улыбки председателя Совета министров, чтобы развеять эти призраки. Визир и Эвелина виделись по два раза в день, а в промежутках посылали друг другу записки. Он был опытен по части любовных связей, был ловок и умел быть скрытным. Но Эвелина проявляла безумную неосторожность; она подчеркивала их близость при встрече с ним в гостиных, в театре, в палате депутатов, в посольствах. Все в вей говорило о ее любви — лицо, движения тела, влажное сияние глаз, томная улыбка губ, трепещущая грудь, мягкие линии бедер, какая-то новая особенность ее красоты — что-то нервное, вызывающее, бесшабашное. Вскоре вся страна знала об их связи; иностранные дворы были информированы; только президент республики да муж Эвелины все еще ни о чем не подозревали. Президент узнал об этом в деревне, из полицейского донесения, бог весть как очутившегося у него в чемодане.

Ипполит Серес, не отличаясь ни чуткостью, ни проницательностью, замечал, правда, что в семейной жизни его что-то изменилось. Эвелина, еще недавно интересовавшаяся его делами и выказывавшая если не настоящую нежность, то по крайней мере дружеские чувства, с некоторых пор стала проявлять к нему полное безразличие и даже отвращение. Она и прежде отлучалась из дому, долго просиживала в Обществе св. Орброзы; но теперь, уходя с самого утра, она не бывала дома весь день и только в девять часов вечера, с лицом сомнамбулы, садилась за стол. Муж находил это просто нелепым; и все же он мог бы остаться в неведении, — полное незнание женщин, наивная вера в себя и в свою удачливость помешали бы ему открыть истину, если бы любовники сами, так сказать, не натолкнули его.

Когда Поль Визир приходил к Эвелине домой и заставал ее одну, они, целуясь, говорили друг другу: «Не

здесь! Не здесь!» — и тотчас переходили на подчеркнуто сдержанный тон. Это было для них правилом, не допускающим отступлений. Но однажды Поль Визир, как было условлено с его коллегой Сересом, зашел к нему домой поговорить о делах; вышла Эвелина — министр почт и телеграфов задержался «в недрах» какой-то комиссии.

— Не здесь! — с улыбкой сказали друг другу любовники.

Они говорили это, приблизив губы к губам, и слова сопровождались поцелуями, тесными объятиями, коленопреклонениями. Они все еще продолжали такого рода беседу, когда в гостиную вошел Ипполит Серес.

Поль Визир не потерял присутствия духа: он заявил г-же Серес, что при всем старании никак не может вынуть у нее из глаза соринку. С помощью такого приема он не надеялся ввести мужа в обман, но получил возможность благопристойно удалиться.

Ипполит Серес был ошеломлен. Поведение Эвелины казалось ему необъяснимым. Он спрашивал ее, чем оно вызвано.

— Но почему? Почему? — повторял он без конца. — Почему?..

Она все отрицала, не рассчитывая, разумеется, что он ей поверит, — ведь он застал их, — но ради удобства, из чувства приличия и для того, чтобы уклониться от неприятных объяснений.

Ипполит Серес испытывал все муки ревности. Он в этом сам себе признавался; он говорил себе: «Я — сильный человек; я облечен в панцирь; но под ним — рана, в самом сердце».

И печально глядя на жену, блистающую сладострастной и грешной красотою, он говорил ей:

— Уж с этим ты не должна была!..

И он был прав. Эвелина не должна была заводить любовника из среды правительства.

Он так страдал, что схватил револьвер и крикнул: «Я убью его!» Но тут же подумал, что министру почт и телеграфов не пристало убивать председателя Совета министров, и спрятал револьвер в ночной столик.

Проходила неделя за неделей, а страдания его не утихали. Каждое утро он надевал поверх своей раны панцирь сильного человека и пытался найти забвение в работе и почестях, но все было напрасно. Каждое воскресенье он выступал на торжествах по случаю открытия памятников в виде бюстов или статуй, по случаю таких нововведений, как фонтаны, артезианские колодцы, больницы, диспансеры, железные дороги, каналы, крытые рынки, канализационные спуски, триумфальные арки, базарные площади и бойни, — и произносил пламенные речи. В жгучей жажде деятельности он читал и читал деловые бумаги, проглатывал их целыми кипами; за какую-нибудь неделю он четырнадцать раз менял цвет почтовых марок. И все же вновь и вновь поднималась в нем горькая и яростная злоба, сводившая его с ума. Случалось, он на целые дни терял способность соображать. Служи он в каком-нибудь частном учреждении, там давно бы это заметили, но гораздо труднее распознать безумие или бред у вершителей государственных дел. Как раз в это время служащие разных ведомств создавали ассоциации и союзы, дойдя в своем возбуждении до того, что напугали парламент и общественное мнение. Особенным синдикалистским пылом отличались почтальоны.

Ипполит Серес циркулярно объявил о полной законности их действий. А на другой день выпустил новый циркуляр, которым всякие объединения государственных служащих воспрещались как незаконные. Он уволил сто восемьдесят почтальонов, потом снова их зачислил, потом объявил им выговор, потом наградил их. В Совете министров он каждую минуту готов был вскипеть — разве только присутствие главы государства удерживало его в границах благопристойности; и, не осмеливаясь схватить за горло своего соперника, он, чтоб отвести душу, поносил главу армии, всеми уважаемого генерала Дебоннера, который, впрочем, ничего не слышал, так как был туг на ухо, да к тому же вечно занят сочинением стихов для баронессы де Бильдерман. Ипполит Серес выступал без разбора против всего, что ни предложил бы председатель Совета министров. Короче говоря, он совсем сошел с ума. Катастрофа,

постигшая его умственные способности, пощадила Сереса лишь в одном: он сохранил парламентское чутье, уменье ладить с большинством палаты, тонкое знание группировок, точность прицела.

Глава VIII

Новые последствия

Сессия спокойно подходила к концу, и правительство не обнаружило ничего угрожающего на скамьях парламентского большинства. Однако по некоторым статьям влиятельных умеренных газет видно было, что настойчивость еврейских и христианских финансистов возрастает с каждым днем, что банковские патриоты требуют цивилизовать Нигритию с помощью военной силы и что стальной трест, томимый пылким желанием охранить наши морские границы и защитить наши колонии, исступленно добивается постройки все новых и новых броненосцев. Распространялись слухи о войне, но такого рода слухи возникали каждый год с регулярностью пассатных ветров; серьезная публика не придавала им значения, и правительство могло предоставить им самим постепенно заглохнуть, при условии, если они не начнут усиливаться и проникать повсюду, вызывая смятение в стране. Финансисты хотели только колониальных войн; народ не хотел никаких войн; ему нравилось гордое и даже вызывающее поведение правительства; но при малейшем признаке назревающего европейского конфликта народное возмущение передалось бы палате. Поль Визир был совершенно спокоен; он считал, что положение в Европе не давало повода тревожиться. Его раздражало только маниакальное молчание министра иностранных дел. Этот гном являлся в Совет министров с портфелем больше его самого, битком набитым бумагами, не говорил ни слова, отказывался отвечать на какие бы то ни было вопросы, даже на заданные самим уважаемым президентом республики; утомленный упорными трудами, он пользовался случаем вздремнуть в своем кресле, и только

его черный хохолок виднелся над зеленым сукном стола. Между тем Ипполит Серес снова становился сильным человеком; вместе со своим коллегой Лаперсоном он часто кутил в обществе актрис; по ночам можно было нередко видеть, как они оба, выделяясь высоким ростом и новыми цилиндрами среди компании женщин с накинутыми на голошу шалями, входили в модные кабачки, — и вскоре они сделались популярнейшими личностями на бульварах. Они развлекались, но страдали. Фортюне Лаперсон тоже скрывал под панцирем рану: его жена, молоденькая модистка, которую он отбил у одного маркиза, ушла к шоферу. Лаперсон по-прежнему любил ее; он никак не мог забыть свою утрату, и часто два министра, где-нибудь в отдельном кабинете ресторана, под смех женщин, высасывающих клешни омара, обменивались печальным взглядом и отирали слезы.

Ипполит Серес, хотя и получил удар в самое сердце, не признавал себя побежденным. Он поклялся отомстить.

Супруга Поля Визира, вынужденная из-за плачевного состояния здоровья оставаться пока у родителей, в глуши пасмурной провинции, получила анонимное письмо, где сообщалось, что г-н Поль Визир, который не имел ни гроша, когда на ней женился, теперь растрачивает приданое г-жи Визир, — да, да ее приданое! — с одной замужней женщиной, некоей Э... С... (расшифруйте сами!), дарит этой женщине автомобили в тридцать тысяч франков, жемчужные колье в восемьдесят тысяч и быстро идет к полному разорению, позору и гибели. Г-жа Визир прочла, истерически зарыдала и протянула письмо отцу.

— Я надеру ему уши, муженьку твоему, — оказал г-н Бланпиньон. — Если дать этому мальчишке волю, он сделает тебя нищей. Пускай он председатель Совета министров, я его не боюсь.

Прямо с поезда г-н Бланпиньон отправился в министерство внутренних дел и был сейчас же принят. Разъяренный, вошел он в кабинет председателя Совета министров.

— Мне нужно с вами поговорить, милостивый государь! — оказал он, воинственно взмахнув анонимным письмом.

Поль Визир встретил его радостной улыбкой.

— Отец, дорогой мой, как хорошо, что вы приехали! А я только что собирался вам писать... Да, да, хотел вам сообщить, что вы награждены офицерским орденом Почетного легиона. Я сегодня утром послал бумаги на подпись.

Господин Бланпиньон горячо поблагодарил зятя и кинул анонимное письмо в огонь.

Вернувшись к себе в провинцию, он застал дочь в раздражении и тоске.

— Ну, что ж, видел твоего мужа. Очаровательный малый! Сама виновата, не умеешь держать его в руках.

Вскоре Ипполит Серес узнал из какой-то грязной газетенки (ведь только из газет и узнают министры о государственных делах), что председатель Совета министров каждый вечер обедает у мадемуазель Лизианы из «Фоли драматик», по-видимому не на шутку подчинившей его своим чарам. После этого Серес стал со злорадством наблюдать за женой. По вечерам она возвращалась с большим опозданием — обедать или переодеться, чтобы ехать в гости, — и на лице ее было выражение счастливой усталости и тихой удовлетворенности.

Решив, что она еще ничего не знает, он стал посылать ей анонимные сообщения. Она читала их за столом, в его присутствии, все такая же радостная и томная.

Тогда Серес подумал, что она, видимо, не доверяет голословным предостережениям и, чтобы встревожить ее, надо дать ей прямые доказательства, предоставить случай самой убедиться в неверности и измене. У него при министерстве состояли надежные агенты для секретных расследований в интересах государственной обороны, как раз в это время следившие за шпионами, завербованными соседней вражеской державой в самом министерстве почт и телеграфов. Г-н Серес приказал им приостановить слежку за

шпионами и разузнать, когда и как министр внутренних дел встречается с мадемуазель Лизианой. Агенты добросовестно выполнили поручение и сообщили министру, что они несколько раз заставали г-на председателя Совета министров с женщиной, но что это была не Лизиана. Ипполит Серес не стал расспрашивать подробнее. Он поступил правильно: любовь Поля Визира к Лизиане была выдумана самим Полем Визиром, чтобы создать алиби и успокоить Эвелину, тяготившуюся теперь своею славой и жаждавшую укрыться в тени.

За ними следили не только филеры министерства почт и телеграфов; за ними следили и агенты префекта полиции, и даже те агенты министерства внутренних дел, которые оспаривали друг у друга право их охранять, и сотрудники многочисленных роялистских, империалистских и клерикалистских агентур, и сотрудники десятка шантажных предприятий, и сыщики-любители, и множество репортеров, и толпы фотографов, так что всюду, где бы Поль Визир и Эвелина ни искали приюта для своей кочующей любви — в больших отелях и маленьких гостиницах, в городе и за городом, в меблированных комнатах и замках, в музеях, дворцах и притонах, — всюду появлялись соглядатаи, подстерегая их на улице, в окрестных домах, на деревьях, на оградах и на ступеньках, на площадках лестниц и на крышах, в смежных квартирах и в каминах. Министр и его подруга с ужасом замечали, что в их спальне были везде пробуравлены отверстия в дверях и ставнях, просверлены дыры в стенах. Уже кто-то ухитрился, за неимением лучшего, сфотографировать г-жу Серес в одной рубашке, занятую застегиванием ботинок.

Поль Визир, обозленный, выведенный из терпения, начинал уже изменять своему жизнерадостному, приятному характеру; он приходил на заседания Совета министров взбешенный и набрасывался все на того же генерала Дебоннера, столь храброго в бою, но допустившего в армии полный упадок дисциплины; он осыпал сарказмами все того же адмирала — уважаемого всеми Вивье де Мюрена, у которого корабли шли ко дну без всякой видимой причины.

Фортюне Лаперсон слушал его, выпучив глаза в насмешливом удивлении, и бормотал сквозь зубы:

— Мало ему, что он отнял у Ипполита Сереса жену, — теперь перенимает и его стиль!

Оскорбительные выходки Сереса, ставшие известными из-за болтливости министров и жалоб обоих старых сановников, грозивших швырнуть свои портфели в лицо этому хлыщу, но не приводивших свои угрозы в исполнение, ничуть не повредили счастливому главе кабинета министров, а напротив — произвели самое лучшее впечатление на парламент и публику, как доказательство горячих забот о национальной армии и флоте. Председатель Совета министров вызывал всеобщее одобрение.

Поздравлявшим его депутатским группам и сановникам он отвечал твердо и просто:

— Таковы мои принципы.

И посадил в тюрьму семь-восемь социалистов. Когда сессия закрылась, Поль Визир, донельзя усталый, поехал на воды. Ипполит Серес отказался оставить свое министерство, где развивал шумную деятельность профессиональный союз телефонисток. Он принял против них неслыханно суровые меры, так как сделался женоненавистником. По воскресеньям он вместе со своим коллегой Лаперсоном ездил в пригород и удил там рыбу, не снимая цилиндра, с которым не разлучался после того, как стал министром. И оба, забывая о поплавках, жаловались друг другу на женское непостоянство и делились своим горем.

Ипполит по-прежнему любил Эвелину и по-прежнему страдал. Но в сердце его закралась надежда. Он разлучил на некоторое время Эвелину с любовником и, рассчитывая вновь завоевать ее, направил на это все усилия, пустил в ход всю свою ловкость, выказал себя искренним, предупредительным, нежным, проданным, даже сдержанным. Само сердце подсказывало ему эти тонкости в обращении. Он находил для изменницы самые очаровательные и самые трогательные слова; чтобы ее смягчить, поведал ей обо всех своих страданиях.

Стягивая на животе пояс брюк, он говорил:

— Смотри, как я похудел.

Он обещал ей все, что, по его мнению, может нравиться женщине, — поездки за город, шляпки, драгоценности.

Иногда ему казалось, что он вызвал в ней наконец чувство жалости. С ее лица уже сошло дерзко-счастливое выражение. Печаль, вызванная разлукой с Полем, придавала ей некоторую мягкость. Но стоило мужу сделать хотя бы движение, чтобы завоевать ее вновь, — и она отталкивала его, неприступная, мрачная, защищенная своим грехом, как золотым поясом.

Он не переставал умолять ее, униженный и жалкий.

Однажды он явился к Лаперсону и сказал ему со слезами на глазах:

— Поговори хоть ты с нею!

Лаперсон уклонился, считая свое вмешательство бесполезным, но дал другу кое-какие советы.

— Покажи, что ты ею пренебрегаешь, что полюбил другую, и она к тебе вернется.

Решив испытать этот способ, Ипполит пустил через газеты слух, будто он пропадает у мадемуазель Гино, актрисы Гранд-Опера. Он стал поздно возвращаться, а то и совсем не ночевал дома; в присутствии Эвелины притворялся, будто не может сдержать тайную радость; за обедом вытаскивал из кармана раздушенное письмо и читал его с напускным наслаждением, выпячивая губы, словно они тянулись к другим, невидимым губам. Все напрасно. Эвелина даже не замечала его уловок. Бесчувственная ко всему окружающему, она выходила из летаргического состояния только затем, чтобы попросить у мужа несколько луидоров, а если он отказывал, бросала на него взгляд, полный отвращения, готовая его же упрекать за позор, которым сама покрыла его перед всем светом. Полюбив, она стала много тратить на свои туалеты; ей нужны были деньги, а получить их она могла только у мужа: она хранила верность.

Он потерял терпение, был вне себя, угрожал ей револьвером. Как-то он сказал при ней г-же Кларанс:

— Поздравляю, сударыня: вы воспитали свою дочь, как продажную девку.

— Мама, возьми меня отсюда! — крикнула Эвелина. — Я разведусь с ним.

Он любил ее еще безумней, чем прежде.

Свирепея от ревности, подозревая, и не без оснований, что она посылает и получает письма, он дал себе клятву, что станет их перехватывать, восстановил у себя на почте черный кабинет, внес беспорядок в частную корреспонденцию, задерживая биржевые ордера, расстраивая любовные свидания, вызывая банкротства, разлучая влюбленных, толкая людей на самоубийства. Независимая пресса подхватила жалобы публики и с негодованием к ним присоединилась. Чтобы оправдать эти незаконные меры, правительственные газеты стали глухо намекать на какой-то заговор, на угрожающую государству опасность, на тайно подготовляемый монархический переворот. Гораздо менее осведомленные листки давали более подробные сведения, сообщали о захвате пятидесяти тысяч винтовок и о высадке принца Крюшо. В стране росло возбуждение. Органы республиканской печати требовали немедленного созыва обеих палат. Тогда Поль Визир вернулся в Париж, собрал коллег, устроил чрезвычайное совещание Совета министров и через свои агентства распространил сведения о том, что против системы народного представительства действительно существует заговор, что председатель Совета министров держит все его нити в своих руках и что уже началось судебное следствие.

Он тотчас отдал распоряжение об аресте тридцати социалистов, а пока вся страна восторженно славословила его, называя своим спасителем, он, обманув бдительность шестисот сыщиков, тайком отвез Эвелину в маленькую гостиницу около Северного вокзала, где они оставались до самой ночи. После их отъезда горничная, меняя постельное белье, заметила семь маленьких крестиков, нацарапанных дамскою шпилькой на стене алькова, у изголовья кровати.

Вот все, чего достиг Ипполит Серес ценою всех усилий.

Глава IX
Окончательные последствия

Зависть — добродетель демократических государств, оберегающая их от тиранов. Депутаты начинали завидовать золотому ключу председателя Совета министров. Прошел уже целый год с тех пор, как всему свету стало известно, что он покорил прекрасную г-жу Серес; даже провинция, куда новости и моды проникают лишь после того, как земля сделает полный оборот вокруг солнца, тоже узнала наконец о незаконной любви, проникшей в Совет министров. Провинция блюдет строгую нравственность; женщины там более добродетельны, чем в столице. Это объясняют разными причинами: воспитанием, влиянием примеров, простотою жизненного уклада. Профессор Гэддок утверждает, будто добродетель провинциалок всецело зависит от того, что они носят обувь на низких каблуках. «Женщина только тогда вызывает в цивилизованном мужчине подлинно эротическое чувство, — писал он в научной статье, на страницах «Антропологического обозрения», — когда ступня ее образует с поверхностью земли угол в двадцать пять градусов. Если угол этот увеличивается до тридцати пяти градусов, эротическое воздействие данной особи приобретает острый характер. В самом деле, при вертикальном положении корпуса от ступни зависит соответственное расположение его частей и особенно таза, равно как живая взаимосвязь между поясницей и скоплением мышц в задней верхней части ляжек. А так как всякий цивилизованный мужчина подвержен извращенной наклонности к деторождению и связывает мысль о сладострастии (по крайней мере при вертикальном положении особи) только с женскими формами, расположенными в том именно соотношении объемов и в той уравновешенности, которые определяются вышеуказанным наклоном стопы, — то, следовательно, провинциальные дамы, носящие обувь на низких каблуках, вызывают слабое желание (по крайней мере в вертикальном положении) и без труда сохраняют добродетель». Эти выводы не получили общего признания. В противовес им указывали

на то, что и в столице, под влиянием английской и американской моды, распространилась обувь на низких каблуках, не вызывая, однако, тех последствий, о которых говорил ученый профессор; что, впрочем, и разница, усматриваемая между столичными нравами и провинциальными, имеет, быть может, иллюзорный характер, а если и существует, так, вероятно, объясняется тем, что большие города предоставляют для любви всяческие возможности и удобства, которых нет в маленьких городах. Как бы там ни было, но провинция стала осуждать председателя Совета министров, обвиняя его в безнравственности. Это не внушало особенной тревоги, но, быть может, только до поры до времени.

Пока опасности не было нигде — и она была повсюду. Парламентское большинство сохраняло устойчивость, но лидеры становились требовательными и угрюмыми. Быть может, Ипполит Серес никогда не решился бы пожертвовать своими интересами ради мести.

Но, рассудив, что теперь можно без ущерба для собственного успеха, исподтишка подорвать успех Поля Визира, он начал изощряться в осторожной и хитрой подготовке всяких трудностей и ловушек для главы правительства. Далеко уступая своему сопернику в отношении таланта, образования и авторитета, он значительно превосходил его в искусстве кулуарных интриг. Именно его уклончивой позиции наиболее проницательные парламентские деятели приписывали ослабление большинства недавно обозначившееся. На заседаниях комиссий он проявлял намеренную неосторожность, благосклонно принимая требования об отпуске кредитов, так как он прекрасно знал, что председатель Совета министров не может скрепить их своей подписью. Однажды его тонко рассчитанная оплошность вызвала резкий и бурный конфликт между министром внутренних дел и докладчиком по бюджету этого ведомства. Тут Серес испугался и решил сделать передышку. Свалить правительство слишком рано было бы опасно для него самого. Его изобретательная ненависть нашла для себя окольные пути. У Поля Визира была бедная

родственница, легкомысленная особа, носившая его фамилию. Серес, очень кстати вспомнив о существовании девицы Селины Визир, помог ей выйти из безвестности, свел ее с мужчинами и женщинами сомнительного круга и устроил ей несколько ангажементов в кафешантаны. Вскоре, по его подсказке, она стала разыгрывать во всяких «Эльдорадо» пантомимы однополой любви, под свист и хохот публики. Как-то раз летней ночью в одном увеселительном заведении на Елисейских полях она исполняла перед возбужденной толпой непристойные танцы — под звуки бешеной музыки, которые доносились до сада, где президент республики давал праздник в честь каких-то королевских особ. Фамилия «Визир», связанная с этими непристойностями, испещряла все стены в городе, беспрестанно мелькала в газетах, разносилась на листках, украшенных вольными виньетками, по кофейням и публичным балам, сверкала огненными буквами на бульварах.

Председателю Совета министров никто не ставил в укор недостойное поведение его родственницы; но создавалось плохое мнение о его семье, и престиж государственного деятеля от этого несколько пострадал.

Вскоре Визира постигла новая неприятность. Однажды в палате, при обсуждении самого обычного вопроса, министр народного просвещения и вероисповеданий Лабийет, страдавший болезнью печени и доведенный до белого каления настойчивостью и интригами церковников, пригрозил закрыть часовню св. Орброзы и неуважительно отозвался о национальной святой. Все правые вскочили как один, выражая возмущение; левые с явной неохотой все же поддержали дерзкого министра. Руководители большинства не считали нужным нападать на национальный культ, приносивший стране тридцать миллионов годового дохода; самый умеренный из правых, г-н Бигур, сделал по поводу этого случая запрос, поставив правительство в опасное положение. К счастью, министр общественных работ Фортюне Лаперсон, — как всегда, в полном сознании обязанностей государственного деятеля, —

взял слово вместо отсутствующего председателя Совета министров и сгладил впечатление от неуклюжей, грубой выходки своего коллеги — министра вероисповеданий. Он поднялся на трибуну, чтобы засвидетельствовать уважение, питаемое правительством к небесной заступнице страны, утешительнице в стольких страданиях, перед которыми наука признает себя бессильной.

Когда Поль Визир, с трудом извлеченный из объятий Эвелины, появился наконец в палате, министерство было уже спасено; но председатель Совета министров счел необходимым сделать существенные уступки правящим классам; он внес в парламент предложение о постройке шести броненосцев и таким способом снова завоевал симпатии стального треста; он подтвердил, что рента не будет подлежать обложению налогами, и приказал арестовать восемнадцать социалистов.

Но его ожидали еще более грозные опасности. Канцлер соседней империи, выступая с речью о международных отношениях своего государя, между тонкими замечаниями и глубокими суждениями ввернул лукавый намек на любовные страсти, которыми вдохновляется политика некоей великой державы. Это едкое словцо, встреченное улыбками в имперском парламенте, не могло не вызвать раздражения недоверчиво настроенной республики и повлекло за собою болезненный взрыв ее национального самолюбия, причем вся вина пала на влюбленного министра; депутаты воспользовались самым пустым предлогом, чтобы выразить свое неудовольствие. По поводу одного смехотворного случая, — а именно, придравшись к тому, что жена какого-то помощника префекта танцевала на публичном балу в «Мулен-Руж», — палата вынудила правительство поставить вопрос о доверии, — правительство, правда, не пало, но удержалось лишь большинством нескольких голосов. По общему мнению, Поль Визир никогда еще не был таким слабым, таким вялым, таким поблекшим, как на этом плачевном заседании.

Он понял, что может удержаться лишь при помощи какого-нибудь крупного политического шага, и решил,

уступая требованиям крупных финансистов и крупных промышленников, отправить экспедиционный корпус в Нигритию, что обеспечивало объединениям капиталистов огромные лесные концессии, кредитным учреждениям — заем в восемь миллиардов, офицерам армии и флота — чины и ордена. Нашелся предлог — необходимость отомстить за какое-то оскорбление, взыскать какие-то долги. Шесть броненосцев, четырнадцать крейсеров и восемнадцать транспортов вошли в устье реки Гиппопотамов. Шестьсот пирог тщетно пытались воспрепятствовать высадке войск. Пушки адмирала Вивье де Мюрена произвели потрясающее впечатление на чернокожих, которые могли ответить только градом стрел и, несмотря на свою фанатическую храбрость, были разбиты. Эта победа вызвала в Пингвинии взрыв народного энтузиазма, еще разожженного газетами, состоящими у финансистов на содержании. Лишь несколько социалистов выступили с протестом против варварского предприятия, нечистоплотного и опасного; их немедленно арестовали.

В ту пору, когда правительство, пользовавшееся поддержкой богатых и полюбившееся также простому люду, казалось несокрушимым, один только Ипполит Серес, умудренный своей ненавистью, прозревал опасность и, поглядывая угрюмым злорадством на соперника, бормотал сквозь зубы: «С тобою покончено, пират!»

Пока страна упивалась славой и всякими аферами, соседняя империя протестовала против оккупирования Нигритии европейской державой, и протесты эти раздавались все чаще, становились все резче. Газеты республики, поглощенной всякими заботами, скрывали назревающую опасность; но Ипполит Серес прислушивался к тому, как все возрастают угрозы, и, решившись наконец погубить врага во что бы то ни стало, даже рискуя судьбой правительства, втайне осуществлял свой замысел. Он устроил так, чтобы официозные газеты поместили ряд статей, написанных его людьми, но якобы выражающих точку зрения самого Поля Визира, тем самым свидетельствуя о воинственных намерениях главы правительства.

Эти статьи вызывали грозные отклики за границей, а вместе с тем тревожили и общественное мнение в стране, где народ любил военных, но не любил войны. На запрос о внешней политике правительства Поль Визир ответил успокоительной декларацией, обещая поддерживать мир, если это не будет в ущерб национальному достоинству великого народа; министр иностранных дел Кромбиль тоже выступил с декларацией, в которой ничего нельзя было разобрать, так как она была составлена на дипломатическом языке; правительство получило поддержку огромного большинства.

Но слухи о войне не прекратились, и во избежание нового опасного запроса в парламенте председатель Совета министров роздал депутатам восемьдесят тысяч гектаров леса в Нигритии, а также приказал арестовать четырнадцать социалистов. Ипполит Серес, расхаживая с мрачным видом по кулуарам, доверительно сообщал депутатам своей группы, что он упорно добивается возобладания мирной политики в Совете министров и что надежда еще не потеряна.

Зловещие слухи росли с каждым днем, проникали в широкую публику, сея среди нее беспокойство и тревогу. Поль Визир сам начинал побаиваться. Особенно смущало его молчание и всегдашнее отсутствие министра иностранных дел. Кромбиль совсем перестал ходить в Совет министров: вставая в пять часов утра, он просиживал за письменным столом по восемнадцать часов в сутки и совершенно обессиленный падал в корзину для бумаг, откуда сторожа извлекали его вместе с разными документами, которые они тут же продавали военным атташе соседней империи.

Адмирал Дебоннер считал, что начала военных действий надо ждать со дня на день; он к ним готовился. Он не только не испытывал никакого страха перед войной, но, напротив, жаждал ее и делился своими благородными надеждами с баронессой де Бильдерман, а та сообщала о них соседней державе, которая, опираясь на мнение генерала Дебоннера, поспешно проводила мобилизацию. Министр финансов, сам того не желая, ускорил ход событий. В те дни он

играл на понижение; чтобы вызвать на бирже панику, он распространил слух, что теперь война уже неизбежна. Император соседней страны, поддавшись обману и опасаясь немедленного вторжения неприятеля, поспешно привел свои войска в боевую готовность. Напуганная этим палата свергла правительство Визира огромным большинством голосов (814 против 7, при 28 воздержавшихся). Но было уже поздно; в самый день падения правительства соседняя враждебная держава отозвала своего посла и бросила восемь миллионов человек на родную страну г-жи Серес. Эта война превратилась в мировую войну, и вся земля была затоплена морями крови.

АПОГЕЙ ПИНГВИНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Через полвека после только что изложенных нами событий г-жа Серес, окруженная почетом и уважением, умерла на семьдесят девятом году жизни, задолго до того став вдовою государственного деятеля, имя которого она с достоинством носила. Ее хоронили скромно и благоговейно; за гробом шли приходские сироты и сестры-монахини «Святого смиренномудрия».

Покойница завещала все свое достояние Обществу св. Орброзы.

— Увы, давно уже следовало какой-нибудь щедрой даятельнице оказать нам помощь в наших нуждах, — со вздохом сказал каноник собора св. Маэля г-н Монуайе, принимая этот благочестивый дар. — Богатые и бедные, ученые и невежды отвращаются от нас. Мы стараемся вернуть заблудшие души на путь истины, но ни угрозы, ни обещания, ни кротость, ни сила — ничто не действует. Духовенство Пингвинии оплакивает свое разорение; наши сельские священники, вынужденные поддерживать свое существование самой грубой работой, погрязли в нищете и питаются объедками. В разрушенных церквах дождь небесный льет прямо на головы молящихся, и во время богослужения раздается грохот камней, падающих со сводов. Соборная колокольня накренилась и скоро совсем развалится. Святая Орброза забыта пингвинами, поклонение

ей прекратилось, ее святилище запустело. На раке не осталось ни золота, ни драгоценных каменьев, и паук бесшумно ткет на ней свою паутину.

Выслушав эти сетования, Пьер Милль, сохранивший в девяностовосьмилетнем возрасте все свои умственные и нравственные силы, опросил каноника, не думает ли он, что святая Орброза когда-нибудь вновь воспрянет из столь оскорбительного для нее забвения.

— Не смею надеяться, — со вздохов отвечал г-н Монуайе.

— Да, жаль! — заметил Пьер Милль. — Орброза — прелестный образ; легенда о ней полна очарования. Недавно я совершенно случайно обнаружил рассказ об одном из самых красивых ее чудес — «Чуде с Жаном Виолем». Не угодно ли послушать, господин Монуайе?

— С удовольствием послушаю, господин Милль!

— Вот оно, в том самом виде, как я вычитал его из рукописи четырнадцатого века:

«Цецилия, жена Никола Гобера, золотых дел мастера с моста Менял, прожив долгие годы честно и целомудренно, под старость влюбилась в Жана Виоля, молоденького пажа графини де Мобек, проживавшей в Доме Павлина на Гревской площади. Ему не исполнилось еще восемнадцати лет; фигура и лицо у него были прехорошенькие. Чувствуя себя не в силах победить свою любовь, Цецилия решила удовлетворить ее. Она зазвала пажа к себе в дом, стала всячески ублажать его, закормила сластями и в конце концов добилась своего.

И вот однажды, когда они лежали вместе в кровати золотых дел мастера, тот вернулся домой раньше, чем предполагалось. Дверь была заперта на засов, но муж услыхал снаружи, как жена вздыхает и приговаривает: «Ах ты душенька, ах ты ангелочек, ах ты крысеночек!» Тогда, подозревая, что она затворилась с любовником, он стал ломиться в дверь, крича: «Негодница! Бесстыжая! Распутница! Потаскуха! Открывай, не то нос и уши отрежу!» Ища спасения от такой опасности, супруга золотых дел мастера вознесла мольбы святой Орброзе, обещая поставить ей большую свечу, если святая поможет выпутаться ей и молоденькому пажу,

который умирал от страха, забившись, совсем голый, за кровать.

Святая вняла ее мольбам. Она мгновенно превратила Жана Виоля в девицу. Увидя это, Цецилия пришла в себя от страха и закричала мужу: «Ах вы грубиян! Ах гадкий ревнивец! Будьте потише, если хотите, чтоб вам открыли!» И, продолжая стыдить его, кинулась к своему шкафу, вытащила оттуда старый женский капюшон, корсаж на китовом усе, длинную серую юбку и поспешно напялила все это на превращенного в девицу пажа. Потом сказала громким голосом: «Катерина, милочка моя, Катерина, котеночек мой! Поди открой дяде! Не бойся, он совсем не так зол, а просто глуп». Паж, превращенный в девицу, послушался. Золотых дел мастер, войдя в комнату, увидел какую-то незнакомую юную девицу и свою жену, которая лежала в кровати. «Эх ты дурачина! Ну что глаза выпучил? Только я легла в постель — из-за того, что живот у меня заболел, — пришла ко мне в гости Катерина, дочка сестры моей Жанны, той, что живет в Палезо и с которой мы пятнадцать лет были в ссоре. Поцелуй же племянницу, муженек! Она заслуживает этого». Золотых дел мастер облобызал Виоля, почувствовав при этом, что у него нежная кожа; с той минуты он только и помышлял, как бы поскорее остаться с племянницей наедине, чтобы вдоволь нацеловаться с нею. А потому поспешил отвести ее вниз, под предлогом, что хочет угостить ее вином и засахаренными орехами, и не успели они сойти с лестницы, как стал осыпать ее любовными ласками. И зашел бы еще дальше, если бы святая Орброза не внушила его честной жене мысль пойти накрыть его. Она застигла его, когда он посадил мнимую племянницу к себе на колени, обозвала его распутником, надавала ему пощечин и заставила просить прощения. На следующее утро Виоль принял свой первоначальный вид».

Выслушав этот рассказ, преподобный каноник Монуайе поблагодарил Пьера Милля и, взяв перо, стал составлять списки возможных победителей на предстоящих скачках, — он служил писцом у букмекера.

Между тем Пингвиния богатела и процветала. У тех, кто производил предметы первой необходимости, их совсем не было. У тех, кто их не производил, они были в избытке. «Таковы непреложные законы экономики», — как выразился некий член Института. У великого пингвинского народа больше не было ни традиций, ни духовной культуры, ни искусства. Прогресс цивилизации выражался у него в производстве смертоносного оружия, в бесстыдной спекуляции, в отвратительной роскоши. Столица приобрела, подобно всем большим городам того времени, облик космополитический и финансистский: в ней воцарилось безграничное, сплошное уродство. Страна наслаждалась полным спокойствием. Это был апогей.

Книга восьмая

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ

ИСТОРИЯ БЕЗ КОНЦА

Τῇ Ἑλλάδι πενίη μὲν αἰεί κοτε σύντροφός ἐστι, ἀρετὴ δὲ ἔπακτός ἐστι, ἀπό τε σοφίης κατεργασμένη καὶ νόμου ἰσχυροῦ.[1]

(Геродот, История, VII, 102)

Вы значит, не поняли, что это были ангелы?

(«*Liber terribilis*»)[2]

Р П Т М Ж У П Д П Л Б Л Х С Б О Ч
Ф И Ь П Т Г П В П Е Й М Й Т Э Й И
Р П Е Г М Б Т У Й Л П С П М Ж К Й Й
Н Р Ж С Б У П С П Г Р П Т М Ж У П Д
П Л Б Л И О Й У С Й З Е Ь Р С П Г П
И Д М Б Щ Б М Й Т Г П Я Т Г П В П Е
Ф П О Й Р П Е Ш Й О Й М Й Т Э Г П
М Ж Х Й О Б О Т П Г Ь Ц Л П Н Р Б О
Й К Л П У П С Ь Ж С Б Т Р П М Б Д Б
Я У В П Д Б У Т У Г Б Н Й Т У С Б О
Ь Й Р С Й Р П Н П Ъ Й Л Ф Р М Ж О
О П К Р С Ж Т Т Ь Г П И Е Ж К Т У Г
Ф Я У О Б П В Ъ Ж Т У Г Ж О О П Ж
Н О Ж О Й Ж

РСБГЕЙГЬКТГЙЕЖУЖМЭ *.

Мы присутствуем при возникновении такой химии, которая будет заниматься изменениями, производимыми телом, содержащим количество концентрированной энергии *, до сих пор в нашем распоряжении не имевшееся.

Сэр Уильям Рамзай.

---

[1] Было так, что бедность навеки сроднилась с Элладой *, — доблесть же была привнесена извне и воспитывалась мудростью и строгим законом (*греч.*).

[2] «Книга Ужасов» (*лат.*).

§ 1

Дома все время казались недостаточно высокими; их беспрестанно надстраивали, а новые возводили в тридцать — сорок этажей, и там громоздились одни над другими конторы, магазины, банки, помещения разных обществ; а под домами все глубже и глубже рыли подземелья и тоннели.

Пятнадцать миллионов человек работало в гигантском городе, при свете фонарей, горящих и ночью и днем. Ни один луч не проникал с небес сквозь дым заводов, опоясывавших город; лишь иногда было видно, как багровый и тусклый диск солнца скользит по черному небу, изборожденному железными мостами, с которых непрерывным дождем сыплется сажа и угольная пыль. Это был самый промышленный и самый богатый город во всем мире. Казалось, его организация была совершенной; в нем уже ничего не оставалось от прежних аристократических или демократических общественных форм; все было подчинено интересам трестов. В этой среде выработался новый человеческий тип, который антропологи называют типом миллиардера. Это были люди энергичные, но вместе с тем хрупкие; люди, наделенные могучей комбинационной способностью, проводившие долгие часы в напряженной кабинетной работе, но вместе с тем страдающие наследственным нервным расстройством, которое с возрастом усиливалось.

Как все настоящие аристократы, как патриции республиканского Рима, как лорды старой Англии, эти могущественные люди соблюдали величайшую строгость нравов. Были среди них подлинные аскеты богатства: на заседаниях трестов можно было видеть лысые головы, впалые щеки, ввалившиеся глаза, изборожденные морщинами лбы. Тела у них были еще изможденнее, чем у старых испанских монахов, лица — еще желтее, губы — еще суше, взгляд — еще воспаленней, чем у них, потому что эти миллиардеры безудержно предавались суровым подвигам банковской и промышленной деятельности. Многие из них, отказывая себе во всякой радости, во всяком удовольствии, во всяком отдыхе, не

жили, а прозябали в комнате без воздуха и света, уставленной одними электрическими аппаратами, там же ужинали яйцами и молоком, там же спали на какой-нибудь койке. Занятые только тем, что нажимали пальцем на никелевую кнопку, эти новые мистики, накапливая богатства и не видя вокруг себя даже признака их, достигали бесполезной возможности исполнять желания, которых они никогда не испытывали.

У культа богатства были и свои мученики. Так один миллиардер, знаменитый Самуил Бокс, предпочел умереть, чем поступиться ничтожной частицей своего достояния. Один из его рабочих, став жертвой несчастного случая на предприятии и получив отказ компенсировать его за увечье, стал добиваться осуществления своих прав по суду, но, обессиленный борьбою с непреодолимыми трудностями тяжбы, впал в жестокую нищету и, доведенный до отчаяния, прибег к дерзкой уловке — проник с револьвером к хозяину предприятия и потребовал заплатить положенную сумму, грозя в противном случае пустить ему пулю в лоб. Самуил Бокс платить отказался и из принципа предоставил убить себя.

Люди охотно берут пример с вышестоящих. Те, кто не владел крупными капиталами (а таких, само собой разумеется, было большинство), усиленно перенимали взгляды и нравы миллиардеров, стремясь смешаться с ними. Все чувства, препятствующие накоплению или сохранению богатства, считались позорными; не было прощения ни вялости, ни лени, ни вкусу к бескорыстным исследованиям, ни любви к искусству, ни тем более расточительности; сострадание осуждалось как пагубная слабость. Склонность к наслаждениям порицали, но, напротив, всегда готовы были извинить грубое удовлетворение желаний: в самом деле, насилие представлялось менее вредным для нравов, так как в нем усматривали одну из форм социальной энергии. Прочными устоями государства являлись две общественные добродетели: уважение к богатым и презрение к бедным. Слабым душам, порою смущенным при виде человеческих страданий, не оставалось ничего другого, как прибегать к лицемерию, которое невозможно было порицать,

поскольку оно способствовало поддержанию порядка и обеспечивало прочность общественных установлений.

Таким образом, среди богатых людей все были преданы существующему строю или казались ему преданными; все подавали пример этой преданности, если даже сами не всегда следовали этому примеру. Некоторые жестоко страдали от условий своего существования, но поддерживали их из гордости или из чувства долга. Кое-кто пытался хоть ненадолго избавиться от них, действуя тайком и при помощи разных хитростей. Один из них, Эдуар Мартен, председатель железного треста, иногда переодевался нищим, чтобы выпрашивать милостыню у прохожих и нарываться на грубости. Как-то раз, стоя с протянутой рукой на мосту, он поссорился с настоящим нищим и в припадке бешеной зависти задушил его.

Отдавая все свои мысли делам, они не искали умственных наслаждений. Театр, некогда процветавший у них, свелся теперь к пантомиме и комическим танцам. Даже спектакли, где выступали женщины, были преданы забвению; утратился вкус к красивым формам и изящным туалетам. Им стали предпочитать кульбиты клоунов и негритянскую музыку, а настоящее восхищение вызывали у театральной публики только бриллианты на шеях у фигуранток да бруски золота, торжественно проносимые по сцене.

Дамы из богатых кругов вынуждены были, подобно мужчинам, вести респектабельный образ жизни. По склонности, наблюдаемой во всякой цивилизованной стране, общественное мнение возводило их в некий символ: своим суровым великолепием они должны были знаменовать и величие богатства, и его недоступность. Прежнее обыкновение заводить любовные интриги было упразднено; но на смену светским любовникам неслышно явились мускулистые массажисты или какие-нибудь лакеи. Впрочем, скандалы происходили редко: путешествие за границу почти всегда все сглаживало, и принцессы трестов по-прежнему оставались предметом всеобщего уважения.

Богатые составляли только незначительное меньшинство, но те, кто им служил, люди из всех слоев

населения, были целиком ими куплены или им подчинены. Они делились на две категории: торговых или банковских служащих и заводских рабочих. Первые выполняли огромную работу и получали солидные оклады. Некоторые из них в конце концов основывали собственные предприятия; непрерывным ростом общественных богатств и подвижностью средств, находящихся в частных руках, поощрялись надежды наиболее способных или наиболее смелых. Конечно, в бесчисленной толпе приказчиков, инженеров, бухгалтеров можно было найти известное количество недовольных и раздраженных, — но этот могущественный социальный строй внедрял суровую дисциплину даже в умы своих противников. Анархисты — и те отличались там прилежанием и пунктуальностью.

Что касается рабочих, трудившихся на заводах, в окрестностях города, то они переживали глубокий физический и моральный упадок; они воплощали в себе тип бедняка, установленный антропологией. Хотя развитие некоторых мускулов, вызванное особым характером их деятельности, могло внушить ложное представление об их силе, в действительности у них обнаруживались верные признаки болезненной расслабленности. Не только низкий рост, маленькая голова, узкая грудь, но еще и множество физиологических аномалий, — особенно асимметрия головы или тела, очень среди них распространенная, — отличали их от представителей обеспеченных классов. И они были обречены на постепенное непрерывное вырождение, так как самых сильных среди них государство забирало в солдаты, и тогда здоровье их недолго могло устоять перед продажными женщинами и кабатчиками, расположившимися вокруг казарм. Пролетарии обнаруживали все больше признаков слабоумия. Непрерывное ослабление их умственных способностей обусловлено было не только их образом жизни; оно возникало также и в результате систематического отбора, производимого хозяевами. Последние, опасаясь рабочих, обладающих слишком ясным умом, а потому умеющих выражать свои законные требования, старались отделаться от них всяческими способами, предпочитая вербовать народ

невежественный и ограниченный, неспособный отстаивать свои права, у которого ума хватает лишь на то, чтобы справляться с работой, весьма несложной благодаря усовершенствованным машинам.

Таким образом, пролетарии не в состоянии были ничего предпринять для облегчения своей участи. Им даже еле удавалось сохранять прежний уровень заработной платы при помощи забастовок. Но и это средство они начинали уже утрачивать. Частые перерывы в производстве, неизбежные при капитализме, порождали такую безработицу, что во многих отраслях промышленности сразу после объявления какой-нибудь стачки, на места, покинутые стачечниками, становились безработные. Короче говоря, эти жалкие производители пребывали в мрачной апатии, исключавшей всякую радость и всякий взрыв отчаяния. Общественный строй превратил их в необходимые орудия, отвечающие своему назначению.

В итоге этот общественный строй казался прочнее какого-либо другого, по крайней мере из известных в человеческой истории, ибо общество пчел и муравьев в смысле устойчивости выше всякого сравнения; ничто не позволяло предвидеть крушение режима, основанного на том, что сильнее всего в человеческой природе, — на гордыне и алчности. Однако наиболее проницательные наблюдатели усматривали много поводов к беспокойству. Самые тревожные признаки, хоть и наименее заметные, были экономического характера и заключались в возрастающем перепроизводстве и связанной с ним длительной и жестокой безработице, в коей, правда, промышленники усматривали возможность подрывать силу рабочих, противопоставляя безработных тем, кто занят на производстве. Более ощутимый вид опасности порождало физическое состояние почти всего народонаселения. «Здоровье у бедняков таково, каким оно только и может быть, — говорили врачи-гигиенисты, — но и у богатых оно оставляет желать лучшего». Нетрудно было найти причины этому. В городе недоставало необходимого для жизни кислорода; дышали искусственным воздухом; пищевые тресты, производя самые смелые химические соединения,

выпускали искусственные вина, искусственное мясо, искусственное молоко, искусственные фрукты, искусственные овощи. Но подобное питание вредно отзывалось на желудке и на мозге. Миллиардеры лысели уже к восемнадцати годам; некоторые из них обнаруживали порой опасное ослабление умственной деятельности; заболев, они в испуге платили огромные суммы невежественным знахарям, и случалось, что вдруг в городе ни с того ни с сего делал блестящую медицинскую или богословскую карьеру какой-нибудь простой банщик, вздумавший стать терапевтом или пророком. Непрерывно росло количество сумасшедших; в кругу богачей множились самоубийства, причем иные из них сопровождались ужасными и странными обстоятельствами, которые свидетельствовали о неслыханном извращении ума и чувств.

Еще одно зловещее явление вызывало всеобщую тревогу. Всякого рода несчастные случаи стали периодически повторяющимися, закономерными событиями, так что даже предусматривались в планах и занимали все более и более обширное место в статистике. Каждый день взрывались машины, взлетали в воздух дома, тяжело нагруженные товарные поезда обрушивались с воздушных путей на бульвары и, снося целые здания, давя сотни прохожих, проваливались под землю и сокрушали два-три этажа подземных мастерских и доков вместе с многочисленными партиями рабочих.

§ 2

В юго-западной части города, на холме, сохранившем свое прежнее название Форт св. Михаила, был расположен общественный сад, где старые деревья еще простирали над лужайками свои истощенные руки. На северном склоне инженеры-пейзажисты устроили водопад, пещеры, бурный поток, озеро, острова. Отсюда был виден весь город — улицы, бульвары, площади, нагромождение крыш и куполов, линии воздушных железных дорог, толпы людей, кажущиеся сверху безмолвными и как бы заколдованными. Этот сад был самым здоровым местом в столице: дым не застилал там

неба, и туда водили гулять детей. В летнее время некоторые служащие соседних контор и лабораторий приходили туда после завтрака отдохнуть, ничем не нарушая мирной тишины сада.

Вот так в июне, около полудня, пришла и телеграфистка Каролина Мелье — посидеть на скамейке в конце Северной террасы. Она села спиной к городу, чтобы глаза отдохнули, глядя на зелень. Черноволосая, с золотисто-карими глазами, крепкая и спокойная, Каролина казалась не старше двадцати пяти — двадцати восьми лет. Почти тотчас же рядом сел служащий электрического треста Жорж Клер. У него были светлые волосы, тонкая и гибкая фигура, женски изящные черты лица; он был во всяком случае не старше ее, а казался даже моложе. Встречаясь на этом месте почти каждый день, они чувствовали взаимную симпатию и любили друг с другом поговорить. Но в их беседе никогда не было ничего нежного, сердечного, личного. Хотя Каролине уже случилось как-то в прошлом пожалеть о своей доверчивости, она, может быть, и готова была допустить более непринужденные отношения, но Жорж Клер и в разговорах и во всем своем обращении с нею был всегда чрезвычайно сдержан; он никогда не нарушал чисто интеллектуального характера беседы и оставался в области общих тем, — впрочем, высказываясь обо всем с самой резкой откровенностью.

Он часто заводил речь об устройстве общества и условиях труда.

— Богатство, — говорил он, — только одно из средств к счастливой жизни, а они превратили его в единственную цель существования.

И обоим такое положение вещей казалось чудовищным.

Они беспрестанно обращались и к некоторым научным проблемам, связанным с их постоянными интересами.

На этот раз они обменивались мыслями об эволюции химических знаний.

— С тех пор как было открыто превращение радия в гелий, — сказал Клер, — перестали утверждать, что

элементы неизменяемы; таким образом были упразднены эти старые законы — простых отношений и сохранения материи.

— А химические законы все же существуют, — оказала она, потому что, как женщина, чувствовала потребность во что-нибудь верить.

Он заметил небрежным тоном:

— Теперь, когда можно добывать радий в достаточном количестве, наука получила в свое распоряжение несравненные способы анализа; отныне в так называемых элементах угадываются богатейшие соединения и в материи обнаруживается энергия, как будто возрастающая именно в связи с ничтожно малым объемом.

Разговаривая, они бросали птицам крошки хлеба; вокруг играли дети.

Клер перешел на другую тему.

— В четвертичный период, — сказал он, — на этом холме жили дикие кони. В прошлом году, когда рыли землю для водопровода, здесь откопали толстый слой из костей гемионов *.

Она спросила, существовал ли уже человек в ту отдаленную эпоху.

Он объяснил, что человек охотился тогда на гемионов, еще не пытаясь приручать их.

— Человек был вначале охотником, — добавил он, — потом стал пастухом, пахарем, промышленником... И эти разные виды цивилизации следовали один за другим сквозь такую толщу времен, которую наш разум не в состоянии себе представить.

Он вынул часы.

Каролина осведомилась, не пора ли возвращаться на работу.

Он ответил, что еще рано, — еще только половина первого.

На земле возле их скамейки девочка делала из песка пирожки; мальчик лет семи-восьми вприпрыжку пробежал мимо. На соседней скамейке сидела его мать с шитьем, а он играл один, изображая, как вырвалась на свободу лошадь, и, с той способностью отдаваться игре, какая свойственна детям, — одновременно вооб-

ражал себя и лошадью, и теми, кто ее ловит, и теми, кто в ужасе бежит от нее. Он бесновался и кричал: «Ловите ее! Го-го! Это страшная лошадь! Она закусила удила!»

Каролина спросила Клера:

— Как вы думаете, были счастливы люди прежде?

Ее собеседник ответил:

— Когда человечество было моложе, оно меньше страдало. Люди были похожи на этого мальчика: они играли; играли в искусство, в добродетели, в пороки, в героизм, в верования, в сладострастие; У них были иллюзии, которые их развлекали. Люди шумели, забавлялись. А теперь...

Не окончив фразы, он опять посмотрел на часы. Мальчик споткнулся о ведерко девочки и растянулся на песке. Минуту он лежал неподвижно, потом приподнялся на руках; на лбу у него вскочила шишка; он надул губы и громко заплакал. Прибежала мать, но Каролина уже успела поднять его и вытирала ему глаза и рот своим носовым платком. Малыш все рыдал; Клер обнял его.

— Ну, ну, не плачь, детка. Я расскажу тебе сказку.

«Один рыбак забросил в море невод и вытащил медный горшочек, закрытый крышкой. Он открыл его ножом. И оттуда вышел дым и поднялся до самых облаков, а потом стал густеть, густеть и превратился в великана, и великан чихнул так сильно, так сильно, что весь мир рассыпался в прах...»

Вдруг Клер замолчал и с сухим смешком передал ребенка матери. Опять вынул часы и, став коленями на скамью, облокотившись на спинку, принялся глядеть на город.

Далеко, насколько хватал глаз, виднелось множество домов огромных, но казавшихся совсем крошечными.

Каролина стала смотреть в ту же сторону.

— Какая погода прекрасная! — сказала она. — Солнце сияет, и дым на горизонте кажется совсем золотым. Все-таки самое ужасное в цивилизации — то, что она лишила нас дневного света.

Он не отвечал; взгляд его был устремлен на какое-то место в городе.

Несколько секунд прошло в молчании, и вдруг они увидели, что приблизительно в трех километрах от них, по ту сторону реки, в самом богатом районе города, поднимается странный, зловещий туман. Через мгновенье послышался взрыв, и к ясному небу гигантским деревом вознесся столб дыма. И мало-помалу весь воздух наполнился чуть слышным гулом, в котором слились крики нескольких людей. Совсем близко, в саду, тоже кричали.

— Что это взорвалось?

Всех охватило смятение; хотя несчастные случаи происходили теперь очень часто, но такого сильного взрыва еще не бывало, и с ужасом каждый отметил это.

Начали определять, где разразилась катастрофа; называли кварталы, улицы, разные здания — клубы, театры, магазины. Топографические данные становились все подробнее и точнее.

— Это взорвался стальной трест!

Клер спрятал часы в кармашек.

Каролина пристально смотрела на него, и в глазах ее было изумление.

Наконец она шепнула ему на ухо:

— Вы знали? Ждали?.. Так это вы?..

Он ответил просто:

— Город должен быть разрушен.

Она промолвила задумчиво и мягко:

— Я тоже так думаю.

И оба спокойно пошли — каждый к себе на работу.

§ 3

С этого дня анархисты устраивали взрывы непрерывно в течение целой недели. Было множество человеческих жертв, — почти все из неимущих классов. Эти злодейства вызвали общественное негодование. Больше всего возмущались обыватели — хозяева гостиниц, мелкие чиновники и те мелкие торговцы, которых еще не успели вытеснить тресты. В рабочих кварталах женщины громко требовали небывалых казней для динамитчиков (это прежнее название еще сохранялось, хоть и устарело, так как неизвестные химики считали

динамит слишком уж невинным средством, пригодным разве для уничтожения муравейников, и им казалось детской забавой взрывать нитроглицерин при помощи гремучей ртути). Деловая жизнь сразу остановилась, причем первыми пострадали от этого наименее обеспеченные. Они заговорили о том, как бы самим расправиться с анархистами. Вместе с тем заводские рабочие относились к действию насилием враждебно или же безразлично. Спад деловой жизни грозил безработицей или даже локаутом во всех отраслях производства, и, когда объединение профессиональных союзов поставило вопрос о всеобщей забастовке как наилучшем способе воздействовать на хозяев и оказать существенную помощь революционерам, рабочие всех специальностей, кроме золотильщиков, отказались прекратить работу.

Полиция произвела много арестов. Войска национальной конфедерации были стянуты из всех пунктов для охраны помещений трестов, особняков миллиардеров, общественных зданий, банков, больших магазинов. Прошло две недели без единого взрыва. Тогда решили, что динамитчики, — вероятно, какая-нибудь горсточка или и того меньше, — перебиты, переловлены, где-нибудь попрятались или бежали. Стало восстанавливаться спокойствие, — прежде всего среди самых бедных. Двести — триста тысяч солдат, расквартированных в рабочих кварталах, оживили торговлю; их приветствовали возгласами: «Да здравствует армия!»

Богатые, не так быстро поддавшиеся испугу, успокаивались медленнее. Но на бирже группа играющих на повышение стала сеять ободряющие слухи и решительным маневром приостановила падение бумаг; застой прекратился. Крупнотиражные газеты поддержали эти настроения; с патриотическим красноречием они доказывали, что неуязвимый капитал смеется над покушениями немногочисленных подлых преступников и общественное богатство, презирая пустые угрозы, продолжает спокойно расти; они писали так с полной искренностью — и получали за нее воздаяние. О покушениях стали забывать, даже отрицать, что они были. По воскресным дням женщины, увешанные, отягощенные жемчугами и бриллиантами, снова украшали

трибуны на скачках. С радостью было отмечено, что капиталисты не пострадали. При взвешивании наездников публика рукоплескала миллиардерам.

А на другой день Южный вокзал, нефтяной трест и грандиозная церковь, выстроенная на средства Том*а* Морселе, взлетели на воздух; сгорело тридцать домов; вспыхнул пожар в доках. Пожарные проявили чудеса самоотверженности и бесстрашно, с точностью механизма орудовали своими длинными железными лестницами, поднимаясь до тридцатого этажа домов и спасая несчастных из пламени. Солдаты ревностно охраняли порядок, за что получили двойную порцию кофе. Но все эти новые несчастия произвели панику. Миллионы людей, стремящихся немедленно уехать и увезти свои деньги, осаждали крупные кредитные учреждения; однако те производили выплату только три дня, а потом закрыли кассы под рокот бунта. Толпы беженцев с чемоданами и тюками ринулись на вокзалы и с бою занимали места в поездах. Многие, решив поскорей укрыться в подвалах, запасались продовольствием, шли на приступ бакалейных и съестных лавок, охраняемых солдатами с примкнутыми штыками. Власти проявили энергию. Были произведены новые аресты, подписаны тысячи ордеров на задержание подозрительных лиц.

Следующие три недели миновали без всяких взрывов. Прошел слух, что обнаружены бомбы в зале Оперы, в погребах городской ратуши и у одной из колонн здания биржи. Но вскоре стало известно, что это были коробки из-под консервов, подброшенные злыми шутниками или сумасшедшими. Один из обвиняемых заявил на допросе, что он главный организатор взрывов, стоивших жизни всем его сообщникам. Его показания были опубликованы в газетах и содействовали успокоению общества. Только под самый конец следствия судебные чины заметили, что перед ними симулянт, совершенно непричастный ко взрывам.

Назначенные судом эксперты не обнаружили ни малейшего обломка, который позволял бы судить о том, каким снарядом пользовались разрушители. Согласно догадкам экспертизы новое взрывчатое вещество являлось эманацией газа, выделяемого радием; предполага-

лось, что электрические волны, вызываемые особым осцилляторам, распространялись в воздухе и производили взрыв; но даже самые опытные химики не решались сказать что-либо точное и определенное. Наконец как-то раз двое полицейских, проходя мимо особняка Мейера, нашли на тротуаре, около отдушины, какой-то яйцевидный предмет из белого металла, с капсулей на одном конце; они осторожно подняли его и, по распоряжению своего начальника, отнесли в муниципальную лабораторию. Не успели эксперты собраться, чтобы рассмотреть яйцо, как оно взорвалось, разметав амфитеатр и купол. Все эксперты погибли, в том числе генерал артиллерии Коллен и знаменитый профессор Тигр.

Капиталистическое общество не склонилось перед этой новой бедой. Крупные кредитные учреждения снова пооткрывали свои кассы, объявив, что будут производить платежи частью золотом, частью государственными бумагами. Фондовая и товарная биржи, несмотря на полное прекращение сделок, решили не закрываться.

Между тем закончилось следствие по делам первых арестованных. Быть может, при других обстоятельствах обвинительный материал против них и показался бы недостаточным, но все возмещалось усердием судей и общественным негодованием. Накануне открытия процесса Дворец правосудия был взорван; при этом погибло восемьсот человек, среди них множество судей и адвокатов. Рассвирепевшая толпа ворвалась в тюрьмы и линчевала заключенных. Воинская часть, посланная для наведения порядка, была встречена камнями и револьверными выстрелами; нескольких офицеров стащили с седла и растоптали. Солдаты открыли огонь; было много жертв. Властям удалось восстановить спокойствие. Но на другой день был взорван Государственный банк.

С тех пор началось что-то неслыханное. Заводские рабочие, прежде отказывавшиеся даже бастовать, теперь стали толпами нападать на город и палить дома. Целые полки, во главе с офицерами, присоединялись к поджигателям-рабочим, ходили с ними по городу,

распевая революционные гимны, и кончили тем, что захватили в доках многие тонны керосина, чтобы подливать в огонь. Взрывы не прекращались. Однажды утром как бы некое чудовищное дерево, призрак пальмы в три километра высотою, внезапно выросло на месте, где только что перед тем стоял гигантский дворец Телеграфа.

Пока одна половина города полыхала, в другой жизнь шла своим чередом. По утрам слышалось бренчанье жестяных бидонов в тележках молочников.

На пустынной улице старый дорожный рабочий, прислонившись спиною к стене и зажав между колен бутылку, медленно жевал краюху хлеба с салом. Председатели трестов почти все оставались на местах. Некоторые из них исполняли свои обязанности с героической простотой. Сын миллиардера-мученика Рафаил Бокс взлетел на воздух, председательствуя на общем собрании акционеров сахарного треста. Ему устроили великолепные похороны. Траурной процессии пришлось шесть раз преодолевать горы развалин или же переходить по доскам через ямы провалившейся мостовой.

Обычные помощники богачей — приказчики, конторщики, маклеры, агенты — по-прежнему выказывали им непоколебимую верность. При наступлении срока платежей еще оставшиеся в живых рассыльные взорванных банков шли по развороченным улицам в окутанные дымом дома, чтобы предъявить какой-нибудь вексель и получить по нему деньги; многие при этом погибали в пламени.

Тем не менее уже не оставалось никаких иллюзий: невидимый враг завладел городом. Теперь там господствовал гул взрывов, непрерывный, как тишина, уже привычный для слуха и полный неодолимого ужаса. Осветительное оборудование было разрушено, по ночам город был погружен во мрак, и совершались чудовищные, неслыханные преступления. Одни только рабочие кварталы, не столь пострадавшие, еще кое-как держались. Там наводили порядок патрули добровольцев; они расстреливали грабителей, и на каждом углу можно было наткнуться на труп, лежащий в луже крови, с подогнутыми коленями, со связанными за спи-

ной руками, с платком, прикрывающим лицо, и с пришпиленной на животе надписью.

Уже невозможно было разбирать груды обломков и хоронить мертвых. Вскоре трупный смрад стал невыносим. Начались эпидемии; бесчисленное множество людей перемерло, а те, что выжили, еле держались на ногах, были как помешанные. Остальных подбирал голод. Когда прошел сто сорок один день после первого взрыва и в Альку вступили шесть армейских корпусов с полевой и осадной артиллерией, — ночью в самом бедном районе города, единственном еще уцелевшем, но уже охваченном со всех сторон поясом пламени и дыма, Каролина и Клер, взявшись за руки, смотрели вниз с крыши высокого дома. Веселые песни взлетали над улицей, где плясала обезумевшая толпа.

— Завтра все будет кончено, — сказал он. — И так будет лучше.

Молодая женщина, с разметавшимися волосами, с лицом, озаренным отблесками пожара, радостно и благоговейно смотрела на сжимающееся вокруг них огненное кольцо.

— Так будет лучше... — повторила она.

И, бросившись в объятия разрушителя, самозабвенно поцеловала его.

§ 4

Остальные города Федерации тоже пережили разруху и смуту, но впоследствии там восстановился порядок. Были произведены реформы в области государственных установлений; нравы сильно изменились; но совсем воспрянуть после потери столицы и достичь прежнего процветания страна уже не могла. Торговля и промышленность пришли в полный упадок; цивилизация исчезла из этих мест, прежде излюбленных ею. Они сделались бесплодными и нездоровыми; территория, на которой кормились миллионы людей, стала сплошной пустыней. На склоне холма, в саду Форта св. Михаила, дикие кони щипали сочную траву.

Дни протекали, как воды источников, столетия падали в вечность, словно капли со сталактитов. На

холмах, укрывших под собою развалины забытого города охотники били медведей; пастухи пасли там свои стада; пахари бороздили землю плугом; огородники и садоводы выращивали салат и прививали груши. Народ был небогат, чуждался искусств. Древняя виноградная лоза и кусты роз украшали стены их хижин; козья шкура прикрывала их загорелое тело; женщины одевались в домотканую шерстяную материю. Козопасы лепили из глины фигурки людей и животных или пели песенки о девушке, уходящей в лес за своим милым, о козах, что щиплют траву под шум сосен и журчанье ручья. Хозяин сердился на жуков, поедающих его фиги; придумывал, какие устроить западни, чтобы охранить своих кур от пышно-хвостой лисы, и угощал соседей вином, приговаривая:

— Пейте! Саранче не удалось испортить мой виноград; когда саранча налетела — он был уже собран.

Шли годы, богатые деревни и тучные нивы были разграблены и опустошены нашествием варваров. Много раз страна переходила от одних завоевателей к другим. Победители построили замки на холмах; развились ремесла; появились мельницы, кузницы, дубильни, ткацкие мастерские; через леса и болота протянулись дороги; по рекам побежали суда. Деревни выросли в укрепленные городки и, соединившись вместе, образовали большой город, защищенный рвами и высокими стенами. Позднее, сделавшись столицей обширного государства, он раздался во все стороны, и старые укрепления, отныне уже бесполезные и стеснительные, были превращены в зеленые бульвары.

Город разбогател и непомерно разросся. Дома все время казались недостаточно высокими; их беспрестанно надстраивали, а новые возводили в тридцать — сорок этажей, и там громоздились одни над другими конторы, магазины, банки, помещения разных обществ; а под домами все глубже и глубже рыли подземелья и тоннели. Пятнадцать миллионов человек работало в гигантском городе.

РАССКАЗЫ
ЖАКА ТУРНЕБРОША

Переводы
Ю. Б. Корнеева, Е. А. Корнеевой, Д. Г. Лившиц,
Э. Л. Линецкой, Т. Ю. Хмельницкой и А. В. Ясной

под редакцией
А. А. Смирнова и Ю. В. Корнеева

ПОХВАЛЬБА ОЛИВЬЕ

Карл Великий и его двенадцать пэров покинули Сен-Дени и, взяв страннические посохи, совершили паломничество в Иерусалим. Поклонившись гробу господню и посидев перед тринадцатью креслами, украшающими просторный покой, где некогда Иисус Христос и двенадцать апостолов собирались для святого таинства пресуществления, они отправились затем в Константинополь, горя желанием повидать короля Гугона, прославившегося великолепием своего двора.

Король принял их во дворце, где под золотым куполом пели в изумрудной листве рубиновые птицы, являвшие собой чудо искусства.

Он усадил императора Франции и двенадцать пэров за стол, ломившийся под тяжестью жареных оленей, ланей, журавлей, диких уток и павлинов, обильно сдобренных перцем, и угостил их греческими и азиатскими винами, которые подавались в бычьих рогах. Карл Великий и пэры пили за здоровье короля и его дочери Елены. После ужина Гугон отвел их в предназначенный им покой — круглую комнату с колонной посредине, на которую опирался свод. Во всем мире не было комнаты прекраснее, чем эта. У стен, отделанных золотом и пурпуром, стояли ложа, числом двенадцать, а тринадцатое ложе, более высокое и просторное, чем

остальные, было расположено у самой колонны. На него возлег Карл Великий; пэры расположились на ложах возле стен. Выпитое вино разгорячило им кровь и замутило головы. И так как сон бежал от их глаз, то, по обычаю французских рыцарей, они начали похваляться, обещая совершить подвиги, свидетельствующие об их могучей силе.

Похвальбу начал Карл Великий. Он сказал:

— Пусть предстанет передо мной сидящий на коне и закованный в броню славнейший рыцарь короля Гугона. Я выхвачу меч и одним ударом рассеку шлем, кольчугу, седло и лошадь, и после этого клинок еще вонзится в землю на одну треть своей длины.

Вслед за императором похвалился Гильом д'Оранж.

— Я возьму чугунный шар, который с трудом поднимают шестьдесят человек, — сказал он, — и с такой силой запущу им в стену дворца, что она обрушится на шестьдесят туазов в длину.

Потом заговорил Ожье Датчанин:

— Видите вы эту толстую колонну, которая подпирает свод? Завтра я опрокину ее и переломлю, как соломинку.

Тогда Рено де Монтобан воскликнул:

— Провалиться мне на месте, граф Ожье, если в то время, как ты будешь опрокидывать колонну, я не переложу купол себе на плечи и не отнесу его на берег моря.

Пятым похвалился Жерар де Руссильон.

Он уверял, что ему достаточно одного часа, чтобы вырвать с корнем все деревья из королевского сада.

После Жерара взял слово Аимер.

— У меня, — сказал он, — есть чудесная шапка-невидимка, сделанная из тюленьей кожи. Завтра я надену ее и, когда король Гугон сядет обедать, съем его рыбу, выпью его вино, дерну его за нос, надаю ему затрещин, и так как он не будет знать, на кого гневаться, то велит посадить в тюрьму и наказать плетьми всех своих слуг, а мы с вами посмеемся.

— Я так ловок, — молвил Гюон де Бордо, когда дошла до него очередь, — что мне ничего не стоит незаметно подкрасться к королю и обрезать ему бороду и

брови. Завтра вы полюбуетесь славным зрелищем. И для этого мне не понадобится даже тюленья шапка.

Доон де Майанс тоже сказал свое слово. Он пообещал за один час съесть все фиги, лимоны и апельсины, что растут на деревьях в королевском саду.

Герцог Немон сказал так:

— Клянусь честью, я пойду в пиршественный зал, соберу все золотые чаши и кубки и подброшу их так высоко, что они упадут прямо на луну.

Бернар Брабантский крикнул своим зычным голосом:

— Ну, а я еще не то сделаю. Слушайте меня, пэры. Вы знаете, что река, протекающая через Константинополь, очень широка, ибо, оросив Египет, Вавилон и рай земной, она близится здесь к своему устью. Так вот, я поверну ее русло и заставлю течь по городской площади.

Жерар де Виан заявил:

— Пусть выстроятся в ряд передо мной двенадцать рыцарей, и одним взмахом меча я подниму такой ветер, что все двенадцать упадут ничком.

Двенадцатым похвалился граф Роланд, который сказал:

— Я возьму мой рог *, выеду в чистое поле и затрублю так громко, что все двери в городе соскочат с петель.

Не принимал участия в похвальбе один только Оливье. Он был молод и учтив. И Карл Великий нежно его любил.

— Сын мой, — обратился он к Оливье, — похвалитесь чем-нибудь и вы.

— Охотно, государь, — ответил Оливье. — Довелось ли вам слышать про Геркулеса Греческого? *

— Что-то мне о нем рассказывали, — сказал Карл Великий. — Кажется, есть такой идол у неверных, вроде их ложного бога Магома.

— Нет, государь, — возразил Оливье, — Геркулес Греческий был языческим рыцарем и владел когда-то королевством. Он был человек достойный и отменно сложен. Приехав ко двору одного императора, у которого было пятьдесят дочерей-девственниц, он в одну

ночь стал мужем всех пятидесяти, так что утром все они оказались бывалыми и весьма довольными женщинами. Ибо он не обделил вниманием ни одной из них. С вашего соизволения, государь, я похвалюсь, что повторю подвиг Геркулеса Греческого.

— Боже вас сохрани, сын мой! — воскликнул император. — Вы совершили бы страшный грех. Наверно, этот Геркулес был сарацином *.

— Государь, — ответил Оливье, — я хочу за одну ночь проделать с одной девственницей то, что Геркулес проделал с пятьюдесятью. И этой девственницей будет принцесса Елена, дочь короля Гугона.

— В добрый час! — сказал Карл Великий. — Вы поступите по-рыцарски и по-христиански. Но, сын мой, причем тут пятьдесят девственниц короля Геркулеса? Если только дьявол не морочит мне голову, то речь идет всего лишь об одной.

— Вы правы, государь, — тихо промолвил Оливье, — девственница действительно только одна. Но она получит от меня столько приятных ей доказательств моей любви, что если я буду их считать, то к утру на стене появится пятьдесят крестиков. Таков будет мой подвиг.

Не успел граф Оливье договорить, как в колонне, поддерживавшей свод зала, распахнулась потайная дверь. Колонна эта была полая, и в ней легко мог поместиться человек, чтобы наблюдать и подслушивать оттуда. Ни Карл Великий, ни двенадцать пэров не знали этого. Велико же было их изумление, когда из потайной двери вышел король Константинополя. Он был бледен от гнева, и глаза его сверкали.

— Так-то вы платите мне за мое гостеприимство, неучтивые гости! — грозно сказал он. — Вот уже добрый час как вы оскорбляете меня дерзким бахвальством. Знайте же, государь, знайте же, рыцари, что, если завтра вы не совершите подвигов, которыми похвалялись, я велю отрубить всем вам головы.

Проговорив это, он вошел в колонну, и дверь за ним сразу захлопнулась. Долгое время пэры от удивления не могли вымолвить ни слова. Первым прервал молчание Карл Великий.

— Друзья мои, — сказал он, — мы хватили через край в нашей похвальбе. И, может быть, мы наговорили такого, о чем вовсе не следовало бы говорить. Мы выпили слишком много вина, и нам изменило благоразумие. Больше всего в этом повинен я, ваш император, подавший вам дурной пример. Завтра мы все вместе подумаем, как нам выпутаться из этого трудного положения. А сейчас надо выспаться. Доброй ночи, пэры. Да хранит нас господь!

Не прошло и минуты, как император и пэры уже храпели, натянув на себя златотканые шелковые покрывала.

Утром они проснулись еще не совсем протрезвившиеся, и то, что произошло вчера вечером, показалось им сном. Но вскоре за ними явились воины, получившие приказ препроводить их во дворец, где перед лицом короля Константинополя они должны были совершить все подвиги, которыми накануне похвалялись.

— Идемте, — сказал Карл Великий, — идемте и сотворим молитву господу и пресвятой богоматери. С ее помощью нам будет нетрудно исполнить нашу похвальбу.

Он пошел впереди всех, и осанка его была полна невиданного величия. Войдя во дворец, Карл Великий, Немон, Аимер, Гюон, Доон, Гильом, Ожье, Бернар, Рено, оба Жерара и Роланд, став на колени и сложив руки, вознесли пречистой деве такую молитву:

«Заступница наша, вкушающая райское блаженство, обрати к нам в нашей крайности благосклонный взор. Во имя королевства лилий *, покорного твоей воле, укрепи императора Франции и его двенадцать пэров и даруй им силу, дабы могли они исполнить свою похвальбу».

После чего они встали с колен успокоенные, полные мужества и отваги, ибо знали, что божья матерь не останется глуха к их просьбе.

Король Гугон, восседавший на золотом троне, сказал им:

— Сейчас вам придется исполнить вашу похвальбу, а тот, кто не совершит обещанного, будет обезглавлен. Пусть же каждый из вас немедля идет в

сопровождении воинов туда, где ему будет удобнее всего совершить те славные деяния, которыми он дерзко бахвалился вечером.

Выслушав приказ короля, они разошлись в разные стороны, охраняемые небольшими отрядами вооруженных людей. Одни направились в зал, где провели предыдущую ночь, другие — в сады. Бернар Брабантский устремился к реке, Роланд — к городским укреплениям. Лица у всех дышали отвагой. Во дворце остались только Карл Великий и Оливье: первый поджидал рыцаря, которого он обещал разрубить мечом пополам, второй — девственницу, на которой должен был жениться.

Спустя немного времени оглушительный шум, подобный тому, который должен возвестить людям о конце мира, донесся до дворцового зала, так что рубиновые птицы затрепетали на изумрудных кустах, а король Гугон чуть не свалился с золотого трона: то, грохоча, рушились стены, воя, неслись речные валы. Между тем гонцы, сбежавшиеся со всех концов города, дрожа и припадая к ногам короля, доносили об удивительных делах.

— Государь, — говорил один, — городские стены на протяжении добрых шестидесяти туазов рухнули в один миг.

— Государь, — говорил второй, — колонна, которая поддерживала ваш сводчатый зал, лежит на земле, а свод, подобно черепахе, движется к морю.

— Государь, — говорил третий, — река со всеми кораблями и рыбами хлынула на городские улицы и скоро достигнет стен дворца.

Король Гугон, бледный от ужаса, прошептал:

— Клянусь честью, эти люди истинные кудесники.

— Государь, — улыбаясь, сказал ему Карл Великий, — рыцарь, которого я жду, медлит приходом.

Гугон велел привести рыцаря. Тот явился. Он был высок ростом и весь закован в броню. Добрый император согласно обещанию рассек его пополам.

Тем временем Оливье размышлял: «Ясно, что эти чудеса могли свершиться только с помощью девы Марии, и сердце мое полнится радостью при виде столь

несомненных доказательств ее благоволения к Франции. Император и его пэры не напрасно возносили молитвы нашей покровительнице, пресвятой богоматери. Увы! Один я пострадаю за всех, только моя голова скатится с плеч. Ибо не могу же я просить непорочную деву, чтобы она помогла мне совершить мой подвиг! Он таков, что было бы нескромностью молить о помощи у той, чье имя — Лилия целомудрия, Башня из слоновой кости, Врата за семью запорами, Запертый сад. А без помощи небесной вряд ли я могу в полной мере совершить то, чем я похвалился».

Так думал Оливье, когда король Гугон внезапно обратился к нему:

— Граф, настал ваш черед исполнить обещанное.

— Государь, — ответил Оливье, — я с нетерпением жду принцессу, вашу дочь. Ибо сперва вы должны оказать мне великую честь, сочетав меня с ней законным браком.

— Это справедливо, — сказал король Гугон. — Я пришлю ее к вам вместе со священником, который вас обвенчает.

В церкви, во время венчания, Оливье думал: «Эта девственница — совершенство прелести и красоты. Я так жажду заключить ее в объятия, что нисколько не жалею о своей похвальбе».

Вечером, после ужина, двенадцать дам и двенадцать рыцарей, отвели принцессу Елену и графа Оливье в опочивальню и оставили там одних.

Они пробыли ночь вместе, а наутро, сопровождаемые стражей, предстали перед королем Гугоном. Тот сидел на троне, окруженный свитой. Возле него стояли Карл Великий и пэры.

— Ну как, граф Оливье, исполнили вы обещанное?

Оливье молчал, и король Гугон уже возрадовался при мысли, что велит отрубить голову своему зятю. Ибо его особенно уязвила похвальба Оливье.

— Отвечайте! — воскликнул он. — Осмеливаетесь ли вы утверждать, что совершили то, чем похвалялись?

Тогда принцесса Елена, залившись краской, потупив глаза и улыбаясь, ответила тихим, но внятным голосом:

— Да.

Карл Великий и пэры были очень довольны ответом принцессы.

— Видно, этим французам помогает не только бог, но и дьявол, — сказал король Гугон. — Значит, не суждено мне отрубить голову ни одному из вас... Приблизьтесь ко мне, зять мой.

И он протянул Оливье руку, которую тот поцеловал.

Карл Великий обнял принцессу и сказал:

— Елена, отныне я считаю вас своей дочерью в женой моего сына. Вы поедете с нами во Францию и будете жить при нашем дворе.

Потом, наклонившись, чтобы расцеловать ее в обе щеки, он шепнул ей:

— Вы ответили так, как подобало ответить благородной женщине. Но, скажите мне, это действительно правда?

— Государь, — промолвила она, — Оливье — смелый и учтивый рыцарь. Он так ласкал и ублажал меня, что мысли мои спутались, и я сбилась со счета. Он тоже не считал. Поэтому я полагаю, что он выполнил обещание.

Король Гугон устроил великое празднество по случаю свадьбы своей дочери. Потом Карл Великий и двенадцать пэров отбыли во Францию, увозя с собой принцессу Елену.

ЧУДО, СОТВОРЕННОЕ СОРОКОЙ

I

В лето от рождества Христова 1429, великим постом, календарь явил необыкновенное чудо, редкостное совпадение, поразившее всех верующих и даже ученых и опытных в числословии священнослужителей, ибо астрономия, мать календаря, была в то время еще христианской. В год 1429 страстная пятница пришлась на благовещение, так что один и тот же день, дивно воссоединив Иисуса, зачатого во чреве пресвятой девы, с Иисусом, принявшим крестную муку, оказался днем празднования сразу двух таинств, из коих одним началось, а другим завершилось искупление рода человеческого. Сия пятница, в которую таинство радостное столь точно совпало с таинством горестным, была названа «великой» и торжественно праздновалась в храме Благовещения на Монт-Анис. Этой старинной церкви папы издавна даровали право полного отпущения грехов в престольный праздник, а покойный Эли де Леотранж, епископ города Пюи, исхлопотал у папы Мартина подтверждение этой исконной привилегии, ибо такое право есть милость, которую папы охотно оказывают, когда их просят о ней достодолжным образом.

Отпущение грехов в великую пятницу привлекло в Пюи-ан-Веле множество паломников и торговцев. Еще с середины февраля, в дождь, холод и ветер, из отдаленнейших областей в Пюи-ан-Веле потянулись богомольцы. Большинство их шло пешком, опираясь на страннический посох. По мере возможности они старались двигаться вое вместе, толпами, чтобы не чересчур страдать от грабежа и вымогательства со стороны разбойников, хозяйничавших на дорогах, и местных сеньоров, которые взимали с путников непомерные пошлины за проход через свои владения. А так как наиболее опасный путь пролегал через горы, то паломники скапливались в окрестных городах — Клермоне, Иссуаре, Бриуде, Лионе, Исенжо, Але — и уж затем, когда набиралось много попутчиков, снова пускались в дорогу по занесенной снегом местности. Всю страстную неделю их шумные скопища наводняли крутые улицы Пюи: торговцы с лангедокских, прованских и каталонских ярмарок вели мулов, нагруженных кожами, маслом, шерстью, тканями и испанскими винами в козьих бурдюках; сеньоры скакали верхом, дамы следовали в каретах; ремесленники и богатые горожане ехали на мулах, посадив к ним на круп позади себя жен и дочек; за ними, с посохом в руке и котомкой за спиной, брели богомольцы из бедных, ковыляя, прихрамывая и отдуваясь на крутых подъемах, а затем тянулись стада быков и баранов, которых гнали на убой.

В один из этих дней, прислонясь к стене епископского подворья, некий Флоран Гильом, длинный, иссохший и черный, как виноградная лоза зимой, пожирал глазами пилигримов и стада.

— Гляди-ка, — сказал он кружевнице Маргарите, — гляди, до чего жирна скотина!

На что Маргарита, согнувшаяся над своими коклюшками, ответила ему:

— И впрямь здоровая да гладкая.

Им обоим никогда не доставалось много благ житейских, а теперь и вовсе приходилось голодать. И ходила молва, что во всем повинны они сами. Как раз в эту минуту, указывая на них пальцем с порога

своей лавки, Пьер Гранманж, торговец требухой, громко говорил:

— Грех быть милосердным к таким вот негодяям!

Этот торговец требухой хотя и не отказывал нищим в подаянии, однако боялся погубить свою душу, благотворя грешникам, и все добрые горожане Пюи разделяли его опасения. Справедливости ради заметим, что в расцвете своей юности, давно, впрочем, увядшей, кружевница Маргарита не затмевала, конечно, святую Люцию целомудрием, святую Агату стойкостью и святую Екатерину благоразумием. Что до Флорана Гильома, то раньше он был первым писцом во всем городе. Долгое время никто не умел лучше него переписывать молитвы к божьей матери Пюисской. Но он чересчур любил попировать и повеселиться. Мало-помалу рука его утратила твердость, а зрение остроту, и он уже не мог так же четко, как прежде, выводить буквы на велене. Конечно, он еще и теперь заработал бы себе на пропитание этим ремеслом, обучая ему ребятишек в своей нише под статуей богоматери на задней алтарной стене храма Благовещения, потому что был человеком разумным и сведущим. Но на беду свою он призанял однажды у мэтра Жак*е* Кокдуйля шесть ливров десять су, и, хотя затем, в разные сроки, выплатил ему целых восемьдесят ливров два су, за ним все еще значился долг в те же шесть ливров десять су по подсчету заимодавца, каковой подсчет судьи признали правильным, ибо Жаке Кокдуйль был весьма искусен в обращении с цифрами. Поэтому в субботу, 5 марта, в день святого Феофила, писцовое заведение Флорана Гильома, находящееся за церковью Благовещения, было продано с молотка в пользу Жаке Кокдуйля, и бедный писец остался без крова. Однако заботами Жана Мань, церковного звонаря, и попечением божьей матери, молитвы к которой он столько раз переписывал, Флоран Гильом находил себе по ночам пристанище на самом верху храмовой колокольни.

Писцу и кружевнице жилось горько и трудно. Маргарите удавалось кое-как перебиваться лишь благодаря случаю, потому что она уже утратила красоту, а плести кружева было ей не по вкусу. Они, как могли, поддерживали друг друга, за что горожане открыто порицали

их, хотя христианам подобало бы скорее воздать им за это хвалу.

Флоран Гильом был человек ученый. До мельчайших подробностей зная историю чудес Черной богоматери Пюисской и весь обряд великого отпущения грехов, он вознамерился стать проводником богомольцев, надеясь, что среди них найдется хоть одна сердобольная душа и он своими рассказами сумеет заработать себе на ужин. Но первые же паломники, которым он предложил свои услуги, грубо отказались от них, потому что его рваная одежда говорила не в пользу разумности и учености ее обладателя, и Флоран Гильом, усталый и опечаленный, вернулся на прежнее, пригретое солнцем место у стены епископского подворья, где стояла его подруга Маргарита.

— Им кажется, — горько сказал он, — что я недостаточно учен и потому не сумею перечислить им все святыни и рассказать о чудесах нашей богоматери. Уж не думают ли они, что мой разум ушел через дыры в одежде?

— Да нет, — возразила Маргарита, — разум-то остался, а вот тепло все как есть ушло. Я совсем закоченела. Верно говорят, что обо всех нас, и мужчинах и женщинах, судят по платью. Нарядись я как госпожа графиня Клермонская, я б и сейчас еще любезникам приглянулась.

Тем временем перед ними по всей улице двигались паломники, отчаянно проталкиваясь к святилищу, где они собирались получить отпущение всех своих грехов.

— Они там сейчас передавят друг друга, — заметила кружевница Маргарита. — Вот так же двадцать два года тому назад на паперти у Благовещения задохлось до смерти двести человек, упокой, господи, их души! Хорошее это было время: я тогда совсем молодая была.

— Что верно, то верно! В тот год, о котором ты говоришь, двести паломников выжали друг из друга дух и ушли из этого мира в иной. А на другой день о них уже позабыли.

Разговаривая таким образом, Флоран Гильом высмотрел в толпе толстого богомольца, который не столь

ревностно, как остальные, пробивался вперед за отпущением грехов и в смущении медлил, боязливо озираясь по сторонам. Флоран Гильом протиснулся к нему и почтительно поклонился.

— Мессир, — начал он, — сразу видно, что вы человек разумный и бывалый, ибо вы не спешите за отпущением, как вон те бараны на бойню. Ведь этой скотине до того не терпится, что задние тычутся мордой в хвост передним. А вот вы поступаете осмотрительно. Позвольте мне быть вашим проводником, и вы об этом не пожалеете.

Однако паломник, оказавшийся дворянином из Лиможа, ответил на тамошнем наречии, что он обойдется без такого дрянного оборванца и сам доберется до церкви, где ему отпустят все его прегрешения. С этими словами он двинулся было дальше, но Флоран Гильом бросился ему в ноги и, вцепившись себе в волосы, завопил:

— Стойте, стойте, мессир! Господом нашим и всеми святыми заклинаю вас: не идите дальше! Иначе вы погибли — а вы не из тех, на чью смерть смотришь без слез и без жалости. Еще два шага — и вы пропали! Ведь наверху страшная давка. Уже целых шестьсот паломников отдали богу душу, и это еще только начало. Разве не знаете вы, мессир, что двадцать два года назад, в лето тысяча четыреста седьмое, в такой же день и час, на этой самой паперти было до смерти задавлено девять тысяч шестьсот тридцать восемь человек, не считая женщин и малых детей? Мессир, если вас постигнет такая же участь, я буду безутешен: вы ведь такой человек, что, как вас увидишь, так и полюбишь, да еще сразу захочешь услужить вам во что бы то ни стало.

Изумленный лиможец остановился и, видя, как человек, выкрикивающий эти слова, рвет на себе волосы, побледнел и в страхе повернул назад. Но Флоран Гильом, не вставая с колен, ухватил его за полу и продолжал:

— Не ходите этой дорогой, мессир! Только не этой! На ней вы можете повстречать Жаке Кокдуйля и тогда сразу превратитесь в камень. Лучше вам василиска

встретить, чем Жаке Кокдуйля! Знаете, что вам надо сделать, если вы в самом деле человек благоразумный и осторожный, каким кажетесь с виду, и если вы хотите долгой жизни и спасения души? А вот послушайте. Я бакалавр. Сегодня по всем улицам и перекресткам будут носить наши святыни. Вам будет ниспослано великое облегчение, если вы коснетесь ковчежцев, где заключены сердоликовая чаша, из коей пил Иисус во младенчестве, сосуд из Каны Галилейской *, скатерть, покрывавшая стол на тайной вечере, и крайняя плоть Христова. Доверьтесь мне, и пойдем подождем выноса святынь где-нибудь в тепле, ну хоть в одной знакомой мне таверне, мимо которой непременно пройдет процессия.

И он прибавил проникновенным голосом, крепко держа лиможца за полу и указывая на кружевницу:

— Мессир, дайте шесть су этой достойной женщине. Пусть сходит и купит нам вина, — она знает тут одно хорошее местечко.

Лиможский дворянин, человек простодушный, дал себя увести, и Флоран Гильом поужинал добрым куском гусятины, косточки же унес с собой для госпожи Изабо, проживавшей вместе с ним под самыми стропилами колокольни. Изабо была сорока, и принадлежала она Жану Мань, звонарю.

Вернувшись ночью, он нашел ее на обычном месте — на балке, где она всегда спала возле небольшой щели в стене, служившей ей кладовой, куда она прятала орехи, зернышки плодов, миндаль и буковые желуди. Услышав его шаги, она проснулась и захлопала крыльями, а Флоран Гильом ласково поздоровался с нею и произнес такое учтивое приветствие:

— О сорока, богомолка-стрекотунья, госпожа затворница, белобокая черница, поднебесная схимница, аббатиса колокольная, церковная жительница, птаха монастырская, радуйся!

И, подав ей гусиные косточки, опрятно завернутые в капустный лист, прибавил:

— Госпожа, дозвольте предложить вам объедки доброго ужина, которым накормил меня некий лиможский дворянин. Правда, все лиможцы — репоеды, но

этого я все же убедил, что анисский гусь лучше лиможской репы.

Все следующие дни до самого воскресенья Флорану Гильому не попадались больше ни его лиможец, ни другие щедрые богомольцы при деньгах, и он постился a solis ortu usque ad occasum [1]. Кружевнице Маргарите пришлось поневоле следовать его примеру. И это было очень кстати, потому что шла страстная неделя.

II

Так вот, в день святой пасхи именитый горожанин Жаке Кокдуйль стоял у себя дома возле окна и сквозь щель между ставнями смотрел на бесчисленных паломников, поднимавшихся по крутой улице. Они шли умиротворенные полученным отпущением, и вид их преисполнял Кокдуйля все б*о*льшим благоговением перед Черной богоматерью. Ибо он считал, что раз к ней стекается такое множество почитателей, значит она весьма могущественна. Он же был стар и мог уповать только на милосердие божие. К тому же он все чаще сомневался в спасении души своей, ибо помнил, что ему нередко случалось безжалостно пускать по миру вдов и сирот. А совсем недавно он отнял у Флорана Гильома его писцовое заведение, что под статуей пречистой девы.

Жаке Кокдуйль ссужал деньгами под заклад и за хорошие проценты. Это, однако, не означало, что он считал себя ростовщиком, ибо он был христианин, деньги же в рост, как известно, дают только евреи, да еще, пожалуй, ломбардцы и кагорцы. А Жаке Кокдуйль приращивал свое достояние совсем иначе, чем евреи. Он, к примеру, не говорил, подобно Иакову, Ефрему и Манассии: * «Я ссужу вас деньгами», но заявлял: «Я вложу деньги в вашу торговлю и дело», а это большая разница. Ибо ростовщичество и ссуды под проценты церковью запрещены, торговля же дозволена и узаконена. И все-таки при мысли о том, что он вверг

---

[1] От восхода солнца до заката (*лат.*).

множество христиан в нищету и отчаяние, Жаке Кокдуйль испытывал угрызения совести, особенно когда подумывал, что час суда божьего над ним уже близок.

И вот на святую пасху Кокдуйлю пришло в голову заручиться ко дню Страшного суда заступничеством пресвятой девы. Он решил, что она охотнее будет представительствовать за него в судилище ее божественного сына, если он, Жаке, сделает ей хорошее подношение. С этим он направился к большому сундуку, где хранил свое золото, и, удостоверившись, что дверь в комнату крепко заперта, поднял крышку. Сундук был набит деньгами. Там лежали анжелоты, флорины, эстерлины, нобли, золотые кроны, салюдоры, экю с выбитым на них солнцем и разные другие христианские и сарацинские монеты. Вздыхая, Кокдуйль вытащил оттуда двенадцать золотых денье добротной чеканки и положил их на стол, уставленный и заваленный весами, напильниками, ножницами, разновесками и счетными книгами. Заперев сундук на три оборота ключа, он вернулся к столу, пересчитал свои денье один раз, затем второй раз и, глядя на них долгим и любовным взглядом, обратился к ним с такими ласковыми, учтивыми, приятными, вежливыми и любезными словами, что речь его походила скорее на небесную музыку, чем на человеческий язык.

— О мои овечки, — вздыхал жалостливый старец, — о мои дорогие ягнятки, мои прекрасные златорунные барашки!

И, беря их кончиками пальцев и столь почтительно, как если б то было тело господне, он положил монеты на весы и убедился, что они полного или почти полного веса, хотя их уже немного пообрезали * ломбардцы и евреи, через руки которых они прошли.

После этого он заговорил с ними еще нежнее прежнего:

— О милые барашки, мои сладкие ягняточки! Давайте-ка я вас чуточку постригу. Тихонько, тихонько, вам совсем не будет больно.

И, схватив большие ножницы, он осторожно принялся обрезать со всех сторон эти денье, как обычно поступал со всеми монетами, прежде чем расстаться с

ними. Затем он бережно смел стружки в деревянную чашку, уже до половины наполненную крупицами золота. Он честно решил поднести двенадцать золотых ягнят пресвятой деве, но и на сей раз не смог отступить от своего обыкновения. Покончив с этим делом, он достал из шкафа, куда прятал заклады, голубой, шитый серебром кошелек, который не выкупила у него вовремя одна убогая, впавшая в нужду женщина. Он знал, что голубое с белым — цвета божьей матери.

Ни в этот день, ни на другой он больше ничего не предпринял. Однако в ночь с понедельника на вторник у него начались корчи, и ему приснилось, будто черти волокут его за ноги. Он истолковал этот сон как предостережение, которое ему посылают господь и пречистая дева, и, раздумывая об этом, целый день просидел дома, а когда стало смеркаться, отнес свое приношение Черной богоматери.

III

В тот же вторник, поздно вечером, Флоран Гильом, горько задумавшись, возвращался в свое открытое ветрам пристанище. Весь день он пропостился, хоть и не по своей воле, ибо полагал, что пост на святой неделе не к лицу доброму христианину. Перед тем как подняться на колокольню и лечь спать, он хотел усердно помолиться присноблаженной деве Пюисской. Она все еще находилась посреди церкви, на том самом месте, где была выставлена в великую пятницу, чтобы верующие могли ей поклониться. Маленькая и черная, в венце из драгоценных камней, в покрове, сверкающем золотом, самоцветами и жемчугом, она держала на коленях младенца, тоже совсем черного, головка которого выглядывала из-под ее покрова. Эту чудотворную статую Людовик Святой * получил в дар от султана египетского и самолично привез в Анисскую церковь.

Богомольцы уже разошлись. В храме было пусто и темно. У ног Черной богоматери, на столе, озаренном свечами, грудой лежали последние приношения верующих. Там были голова, сердца, руки, ноги, женские груди из серебра, золотая ладья, яйца, хлебы, орильякские

сыры, а в деревянной чаше, полной денье, су и грошей, поблескивал серебряным шитьем маленький голубой кошелек. Подле стола в большом покойном кресле дремал священник — хранитель всех этих даяний.

Флоран Гильом преклонил колена перед святым изображением и в мыслях своих усердно вознес такую молитву:

«Владычица наша, если правда, что святой пророк Иеремия, узрев тебя духовными очами еще до того, как ты была зачата, вырезал из кедра, по подобию твоему, сие святое изображение, пред коим я стою на коленях; если правда, что потом царь Птолемей, прознав о чудесах, творимых твоим святым изображением, отнял его у священников иудейских, увез в Египет и, украсив самоцветами, поставил в храме рядом с идолами; если правда, что Навуходоносор, победитель египтян, в свой черед завладел им и скрыл его в своей сокровищнице, где его и нашли сарацины, когда взяли Вавилон; если правда, что султан возлюбил его превыше всего своего достояния и поклонялся ему по меньшей мере раз в день; если правда, что султан этот никогда бы не отдал его нашему святому королю Людовику, не сумей жена султана, родом сарацинка, чтившая, однако, рыцарскую доблесть, уговорить своего супруга подарить сие изображение лучшему и доблестнейшему из всех христианских рыцарей; наконец, если правда, — а я в это верю всем сердцем, — что сие изображение чудотворно, — то повели ему, владычица, сотворить еще одно чудо ради бедного писца, который не единожды переписывал хвалу тебе на велень требников. Он освятил свои грешные руки, когда, отменным почерком и раскрашивая киноварью заглавные буквы, выводил на утешение страждущим «Пятнадцать радостей девы Марии» на родном французском языке и в стихах. Такое занятие угодно богу! Памятуя об этом, отпусти мне мои прегрешения, владычица! Ниспошли мне пропитание, отчего мне будет благо, а тебе — великая слава, ибо всякий, кто опытен в делах мирских, сочтет это немалым чудом. Нынче тебе поднесли золото, яйца, сыры и голубой кошелек с серебряным

шитьем. Я не завидую этим дарам, ибо ты, владычица, достойна их и много бо́льших. Я не прошу тебя даже вернуть мне то, чего лишил меня вор Жаке Кокдуйль, один из самых именитых людей в твоем городе Пюи. Нет! Я молю тебя лишь об одном: не дай мне погибнуть голодной смертью. И если ты даруешь мне эту милость, я напишу пространную и прекрасную историю твоего изображения, стоящего здесь во храме».

Так молился Флоран Гильом. Легкому дыханию молящегося отвечало лишь глубокое и мирное похрапывание хранителя приношений. Бедный писец поднялся с колен, бесшумно пересек неф, ибо стал настолько легок, что даже поступь у него теперь была неслышная, и, по-прежнему, натощак, начал взбираться по лестнице, которая насчитывала столько же ступенек, сколько в году дней.

В эту минуту госпожа Изабо шмыгнула сквозь дверную решетку и вошла в храм. Днем ее прогнали оттуда шумные богомольцы, ибо она любила тишину и безлюдье. Она осторожно двинулась вперед, медленно, одну за другой, переставляя лапки, потом остановилась, вытянула шею, опасливо оглянулась по сторонам и вдруг, не без изящества потряхивая хвостом, вприпрыжку приблизилась к Черной богоматери и замерла на месте, не спуская глаз со спящего стража. Она прислушалась, всматриваясь в темноту затихшей церкви, потом сильно взмахнула крыльями и вскочила на стол с приношениями.

IV

На колокольне Флоран Гильом лег спать. Там было холодно. Ветер задувал под карнизы, прикрывавшие стенные проемы, и, к немалой радости сов и кошек, извлекал из колоколов звуки, подобные нестройному пению органа и флейт.

Но у этого жилища были и другие изъяны. После землетрясения 1427 года, расшатавшего всю церковь, каменный шпиль колокольни стал понемногу осыпаться и грозил обрушиться при первой же непогоде. Пречистая

дева, несомненно, допустила такое бедствие в наказание за грехи людские. Тем не менее Флоран Гильом уснул. И это доказывает, что совесть у него была чиста. Воспоминаний о виденном им во сне почти не сохранилось, кроме разве одного: ему приснилось, что некая жена совершеннейшей красоты целует его. Но, пожелав вернуть поцелуй и протянув к ней губы, он тут же проглотил двух или трех мокриц, ползавших по его лицу. Их легкое прикосновение и принял за поцелуй его погруженный в дремоту разум. Писец проснулся, услышал над собой хлопанье крыльев и решил, что над ним летает бес; этому не следует удивляться, ибо полчища бесов слетаются мучить людей именно ночью. Но как раз в эту минуту месяц выглянул из-за туч, и Флоран Гильом узнал госпожу Изабо, которая, держа в клюве голубой, шитый серебром кошелек, опускала его в щель стены, служившую ей кладовой. Писец не шелохнулся: но когда сорока покинула свой тайник, Флоран влез на балку, схватил кошелек, открыл его и увидел там двенадцать золотых барашков, которые он засунул за пояс, вознося благодарственную молитву Черной деве Пюисской, ибо, как человек ученый и начитанный в Писании, он никогда не забывал, что господь повелел ворону питать пророка Илию. Из этого он заключил, что пресвятая матерь божья тоже посылает через посредство сороки двенадцать денье своему писцу Флорану Гильому.

На другой день Флоран и кружевница Маргарита пообедали целой миской потрохов, о которых они мечтали уже много лет.

На этом кончается повесть о чуде, сотворенном сорокой. Пусть тот, кто ее рассказал, проживет жизнь в согласии со своими желаниями, в добром мире и счастии, а те, кто ее прочтет, удостоятся всех и всяческих благ.

БРАТ ЖОКОНД

Парижане не любили англичан и выносили их с трудом. Когда, после погребения покойного короля Карла VI, перед герцогом Бедфордом несли по его приказу шпагу короля Франции, народ роптал. Но приходится терпеть то, чему не можешь противиться. Впрочем, если у англичан в великом городе не было сторонников, то у бургундцев их было немало. Понятно, что горожане, особенно же менялы и торговцы, восхищались герцогом Филиппом: это был красивый принц, самый богатый вельможа всего христианского мира. Что же до маленького короля из Буржа, невзрачного с виду и бедного, к тому же сильно подозреваемого в подлом убийстве на мосту Монтеро *, то он ничем не мог бы привлечь сердца. Его презирали, а к приверженцам его питали страх и отвращение. Уже целых десять лет его сторонники разоряли всю округу, занимаясь вымогательством и грабежом. Англичане и бургундцы, разумеется, поступали так же: когда в августе 1423 года герцог Филипп прибыл в Париж, его воины разграбили все окрестности; а ведь это были друзья и союзники. Но они только прошли мимо; арманьяки же, напротив, без конца шатались вокруг. Они крали все, что попадалось под руку, поджигали овины и церкви, убивали женщин и детей, насиловали девушек и монахинь, а

мужчин подвешивали за большие пальцы рук. В 1420 году они, словно дьяволы, сорвавшиеся с цепи, ринулись на деревню Шампиньи и сожгли овес, пшеницу, коров, быков, овец, женщин и детей. Так же, и даже еще сильней, они бесчинствовали в Круасси. Ученейший доктор университета утверждал, что ими совершены такие злодейства, страшнее которых нельзя ни совершить, ни представить себе, и замучено больше христиан, чем Максимианом и Диоклетианом *.

При известии, что проклятые арманьяки вступили в Компьень и добрались уже до замков в окрестностях столицы, жители Парижа сильно перепугались. Они убеждены были, что люди дофина поклялись, если только возьмут Париж, истребить там всех поголовно. Открыто говорили, что город со всеми его жителями, старыми и малыми, женщинами и мужчинами любого состояния и достатка, мессир Карл Валуа обещал отдать своим людям на поток и разграбление, решив сравнять его с землей.

Так думало большинство горожан. Поэтому они и прикрепили крест св. Андрея к своей одежде в знак того, что они на стороне бургундцев. Их ненависть и тревога возросли вдвое, когда они узнали, что войско Карла Валуа ведут брат Ришар * и дева Жанна. Жанну они знали только по рассказам о победах, одержанных ею под Орлеаном. Но они думали, что она победила англичан с помощью дьявола, чарами и колдовством. Профессора университета говорили: «Арманьяков ведет какое-то существо в образе женщины. А что это такое — один господь ведает». Брата же Ришара знали хорошо, потому что тот еще недавно был в Париже, и все благоговейно слушали его проповеди. Он убедил горожан отказаться от азартных игр, из-за которых они забывали пить, есть и ходить к обедне. Теперь же, получив известие, что брат Ришар разъезжает верхом с арманьяками и своим краснобайством переманивает на их сторону такие славные города, как Труа в Шампани, они призывали на него проклятье господа бога и всех святых. Они срывали со своих шляп свинцовые образки со святым именем Христа, которые пораздавал им брат Ришар, и из ненависти к нему снова приня-

лись играть в кости, в шары, в шашки и во все другие игры, от которых они было отказались после его увещеваний.

Город был укреплен, потому что, когда король Иоанн был у англичан в плену, жители Парижа, видя врагов в самом сердце страны, убоялись осады и поспешили подготовиться к обороне. Они окружили город двойным рядом рвов. На левом берегу рвы были выкопаны у подножья старинной городской стены. На правом берегу многочисленные и хорошо укрепленные предместья доходили почти до самого города. Рвы опоясали некоторые из них; позже Карл, сын короля Иоанна, тогда еще дофин, повелел возвести стену вдоль этих рвов. Тем не менее были причины тревожиться, раз даже капитул собора озаботился спрятать от врагов мощи и сокровищницу в безопасное место.

И вот в воскресенье, 21 августа, явился в город монах-кордельер, по имени брат Жоконд. Он совершил паломничество в Иерусалим, и говорили, что ему, как брату Венсану Ферье и брату Бернардину из Сьены, неоднократно были откровения о близком конце света. Он объявил, что произнесет первую проповедь парижанам в следующий вторник, в день святого Варфоломея, в монастыре Вифлеемских младенцев. Накануне этого дня более шести тысяч человек провели ночь в монастыре. У помоста, с которого он должен был говорить, сидели на корточках женщины. Среди них находилась Гильометта Дионис, слепорожденная.

Она была дочь ремесленника, убитого арманьяками в большом Булонском лесу. Мать ее была увезена одним из бургундских воинов, и никто не знал, что с ней сталось. Гильометте было лет пятнадцать — шестнадцать. В монастыре Вифлеемских младенцев она жила тем, что пряла шерсть. Во всем городе не было лучшей прядильщицы. Она ходила по улицам без посторонней помощи и знала город так же хорошо, как и зрячие. Так как она вела праведную и святую жизнь и часто постилась, то ей бывали видения. Так было ей откровение от святого апостола Иоанна о смуте во французском королевстве. И вот, когда она вполголоса молилась у подножья помоста под большим изображением

пляски смерти, женщина, по имени Симона Лабардин, сидевшая на земле рядом с ней, опросила ее, скоро ли прибудет святой отец.

Гильометта Дионис не видела ни зеленого платья со шлейфом, ни высокого двурогого колпака Симоны Лабардин; однако она догадывалась, что та не была женщиной безупречной жизни. Она испытывала естественное отвращение к женщинам, промышляющим любовью, к тем, кого люди военные зовут «милашками» или «красотками», но она чувствовала, что их надо жалеть и обращаться с ними милосердно. Поэтому Гильометта ласково ответила Симоне Лабардин:

— Святой отец скоро посетит нас, если будет угодно господу. И мы не пожалеем о том, что ждали его, потому что он человек сведущий, его речи и проповеди наставляют народ в благочестии еще более, чем речи брата Ришара, проповедовавшего прошлой весной в этом же монастыре. Святой отец знает лучше любого из мирян, какие нам предстоят времена и какие необыкновенные чудеса должны свершиться. Я думаю, что его речи будут нам на благо.

— Дай-то бог, — молвила со вздохом Симона Лабардин. — Но скажите, вы не скорбите о том, что лишены зрения?

— Нет, я надеюсь увидеть бога.

Симона Лабардин подмостила себе под бок свою накидку и сказала:

— В жизни все — либо радость, либо горе. Я живу в конце улицы Сент-Антуан. Это самое красивое место в городе и самое веселое: ведь все лучшие гостиницы находятся на площади Боде или поблизости от нее. До этой войны там всегда можно было раздобыть горячий хлеб, свежие селедки и осеррское вино целыми бочками. Вместе с англичанами к нам пришел голод. Нет больше ни хлеба в ларе, ни вязанки хвороста в печи. Арманьяки, а за ними бургундцы выпили все вино, и в погребах осталась только лишь какая-то бурда из выжимок яблок и слив. Ни рыцари, вооруженные для турниров, ни пилигримы в капюшонах, с посохами в руках, ни купцы со своими мулами и сундуками, наполненными ножевым товаром или молитвен-

никами, — никто больше не приезжает на улицу Сент-Антуан, чтобы получить там ночлег и всласть пообедать. Только волки выходят по вечерам из окрестных лесов и пожирают в предместьях маленьких детей.

— Уповайте на господа, — сказала Гильометта Дионис.

— Аминь! — ответила Симона Лабардин. — Но вы еще не слышали про самое худшее. В четверг, накануне Иванова дня, в три часа ночи постучались в мою дверь два англичанина. Опасаясь, что они пришли меня обворовать или же для развлечения разнести в щепы мои сундуки и лари, или же устроить еще какое-нибудь бесчинство, я крикнула им из окна, чтобы они шли своей дорогой, что я их совсем не знаю и не открою им. Тогда они начали стучать еще сильнее, грозя высадить дверь и отрезать мне нос и уши. Чтобы прекратить этот шум я вылила им на голову кувшин воды, но кувшин выскользнул у меня из рук и разбился о голову одного из англичан, да так неудачно, что уложил его на месте. Его приятель позвал стражу. Меня увели в Шатле и бросили в темницу, откуда я вышла, лишь уплатив большую сумму денег. Дома я застала полный разгром — все от погреба до чердака было разграблено. С той поры дела мои идут все хуже и хуже. У меня не осталось ничего, кроме лохмотьев, которые на мне. В отчаянье я пришла послушать святого отца; говорят, что его речи приносят большое утешение.

— Господь любит вас, — сказала Гильометта Дионис. — Это он привел вас сюда.

В толпе воцарилось молчание. Брат Жоконд появился на помосте. Глаза его метали молнии. Он заговорил, и голос его зазвучал как раскаты грома:

— Я побывал в Иерусалиме, доказательства чему — здесь, в этой суме: иерихонские розы, ветвь оливкового дерева, под которым Иисус Христос исходил кровавым потом, и горсть земли с Голгофы.

Он долго рассказывал о своем паломничестве. И добавил:

— В Сирии я встретил евреев, шедших куда-то большими толпами; я спросил их, куда они идут, и они ответили мне: «Мы идем толпою в Вавилон, потому

что воистину мессия родился среди людей, и он вернет нам наше наследие и приведет нас в землю обетованную». Так говорили евреи из Сирии. Однако Писание учит нас, что тот, кого они именуют мессией, в действительности — антихрист, о коем написано, что он родится в Вавилоне, столице Персии, будет вскормлен в Вифсаиде и поселится в юности в Хоразине. Вот почему Иисус Христос сказал: «Vae, vae tibi, Bethsaida! Vae, Chorozain!» [1].

Далее брат Жоконд сказал:

— Будущий год явит самые необычайные чудеса, каких еще никто никогда не видел. Близок час. Уже родился человек греха, сын гибели и злобы, зверь, вышедший из бездны, мерзость отчаяния. Он из колена Данова, о коем сказано: «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути».

Братья, вы скоро увидите, как вернутся на землю пророки: Илия, Енох, Моисей, Иеремия и святой Иоанн Евангелист. Грядет день гнева, и обратит он мир сей во прах, по свидетельству Давида и Сивиллы. Вот почему вы должны покаяться, искупить грехи свои и отречься от ложных благ.

В ответ на слова святого брата глубокие вздохи вырывались из растроганных сердец. А некоторые мужчины и женщины едва не лишились чувств, когда проповедник воскликнул:

— Я читаю в сердцах ваших, что вы держите у себя дома корни мандрагоры, из-за которых вы попадете в ад.

Действительно, многие парижане платили большие деньги старухам, желающим знать больше, чем положено человеку, за корни мандрагоры, которые затем с величайшей заботливостью хранили в особой шкатулке. Эти магические корни похожи на уродливого человечка сатанински причудливой формы. Их заворачивали в тонкое полотно или шелк, и эти фигурки приносили богатство — источник всего зла в этом мире.

Брат Жоконд на все лады громил женские наряды и украшения.

---

[1] Горе, горе тебе, Вифсаида! Горе тебе, Хоразин! (*лат.*).

— Откажитесь, — говорил он, — от рогов на ваших колпаках и от платьев с хвостами! Не стыдно ли вам наряжаться дьявольскими отродьями. Разложите костры на улицах и сожгите ваши проклятые головные уборы, ожерелья, тонкие полотна, куски кожи на китовом усе, которые вы вставляете в свои колпаки.

Словом, он так усердно молил их не губить свои души и заслужить милость божию, что все плакали горючими слезами. И Симона Лабардин плакала больше всех.

Когда, сойдя с помоста, брат Жоконд проходил по монастырю и костехранилищу, народ становился на колени. Женщины подносили к нему детей, дабы он благословил их, или просили его дотронуться до их образков и четок. Некоторые вырывали нитки из его одежды, веря, что их надо прикладывать к больному месту и тогда получишь исцеление. Гильометта Дионис шла за монахом с такой легкостью, как если бы ее плотские очи могли видеть. Симона Лабардин, рыдая, следовала за Гильометтой. Она сняла свой двурогий колпак и повязала голову платком.

Так шли они по улицам, где женщины и мужчины, возвратясь с проповеди, разводили костры перед своими домами, чтобы сжечь уборы, которые они срывали с головы, а также корни мандрагоры. Но, дойдя до берега реки, брат Жоконд сел под вязом, а Гильометта Дионис подошла к нему и сказала:

— Отец мой, мне было откровение, что вы пришли в это королевство восстановить мир и согласие. Мне не раз бывали откровения о мире во французском королевстве.

А Симона Лабардин сказала:

— Брат Жоконд, я жила на улице Сент-Антуан, рядом с площадью Боде, в самом красивом и самом богатом квартале Парижа. У меня была комната, устланная коврами, накидки из золотой парчи и три больших сундука с платьями, отделанными беличьим мехом; у меня была пуховая постель, поставец, полный оловянной посуды, и книжка с картинками, где изображена была история господа нашего Иисуса Христа, Но я все потеряла, когда начались войны и

грабежи. Любезные кавалеры не приезжают больше повеселиться на площадь Боде. Только волки забегают туда и пожирают маленьких детей. Бургундцы и англичане так же злы, как и арманьяки. Позволите ли вы мне пойти с вами?

Некоторое время монах молча смотрел на этих двух девушек. И сочтя, что сам Иисус Христос привел их к нему, он принял их как своих дочерей духовных, и с тех пор они следовали за ним повсюду. Ежедневно он проповедовал народу то в монастыре Вифлеемских младенцев, то у ворот Сент-Оноре, то на Большом рынке. Но он не выходил за городскую черту из-за арманьяков, рыскавших вокруг. Своими речами он наставлял парижан в благочестии. И после четвертой проповеди, произнесенной в Париже, к нему присоединилась как его духовная дочь Жанетта Шатенье, жена суконщика с моста Менял, и еще другая, пожилая женщина, по имени Оппортюна Жадуэн, ухаживавшая за больными в богадельне. Он принял в число своих духовных детей садовника из Виль-Эвек, по имени Робен, шестнадцатилетнего юношу, у которого на руках и на ногах были стигматы и все тело непрестанно тряслось. Этот юноша видел святую деву во плоти, слышал ее речи и ощущал благоухание ее пречистого тела. Она дала ему поручение к регенту Англии и к герцогу бургундскому.

Между тем армия мессира Карла Валуа вступила в город Сен-Дени, и с тех пор никто не решался выходить собирать виноград и снимать овощи на огородах, покрывавших всю долину к северу от города. Все сразу подорожало. Жители Парижа жестоко страдали и были сильно раздражены, так как считали, что кто-то их предал. Действительно, говорили, будто какие-то люди, главным образом монахи, подкупленные Карлом Валуа, ждут только удобного случая, чтобы вызвать смятение и впустить врага в город, объятый страхом и растерянностью. Преследуемые этой мыслью, не лишенной, может быть, основания, горожане, которым было поручено охранять укрепления, круто обходились со всеми людьми сомнительного вида, замеченными поблизости от городских ворот и навлекшими на себя

малейшее подозрение в том, что они подают условные знаки арманьякам.

В четверг 8 сентября парижане проснулись, не опасаясь нападения ранее следующего дня. Ведь 8 сентября праздновалось рождество пресвятой богородицы. А в обоих станах, терзавших королевство своими раздорами, соблюдались праздники рождества Христова и блаженной матери его.

В этот святой день парижане, возвращаясь от обедни, узнали, что, невзирая на великий праздник, арманьяки подошли к воротам Сент-Оноре и подожгли укрепление, прикрывавшее подступы к ним. Разнесся слух, что воины Карла Валуа сейчас находятся вместе с братом Ришаром и девой Жанной на Свином рынке. После обеда по всему городу, по обе стороны от мостов, послышались крики: «Спасайся кто может! Враги в городе, все погибло!» Этот вопль проник в церкви, где почтенные горожане пели вечерние молитвы. Они в страхе разбежались и заперлись в своих домах. А те, что кричали, были подосланы Карлом Валуа. Действительно, в это время маршал де Рэ * со своим отрядом штурмовал стену близ ворот Сент-Оноре. Арманьяки подвезли на двухколесных тележках большие фашины * и плетеные решетки, которыми закидывают рвы, и более шестисот штурмовых лестниц. Дева Жанна, которая была совсем иной, чем ее представляли себе бургундцы, и вела благочестивую жизнь, соблюдая целомудрие, спешилась и первая спустилась в мелкий ров, который легко можно было перейти, потому что он давно высох. Но он был прикрыт лучниками и арбалетчиками, стрелы которых дождем сыпались со стен. А дальше был большой ров, широкий и полный воды. Все это и служило серьезным препятствием для девы Жанны и воинов. Жанна измерила глубину большого рва копьем и крикнула, чтобы ров забросали фашинами.

В городе был слышен гул пушек, горожане спешили по улицам к своим постам на крепостном валу, на бегу надевая доспехи и сбивая с ног детей. Везде натягивались цепи и воздвигались баррикады. Повсюду царили волнение и суматоха.

Но ни брат Жоконд, ни его духовные чада ничего не замечали, ибо заботились о вечном и считали пустой игрой суетные волнения человеческие. Они ходили по улицам, пели: «Veni, creator Spiritus» [1], — и кричали: «Молитесь! Близок час».

Так шли они в полном порядке по улице Сент-Антуан, где всегда собиралось много мужчин, женщин и детей. Дойдя до площади Боде, брат Жоконд пробился сквозь толпу парижан и влез на большой камень у дверей гостиницы «Свинья и поросята», с которого мессер Флоримон Лекок, хозяин этой гостиницы, обычно взбирался на своего мула. Этот Флоримон Лекок был сержантом в Шатле и сторонником англичан.

И с высоты камня у гостиницы «Свинья и поросята» брат Жоконд стал проповедовать народу.

— Сейте, — говорил он, — сейте, люди добрые; сейте в изобилии бобы, ибо тот, кто должен прийти, скоро придет.

Под бобами, которые надо было сеять, святой брат подразумевал добрые дела, которые следует совершить до того, как господь явится среди грозовых туч, чтобы судить живых и мертвых. Итак, надо было сеять добрые дела, и нельзя было медлить, ибо близилось время жатвы. Гильометта Дионис, Симона Лабардин, Жанна Шатенье, Оппортюна Жадуэн и Робен-садовник, окружив монаха, вскричали: «Аминь». Но горожане, толпившиеся сзади, напрягли свой слух и нахмурили брови, полагая, что монах возвещает вступление Карла Валуа в свой прекрасный город, который он хотел сравнять с землей, чтобы потом распахать эту землю. Так по крайней мере им показалось. Между тем святой брат продолжал свою евангельскую проповедь:

— Парижане, вы хуже язычников Рима.

Грохот бомбард, доносившийся от ворот Сен-Дени, сопровождал речь брата Жоконда и тревожил сердца жителей. В толпе кто-то крикнул: «Смерть изменникам!» В это самое время Флоримон Лекок вооружался у себя дома. Заслышав шум, он спустился вниз, не

---

[1] Гряди, творец небесный (*лат.*).

застегнув даже пряжек на туфлях. Увидев монаха на своем камне, он спросил:

— Что говорит этот святой отец?

Несколько голосов ответило:

— Он говорит, что Карл Валуа войдет в город.

— Он против парижан.

— Он хочет предать и обмануть нас, как брат Ришар, который теперь разъезжает верхом вместе с нашими врагами.

А брат Жоконд ответил:

— Нет ни арманьяков, на бургундцев, ни французов, ни англичан — есть только сыны света и сыны мрака. Вы — распутники, а женщины ваши — потаскухи.

— Это уж подлинно отступник, изменник, колдун! — вскричал Флоримон Лекок, и, вытащив меч, он вонзил его в грудь святого монаха.

Божий человек побелел, но еще успел промолвить:

— Братья, молитесь, поститесь, кайтесь, и господь простит вас.

Голос его прервался. Монах захлебнулся кровью и упал на мостовую. Два английских рыцаря, сэр Джон Стюарт и сэр Джордж Моррис, набросились на тело монаха и искололи его кинжалами, вопя во все горло:

— Да здравствует король Генрих! Да здравствует его высочество герцог Бедфорд! Бей дофина! Бей безумную деву арманьяков! К воротам! К воротам!

И они побежали к стенам, увлекая за собой мессира Флоримона и толпу парижан.

Между тем святые девушки и садовник окружили истекающее кровью тело. Симона Лабардин, распростершись на земле, целовала ноги святого брата и вытирала с них кровь своими распущенными волосами.

Но Гильометта Дионис, выпрямившись во весь рост и воздев руки к небу, произнесла голосом, чистым, как колокольный звон:

— Сестры мои Жанна, Оппортюна и Симона и брат мой Робен-садовник, пойдемте, ибо час близится. Душа этого святого отца держит меня за руку, и она поведет меня. Вот почему надо вам следовать за мной. И мы скажем тем, кто ведет жестокую войну: «Обнимитесь!

И если вы хотите пустить в ход ваше оружие, возложите на себя крест и идите все вместе сражаться с сарацинами». Пойдемте, сестры мои и брат мой!

Жанна Шатенье подняла с земли древко стрелы, переломила его пополам и возложила на грудь брата Жоконда.

Затем святые девушки и с ними садовник последовали за Гильометтой Дионис, а та вела их по улицам, площадям и переулкам так, как если бы глаза ее видели свет божий. Они дошли до крепостного вала и по лестнице одной из башен, на которой не было охраны, поднялись на стену. В этом месте ее не успели прикрыть деревянным парапетом. Поэтому они шли на виду у всех, направляясь к воротам Сент-Оноре, окутанным пылью и дымом. Именно здесь воины маршала де Рэ штурмовали Париж. Их стрелы градом сыпались на стены. Они забрасывали фашинами большой ров, полный воды. И дева Жанна, стоя на двухскатной насыпи между большим и малым рвами, кричала: «Сдавайтесь королю Франции!» Испуганные англичане уже покинули стены, оставив там своих убитых и раненых.

Первой шла Гильометта Дионис, высоко подняв голову и вытянув левую руку вперед. Правою она набожно крестилась. Симона Лабардин следовала за ней. Затем шли Жанна Шатенье и Оппортюна Жадуэн; Робен-садовник замыкал шествие. Все тело его подергивалось, а на руках видны были стигматы. Они пели хвалу господу. И Гильометта, поворачиваясь то в сторону города, то в сторону полей, говорила: «Обнимите друг друга. Живите в мире. Перекуйте мечи в орала».

Едва отзвучали эти слова, как со стены, по которой проходил отряд горожан, и с насыпи, где толпились наемные солдаты арманьяков, в нее полетели брань и стрелы.

— Потаскуха!

— Изменница! Колдунья!

А она все призывала обе стороны установить царство Христа на земле и жить в мире и согласии, пока стрела не поразила ее в грудь; она зашаталась и упала навзничь.

При виде этого и арманьяки и бургундцы расхохотались.

Прикрыв ноги платьем, она больше не сделала ни одного движения и отдала богу душу, шепча имя Христово. Глаза ее остались открытыми, и в них был отблеск опала.

Через несколько минут после смерти Гильометты Дионис толпы жителей Парижа вернулись на стены и стали упорно защищать свой город. Дева Жанна была ранена в ногу стрелой из арбалета, а воины мессира Карла Валуа отошли к аббатству Сен-Дени. Что сталось с Жанной Шатенье и Оппортюной Жадуэн — никто не знает. О них нет никаких известий. Симона Лабардин и Робен-садовник были схвачены в тот же день горожанами, охранявшими стены, и преданы суду официала. Церковь признала Симону еретичкой и для спасения ее и раскаяния в грехах посадила ее на хлеб скорби и на воду сердечного сокрушения. Робен, обвиненный в колдовстве, продолжал упорствовать в своих заблуждениях и был заживо сожжен на Соборной площади.

ЖЕНЩИНЫ ИЗ ПИКАРДИИ, ПУАТЬЕ, ТУРА, ЛИОНА И ПАРИЖА

Однажды капуцин брат Жан Шаваре, повстречав в монастыре Вифлеемских младенцев моего доброго учителя г-на аббата Куаньяра, завел с ним разговор о брате Оливье Майяре *, назидательные и макаронические проповеди * которого он недавно прочел.

— В этих проповедях есть отличные места, — оказал капуцин. — Возьмите к примеру хоть то, где говорится о пяти дамах и сводне... Вы, конечно, понимаете, что брат Оливье, живший в царствование Людовика Одиннадцатого, называет эту особу несколько иначе, ибо язык его не свободен от грубости того времени. Но наш век требует учтивых и пристойных выражений. Поэтому я и употребил слово «сводня».

— Вы хотите, — ответил мой добрый учитель, — назвать им ту любезную и обязательную женщину, которая помогает влюбленным свести знакомство? По-латыни ее именуют «lena, conciliatrix, internuntia libidinum», что означает «вестница сладострастия». Эти достойные дамы оказывают множество полезнейших услуг, но, разумеется, берут за это деньги, вследствие чего мы и не верим в чистоту их намерений. Итак, отец мой, назовем упомянутую вами особу «посредни-

цей». Эго выражение, хотя и распространенное в обыденной речи, не лишено известного изящества.

— Охотно, господин аббат, — подхватил брат Жан Шаваре. — Замечу вам только, что эта особа упомянута не мной, а братом Оливье. Итак, одну такую посредницу, проживавшую на Турнельском мосту, посетил однажды некий кавалер, который вручил ей перстень и оказал:

«Вот перстень из чистого золота, в который вставлен бледно-красный рубин. Если вам знакомы порядочные женщины, ступайте к самой красивой из них и скажите, что она получит это кольцо, когда согласится навестить меня и подарить мне наслаждение».

Посредница знала пять женщин редкой красоты: одна была из Пикардии, другая из Пуатье, третья из Тура, четвертая из Лиона, а пятая из Парижа. Все они жили в Ситэ или поблизости от того островка, на котором оно расположено, и посреднице несколько раз случалось видеть их у обедни.

Она первым делом постучалась в дом дамы из Пикардии. Служанка отворила ей, но хозяйка не приняла посетительницу. Она была честной женщиной.

Затем посредница пошла к даме из Пуатье и принялась расхваливать ей красивого кавалера. Дама же ответила:

«Прошу вас сказать тому, кто вас послал, что он ошибся, ибо я совсем не та, за кого он меня принимает».

Эта дама из Пуатье тоже отличалась честностью, но в меньшей мере, нежели первая, ибо хотела казаться честнее, чем была.

Тогда посредница отправилась к даме из Тура и, обратившись к ней с теми же словами, показала ей кольцо.

«А перстень и вправду очень хорош», — сказала дама.

«Он будет вашим, стоит вам только пожелать».

«Нет, эта цена для меня слишком дорога. Мой муж может обо всем догадаться, и я причиню ему огорчение, которого он не заслуживает».

Эта дама из Тура в глубине души, несомненно, была распутная.

Посредница тотчас же поспешила к лионке, которая, увидев перстень, воскликнула:

«Увы, милая, мой муж так ревнив, что отрежет мне нос, лишь бы не дать мне выиграть столь приятную игру в колечко».

Как видите, эта лионка не много стоила.

Посредница побежала оттуда к парижанке. Та оказалась настоящей бесстыдницей и без зазрения совести ответила:

«В среду муж уезжает осматривать наши виноградники. Скажите тому, кто вас послал, что в этот день я приду к нему».

Вот каковы, по мнению брата Оливье, пять ступеней меж добром и злом у женщин от Пикардии до Парижа. А вы что думаете по этому поводу, господии Куаньяр?

На это мой добрый учитель ответил:

— Разобраться как в том, что движет этими слабыми созданиями, так и в том, каковы их отношения с божественным правосудием, — дело весьма нелегкое и превосходящее мое разумение. Но мне думается, что лионка, боявшаяся остаться без носа, все-таки хуже парижанки, которая вовсе ничего не боялась.

— Никак не могу с вами согласиться, — возразил брат Жан Шаваре. — Женщина, которая боится мужа, убоится и ада. Ее духовнику удастся, быть может, привести ее к раскаянию, а оно выразится в щедрых даяниях. Ведь в конце концов именно этого он и должен добиваться. Но чего капуцину ждать от женщины, которую не страшит ничто?

ХОРОШО УСВОЕННЫЙ УРОК

Во времена Людовика Одиннадцатого в Париже жила в довольстве и достатке некая горожанка по имени Виоланта, красивая собой и хорошо сложенная. У нее была такая ослепительная кожа, что посещавший ее г-н Жак Трибуйяр, доктор права и прославленный космограф, не раз говорил ей:

— Глядя на вас, сударыня, я считаю вероятным, даже вполне достоверным то, что сообщает нам Кукурбитус Пигер в одной схолии к Страбону *, а именно, будто бы в старину город Париж и его университет назывались именем Лютеции *, или Левцеции, или еще каким-нибудь производным от греческого слова Leukè, то есть «белая», ибо дамы, живущие там, славились своей белоснежной грудью, — правда, все же не столь нежной, сверкающей и белой, как ваша.

На что Виоланта отвечала:

— С меня довольно и того, чтобы грудь моя не была безобразной, как у некоторых известных мне особ. И я ее показываю только для того, чтобы не отставать от моды. Поступать наперекор тому, что принято, было бы дерзостью.

Госпожа Виоланта во цвете юности вышла замуж за стряпчего — человека весьма желчного и ретивого до поборов и взысканий со своих злосчастных жертв, к тому же тщедушного и хилого, словом, по всей видимости, способного скорее приносить беду в чужой

дом, нежели радость в свой собственный. Своей половине он предпочитал мешки, набитые судебными делами и, не в пример ей, весьма нескладные. Они были грузные, разбухшие, бесформенные, и стряпчий возился с ними ночи напролет. Г-жа Виоланта была слишком разумна, чтобы любить столь мало приятного мужа. Однако г-н Жак Трибуйяр утверждал, что она, подобно римлянке Лукреции, совершенно добродетельна, стойка, тверда и непоколебима в своей супружеской верности. Главным его доводом было то, что даже он не мог совратить ее со стези долга. Люди здравомыслящие пребывали на этот счет в благоразумном сомнении, полагая, что все тайное станет явным только в день Страшного суда. Они замечали, что эта дама чересчур неравнодушна к драгоценностям и кружевам и на всех сборищах и в церквах появляется в бархатных или шелковых платьях с золотым шитьем и меховой оторочкой; но они были слишком добропорядочны, чтобы решительно утверждать, будто, внушая греховные мысли христианам, которым она казалась столь привлекательной и нарядной, она сама согрешила с кем-нибудь из них. Словом, они готовы были разыграть репутацию г-жи Виоланты как монету — в орла и решку, что служит к вящей славе этой дамы. Надо сказать, что ее духовник брат Жан Тюрлюр неустанно укорял ее.

— Не думаете ли вы, сударыня, — говорил он ей, — что блаженная Екатерина была бы причислена к лику святых, если бы вела такую жизнь, какую ведете вы, обнажая грудь и выписывая из Генуи кружевные рукавчики?

Правда, это был суровый проповедник, неумолимый к человеческим слабостям, не умевший прощать и считавший, что ему все удалось, если удалось внушить страх. Он грозил ей преисподнею за то, что она умывала лицо молоком ослицы. Словом, никто досконально не знал, украсила ли она вполне заслуженными рогами лысину своего старого мужа, или нет, и мессир Филипп де Коэткис игриво говаривал этой добродетельной женщине:

— Смотрите, он плешив и может простудиться!

Мессир Филипп де Коэткис был весьма блистательным и благородным кавалером, красивым, как валет из карточной колоды. Он встретил г-жу Виоланту однажды вечером на балу, протанцевал с ней до глубокой ночи и проводил домой верхом, усадив в свое седло, тогда как стряпчий шлепал по грязи и лужам, при свете факелов, плясавших в руках четырех пьяных лакеев. Во время бала и этой верховой прогулки мессир Филипп де Коэткис успел убедиться, что у г-жи Виоланты весьма округлые формы, а тело на диво упругое и крепкое. За это он тотчас же ее полюбил. И так как был прямодушен, го стал говорить ей, что хотел бы держать ее в объятиях совсем раздетой.

На что она отвечала:

— Мессир Филипп, вы не знаете, с кем говорите. Я добродетельная женщина.

Или:

— Мессир Филипп, приходите завтра.

Он приходил на другой день. А она ему говорила:

— Зачем так спешить?

Эти проволочки возбуждали в кавалере немалую тревогу и досаду. Он уже готов был поверить, подобно г-ну Трибуйяру, что г-жа Виоланта — настоящая Лукреция, ибо все мужчины одинаково самонадеянны. Надо сказать, что она даже не разрешила ему поцеловать себя, что, собственно, является весьма невинной забавой и сущей безделицей.

Так обстояли дела, когда брат Жан Тюрлюр был вызван в Венецию генералом своего ордена, чтобы проповедовать там истинную веру вновь обращенным туркам.

Перед отъездом он зашел проститься со своей духовной дочерью и стал укорять ее суровее, чем обычно, за то, что она погрязла в суетности. Он понуждал ее к покаянию и уговаривал надеть власяницу — незаменимое средство от дурных побуждений и самое верное лекарство для особ, склонных к плотскому греху.

Она сказала ему:

— Добрый брат мой, не требуйте от меня слишком многого.

Но он даже не слушал ее и угрожал преисподней, если она не исправится. Под конец он сказал, что охотно выполнит все ее поручения. Он надеялся, что она попросит достать ей какую-нибудь ладанку, четки или лучше всего — горсточку святой земли с гроба господня, которую турки привозят из Иерусалима вместе с засушенными розами и которую потом продают итальянские монахи. Но г-жа Виоланта попросила его о другом:

— Милый брат мой, раз вы едете в Венецию, где такие искусные шлифовальщики зеркал, я буду вам очень признательна, если вы привезете мне самое чистое зеркало, какое только можно там отыскать.

И брат Жан Тюрлюр пообещал ей это.

После отъезда своего духовника г-жа Виоланта вела себя как обычно. И когда мессир Филипп говорил ей: «Хорошо бы нам предаться любви!» — она отвечала: «Очень уж жарко. Посмотрите на флюгер: не переменится ли погода?» И здравомыслящие люди, следившие за ней, начинали терять надежду на то, что она когда-нибудь наставит рога своему противному мужу. «Это просто грешно», — говорили они.

Вернувшись из Италии, брат Жан Тюрлюр явился к г-же Виоланте и сказал, что исполнил ее поручение.

— Взгляните на себя, сударыня.

И он извлек из-под своей сутаны череп.

— Вот, сударыня, ваше зеркало. Ибо мне сказали, что этот череп красивейшей из венецианок. Она была такой, как вы сейчас, и вы со временем будете очень на нее похожи.

Госпожа Виоланта, подавив ужас и отвращение, ответила доброму брату с достойной твердостью, что она поняла урок и не преминет им воспользоваться.

— Я теперь всегда буду помнить, добрый брат мой, зеркало, привезенное вами из Венеции, зеркало, в котором я вижу себя не такой, конечно, какая я сейчас, но такой, какой я скоро стану. Обещаю вам отныне вести себя сообразно мыслям, которые оно мне внушает.

Брат Жан Тюрлюр не ожидал от нее столь разумных слов. И он выразил ей свое одобрение.

— Итак, сударыня, вы сами поняли, что пора

взяться за ум. Обещайте же мне отныне вести себя соответственно мыслям, которые этот череп внушает вам. Дайте этот обет не только мне, но и богу.

Она спросила:

— Это необходимо?

Он уверил ее, что необходимо.

— Я так и сделаю, — сказала она.

— Вот это хорошо, сударыня, не вздумайте только отступиться.

— Не отступлюсь.

Услышав этот обет, брат Жан Тюрлюр ушел от нее в великой радости.

Он шел и кричал на всю улицу:

— Вот хорошо! С божьей помощью я подвел и подтолкнул к дверям рая женщину, которая до сих пор, правда, не предавалась прямо прелюбодеянию так, как говорит об этом пророк (глава четырнадцатая, стих восемнадцатый), но все же употребляла на соблазн людям презренную плоть, из которой ее создал бог для того, чтобы служить и поклоняться ему. А теперь она бросит эти повадки и исправится. Хвала всевышнему, я обратил ее на путь истинный.

Едва только добрый брат спустился с лестницы, как мессир Филипп де Коэткис поднялся по ней и тихонько постучался в дверь г-жи Виоланты. Она встретила его очень приветливо и провела в укромную комнатку, всю устланную коврами и подушками, где он прежде никогда не бывал, и он понял, что это добрый знак. Он предложил ей леденцов, которые принес с собой в коробке.

— Сосите, сударыня, сосите. Они сахарные и сладкие. Но ваши уста еще слаще.

На это Виоланта возразила, что довольно странно и попросту глупо хвалить плод, от которого еще не вкусили.

Он достойно ответил ей, поцеловав ее в губы. Она ничуть не рассердилась и только сказала, что она добродетельная женщина. Он похвалил ее за это и посоветовал не прятать свою честь в такое место, где до нее можно добраться. Ибо, конечно, эту честь у нее похитят и незамедлительно.

— Попробуйте, — сказала она и легонько потрепала его по щеке своей розовой ладонью.

Но он уже овладел всем, к чему стремились его желания.

Она кричала:

— Я не хочу! Фи! Фи! Мессир, вы этого не сделаете. Мой друг, сокровище мое!.. Умираю.

А когда она перестала вздыхать и замирать, то нежно сказала ему:

— Мессир Филипп, не обольщайтесь, будто вы взяли меня силой или врасплох. Если вы добились от меня того, чего желали, так только с моего согласия, и защищалась я ровно столько, сколько нужно, чтобы почувствовать сладость вашей победы. Милый друг, я ваша. Если, несмотря на вашу красоту, которая сразу же пленила меня, и вопреки всей прелести вашей дружбы, я до сих пор не подарила вам то, что вы сегодня с моего соизволения взяли сами, так это только потому, что я была глупа: ничто не побуждало меня торопиться, и, погруженная в ленивое оцепенение, я не извлекала никакой радости из своей молодости и красоты. Но добрый брат Жан Тюрлюр дал мне хороший урок. Он научил меня ценить быстротекущие часы. Сегодня он подарил мне череп и сказал: «Скоро и вы будете такой». Из этого я заключила, что мы должны любить и, не мешкая, пользоваться тем недолгим временем, которое нам отпущено.

Эти слова и ласки, которыми г-жа Виоланта их сопровождала, тотчас побудили мессира Филиппа действовать снова, к своей чести и своему ублаготворению, во славу и на радость своей милой, умножая известные доказательства, которые должен в таких случаях давать всякий добрый и преданный слуга.

После чего г-жа Виоланта отпустила его. Она проводила его до дверей, нежно поцеловала в глаза и сказала:

— Филипп, друг мой, а ведь неплохо следовать советам доброго брата Жана Тюрлюра?

ПАШТЕТ ИЗ ЯЗЫКОВ

Сатана возлежал на своем ложе под огненным пологом. Врачи и аптекари преисподней нашли, что язык у него обложен и что, следовательно, он страдает желудком, и прописали ему легкую, но в то же время укрепляющую пищу.

Сатана заявил, что ему не хочется ничего, кроме одного-единственного земного блюда, а именно — паштета из языков, который так замечательно стряпают женщины, когда собираются вместе.

Врачи согласились, что нет блюда более подобающего желудку владыки.

Не прошло и часа, как сатане был подан паштет.

Но блюдо это показалось ему безвкусным и пресным.

Он вызвал своего главного повара и спросил, откуда достали этот паштет.

— Из Парижа, сир. Он совсем свежий: его приготовили сегодня утром в Марэ двенадцать кумушек, собравшихся у постели роженицы.

— Теперь я понимаю, почему он такой несъедобный, — сказал князь тьмы. — Вы достали его отнюдь не у самых искусных мастериц. Такие блюда богатые горожанки готовят с особенным усердием, но им не хватает умения и таланта. Еще меньше знают в

этом толк женщины из простонародья. Настоящий паштет из языков можно найти только в женском монастыре. Лишь старые монахини умеют уснащать его всеми надлежащими приправами — острыми пряностями ехидства, тмином злословия, укропом напраслины, лавровым листом клеветы.

Эта притча извлечена из проповеди доброго отца Жильотена Ландуля, смиренного капуцина.

О НЕКОЕМ В УЖАС ПОВЕРГАЮЩЕМ ИЗОБРАЖЕНИИ

О некоем в ужас повергающем изображении, виденном во храме, равно как и об иных, умиротворительных и любовных, каковые мудрый Филемон развесил в покое, где занимался науками, а также о некоем отменном изображении Гомера, каковое оный Филемон почитал превыше всех прочих.

Признавался Филемон, что в дни незрелой своей юности, на заре зеленеющей весны своих лет, изведал и он человекоубийственную ярость, узрев в некоем храме картину Апеллеса *, каковая висела там в ту пору, и представляла она Александра, осыпающего могучими ударами царя Индийского Дария, а вокруг сих двух царей воины и сотники, воспламенясь гневом, избивали друг друга достойным изумления образом. И было оное творение исполнено с великим мастерством и сходством с натурою. И никто меж тех, кто по годам своим был еще горяч, не мог взирать на оную картину, не возбуждаясь немедля к истреблению и смертоубийству бедных и неповинных людей ради того лишь, чтобы, как делали то оные добрые воители в битве, носить столь же богатый панцирь и скакать на столь же легких конях, ибо конная и ратная потеха соблазнительна для юного сердца. Вышепомянутый

Филемон испытал сие. И говаривал, что с тех пор отвратился он нравом и разумом от подобных войнолюбивых изображений и возненавидел жестокосердие так, что не мог выносить его, хотя б было оно лишь для вида показанным.

И присовокуплял он обыкновенно, что человека мудрого и достойного не могут не повергать в великое смятение и досаду сии ужасные доспехи со щитами и оные отродья, коих за страхолюдное уродство шлемов именует Гомер корифайолами *, и что изображения столь необузданных воинов поистине бесчестны, ибо противоречат обычаям мирным и добросердечным, они бесстыдны, понеже нет на свете бесстыдства, превосходящего человекоубийство, и порочны, как все, что склоняет к жестокости, каковая есть наихудшая склонность. Даже тот, кто склонен к любострастию, предается меньшему злу.

И еще говаривал вышепомянутый Филемон, что было бы честно, достохвально, поучительно и пристойно изображать в живописных, чеканных и прочих отменных творениях искусства картины века златою, сиречь девиц и юношей, сплетающихся в объятии, как велит им сама природа, или иное какое-либо радостное зрелище, — к примеру, нимфу, со смехом павшую на землю. И чтобы фавн выдавливал алый сок виноградной кисти на ее смеющиеся уста.

И сказывал он, что, быть может, оный златой век цвел лишь в дивном воображении пиитов и что первые смертные, еще грубые и неразумные, не знали его вовсе; но что ежели существование его и немыслимо в начале времен, то желательно, чтоб он наступил в конце их, а до тех пор полезно и отрадно показывать людям его прообраз.

И насколько мерзопакостно, сиречь мерзостно, словно нечистоты, — как, упоминая о выпачканных ими псах, пишет Вергилий в своих «Георгиках» *, — являть взорам нашим смертоубийц, насильников, грабителей, захватчиков и воров, чинящих деяния гнусные и злые, а равно и бедняков, поверженных во прах, каковым набито горло их, или несчастного, каковой распростерт

на земле и тщится встать, но не может, ибо копыта конские сокрушают ему челюсти, или того, кто горестно зрит, как отлетает древко его знамени вместе с рукой, — настолько же прекрасно, и даже угодно небу, изображать затейливые и любовные ласки, шалости, забавы, прихоти, игры и утехи нимф и фавнов под сенью рощ. И прибавлял Филемон, что ничего нет дурного в сих обнаженных телах, понеже изящество и красота служат им достаточным одеянием.

И находилась еще в покое вышепомянутого Филемона некая чудная картина, на коей представлен был юный фавн, вкрадчивой рукою совлекающий легкий покров с уснувшей нимфы и обнажающий лоно ее. И видно было, сколь усладительно ему сие зрелище, и мнилось, говорит он: «Тело сей юной богини полно отрады и свежести, яко ключ, струящийся в лесной тени. Откройтесь же мне, дивное чрево, белые лядвеи и ты, темная пещера, столь грозная и сладостная!» Крылатые младенцы, витающие над ними, с улыбкой взирают на них, а дамы и кавалеры, украсив себя венками, пляшут тем временем на молодой траве.

И были у вышепомянутого Филемона также другие отменно искусные картины. И весьма ценил он ту из них, каковая изображала некоего ученого, восседающего за столом у себя в покое и пишущего при свече. А покой тот был весь уставлен сферами, гномонами * и астролябиями, дабы измерять ими бег светил небесных, каковое достохвальное занятие обращает разум к помыслам высоким и к служению Венере-Урании, что означает — любви чистейшей. А на полу оного покоя нарисовал живописец преогромного змия и крокодила, понеже сии редкостные предметы весьма необходимы для познания анатомии. И также имел вышереченный доктор для своих надобностей трактаты знаменитейших философов древности, а равно и сочинения Гиппократа. И был он примером для юношей, жаждавших с помощью трудолюбия вложить в головы свои столько же мудрых истин и дивных тайн, сколько скрывал он под своею шапочкой.

И была еще у вышепомянутого Филемона картина малая и гладкая, словно зеркало, а изображала она Гомера в образе слепого старца, с бородой цветущей и густою, как боярышник, и с челом, обвитым священной повязкой в честь бога Аполлона, каковой возлюбил его превыше всех остальных смертных. И мнилось каждому, кто взирал на изображение сего доброго старца, что вот-вот отверзнет он звонкие уста свои.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ ДУСИН

Утром 1 января добрый г-н Шантерель вышел пешком из своего особняка в предместье Сен-Марсель. Кровь плохо согревала его, двигался он с трудом, и ему стоило немалых усилий идти в такую холодную погоду по улицам, покрытым скользким талым снегом. В порыве самоуничижения он уже давно отказался от кареты, так как после болезни стал серьезно беспокоиться о спасении своей души. Он жил уединенно, вдали от общества и друзей, и бывал только у племянницы, семилетней мадемуазель де Дусин.

Опираясь на палку, он не без труда добрался до улицы Сент-Оноре и вошел в лавку г-жи Пенсон, известную под названием «Корзина цветов». Там было выставлено такое множество детских игрушек — подарков к наступающему 1696 году, что посетители с трудом пробирались среди всех этих танцующих и пьющих вино человечков-автоматов, поющих на ветвях птичек, домиков с восковыми фигурками внутри, солдатиков в белых и голубых мундирах, выстроенных в боевом порядке, и кукол, одни из которых были в нарядах знатных дам, а другие в платье служанок, ибо неравенство, установленное на земле самим господом богом, царило и в этом игрушечном мирке.

Господин Шантерель остановил свой выбор на кукле, одетой, как принцесса Савойская в день ее прибытия во Францию 4 ноября. Пышно причесанная и украшенная лентами, она была наряжена в плотно облегающий, шитый золотом корсаж, парчовую юбку и накидку с жемчужными застежками.

Господин Шантерель улыбнулся при мысли о том, в какой восторг эта красавица кукла приведет мадемуазель де Дусин, и когда г-жа Пенсон подала ему принцессу Савойскую, завернутую в шелковую бумагу, его лицо, побледневшее от постов, изможденное болезнью и удрученное постоянным страхом перед загробной карой, на мгновение озарилось чисто земной радостью.

Он учтиво поблагодарил г-жу Пенсон, взял принцессу под мышку и, волоча ногу, направился туда, где, как он знал, мадемуазель де Дусин уже проснулась, но не встает, ожидая его прихода. На углу улицы Сухого Дерева он встретил г-на Спона, огромный нос которого свешивался чуть ли не до самого кружевного жабо.

— Добрый день, господин Спон, — приветствовал его г-н Шантерель. — Поздравляю вас с Новым годом и молю бога, чтобы все ваши желания исполнились.

— О сударь, подумайте, что вы говорите! — воскликнул г-н Спон. — Ведь нередко господь внимает нашим желаниям лишь для того, чтобы покарать нас. Et tribuit eis petitionem eorum [1].

— Совершенно справедливо, — ответил г-н Шантерель. — Мы не всегда умеем распознать, что*о* для нас благо. Я сам тому живой пример. Сперва я счел болезнь, которой страдаю вот уже два года, большим злом; впоследствии же я понял, что это — великое благо, ибо она побудила меня отказаться от той греховной жизни, которую я вел, растрачивая время на всевозможные развлечения. Эта болезнь, повредившая мне ноги и помутившая голову, была на самом деле знаком великой милости, которую мне ниспослал господь. Но не соблаговолите ли вы, сударь, про-

---

[1] И исполнил он просьбу их (*лат.*).

водить меня до квартала Руль, куда я спешу с новогодним подарком для моей племянницы, мадемуазель де Дусин.

При этих словах г-н Спон воздел руки к небу и вскричал:

— Как! Вас ли я слышу, господин Шантерель? Нет, это скорее слова вольнодумца! Возможно ли, сударь: вы вели такую праведную и уединенную жизнь и вдруг предались мирским порокам?

— Что вы! Я и не думал этого делать, — задрожав, ответил г-н Шантерель. — Но прошу вас, объяснитесь. Неужели подарить куклу мадемуазель де Дусин такой уж большой грех?

— Тягчайший, — сказал г-н Спон. — Ведь то, что вы собираетесь подарить сегодня этому невинному ребенку, должно скорее именоваться сатанинским идолом, нежели куклой. Неужели вам неизвестно, что обычай делать новогодние подарки есть омерзительное и преступное суеверие, унаследованное от язычников?

— Я этого не знал, — возразил г-н Шантерель.

— Так знайте же, — продолжал г-н Спон, — что этот обычай ведется от римлян, которые видели во всяком начале нечто божественное, а потому обожествляли и начало года. Так что тот, кто поступает, как они, превращается в идолопоклонника. Вы, сударь мой, делаете новогодние подарки подобно почитателям бога Януса *. Тогда уж заодно посвящайте, как они, первый день каждого месяца Юноне *.

Господин Шантерель, который едва держался на ногах, попросил г-на Спона дать ему руку. Дорогой г-н Спон снова заговорил:

— Неужели из-за того только, что астрологи положили считать первое января началом года, вы должны в этот день делать подарки? И что вас заставляет именно сегодня воскрешать в душе друзей нежное чувство к вам? Разве эта нежность угасла к концу года? Да и может ли быть вам дорого чувство такой нежности, которую надо оживлять льстивыми словами и подарками?

— Сударь, — ответил добрый г-н Шантерель, опираясь на руку г-на Спона и силясь приспособить свои

нетвердые шаги к стремительной походке спутника, — сударь, до болезни я был жалким грешником и думал лишь о том, чтобы учтиво обходиться с друзьями и вести себя как подобает человеку чести. Провидению угодно было извлечь меня из этой бездны; с тех пор как я обратился на путь истины, я во всем руководствуюсь советами моего духовника. Но я поступил легкомысленно, не спросив его мнения о новогодних подарках. И то, что говорите мне вы, сударь, человек столь сведущий в делах добронравия и веры, повергает меня в совершенное смущение.

— Сейчас я действительно приведу вас в смущение, — подхватил г-н Спон, — но при этом и просвещу вас, — не своим слабым разумением, конечно, а словами великого ученого и светоча знания. Присядьте на эту тумбу.

И подтолкнув г-на Шантереля к каким-то воротам, в углу которых тот кое-как устроился, г-н Спон достал из кармана книжечку в пергаментном переплете, раскрыл ее, полистал и, отыскав нужное место, стал громко читать, окруженный сбежавшимися трубочистами, горничными и поварятами, которых привлекли раскаты его голоса:

— «Все мы, ужасающиеся еврейским обрядам и находящие странными и нелепыми их субботы, новолуния и другие празднества, некогда угодные богу, — все мы тем не менее свыклись с сатурналиями и январскими календами *, с матроналиями и торжествами в день солнцеворота. Со всех сторон сыплются новогодние подарки, летят поздравления; повсюду стоит шум игрищ и пиров. Язычники — и те ревностнее блюдут свою веру, ибо они остерегаются участвовать в наших празднествах из боязни прослыть христианами; мы же не страшимся прослыть язычниками, сохраняя их праздники».

— Слышите? — добавил г-н Спон. — Так говорит сам Тертуллиан *, указуя из недр Африки, насколько не подобают вам эдакие поступки. Он вопиет: «Со всех сторон сыплются новогодние подарки, летят поздравления! Вы справляете языческие праздники!» Я не имею чести знать вашего духовника, су-

дарь мой, но я содрогаюсь при мысли о том одиночестве, в котором он вас оставил. Уверены ли вы хоть в том, что в смертный час, когда вы предстанете перед господом, ваш духовник будет рядом с вами, чтобы принять на себя грехи, в которые вы впали по его небрежению?

Сказав все это, г-н Спон спрятал книжку в карман и с разгневанным видом удалился в сопровождении изумленных трубочистов и поварят, державшихся на некотором расстоянии от него.

Добрый г-н Шантерель остался у ворот наедине с принцессой Савойской и, нарисовав себе картину вечных адских мук, на которые его обрекло намерение подарить куклу мадемуазель де Дусин, своей племяннице, принялся размышлять о неисповедимых тайнах веры. Ноги, которыми он уже давно владел с трудом, теперь совсем отказывались ему повиноваться, и он чувствовал себя настолько несчастным, насколько может им быть в нашем мире человек, исполненный самых благих намерений.

Он уже несколько минут в полном отчаянии сидел на тумбе, как вдруг какой-то капуцин подошел к нему и сказал:

— Сударь, не подадите ли вы сколько-нибудь во имя божие на новогодние подарки меньшой братии?

— Как! Отец мой, что вы говорите? — воскликнул г-н Шантерель. — Вы, монах, просите подаяния на новогодние подарки?

— Сударь, — возразил ему капуцин, — святой Франциск * по доброте своей пожелал, чтобы и его дети радовались в простоте сердечной. Пожертвуйте сегодня что-нибудь на добрый ужин капуцинам, чтобы они потом бодро и радостно переносили пост и воздержание в течение всего года, исключая, разумеется, воскресные дни и праздники.

Господин Шантерель изумленно посмотрел на монаха:

— Да разве вы не боитесь, отец мой, что новогодним подарком можно погубить душу?

— Конечно, нет.

— Но ведь этот обычай идет от язычников!

— И у язычников бывали хорошие обычаи. Господь иногда озарял светом своим мрак язычества. Но, сударь, если вы отказываете в новогодних подарках нам, то не откажите в них бедным детям. Мы ведь воспитываем подкидышей. На ваше пожертвование я куплю им всем по бумажной мельнице и прянику. Быть может, они будут вам обязаны единственной счастливой минутой во всей своей жизни, потому что на земле им уготовано не много радости. Их смех донесется до неба. А когда дети смеются, они славят господа.

Господин Шантерель положил свой довольно увесистый кошелек в руку минорита и поднялся с тумбы, шепча слова, которые только что услышал: «Когда дети смеются, они славят господа».

А затем, с просветленной душой, он окрепшим шагом направился с принцессой Савойской под мышкой к мадемуазель де Дусин, своей племяннице.

РОКСАНА

Мой добрый учитель, господин аббат Жером Куаньяр, повел меня как-то поужинать к одному из своих старинных школьных товарищей, который ютился в мансарде на улице Жи-ле-Кер. Наш хозяин, премонстрантский монах *, человек весьма образованный и отличный богослов, рассорился некогда с настоятелем своего монастыря из-за того, что написал книжицу о злоключениях девицы Фаншон, вследствие чего ему пришлось сделаться содержателем кофейни в Гааге. Затем он вернулся во Францию и теперь едва зарабатывал себе на пропитание, сочиняя на заказ проповеди, отличающиеся большой ученостью и красноречием. После ужина он прочитал нам злоключения девицы Фаншон, явившиеся источником его собственных, причем чтение длилось довольно долго, и когда мы с моим добрым учителем оказались на улице, стояла чудесная теплая летняя ночь, которая тотчас подтвердила мне правдивость древних сказаний, повествующих о слабостях Дианы *, и внушила мне мысль, что эти серебристые безмолвные часы естественнее всего было бы посвящать любви. Я поделился своим наблюдением с аббатом Куаньяром, но он мне возразил, что любовь бывает причиной великих зол.

— Турнеброш, сын мой, — сказал он, — разве вы не слышали сейчас из уст нашего почтенного премонстрантского монаха, что из-за любви к некоему сержанту-вербовщику, к приказчику господина Голо, владельца галантерейной лавки «Убегающая свинья», и, наконец, к младшему сыну уголовного судьи Леблана девица Фаншон попала в больницу для бедных? Хотелось бы вам быть этим сержантом, этим приказчиком или этим младшим отпрыском судейского рода?

Я сказал, что мне бы хотелось. Мой добрый учитель оценил чистосердечие моего ответа и привел мне несколько стихов из Лукреция *, чтобы убедить меня в том, что любовь вредит спокойствию истинно философской души.

Беседуя так, мы дошли до середины Нового моста. Облокотясь на перила, мы смотрели на огромную башню Шатле *, черневшую в сиянии луны.

— Как много можно сказать, — вздохнул мой добрый учитель, — о правосудии цивилизованных наций, чья месть более жестока, нежели само преступление. Я не думаю, чтобы муки и наказания, которые одни люди налагают на других людей, были так уж необходимы для поддержания прочности государств, поскольку время от времени какую-либо из узаконенных жестокостей отменяют без всякого ущерба для общества. И, быть может, те кары, которые еще применяются доныне, не более полезны, чем те, которые уже упразднены. Но люди жестоки. Пойдемте, Турнеброш, друг мой, мне тягостно думать, что несчастные томятся без сна в этих стенах, полные отчаянья и тоски. Мысль об их проступках не мешает мне сожалеть о них. Кто из нас безгрешен?

Мы продолжали наш путь. На мосту было пустынно, если не считать нищего и нищенки, которые, встретившись здесь, забились в полукруглую выемку у дверей какой-то лавчонки. Казалось, оба были вполне довольны, соединив вместе свои несчастия, и когда мы проходили мимо, они меньше всего думали о том, чтобы умолять нас о милостыне.

Однако мой добрый учитель, сострадательнейший из людей, бросил им лиар, единственный, что еще оставался у него в кармане.

— Они подберут нашу лепту потом, когда сознание нищеты вернется к ним, — сказал он. — И дай бог, чтобы они не слишком яростно набросились на эту монету, оспаривая ее друг у друга.

Мы двинулись дальше, никого более не встречая, как вдруг на набережной Птицеловов увидели молодую особу, которая шла какой-то странной, необыкновенно решительной походкой. Прибавив шагу, чтобы разглядеть ее поближе, мы увидали, что у нее тонкий стан и белокурые волосы, блестевшие в лучах луны. Одета она была так, как обычно одеваются горожанки среднего круга.

— Какая хорошенькая девушка! — сказал аббат. — Как могло случиться, что она оказалась на улице одна в столь поздний час?

— В самом деле, — ответил я, — она не из тех, кого обычно встречаешь на мостах после сигнала к гашению огня.

Наше удивление перешло в живейшее беспокойство, когда мы увидели, что она спускается к берегу по узенькой лесенке, которой обычно пользуются лодочники. Мы побежали к ней. Но она, видимо, не слышала наших шагов. Она остановилась у самой воды, которая поднялась довольно высоко и глухой шум которой доносился уже издалека. Одно мгновение девушка стояла неподвижно, держа голову прямо и опустив руки; ее поза говорила об отчаянии. Потом, склонив свою изящную шею, она закрыла лицо руками, пробыла в таком положении несколько секунд и вдруг, подхватив юбку, подобрала ее привычным жестом женщины, которая собирается прыгнуть. Мы с моим добрым учителем подбежали к ней в тот самый момент, когда она уже совсем готова была сделать роковой прыжок, и поспешно оттащили ее назад. Она пыталась вырваться из наших рук. И так как на берегу было грязно и скользко от ила, нанесенного волнами (вода в Сене-уже начинала спадать), аббат Куаньяр едва не упал в реку. Меня и самого потащило вниз, но, к счастью, ноги мои

наткнулись на корень, и он послужил мне точкой опоры, пока я поддерживал лучшего из учителей и юную отчаявшуюся девушку. Вскоре, истощив силы и мужество, она упала на грудь аббата Куаньяра, и нам удалось, всем троим, взобраться на откос. Он бережно поддерживал ее с той изящной непринужденностью, которая никогда его не покидала. Так он довел ее до высокого бука, у подножия которого стояла деревянная скамейка.

Усадив девушку, он сам сел рядом с ней.

— Мадемуазель, — сказал он ей, — не бойтесь ничего. Пока не говорите ни слова, но знайте, что возле вас друг.

Потом, обернувшись ко мне, учитель сказал:

— Турнеброш, сын мой, мы должны радоваться, что довели до благополучного конца это удивительное приключение. Но я оставил на берегу свою шляпу; правда, на ней уже совсем почти нет позумента и она сильно потрепана от длительного употребления, однако она еще защищала от дождя и солнца мою бедную голову, пострадавшую от времени и трудов. Пойди, сын мой, и посмотри, лежит ли еще на том месте, куда упала, и, если найдешь, прошу тебя, принеси мне ее, а заодно и пряжку от башмака, которую я, как видно, тоже потерял там. Что до меня, то я останусь здесь с этой юной девицей и буду оберегать ее покой.

Я побежал к тому месту, откуда мы только что выбрались, и мне повезло — я нашел там шляпу моего доброго учителя. Что касается пряжки, то мне не удалось найти ее. Правда, я не так уж усердно ее искал, ибо за всю свою жизнь ни разу не видел у моего доброго учителя двух пряжек на башмаках. Когда я вернулся к буку, молодая девушка все еще находилась в том самом состоянии, в каком я ее оставил, уходя: она сидела, не шевелясь, прислонившись к дереву головою. Я увидел, что она удивительно хороша собой. На ней была длинная шелковая накидка, отделанная кружевом и очень опрятная, а ноги были обуты в изящные башмачки с пряжками, на которых блестела луна.

Я не мог налюбоваться ею. Внезапно ее потухшие глаза оживились, и, устремив на г-на Куаньяра и на

меня еще затуманенный взор, она произнесла слабым голосом, но с большим достоинством:

— Я ценю, господа, то, что вы сделали для меня во имя человеколюбия, но не могу сказать, что довольна этим, так как жизнь, к которой вы меня вернули, — ненавистная и жестокая пытка.

Услышав это, мой добрый учитель, чье лицо выражало сострадание, мягко улыбнулся, ибо он не верил, чтобы жизнь могла навсегда сделаться ненавистной столь юному и прелестному созданию.

— Дитя мое, — сказал он ей, — одни и те же события производят на нас разное впечатление в зависимости от того, давно они произошли или недавно. Вам рано отчаиваться. Несмотря на мою наружность и на то состояние, в какое меня привело разрушительное действие времени, я все же переношу бремя жизни, все радости которой сводятся у меня теперь к переводам с греческого да к редким обедам в обществе порядочных людей. Взгляните на меня, мадемуазель, и скажите, согласились ли бы вы жить так, как живу я.

Она взглянула на него; глаза ее почти повеселели, и она покачала головой. Потом, снова погружаясь в печаль и уныние, она сказала:

— Нет в мире существа несчастнее меня.

— Мадемуазель, — возразил мой добрый учитель, — я скромен как по причине моего сана, так и в силу свойств моего характера, — поэтому я не стану пытаться выведать вашу тайну. Однако по выражению вашего лица ясно видно, что вы страдаете от несчастной любви, эта болезнь излечима — я сам был затронут ею. С тех пор прошло много лет.

Он взял ее руку, начал ласково гладить ее, а затем сказал:

— В эту минуту я сожалею лишь об одном — что не могу предложить вам приют на остаток ночи. Живу я довольно далеко отсюда, в старинном замке, где перевожу греческую книгу совместно с молодым Турнеброшем — тем самым юношей, который стоит сейчас перед вами.

Мы действительно жили тогда у г-на д'Астарака в замке Саблон, в деревне Нейи, и состояли на жаловании

у этого великого алхимика, который впоследствии погиб трагической смертью.

— Но если вы, мадемуазель, — добавил мой добрый учитель, — знаете такое место, куда вы считали бы возможным прийти в столь поздний час, то я буду счастлив проводить вас туда.

На это девушка ответила, что она весьма признательна за проявленную к ней доброту, что живет она у родственницы, к которой вполне может вернуться в любое время, но что ей не хочется приходить туда до наступления утра, отчасти из-за нежелания будить прислугу, а отчасти из опасения, что вид знакомой обстановки еще больше разбередит ее горе.

И, сказав это, она залилась слезами.

Мой добрый учитель ответил ей:

— Дайте мне, пожалуйста, ваш носовой платок, мадемуазель, и я утру вам глаза. Потом я отведу вас под навес рынка, и в ожидании утра мы можем спокойно посидеть там, укрывшись от ночной прохлады.

Девушка улыбнулась сквозь слезы.

— Я вовсе не хочу, — сказала она, — доставлять вам столько хлопот. Идите своей дорогой, сударь, и верьте, что мое сердце навсегда сохранит к вам глубокую признательность.

Тем не менее она оперлась на руку, предложенную ей моим добрым учителем, и, все трое, мы направились к рынку. В воздухе посвежело. Небо начало принимать оттенок молочной белизны, звезды стали бледнее и как-то воздушнее. Послышался стук колес первых тележек с овощами; сонные лошади медленно катили их к рынку. Дойдя до колонн, мы уселись втроем в нише одного из портиков под статуей св. Николая, на каменной ступеньке, которую аббат Куаньяр, прежде чем усадить девушку, позаботился прикрыть своим плащом.

Здесь мой добрый учитель, желая отстранить тягостные картины, которые могли бы возникнуть в воображении нашей спутницы, умышленно заговорил о вещах веселых и забавных. Он сказал ей, что считает эту встречу драгоценнейшей в своей жизни и сохранит

о ней самое лучшее и трогательное воспоминание, хотя не хочет расспрашивать столь милую молодую особу ни об имени ее, ни о том, что с ней случилось.

Быть может, мой добрый учитель предполагал, что незнакомка сама расскажет ему то, о чем он ее не спрашивал. Она снова заплакала, начала тяжело вздыхать, потом сказала:

— Сударь, я поступила бы дурно, если бы ответила молчанием на вашу доброту. Я не боюсь довериться вам. Меня зовут Софи Т***. Вы угадали: да, это измена обожаемого возлюбленного довела меня до такого отчаяния. Если вы считаете мою скорбь чрезмерной, то это потому, что вы не знаете, до какой степени дошло мое доверие и мое ослепление, потому что вам неизвестно, от какого волшебного сна я была разбужена сегодня.

И, подняв на нас свои прекрасные глаза, она продолжала:

— Я не такова, господа, какою могла показаться вам во время этой ночной встречи. Отец мой был негоциантом. Однажды он поехал по торговым делам в Америку и на обратном пути погиб во время кораблекрушения вместе со всеми своими товарами. Матушка была так потрясена этой утратой, что вскоре умерла от тоски, оставив меня еще ребенком на руках у тетки, которая и занялась моим воспитанием. Я была благоразумна, пока не встретила человека, чьей любви суждено было подарить мне невыразимые радости, а потом повергнуть в то глубокое отчаяние, в каком вы меня видите в настоящую минуту.

При этих словах Софи поднесла к глазам платок.

Затем, вздохнув, она продолжала свой рассказ.

— Его положение в обществе было настолько выше моего, что я и не рассчитывала принадлежать ему иначе как тайно. Однако я льстила себя надеждой, что он будет мне верен. Он говорил, что любит меня, и ему нетрудно было убедить меня в этом. Тетушка моя узнала о наших отношениях, но не стала стеснять нас, так как ее привязанность ко мне делала ее слабохарактерной, а также потому, что высокое положение моего дорогого возлюбленного внушало ей почтение.

Я прожила целый год, наслаждаясь счастием, которое оборвалось вдруг, в одно мгновенье. Сегодня утром он пришел ко мне в дом тетушки, где я живу. Все утро меня мучили дурные предчувствия: причесываясь, я разбила зеркало, его подарок. Когда он вошел, мое беспокойство еще усилилось — на лице его было какое-то принужденное выражение, сразу бросившееся мне в глаза... Ах, сударь, есть ли на свете участь, подобная моей?..

Глаза ее увлажнились, но она сдержала слезы, и ей удалось закончить свой рассказ, который показался моему доброму учителю таким же волнующим, каким он казался ей самой, но далеко не таким необыкновенным.

— Он холодно, хотя и не без некоторого замешательства, объявил мне, что его отец купил ему патент на чин командира роты, и теперь он отправляется в армию, но прежде, по требованию семьи, должен обручиться с дочерью некоего интенданта финансов *, так как этот брак будет полезен для его карьеры и даст ему возможность поддерживать свое положение в обществе. И, не удостаивая заметить мою бледность, этот изменник своим бархатным голосом, которым он столько раз клялся мне в любви, добавил, что его новые обязательства не позволят ему больше видеться со мной, по крайней мере в течение известного времени. Он сказал также, что по-прежнему привязан ко мне и просит принять от него некоторую сумму денег в знак памяти о том времени, когда мы были вместе.

И он протянул мне кошелек.

Я не солгу вам, господа, если окажу, что не желала его слушать и прежде, когда он тысячу раз предлагал мне наряды, посуду, обстановку, когда он хотел взять меня от тетушки, где я жила очень стесненно, и поселить в небольшом, но приличном особняке, который был у него в квартале Руль. Я полагала, что нас должно связывать только чувство, и гордилась тем, что принимаю от него лишь кое-какие безделушки, вся ценность которых состояла для меня в том, что они исходят от него. Поэтому, увидев протянутый кошелек, я пришла в негодование, и это дало мне силу ука-

зать обманщику на дверь: один этот миг позволил мне разгадать его и наградить презрением. Однако он без всякого смущения выдержал мой негодующий взгляд и весьма хладнокровно заявил, что я ничего не понимаю в обязанностях, налагаемых высоким положением. Он надеется, что со временем, немного успокоившись, я буду более справедливо судить о его поступках, — добавил он и, положив кошелек в карман, заверил меня, что сумеет передать мне его содержимое таким способом, который сделает отказ невозможным. Высказав эту невыносимую для меня мысль и дав понять, что, таким образом, он будет считать себя свободным от каких бы то ни было обязательств по отношению ко мне, изменник вышел, так как я продолжала молча указывать ему на дверь. Оставшись одна, я почувствовала спокойствие, удивившее меня самое. Источником его было то, что я решила умереть. Я тщательно оделась, написала письмо тетушке, прося у нее прощения за то горе, которое собиралась ей причинить своей смертью, и вышла на улицу. Я бродила по городу весь остаток дня и часть вечера, переходя с оживленных улиц на безлюдные, не ощущая усталости, оттягивая выполнение моего замысла, чтобы вернее осуществить его под покровом мрака и безлюдия. Быть может, впрочем, в этом была и некоторая слабость, заставлявшая меня лелеять мысль о смерти и вкушать грустную сладость предстоящего мне освобождения. В два часа ночи я опустилась на берег реки. Остальное, господа, вам известно: вы вырвали меня из рук смерти. Я благодарна вам за вашу доброту, но не могу радоваться ее последствиям. На свете слишком много покинутых девушек. Мне не хотелось увеличивать их число.

Сказав все это, Софи замолчала и снова принялась лить слезы.

Мой добрый учитель с величайшей нежностью взял ее за руку.

— Дитя мое, — сказал он, — я с глубоким сочувствием выслушал вашу историю и признаю, что она печальна. Но я с радостью убеждаюсь в том, что ваша болезнь излечима. Помимо того, что ваш возлюбленный отнюдь не заслуживал вашего расположения и при

первом же испытании показал себя человеком легкомысленным, эгоистичным и грубым, я вижу также, что ваше чувство к нему было лишь проявлением естественной в вашем возрасте потребности любить, лишь следствием вашей впечатлительности, причем предмет ее значил для вас гораздо меньше, чем вы думаете. Все, что было необыкновенного и благородного в этой любви, исходило от вас, и, следовательно, ничто не потеряно, раз источник ее еще существует. И ваши глаза, которые расцветили нежнейшими красками личность, без сомнения, весьма заурядную, еще найдут, куда излить лучи чудесной иллюзии.

Мой добрый учитель говорил и говорил, и с уст его текли прекраснейшие в мире речи о смятении чувств, о заблуждениях любовников... Но пока он говорил, Софи, уронившая свою хорошенькую головку на плечо лучшего из людей, тихо уснула. Когда аббат Куаньяр обнаружил, что девушка погружена в сон, он порадовался тому, что его слова могли сообщить мир и покой страждущей душе.

— Надо признать, — сказал он, — что мои речи обладают целительным свойством.

Чтобы не потревожить сон мадемуазель Софи, он принял множество предосторожностей и намеренно продолжал без умолку говорить, не без основания опасаясь, как бы внезапное молчание не разбудило ее.

— Турнеброш, сын мой, — сказал он мне, — все ее горести исчезли, как только она перестала их сознавать. Следовательно, все они были вымышленными и существовали лишь в ее воображении. И, следовательно, причиной их была гордыня и высокомерие, сопровождающие любовь и придающие ей горечь. Ибо если бы мы любили, забывая о себе, смиренно или хотя бы простосердечно, то удовлетворялись бы тем, что нам дают, и не считали бы пренебрежение изменой. А если б в сердце у нас еще оставалось немного любви и после того, как нас покинули, мы спокойно ожидали бы, как будет угодно богу распорядиться этой любовью.

Однако начинало светать, и пение птиц сделалось до того громким, что уже заглушало голос моего доброго учителя. Это нисколько его не огорчило.

— Послушаем жаворонков, — сказал он. — Они любят мудрее, чем люди.

Софи проснулась, когда было уже совсем светло, и я залюбовался ее прекрасными глазами, под которыми от усталости и скорби появились синеватые тени оттенка чистейшего перламутра. По-видимому, она уже немного примирилась с жизнью. Она не отказалась от чашки шоколада, которую мой добрый учитель заставил ее выпить у дверей Матюрины, прекрасной шоколадницы рынка.

Но по мере того как бедная девушка начинала приходить в себя, перед ней вставали кое-какие затруднения, мысль о которых еще не тревожила ее до этой минуты.

— Что скажет тетушка? И что скажу ей я? — вскричала она.

Эта тетушка жила напротив церкви св. Евстафия, шагах в ста от лавочки Матюрины. Мы проводили девушку до самого дома. И господин аббат Куаньяр, имевший, несмотря на отсутствие пряжки на башмаке, вполне почтенный вид, вошел вместе с Софи в квартиру ее тетки, которой рассказал следующую историю.

— Я имел счастье, — оказал он ей, — встретиться с вашей уважаемой племянницей в ту самую минуту, когда на нее напали четверо грабителей, вооруженных пистолетами. Я стал звать на помощь так громко, что испуганные воры пустились наутек, но все-таки не успели ускользнуть от полицейских, которые, как это ни странно, прибежали на мой зов. После жаркой стычки им удалось схватить разбойников. Я тоже принял в ней участие, сударыня, и едва не потерял при этом свою шляпу. После чего всех нас — вашу уважаемую племянницу, четырех грабителей и меня — отвели к господину уголовному судье, который обошелся с нами весьма учтиво, но до утра задержал нас в своем кабинете, чтобы снять свидетельские показания.

Тетка ответила сухо:

— Благодарю вас, милостивый государь, за спасение моей племянницы от опасности, которая, говоря откровенно, еще не кажется мне самой страшной для

девушки ее возраста, если та оказывается одна на улицах Парижа в ночное время.

Мой добрый учитель ничего не ответил, но мадемуазель Софи сказала с большим чувством:

— Уверяю вас, тетушка, что господин аббат спас мне жизнь.

Спустя несколько месяцев после этого странного приключения мой добрый учитель предпринял ту роковую поездку в Лион, из которой он уже не вернулся. Его предательски убили, и мне довелось испытать невыразимую боль — он умер на моих руках. Обстоятельства его смерти никак не связаны с сюжетом настоящего повествования. Я рассказал о них в другом месте и думаю, что они никогда не будут забыты. Могу сказать, что эта поездка была для меня злополучной во всех отношениях, ибо, потеряв в ней лучшего из учителей, я был покинут и моей любовницей, которая любила меня, но не одного меня, и утрата которой оказалась для меня особенно болезненной после утраты моего доброго учителя. Ошибочно думать, что сердце, пораженное жестоким горем, становится нечувствительным к новым ударам судьбы. Напротив того, оно страдает даже от самых незначительных невзгод. Поэтому я вернулся в Париж в таком угнетенном состоянии духа, которое трудно себе представить.

И вот однажды вечером, когда, желая рассеяться, я пошел во Французскую Комедию, где давали «Баязета», недурное произведение Расина, мне доставила необычайное наслаждение чарующая красота и своеобразный талант актрисы, исполнявшей роль Роксаны. Она удивительно естественно изображала страсть, воодушевлявшую эту героиню, и я весь затрепетал, когда совсем просто, но с глубоким чувством она произнесла:

Я вижу, Баязет, что вас я полюбила!

Я не отрываясь смотрел на нее все время, пока она была на сцене, любуясь красотой ее глаз и чистым, как мрамор, лбом, увенчанным напудренными и унизанными жемчугом волосами. Ее тонкий стан, с таким изяществом облеченный в пышное платье с фижмами,

также произвел на меня сильное впечатление. Мне тем легче было созерцать эту очаровательную актрису, что, произнося некоторые, наиболее значительные места своей роли, она стояла, обернувшись в мою сторону. И чем больше я на нее смотрел, тем больше убеждался в том, что уже видел ее прежде, хотя и не мог припомнить обстоятельств нашей встречи. Мой сосед, завсегдатай Французской Комедии, сообщил мне, что эту прелестную актрису зовут мадемуазель Б*** и что она кумир публики. Он добавил, что в обществе она имеет такой же успех, как и в театре, что популярность ей создал герцог де ла *** и что скоро она затмит мадемуазель Лекуврер *.

После окончания спектакля я уже собирался было встать со своего места, как вдруг ко мне подошла служанка и передала мне записку, в которой было несколько слов, написанных карандашом:

«Мадемуазель Роксана ждет вас в своей карете у подъезда театра».

Я не мог поверить, чтобы эта записка предназначалась мне, и спросил дуэнью, которая мне ее вручила, не ошиблась ли она.

— Если я ошиблась, — ответила она, — стало быть, вы не господин Турнеброш.

Я подбежал к карете, стоявшей у подъезда, и под черным атласным капюшоном узнал мадемуазель Б***. Она знаком предложила мне войти в карету, и я сел рядом с ней.

— Разве вы не узнаете Софи, которую вы спасли от смерти на берегу Сены? — спросила она.

— Как! Вы — Софи... Роксана... Мадемуазель Б***? Возможно ли это?

Волнение мое было безмерно, но, кажется, она наблюдала его не без удовольствия.

— Я увидела вас в партере, — сказала она, — тотчас же вас узнала и играла для вас одного, И, кажется, хорошо играла. Я так рада, что вижу вас снова!..

Она спросила у меня, как поживает аббат Куаньяр, и когда я рассказал ей, что мой добрый учитель погиб такой ужасной смертью, она заплакала.

Она пожелала рассказать мне о важнейших событиях своей жизни.

— Моя тетушка, — сказала она, — чинила кружева для госпожи Сен-Реми, а это, как вы знаете, превосходная актриса. Вскоре после той ночи, когда вы так помогли мне, я пошла к госпоже Сен-Реми за кружевами. Эта дама сказала мне, что у меня привлекательная наружность. Она предложила мне почитать стихи и нашла, что я не лишена способностей. Она дала мне возможность брать уроки. В прошлом году я впервые выступила во Французской Комедии. Я выражаю чувства, которые сама пережила, и публика признает за мной кое-какой талант. Герцог де ла *** проявляет ко мне величайшее благоволение и, надеюсь, никогда не причинит мне горя, потому что я научилась требовать от мужчин лишь то, что они могут дать. Сейчас он ждет меня ужинать. Мне непременно нужно ехать к нему.

И, прочитав в моих глазах огорчение, она добавила:

— Но я сказала кучеру, чтобы он ехал самой длинной дорогой и не торопился.

СЕМЬ ЖЕН СИНЕЙ БОРОДЫ

и другие чудесные рассказы

Переводы

А. С. Кулишер и *М. В. Линда*

под редакцией *Е. А. Гунста*

СЕМЬ ЖЕН СИНЕЙ БОРОДЫ

на основании подлинных документов

I

О пресловутой личности, в просторечии именуемой Синей Бородой, высказывались мнения самые различные, самые странные и самые ошибочные. Пожалуй, наиболее спорно мнение, гласящее, что этот дворянин олицетворяет собой солнце. Это усердно пыталась доказать лет сорок назад некая школа сравнительной мифологии. Ее представители утверждали, что семь жен Синей Бороды — не что иное, как зори, а его шурья — утренние и вечерние сумерки, тождественные с Диоскурами, освободившими похищенную Тезеем Елену. Тем, кто склонен этому верить, мы напомним, что весьма ученый библиотекарь города Ажена, Жан-Батист Перес, в 1848 году с мнимой убедительностью доказал, что Наполеона никогда не было на свете и что вся история этого якобы великого полководца на самом деле — солнечный миф. Вопреки всем домыслам самых изобретательных умов, не подлежит сомнению, что Синяя Борода и Наполеон подлинно существовали.

Столь же слабо обоснована гипотеза, отождествляющая Синюю Бороду с маршалом де Рэ, удавленным, по приговору суда, на мосту в Нанте 26 октября 1440 года.

Не вдаваясь, как это делает Соломон Рейнак, в исследование вопроса, действительно ли маршал содеял все те преступления, за которые был предан смерти, или же, быть может, его гибели способствовали богатства, на которые зарился алчный король, можно с уверенностью сказать, что его жизнь нисколько не похожа на жизнь Синей Бороды; этого достаточно, чтобы не смешивать их друг с другом и не считать их одной и той же личностью.

Шарль Перро *, около 1660 года стяжавший немалую славу составлением первого жизнеописания этого сеньора, который справедливо прославился тем, что был женат семь раз подряд, изобразил его отъявленным злодеем, законченным образцом непревзойденной жестокости. Дозволено, однако, усомниться если не в добросовестности историка, то уж во всяком случае в достоверности сведений, которыми он пользовался. Возможно, он с предубеждением относился к своему герою. Это был бы отнюдь не первый пример того, как историк или поэт по своему произволу порочит тех, кого изображает. Если образ Тита кажется нам прикрашенным, то, наоборот, изображая Тиберия, Тацит, по-видимому, сильно очернил его. Макбет, которому легенда и Шекспир приписывают тягчайшие преступления, на самом деле был король справедливый и мудрый. Он не убил предательски старика короля Дункана. Дункан еще молодым был разбит наголову в большом сражении, и на другой день его тело нашли в местности, называемой «Лавкой Оружейника». По приказу короля Дункана было умерщвлено несколько родственников Грухно, жены Макбета. В правление Макбета Шотландия благоденствовала: он покровительствовал торговле, и горожане видели в нем своего защитника, подлинного «короля городов». Знать, возглавлявшая кланы, не простила ему ни победы над Дунканом, ни того, что он заботился о простолюдинах. Представители знати умертвили его и обесчестили память о нем. После его смерти доброго короля Макбета знали уже только по рассказам его врагов. Гений Шекспира укоренил их злостные наветы в сознании человечества. Я давно уже подозревал, что Синяя Борода стал

жертвой такой же роковой случайности. Рассказ о событиях его жизни в том виде, в каком он дошел до меня, отнюдь не удовлетворял ни мою любознательность, ни ту потребность в логике и ясности, которая непрестанно меня снедает. Размышляя об этом жизнеописании, я наталкивался на непреодолимые трудности. Меня так усиленно старались уверить в жестокости этого человека, что я поневоле усомнился в ней.

Эти предчувствия меня не обманули. Мои интуитивные догадки, вытекавшие из некоторого знания природы человека, волею судьбы превратились в уверенность, основанную на неопровержимых доказательствах. Я нашел в Сен-Жан-де-Буа, у одного каменотеса, некоторые документы, касающиеся Синей Бороды, в том числе его приходо-расходную книгу и анонимное ходатайство о привлечении к суду его убийц, которому, по причинам мне неизвестным, не дали хода. Эти документы полностью укрепили меня в убеждении, что Синяя Борода был добр и несчастен и что память о нем искажена гнусной клеветой. Тогда я счел своим долгом дать правдивое описание его жизни, нимало не обольщаясь, однако, надеждой на успех подобного начинания. Я знаю, эта попытка реабилитации будет встречена молчанием и предана забвению. Разве может бесстрастная голая правда восторжествовать над обманчивым очарованием лжи?

II

Около 1650 года в своем поместье между Компьенем и Пьерфоном проживал богатый дворянин по имени Бернар де Монрагу; его предки некогда занимали наипочетнейшие должности в королевстве, но сам он жил вдали от двора, в мирной безвестности, обволакивавшей тогда все то, что не привлекало к себе взоров короля. Его замок Гийет изобиловал ценной мебелью, золотой и серебряной утварью, коврами, гобеленами, которые он держал под спудом в кладовых; прятал он свои сокровища отнюдь не из страха, что они могут пострадать от повседневного употребления; напротив, он был щедр и любил пышность. Но в те времена

сеньоры обычно вели в провинции жизнь весьма простую, ели за одним столом со своей челядью и по воскресеньям плясали с деревенскими девушками. Однако в некоторых случаях они устраивали блистательные празднества, сильно разнившиеся от серых будней. Поэтому им нужно было иметь в запасе много красивой мебели и великолепных ковров, что г-н де Монрагу и делал.

Его замок, построенный во времена готики, отличался присущей ей суровой простотой. Массивные башни, макушки которых были снесены во время смут, раздиравших королевство в правление покойного короля Людовика *, придавали замку вид унылый и мрачный. Внутри он являл более приятное зрелище. Комнаты были убраны на итальянский лад, а большая галерея нижнего этажа была богато украшена лепкой, живописью и позолотой.

В одном из концов этой галереи находилась комната, которую обычно называли «малым кабинетом». У Шарля Перро она именуется только так. Нелишне знать, что эту комнату называли также «кабинетом злосчастных принцесс», так как некий флорентинский художник изобразил на ее стенах трагические истории Дирки, дочери Солнца, привязанной сыновьями Антиопы к рогам быка; Ниобеи, оплакивающей на горе Сипил своих детей, пронзенных стрелами богов; Прокриды, подставляющей грудь под дротик Кефала. Изображения были как живые, и порфировые плиты, которыми был выложен пол, казались окрашенными кровью этих несчастных женщин. Одна из дверей комнаты выходила на ров, совершенно высохший.

Конюшни помещались в роскошном здании, расположенном неподалеку от замка. Там насчитывалось шестьдесят стойл для лошадей и двенадцать сараев для золоченых карет. Но очаровательным местопребыванием замок являлся благодаря окружавшим его лесам и ручьям, где можно было вволю насладиться рыбной ловлей и охотой.

Многие жители этого края знали г-на де Монрагу только под именем Синей Бороды, ибо в народе его иначе не называли. Действительно, борода у него была

синяя, но это был только синий отлив, и именно от густой черноты борода его казалась синей. Не следует представлять себе г-на де Монрагу в устрашающем облике треглавого Тифона *, которого мы видим в Афинах усмехающимся в свою тройную бороду цвета индиго. Мы будем гораздо ближе к истине, если сравним владельца замка Гийет с теми священниками или актерами, чьи свежевыбритые щеки отсвечивают синевой. Г-н де Монрагу не подстригал бороду клином, как его дед, состоявший при дворе короля Генриха II; не отращивал ее веером, как его прадед, убитый в сражении при Мариньяно *. Подобно г-ну де Тюренну, он носил усики и крохотную бородку а ла Мазарини; щеки его казались синими; но что бы там ни говорили, эта особенность не безобразила доброго сеньора и не вызывала страха. Она только усугубляла мужественность его облика, и если и придавала ему несколько свирепый вид, то женщин это нисколько не отпугивало, Бернар де Монрагу был очень красивый мужчина, высокий, широкоплечий, осанистый и дородный, но неотесанный и в лесу чувствовавший себя вольготнее, нежели в парадных спальнях знатных дам и в светских гостиных. Однако, правду сказать, он нравился женщинам меньше, чем должен был бы при таком сложении и таком богатстве. Причиной тому была его робость, именно робость, а не борода. Его неудержимо влекло к женщинам — и вместе с тем они внушали ему неодолимый страх, Он столь же боялся их, сколь и любил. Вот источник и основная причина всех его бедствий. Увидев женщину в первый раз, он скорее согласился бы умереть, чем заговорить с нею, и как бы она ему ни нравилась, он в ее присутствии хранил мрачное молчание; о его чувствах говорили только его глаза, которыми он вращал самым ужасающим образом. Эта робость была причиной всяческих злоключений, а главное — препятствовала ему сближаться с женщинами скромными и честными и оставляла его беззащитным против посягательств женщин наиболее предприимчивых и дерзких. Робость погубила его.

Сирота с малых лет, г-н де Монрагу из-за этого странного, необоримого ощущения стыда и страха отверг

одну за другой несколько выгодных и весьма почетных партий и женился на девице Колетте Пассаж, которая поселилась в этом краю совсем недавно, сколотив немного деньжат тем, что водила по городам и деревням королевства медведя, плясавшего на площадях. Он любил ее всеми силами души и тела. Нужно быть справедливым — она могла нравиться: крепкая, полногрудая девушка, с лицом еще довольно свежим, хотя загорелым и обветренным. Первое время она поражалась и восхищалась тем, что стала вельможной дамой; ее сердце, отнюдь не злое, было чувствительно к нежной заботе супруга столь знатного рода и мощного сложения, являвшегося для нее самым послушным слугой и самым пылким любовником. Но спустя несколько месяцев она начала тосковать по прежней бродячей жизни. Среди величайшей роскоши, окруженная вниманием и лаской, она знала одно лишь удовольствие — навещать спутника своих скитаний в подвале, где он томился с цепью на шее, с кольцом в носу; заливаясь слезами, она целовала его в глаза. При виде ее печали г-н де Монрагу и сам загрустил, и его грусть еще усиливала тоску Колетты. Учтивость и неистощимая предупредительность ее супруга претили несчастной женщине. Однажды утром, когда г-н де Монрагу проснулся, Колетты не оказалось возле него. Тщетно искал он ее по всему замку. Дверь в «кабинет злосчастных принцесс» была отворена. Оттуда-то Колетта и убежала куда глаза глядят вместе со своим медведем. Несметное множество гонцов было разослано во все стороны на поиски Колетты Пассаж, но она исчезла бесследно.

Господин де Монрагу еще оплакивал ее, когда, по случаю храмового праздника в Гийет, ему довелось поплясать с Жанной де ла Клош, дочерью компьенского судьи. Он влюбился в эту девушку и сделал ей предложение, которое тотчас же было принято. Она питала страсть к вину и потребляла его весьма неумеренно. За несколько месяцев эта страсть настолько овладела ею, что Жанна стала неузнаваема: пьяная образина на бурдюке.

Самое худшее было то, что это чудовище, совершенно взбесившись, без устали носилось по залам и

лестницам замка, вопя, чертыхаясь, икая, извергая блевотину и ругательства на все, что ей ни встречалось. Г-н де Монрагу изнемогал от ужаса и отвращения. Но затем он призывал все свое мужество и столь же настойчиво, как и терпеливо, пытался исцелить свою супругу от столь гнусного порока. Просьбы, увещания, мольбы, угрозы — он все пускал в ход. Все было напрасно. Он не давал ей вина из своих погребов — она доставала окольными путями какое-то пойло, от которого пьянела еще омерзительнее.

Чтобы отвратить ее от столь любимой ею влаги, он положил в бутылки с вином полынь. Ей показалось, что он хочет ее отравить, она бросилась на него и на целых три дюйма всадила ему в живот кухонный нож. Он чуть не умер от раны, но врожденная кротость не изменила ему и тут. «Она скорее заслуживает сожаления, чем порицания», — говорил он себе. Как-то раз дверь в «кабинет злосчастных принцесс» забыли запереть, и Жанна де ла Клош вбежала туда в исступлении, как обычно; увидев женщин, изображенных на стенах в трагических позах, при последнем издыхании, она вообразила, что они живые, и в смертельном страхе убежала из замка, вопя: «На помощь! Убивают!» Услыхав голос Синей Бороды, погнавшегося за ней и окликавшего ее, она в беспамятстве бросилась в пруд и утонула. С трудом верится, однако доподлинно известно, что ее супруг, по своему мягкосердечию, искрение сокрушался о ее смерти.

Спустя полтора месяца после этого несчастного случая он без пышных церемоний женился на Жигонне, дочери своего фермера Треньеля. Она ходила в деревянных башмаках, и от нее несло луком. Впрочем, Жигонна была недурна собой, если не считать того, что она косила на один глаз и прихрамывала. Как только сеньор сочетался с ней браком, она начисто позабыла, что пасла гусей, и, преисполнясь безумного тщеславия, стала бредить блеском и величием. Парчовые наряды казались ей недостаточно пышными, жемчужные ожерелья — недостаточно красивыми, рубины — недостаточно крупными, позолота на каретах — недостаточно яркой, пруды, леса, нивы — недостаточно обширными.

Синяя Борода, никогда не страдавший избытком честолюбия, сильно огорчался гордыней своей супруги. По своему простодушию, он никак не мог решить, она ли не права, стремясь возвыситься, он ли не прав, оставаясь скромным. Он готов был упрекать себя в излишнем смирении, шедшем вразрез с непомерными притязаниями подруги его жизни, и в своем душевном смятении то старался внушить ей, что земными благами следует пользоваться умеренно, то, разгорячась, пускался в погоню за счастьем, нередко приводившую его на край гибели. Он был мудр, но супружеская любовь побеждала в нем мудрость. Жигонна думала только о том, чтобы блистать в свете, быть принятой при дворе и стать возлюбленной короля. Не достигнув этого, она с досады стала чахнуть, захворала желтухой и умерла. Синяя Борода похоронил ее, стеная и рыдая, и воздвиг ей великолепный памятник.

Добрый сеньор, подавленный таким неизменным злосчастьем в семейной жизни, быть может, не избрал бы себе новой супруги, но его самого избрала своим супругом девица Бланш де Жибоме, дочь кавалерийского офицера, у которого было только одно ухо — второго он, по его словам, лишился на королевской службе. Она была очень умна и пользовалась этим, чтобы обманывать мужа. Она наставляла ему рога со всеми окрестными дворянами и действовала так хитро, что изменяла ему в его собственном замке, чуть ли не у него на глазах, а он ничего не замечал. Бедняга Синяя Борода, правда, чуял неладное, но не знал, что́ именно. К несчастью для Бланш, она, всячески изощряясь в том, чтобы дурачить своего супруга, недостаточно старалась дурачить своих любовников, иначе говоря — скрывать от них, что она одним изменяла с другими. Однажды дворянин, которого она любила в минувшие дни, застал ее в «кабинете злосчастных принцесс» в обществе дворянина, которого она любила в тот день; разъярясь, бывший любовник пронзил ее своей шпагой. Спустя несколько часов кто-то из слуг нашел несчастную, уже бездыханную, и страх, внушаемый «малым кабинетом», еще возрос.

Бедняга Синяя Борода одновременно узнал и о своем многократном бесчестье, и о трагической смерти супруги, и первое из этих несчастий не смогло утешить его во втором. Он любил Бланш де Жибоме так страстно, так самозабвенно, как ни одну из ее предшественниц — ни Жанну де ла Клош, ни Жигонну Треньель, ни даже Колетту Пассаж. Узнав, что Бланш непрестанно его обманывала и теперь уже никогда больше его не обманет, он впал в отчаяние, с течением времени не ослабевавшее, а становившееся все горше. Наконец эти страдания стали невыносимы; он занемог так тяжко, что опасались за его жизнь.

Безуспешно применив всевозможные снадобья, врачи объявили больному, что исцелить его может только брак с молоденькой девушкой. Тут Синяя Борода вспомнил о своей двоюродной сестре, юной Анжель де ла Гарандин; он рассудил, что ее охотно отдадут за него, так как она бесприданница. На ней он остановил свой выбор главным образом потому, что она слыла глуповатой и неискушенной в житейских делах. Обманутый умной женщиной, он надеялся, что глупая будет ему верна. Он женился на мадемуазель де ла Гарандин — и убедился, что его предположения были ошибочны. Анжель была кротка, Анжель была добра, Анжель его любила; по природе она не была склонна грешить, но самый неискусный соблазнитель мог в любое время вовлечь ее в грех. Достаточно было сказать ей! «Сделайте то-то и то-то, иначе вас замучают дьяволята. Войдите вот сюда, иначе вас съест оборотень», или же; «Закройте глаза и примите это вкусное лекарство», — и тотчас дурочка удовлетворяла все вожделения негодяев, хотевших от нее того, чего вполне естественно было от нее хотеть, ибо она была премиленькая. Г-н де Монрагу, которого эта дурочка обманывала и бесчестила не меньше, если не больше, чем Бланш де Жибоме, имел вдобавок несчастье знать об этом, так как Анжель была слишком простодушна, чтобы скрывать от него что бы то ни было. Она говорила ему: «Сударь, вот что мне сказали; сударь, вот что со мной сделали; сударь, вот что у меня взяли; сударь, вот что я видела, сударь, вот что я ощутила».

И своей бесхитростной откровенностью она причиняла злосчастному сеньору невообразимые муки. Он стойко переносил их. Правда, он не раз говорил этому невинному созданию: «Вы просто гусыня», — и влеплял ей затрещины. С этих затрещин и начались те позорившие имя Синей Бороды толки о его жестокости, которым уже не суждено было умолкнуть. Однажды нищенствующий монах, проходивший мимо замка Гийет в то время, как г-н де Монрагу охотился на вальдшнепов, увидел г-жу Анжель, мастерившую юбочку для своей куклы. Убедившись, что она столь же глупа, сколь красива, добрый монах увез ее на своем осле, уверив, что в лесной чаще ее ждет архангел Гавриил, который подарит ей подвязки, унизанные жемчугом. Полагают, что ее съел серый волк, ибо о ней больше не было ни слуху ни духу.

Как случилось, что после столь печального опыта Синяя Борода снова решился вступить в брак? Это можно понять, только памятуя, какую власть прекрасные глаза имеют над благородным сердцем. Наш достойный дворянин встретил в одном из соседних замков, куда был вхож, юную сиротку знатного происхождения, которую звали Алиса де Понтальсен; лишившись по вине жадного опекуна всего своего состояния, она задумала уйти в монастырь. Услужливые друзья взялись отговорить ее от этого намерения и убедить ее принять предложение г-на де Монрагу. Она была на диво хороша. Синяя Борода, мечтавший испытать в ее объятиях неизъяснимое блаженство, и на сей раз обманулся в своих чаяниях. Эта супруга доставила ему горести, которые ввиду его мощного сложения должны были быть для него намного чувствительнее всех неприятностей, испытанных им в предшествующих браках. Алиса де Понтальсен упорно отказывалась претворить в реальность брачный союз, который заключила по доброй воле. Тщетно г-н де Монрагу упрашивал ее по-настоящему стать его женой; она не уступала ни мольбам, ни слезам, ни настояниям, уклонялась от самых невинных ласк супруга, опрометью убегала от него и запиралась в «кабинете злосчастных принцесс», где проводила цельте ночи в страхе и одиночестве. Ни-

кто никогда не узнал подлинной причины ее поведения, столь противного всем законам божеским и человеческим. Его объясняли тем, что у г-на де Монрагу была синяя борода; но все сказанное нами выше о пресловутой бороде сеньора делает это предположение мало правдоподобным. Впрочем, о таких вещах трудно судить. Чтобы забыться, он с каким-то неистовством охотился, загоняя собак, лошадей, доезжачих. Но когда он, вконец утомленный, измученный, возвращался в замок, ему достаточно было увидеть мадемуазель де Понтальсен; чтобы силы вернулись к нему, а страдания — возобновились. Наконец, дойдя до полного отчаяния, он начал хлопотать в Риме о расторжении брака, являвшегося чистейшей фикцией, и на основании канонического права добился развода, предварительно сделав ценный подарок святейшему отцу.

Если г-н де Монрагу выпроводил мадемуазель де Понтальсен учтивейшим образом, не сломав свою палку о ее спину, а оказывая ей все то внимание, на которое женщины имеют право, то потому лишь, что у него была гордая душа и благородное сердце, и еще потому, что над собой он властвовал так же безраздельно, как над своим замком. Но он поклялся, что отныне ни одно существо женского пола не войдет в его покои. Счастьем для него было бы, если б он сдержал эту клятву!

III

Прошло несколько лет с тех пор, как г-н де Монрагу учтиво выпроводил свою шестую жену, и во всей округе сохранилось лишь смутное воспоминание о бедствиях, постигших достойного сеньора в его семейной жизни. Никто не знал, что сталось с его женами, и по вечерам в деревне об их судьбе рассказывали побасенки, от которых волосы становились дыбом; одни им верили, другие — нет. Около того времени в замке Ламотт-Жирон, в двух лье по прямой от замка Гийет, поселилась немолодая вдова, г-жа Сидони де Леспуас. Откуда она приехала, кто был ее муж — этого никто но знал. Шла молва, что он занимал какие-то должности

в Савойе или в Испании; кое-кто утверждал, что он умер в Вест-Индии; некоторые люди полагали, что у его вдовы огромные поместья; другие в этом сомневались. Как бы там ни было, Сидони де Леспуас жила на широкую ногу и приглашала в Ламотт-Жирон всю окрестную знать. У нее были две дочери; старшая Анна, тонкая бестия, засиделась в девицах; Жанна, младшая, была на выданье; под видом весьма невинным она скрывала ранний житейский опыт. У г-жи де Леспуас было еще и двое сыновей, из коих одному исполнилось двадцать лет, другому — двадцать два. Красивые, статные парни. Один из них служил в драгунах, другой ** в мушкетерах. Поскольку я видел его офицерский патент, я могу сказать, что второй был не просто мушкетер, а черный мушкетер. Когда он шел пешком, это не было заметно, ибо черные мушкетеры отличались от серых не цветом мундира, а только мастью своих коней. И те и другие мушкетеры носили камзолы голубого сукна с золотым галуном. Что касается драгун — их узнавали по меховым шапкам, украшенным хвостом, изящно спадавшим на ухо. О драгунах шла дурная слава, как явствует из песенки:

Ах, беда, идут драгуны!
Матушка — бежим скорей!

В обоих драгунских его величества полках не сыскать было второго такого распутника, бездельника и негодяя, как Ком де Леспуас. По сравнению с ним, его брат мог сойти за честного парня. Игрок и пьяница, Пьер де Леспуас нравился женщинам и удачно играл в карты; женщины и карты были единственными источниками доходов, которые он признавал.

Госпожа де Леспуас, их матушка, вела в Ламотт-Жирон пышный образ жизни только для того, чтобы пускать пыль в глаза всем окружающим. На самом деле у нее не было ни гроша, и даже зубы она себе вставила в долг. Наряды, обстановка, кареты, лошади и слуги — все было взято ею напрокат у парижских ростовщиков, грозившихся все это у нее отобрать, если ей в ближайшее время не удастся выдать одну из дочерей замуж за какого-нибудь богатого сеньора, и поч-

тенная Сидони с минуты на минуту ждала, что останется догола раздетой в опустошенном доме. Стараясь как можно скорее найти зятя, она тотчас возымела виды на г-на де Монрагу, так как мигом сообразила, что он простодушен, кроток, легко даст себя обманывать и, несмотря на суровый, мрачный вид, весьма влюбчив. Дочери, посвященные в ее планы, при каждой встрече бросали на беднягу взгляды, разившие его в самое сердце. Он очень быстро поддался могущественным чарам обеих сестер. Презрев свои клятвы, он, одинаково восхищаясь обеими, только о том и думал, как бы жениться на той или другой из них. После некоторого промедленья, вызванного не столько колебаниями, сколько робостью, он в парадной карете приехал в Ламотт-Жирон и изложил свое дело г-же де Леспуас, предоставив ей самой рассудить, какую из дочерей она даст ему в жены. Г-жа Сидони учтиво заверила его в глубочайшем своем уважении и позволила ему ухаживать за той из девиц, которая ему больше приглянется.

— Сумейте понравиться, сударь, — сказала она ему на прощанье, — я первая буду рада вашему успеху.

Чтобы познакомиться поближе, Синяя Борода пригласил Анну и Жанну де Леспуас с их матерью, братьями и множеством дам и кавалеров на две недели в замок Гийет. Прогулки чередовались с охотой и рыбной ловлей, игры и танцы — с роскошными полдниками и другими увеселениями на вольном воздухе. Молодой сеньор, шевалье де ла Мерлюс, которого привезло с собой семейство де Леспуас, устраивал облавы на оленей. У Синей Бороды были лучшие охотничьи стаи и лучшие егеря во всей округе. Дамы усердно состязались с мужчинами в преследовании оленя. Его не всегда настигали, но, гонясь за ним, охотники и их спутницы разбредались по лесу парами, затем ненадолго собирались все вместе, опять исчезали и опять плутали. Шевалье де ла Мерлюс чаще всего исчезал вместе с Жанной де Леспуас; под вечер все возвращались в замок возбужденные своими похождениями и довольные ими. Понаблюдав за сестрами несколько дней подряд, г-н де Монрагу отдал предпочтение

младшей, Жанне, более свеженькой, хотя это отнюдь не значило, что она была менее испорчена. Он открыто выказывал свое предпочтение, да ему и незачем было таиться, так как намерения он питал самые честные; к тому же притворство было ему не по нраву; он ухаживал за девицей как умел; говорил он с непривычки мало, но зато подолгу смотрел на нее, ужасающе вращая глазами, и из глубины его души вырывались такие вздохи, что казалось — пред ними не устоит и могучий дуб. Иногда он разражался хохотом, от которого дрожала посуда и дребезжали стекла. Из всего общества он один не замечал, что шевалье де ла Мерлюс постоянно увивается вокруг младшей дочери г-жи де Леспуас, а если и замечал, то не усматривал в этом ничего дурного. Его опыт по части женщин был слишком скуден, чтобы внушить ему подозрительность, и он не сомневался в предмете своей привязанности. Моя бабушка говаривала, что опыт в жизни никого ничему не учит, и человек всегда остается таким, каким был. Мне думается, что она рассуждала здраво, и правдивая история, которую я здесь воспроизвожу, подтверждает ее слова.

Синяя Борода обставлял эти празднества необычайно пышно. С наступлением сумерек на лужайке перед замком вспыхивало множество смоляных факелов, а столы, за которыми прислуживали лакеи, наряженные фавнами, и деревенские красотки, наряженные дриадами, ломились от яств, изготовленных из всего самого лакомого, что только поставляют поля и леса. Музыканты непрерывно услаждали слух прекрасной музыкой. К концу ужина являлись школьный учитель с учительницей, сопровождаемые деревенской детворой; они читали вслух стихи, сочиненные в честь г-на де Монрагу и его гостей, а звездочет в остроконечном колпаке подходил к дамам и по линиям руки предсказывал им их будущие увлечения. По распоряжению Синей Бороды, слуги потчевали вином всех его вассалов, и он собственноручно оделял вином и мясом семьи окрестных бедняков.

В десять часов вся компания, опасаясь вечерней прохлады, удалялась в парадные апартаменты замка,

ярко освещенные множеством свечей. Там были расставлены столы для всевозможных игр: сражались на бильярде, играли в шахматы и в кости, в ландскнехт, реверси, в шарики, а также в турнике, портик, брелан, гок*а*, триктрак, бассет и кальбас. Синей Бороде никогда не везло во всех этих играх, каждый вечер он проигрывал огромные суммы. Утешением в столь упорном злосчастье ему могло служить лишь то, что все три дамы Леспуас неизменно были в выигрыше. Младшая, Жанна, всегда ставившая свою ставку на карту шевалье де ла Мерлюс, загребала золотые горы. Оба сына г-жи де Леспуас также выигрывали немалые деньги в реверси и бассет, и в самых что ни на есть азартных играх фортуна более всего благоприятствовала им. Игра затягивалась до поздней ночи; участники этих великолепных празднеств почти совсем не спали и, как говорит автор самой первой биографии Синей Бороды, «ночи напролет забавлялись всякими озорными проделками».

Эти часы были для многих самыми сладостными, так как в укрытии мрака те, кого влекло друг к другу, под предлогом веселых шалостей уединялись в глубоких альковах. Шевалье де ла Мерлюс рядился то чертом, то привидением, то оборотнем и пугал спящих, но все его проказы кончались тем, что он прокрадывался в спальню Жанны де Леспуас. Доброго г-на де Монрагу тоже не забывали в этих играх. Сыновья г-жи де Леспуас сыпали ему в постель едкий порошок, заставлявший его немилосердно чесаться, и жгли в его покоях какие-то снадобья, распространявшие удушливую вонь; или же они ставили на притолоку двери в его спальню кувшин с водой, и незадачливый сеньор, отворяя дверь, неминуемо опрокидывал кувшин себе на голову. Словом, они не упускали случая сыграть с ним какую-нибудь злую шутку; гостей г-на де Монрагу это развлекало, а сам он все переносил с обычной своей кротостью.

Он сделал предложение, которое г-жа де Леспуас приняла, хотя, по ее словам, сердце у нее разрывалось при мысли, что ее дочери выйдут замуж. Свадьбу сыграли в Ламотт-Жироне с неслыханной пышностью.

Мадемуазель Жанна, красивая, как никогда, была с головы до ног облечена в дорогие французские кружева, ее прическа состояла из несметного множества мелких локонов. На ее сестре Анне было зеленое бархатное платье, расшитое золотом. Их почтенная матушка щеголяла в платье из золотистой парчи, отделанном черной синелью, и в уборе из жемчугов и бриллиантов. Г-н де Монрагу нацепил на черный бархатный кафтан все свои крупные бриллианты. У него был очень благородный вид, а простодушная радость, выражавшаяся в его лице, приятно контрастировала с отливавшим синевой подбородком и мужественной осанкой. Разумеется, братья невесты тоже были разодеты в пух и прах; но всех ослепительнее сиял шевалье де ла Мерлюс, явившийся в розовом бархатном кафтане, расшитом жемчугом.

Как только празднество кончилось, евреи-ростовщики, ссудившие семейству де Леспуас и сердечному дружку новобрачной все эти прекрасные одежды и драгоценности, забрали их и на почтовых увезли обратно в Париж.

IV

Целый месяц г-н де Монрагу был счастливейшим из людей. Он обожал свою жену и считал ее ангелом чистоты. А была она отнюдь не такая; но люди куда более опытные, чем бедняга Синяя Борода, и те обманулись бы точь-в-точь как он, настолько эта особа была хитра и коварна; к тому же она неукоснительно следовала советам своей матушки, самой прожженной негодяйки во всем французском королевстве. Эта почтенная особа поселилась в замке Гийет вместе со своей старшей дочерью Анной, обоими сыновьями, Пьером и Комом, и шевалье де ла Мерлюсом, столь же неразлучным с г-жой де Монрагу, как если бы он был ее тенью. Это несколько раздражало простака-мужа, которому хотелось постоянно быть наедине со своей супругой; но он не огорчался дружеским расположением Жанны к молодому дворянину, так как она

уверила его, что шевалье де ла Мерлюс — ее молочный брат.

Шарль Перро рассказывает, что спустя месяц после женитьбы Синяя Борода был вынужден отлучиться из дому на шесть недель по важному делу; но, по-видимому, Перро не знал подлинных причин этого путешествия, и возникло подозрение, что оно было лишь уловкой, которою, как водится, воспользовался ревнивый муж, дабы застать жену врасплох. В действительности все было совсем иначе: г-н де Монрагу поехал в округ Перш, чтобы вступить во владение наследством своего кузена д'Утард, героически погибшего в сражении при Дюнах: * пушечное ядро убило его наповал в ту минуту, когда он играл в кости на опрокинутом барабане.

Перед отъездом г-н де Монрагу попросил супругу во время его отсутствия развлекаться как можно усерднее.

— Пригласите ваших подружек, сударыня, — сказал он ей, — катайте их в карете по окрестностям, веселитесь и ублажайте себя вкусной едой.

Он отдал ей ключи замка, подчеркивая этим, что в его отсутствии она является единственной и полновластной хозяйкой всего поместья Гийет.

— Вот, — сказал он ей, — ключи от двух главных кладовых; вот ключ от хранилища золотой и серебряной утвари, которою не пользуются в обиходе; вот ключ от железных шкафов, где у меня хранятся золото и серебро; вот ключи от ларчиков с драгоценностями, и вот ключ, который подходит ко всем комнатам замка. А вот этим ключиком отпирается дверь в тот кабинет, что в конце большой галереи нижнего этажа. Открывайте все, расхаживайте повсюду.

Шарль Перро утверждает, что г-н де Монрагу прибавил:

— Но в «малый кабинет» я вам запрещаю входить, запрещаю строго-настрого, и если вам вздумается его отпереть, моему гневу не будет предела.

Передавая эти слова, биограф Синей Бороды, в ущерб истине, без всякой проверки принимает версию, пущенную дамами де Леспуас после того, как некое

событие совершилось. Г-н де Монрагу сказал совсем другое. Вручая супруге ключ от «малого кабинета» — иначе говоря, от «кабинета злосчастных принцесс», о котором нам уже неоднократно приходилось упоминать, он выразил пожелание, чтобы дорогая его Жанна не входила в комнату, представлявшуюся ему роковой для его семейного счастья. И впрямь — в эту комнату прокралась его первая жена, лучшая из всех, чтобы убежать из замка вместе со своим медведем; в этой комнате Бланш де Жибоме без счета обманывала его со всякими дворянами; и, наконец, порфировые плиты пола были обагрены кровью преступницы, которую он обожал. Разве всего этого не было достаточно, чтобы для г-на де Монрагу с мыслью о «малом кабинете» соединялись ужасные воспоминания и зловещие предчувствия?

Слова, с которыми он обратился к Жанне де Леспуас, выражали чувства и желания, волновавшие его душу. Мы воспроизводим их буквально.

«У меня нет тайн от вас, сударыня, и я считаю, что нанес бы вам кровное оскорбление, если бы не передал в ваши руки всех ключей жилища, которое принадлежит вам. Следовательно, вы можете входить в «малый кабинет» совершенно так же, как и во все другие комнаты замка; но прошу вас — послушайтесь моего совета, не отпирайте его! Вы премного меня обяжете этим, ибо у меня с ним связаны горестные воспоминания, независимо от моей воли порождающие во мне мрачные предчувствия. Я был бы в отчаянии, если б с вами случилось несчастье или если б я навлек на себя вашу немилость; простите, сударыня, эти опасения, к счастью неосновательные, и благоволите усмотреть в них выражение моей трепетной нежности и моего неусыпного о вас попечения».

Сказав это, добрый сеньор поцеловал супругу и на почтовых отправился в округ Перш.

«Соседки и подружки, — повествует далее Шарль Перро, — не стали ждать, пока за ними послали гонцов, а сами отправились к новобрачной; уж очень им не терпелось увидеть все сокровища ее замка. Они тот-

час принялись осматривать покои, и кладовые, и гардеробные, одни красивее и богаче других; при этом они без умолку превозносили счастье своей подруги и замирали от зависти к ней».

Все историки, писавшие на эту тему, прибавляют, что осмотр этих сокровищ нисколько не веселил г-жу де Монрагу — уж очень ей хотелось поскорее отпереть «малый кабинет». Это сущая правда, и, как говорит все тот же Перро, «любопытство так сильно ее донимало, что она, не приняв во внимание, сколь неучтиво покидать гостей, спустилась туда по винтовой лесенке, притом с такой поспешностью, что раза два или три чуть было не свернула себе шею». Это установленный факт. Но никто никогда не сообщал, что она так спешила в это укромное местечко только потому, что там ее ждал шевалье де ла Мерлюс.

С тех пор как Жанна поселилась в замке Гийет, она каждый день, а то и два раза в день, встречалась в «малом кабинете» с молодым дворянином, никогда не пресыщаясь этими свиданиями, так мало приличествовавшими новобрачной. Сомневаться в том, какого свойства были отношения между Жанной и шевалье де ла Мерлюсом, не приходится; эти отношения отнюдь не были честны, отнюдь не были невинны. Увы! Если бы г-жа де Монрагу посягнула только на честь своего супруга, она, несомненно, навлекла бы на себя хулу последующих поколений, но самый суровый моралист нашел бы для нее извинения; он привел бы в пользу молодой женщины нравы того времени, пример, подаваемый Парижем и двором, бесспорное воздействие дурного воспитания, коварные советы, преподанные развратной матерью, ибо г-жа Сидони де Леспуас потворствовала шашням дочери. Мудрецы простили бы ей эту вину, слишком сладостную, чтобы заслуживать суровой кары. Ее проступки показались бы слишком заурядными, чтобы счесть их за великие прегрешения, и все рассудили бы, что она вела себя ничуть не хуже других женщин. Но Жанна не удовлетворилась посягательством на честь своего супруга: она не убоялась посягнуть и на его жизнь.

«Малый кабинет», называемый также «кабинетом злосчастных принцесс», и был тем местом, где Жанна де Леспуас, г-жа де Монрагу, сговорилась с шевалье де ла Мерлюсом убить своего любящего, верного мужа. Позднее она заявила, что, войдя в кабинет, увидела висевшие там трупы шести убитых женщин, запекшейся кровью которых были окрашены плиты пола, догадалась, что перед ней — шесть несчастных жен Синей Бороды, и поняла, какая участь ее ожидает. В таком случае весьма возможно, что она приняла изображения женщин на стенах за изуродованные трупы, — галлюцинация, вполне сравнимая с теми, что преследовали леди Макбет. Но более чем вероятно, что она заранее все это измыслила, дабы впоследствии рассказом об этом страшном зрелище очернить своего супруга и тем самым оправдать его убийц. Гибель г-на де Монрагу была предрешена. Письма, лежащие передо мной, не оставляют у меня сомнений в том, что г-жа Сидони де Леспуас участвовала в этом заговоре. Относительно ее старшей дочери можно с уверенностью сказать, что она являлась его душой. В этой семейке Анна де Леспуас была самым злым существом. Чуждая слабостей, порождаемых чувственностью, она среди разврата, царившего в доме Леспуас, оставалась целомудренной. Она отказывала себе в чувственных наслаждениях не потому, что считала их слишком низменными, а потому, что истинное наслаждение ей доставляла только жестокость. Братьев своих, Пьера и Кома, она вовлекла в это злое дело обещанием каждому из них доставить командование полком.

V

Теперь нам остается восстановить на основании подлинных документов и надежных свидетельств картину самого жестокого, самого коварного и самого подлого из всех семейных преступлений, память о которых дошла до наших дней. Убийство, все обстоятельства которого мы здесь изложим, можно сравнить только с убийством Гильома де Флави, умерщвленного в ночь на

9 марта 1449 года своей женой Бланш д'Овербрек, молодой, хрупкой женщиной, и ее сообщниками — побочным сыном г-на д'Орбандаса и цирюльником Жаном Бокийоном. Они задушили Гильома де Флави подушкой, размозжили ему голову поленом и перерезали ему горло, словно теленку. Но Бланш д'Овербрек доказала, что муж твердо решил ее утопить, тогда, как Жанна де Леспуас предала в руки гнусных злодеев супруга, нежно ее любившего. Мы расскажем это дело так сжато, как только возможно.

Синяя Борода возвратился несколько раньше, чем предполагалось. Это обстоятельство навело на ошибочное предположение, будто г-н де Монрагу, терзаясь лютой ревностью, хотел захватить свою жену врасплох. Отнюдь нет! Веселый и доверчивый, он если даже задумал сделать ей сюрприз, то приятный. Его нежность, доброта, радостный и спокойный вид должны были бы смягчить самые жестокие сердца. Шевалье де ла Мерлюс и вся гнусная семейка де Леспуас усмотрели в этом лишь возможность с меньшей опасностью для себя самих посягнуть на его жизнь и завладеть его богатствами, еще приумноженными наследством кузена. Молодая жена встретила его с улыбкой; она позволила себя расцеловать и увести в супружескую спальню, где добрый простак вкусил полное блаженство, На другое утро она вернула ему связку ключей, которую он ей доверил, уезжая. Но там не оказалось ключа от «кабинета злосчастных принцесс», обычно называвшегося «малым кабинетом». Синяя Борода кротко попросил жену вернуть ключ; некоторое время Жанна медлила под различными предлогами, но затем исполнила просьбу мужа.

Здесь возникает вопрос, разрешить который невозможно, не переходя из тесного круга исторических исследований в беспредельные просторы философии. Шарль Перро безоговорочно утверждает, что ключ от «малого кабинета» был волшебным, а сие означает, что то был ключ заколдованный, магический, наделенный свойствами, противоречащими законам природы, во всяком случае тем, какие существуют в нашем

представлении. И у нас нет никаких доказательств того, что Перро заблуждался. Здесь уместно вспомнить правило, преподанное моим прославленным учителем, г-ном дю Кло де Люн, членом Института: «Когда появляется сверхъестественное, историк не должен его отвергать». Поэтому я ограничусь тем, что приведу по поводу этого ключа единодушное мнение всех историков, писавших о Синей Бороде в давние времена. Все они утверждают, что ключ был волшебный. Это очень веское свидетельство. Впрочем, этот ключ — далеко не единственное изделие рук человеческих, обладавшее сверхъестественными свойствами. Предание изобилует рассказами о волшебных мечах. У короля Артура был волшебный меч. Волшебным, по неопровержимому свидетельству Жана Шартье, был и меч Жанны д'Арк; в доказательство прославленный летописец приводит тот факт, что, когда лезвие меча сломалось, куски воспротивились тому, чтобы их соединили вновь, и все усилия самых искусных оружейников были тщетны. В одном из своих стихотворений Виктор Гюго упоминает «ступеньки лесенок волшебных, что под ногами вьются, пляшут». Многие писатели допускают даже существование людей-волшебников, способных оборачиваться волком. Мы не намерены оспаривать верования, столь прочно укоренившиеся, и не беремся решать, был ли, или не был ключ «малого кабинета» волшебным, а предоставляем сообразительному читателю самому уяснить себе наше мнение по этому вопросу, ибо наша сдержанность не означает, что мы не составили себе суждения, и поэтому заслуживает похвалы. Но, когда мы читаем, что этот ключ был запачкан кровью, мы снова чувствуем себя в своей сфере, вернее сказать — в сфере нашей юридической компетенции, где мы снова становимся судьями, полномочными расследовать факты и обстоятельства и на основании их выносить приговор. Мы не так слепо подчиняемся авторитету текстов, чтобы поверить этому. Ключ не был запачкан кровью. В «малом кабинете» действительно пролилась кровь, но очень давно. Была ли она смыта, засохла ли — крови на ключе не могло быть, и то, что

в своем смятении преступная супруга приняла за кровавое пятно на железе, было лишь отблеском зари, еще румянившей небосвод. Как бы то ни было, г-н де Монрагу, взглянув на ключ, догадался, что его жена побывала в «малом кабинете», — ведь он сразу заметил, что сейчас ключ был чище, блестел гораздо ярче, чем когда он его вручил ей; отсюда он сделал вывод, что этот блеск вызван частым употреблением. Это сильно его огорчило, и он, скорбно улыбаясь, сказал молодой жене:

— Дорогая, вы входили в «малый кабинет». Как бы это не привело к печальным последствиям для вас и для меня! Эта комната оказывает гибельное влияние, от которого я хотел вас уберечь! Если бы оно сказалось на вас, я был бы безутешен. Простите меня, но ведь любовь располагает к суеверию.

Как только он это сказал, юная г-жа де Монрагу, хотя она никак не могла испугаться Синей Бороды, ибо в его словах и голосе выражались только печаль и любовь, — юная г-жа де Монрагу завопила благим матом: «На помощь! Убивают!»

То был условленный знак; услышав его, шевалье де ла Мерлюс и сыновья г-жи де Леспуас должны были броситься на Синюю Бороду и пронзить его своими шпагами.

Но явился один только шевалье де ла Мерлюс, которого Жанна заранее спрятала тут же в спальне, в шкафу; когда он с обнаженной шпагой в руке бросился на г-на де Монрагу, тот стал в оборонительную позицию.

Жанна в ужасе убежала и в галерее столкнулась со своей сестрой Анной, не стоявшей, как гласит предание, на башне, — ведь макушки башен были снесены еще по приказу кардинала Ришелье. Анна де Леспуас старалась ободрить своих братьев: бледные, дрожащие, они не решались пойти на такое отчаянное дело.

Жанна кинулась к ним и стала молить: «Скорее! Скорее! Братья, спасите моего возлюбленного!» Тогда Пьер и Ком подбежали к Синей Бороде; тот меж тем успел обезоружить шевалье де ла Мерлюса, повалил его на пол и коленом придавил ему грудь.

Предательски подкравшись сзади, братья пронзили его шпагами и долго еще кололи после того, как он испустил дух.

У Синей Бороды не было наследников, Все его богатства перешли к его жене. Часть их она дала в приданое сестре своей Анне, еще некоторую часть употребила на то, чтобы купить каждому из братьев чин капитана, а все остальное взяла себе и вышла замуж за шевалье де ла Мерлюса, ставшего, как только он разбогател, вполне порядочным человеком.

ЧУДО СВЯТОГО НИКОЛАЯ

Святой Николай, епископ Мирликийский, жил во времена Константина Великого *. Все писатели, когда-либо повествовавшие о нем, даже самые древние и самые суровые, прославляют его добродетели, труды и заслуги; все они приводят обильные доказательства его святости, но ни один из них не говорит о чуде с кадкой солонины. Не упоминается о ней и в «Золотой легенде» *. Это молчание весьма знаменательно, и все-таки не хочется подвергать сомнению столь прославленное событие, удостоверенное всемирно известной народной песенкой:

Ребяток трое было там,
Сбиравших колос по полям...

Этот замечательный литературный памятник совершенно определенно говорит о том, что жестокий колбасник положил мальчиков в кадку «и засолил их, как поросят». Это, очевидно, надо понимать в том смысле, что он разрубил их на куски и хранил в рассоле. Именно так производится засол свинины; но мы с удивлением читаем дальше, что ребятишки пролежали в рассоле семь лет, между тем как обычно месяца через полтора мясо начинают при помощи

деревянной вилки вынимать из бочонка. Памятник не оставляет места сомнению: именно через семь лет после преступленья, по словам песенки, великий святой Николай вошел в проклятую харчевню. Он спросил поужинать. Хозяин сказал, что может предложить хорошей ветчины.

— Нет, мне не нравится она.
— Тогда телятины кусок?
— Нет, не пойдет она мне впрок.
Я б солонинкой закусил,
Что ты семь лет как засолил. —
О том услышав, живодер
Поспешно выбежал во двор.

И тут же, возложив руки на кадку с солониной, божий человек воскресил три кроткие жертвы.

Таков в основном рассказ древнего безыменного летописца; он содержит в себе неподражаемые черты душевной чистоты и простосердечной веры. Скептицизм берет на себя неблагодарную задачу, нападая на самые живучие памятники народного самосознания. Именно поэтому я не без горячего чувства удовлетворения нашел возможность согласовать правдивость народной песенки с умолчанием древних жизнеописателей мирликийского первосвященника. Я рад, что могу обнародовать плод моих долгих размышлений и ученых изысканий. Чудо с кадкой солонины достоверно по крайней мере во всем наиболее существенном. Но совершил его не блаженный епископ из Мир Ликийских. Совершил его другой святой Николай, ибо их двое: один, как мы уже сказали, был епископом Мирликийским; другой, менее древний, — епископом Тренкебальским в Вервиньоле. Мне было дано установить их различие. Трех мальчиков из кадки с солониной извлек епископ Тренкебальский. Я это докажу на основе подлинных документов, и людям, таким образом, не придется оплакивать утрату этой легенды.

Мне посчастливилось разыскать всю историю епископа Николая и воскрешенных им мальчиков. Я изложил ее в рассказе, который, надеюсь, будет прочитан и с пользой и не без удовольствия.

I

Николай, происходивший из знатной вервиньольской семьи, уже с самого раннего детства выказывал признаки святости, а четырнадцати лет от роду дал обет посвятить себя служению господу богу. По принятии им духовного сана, еще совсем юным, был он по единогласно выраженной воле народа и по желанию капитула возведен на кафедру святого Кромадера, святителя вервиньольского и первого Тренкебальского епископа. Он благочестиво выполнял свой пасторский долг, мудро управлял подчиненными, просвещал народ и не боялся призывать знатных к справедливости и воздержанию. Он был щедр, раздавал обильную милостыню и уделял бедным бо́льшую часть своего состояния.

Его замок, расположенный на холме, господствующем над городом, гордо вздымал свои зубчатые стены и башни. Святой Николай создал из него убежище, где находили себе приют все, кому грозило мирское правосудие. В нижней зале, самой обширной во всем Вервиньоле, обеденный стол был до того длинен, что людям, сидевшим на одном конце, он казался неясным острием, терявшимся где-то в отдалении; а когда на нем зажигали огни, он напоминал хвост кометы, которая появилась в Вервиньоле как предвестница смерти короля Кома. Святой епископ Николай занимал место во главе стола. Здесь он угощал знатнейших лиц города и королевства, а также множество всяких людей светского и духовного звания. Но справа от него всегда стояло кресло, предназначенное для бедняка, который может постучаться у его ворот, прося подаяния. Особенно душевно заботился добрый святой Николай о детях. Он умилялся их невинностью и при виде их чувствовал в себе отцовское сердце и утробу матери. Добродетели его и образ жизни были чисто апостольские. В простой одежде монаха, с грубым посохом в руках, ежегодно навещал он свою паству, желая видеть все собственными глазами, и, чтобы ни одна горесть, никакое зло не могли ускользнуть от него, он, в сопровождении только одного служителя, объезжал

наиболее глухие уголки своей епархии, переправляясь зимой через разлившиеся реки, взбираясь на покрытые льдом горные вершины и углубляясь в дремучие леса.

И вот, однажды, проездив с самого раннего утра верхом на муле, в сопровождении дьякона Модерна, по темным лесам, обиталищу рыси и волка, среди древних елей, покрывающих вершины Мармузских холмов, божий человек углубился на исходе дня в чащу колючего кустарника, сквозь который мул с большим трудом, медленно прокладывал себе извилистый путь. Дьякон Модерн едва поспевал за ним на муле, нагруженном тяжелой поклажей.

Одолеваемый усталостью и голодом, божий человек сказал Модерну:

— Приостановимся, сын мой, и, если у тебя осталось немного хлеба и вина, поужинаем здесь, ибо силы мои иссякли и я не могу продолжать путь, да и ты, хотя и моложе годами, наверное утомился не меньше меня.

— У меня не осталось, владыко, ни капли вина и ни крошки хлеба, так как я по вашему приказанию все роздал в пути людям, которые гораздо меньше в том нуждались, нежели мы с вами.

— Что и говорить, если бы у тебя в суме еще осталось несколько корок хлеба, — возразил епископ, — мы съели бы их с удовольствием, ибо кормчим церкви надлежит питаться объедками бедняков. Но раз у тебя ничего больше нет, такова, значит, воля господня и, разумеется, он пожелал этого для нашего блага и ради нашей пользы. Возможно, что он навсегда скроет от нас причины такого благодеяния, а может быть, наоборот, не замедлит обнаружить их. В ожидании этого нам остается, полагаю, продолжать наш путь, пока мы не найдем диких яблок или тутовых ягод для себя, травы для наших мулов и, подкрепившись таким образом, не сможем отдохнуть на ложе из листьев.

— Как вам будет угодно, владыко, — ответил Модерн, подгоняя своего мула.

Они ехали всю ночь и часть утра и наконец, взобравшись по крутому склону, вдруг очутились на опушке леса и увидели у ног своих равнину, прикры-

тую бурым небом и пересеченную четырьмя неясными дорогами, терявшимися в тумане. Они избрали левую из этих дорог, древний римский тракт, которым некогда пользовались купцы и паломники, но пустынный с тех пор, как война разорила эту часть Вервиньоля. На небе, в котором стремительно летали птицы, собирались плотные тучи; удушливый воздух давил на мертвенно-серую, молчаливую землю; яркие отблески мерцали на горизонте. Они подхлестнули усталых мулов. Вдруг сильный порыв ветра склонил верхушки деревьев, прошумел в ветвях и застонал в затрепетавшей листве. Загремел гром, и крупные капли дождя пролились на землю.

Продолжая путь среди бури и раскатов грома, по дороге, обратившейся в сплошной поток, они при свете молнии заметили дом, над дверью которого висела ветка остролиста — символ гостеприимства. Они остановились.

Харчевня казалась покинутой, однако навстречу им вышел хозяин, человек приниженного и вместе с тем свирепого вида, с большим ножом за поясом, и спросил их, чего они хотят.

— Пристанища и кусочек хлеба, да глоток вина, потому что мы очень устали и промерзли, — ответил епископ.

Пока хозяин доставал вино из подвала, а Модерн отводил мулов в конюшню, святой Николай, присев у очага, возле потухающего пламени, окинул взглядом закопченную харчевню. Скамейки и лари были покрыты пылью и грязью, пауки плели паутину между балками, источенными червями, с подвешенными к ним тощими связками лука. Из темного угла выпячивалось окованное железными обручами чрево кадки с солониной.

В те времена злые духи гораздо больше вмешивались в повседневную жизнь людей, нежели теперь. Они водились в домах. Забившись в солонку, в горшок изпод масла или в какое-нибудь иное убежище, они следили за людьми, выискивая случая соблазнить их и вовлечь во зло. Ангелы тоже гораздо чаще являлись среди христиан.

И вот черт, величиной с орех, запрятавшийся между головешками, заговорил со святым епископом:

— Взгляните, отче, на эту кадку с солониной; право, она того стоит. Это лучшая кадка во всем Вервиньоле. Это образцовая кадочка, это жемчужина среди кадок. Когда здешний хозяин, почтенный Гаром, получил ее из рук искусного бондаря, он натер ее изнутри можжевельником, тимьяном и розмарином. Никто так, как почтенный Гаром, не сумеет спустить кровь из туши, вынуть из нее кости, старательно, внимательно, любовно раскроить ее на куски и пропитать соляным раствором, сохраняющим мясо и придающим ему тонкий запах. Кто еще так заправит, настоит, выпарит, очистит, подкрасит и процедит рассол! Отведайте его солонинки, отче, и вы пальчики оближете. Отведайте его солонинки, Николай, и я послушаю, что вы о ней скажете!

Но по этой речи, а в особенности по звуку голоса (он скрипел, как пила), святой епископ сразу признал лукавого. Он сотворил крестное знамение, и чертик, точно брошенный в огонь нерасколотый каштан, тут же лопнул с ужасным треском и великим зловонием.

И ангел небесный, блещущий светом, явился Николаю и сказал:

— Любезный господу Николай, да будет тебе известно, что в этой кадке уже семь лет находятся трое мальчиков. Трактирщик Гаром разрезал нежные создания на куски, посолил их и опустил в рассол. Встань, Николай, и молись об их воскресении. Ибо если ты, первосвященник, будешь за них ходатаем, возлюбивший тебя господь вернет их к жизни...

Во время этой речи Модерн вошел в харчевню, однако он не увидел ангела и не услышал его, так как не был достаточно свят, чтобы общаться с небесными силами.

Ангел сказал еще:

— Николай, сын божий, возложи руки на кадку, и мальчики воскреснут.

Блаженный Николай, исполненный ужаса, жалости, рвения и надежды, возблагодарил бога, и когда

хозяин харчевни вернулся, держа по жбану в каждой руке, святой сказал ему грозным голосом:

— Гаром, открой кадку с солониной!

При этих словах трактирщик от страха выронил жбан.

А святой епископ Николай простер руки и сказал:

— Дети, восстаньте!

Едва он это промолвил, крышка кадки приподнялась, и трое мальчиков вышли на волю.

— Дети, — сказал им епископ, — восхвалите господа, который моими руками извлек вас из кадки.

И, обернувшись к дрожавшему трактирщику, произнес:

— Жестокий человек, посмотри на детей, мерзостно умерщвленных тобой. Да будет тебе дано возненавидеть свое злодеяние и раскаяться, дабы господь простил тебя.

Охваченный ужасом, трактирщик бросился из дому в ревущую бурю, под раскаты грома и сверкание молний.

II

Святой Николай поцеловал мальчиков и ласково расспросил их об обстоятельствах, при которых они претерпели мученическую смерть. Они рассказали ему, что собирали в поле оставшиеся колосья, а тут к ним подошел Гаром, завлек их в свою харчевню, напоил вином и, когда они уснули, зарезал их.

Они были в тех же самых лохмотьях, что и в день своей смерти, а вид у них и после воскресения был робкий и дикий. Самый крепкий из них, Максим, оказался сыном сумасшедшей женщины, ездившей на осле вслед за армией. Однажды ночью он вывалился из корзины, в которой мать таскала его с собой, и остался на дороге. С той поры он жил совсем один, воруя овощи и плоды. Самый тщедушный, Робен, еле помнил родителей, крестьян, обрабатывавших неблагодарную землю, не то слишком бедных, не то слишком скупых, чтобы прокормить его, и потому оставивших его в лесу на произвол судьбы. Третий, Сульпиций,

ничего не знал о своем происхождении, но какой-то священник научил его начаткам грамоты.

Гроза кончилась. Птицы громко перекликались в прозрачном и легком воздухе. Земля зеленела и смеялась. Епископ Николай сел на мула, поданного Модерном, и взял на руки Максима, закутав его плащом. Дьякон посадил за собой Сульпиция и Робена, и они потихоньку направились к городу Тренкебалю.

Дорога вилась среди нив, виноградников и лугов. Великий святой Николай, уже от всего сердца полюбивший этих детей, попутно расспрашивал их о разных доступных им по возрасту предметах и задавал им несложные вопросы вроде следующих: «Сколько будет пятью пять?» или «Что такое бог?» Он не получал удовлетворительных ответов, но отнюдь не стыдил их за невежество, а только старался постепенно его рассеять с помощью наилучших педагогических приемов.

— Мы прежде всего им преподадим, Модерн, истины, необходимые для спасенья души, — сказал он, — затем свободные искусства и, в частности, музыку, дабы они могли воспевать хвалу господу богу. Надо будет, кроме того, преподать им риторику, философию, а также историю людей, животных и растений. Я хочу, чтобы они изучили нравы и строение тела животных, все органы которых своим непостижимым совершенством утверждают славу создателя.

Не успел почтенный первосвященник договорить, как на дороге показалась крестьянка, тащившая за узду старую кобылу, до того перегруженную хворостом, что поджилки у нее дрожали и она спотыкалась на каждом шагу.

— Увы! — воскликнул великий святой Николай. — Вот бедный конь, несущий чрезмерную ношу. На свое несчастье он попал в руки жестоких и несправедливых хозяев. Не следует обременять живые существа, не исключая и рабочей скотины.

При этих словах мальчики разразились смехом. Епископ спросил, отчего они так громко смеются.

— Потому что... — сказал Робен,

— Оттого что... — сказал Сульпиций.

— Мы смеемся над тем, что вы приняли кобылу за коня, — сказал Максим. — Вы не видите между ними разницы, а ведь она очень заметна. Вы, стало быть, не разбираетесь в животных?

— Этим детям надо, кажется, прежде всего преподать урок вежливости, — заметил Модерн.

Во всех городах, деревнях, слободах, поселках и замках, через которые пролегал их путь, святой Николай показывал жителям мальчиков, извлеченных из кадки, и рассказывал о великом чуде, совершенном по его предстательству богом, и каждый, радуясь, благословлял его за это. Узнав от гонцов и путешественников о столь чудесном событии, все население Тренкебаля высыпало навстречу своему пастырю, расстилая драгоценные ковры и бросая цветы на его пути. Горожане со слезами на глазах созерцали жертвы, спасшиеся из кадки, восклицая: «Слава!» Но бедные дети только посмеивались и высовывали языки; и это явное доказательство их невинности и убожества вызывало еще больше умиления и жалости к ним.

У святого епископа Николая была сиротка-племянница, по имени Миранда; ей шел седьмой год, и была она епископу дороже света его очей. Почтенная вдова, по имени Базина, воспитывала ее в набожности, благонравии и неведенье зла. Этой же особе епископ доверил и воспитание трех чудесно спасенных мальчиков. Вдова не была лишена наблюдательности и очень скоро заметила, что Максим наделен отвагой, Робен благоразумием, а Сульпиций рассудительностью, и постаралась укрепить в них эти добрые начала, которые, по свойственной всему человеческому роду испорченности, имели склонность к извращению и искажению: лукавство Робена легко обращалось в скрытность и чаще всего таило в себе грубую алчность; Максим был склонен к приступам гнева, а Сульпиций часто с великим упрямством высказывал ложные суждения о предметах первостепенной важности. В общем же это были обыкновенные дети, которые разоряли птичьи гнезда, воровали яблоки в чужих садах, привязывали

кастрюли к хвостам собак, наливали чернила в кропильницы и посыпали щетиной постель Модерна. По ночам, закутавшись в простыни и взобравшись на ходули, они отправлялись по садам, до обморока пугая служанок, чересчур долго загулявшихся со своими любезными. Они втыкали колючки в сидение кресла, в котором имела обыкновение располагаться г-жа Базина, и когда она опускалась в него, они радовались ее страданиям, с удовольствием наблюдая ее замешательство, когда ей надо было при всех подносить бдительную и заботливую руку к пострадавшему месту, так как эта почтенная особа ни за что на свете не согласилась бы погрешить против скромности.

Невзирая на возраст и все свои добродетели, эта дама не внушала им ни любви, ни страха. Робен называл ее старой хрычовкой, Максим — старой чертовкой, а Сульпиций — валаамовой ослицей. Они на все лады изводили маленькую Миранду, пачкали ее красивые платьица и толкали ее, так что она падала носом о камни. Однажды они окунули ее головой в бочку с патокой. Они подзадоривали ее садиться верхом на заборы и лазить по деревьям, не считаясь с тем, что это неприлично для девочки; они обучали ее также повадкам и выражениям, от которых отдавало харчевней и кадкой солонины. По их примеру, она называла почтенную Базину старой хрычовкой и даже, принимая часть за целое, — старым пузом. Но невинность ее сохранялась в неприкосновенности. Чистота ее души была незапятнана.

— Я счастлив, что извлек этих детей из кадки с рассолом, чтобы сделать из них добрых христиан, — говорил святой епископ Николай. — Они станут верными слугами господними, и добрые дела их зачтутся мне.

Однажды весной, на третий год после их воскрешения, когда мальчики, уже выросшие и вполне развившиеся, играли на лугу возле реки, Максим в порыве раздражения и природной заносчивости столкнул Модерна в воду, но дьякон успел ухватиться за ветку ивы и стал звать на помощь. Подошедший

Робен склонился к нему, будто собираясь вытащить его за руку, но снял с его пальца кольцо и убежал прочь.

Тем временем Сульпиций, стоявший на берегу со скрещенными на груди руками, изрекал:

— Модерна ожидает дурной конец. Я вижу шестерых бесов в образе летучих мышей, которые норовят слизнуть душу с его губ.

Узнав от Базины и Модерна об этом прискорбном происшествии, святой епископ крайне огорчился.

— Эти дети были вскормлены в страдании недостойными родителями, — промолвил он. — Чрезмерность перенесенных ими невзгод искалечила их нрав. Их изъяны следует выправлять с помощью долготерпения и настойчивой мягкости.

— Ваше преосвященство, — возразил Модерн, отплясывая лихорадку и чихая, несмотря на теплый халат и ночной колпак, ибо купанье наградило его насморком, — возможно, что их злобность имеет своим источником злобность их родителей. Но как объясните вы, святой отец, что дурное обращение вложило в каждого из них различные и, можно сказать, противоположные пороки, что заброшенность и нужда, в которых они обретались, прежде чем попасть в кадку с рассолом, сделали одного из них алчным, другого буйным, а третьего ложным духовидцем. И как раз этот последний, святой отец, тревожил бы меня, будь я на вашем месте, более остальных.

— Каждый из этих мальчиков искривился в своем слабом месте, — отвечал епископ. — Плохое обращение изуродовало их душу в тех точках, которые оказали наименьшее сопротивление. Будем же выправлять их с тысячью предосторожностей, чтобы не увеличить зло вместо того, чтобы его уменьшить. Снисходительность, милосердие и долготерпенье — единственные меры воздействия, которые следует применять для исправления людей, разумеется, исключая еретиков.

— Конечно, конечно, ваше преосвященство, — отозвался Модерн, трижды чихая. — Но нет правильного воспитания без острастки, нет дисциплины без дисциплины.

Я в этом кое-что понимаю. И если вы не накажете этих бездельников, они станут хуже Ирода. Помяните мое слово.

— Возможно, что Модерн не далек от истины, — промолвила Базина.

Епископ ничего не ответил. Он шел в сопровождении дьякона и вдовы вдоль шпалеры боярышника, испускавшего приятный запах меда и горького миндаля. Дойдя до оврага, где земля вбирала в себя влагу из соседнего источника, он остановился перед деревцом с густыми изогнутыми ветвями, густо покрытыми глянцевитыми зубчатыми листьями и белыми соцветьями.

— Взгляните на этот пышный и благоухающий куст, на эту прекрасную дщерь цветущего мая, на эту благородную, яркую, столь полную жизни и силы купину, — сказал он — обратите внимание, насколько она богаче листьями и наряднее цветами, нежели ее соседки по шпалере. Но заметьте также, что бледная кора ее ветвей покрыта лишь ничтожным количеством колючек, и притом слабых, мелких и тупых. Чем это объясняется? Причина этому та, что вскормленная влажной и жирной почвой, спокойная и уверенная в богатствах, поддерживающих ее существованье, она использовала все земные соки на взращивание своего могущества и своей славы и, слишком уверенная в своей силе, чтобы вооружаться против слабых врагов, вся отдалась радости великолепного, упоительного плодоношенья. Пройдем теперь с вами несколько шагов по тропинке, взбирающейся кверху, и обратим взгляд на другой куст боярышника, который, вытянувшись с великим трудом из каменистой и безводной почвы, чахлый, скудный древесиной и листвой, в этих суровых условиях помышляет только о том, как бы получше вооружиться, как бы защитить себя от бесчисленных врагов, угрожающих всем слабым существам. И вот он — сплошная охапка колючек. Малое количество вытянутых им соков растрачено на создание бесчисленных, широких у основания, твердых и острых шипов, все же плохо обеспечивающих его боязливую слабость. У него ничего не осталось для душистого и плодонос-

ного цветения. Друзья мои, с людьми происходит то же, что с боярышником. Уход, уделенный нам в детстве, делает нас лучше. Слишком жестокое воспитание ожесточает нас.

III

Когда Максиму пошел семнадцатый год, он преисполнил душу святого епископа Николая терзаниями, а епархию его покрыл позором, собрав и подучив шайку сорванцов, своих сверстников, которая поставила себе целью похитить девушек из селенья, носившего название Гросс-Нат и расположенного в четырех лье к северу от Тренкебаля. Предприятие удалось на славу. Ночью похитители возвратились в город, прижимая к груди растрепанных девственниц, тщетно обращавших к небу свои пылающие очи и молящие длани. Но когда отцы, братья и женихи похищенных дев явились за ними, девушки отказались вернуться под родной кров, говоря, что им слишком стыдно, и предпочли скрыть свое бесчестье в объятьях тех, кто причинил его. Максим, взявший на свою долю трех самых красивых, проживал с ними в маленьком поместье, входившем в общие епископские владения. По приказанию епископа дьякон Модерн явился к девушкам в отсутствие их похитителя и объявил им, что пришел их освободить. Они отказались впустить его, а когда дьякон стал изъяснять им гнусность их поведения, девушки окатили его помоями и сбросили ему на голову горшок, раскроивший ему череп.

Епископ Николай во всеоружии ласковой строгости попрекнул Максима за буйство и развратное поведение.

— Увы, ужели на погибель вервиньольских девственниц извлек я вас из кадки с рассолом? — сказал он.

И он указал юноше на тяжесть совершенного им проступка. Но Максим пожал плечами и повернулся к епископу спиной, ничего не ответив.

В это время король Берлю, на четырнадцатом году своего царствования, собирал могучее войско, чтобы

выступить походом против мамбурнийцев, заклятых врагов его королевства, которые, высадившись в Вервиньоле, громили и опустошали самые богатые области этой обширной страны.

Максим, ни с кем не простившись, ушел из Тренкебаля. Отойдя несколько миль от города и завидя на пастбище, правда, кривую и хромую, но все же сносную кобылу, он вскочил на нее и пустился вскачь. Наутро случайно повстречав парнишку-работника с фермы, тащившего на водопой большую крестьянскую лошадь, Максим тотчас соскочил с кобылы, взобрался верхом на большую лошадь и приказал парню сесть на кривую кобылу и следовать за ним, пообещав взять его своим оруженосцем, если останется им доволен. В таком виде Максим предстал перед королем Берлю, милостиво принявшим его услуги. Он очень скоро сделался одним из виднейших вервиньольских военачальников.

Между тем Сульпиций доставлял святому епископу, пожалуй, более жестокие и, без сомнения, более серьезные поводы для беспокойства. Ибо, как тяжко ни грешил Максим, он делал это без злобы, оскорблял бога по нечаянности и, так сказать, по неведению. Сульпиций же вкладывал в свои дурные поступки значительно большую злонамеренность. Уже с детства готовясь принять духовное звание, он старательно изучал священные и светские сочинения, но душа его была загрязненным сосудом, в котором истина обращалась в ложь. Он грешил мыслью; еще совсем юный, он уже блуждал в вопросах веры; в возрасте, когда люди еще не мыслят, он уже был одержим ложными мыслями. У него возникло намерение, очевидно подсказанное дьяволом: на принадлежавшем епископу лугу он собрал толпу юношей и девушек своего возраста и, взобравшись на дерево, стал призывать их покинуть отцов и матерей, дабы следовать Христу и, разбившись на отряды, идти по деревням, сжигая монастыри и церковные дома, чтобы вернуть церковь к евангельской нищете. Взбудораженная и соблазненная им молодежь устремилась вслед за грешником по вервиньольским дорогам, распевая псалмы, поджигая овины, грабя часовни и опустошая церковные земли. Многие из этих

безумцев погибли от усталости, голода, холода, многие были убиты поселянами. Епископский дворец оглашался жалобами монахов и стонами матерей. Благочестивый епископ Николай призвал к себе виновника этих бесчинств и с величайшей кротостью и беспредельной печалью укорил его в злоупотреблении словом ради совращения умов и указал ему, что бог не для того извлек его из кадки с рассолом, чтобы посягать на достояние нашей пресвятой матери церкви.

— Уразумейте, сын мой, всю значительность вашей вины, — сказал он. — Вы предстаете перед вашим пастырем под тяжким бременем смут, возмущений и убийств.

Но молодой Сульпиций, храня ужасающее спокойствие, уверенно ответил, что он не согрешил против бога и не оскорбил его, а, напротив, поступил во благо церкви, согласно велению свыше. И он принялся излагать перед потрясенным первосвященником ложные учения манихеев, ариан, несториан, сабеллиан, вальденсов, альбигойцев и бегардов; * он с таким воодушевлением защищал эти чудовищные заблуждения, что даже не замечал, как в своей противоречивости они пожирают друг друга на пригревающем их лоне.

Благочестивый епископ приложил все усилия к тому, чтобы вернуть Сульпиция на путь истины, но ему не удалось преодолеть упорство несчастного.

Отпустив его, епископ стал на колена и сказал:

— Благодарю тебя, господи, что ты дал мне этого юношу как камень точильный, о который заостряется долготерпение мое и любовь моя к ближнему.

В то время как двое извлеченных из кадки детей причиняли святому Николаю столько огорчений, третий доставлял ему некоторое утешенье. Робен не проявлял ни буйства в поступках, ни гордости в мыслях. Он не был так крепко сложен и так румян лицом, как воин Максим, и не имел заносчивого и важного вида, как Сульпиций. Маленького роста, худенький, желтый, сморщенный, пришибленный, смиренный в обращении, подобострастный и угодливый, он всячески старался услужить епископу и его приближенным, помогал церковнослужителям вести счета по хозяйству епархии,

производил с помощью шариков, нанизанных на железные прутики, сложные вычисления и даже умножал и делил в уме, не прибегая к аспидной доске и грифелю, с быстротой и точностью, достойной опытного менялы или казначея. Для него было истинным удовольствием взять на себя ведение книг дьякона Модерна, который, старея, начинал путаться в цифрах и засыпал над своей конторкой. Никакой труд, никакая усталость не тяготили Робена, когда можно было услужить отцу епископу и добыть ему денег: он научился у ростовщиков, как исчислять простые и сложные проценты на ту или иную сумму за один день, за неделю, за месяц, за целый год; он не гнушался навещать в мрачных закоулках гетто грязных евреев, чтобы, беседуя с ними, выведать, как разбираться в пробе металлов и в стоимости драгоценных камней, а также постичь искусство подтачиванья монет. Наконец, весьма ловко скопив кое-какие сбережения, он отправлялся в Вервиньоль, Мондузиану и далее, вплоть до самой Мамбурнии, посещая ярмарки, турниры, церковные торжества, праздники с раздачей индульгенций, куда со всех концов христианского мира стекались люди всевозможных сословий, крестьяне, горожане, духовенство и знать; он занимался там разменом денег и каждый раз возвращался домой немного более богатым, чем был при отъезде. Приобретенные деньги Робен не расходовал, а привозил отцу епископу.

Святой Николай был очень гостеприимен и щедр; он широко расходовал свои собственные и церковные средства на прокормление паломников и оказание помощи несчастным. Поэтому он постоянно испытывал недостаток в деньгах и был весьма благодарен Робену за ту готовность и ловкость, с которой молодой казначей доставлял ему необходимые суммы. Случилось так, что безденежье, в которое по широте натуры и вследствие своей щедрости впал святой епископ, еще усугубилось бедствием, постигшим страну. Война, опустошавшая Вервиньоль, принесла разорение тренкебальской церкви. Солдаты, бродившие в окрестностях города, грабили хутора, обирали крестьян, выгоняли монахов из их обителей, жгли замки и аббатства, Духовенство и

верующие уже не были в состоянии участвовать в расходах по поддержанию церкви, и тысячи крестьян, покинувших свои жилища, ежедневно просили подаяния у дверей епископского дворца. Бедность, мало ощутимая для него самого, болезненно воспринималась добрым епископом Николаем, когда дело касалось этих людей. По счастью, Робен был всегда готов ссудить его деньгами, которые епископ, как водится, обязывался ему возвратить в более благополучные времена.

Увы, война уже охватила королевство от юга до севера и от запада до востока, ведя за собой своих двух всегдашних спутников — голод и мор. Земледельцы обращались в разбойников, монахи следовали за войсками. Жители Тренкебаля, не имея дров, чтобы обогреться, и хлеба, чтобы прокормиться, умирали, как мухи с наступлением холодов. Волки забегали в городские предместья и пожирали маленьких детей. При этих печальных обстоятельствах Робен сказал епископу, что не только не может ссудить ему даже самую малую сумму денег, но что, ничего не получая со своих должников, прижатый кредиторами, он вынужден переуступить евреям все имевшиеся у него долговые обязательства.

Он сообщил эту прискорбную новость своему благодетелю со свойственной ему угодливой вежливостью, но казался при этом значительно менее огорченным, чем следовало быть в столь горестной крайности. И в самом деле, ему было чрезвычайно трудно скрыть под страдальчески вытянутым лицом свое веселое настроение и живейшую радость. Пергаментная кожа его желтых, сухих и покорно опущенных век плохо скрывала ликование, излучавшееся его пронзительными глазами.

Потрясенный этим ударом, святой Николай принял его со спокойствием и ясностью духа.

— Бог поможет нам восстановить пошатнувшиеся дела, — сказал он. — Он не даст опрокинуть здание, воздвигнутое им.

— Все это так, — заметил Модерн, — но будьте уверены, что вынутый вами из кадки Робен поставил себе целью вас обобрать и вошел для этого в соглашение

с ростовщиками со Старого Моста и евреями из гетто, причем для себя он приберегает лучшую долю добычи.

Модерн был прав. Робен не понес никаких убытков: он был богаче, чем когда-либо, и только что был назначен на должность королевского казначея.

IV

В ту пору Миранде шел семнадцатый год. Она была красива и хорошо сложена. Чистота, невинность и скромность окутывала ее наподобие фаты. Ее длинные ресницы, опускавшиеся частой решеткой на голубые глаза, и детски маленький ротик наводили на мысль, что злу не проникнуть в глубь ее существа. Ушки у нее были до того крохотные, нежные, тонкие и были так изящно округлены, что даже самые бесстыдные из мужчин осмеливались ей шептать только невинные речи. Ни одна девушка во всем Вервиньоле не внушала такого уважения и ни одна так не нуждалась в нем, ибо она была несказанно проста, доверчива и беззащитна.

Благочестивый епископ Николай, ее дядя, день ото дня любил ее все сильнее и привязывался к ней даже более того, чем следует привязываться к живому созданью. Разумеется, он любил ее в боге, но раздельно от него; он сам себе нравился в ней; он любил в ней свою любовь; то была его единственная слабость. И святым не всегда удается отсечь узы плоти. Николай любил свою племянницу чистой любовью, как свою духовную усладу. На следующий день после того, как он узнал о разоренье Робена, удрученный печалью и беспокойством, прибыл он к Миранде, имея в виду провести с нею благочестивую беседу, что подобало ему, ибо он заменял ей отца и принял на себя обязанности по ее просвещению.

Она занимала дом в возвышенной части города, возле собора, носивший название Дома музыкантов, потому что на фасаде его были изображены люди и звери, играющие на различных инструментах. В число прочих там имелся осел, дувший во флейту, и фило-

соф, бивший в цимбалы, которого было нетрудно признать по длинной бороде и чернильнице с пером. Каждый объяснял эти фигуры по-своему. Это было самое красивое здание в городе.

Епископ застал племянницу растрепанной и заплаканной; она сидела на корточках на полу возле раскрытого и пустого сундука, в комнате, приведенной в полный беспорядок.

Он спросил, чем она огорчена и почему вокруг нее такой разгром. Тогда она обратила на него опечаленный взгляд и рассказала, прерывая повествование бесчисленными вздохами, что Робен, — выскочивший из кадки Робен, милый, славный Робен, — много раз говорил ей, что, если ей захочется платье, убор или драгоценность, он охотно даст ей взаймы необходимые на покупку деньги и что она не раз пользовалась его, казалось, беспредельной услужливостью. А сегодня утром к ней явился в сопровождении четырех полицейских еврей, по имени Зелигман, представил расписки, выданные ею Робену, и, так как у нее не было денег на расплату, унес с собой все ее платья, украшения для волос и все драгоценности.

— Он отнял у меня, — сказала она, громко всхлипывая, — все мои бархатные, парчовые и кружевные корсажи и юбки, бриллианты, изумруды, сапфиры, гиацинты, аметисты, рубины, гранаты, бирюзу; он отнял у меня мой большой бриллиантовый крест с эмалевыми головками ангелов; отнял большое ожерелье из двух рядов бриллиантов, трех кабошонов и шести подвесок, по четыре жемчужины каждая, и ожерелье в тринадцать рядов бриллиантов с двадцатью грушевидными жемчужинами и канителью!..

И она умолкла, рыдая и уткнувшись лицом в носовой платок.

— Дочь моя, христианская девушка достаточно украшена, когда скромность служит ей ожерельем, а целомудрие — кушаком, — ответил святой епископ. — Однако вам, происходящей из столь родовитой и знатной семьи, приличествовало носить на себе бриллианты и жемчуга. Ваши драгоценности были сокровищем бедных, и я скорблю, что их отняли у вас.

Он уверил девушку, что она вновь обретет их, если не в этом, так в ином мире; он сказал ей все, что могло смягчить ее горе и умерить печаль, и утешил ее. Ибо душа у нее была нежная и жаждавшая утешенья. Но сам он покинул ее, исполненный глубокой скорби.

На следующий день, готовясь служить обедню в соборе, святой епископ увидел направлявшихся к нему в ризницу трех евреев — Зелигмана, Иссахара и Мейера — в зеленых шапочках на головах и с изображением колеса на плече. Они смиренно представили ему расписки, переданные им Робеном, и, так как почтенный пастырь не мог им заплатить, призвали человек двадцать носильщиков с корзинами, мешками, отмычками, колымагами, веревками и лестницами и приступили к взламыванию замков в шкафах, сундуках и дарохранительницах. Праведник устремил на них взгляд, который сразил бы на месте сразу троих христиан. Он грозил им карами, ожидающими святотатцев на этом и на том свете; он внушал им, что одно их присутствие в жилище распятого ими бога уже призывает небесный огонь на их головы. Они слушали его со спокойствием людей, для которых анафема, осужденье, проклятье и поношенье являются повседневной пищей. Тогда он стал их просить, умолять, обещал при первой возможности заплатить двойную, тройную, удесятеренную, стократную сумму лежащего на нем долга. Они вежливо ответили, что не могут отсрочить это маленькое дельце. Епископ им пригрозил, что прикажет ударить в набат, что натравит на них толпу, которая, узрев осквернение и ограбление чудотворных икон и святых мощей и творимое над ними насилие, убьет осквернителей, как собак. Они с улыбкой указали на полицейскую стражу, охранявшую их. Король Берлю оказывал им покровительство, потому что они ссужали его деньгами.

Тогда, поняв, что дальнейшее противодействие уже обратится в сопротивление властям, и, вспомнив того, кто приложил к прежнему месту ухо Малха *, святой епископ предался бездействию и молчанию, и горькие слезы покатились из его глаз. Зелигман, Иссахар и Мейер забрали с собой золотые раки, отделанные дра-

гоценными камнями, эмалью и кабошонами, дарохранительницы в виде чаш, светильников, кораблей и башенок, переносные алебастровые алтари, обрамленные золотом и серебром, ларцы, покрытые эмалью, работы искусных лиможских и рейнских мастеров, напрестольные кресты, крышки с евангелий, украшенные резной слоновой костью и древними камеями, богослужебные гребни, окаймленные фестонами наподобие виноградных листов, консульские диптихи, пиксиды, подсвечники, канделябры, лампады, из которых они выливали на каменные плиты освященное масло, предварительно задув в них святой огонь, паникадила, похожие на гигантские венцы, четки с янтарными и жемчужными зернами, дарохранительницы в виде голубиц, дароносицы, чаши, жертвенники, благословенные кресты, кадила, кувшины, бесчисленные ex-voto[1] — ступни, кисти рук, целые руки, ноги, глаза, уста, внутренние органы, серебряные сердца, нос короля Сидока, и грудь королевы Бландины, и голову из литого золота преподобного святого Кромадера, первого святителя вервиньольского и милостивого покровителя города Тренкебаля. Они наконец вынесли чудотворное изображение преподобной Жибозины, никогда не отказывавшей вервиньольцам в заступничестве в годины мора, голода и войны. Этот исключительно древний и почитаемый образ был весь из листового золота, набитого на кедровую основу и сплошь усыпанного драгоценными камнями величиной с утиное яйцо, изливавшими красные, желтые, голубые, фиолетовые и белые лучи. Долгих триста лет эмалевые, широко раскрытые на золотом лике глаза святой внушали жителям Тренкебаля такое благоговенье, что они видели ее ночью во сне, грозную и великолепную, сулящую им злейшие бедствия, если они не принесут ей должного количества чистого воска и шестифранковых экю. Святая Жибозина застонала, вздрогнула, пошатнулась на своем постаменте и без сопротивления позволила себя вынести из собора, куда она с незапамятных времен привлекала бесчисленных паломников.

[1] Обетные приношения (*лат.*).

По уходе воров-осквернителей святой епископ Николай поднялся по ступеням разграбленного алтаря и освятил кровь господню в старой, покоробленной чаше из накладного серебра. И он вознес молитву за всех удрученных и в особенности за Робена, извлеченного им по воле божией из кадки с рассолом.

V

Незадолго до того король Берлю победил мамбурнийцев в кровопролитной битве. Он сначала не заметил этого обстоятельства, потому что вооруженные столкновения вызывают великую сумятицу и потому также, что вервиньольцы уже два столетия как отвыкли побеждать. Но стремительное и беспорядочное бегство мамбурнийцев убедило его в достигнутом успехе. Вместо того чтобы трубить отбой, он бросился в погоню за врагом и отвоевал половину своего королевства. Победоносное войско вступило в разукрашенный флагами и расцвеченный в его честь город Тренкебаль, и от этого в славной столице Вервиньоля произошло множество насилий, грабежей, убийств и прочих жестокостей; было подожжено несколько домов, разграблены храмы, а из собора было унесено все, что осталось в нем после евреев, хоть это, по правде сказать, составляло не так уж много. Максим, возведенный в рыцарское звание, получивший под свое начало восемьдесят копьеносцев и много содействовавший победе, проник одним из первых в город и прямо проследовал в Дом музыкантов — обиталище прекрасной Миранды, которую он не видел со дня отъезда на войну. Он застал ее в комнате за прялкой и с таким неистовством ринулся на нее, что юная дева утратила невинность, буквально не заметив этого. А когда, придя в себя от изумления, она воскликнула: «Вы ли это, господин Максим? Что вы здесь делаете?» — и добросовестно вознамерилась оттолкнуть обидчика, он уже спокойно шагал по улице, оправляя доспехи и поглядывая на встречных девиц.

Возможно, что она так и осталась бы в неведении

о нанесенной ей обиде, если бы спустя некоторое время не почувствовала себя матерью. В это время капитан Максим уже воевал с мамбурнийцами. Весь город узнал об ее позоре; она призналась в нем святому Николаю, который при этом удивительном известии возвел очи к небу и сказал:

— О боже, ужели для того только извлек ты из кадки с рассолом этого юношу, чтобы он, как хищный волк, пожрал мою овечку! Мудрость твоя беспредельна, но пути твои неисповедимы и намеренья твои исполнены тайны.

В том же году, в прощеное воскресенье, Сульпиций пал на колени перед святым епископом.

— От ранних лет самым горячим моим желанием было посвятить себя богу, — сказал он. — Позвольте мне, отче, принять монашество и блюсти его в обители тренкебальских нищенствующих братьев.

— Нет состояния выше монашеского, сын мой, — ответил ему добрый святой Николай. — Счастлив тот, кто под сенью монастыря найдет убежище от мирских треволнений. Но почто бежать от грозы, когда гроза эта внутри тебя самого? К чему послужит внешнее смирение, если в груди своей носишь сердце, преисполненное гордыни? Какую пользу извлечешь ты, облекшись в одежды послушания, если душа твоя полна мятежных порывов? Я был свидетель, сын мой, того, как ты впадал в более тяжкие заблуждения, нежели Сабелий, Арий, Несторий, Евтихий, Манес, Пелагий и Пасхаций взятые вместе, как, не достигнув и двадцатилетнего возраста, ты оживил в себе превратные понятия, высказанные за минувшие двенадцать веков. Правда, ты не упорствовал ни в одном из них, но твои последовательные отречения таили в себе меньше покорности святой матери нашей церкви, чем готовности броситься из одного заблуждения в другое, — к стремительному метанию от манихейства к сабеллианству и от преступных посягательств альбигойцев к бесстыдным поползновениям вальденсов.

Сульпиций выслушал эту речь с сокрушенным сердцем, простодушием и покорностью, до слез растрогавшими святого Николая.

— Я оплакиваю, отвергаю, осуждаю, отрицаю, ненавижу, презираю и проклинаю мои прошлые, настоящие и будущие заблуждения, — сказал он. — Я всецело и полностью, совершенно и безраздельно, чистосердечно и бесхитростно подчиняюсь церкви, и нет у меня иных упований, кроме ее упований, иной веры, кроме ее веры, иных знаний, кроме ее знаний; я вижу только ее глазами, слышу только ее ушами, воспринимаю только ее чувствами. Если она мне скажет, что муха, севшая сейчас на нос дьякона Модерна, не муха, а верблюд, я немедленно, без единого возражения, без пререкания, ропота, сопротивления, без колебаний и без сомнений уверую, объявлю, провозглашу и буду исповедовать под пытками, до смертного своего конца, что именно верблюд опустился на кончик носа дьякона Модерна. Ибо церковь — источник истины, а я только мерзкое вместилище заблуждений.

— Остерегитесь, отец мой, — заметил Модерн, — Сульпиций такой человек, что может довести свою покорность перед церковью до ереси. Разве вы не видите, что он покоряется с неистовством, с восторгом, до потери сознания? Хорошо ли покоряться до самоуничижения? А он, покоряясь, сводит себя на нет, доходит до самоубийства.

Но епископ сделал дьякону выговор за эти слова, противные христианской любви, и направил просящего к тренкебальским нищенствующим братьям на искус.

Увы, не прошло и года, как ужасающие распри стали раздирать этих доселе скромных и мирных монахов, отныне ввергнутых в тысячу заблуждений против католической веры, и дни их исполнились смятенья, а души — мятежных чувств. Сульпиций вливал яд в сердца добрых братьев. Вопреки доводам и воле старших, он выдвигал мысль, что нет истинных пап с той поры, как избрание главы церкви больше не сопровождается чудесами, что нет уже подлинной церкви с тех пор, как христиане перестали жить жизнью апостолов и первых последователей Христа; что нет чистилища; что нет надобности исповедоваться у священника, когда исповедуешься перед богом; что люди дурно поступают, пользуясь золотой и серебряной монетой, и

что все земные богатства должны находиться в общем пользовании. И эти яростно им выдвигавшиеся мерзкие положения, которые одними отвергались, зато воспринимались другими, вызывали среди верующих ужаснейший соблазн. Немного погодя Сульпиций выступил с ученьем о совершеннейшей чистоте, которую ничто не может осквернить, и обитель благочестивых иноков превратилась в подобие клетки с обезьянами. И эта зараза не ограничилась пределами монастырских стен, Сульпиций разносил свою проповедь по всему городу; его красноречие, внутренний огонь, горевший в нем, простота его жизни, его непоколебимая отвага — все это захватывало сердца. По слову реформатора, древний город, некогда воспринявший евангельское ученье из уст святого Кромадера и воспитанный святою Жибозиной, был ввергнут в распрю и разложение; всякого рода безобразия, всякого вида бесчинства творились в нем и ночью и днем. Тщетно святой Николай предупреждал и увещевал свою паству, тщетно угрожал ей и громил ее. Зло разрасталось с каждым днем, и с грустью можно было наблюдать, что зараза в такой же и даже большей мере распространяется на богатых горожан, дворян и духовенство, как и на бедных ремесленников и мелких мастеровых.

Однажды, в то время как божий человек стенал в одном из приделов собора о печальном состоянии вервиньольской церкви, размышления его были прерваны странными завываниями, и глаза его узрели нагую женщину с павлиньим пером в виде хвоста, передвигавшуюся на четвереньках. Она с лаем приближалась к нему, облизывая землю и фыркая. Ее белокурые волосы были покрыты грязью, а тело вымазано нечистотами. И в этом презренном созданье святой епископ Николай признал свою племянницу Миранду.

— Что вы здесь делаете, дочь моя? — воскликнул он. — Зачем оголились вы и почему передвигаетесь на руках и коленях? Неужели вам не стыдно?

— Нет, любезный дядя, не стыдно, — кротко ответила Миранда. — Я, наоборот, стыдилась бы иного положения и иной походки. Именно такой вид надо

принять и так надо себя держать, если хочешь быть угодной богу. Святой брат Сульпиций научил меня поступать так, дабы уподобиться животным, которые более близки к богу, чем люди, потому что они не сотворили греха. И пока я буду пребывать в нынешнем положении, мне не грозит опасность согрешить. Из любви и участья к вам, я призываю вас, любезный дядя, последовать моему примеру: без этого вы не спасетесь. Снимите с себя одежды, прошу вас, и примите положенье животных, в которых бог с радостью видит свой образ, не извращенный грехом. Я обращаюсь к вам с этим призывом по приказу святого брата Сульпиция и, следовательно, по приказу самого бога, ибо святому брату ведомы пути господни. Разденьтесь донага, любезный дядя, и предстаньте вместе со мной перед народом, дабы наставить его.

— Верить ли глазам моим и ушам? — прошептал святой епископ голосом, заглушенным рыданьями. — У меня была племянница в полном расцвете красоты, добродетели и благочестия, а трое младенцев, извлеченных мною из кадки с рассолом, довели ее до этого презренного состояния. Один отнимает у нее все имущество, обильный источник милостыни, достояние бедняков; другой — лишает ее чести; третий — ввергает в ересь.

И, упав на каменные плиты собора, он принялся обнимать племянницу, умоляя ее отказаться от столь недостойного образа жизни и со слезами заклиная ее одеться и подняться на ноги, как подобает человеческому существу, которое Христос искупил своей кровью.

Но она ответила только пронзительным тявканьем и жалобным завываньем.

Вскоре весь город переполнился голыми мужчинами и женщинами, с лаем ползавшими на четвереньках; они называли себя эдемитами * и мнили вернуть мир ко временам совершенной невинности — до злосчастного сотворения Адама и Евы. Преподобный отец-доминиканец Жиль Какероль, инквизитор в городе Тренкебале, его университете и епархии, весьма обеспокоился этим новым учением и принялся его настойчиво искоренять.

Посланием, скрепленным печатью, он в самых решительных выражениях предложил его преосвященству епископу Николаю задержать, посадить в темницу, допросить и по согласовании с ним осудить этих супостатов господа бога и в первую очередь их главарей — францисканского монаха Сульпиция и распутную женщину, именуемую Мирандой. Великий святой Николай горел ревностью о единстве церкви и об уничтожении ереси, но он нежно любил племянницу. Он укрыл ее в своем епископском дворце и отказался выдать ее инквизитору Какеролю, а тот донес на него папе как на виновника смут и распространителя гнусной ереси. Папа предписал Николаю не укрывать долее виновную от законных судей. Николай уклонился от исполнения приказа, уверил папу в своей готовности к послушанию и не послушался. Папа разразился против него буллой Maleficus pastor [1], в которой почтенный первосвященник обзывался ослушником, еретиком или близким к ереси, распутником, кровосмесителем, совратителем народов, старой бабой и самохвалом и был отчитан в самых сильных выражениях.

Таким образом епископ причинил себе много вреда, не принеся никакой пользы своей горячо любимой племяннице. Король Берлю, под угрозой отлучения от церкви, в случае, если он не окажет последней поддержки в розыске эдемитов, послал в Тренкебальское епископство стражников, которые вырвали Миранду из ее убежища; ее притащили к инквизитору Какеролю, бросили на дно глубокой ямы и кормили хлебом, от которого отказывались даже собаки тюремщиков; но больше всего ее огорчало то обстоятельство, что на нее силой напялили старое платье и чепец и таким образом лишили уверенности в том, что она не грешит. Монах Сульпиций ускользнул от святой инквизиции; ему удалось достигнуть пределов Мамбурнии и найти убежище в одном из монастырей этого королевства; он создал там новые секты, еще более пагубные, чем предыдущие.

---

[1] Нечестивый пастырь (*лат.*).

Тем временем ересь, укрепленная преследованием и разжигаемая опасностью, уже распространила свое опустошительное действие на весь Первиньоль: можно было видеть на лугах королевства многие тысячи голых мужчин и женщин, которые щипали траву, блеяли, мычали, ревели и ржали и оспаривали по вечерам у овец, волов и лошадей их хлева, ясли и конюшни. Инквизитор оповестил папу об этих отвратительных соблазнах, предупредив, что зло будет разрастаться до тех пор, пока покровитель эдемитов, гнусный Николай, останется на кафедре святого Кромадера. В соответствии с этим сообщением папа разразился против епископа тренкебальского буллой Deterrima quondam [1], отрешавшей его от епископского сана и отстранявшей от причащения верующих.

VI

Сраженный наместником Христа, преисполненный горечи и удрученный печалью, праведный Николай без сожаления сошел со своей славной кафедры и покинул, дабы никогда уже в него не возвращаться, город Тренкебаль, бывший в течение тридцати лет свидетелем его пастырских добродетелей и апостольских трудов. В западном Вервиньоле есть высокая гора с вершинами, вечно покрытыми снегом; весной с ее склонов сбегают пенистые, гулкие водопады, наполняющие голубою, как небо, водой потоки, протекающие в долине. Там, в той полосе, где растут земляничник, лиственница и орешник, жили отшельники, питаясь ягодами и молоком. Эта гора зовется горой Спасителя. Святой Николай решил обрести здесь приют и вдали от мира замаливать свои и людские грехи.

Взбираясь на гору в поисках самого глухого места для постройки жилища и поднявшись выше облаков, почти всегда окутывающих склоны горы, он увидел старца, который стоял на пороге хижины и делился хлебом с прирученною ланью. Куколь ниспадал ему на

---

[1] Иногда худшее (*лат.*).

лоб, и от всего его лица был виден только кончик носа и длинная белая борода.

Святой человек Николай приветствовал его следующими словами:

— Мир вам, брат мой.

— Мир царит на этой горе, — ответил пустынник.

— Поэтому я и пришел сюда окончить в тишине дни мои, потревоженные мирской суетой и человеческой злобой, — сказал праведный Николай.

В то время как он говорил, отшельник внимательно смотрел на него.

— Не тренкебальский ли вы епископ? — спросил он наконец. — Не тот ли Николай, чьи труды и добродетели всеми восхваляются?

И когда святой первосвященник утвердительно кивнул головой, отшельник бросился к его ногам.

— Ваше преосвященство, вам буду я обязан спасением своей души, если, как уповаю, душа моя действительно будет спасена.

Николай ласково поднял его и спросил:

— Брат мой, каким же образом посчастливилось мне содействовать вашему спасению?

— Двадцать лет тому назад, — ответил пустынник, — когда я был владельцем харчевни, у опушки леса, на заброшенной дороге, я однажды увидел на поле трех мальчиков, собиравших колосья; я завлек их в свой дом, напоил их вином, зарезал во время сна, разрубил на куски и засолил. Господь, во внимание к вашим заслугам, воскресил их при вашем посредничестве. Увидя, как они выходят из кадки с рассолом, я оледенел от ужаса; ваш горячий призыв растопил мое сердце; я проникся спасительным раскаянием и, бежав от людей, поселился на этой горе и посвятил свои дни господу богу. Он излил на меня свой покой.

— Как, — воскликнул святой епископ, — вы тот самый жестокосердый Гаром, виновник столь ужасного преступленья! Хвала богу, даровавшему вам сердечный покой после зверского убийства трех младенцев, опущенных вами, как свиное мясо, в кадку с рассолом. Но, увы, за то, что я вызволил их оттуда, жизнь моя была

исполнена треволнений, душа напитана горечью и епархия моя обращена в пустыню. Отец всех верующих отрешил меня от сана и отлучил от церкви. Почему так жестоко наказан я за содеянное мною?

— Возлюбим господа и не будем требовать у него отчета, — сказал Гаром.

Великий святой Николай собственноручно построил себе хижину рядом с хижиной Гарома и там закончил дни свои в молитве и покаянии.

ИСТОРИЯ ГЕРЦОГИНИ ДЕ СИКОНЬ И Г-НА ДЕ БУЛЕНГРЕНА,

проспавших сто лет вместе со Спящей Красавицей

I

История Спящей Красавицы хорошо известна; о ней имеются превосходные повествования в прозе и в стихах. Я не собираюсь рассказывать ее заново. Но, ознакомившись с несколькими неизданными мемуарами того времени, я нашел в них ряд занимательных подробностей о короле Клоше и королеве Сатин, дочь которых проспала сто лет, а также о разных придворных, разделивших с принцессой ее сон, Я имею в виду поделиться с читателями тем, что показалось мне наиболее интересным в открытых мною материалах.

После нескольких лет замужества королева Сатин подарила королю-супругу девочку, получившую имена Павлы-Марии-Авроры. Торжеством крестин руководил обер-церемониймейстер, герцог дез Уазон, согласно положению, относившемуся еще к эпохе императора Гонория * и до того изъеденному крысами и покрытому плесенью, что в нем совершенно невозможно было разобраться.

В те времена еще водились волшебницы, и наиболее знатные из них имели доступ ко двору. Семь волшебниц были приглашены в крестные матери принцессы: королева Титания *, королева Маб *, мудрая Вивиана, ученица Мерлина в искусстве волшебства, Мелюзина,

историю которой написал Жан Аррасский, каждую субботу обращавшаяся в змею (но крестины происходили в воскресенье), Уржела *, белая Анна Бретонская и Мург, увлекшая Ожье Датчанина в Авалонские края.

Они явились во дворец в платьях цвета небес, солнца, луны и нимф, с головы до ног сверкая алмазами и жемчугами. В то время как собравшиеся рассаживались за столом, вошла старенькая, неприглашенная волшебница, по имени Алкуина.

— Не гневайтесь, сударыня, что вы не были включены в число приглашенных на это торжество, — сказал ей король, — мы считали вас заколдованной или умершей.

Волшебницы, конечно, могли и умереть, раз они старились. Они все в конце концов умерли, и каждому известно, что Мелюзина сделалась в аду судомойкой. Силой колдовства их можно было заключить в магический круг, в дерево, в куст, в камень или обратить в статую, в лань, в голубку, в табуретку, в кольцо или туфлю. Но в действительности волшебницу Алкуину не пригласили вовсе не потому, что считали ее заколдованной или умершей: ее присутствие на торжестве было признано нарушением этикета. Госпожа де Ментенон * могла без всякого преувеличения сказать, что «даже в монастырях не существует такой строгости, какой дворцовый этикет подчиняет великих мира сего». Согласно высочайше выраженной воле обер-церемониймейстер, герцог дез Уазон, воздержался от приглашения волшебницы Алкуины, так как у нее недоставало одного дворянского поколения, чтобы быть допущенной ко двору. На представление своих министров о том, что крайне важно сохранить добрые отношения с этой мстительной и могущественной волшебницей, которая неминуемо обратится во врага, если ее исключат из числа приглашенных на празднество, король решительно отвечал, что, раз она недостаточно родовита, он не может ее пригласить.

Этот злополучный монарх был еще больше рабом этикета, нежели его предшественники. Его упорное желание подчинять важнейшие государственные инте-

ресы и самые неотложные обязательства малейшим требованиям давно устаревшего церемониала не раз наносило крупный ущерб монархии и подвергало королевство страшным опасностям. Отказываясь поступиться требованиями этикета ради знаменитой и грозной, хоть и недостаточно родовитой волшебницы, Клош подвергал свою династию опасностям и ущербу, которые легко было предвидеть и следовало бы немедленно предотвратить.

Взбешенная презрительным отношением, которое ей пришлось претерпеть, старая Алкуина наделила принцессу Аврору зловещим даром. Пятнадцати лет. от роду, прекрасное, как божий день, царственное дитя должно было умереть от роковой царапины, причиненной ей веретеном — орудием, вполне невинным в руках смертных женщин, но грозным, когда три старые Парки накручивают и наматывают на него нити наших судеб и волокна наших сердец.

Семь волшебниц — крестных матерей могли смягчить приговор Алкуины, но не были в силах его отменить, и участь молодой принцессы была определена следующим образом: «Аврора уколется веретеном; она не умрет от этого, но впадет в столетний сон, от которого ее разбудит королевич».

II

Currite ducentes sub tegmina, currite, fusi.
Cat.[1]

Король и королева с мучительным беспокойством выспрашивали у всех ученых и умных людей их мнение о приговоре, поразившем принцессу в ее колыбели, особенно у непременного секретаря Академии наук господина Жербруа и лейб-акушера королевы, доктора Гастинеля.

— Господин Жербруа, разве можно проспать сто лет? — спросила Сатин.

---

[1] Бегите, вожди, под кровли, бегите, разбитые. (Катулл. — *Лат.*)

— Государыня, — отвечал академик, — известен ряд примеров более или менее продолжительного сна, и некоторые из них я могу привести нашему величеству. Эпименид Кносский * родился от любви смертного и нимфы. Еще ребенком он был отправлен своим отцом Досиадом пасти стада на горах. Когда полдневный зной раскалил землю, Эпименид прилег отдохнуть в темной прохладной пещере и погрузился в сон, продолжавшийся пятьдесят семь лет. Он изучал свойства растений и, по словам одних, умер ста пятидесяти четырех, а по словам других — двухсот девяноста девяти лет от роду.

Рассказ о семи спящих эфесцах передан Феодором и Руфином в рукописи, скрепленной двумя серебряными печатями. Вот вкратце главные события, изложенные в рассказе. В 25-м году по рождестве Христовом семь чиновников императора Деция, принявших христианство, роздали свое имущество бедным, укрылись на горе Келионе, и все семеро уснули в пещере. Они были найдены там епископом Эфесским в царствование Феодора — цветущими, как розы. Они проспали сто сорок четыре года.

Фридрих Барбаросса * спит еще до сих пор. В склепе, под развалинами замка, в чаще дремучего леса, спит он за столом, вокруг которого семь раз обвилась его борода. Он проснется, чтобы разогнать воронье, каркающее окрест горы.

Таковы, государыня, величайшие сонливцы, память о которых сохранила история.

— Это все исключительные случаи, — возразила королева. — А вам, господин Гастинель, не случалось при ваших занятиях медициной видеть людей, спящих сто лет?

— Таких людей я никогда не видел, государыня, и не рассчитываю когда-нибудь увидеть, — ответил акушер, — зато я наблюдал любопытные случаи летаргии, о которых, если вашему величеству угодно, могу доложить. Десять лет назад некая девица Жанна Кайу, поступившая в больницу Отель-Дье, проспала шесть лет без перерыва. Я сам имел случай наблюдать девицу Леониду Монтосьель, которая уснула в первый

день пасхи шестьдесят первого года, а проснулась на первый день пасхи через год.

— Господин Гастинель, может ли острие веретена причинить укол, вызывающий столетний сон? — спросил король.

— Это маловероятно, государь, — ответил г-н Гастинель, — но в области патологии никогда нельзя с уверенностью сказать; «Так будет, а так не будет».

— Можно еще припомнить Брюнхильду, которая укололась колючкой, уснула и была разбужена Сигурдом, — сказал г-н Жербруа.

— Есть тоже и Замарашка, — промолвила первая статс-дама королевы, герцогиня де Сиконь, и пропела вполголоса:

Послал он в лес меня
Нарвать орешков спелых.
Был ростом лес высок,
Красотка невеличка.
Был ростом лес высок,
Красотка невеличка.
Ей в руку вдруг впилась
Зеленая колючка.
Ей в руку вдруг впилась
Зеленая колючка.
От боли в тот же миг
Красавица уснула...

— Что с вами, Сиконь? — спросила королева. — Вы поете?

— Простите, ваше величество, — ответила герцогиня. — Это против заклятья.

Король распорядился об издании указа, которым под страхом смертной казни воспрещалось кому бы то ни было прясть, и даже держать у себя веретено. Все подчинились. В деревнях все еще говорили: «Куда веретено, туда и нитка». Но это говорилось только по привычке. Веретена скрылись.

III

При слабовольном короле Клоше его первый министр, г-н де ла Рошкупе, был полноправным правителем государства; он уважал народные верования, как

уважали их все великие государственные деятели: Цезарь был верховным жрецом, Наполеон добился от папы помазания на царство. Г-н де ла Рошкупе признавал могущество волшебниц. Он не был скептиком, не был маловером. Он не оспаривал пророчества семи крестных матерей. Но, не имея возможности его изменить, он о нем и не беспокоился. Его характеру было свойственно не тревожиться о бедах, которым он не мог помочь. К тому же предсказанное событие, по-видимому, ожидалось вовсе не так скоро. Г-н де ла Рошкупе обладал зоркостью государственного мужа, а государственные мужи никогда не видят дальше текущего момента. Я имею в виду наиболее проницательных и прозорливых из них. И, наконец, если даже предположить, что королевская дочь в один прекрасный день заснет на сто лет, то это, с его точки зрения, было делом чисто семейным, раз салический закон * устраняет женщин от наследования престола.

У него, как он говорил, и без того было «хлопот полон рот». Банкротство, отвратительное банкротство, висело над страной, угрожая народу разорением и бесчестием. Голод свирепствовал, и миллионы несчастных ели вместо хлеба глину. В тот год бал в Гранд-Опера был блистателен, как никогда, а маскарадные костюмы прекраснее, чем когда-либо.

Крестьяне, ремесленники, торговцы и фигурантки несказанно печалились о роковом заклятии, которым Алкуина наделила ни в чем не повинную принцессу. В противоположность им, вельможи, стоявшие близко ко двору, и принцы королевской крови проявляли по отношению к этому заклятию полное равнодушие. Были также люди деловые и люди науки, которые не верили в приговор, вынесенный волшебницами по той причине, что они не верили в самих волшебниц.

К их числу принадлежал и статс-секретарь по финансовым делам г-н де Буленгрен. Тот, кто удивится, что он не верил в волшебниц, хотя неоднократно видел их, тот не представляет себе, до чего может дойти скептицизм у человека, склонного к рассуждениям. Вскормленный Лукрецием, насквозь пропитанный уче-

ниями Эпикура и Гассенди *, г-н де Буленгрен часто выводил из терпенья г-на де ла Рошкупе, рисуясь своим холодным неверием.

— Если не для себя самого, то хоть для окружающих будьте верующим, — говорил ему первый министр. — А по правде сказать, бывают минуты, дорогой Буленгрен, когда я думаю: кто же из нас двух более доверчив в отношении волшебниц? Я о них никогда не думаю, а вы только о них и говорите.

Господин де Буленгрен нежно любил герцогиню де Сиконь, жену французского посла в Вене, первую статс-даму королевы, женщину тонкого ума, принадлежавшую к верхам аристократии, несколько сухую, несколько расчетливую и проигрывавшую в фараон свои доходы, земли и последнюю сорочку. Она была благосклонна к г-ну де Буленгрену и не уклонялась от отношений, в которые ее вовлекал отнюдь не темперамент, а уверенность, что они соответствуют ее положению в свете и полезны для ее дел. Искусство, с которым поддерживалась эта связь, свидетельствовало об их хорошем вкусе и об изяществе господствовавших нравов; эта связь нисколько ими не скрывалась, и тем самым решительно исключалось подлое лицемерие. Вместе с тем они проявляли в своих отношениях такую сдержанность, что даже самые строгие люди не могли порицать их.

Герцогиня ежегодно проводила некоторое время в своих поместьях, и тогда г-н де Буленгрен поселялся в простеньком домике, соединявшемся с замком его подруги тропинкой, которая пролегала вдоль болотистого заросшего пруда, оглашаемого по ночам кваканьем лягушек.

И вот, как-то вечером, когда последние отблески солнца обагряли стоячие воды болота, статс-секретарь по финансовым делам увидел на перекрестке трех кружившихся в пляске молодых волшебниц; они держались за руки и пели:

Раз три девицы в поздний час...
Ах, сердце бьется,
Ах, сердце бьется,
Ах, сердце бьется лишь для вас.

Волшебницы окружили вельможу, и их тонкие, легкие силуэты быстро завертелись вокруг него. Их лица в сумеречном вечернем освещении были светлы и неясны; их волосы сверкали, как блуждающие огоньки.

Они до тех пор пели свое:

Раз три девицы в поздний час... —

пока ошеломленный, чуть не падавший статс-секретарь не запросил пощады.

Тогда самая красивая из них сказала, разъединяя хоровод:

— Сестрицы, отпустите господина де Буленгрена; он направляется в замок поцеловать свою милую.

Он пошел своей дорогой, так и не узнав волшебниц, распорядительниц судеб, но чуть подальше увидел трех сгорбленных старух *, которые шли ему навстречу с котомками и клюками. Лица их напоминали три яблока, испеченных в золе, а сквозь лохмотья проглядывали кости, больше покрытые грязью, нежели мясом и кожей. Тощие пальцы их босых ног были непомерно длинны и напоминали позвонки воловьего хвоста.

Едва его завидев, старухи издали стали ему улыбаться и посылать воздушные поцелуи, а когда поравнялись с ним, преградили ему путь, называли его своей крошкой, сокровищем, сердечком, осыпали ласками, от которых он не мог уклониться, потому что, как только он пробовал бежать, они вонзали ему в тело острые крючья своих пальцев.

— Какой красавчик, какая прелесть! — вздыхали они.

Они долго и исступленно домогаются его любви. Наконец, убедившись, что им не разжечь его чувств, застывших от омерзения, они осыпают его бранью, нещадно бьют костылями, валят наземь, топчут, и когда он уже окончательно подавлен, разбит, обессилен, недвижим, младшая из них, которой по меньшей мере восемьдесят лет, присаживается над ним на корточки, подбирает юбку и орошает его отвратительной жидкостью. Он почти задыхается; тотчас же две другие, заменив первую, поливают несчастного дворянина столь же зловонной струей. Наконец старухи удаляются, посылая ему на прощанье: «Покойной ночи, мой Энди-

мион! До свиданья, мой Адонис! Прощай, мой Нарцисс! *», а он лежит в обморочном состоянии.

Когда он пришел в себя, сидевшая возле него жаба выводила обворожительные трели, и рой мошек плясал в лучах луны. Он с великим трудом поднялся и, прихрамывая, завершил свой путь.

Но и на этот раз г-н де Буленгрен не узнал волшебниц, распорядительниц судеб.

Герцогиня де Сиконь ожидала его с нетерпением.

— Вы очень запоздали, мой друг.

Он ответил, целуя ей ручку, что с ее стороны чрезвычайно любезно так попрекать его. И извинился, сославшись на легкое недомогание.

— Буленгрен, — сказала герцогиня, — сядьте сюда.

И она призналась ему, что охотно приняла бы из собственной королевской шкатулки подарок в две тысячи экю, которые возместили бы обиды, нанесенные ей судьбой, потому что ей за последние полгода ужасно не везло в фараон.

Она добавила, что дело не терпит отлагательств, а потому Буленгрен тотчас же написал г-ну де ла Рошкупе, прося его об отпуске необходимой суммы.

— Ла Рошкупе будет счастлив исхлопотать для вас эти деньги, — сказал он. — Он весьма обязательный человек и любит оказывать услуги друзьям. Добавлю, что он много талантливей, чем обычно бывают королевские любимцы. У него есть и охота и способность к делам; ему только не хватают философского отношения к жизни. Он верит в волшебниц, полагаясь в этом на свидетельство своих чувств.

— Буленгрен, — сказала герцогиня, — от вас воняет кошками.

IV

Ровно семнадцать лет протекло со дня вынесения волшебницами приговора. Королевская дочь была прекрасна, как звезда. Король и королева жили со своим двором в летней резиденции Потерянных Вод. Надо ли рассказывать, что тогда произошло? Известно, как принцесса Аврора, бегая однажды по замку, забрела на

самую верхушку одной из его башен, где проживавшая в чердачной комнатке одинокая старушка сидела за прялкой. Она ничего не слышала о королевском запрете держать у себя веретена.

— Что это вы делаете, милая бабушка? — спросила принцесса.

— Пряду, моя красавица, — ответила старушка, не знавшая ее в лицо.

— Ах, как славно! — воскликнула принцесса. — Как вы это делаете? Позвольте мне попробовать, не выйдет ли и у меня, как у вас.

Не успела она взяться за веретено, как уколола себе руку и упала без чувств («Сказки» Перро, издание Андре Лефевра, стр. 86).

Когда королю Клошу доложили, что приговор волшебниц осуществился, он приказал уложить спящую принцессу в голубой зале на лазурную постель, расшитую серебром.

Взволнованные и подавленные придворные стали выжимать из себя слезы, усиленно вздыхали и принимали горестный вид. Повсюду плелись интриги; сообщали, что король увольняет своих министров. Зрела черная клевета. Ходили слухи, что королевская дочка уснула от зелья, изготовленного герцогом де ла Рошкупе, и что г-н де Буленгрен его сообщник.

Герцогиня де Сиконь взобралась по маленькой лесенке к своему старому приятелю; она застала его в ночном колпаке улыбающимся — он в это время читал «Невесту короля Гарба» *. Сиконь рассказала ему о происшедшем и о том, что принцесса лежит в летаргическом сне на голубой атласной постели.

Статс-секретарь внимательно выслушал ее.

— Надеюсь, друг мой, что вы не усматриваете во всем этом хотя бы намека на волшебство, — сказал он.

Ибо он не верил в волшебниц, невзирая на то, что три древние и достопочтенные представительницы их замучили его своей любовью, избили клюками и до самых костей промочили зловонной жидкостью, чтобы доказать ему свое существование. В том-то и заключается слабая сторона экспериментального метода, при-

мененного этими дамами, что эксперимент действует только на наши чувства, свидетельство которых всегда может быть опровергнуто.

— Дело не в волшебницах! — воскликнула Сиконь. — Несчастный случай с ее высочеством может иметь самые неприятные последствия и для вас и для меня. Его не преминут приписать бездарности, а может быть даже и злонамеренности министров. Как знать, до чего может дойти клевета. Вас уже обвиняют в скаредности. Уверяют, будто вы, следуя моим корыстным советам, отказались платить стражникам злополучной молодой принцессы. Более того! Поговаривают о черной магии и порче. Надо предотвратить опасность. Покажитесь во дворце, иначе вы пропали.

— Клевета — бич нашего мира, — сказал Буленгрен, — она погубила величайших людей. Всякий, кто честно служит своему монарху, должен уплатить дань этому ползающему и летающему чудовищу.

— Буленгрен, — сказала герцогиня, — одевайтесь!

И, сорвав с него ночной колпак, она бросила его за кровать.

Минуту спустя они уже были в передней того покоя, где почивала Аврора, и присели на скамье в ожидании разрешения войти.

Между тем, узнав о том, что веление судеб свершилось, крестная мать принцессы, волшебница Вивиана, с великой поспешностью прибыла в Потерянные Воды и, чтобы подобрать штат придворных для крестницы ко дню ее пробуждения, коснулась своей палочкой всего, что находилось в замке: «ключниц, фрейлин, горничных, дворян, лакеев, дворецких, поваров, поварих, рассыльных, стражей, швейцаров, пажей, выездных лакеев; она также дотронулась до всех лошадей на конюшнях, до конюхов и до сторожевых псов на заднем дворе, дотронулась и до крошки Пуфф, собачки принцессы, лежавшей рядом с ней на постели. Даже вертела с нанизанными на них куропатками и фазанами, и те погрузились в сон» («Сказки» Перро, стр. 87).

А Сиконь и Буленгрен тем временем ждали, сидя рядышком на скамейке.

— Буленгрен, — шепнула герцогиня в самое ухо

своему старому другу, — неужели все это происшествие не кажется вам подозрительным? Не думаете ли вы, что за всем этим таится интрига братьев короля, имеющая целью отречение бедного монарха от престола? Все знают, что он любящий отец... Естественно, что они надеются ввергнуть его в отчаянье...

— Возможно, — ответил статс-секретарь. — Во всяком случае, в этом деле нет никакого волшебства. Одни только деревенские кумушки еще могут верить в россказни про Мелюзину.

— Замолчите, Буленгрен, — воскликнула герцогиня. — Нет ничего противнее скептиков. Это наглецы, они издеваются над вашей простотой. Я ненавижу вольнодумцев; я верю в то, во что надо верить, но в данном случае я подозреваю гнусную интригу...

В то самое мгновенье, когда Сиконь произносила эти слова, волшебница Вивиана коснулась обоих своей палочкой и усыпила их вместе с остальными.

V

«За четверть часа вокруг всего парка выросло такое множество больших и маленьких деревьев, столько переплетавшихся между собой колючих кустов и терновника, что ни зверь, ни человек не мог бы пройти через эту чащу; остались видны только одни верхушки замковых башен, да и то лишь очень издалека» («Сказки» Перро, стр. 87—88).

Единожды, дважды, трижды, пятьдесят, шестьдесят, восемьдесят, девяносто и сто раз замкнула Урания * кольцо Времени, а Красавица со своим двором и Буленгрен рядом с герцогиней на скамеечке у дверей опочивальни все еще продолжали спать.

Воспринимаем ли мы время, как один из модусов единой субстанции, определяем ли его, как одну из форм чувствующего «я» или как абстрактное состояние внешнего мира, воспринимаем ли мы его просто как закон, как нечто вытекающее из соотношений реальных величин, — мы вправе утверждать, что век есть некоторый промежуток времени.

VI

Всем известно, чем окончилось волшебство и как, по завершении ста земных оборотов, принц, покровительствуемый волшебницами, проложил себе путь через очарованный лес и добрался до самого ложа, на котором почивала принцесса. То был немецкий князек с хорошенькими усиками и толстыми ляжками, в которого принцесса, едва успев проснуться, сразу же влюбилась по уши и с такой стремительностью последовала за ним в его маленькое княжество, что даже не успела сказать ни словечка своим приближенным, проспавшим вместе с ней в течение ста лет.

Ее первая статс-дама была этим сильно растрогана и воскликнула, преисполненная восхищения:

— Узнаю кровь моих королей!

Одновременно с принцессой и со всем штатом ее приближенных проснулся и Буленгрен рядом с герцогиней де Сиконь.

Он еще протирал себе глаза, когда подруга спросила его:

— Буленгрен, вы спали?

— Вовсе нет, — ответил он, — вовсе нет, друг мой.

Он говорил искренне. Проспав без сновидений, он не заметил, что спал.

— Я не спал, и в доказательство могу вам в точности повторить все, что вы мне сейчас говорили, — ответил он.

— И что же я вам говорила?

— Вы мне сказали: «Я подозреваю гнусную интригу»...

Весь маленький двор был немедленно распущен; каждый по мере возможностей должен был озаботиться своим устройством и экипировкой.

Буленгрен и Сиконь наняли у правителя замка колымагу XVII века, запряженную клячей, уже весьма старой в момент ее погружения в столетний сон, и приказали отвезти себя на станцию Потерянных Вод, где сели в поезд, доставивший их через два часа в столицу королевства. Все, что они видели, и все, что слышали, вызывало у них великое удивление. Но не прошло и

четверти часа, как запас их удивления истощился, и ничто больше не стало их поражать. Сами они никого не интересовали. Их история была для всех совершенно непонятной; она не возбуждала никакого любопытства, ибо наш ум не привлекает ни то, что для него слишком ясно, ни то, что чересчур темно. Буленгрен, разумеется, отнюдь не отдавал себе отчета в том, что *о* с ним произошло. Но когда герцогиня говорила, что все случившееся противоестественно, он ей отвечал:

— Друг мой, позвольте вам заметить, что у вас крайне искаженное представление о физическом мире. На свете нет ничего противоестественного.

У них уже не было ни родных, ни друзей, ни имущества. Им не удалось отыскать местонахождение их жилищ. На имевшиеся при них небольшие деньги они купили гитару и стали петь на улицах. Этим зарабатывали они себе на пропитанье. Сиконь по ночам проигрывала в карты в ночных кабачках все полученные за день гроши, а Буленгрен, сидя за стаканом подогретого вина, тем временем разъяснял завсегдатаям, сколь нелепо верить в волшебниц.

РУБАШКА

> То был молодой пастух, небрежно раскинувшийся в луговой траве и услаждавший свое одиночество игрой на свирели... У него силой отняли одежду, однако...
>
> (*Пьер Ларусс, Большой словарь,* статья «Рубашка», т. IV, стр. 5, столб. 4.)

Глава I

Король Христофор, его управление, образ жизни, болезнь

Христофор V был неплохим королем. Он в точности соблюдал законы представительного правления и никогда не противился воле палат. Эта покорность давалась ему довольно легко, ибо он заметил, что, в то время как для достижения власти имеется несколько способов, для сохранения ее не существует даже двух возможностей, как не существует двух видов обращения с нею; что его министры, каковы бы ни были их происхождение, принципы, мысли и чувства, все управляют одинаково и что, вопреки некоторому, чисто внешнему различию, они с успокоительной точностью повторяют друг друга. Вследствие этого он без колебания привлекал к делам всех, на кого ему указывали

палаты, отдавая, однако, предпочтение революционерам, ибо они проявляют власть с бо́льшим рвением.

Сам он занимался преимущественно внешней политикой. Он часто совершал дипломатические поездки, обедал и охотился со своими кузенами-королями и хвалился, что он лучший министр иностранных дел, о котором только можно мечтать. В делах внутреннего управления он старался по мере возможности применяться к текущим невзгодам. Он не был ни особенно любим, ни особенно уважаем своим народом, и это обеспечивало ему драгоценное преимущество никогда не разочаровывать. Избавленный от бремени народной любви, он не боялся утратить популярность, что неизбежно для каждого, кто ею пользуется.

Королевство его было богато. Промышленность и торговля процветали, не выходя, однако, за пределы, могущие обеспокоить соседние народы. Состояние его финансов вызывало общее восхищение. Прочность его кредита казалась непоколебимой; коммерсанты говорили о ней с восторгом, с любовью, с глазами, влажным от слез умиления. Некоторая доля славы падала тут и на короля Христофора.

Крестьяне возлагали на него ответственность за плохие урожаи; но последние бывали редко. Плодородие почвы и терпение земледельцев обогащали страну плодами, хлебом, вином и стадами. Фабричные рабочие непрерывными и буйными требованиями пугали буржуазию, видевшую в короле своего защитника от социальной революции; сами же рабочие не могли его свергнуть, так как были слабы, да и не чувствовали к этому никакой склонности, не видя для себя пользы от его падения. Он не облегчал их участи, но и не ухудшал ее, с таким расчетом, чтобы они всегда были угрозой и никогда не были опасностью.

Этот монарх мог вполне положиться на свое войско: оно было проникнуто прекрасным духом. Войско всегда проникнуто прекрасным духом, ибо принимаются все меры к его сохранению; такова первая задача государства. Ведь достаточно войску утратить бодрость духа — и правительство будет немедленно свергнуто. Король Христофор покровительствовал религии. По

правде оказать, он не был особенно набожен и, чтобы не вступать в противоречие с верой, придерживался спасительного правила никогда не вникать в ее догматы. Он отстаивал обедню в дворцовой часовне и с полным уважением и благосклонностью относился к своим епископам, в числе которых было три-четыре ярых приверженца папы, постоянно наносивших королю оскорбления. Низость и раболепство его судей вызывали в нем непреодолимое отвращение. Он не постигал, как могут его подданные сносить столь несправедливое правосудие; но судьи искупали свою постыдную снисходительность к сильным беспощадной суровостью к слабым. Их строгость успокаивала расчетливые умы и обязывала к уважению.

Христофор V заметил, что его действия либо вовсе не приводят ни к каким результатам, либо приводят к результатам обратным тем, каких он ожидал. Поэтому он действовал мало. Ордена и всякого рода отличия были его лучшим орудием управления. Он наделял орденами своих противников, тем самым одновременно уничижая и удовлетворяя их.

Королева подарила ему трех сыновей. Она была безобразна, сварлива, скупа и скудоумна, но народ, знавший о том, что король относится к ней пренебрежительно и изменяет ей, осыпал ее похвалами и знаками уважения. Изведав множество женщин всех званий и состояний, король преимущественно придерживался общества г-жи де ла Пуль *, близость с которой вошла у него в привычку. В женщинах его больше всего привлекала новизна, но новая женщина уже перестала быть для него новинкой, и однообразие перемен тяготило его. С досады он возвращался к г-же де ла Пуль, и то «уже виденное», что нагоняло на него тоску в женщинах, которых он видел впервые, значительно легче воспринималось им в старой подруге. Однако и она немало надоела ему. Случалось, что, выведенный из терпения ее пресным однообразием, он пытался несколько видоизменить ее, переодевал ее то тиролькой, то андалузкой, то капуцином, то драгунским капитаном, то монахиней, и все же ни на минуту не переставал возмущаться ее бесцветностью.

Его основным занятием была охота, наследственная функция королей и принцев, воспринятая ими от первобытных людей, — древняя необходимость, ставшая развлечением, — работа, которую великие мира сего обращают в удовольствие. Без работы нет и удовольствия. Христофор V охотился шесть дней в неделю.

Однажды он сказал в лесу своему обер-шталмейстеру Катрфею:

— Тяжелое занятие — травля!

— Зато после нее вам будет приятно отдохнуть, государь, — ответил шталмейстер.

— Раньше мне нравилось уставать и после этого отдыхать, Катрфей, — тяжело вздохнул король, — Теперь я не испытываю удовольствия ни от того, ни от другого. Во всяком занятии я чувствую пустоту безделья, а отдых утомляет меня, как изнурительный труд.

После десяти лет царствования без революций и войн, признанный наконец подданными за ловкого политика и возведенный в звание посредника между королями, Христофор V уже не ведал, что такое радость. Он погрузился в глубокое уныние и нередко говаривал;

— Черная пелена заслоняет от моих взоров мир, а под хрящами ребер я чувствую скалу, на которой водружается тоска.

Он терял сон и аппетит.

— Я уже не могу есть, — жаловался он г-ну де Катрфею, сидя за столом перед золоченым прибором. — Увы! Я жалею не о радостях вкусного стола — этими радостями я никогда не наслаждался, ведь они неведомы ни одному королю. У меня самый плохой стол во всем моем королевстве. Только люди простого звания хорошо едят; богатые держат поваров, а повара обворовывают и отравляют их. Лучшими поварами считаются те, которые больше всех воруют и отравляют, а у меня первые повара в Европе. Между тем я от природы лакомка и не хуже всякого другого сумел бы оценить по достоинству вкусный кусок, если бы мне это позволило мое положение.

Он жаловался на боль в пояснице и на тяжесть в желудке, чувствовал, слабость, страдал одышкой и

сердцебиениями. Отвратительные приливы горячей испарины подступали к его лицу.

— Я чувствую глухую, постоянную, ровную боль, входящую в привычку, а временами меня пронизывают молниеносные приступы потрясающей боли, — говорил он. — Отсюда — мое оцепенение, отсюда — моя смертельная тоска.

У него бывали головокружения; он страдал помрачением зрения, мигренями, судорогами, спазмами и прострелами, от которых не мог перевести дыхания.

Два лейб-медика, доктор Сомон и профессор Машелье, установили неврастению.

— Не отчетливо выраженное болезненное состояние! — сказал доктор Сомон. — Нозологически * недостаточно определившаяся сущность и именно поэтому трудно уловимая...

Профессор Машелье прервал его:

— Назовем лучше такую болезнь истым патологическим Протеем; * как Старец Морей, она под действием врачебного ухода беспрестанно видоизменяется, облекаясь в самые странные, самые грозные формы: то это ястреб желудочной язвы, то — змей воспаления почек; то она внезапно явит желтый лик разлития желчи, то обнаружит румяные щеки чахотки, то судорожно вцепится в горло страшной дланью удушительницы, вызывая мысль о перерождении сердца; она призрак всех болезней, угрожающих человеческому телу, пока она не поддастся воздействию медицины и, признав себя пораженной, не пустится в бегство, приняв свой истинный облик — обезьяны болезней.

Доктор Сомон был красив, изящен, обаятелен и любим дамами, в которых он любил самого себя. Элегантный ученый, великосветский врач, он умел находить аристократические начала даже в слепых кишках и брюшинах и строго считался с социальным различием, отделяющим одну женскую матку от другой. Профессор Машелье, маленький, толстый, короткий, вылепленный в виде горшка, безудержный говорун, был значительно большим фатом, чем его коллега Сомон. Притязания у него были те же, но ему было трудно их

оправдать. Лейб-медики питали друг к другу взаимную ненависть. Но, заметив, что их встречные нападки только наносят им обоюдный ущерб, они поддерживали видимость искреннего согласия и полного единомыслия: не успевал один высказать ту или иную идею, как другой тотчас же присваивал ее себе. При взаимном неуважении к способностям и талантам другого, они не боялись обмениваться мнениями, зная, что ничем не рискуют, ибо ничего не потеряют и не выиграют от этого обмена, раз эти мнения ограничены областью медицины. Болезнь короля сначала не внушала им опасений. Они рассчитывали, что за время лечения больной сам справится с болезнью и что это будет поставлено им в заслугу. Они единодушно предписали строго размеренную жизнь (Quibus nervi dolent Venus inimica):[1] тонический режим, движения на свежем воздухе, умеренная гидротерапия. Сомон, с одобрения Машелье, предписал применение сернистых углеродов и хлористого метила; Машелье, с согласия Сомона, рекомендовал препараты опия, хлорал и бромистые составы.

Но протекло несколько месяцев, а в состоянии здоровья короля видимого улучшения все еще не было; в скором же времени страдания его обострились.

— Мне кажется, — сказал однажды Христофор V, возлежа в кресле, — мне кажется, что целый крысиный выводок грызет у меня внутренности, в то время как отвратительный карлик, подземный дух в красном колпаке, плаще и штанах, спустившись в мой желудок, врубается в него мотыгой и глубоко вскапывает его.

— Государь, — сказал доктор Сомон, — это боль симпатическая.

— Но она мне крайне антипатична, — ответил король.

Профессор Машелье вмешался в разговор:

— Ни желудок, ни кишечник вашего величества не больны, государь, и если они все же причиняют вам боль, то это, как мы говорим, по симпатии с вашим

[1] Нервнобольным любовь вредна (*лат.*).

солнечным сплетением; его бесчисленные, смешавшиеся и перепутавшиеся нервные разветвления, подобные добела раскаленным платиновым нитям, рвут во все концы кишечник и желудок вашего величества.

— Неврастения — истый патологический Протей... — начал было Машелье.

Но король отпустил их обоих.

— Государь, — сказал по их уходе начальник королевской канцелярии г-н де Сен-Сильвен, — посоветуйтесь с доктором Родриго.

— Да, государь, — подхватил г-н де Катрфей, — прикажите позвать доктора Родриго. Ничего другого не остается.

В ту пору доктор Родриго приводил в изумление весь мир. Его видели почти одновременно во всех странах земного шара. Он так много брал за визиты, что даже миллиардеры признавали его ценность. Что бы ни думали его собратья со всего света о его познаниях и его характере, они с уважением говорили об этом человеке, поднявшем докторский гонорар до еще не слыханной высоты; многие восхваляли его методы лечения, считая, что сами владеют ими и умеют применять их, хоть и за более умеренную плату; это сильно способствовало распространению его мировой славы. Но так как доктор Родриго не любил применять при лечении лабораторные препараты и аптекарскую продукцию и так как он никогда не придерживался установленных формул, его методы лечения озадачивали своей странностью и были неподражаемо оригинальны.

Господин де Сен-Сильвен никогда не пользовался услугами доктора Родриго и тем не менее питал к нему абсолютное доверие и веровал в него, как в бога.

Он стал умолять короля, чтобы тот повелел пригласить доктора-чудотворца. Но мольбы его были напрасны.

— Я привык иметь дело с Сомоном и Машелье, — сказал Христофор V, — я знаю их; мне известно, что они ни на что не способны, а на что способен Родриго, я не знаю.

Глава II

Лекарство доктора Родриго

Король никогда особенно не любил своих лейб-медиков. После же полугодовой болезни они стали ему совершенно невыносимы; стоило ему издалека завидеть прекрасные усы, венчающие победоносную улыбку доктора Сомона, или пару черных пучков, приклеенных к голове Машелье, он тотчас же начинал скрежетать зубами и испуганно отворачивался. Однажды ночью он выбросил за окно их снадобья, пилюли и порошки, наполнявшие комнату приторным унылым запахом. Он не только совершенно перестал выполнять их распоряжения, но даже всячески старался выворачивать наизнанку все, что они ему предписывали: он лежал врастяжку, когда рекомендовалось усиленное движение; суетился, когда был предписан полный покой; наедался, когда была назначена диета; воздерживался от пищи, когда доктора настаивали на усиленном питании, и выказывал столь необычную пылкость, что г-жа де ла Пуль просто не верила свидетельству своих чувств и думала, что грезит. И все-таки он не поправлялся, — так непреложна истина, что медицина — искусство обманчивое и что ее предписания, в каком бы смысле люди их ни воспринимали, всегда одинаково тщетны. От медицины королю не становилось хуже, но и не делалось лучше.

Многочисленные и разнообразные недуги не давали ему покоя. Он жаловался, что в мозгу у него расположился целый муравейник и что эта предприимчивая и воинственная колония роет там галереи, хоромы и склады, переносит туда провизию и материалы, кладет миллиарды яичек, вскармливает детей, выдерживает осады, ведет и отражает атаки и дает отчаянные сражения. Он уверял, будто слышит хруст тонкого, жесткого вражеского панциря, который перекусывают стальные челюсти победителя.

— Прикажите вызвать доктора Родриго, государь, — сказал г-н де Сен-Сильвен. — Он вас вылечит.

Но король пожал плечами и в минуту слабости и малодушия снова потребовал прописанные ему снадобья

и возобновил диету. Он прекратил визиты к г-же де ла Пуль и начал старательно принимать пилюли азотнокислых солей аконитина, которые тогда только что входили в моду и переживали пору лучезарной молодости. Последствием этого лечения и воздержания явился такой припадок удушья, что язык высунулся у него изо рта, а глаза вылезли из орбит. Его постель ставили стоймя, как стенные часы, и его налитое кровью лицо выступало на ней в виде багрового циферблата.

— Бунт сердечного сплетения в полном разгаре, — промолвил профессор Машелье.

— Сильнейшее возбуждение, — подтвердил доктор Сомон.

Господин де Сен-Сильвен счел уместным снова напомнить о докторе Родриго, но король заявил, что не нуждается в лишнем враче.

— Государь, — возразил Сен-Сильвен, — доктор Родриго не врач.

— Вот как? — воскликнул Христофор V. — Ваши слова, господин де Сен-Сильвен, располагают меня в его пользу и вызывают в нем симпатию. Он не врач? Кто же он в таком случае?

— Государь, он — ученый, он — гений, открывший неслыханные свойства материи в состоянии излучения; он применяет эти свойства в медицине.

Но король голосом, не допускающим возражений, предложил секретарю никогда больше не напоминать ему об этом шарлатане.

— Ни за что, — сказал он, — ни за что я его не приму. Ни за что!

Христофор V провел лето довольно сносно. В обществе г-жи де ла Пуль, переодетой матросиком, он совершил морскую прогулку на яхте водоизмещением двести тонн. Он дал на ней завтрак одному президенту республики, одному королю и одному императору и в согласовании с ними обеспечил общий мир на земле. Это вершительство народных судеб нагоняло на него ужасную тоску, но он нашел в каюте г-жи де ла Пуль старенький роман во вкусе белошвеек и прочитал его с захватывающим интересом, подарившим ему на

несколько часов восхитительное забвение окружающей действительности. Словом, если не считать мигреней, невралгических болей, ревматизма и отвращения к жизни, он чувствовал себя удовлетворительно. Осень вернула его к прежним пыткам. Он переносил ужасные муки человека, который до пояса как бы обложен льдом, а выше поясницы охвачен пламенем. Но еще больший ужас и еще более дикий страх внушали ему совершенно необъяснимые ощущения и неописуемые состояния. От некоторых из них, говорил он, волосы дыбом встают у него на голове. Его терзало малокровие, слабость его возрастала с каждым днем, но страдания его не ослабевали.

— Сен-Сильвен, — сказал он однажды утром после скверно проведенной ночи, — вы несколько раз говорили мне о докторе Родриго. Распорядитесь, чтобы его вызвали.

Доктор Родриго в это время значился на мысе Доброй Надежды, в Мельбурне и Санкт-Петербурге. Тотчас же были посланы в этих направлениях каблограммы и радиограммы. Не прошло и недели, как король уже настойчиво требовал доктора Родриго. В последующие дни он поминутно справлялся: «Когда же наконец приедет доктор Родриго?» Королю почтительно докладывали, что его величество не такой пациент, которым можно пренебречь, и что Родриго путешествует с невероятной быстротой. Но ничего не могло успокоить нетерпеливого больного.

— Он не приедет, — вздыхал король. — Вот увидите, он не приедет!

Телеграмма из Генуи известила, что Родриго занял каюту на пароходе «Пруссия». Три дня спустя всемирно знаменитый доктор, предварительно нанеся своим коллегам Сомону и Машелье нагло-снисходительные визиты, явился во дворец.

Он был моложе и красивее доктора Сомона, с осанкой более гордой и благородной. Из уважения к природе, которой он во всем следовал, он носил длинные волосы и бороду и походил на тех древних философов, которых Греция увековечила в мраморных изваяниях.

Осмотрев короля, он сказал:

— Государь, врачи, рассуждающие о болезнях, как слепые о красках, утверждают, что у вас неврастения или истощение нервной системы. Но если бы эти врачи и постигли сущность вашего недуга, они все равно не могли бы его излечить, ибо органическая ткань может быть восстановлена только теми же средствами, которые употребила природа при ее создании, а средств этих врачи не знают. Каковы же средства, каковы приемы, имеющиеся в распоряжении природы? Она не пользуется ни рукой, ни инструментом; она изощренна, она остроумна; для возведения своих самых мощных, самых грандиозных творений она использует мельчайшие частицы материи, атомы и протилы. Из неосязаемого тумана создает она глыбы скал, растения, металлы, животных и людей. Каким способом? С помощью притяжения, тяготения, испарения, проницаемости, всасывания, просачивания, капиллярности, сродства, взаимного влечения. И малую песчинку она создает не иначе, чем создала Млечный Путь: мировая гармония одинаково царит как в том, так и в другом; и то и другое существует только благодаря колебанию составляющих его частиц, и это колебание — их музыкальная, влюбленная и вечно волнующаяся душа. Нет никакой разницы в построении небесных светил и построении пылинок, которые пляшут в солнечном луче, пронизывающем эту комнату, и малейшая из этих пылинок не менее изумительна, чем Сириус, ибо основа чудесного всех тел во вселенной — это то бесконечное малое, из которого они образованы и которым они живут. Вот как работает природа. Из неуловимого, неосязаемого, невесомого она извлекла обширный мир, доступный восприятию наших чувств, взвешиваемый и измеряемый нашим рассудком; то, из чего она создала нас самих, — тоже меньше, чем дуновение. Будем же действовать, как она, при помощи невесомого, неосязаемого, неуловимого, через любовное притяжение и тончайшую проницаемость. Таков основной принцип. Как применить его к нашему случаю? Как снова вернуть жизнь истощенным нервам — вот что подлежит нашему рассмотрению. Но прежде всего что такое нервы? Если мы попросим кого-нибудь определить это понятие,

то любой физиолог, да что я говорю, — даже какой-нибудь Машелье или Сомон, и те нам его дадут. Что такое нервы? Нити, волокна, идущие от головного и спинного мозга и распределяющиеся по всем частям тела для передачи воспринятых извне раздражений и для воздействия на органы движения. В них, следовательно, заключены восприятие и движение. Этого совершенно достаточно, чтобы понять составляющую их основную сущность, чтобы выявить их природу; каким бы словом мы ни определили ее, она однородна с тем, что в мире ощущений мы называем радостью, а в мире нравственном — счастьем. Там, где найдется атом радости или счастья, — там же найдется и вещество — восстановитель нервов. А когда я говорю — атом радости, я имею в виду материальный предмет, совершенно определенное вещество, тело, способное принять все четыре состояния — твердое, жидкое, газообразное и излучаемое, — тело, атомный вес которого можно совершенно точно установить. Радость и печаль, которым от начала всех начал подчинены люди, животные и растения, имеют совершенно реальное содержание; они материальны, потому что они духовны, потому что природа едина в своих трех разновидностях: движении, материн, духе. Дело, таким образом, только за тем, чтобы получить достаточное количество атомов радости и с помощью просачивания и кожного всасывания ввести их в организм. Поэтому я прописываю вам носить рубашку счастливого человека.

— Как! — воскликнул король. — Вы хотите, чтобы я носил рубашку счастливого человека?

— На голом теле, государь! Чтобы ваша высохшая кожа втягивала в себя частицы счастья, выделенные потовыми железами счастливого человека через поры его благоденствующей кожи. Вам, конечно, известна работа, выполняемая кожей: она вдыхает и выдыхает, она производит непрерывный обмен с окружающей ее средой.

— Это и есть прописываемое мне лекарство, господин Родриго?

— Государь, это самое рациональное средство. Наука не дает мне ничего более подходящего. Незнако-

мые с природой, неспособные ей подражать, наши горе-аптекари изготовляют лишь самое ограниченное количество лекарств, и лекарства эти всегда опасны, но отнюдь не всегда полезны. Не умея изготовлять медикаменты, мы вынуждены брать их в готовом виде, например пиявки, горный климат, морской воздух, минеральные воды, молоко ослицы, шкуру дикой кошки и испарину, проступившую на теле счастливого человека... Разве вы не знаете, что сырая картошка, если ее носить в кармане, успокаивает ревматические боли? Вам не нравятся натуральные лечебные средства; вам нужны лекарства искусственные или химические, разные снадобья; вам нужны капли и порошки; значит, порошки и капли принесли вам много пользы?..

Король извинился и обещал выполнить предписание.

Доктор Родриго, уже подойдя к двери, обернулся.

— Прикажите ее предварительно слегка подогреть, — сказал он.

Глава III

Гг. де Катрфей и де Сен-Сильвен ищут счастливого человека в королевском дворце

Спеша надеть на себя рубашку, сулящую излечение, Христофор V приказал позвать обер-шталмейстера г-на де Катрфея и начальника королевской канцелярии г-на де Сен-Сильвена и поручил им как можно скорее добыть требуемую рубашку. Было решено, что предмет своих поисков они сохранят в строжайшей тайне. Действительно, можно было опасаться, что стоит только публике узнать, какого рода лекарство требуется королю, как множество несчастных и именно наиболее обездоленных и преследуемых всякими невзгодами, станет предлагать свои рубашки в надежде на получение награды. Опасались также, как бы анархисты не подослали рубашек отравленных.

Королевские приближенные решили, что им легко удастся добыть лечебное средство доктора Родриго, не выходя за пределы дворца, и поместились у круглого

оконца, в которое были видны проходившие придворные. У всех, кого они видели, были вытянутые, изможденные лица; черты их отчетливо отражали страдания; всех их снедало желание получить назначение, орден, привилегию или чин. Но, спустившись в парадные залы, Катрфей и Сен-Сильвен увидели спящего в кресле г-на дю Бокажа. Уголки его рта были вздернуты до самых скул, ноздри широко раздуты, округлые щеки сияли точно два солнца, дыхание было гармонично, живот ритмически и безмятежно вздымался, улыбка сияла на лице; весь он — от лоснящейся макушки до веерообразно растопыренных пальцев на широко раздвинутых ногах, обутых в легкие туфли, — излучал радость.

— Нам нечего больше искать, — сказал Катрфей, пораженный этим зрелищем. — Как только он проснется, мы попросим у него рубашку.

Но тут спящий протер себе глаза, потянулся и уныло огляделся по сторонам. Углы его рта стали постепенно опускаться, щеки начали заметно опадать, а веки обвисли, как белье, развешанное в окне бедняка; из груди его вырвались жалобные вздохи, и все в нем уже выражало скуку, сожаление и разочарование.

Узнав начальника королевской канцелярии и обер-шталмейстера, он воскликнул:

— Ах, господа, я только что видел прекрасный сон! Мне снилось, будто король обратил мое бокажское поместье в маркизат. Увы, это только сон, и я отлично знаю, что у короля совершенно иные намерения.

— Пойдем дальше, — сказал Сен-Сильвен. — Уже поздно; нельзя терять времени.

Они встретились в галерее с одним из пэров королевства, удивлявшим людей силой своего характера и глубиной ума. Даже враги не могли ему отказать в бескорыстии, прямоте и мужестве. Было известно, что он пишет воспоминания, и каждый льстил ему, надеясь занять на страницах этих мемуаров достойное место в глазах потомства.

— Возможно, что он счастлив, — сказал Сен-Сильвен.

— Спросим его, — сказал Катрфей.

Они подошли к вельможе, обменялись несколькими словами и, наведя разговор на тему о счастье, задали ему интересовавший их вопрос.

— Меня не тешат ни богатства, ни почести, — ответил им пэр, — и даже самые законные и естественные привязанности, заботливое внимание семьи и радости дружбы не заполняют моего сердца. У меня только одна страсть — благо народа, и это самая несчастная из всех страстей, самый мучительный из всех видов любви. Я был у власти: я отказался поддержать ценою народных средств и ценою крови наших солдат военные затеи, предпринятые кучкой пиратов и торгашей ради их личного обогащения и грозившие стране разорением; я не принес ни нашего флота, ни армии в жертву поставщикам и пал под тяжестью клеветы всех этих мошенников, которые под гром рукоплесканий безмозглой толпы упрекали меня в том, будто я изменил священным заветам и славе моей родины. Никто не поддержал меня против этих разбойников высокого полета. Когда я вижу безграничную глупость и подлость народа, мне становится жаль монарха. Слабость короля приводит меня в отчаяние; убожество великих мира сего — зрелище, внушающее мне отвращение; неспособность и недобросовестность министров, невежество, низость и продажность народных представителей и ошеломляют и бесят меня. Чтобы облегчить муки, испытываемые в течение дня, я по ночам занимаюсь их описанием и таким образом извергаю горечь, которой полнится мое сердце.

Катрфей и Сен-Сильвен откланялись благородному пэру и, пройдя несколько шагов по галерее, очутились лицом к лицу с маленьким человечком, очевидно, горбатым, так как спина его возвышалась над головой. Человек жеманничал и принимал картинные позы.

— К этому нам бесполезно обращаться, — сказал Катрфей.

— Как знать, — промолвил Сен-Сильвен.

— Поверьте мне, я с ним хорошо знаком, — возразил шталмейстер, — я поверенный его сердечных тайн. Он доволен и преисполнен собой и имеет на то полное основание. Этот горбун — баловень женщин. Дамы

придворные и дамы городские, дамы света и дамы полусвета, кокетки и актрисы, недотроги и ханжи, первые гордячки и красавицы — все у его нот. На их ублаготворение он тратит здоровье и жизнь и, став меланхоликом, несет на себе тяжелое бремя того самого счастья, которое он им доставляет.

Солнце садилось, и, так как стало известно, что король сегодня уже не выйдет, последние придворные стали покидать дворец.

— Я охотно отдал бы свою собственную рубашку, — сказал Катрфей. — Я смело могу утверждать, что у меня счастливая натура. Я всегда доволен, ем и пью с аппетитом, отменно сплю. Люди удивляются моему цветущему виду и находят приятным мое лицо, поэтому и на внешность свою я не жалуюсь. Но в мочевом пузыре я чувствую постоянную тяжесть и жар, и это партит мне жизнь. Сегодня утрам из меня вышел камень величиной с голубиное яйцо. Боюсь, что моя рубашка не принесет пользы королю.

— Я бы охотно отдал ему свою, — сказал Сен-Сильвен, — но и у меня свой камень: жена. Я женился на самом безобразном и самом злющем создании, когда-либо существовавшем на свете, и хотя будущее, как известно, в руках божьих, я смело добавляю — на самом злющем и самом безобразном, которое когда-либо будет существовать, ибо повторное воспроизведение такого экземпляра столь мало вероятно, что его надо считать практически невозможным. На такую шутку природа два раза не решится...

И, отбросив эту тягостную тему, он воскликнул:

— Катрфей, друг мой, мы с вами действуем безрассудно. Не при дворе и не среди сильных мира сего следует нам искать счастливого человека!

— Вы рассуждаете, как философ, — возразил Катрфей, — вы выражаетесь языком босяка Жан-Жака *. Вы не правы. В королевских дворцах и в домах аристократов имеется столько же счастливых и достойных счастья людей, как в литературных кабачках и в харчевнях, где собираются чернорабочие. Нам только потому сегодня не удалось их найти под этими лепными потолками, что было уже поздно и что нам просто не

повезло. Пойдемте к вечернему игорному столу королевы, я там мы, наверное, найдем то, что ищем.

— Искать счастливого человека возле игорного стола! — воскликнул Сен-Сильвен. — Это то же самое, что искать жемчужное ожерелье в поле, засаженном репой, или правдивое слово — на устах государственного мужа!.. Сегодня вечером бал у испанского посла, — там будет весь город. Отправимся на бал, и мы без труда снимем с кого-нибудь хорошую и вполне приличную рубашку.

— Мне не раз случалось снимать рубашку со счастливой женщины, — промолвил Катрфей. — Я делал это не без удовольствия. Но счастье бывало кратковременным. Я вам это рассказываю вовсе не из хвастовства (право, тут хвастаться нечем) и не для того также, чтобы вызвать в памяти минувшие радости; они ведь могут еще повториться, ибо, вопреки тому, что гласит народная мудрость, всем возрастам свойственны одни и те же утехи. У меня совершенно иное намерение, гораздо более серьезное и благое, имеющее прямое отношение к возложенному на нас поручению; мне хочется поделиться с вами только что зародившейся у меня мыслью. Не думается ли вам, Сен-Сильвен, что, прописывая королю рубашку счастливого человека, доктор Родриго воспользовался термином «человек» в широком, родовом смысле этого слова, охватывающем все человечество и исключающем понятие пола, и что он одинаково имел в виду как женскую, так и мужскую рубашку? Лично я склонен думать именно так, и если ваша точка зрения совпадает с моей, мы могли бы значительно расширить границы наших поисков и более чем вдвое увеличить шансы на успех, потому что в таком изящном, цивилизованном обществе, как наше, женщины счастливее мужчин: мы для них делаем больше, чем они для нас. Расширив таким образом нашу задачу, мы могли бы, Сен-Сильвен, поделить ее между собой. Я, например, мог бы, начиная с сегодняшнего вечера и до завтрашнего утра, приступить к поискам счастливой женщины, в то время как вы стали бы искать счастливого мужчину. Согласитесь, друг мой, что женская рубашка — вещь весьма деликатная. Мне

однажды довелось держать в руках рубашку, которая легко проходила через кольцо; она была из батиста тоньше паутины. А что скажете вы, мой друг, о рубашке, которую одна французская дама времен Марии-Антуанетты * проносила в продолжение всего бала в своей прическе? Мне кажется, что мы с вами заслужили бы благоволение короля, нашего повелителя, если бы поднесли ему тонкую батистовую рубашку с прошивками, кружевными воланами и славными розовыми лентами в виде бантиков на плечах, — рубашку легкую, как дыхание, и благоухающую ирисом и любовью.

Но Сен-Сильвен решительно восстал против такого толкования формулы доктора Родриго.

— Вдумались ли вы как следует в то, что говорите, Катрфей? — воскликнул он. — Женская рубашка доставила бы королю только женское счастье, которое сделало бы его несчастным и опозорило бы его. Я сейчас не буду, Катрфей, входить в обсуждение, кто более способен быть счастливым — мужчина или женщина. Ни место, ни время нам этого не позволяют: пора обедать. Физиологи наделяют женщину большей чувствительностью, нежели наша; но все это отвлеченные, общие места, скользящие поверх голов и никого не затрагивающие. Не знаю, в самом ли деле наше хорошо воспитанное общество создано скорее для женского, чем для мужского счастья, как вы это себе, по-видимому, представляете. По моим наблюдениям, в нашем кругу женщины не воспитывают детей, не ведут хозяйства, ничего не знают, ничего не делают и умирают от усталости. Блистая, они расходуют себя — это участь свечи. Не знаю, так ли уж она завидна. Но не в этом дело. Может быть, наступит день, когда будет только один пол; может быть, их будет три или даже больше. В таком случае половая мораль будет значительно богаче, сложнее и многообразней. Пока что у нас только два пола; в каждом из них имеется много от другого: много мужского в женщине и много женского в мужчине. Все же они отличаются друг от друга, и у каждого своя природа, свой нрав, свои законы, свои радости и печали. Если вы привьете нашему королю женское понятие о счастье, с каким равнодушием он будет тогда взирать

на г-жу де ла Пуль!.. И, может быть, вследствие обуявшей его ипохондрии и слабости он в конце концов даже опорочит честь нашей славной родины. Не этого ли вы хотите, Катрфей? Обратите внимание в картинной галерее королевского дворца на историю Геркулеса, вытканную на гобелене, и посмотрите, что случилось с этим героем, исключительно неудачливым по части рубашек: * надев из прихоти рубашку Омфалы, он с той поры только и знал, что прясть шерсть. Такова участь, которую ваша неосторожность готовит нашему славному монарху.

— Ну, будем считать, что я ничего не сказал, и прекратим этот разговор, — согласился обер-шталмейстер.

Глава IV

Иеронимо

Здание испанского посольства сверкало в темноте ночи. Отблески его огней золотили облака. Огненные гирлянды, окаймлявшие аллеи парка, придавали изумрудную прозрачность и блеск соседней листве. Бенгальские огни румянили небо поверх высоких темных деревьев. Легкий ветерок уносил сладострастные звуки невидимого оркестра. Нарядная толпа приглашенных заполняла открытую лужайку: фраки сновали в тени; военные мундиры сияли лентами и орденами; светлые контуры грациозно скользили по траве, влача за собой волны аромата.

Увидя двух влиятельных государственных мужей — председателя совета и его предшественника, — беседовавших у подножья статуи Фортуны, Катрфей решил было к ним подойти. Но Сен-Сильвен отговорил его.

— Оба они несчастны, — сказал он. — Один не может утешиться, что утратил власть, другой трепещет, как бы ее не утратить. И честолюбие их тем более достойно презрения, что и тот и другой в частной жизни более независимы и сильны, чем в высокой должности, которую они могут удержать лишь при условии

унизительного и позорного подчинений прихотям палат, слепым народным страстям и корысти финансистов. То, чего они так горячо домогаются, не более как облаченное в пышные одежды унижение. Ах, Катрфей, довольствуйтесь своими псарями, лошадьми и собаками и не добивайтесь власти над людьми.

Они двинулись дальше. Едва успели они пройти несколько шагов, как были привлечены взрывом смеха, доносившегося из близлежащего боскета. Войдя в него, они под сенью ветвей увидели толстого, небрежно одетого человека, развлекавшего своей болтовней многочисленных слушателей, которые жадно ловили каждое слово, слетавшее с его губ, и не сводили глаз с его нечеловеческого лица, словно вымазанного винным отстоем и напоминавшего античного сатира. То был Иеронимо, самый знаменитый и единственный во всем королевстве популярный человек. Он говорил безудержно, весело, красно, не скупясь на остроты, нанизывал один на другой анекдоты, то занятные, то менее удачные, но всегда вызывавшие смех. Он рассказывал, что некогда в Афинах совершилась социальная революция, имущество было поделено и женщины поступили в общественную собственность, но что очень скоро некрасивые и старые начали жаловаться на общее пренебрежение и что в угоду им был издан закон, обязавший мужчин проходить через их объятия, прежде чем получить право на обладание молоденькими и хорошенькими; он с озорным смехом описывал комические супружества, забавные любовные сцены и испуг юношей при виде этих гноеглазых и сопливых любовниц, с носами и подбородками, словно созданными для того, чтобы раскалывать между ними орехи. Потом он принялся рассказывать множество сальных, непристойных анекдотов про немецких евреев, про попов, про крестьян — целый ворох потешных, увлекательных побасенок.

Иеронимо был изумительным оратором. Когда он начинал говорить, все в нем от ног и до головы говорило вместе с ним, и никогда еще изощренность речи ни у одного оратора не достигала такой полноты. То серьезный, то игривый, то величавый, то придурковатый, он владел всеми видами красноречия, и тот же че-

ловек, что здесь, под зеленым шатром, как истый комедиант, развлекал балагурством праздных слушателей и самого себя, накануне вызывал в палате депутатов своим могучим голосом неудержимые крики и рукоплескания, бросая в дрожь министров, ввергая в трепет публику на трибунах, и откликами своих речей будоражил всю страну. Ловкий в неистовстве и расчетливый в самых страстных порывах, он, не ссорясь с властью, возглавил оппозицию и, ведя работу в низах, вращался в среде аристократии. Его называли человеком своего времени. На самом же деле он был человеком своего часа: ум его всегда приноравливался к данному моменту и месту. Он думал всегда «кстати»; его грубое, банальное дарование соответствовало банальности обывателей; его чудовищная посредственность сводила на нет все низкое и все высокое, окружавшее его: на виду оставался только он. Уже одно его здоровье должно было обеспечить его счастье; оно было так же прочно и так же несокрушимо, как и его душа. Большой мастер выпить, большой любитель всякого мяса как в виде жаркого, так и во всех прочих видах, он всегда пребывал в веселом настроении духа и забирал себе львиную долю земных благ. Слушая небылицы толстяка, Катрфей и Сен-Сильвен смеялись вместе с остальными и, подталкивая друг друга локтем, косились на его рубашку, обильно закапанную соусами и винами недавней веселой трапезы.

Посланник некоего заносчивого народа, торговавшийся с королем Христофором о цене его дружбы, в надменном одиночестве пересекал в это время лужайку. Он подошел к великому человеку и слегка ему поклонился. Иеронимо мгновенно преобразился: ясная и мягкая серьезность, величественное спокойствие разлились по его лицу, и приглушенные раскаты его голоса усладили ухо посланника благороднейшей ласковостью речи. Вся его поза выражала понимание внешней политики, духа конгрессов и конференций; все в нем, включая галстук веревочкой, топорщившуюся грудь рубашки и штаны, сшитые точно на слона, каким-то чудом сразу восприняло дипломатическое достоинство и посольскую внешность.

Приглашенные слегка отстранялись, и две именитые особы долго и дружески беседовали, подчеркивая свою близость, которая привлекла внимание и вызвала многочисленные комментарии политиков и министерских дам.

— Иеронимо станет министром иностранных дел, стоит только ему этого захотеть, — говорил один.

— Как только он им станет, он засунет короля в карман, — молвил другой.

А австрийская посланница, наведя на него лорнет, проговорила:

— Молодой человек не без способностей, он далеко пойдет!

По окончании беседы Иеронимо прошелся по саду со своим верным, неразлучным Жобеленом, похожим на цаплю с совиной головой.

Начальник королевской канцелярии и обер-шталмейстер последовали за ним.

— Его-то рубашка нам и нужна, — тихо сказал Катрфей. — Но отдаст ли он нам ее? Он социалист и борется с правительством короля.

— Ну так что же! Он человек не злой и не глупый, — возразил Сен-Сильвен. — Он не должен желать перемены, раз он в рядах оппозиции. На нем не лежит никакой ответственности, положение его прекрасно: он должен им дорожить. Хороший оппозиционер — всегда консерватор. Или я ничего в этом деле не смыслю, или этому демагогу было бы весьма неприятно чем-нибудь досадить своему королю. Надо только с умением взяться за дело, и рубашка будет в наших руках. Он поведет с королевским двором точно такую же игру, какую вел Мирабо *. Надо только, чтобы он был уверен в сохранении тайны.

Пока они вели этот разговор, Иеронимо, сдвинув шляпу набок я поигрывая тросточкой, прогуливался по саду и изливал свое веселое настроение в неприхотливых шутках, веселом смехе, балагурстве, выкриках, плохих остротах, непристойных, грязных каламбурах и раскатистых руладах. Между тем шагах в пятнадцати впереди него шел законодатель мод и кумир молодежи герцог Онский; повстречавшись со знакомой дамой, он

очень просто приветствовал ее коротким, сдержанным, но не лишенным грации жестом. Трибун окинул его внимательным взглядом я, сразу помрачнев и задумавшись, опустил увесистую руку на плечо своего голенастого друга.

— Жобелен, я отдал бы свою популярность и десять лет жизни за умение носить фрак и разговаривать с женщинами, как этот шалопай, — оказал он.

Вся веселость слетела с него. Он шел теперь, угрюмо понурив голову, и без всякого удовольствия разглядывал свою тень, которую насмешливая луна бросала ему в ноги в виде синего болванчика.

— Что он сказал?.. Он, конечно, пошутил? — с тревогой спросил Катрфей.

— Он был правдив и серьезен, как никогда, — ответил Сен-Сильвен. — Он обнажил перед нами язву, которая точит его. Иеронимо не может утешиться, что лишен аристократизма и элегантности. Нет, он не счастлив. За его рубашку я не дам и гроша.

Время уходило, и поиски не обещали быть легкими. Начальник королевской канцелярии и обер-шталмейстер решили каждый самостоятельно продолжать изыскания и сговорились встретиться во время ужина в маленькой желтой гостиной, чтобы поделиться достигнутыми результатами. Катрфей опрашивал преимущественно военных, вельмож и крупных землевладельцев, не пренебрегая и опросом женщин. Более проницательный Сен-Сильвен пробовал читать в глазах финансистов и пытался прощупывать дипломатов.

Они встретились в назначенный час, усталые, с вытянутыми физиономиями.

— Я видел одних лишь счастливцев, — сказал Катрфей, — но счастье у всех испорчено. Военные сохнут от желания получить крест, чин или добавочное содержание. Преимущества и почести, доставшиеся их соперникам, гложут им печень. Я видел, как одни стали желтее кокоса, а другие позеленели, словно ящерицы, узнав, что генерал де Тентий возведен в достоинство герцога Коморского. А один из них стал совсем багровым: его хватил апоплексический удар. Наши дворяне дохнут в своих поместьях столько же от скуки, сколько

и от хлопот; в вечных тяжбах с соседями, обираемые судейскими, они влачат свою гнетущую праздность среди забот.

— Я нашел не больше вашего, — сказал Сен-Сильвен. — А особенно удивляет меня противоположность причин и многообразие поводов, вызывающих человеческие страдания. Я видел князя Эстельского, страдающего от измены жены, но не потому, чтобы он ее сильно любил, а потому, что эта измена задевает его самолюбие; герцога Мовера я видел страдающим от того, что жена ему не изменяет и тем самым не дает ему возможности восстановить его расстроенное состояние. Этого одолевает избыток детей; того приводит в отчаяние их отсутствие. Я встретил горожан, мечтающих о жизни в деревне, и деревенских жителей, только о том и помышляющих, как бы обосноваться в городе. Я выслушал признания двух очень почтенных людей: один из них неутешен оттого, что убил на дуэли человека, отбившего у него любовницу; другой в отчаянии, что дал промах по своему сопернику.

— Я никогда не подумал бы, что столь трудно найти счастливого человека, — вздохнул Катрфей.

— А может быть, мы не так взялись за дело, — заметил Сен-Сильвен. — Мы ищем наугад, без всякой системы, мы даже как следует не знаем, чего ищем. Мы точно не определили, что такое счастье. Необходимо его определить.

— Мы понапрасну потеряли бы время, — ответил Катрфей.

— Простите, — возразил Сен-Сильвен, — когда мы его определим, то есть ограничим, уточним, закрепим во времени и пространстве, нам будет значительно легче.

— Не думаю, — сказал Катрфей.

Однако они все же решили посоветоваться по этому поводу с самым ученым человеком во всем королевстве, с директором королевской библиотеки г-ном Шодзэгом.

Солнце уже взошло, когда они вернулись во дворец. Христофор V провел скверную ночь и нетерпеливо тре-

бовал целительную рубашку. Они извинились за задержку и взобрались на четвертый этаж, где г-н Шодзэг принял их в обширном зале, (содержащем в себе восемьсот тысяч печатных и рукописных томов.

Глава V

Королевская библиотека

Усадив их возле себя, библиотекарь широким жестом указал на множество книг, расставленных но четырем стенам, от пола и до самого потолка.

— Вы слышите? Слышите страшный шум, который они производят? У меня от него лопаются барабанные перепонки. Они говорят все зараз и на всех языках. Они спорят обо всем: о боге, о природе, о человеке, о времени, о числе и пространстве, о познаваемом и непознаваемом, о добре и зле, они все изучают, все оспаривают, все утверждают, все отрицают. Они умствуют и безумствуют. Среди них есть легкомысленные и серьезные, веселые и унылые, многоречивые и лаконичные; многие из них говорят для того, чтобы ничего не сказать, отсчитывают слоги и подбирают звуки на основе законов, происхождение и смысл которых им самим совершенно неизвестны: это наиболее самодовольные из всех. Имеются среди них и суровые, угрюмого склада, размышляющие только о предметах, окончательно лишенных всякой осязаемости и изъятых из естественной среды; они бьются в пустом пространстве и волнуются в невидимых категориях небытия, и это — самые исступленные, кровожадные спорщики, с яростью отстаивающие свои положения и формулировки. Я уж не говорю о тех, кто пишет историю своего времени или предшествующих времен, ибо этим никто не верит. Всего их собрано здесь восемьсот тысяч душ, но не найдется и двух совершенно одинаково думающих о каком-нибудь предмете, и даже те, которые друг друга повторяют, не могут договориться между собой. Они обычно не знают ни того, чт*о* сами говорят, ни того, чт*о* сказано другими.

Господа, я сойду с ума, слушая этот всеобщий гомон, как уже сошли с ума все жившие до меня в этом многоголосом зале, за исключением тех, что вошли в него прирожденными идиотами, как, например, мой почтенный коллега господин Фруадефон, который сидит, как вы изволите видеть, против меня и с безмятежным усердием занимается каталогизированием. Он родился простым, и простым остался. Он весь был единым и не стал многообразным, ибо единство не может породить многообразия, и в этом, господа, — напоминаю мимоходом, — главное наше затруднение при поисках первопричины явлений: раз причина не может быть единой, она должна быть двойной, тройной, многообразной, а это мы допускаем с большим трудом. У господина Фруадефона простой ум и чистая душа. Он живет каталогически. Он знает названия и внешний вид всех книг, расставленных по этим стенам, и, следовательно, обладает единственным точным познанием, которое можно почерпнуть в любой библиотеке, а так как он ни разу не проникал в содержание книги, то уберегся от вялой неуверенности, от стоустой лжи, от ужасов сомнения, от мук беспокойства — от всех чудовищ, которые чтением порождаются в плодовитом мозгу. Он спокоен и невозмутим, он счастлив.

— Он счастлив! — в один голос воскликнули искатели рубашки.

— Он счастлив, — подтвердил г-н Шодзэг, — но он об этом не знает. И возможно, что счастье доступно только при этом условии.

— Увы! — воскликнул Сен-Сильвен. — Жить, не зная, что живешь, — это все равно, что не жить; не знать, что ты счастлив, все равно, что не быть счастливым.

Но Катрфей, не слишком полагавшийся на отвлеченные умозаключения и во всех случаях жизни доверявший лишь непосредственному опыту, подошел к столу, за которым среди груды книг в переплетах из телячьей, бараньей и свиной кожи, из сафьяна, тонкого и толстого пергамента и дерева, среди книг, пахнущих пылью, плесенью, крысами и мышами, каталогизировал Фруадефон.

— Господин библиотекарь, — обратился к нему Катрфей, — не откажите в любезности ответить: вы счастливы?

— Книги под таким заглавием я не знаю, — ответил старый каталогизатор.

Безнадежно взмахнув руками, Катрфей вернулся на свое место.

— Представьте себе, господа, — промолвил Шодзэг, — что древняя Кибела * несет на своей цветущей груди господина Фруадефона и они описывают громадную орбиту вокруг солнца, а что солнце мчит господина Фруадефона вместе с землей и со всей ее свитой небесных светил через бездны пространства, к созвездию Геркулеса. Почему? Ни один из собранных вокруг нас восьмисот тысяч томов не может нам этого объяснить. Мы не знаем ни этого, ни всего остального. Господа, мы ничего не знаем. Причины нашего незнания многочисленны, но я убежден, что главная из них кроется в несовершенстве человеческой речи. Смутность наших понятий порождается туманностью слов. Если бы мы больше заботились об уточнении терминов, с помощью которых мы рассуждаем, наши мысли были бы отчетливей и уверенней.

— Что я вам говорил, Катрфей? — торжествующе воскликнул Сен-Сильвен.

И он обратился к библиотекарю:

— Ваши слова, господин Шодзэг, чрезвычайно меня радуют. И я теперь вижу, что, явившись к вам, мы избрали правильный путь. Мы пришли вас спросить, что такое счастье? Я задаю этот вопрос от имени его величества.

— Постараюсь ответить вам. Всякое слово должно определяться этимологически по его корню: вы меня спрашиваете, что мы разумеем под словом «счастье»? «Счастье» — bonheur, или «благополучие» — это благое предзнаменование, благое знамение, уловленное по полету и пению птиц, в противоположность «несчастью», или «злополучию» — malheur, означающему, как указывает на это само слово, злополучный опыт с птицами.

— Но как узнать, что человек в самом деле счастлив? — спросил Катрфей.

— Путем осмотра цыплят! — ответил библиотекарь. — Это вытекает из самого термина heur, который происходит от латинского augurium, что равняется avigurium [1].

— Осмотр священных цыплят не производится уже со времени римлян, — возразил обер-шталмейстер.

— Но разве счастливый человек не тот, которому благоприятствует судьба, и разве не существует внешних, видимых признаков удачи? — спросил Сен-Сильвен.

— Удача, — ответил Шодзэг, — это то, что хорошо выпадает, а неудача — то, что выпадает плохо; это — игральная кость. Если я вас правильно понял, господа, вы ищете счастливого, удачливого человека, то есть человека, относительно которого у птиц только одни добрые предзнаменования, человека, которому непрерывно везет в игре. Этого редкого смертного надо искать среди людей, заканчивающих жизненный путь, и предпочтительно среди уже лежащих на смертном одре, словом, среди тех, кому больше уже не придется опрашивать священных цыплят или бросать игральные кости, — ибо только эти люди могут себя поздравить с неизменной удачей и постоянным счастьем...

Еще Софокл сказал в «Царе Эдипе»:

Счастливцем никого до смерти не зовите *.

Эти советы не понравились Катрфею, которому вовсе не улыбалась погоня за счастьем после соборования. Сен-Сильвена тоже не радовала перспектива стаскивать рубашку с умирающих; но так как ум у него был философского оклада и не был чужд любознательности, он спросил библиотекаря, знает ли тот какого-нибудь славного старца, в последний раз выбросившего на стол искусно меченные кости.

Шодзэг покачал головой, встал, подошел к окошку и забарабанил по стеклу. Шел дождь; площадь была пустынна. В глубине ее возвышался великолепный дво-

[1] Augurium или avigurium (*лат.*) — гадание по полету птиц.

рец, увенчанный военными трофеями; на его фасаде Беллона * с гидрой на каске и в чешуйчатом панцире потрясала римским мечом.

— Ступайте в этот дворец, — сказал наконец он.

— Как? — воскликнул изумленный Сен-Сильвен. — К маршалу де Вольмару?

— Ну да! Кто же из смертных счастливее победителя при Эльбрусе и в Башкирии? Вольмар — один из величайших полководцев, когда-либо существовавших на свете, и самый удачливый из всех.

— Это знает весь мир, — сказал Катрфей.

— И никогда этого не забудет, — продолжал библиотекарь. — Маршал Пилон, герцог де Вольмар, появился в те времена, когда земная поверхность уже не была целиком охвачена пожаром народных войн, но он сумел выправить эту неблагодарность судьбы, бросаясь во всеоружии своей воинственности и гениальности во все концы земного шара, где вспыхивали войны. Он с двенадцатилетнего возраста служил в Турции и совершил Курдистанский поход. С той поры он пронес свое победоносное оружие по всему миру. Он с такой дерзкой легкостью четыре раза переходил через Рейн, что старая, обросшая камышами река — разделительница народов — почувствовала себя оскорбленной и униженной. Он еще искуснее, чем маршал Саксонский *, защищал линию реки Лис; он перешел через Пиренеи, форсировал устье реки Тахо, раскрыл ворота Кавказа и поднялся вверх по Борисфену *. Он то защищал, то нападал на народы Европы и трижды спас свою родину.

Глава VI

Маршал герцог де Вольмар

Шодзэг велел принести описание походов герцога де Вольмара. Три библиотечных служителя сгибались под тяжестью этой ноши. Не было видно конца атласам, разложенным на столах.

— Вот, господа, Штирийский поход, Пфальцский, Караманийский, Кавказский и поход на Вислу. При

помощи квадратиков с хорошенькими флажками диспозиция и передвижение войск на этих картах совершенно точно указаны и план сражения доведен до полного совершенства. Обычно эти планы составляются уже по исходе сражения, и от таланта великих полководцев зависит привести в стройную систему — к вящей их славе — все случайности, даруемые судьбой. Но у герцога де Вольмара все было всегда предусмотрено заранее.

Бросьте взгляд на эту десятимиллиметровую карту знаменитого Башкирского сражения, выигранного Вольмаром у турок. Здесь полнее, чем когда-либо, развернулся его тактический гений. Бой завязался с пяти часов утра; в четыре часа пополудни изнуренные полки Вольмара, израсходовав последние заряды, беспорядочно отступали; один, на подступе к мосту, переброшенному через Алуту *, бесстрашный маршал, имея в каждой руке по пистолету, собственноручно расстреливал беглецов. Так руководил он отступлением, когда узнал, что безудержно, панически бегущие вражеские силы стремятся к Дунаю. Он мгновенно перестроил расположение своих войск, бросился в погоню за врагом и окончательно его уничтожил. Эта победа дала ему пятьсот тысяч франков дохода и раскрыла перед ним двери Академии.

Господа, вам вряд ли удастся найти человека более счастливого, чем победитель при Эльбрусе и в Башкирии. Он с неизменным успехом совершил четырнадцать походов, выиграл шестьдесят крупных сражений и трижды спас от окончательного разгрома признательное отечество. Величественный старец живет увенчанный славой и почестями, в богатстве и покое, уже давно превзойдя обычный срок человеческой жизни.

— Да, этот человек, без сомнения, счастлив, — сказал Катрфей. — Как по-вашему, Сен-Сильвен?

— Попросим у него аудиенцию, — ответил начальник королевской канцелярии.

Их ввели во дворец, и они прошли через вестибюль, где возвышалась конная статуя маршала.

На цоколе ее были начертаны следующие гордые слова: «Благодарной родине и восхищенному миру за-

вещаю двух своих детищ — Эльбрус и Башкирию». Мраморные ступени парадной лестницы, расходившейся двумя полудугами, поднимались вдоль стен, украшенных воинскими доспехами и знаменами; на широкую площадку выходили двери с орнаментами в виде военных трофеев и пылающих гранат, увенчанные тремя золотыми венками, поднесенными спасителю отечества герцогу де Вольмару королем, парламентом и народом.

Застыв от избытка почтительности, Сен-Сильвен и Катрфей остановились перед закрытыми дверями; мысль о герое, отделенном от них только дверью, приковывала их к порогу, и они не смели предстать перед такой славой.

Сен-Сильвен вспомнил о медали, отчеканенной в память Эльбрусского сражения, на которой изображен маршал, венчающий голову крылатой Победы, при следующей великолепной надписи: «Victoria Gæsarem et Napoleonem coronavit; major autem Volmarus coronat Victoriam» [1], — и прошептал:

— Как велик этот человек!

Катрфей схватился обеими руками за сердце, бившееся с такой силой, что готово было разорваться.

Не успели они прийти в себя, как услышали пронзительные крики, которые исходили, казалось, из глубины покоев и постепенно приближались к ним. То был женский визг, и он чередовался с шумом ударов, сопровождавшихся слабыми стонами. Вдруг обе створки двери резко распахнулись, и совсем маленький старичок, выброшенный пинком здоровенной служанки, как кукла распластался на ступенях лестницы, покатился вниз головой и, весь разбитый, ушибленный, растрепанный, рухнул в вестибюле к ногам чопорных лакеев. Это был герцог де Вольмар. Лакеи подняли его. Косматая, полуодетая служанка горланила сверху:

— Да бросьте вы его! Этакую дрянь можно трогать только метлой!

И, потрясая бутылкой, продолжала вопить:

---

[1] Победа увенчала Цезаря и Наполеона. Но Вольмар превыше их обоих — он венчает самое Победу (*лат.*).

— Он вздумал отнимать у меня водочку! По какому такому праву? Ну и катись, старая рухлядь! Очень ты мне нужен, сволочь этакая!

Катрфей и Сен-Сильвен стремительно выбежали из дворца. Уже на площади Сен-Сильвен высказал мысль, что герою не слишком посчастливилось в его последней игре в кости...

— Катрфей, я вижу, что впал в ошибку, — добавил он, — я хотел подойти к делу со строгим, точным мерилом; я был неправ. Наука сбивает нас с толку. Вернемся к здравому смыслу. Только самый грубый эмпиризм дает нужное направление. Будем искать счастье, не пытаясь его определять.

Катрфей разразился бесконечными упреками и бранью по адресу библиотекаря, обзывал его озорником. Особенно негодовал он на то, что вера его теперь окончательно погублена и что культ национального героя унижен и осквернен в его душе. Это очень огорчало его. Но страдания его были благородного свойства, а не подлежит сомнению, что благородные страдания содержат в себе облегчение и, так сказать, свою собственную награду. Они переносятся легче, спокойнее и с меньшим напряжением воли, чем страдания, порожденные себялюбием и корыстью. Было бы несправедливо желать иного положения вещей. Поэтому душа Катрфея в скором времени оказалась достаточно свободной, а ум его достаточно ясным, чтобы заметить, что капли дождя падают на его шелковую шляпу и что от этого она теряет блеск. Это вызвало у него тяжелый вздох:

— Еще одна пропавшая шляпа!

Он был когда-то военным и служил королю в качестве драгунского поручика. Вот почему он надумал следующее: отправился в издательство Генерального штаба, что на Военном плацу, на углу улицы Больших Конюшен, и купил там карту королевства и план столицы.

— Никогда не следует выступать в поход, не имея карты, — сказал он. — Беда только в том, что сам черт в ней не разберется! Вот наш город и его окрестности. С чего же нам начать? С севера или с юга, с востока или запада? Замечено, что все города разрастаются на запад. Может быть, это надо принять за указание, ко-

торым не следует пренебрегать? Возможно, что жители западных кварталов, защищенные от коварных восточных ветров, отличаются лучшим здоровьем, наделены более ровным нравом и счастливее остальных. Или же лучше начать с прелестных холмов, что высятся по берегам реки, в десяти милях к югу от города? Здесь в это время года живут все наиболее состоятельные семьи. А что ни говорите, счастливца все-таки надо искать среди счастливых.

— Я не враг общества, Катрфей, и не противник общественного благоденствия, — ответил начальник королевской канцелярии. — Я буду с вами говорить о богатых, как честный человек и добрый гражданин. Богатые достойны глубокого уважения и любви; увеличивая свое собственное богатство, они содержат государство и, благотворя помимо своей воли, кормят множество людей, работающих для сохранения и приумножения их состояния. Ах, как прекрасно, как почтенно, как восхитительно частное богатство! Как должен его оберегать, поддерживать и окружать всевозможными льготами мудрый законодатель и как несправедливо, вероломно, бесчестно, как противно самым священным правам и законнейшим интересам, как пагубно для казны всякое притеснение частного богатства. Вера в доброту богатых — общественный долг. Сладостно верить в их счастье! Идемте, Катрфей!

Глава VII

О зависимости между богатством и счастьем

Решив начать обход с наилучшего и богатейшего — с Жака Фельжин-Кобюра, которому принадлежат целые горы золота, алмазные россыпи и моря нефти, они долго брели вдоль стен его парка, заключавших в себе обширные луга, леса, фермы и деревни. Но едва подходили они к каким-нибудь воротам, как их отсылали к другим. Устав от этого непрерывного странствования взад и вперед, вправо и влево и заметив рабочего, который дробил камни на дороге, возле решетчатых ворот,

украшенных гербами, они спросили его, не здесь ли следует пройти, чтобы попасть к г-ну Фельжин-Кобюру, которого они желали бы повидать.

Человек с трудом распрямил свою тощую спину и обратил к ним изможденное лицо, прикрытое сетчатыми очками.

— Жак Фельжин-Кобюр — это я, — сказал он.

Видя их изумление, он добавил:

— Я дроблю камни: это мое единственное развлечение.

И, снова согнувшись, он ударил молотом по булыжнику, расколовшемуся с сухим треском.

Они двинулись дальше, и Сен-Сильвен сказал:

— Он слишком богат. Он подавлен своим состоянием. Это несчастный человек.

После этого Катрфей намечал отправиться к сопернику Жака Фельжин-Кобюра, королю железа Жозефу Машеро; его совсем новенький замок угрожающе щетинился на соседнем холме зубчатыми башнями и стенами, которые были испещрены бойницами и усеяны сторожевыми вышками. Но Сен-Сильвен отговорил его:

— Вы видели его портрет, — у этого человека жалкий вид. Мы знаем из газет, что он святоша, живет бедняком, проповедует евангелие ребятишкам и поет псалмы в церкви. Отправимся лучше к князю де Люзансу. Этот по крайней мере настоящий аристократ, умеющий пользоваться своим богатством. Он чужд деловой суеты и не бывает при дворе. Он садовод-любитель, и у него лучшая картинная галерея в королевстве.

О них доложили. Князь де Люзанс принял их в своем кабинете антиков, где можно было увидеть лучшую из греческих копий Афродиты Книдской, произведение истинно Праксителева резца *, исполненное женственного очарования. Богиня казалась еще влажной от морской воды. В шкафчике из розового дерева, некогда принадлежавшем госпоже де Помпадур *, хранились прекраснейшие образцы греческих и сицилийских золотых и серебряных медалей. Князь, тонкий знаток этого дела, сам составлял их описание. Его лупа еще лежала на витрине гемм — яшм, ониксов, халцедонов и сардониксов, — вмещавших на пространстве величиною с но-

готь смело схваченные отдельные фигуры и великолепно скомпонованные группы. Он любовно взял со стола маленького бронзового фавна, чтобы гости полюбовались прелестью его очертаний и покрывавшей его патиной. И речь его была достойна шедевра, которому он давал пояснение.

— Я жду, — сказал он, — прибытия партии старинного серебра, чаш и кубков, превосходящих, по слухам, клады Гильдесгейма и Боско-Реале *. Я сгораю от нетерпения их увидеть. Господин де Келюс не знал большего наслаждения, чем распаковывание ящиков. Я его вполне понимаю.

Сен-Сильвен улыбнулся.

— Однако я слышал, дорогой князь, что вы сведущи и во всех прочих видах наслаждений.

— Вы мне льстите, господин де Сен-Сильвен. Но я полагаю, что искусство доставлять себе удовольствие — первое из всех искусств и что остальные ценны только тем, что содействуют ему.

Он провел гостей в картинную галерею, где дружно царили серебристые тона Веронезе, янтарь Тициана, красные отливы Рубенса, рыжеватые краски Рембрандта и серо-розовые оттенки Веласкеса, где красочные аккорды различных палитр сливались в единую победную гармонию. Скрипка, забытая в кресле, дремала перед портретом худой черноволосой дамы с желтовато-смуглым цветом лица и гладкими бандо на ушах; на лице ее выделялись большие карие глаза. То был портрет незнакомки, по чьим очертаниям ласково прошла влюбленная и уверенная рука Энгра *.

— Признаюсь вам в своей слабости, — сказал князь де Люзанс. — Иногда, оставшись один, я играю на скрипке перед этими картинами, и у меня создается иллюзия, что я перелагаю в звуки гармонию красок и линий. Перед этим портретом я пытаюсь передать смелую ласковость рисунка и в конце концов безнадежно опускаю смычок.

Одно из окон было обращено в парк. Князь и его гости вышли на балкон.

— Какой чудный вид! — воскликнули Катрфей и Сен-Сильвен.

Террасы, уставленные статуями, померанцевыми деревьями и вазами с цветами, спускались широкими отлогими ступенями к просторной лужайке, окаймленной грабовыми аллеями, и к фонтанам, брызжущим белыми струями воды из раковин тритонов и из урн со склонившимися над ними нимфами. Справа и слева целое море зелени простиралось спокойными волнами вплоть до далекой реки, которая извивалась серебристой нитью среди тополей, под грядою холмов, окутанных розовой дымкой.

Только что улыбавшийся князь теперь озабоченно всматривался в какую-то точку обширной и прекрасной панорамы.

— Труба!.. — пробормотал он изменившимся голосом, указывая пальцем на фабричную трубу, которая дымила на расстоянии не менее двух километров от парка.

— Труба? Да ее совсем не видно, — сказал Катрфей.

— А я только ее и вижу, — ответил князь. — Она мне портит весь этот вид, она мне портит всю окружающую природу, она портит мне всю жизнь. И этому несчастью нечем помочь. Она принадлежит какому-то акционерному обществу, которое не желает ни за какие деньги продать фабрику. Я все испробовал, чтобы как-нибудь замаскировать трубу; из этого ничего не вышло. Я от нее болен.

И, вернувшись в залу, князь тяжело опустился в кресло.

— Нам следовало это предвидеть, — сказал Катрфей, усаживаясь в экипаж. — Он из породы утонченных: он несчастен.

Прежде чем приняться за дальнейшие поиски, они ненадолго присели в садике трактирчика, расположенного на вершине горы, откуда были видны живописная долина и светлая извилистая река с овальными островками. Не падая духом от двух предыдущих неудач, они не теряли надежды найти счастливого миллиардера. Им оставалось посетить в этой местности еще с дюжину миллиардеров, и в числе их были г-н Блох и г-н Потике, барон Нишоль, крупнейший промышленник королевства, и маркиз де Грантом, едва ли не самый состоя-

тельный из всех, принадлежащий к именитейшему, столь же славному, сколь и богатому роду.

За соседним столиком сидел за чашкой молока длинный худой человек, согбенный почти пополам и дряблый, как тюфяк; его белесоватые глаза сползли до самой середины щек, нос опустился на верхнюю губу. Человек этот казался убитым горем и скорбно рассматривал ноги Катрфея.

После двадцатиминутного созерцания он мрачно и решительно встал со своего места, подошел к обершталмейстеру и сказал, извинившись за назойливость:

— Разрешите, сударь, задать вам один вопрос, для меня крайне важный. Сколько вы платите за ботинки?

— Несмотря на странность вопроса, я не вижу основания, почему бы на него не ответить, — сказал Катрфей. — Я заплатил за эту пару шестьдесят пять франков.

Незнакомец долго рассматривал поочередно то свою ногу, то ногу собеседника и самым внимательным образом сравнивал оба башмака. Потом, весь бледный, взволнованно спросил:

— Вы сказали, что уплатили за эти башмаки шестьдесят пять франков. Вы твердо в этом уверены?

— Разумеется.

— Подумайте о том, чт*о* вы говорите, сударь!

— Однако вы презабавный башмачник! — проворчал Катрфей, начиная терять терпение.

— Я не башмачник, — с кроткой покорностью ответил незнакомец, — я маркиз де Грантом.

Катрфей поклонился.

— Я так и предчувствовал, — продолжал маркиз, — увы, я опять обворован! Вы платите за башмаки шестьдесят пять франков, а я — за совершенно такие же — девяносто. Дело не в цене, она не имеет для меня никакого значения, но мысль, что меня обворовывают, для меня совершенно невыносима. Я вижу, я чувствую вокруг себя одну только бесчестность, одно лицемерие, ложь и обман, и мне становится отвратительно мое богатство, совращающее всех, кто со мной соприкасается: слуг, управляющих поставщиков, соседей, друзей,

женщин, детей, — и я из-за него всех их ненавижу и презираю. Мое положение ужасно. Я никогда не уверен в честности стоящего передо мной человека. И мне самому смертельно противно и стыдно принадлежать к человеческой породе.

И маркиз снова накинулся на чашку молока, горестно причитая:

— Шестьдесят пять франков! Шестьдесят пять франков!

В это время с дороги послышались жалобы и всхлипывания, и королевские посланные увидели плачущего старика, которого сопровождали два рослых ливрейных лакея.

Это зрелище привело их в волнение. Но трактирщик с видом полного безразличия пояснил им:

— Не обращайте внимания. Это наш известный богач, барон Нишоль!.. Он сошел с ума, воображая, что разорился, и плачет об этом с утра до вечера.

— Барон Нишоль! — воскликнул Сен-Сильвен. — Еще один из числа тех, у кого вы хотели попросить рубашку, Катрфей!

Эта последняя встреча побудила их отказаться от дальнейших поисков целительной рубашки среди первых богачей королевства. Недовольные итогом поисков и опасаясь дурного приема во дворце, они принялись упрекать друг друга в допущенных ими оплошностях.

— И как вам могло прийти в голову, Катрфей, отправиться к этим людям с иною целью, чем изучение их уродств... Их нравы, мысли, чувства — все в них больное и ненормальное. Это просто чудовища.

— Как! Не вы ли мне говорили, Сен-Сильвен, что богатство — добродетель, что наша обязанность — верить в доброту богатых, что сладостно верить в их счастье? Но будьте осмотрительны — богатство богатству рознь. Когда знать беднеет, а всякий сброд начинает обогащаться, — это признак разрушения государства, это конец всему.

— Катрфей, мне очень неприятно вам это говорить, но вы не имеете ни малейшего представления о современном государственном устройстве. Вы не понимаете

эпохи, в которой живете. Но ничего! Не пощупать ли нам сейчас золотую середину? Как вы думаете? Было бы, мне кажется, разумно побывать завтра на приеме у столичных дам как дворянских, так и буржуазных кругов. Мы вдоволь там наглядимся на разного рода людей, и мне кажется, лучше начать с дам из более скромной среды.

Глава VIII

В салонах столицы

Так они и поступили. Прежде всего они посетили салон г-жи Суп, жены макаронного фабриканта, фабрика которого находилась где-то на севере. Они застали супругов Суп крайне опечаленных тем, что они не вхожи в салон г-жи Эстерлен, жены владельца металлургического завода и члена парламента. Они отправились к г-же Эстерлен и застали ее, а равно и г-на Эстерлен, в глубоком огорчении от того, что они не вхожи в салон г-жи дю Коломбье, жены пэра королевства и бывшего министра юстиции. Они отправились к г-же дю Коломбье и застали пэра и его супругу в великом бешенстве из-за того, что им не удается попасть в интимный круг королевы.

Визитеры, встреченные ими в этих столь различных домах, были не в меньшей степени опечалены, огорчены или взбешены. Их терзали болезни, сердечные невзгоды и денежные заботы. Имущие, опасаясь потерь, были еще несчастнее, чем неимущие. Безвестные хотели выдвинуться, известные — продвинуться еще дальше. Большинство было удручено работой, а те, кому было нечего делать, страдали от скуки, еще более удручающей, чем работа. Некоторые скорбели чужою скорбью, страдали страданиями любимой жены или любимого ребенка. Многие чахли от несуществующей, но предполагаемой болезни или от страха ею заболеть.

Незадолго до этого в столице вспыхнула эпидемия холеры, и некий финансист, по слухам, из боязни заразы и невозможности найти достаточно надежное убежище, покончил с собой.

— Хуже всего, что все эти люди, не довольствуясь действительными невзгодами, которые градом сыплются им на голову, еще окунаются в болото воображаемых невзгод, — говорил Катрфей.

— Воображаемых невзгод не существует, — отвечал Сен-Сильвен. — Все невзгоды реальны, раз мы их испытываем, и призрак страдания есть страдание действительное.

— И все-таки я бы очень хотел, чтобы камни, величиной с утиное яйцо, выходящие у меня вместе с мочой, были бы призраками, — возразил Катрфей.

И на этот раз Сен-Сильвену снова пришлось заметить, что люди часто огорчаются по самым разнообразным и даже противоположным поводам.

В салоне г-жи дю Коломбье он поочередно побеседовал с двумя высокообразованными, просвещенными и умными людьми, которые с помощью различных оборотов и изворотов, произвольно придаваемых собственным мыслям, поведали ему о тяжком нравственном недуге, снедающем их. Беспокойство и того и другого было связано с состоянием общественных дел, но поводы для беспокойства были диаметрально противоположные. Г-н Бром жил в непрестанной боязни какой-нибудь перемены. Пребывая в атмосфере устойчивости, благополучия и полного спокойствия, которыми наслаждалась страна, он опасался возмущении и страшился всеобщего переворота. Он не мог без трепета развернуть газеты; он каждое утро ожидал найти в них известия о волнениях и мятежах. При таком настроении духа самое незначительное событие и самое обыкновенное происшествие вырастали в его глазах в симптом революции, становились предвестником общего катаклизма. Всегда чувствуя себя накануне мировой катастрофы, он жил под гнетом вечного ужаса.

Господина де Сандрика мучило страдание совершенно иного порядка, более странное я более редкое. Покой докучал ему, нерушимость общественного порядка выводила его из терпения, мирное состояние казалось ему отвратительным, незыблемость человеческих и божеских законов наводила на него смертельную то-

ску. Он втайне призывал хоть какую-нибудь перемену и, притворяясь, будто боится катастроф, страстно желал их. Этот добрый, ласковый, приветливый и гуманный человек не представлял себе иных радостей, чем разгром его родной страны, земного шара, вселенной, и выискивал даже в мире планет наличие какого-нибудь столкновения или потрясения. Он бывал разочарован, подавлен, печален и хмур, когда язык прессы и внешний вид улиц свидетельствовал о невозмутимом спокойствии народа, — и тем острее страдал от этого, что, зная людей и обладая деловым опытом, прекрасно сознавал, как силен в народах дух консерватизма, традиций, подражательности и послушания и каким ровным и медленным темпом движется общественная жизнь.

На том же приеме у г-жи дю Коломбье Сен-Сильвен отметил другое печальное явление, еще более распространенное и более значительное.

В одном из уголков небольшой гостиной мирно и негромко беседовали председатель Гражданского суда де ла Галисоньер и директор Зоологического сада Ляривдю-Мон.

— Признаюсь вам, мой друг, — говорил де ла Галисоньер, — мысль о смерти меня убивает. Я непрестанно думаю о ней, я смертельно ее боюсь. Страшит меня не сама смерть, — смерть это пустяки, — а то, что следует за ней, — будущая жизнь. Я верю в нее; я убежден, я уверен в своем бессмертии. Разум, инстинкт, наука, откровение — все говорит мне о существовании нетленной души, все мне доказывает, что сущность, происхождение и удел человеческий именно таковы, как изображает их церковь. Я христианин: я верю в вечные муки; страшная картина этих мук непрерывно преследует меня; ад меня пугает, и этот страх, превосходящий все остальные чувства, лишает меня надежды и всех душевных сил, необходимых для опасения, — он ввергает меня в отчаяние, он сулит мне вечное осуждение, которого я так боюсь. Страх быть навеки проклятым — мое проклятие; ужас перед будущим адом — мой теперешний ад; и, еще живой, я уже заранее претерпеваю загробные муки. Нет пытки, подобной моей,

а она с каждым годом, с каждым днем, с каждым часом все мучительнее терзает меня, ибо каждый день, каждое мгновение приближают меня к тому, чего я так страшусь. Моя жизнь — это агония, полная ужаса и смертельной тоски.

Говоря это, председатель суда потрясал руками, точно хотел отмахнуться от неугасимого пламени, которое уже чувствовал вокруг себя.

— Я завидую вам, дорогой друг, — воскликнул г-н Лярив-дю-Мон. — В сравнении со мной вы счастливы; меня тоже терзает мысль о смерти, но как эта мысль не похожа на вашу и насколько она ужаснее! Моя научная работа, мои наблюдения, мои постоянные занятия сравнительной анатомией и тщательные исследования строения материи вполне убедили меня в том, что слова «душа», «разум», «бессмертие», «невещественность» обозначают только физические явления или отрицание этих явлений, что конец жизни является и концом нашего сознания, — словом, что смерть подводит окончательный итог нашему существованию. Нет слова, которое могло бы определить то, что следует за жизнью, ибо употребляемое нами для этого слово «небытие» — лишь знак отрицания, поставленный перед природой в целом. Небытие — это бесконечное «ничто», и это «ничто» объемлет нас. Мы из него выходим и возвращаемся в него; мы между двумя «ничто» — как скорлупка, плавающая в море. «Небытие» — это нечто невозможное, но очевидное, оно не постигается, но оно существует. Несчастье человека, — и несчастье его и преступленье, — заключается в том, что он до всего этого додумался. Остальные животные этого не знают, и вам следовало бы тоже навсегда оставаться в неведении. Быть и перестать быть! Ужас этой мысли вздымает волосы на моей голове; мысль эта не покидает меня. То, что не будет, портит мне и уродует то, что есть, и небытие уже заранее сводит меня на нет. Отвратительная нелепость! Но я уже чувствую, я вижу, как небытие прикасается ко мне.

— Я более вашего достоин сожаления, — возразил г-н де ла Галисоньер. — Каждый раз, как вы произносите это коварное и восхитительное слово «небытие»,

сладость его, как подушка — больного, ласкает мою душу и нежит меня обещанием покоя и сна.

Но Лярив-дю-Мон с ним не согласился.

— Мои страдания мучительнее ваших, так как и рядовой человек примиряется с мыслью о вечном аде, а для того, чтобы быть неверующим, требуется недюжинная душевная сила. Религиозное воспитание и мистические настроения внушили вам страх перед человеческой жизнью и ненависть к ней. Вы не только христианин и католик, вы — янсенист, носящий в самом себе ту бездну, по краю которой ходил Паскаль *. А я люблю жизнь, здешнюю, земную жизнь, такой, как она есть, жизнь со всей ее поганью. Я люблю ее, грубую, гнусную и топорную; я люблю ее, мерзкую, нечистоплотную и гнилую; я люблю ее, тупую, глупую и жестокую; я люблю ее, во всей ее непристойности, во всем позоре, во всем безобразии, с ее скверной, с ее уродствами и зловонием, с ее развратом и ее заразой. Когда я чувствую, что она от меня ускользает, что она бежит от меня, я дрожу, как последний трус, я схожу с ума от отчаяния.

По воскресеньям и праздничным дням я сную по людным кварталам, вмешиваюсь в катящуюся по улицам толпу, ныряю в сборища мужчин, женщин и детей, теснящихся вокруг бродячих певцов или перед ярмарочными балаганами; я трусь о грязные юбки, о засаленные куртки, я упиваюсь острыми запахами пота, волос и дыханья. Мне представляется, что в этой жизненной сутолоке я дальше от смерти. Я слышу голос, говорящий мне: «Я одна тебя излечу от страха передо мной; ты устал от моих угроз — я одна тебя успокою». Но я не хочу! Не хочу!

— Увы, — вздохнул председатель суда, — если мы в этой жизни не вылечимся от болезней, терзающих наши души, то смерть не принесет нам покоя.

— А больше всего меня бесит, — продолжал ученый, — что, когда мы с вами оба умрем, у меня даже не будет удовлетворения вам сказать: «Вот видите, ла Галисоньер, я был прав — ничего нет». Я не смогу похвастаться перед вами своей правотой, а вы так никогда и не узнаете о своем заблуждении. Какою ценой

достается нам мысль! Вы несчастны, друг мой, потому что ваша мысль шире и могучее мысли животных и большинства людей. А я несчастнее вас, потому что моя мысль вдохновеннее вашей.

Катрфей, уловивший обрывки этого разговора, не особенно ему удивился.

— Это все горести духа, — сказал он, — они, может быть, и мучительны, но мало распространены. Меня больше тревожат страдания обыденного характера — телесные недуги и уродства, сердечные невзгоды и безденежье: именно они затрудняют наши поиски.

— Кроме того, — заметил Сен-Сильвен, — эти два субъекта уж чересчур настойчиво добиваются от своих учений, чтобы они ввергли их в пучину несчастья. Если бы ла Галисоньер обратился к какому-нибудь доброму отцу иезуиту, тот очень скоро успокоил бы его, а Лярив-дю-Мону следовало бы знать, что можно быть безбожником, сохраняя безмятежность духа, как Лукреций, или наслаждаясь этим, как Андре Шенье *. Пусть почаще вспоминает стих Гомера: «Умер Патрокл, несравненно тебя превосходнейший смертный», и пусть согласится примкнуть в один прекрасный день к своим учителям, философам древности, гуманистам Возрождения, современным ученым и многим другим «превосходнейшим смертным». «Умирают Парис и Елена», — говорит Франсуа Вийон *. «Все мы смертны», — говорит Цицерон. «Мы все умираем», — говорит женщина, чью мудрость восхваляет Священное писание во второй Книге Царств.

Глава IX

Счастье быть любимым

Они отправились обедать в королевский парк, элегантное место прогулок, являющееся в столице короля Христофора тем же самым, чем является в Париже Булонский лес, в Брюсселе — Камбра, в Лондоне — Гайд-Парк, в Берлине — Тиргартен, в Вене — Пратер, в Мадриде — Прадо, во Флоренции — Кашины, в Риме — Пинчо. Устроившись на свежем воздухе, среди блестя-

щей толпы обедающих, они принялись блуждать взглядом по большим дамским шляпам, усаженным цветами и перьями, по этим передвижным шатрам наслаждения, колыхающимся приютам любви, голубятням, уготовленным для слета всех желаний.

— Я думаю, что предмет наших поисков находится здесь, — сказал Катрфей. — Мне, как и всякому человеку, случалось быть любимым. Сен-Сильвен, это — счастье! И я еще сейчас себя спрашиваю, не единственное ли это счастье, доступное людям? И хотя я таскаю в себе мочевой пузырь, в котором больше камней, чем в тележке, выезжающей из каменоломни, — бывают все-таки дни, когда я влюблен, словно мне двадцать лет.

— А я женоненавистник, — ответил Сен-Сильвен. — Я не могу простить женщинам, что они принадлежат к тому же полу, что и моя жена. Я знаю, что все они не так глупы, не так злы и не так уродливы, как она, но достаточно и того, что у них есть нечто общее с ней.

— Бросьте, Сен-Сильвен. Говорю вам: то, что мы с вами ищем, находится здесь, и нам стоят только протянуть руку, чтобы его получить.

И, указывая на чрезвычайно красивого мужчину, одиноко сидевшего за столиком, Катрфей добавил:

— Вы знаете Жака де Нависеля? Он нравится женщинам, он нравится каждой из них. Это и есть счастье — или я в нем ничего не смыслю!

Сен-Сильвен согласился проверить. Они предложили Жаку де Нависелю объединиться за одним столом и, обедая, запросто разговорились с ним. Путем долгих обходов и внезапных вылазок, атакуя его и с фронта и с флангов, прибегая то к намекам, то прямо в открытую, они раз двадцать осведомились, счастлив ли он, но так ничего и не добились от собеседника, изящная речь и обворожительное лицо которого не выражали ни радости, ни печали. Жак де Нависель охотно с ними беседовал и казался вполне откровенным и естественным; он даже пускался в признания, но последние только плотнее окутывали его тайну и усиливали ее непроницаемость. Конечно, он был любим. Но был ли он счастлив или несчастен от этой любви? После обеда,

когда подали фрукты, королевские инквизиторы уже утратили надежду что-нибудь об этом узнать. Вконец обескураженные, они еще немного поговорили уже совсем впустую и кстати поговорили о самих себе: Сен-Сильвен — о своей жене, а Катрфей — о своем фундаментальном камне, предмете, сближавшем его с Монтенем *. За ликерами было рассказано немало разных анекдотов: про г-жу Берий, ускользнувшую из отдельного кабинета, перерядившись пирожником, с плетеной корзиной на голове; про генерала Дебоннера и баронессу Бильдерман; про министра Визира и г-жу Серес, подобно Антонию и Клеопатре растворивших в поцелуях целое царство *, — и много других старых и новых историй. Жак де Нависель рассказал восточную сказку.

— Некий молодой багдадский купец, — оказал он, — лежа однажды утром в постели, вдруг почувствовал себя страстно влюбленным и громкими возгласами высказал пожелание быть любимым всеми женщинами. Услышавший это джинн явился перед ним и сказал: «Твое желание отныне исполнено. Начиная с сегодняшнего дня ты будешь любим всеми женщинами. Обрадованный молодой купец тотчас же соскочил с постели и, в чаянье разнообразных и неисчерпаемых удовольствий, вышел на улицу. Не успел он пройти несколько шагов, как отвратительная старуха, цедившая вино у себя в погребе, прониклась к нему пылкой любовью и стала посылать ему через люк воздушные поцелуи. Он гадливо от нее отвернулся, но старуха за ногу втащила его в погреб и продержала там взаперти в продолжение двадцати лет.

Жак де Нависель заканчивал эту сказку, когда подошедший метрдотель доложил ему, что его ожидают. Он встал и с поникшей головой и сумрачным взглядом направился к чугунным воротам парка, где его, в двухместной карете, поджидала особа довольно терпкого вида.

— Он нам рассказал собственную историю, — сказал Сен-Сильвен. — Молодой багдадский купец — это он сам.

Катрфей ударил себя по лбу.

— Мне же ведь говорили, что его стережет страшный дракон! Совсем про это забыл!

Они поздно возвратились во дворец, не имея при себе иной рубашки, кроме своих собственных, и застали короля Христофора и г-жу де ла Пуль льющими горючие слезы под звуки сонаты Моцарта.

От постоянного общения с королем г-жа де ла Пуль впала в меланхолию и предалась мрачным мыслям и нелепейшим страхам. Она воображала, что ее кто-то преследует, и считала себя жертвой ужаснейших козней: она жила в вечной боязни быть отравленной и заставляла своих горничных пробовать каждое кушанье, подаваемое к столу. Ужас перед смертью и жажда самоубийства преследовали ее. Душевное состояние этой дамы, с которой король делил плачевные дни, сильно ухудшало его собственное состояние.

— Художники — злосчастные виновники чудовищной напраслины, — говорил Христофор V. — Они наделяют плачущих женщин трогательной красотой и являют нашему взору украшенных слезами Андромах, Артемид, Магдалин и Элоиз *. У меня есть портрет Адриенны Лекуврер в роли Корнелии *, орошающей слезами прах Помпея: она обворожительна. Но едва примется плакать госпожа де ла Пуль, как лицо ее перекашивается, нос краснеет и она становится такой безобразной, что можно испугаться.

Этот несчастный государь, живший только мечтой о целебной рубашке, разразился горячими упреками по адресу Катрфея и Сен-Сильвена за их нерадение, за неспособность и неудачливость, имея, вероятно, в виду, что хотя бы одно из этих трех обвинений окажется справедливым.

— Вы, как и мои доктора Машелье и Сомон, хотите меня уморить. Но для тех это естественно, это их ремесло, а от вас я все-таки ожидал иного. Я рассчитывал на вашу сообразительность и преданность. Я вижу, что ошибся. Вернуться с пустыми руками! И вам не стыдно? Неужели так трудно было исполнить возложенное на вас поручение? Разве так мудрено найти рубашку счастливого человека? Если вы не способны даже на это, на что же вы тогда вообще годитесь?

Нет! Можно рассчитывать только на самого себя. Это верно относительно простых людей, а относительно королей в особенности. Я сейчас же сам отправлюсь на поиски рубашки, которую вы не сумели разыскать.

И, сбросив халат и ночной колпак, он потребовал, чтобы ему подали одеться.

Катрфей и Сен-Сильвен попытались его удержать:

— Государь, в вашем состоянии! Какая неосторожность!

— Государь, уже первый час!

— Вы, очевидно, полагаете, что счастливые люди ложатся спать вместе с курами? — сказал король. — Или в моей столице уже нет увеселительных мест? Нет в ней ночных ресторанов? Мой начальник полиции распорядился закрыть все ночные притоны, но разве они все-таки не открыты? Да мне и не придется рыскать по клубам. То, что мне требуется, я найду на улице, на скамейках бульваров.

Кое-как одевшись, Христофор V перешагнул через г-жу де ла Пуль, корчившуюся в конвульсиях на полу, стремглав скатился с лестницы и пронесся бегом через сад. Ошеломленные Катрфей и Сен-Сильвен молча следовали за ним в некотором отдалении.

Глава X

Не в самозабвении ли счастье?

Достигнув большой дороги, шедшей вдоль королевского парка и затененной старыми вязами, король заметил молодого, изумительно красивого человека, прислонившегося к дереву и с восторгом созерцавшего звезды, которые разукрасили безоблачное небо своими яркими и таинственными знаками. Легкий ветерок шевелил его вьющиеся волосы, отблеск небесных огней сверкал в его глазах.

«Я нашел!» — подумал король.

Он приблизился к улыбающемуся и столь удивительно прекрасному молодому человеку, и тот слегка вздрогнул при его приближении.

— Мне жаль прерывать ваши грезы, сударь, — сказал король, — но вопрос, с которым я хочу к вам обратиться, имеет для меня жизненное значение. Не откажите ответить человеку, который в свою очередь может оказаться вам полезным и сумеет вас должным образом отблагодарить. Сударь, вы счастливы?

— Да, я счастлив.

— Но, может быть, для полноты вашего счастья чего-нибудь недостает?

— Ничего. Конечно, так было не всегда. Я, как все, испытал отвращение к жизни и, может быть, испытал его значительно острее большинства людей. Это мучительное чувство не было следствием ни моего особого положения, ни каких-нибудь непредвиденных обстоятельств, а исходило от причин, общих для всего человечества и всего, что дышит здесь, на земле. Я познал великую тревогу: теперь она окончательно рассеялась. Я вкушаю полный покой, сладостное ликование: все во мне — довольство, безмятежность и глубокое удовлетворение; неизреченная радость пронизывает все мое существо. Вы застаете меня, сударь, в прекраснейшее мгновение моей жизни, и раз судьба столкнула меня с вами, я призываю вас в свидетели своего счастья. Я наконец свободен, я наконец избавлен от страхов и ужасов, преследующих людей, от пожирающего их честолюбия, от их обманчивых, безумных надежд. Я выше всякой случайности, я ускользаю от двух непобедимых врагов человека — пространства и времени. Я могу пренебречь судьбой. Я владею безусловным счастьем и сливаюсь с божеством. И это блаженное состояние — мое собственное достижение; оно следствие принятого мною решения, до того разумного, благого, прекрасного, добродетельного и действенного, что выполнение его обожествляет меня...

Я купаюсь в радости, я восхитительно опьянен. Я совершенно сознательно и с полным пониманием произношу величественные слова, в которых выражены всяческие опьянения, восторги и очарования: «Я достиг самозабвения!»

Он взглянул на часы.

— Пора! Прощайте!

— Сударь, еще одно слово. Вы можете меня спасти... Я...

— Спасется только тот, кто последует моему примеру. Здесь мы должны расстаться. Прощайте!

И шагом героя, юношески бодрой походкой, незнакомец устремился в чащу леса, окаймлявшего дорогу. Не внимая его словам, Христофор последовал за ним. Пробираясь в чащу, он услышал звук выстрела, подался вперед, раздвинул ветви и увидал молодого счастливца, распростертого на траве, с виском, пробитым пулей, и револьвером, еще зажатым в правой руке.

От этого зрелища король упал в обморок. Подбежавшие Катрфей и Сен-Сильвен привели его в чувство и отнесли во дворец. Христофор навел справки о молодом человеке, который у него на глазах обрел безнадежное счастье. Он узнал, что то был наследник богатой и знатной семьи, что одаренность его равнялась его красоте и что судьба неизменно благоприятствовала ему.

Глава XI

Сигизмунд Дунс

На следующий день, проходя пешком по улице Конституции в поисках целебной рубашки, Катрфей и Сен-Сильвен встретили выходившую из музыкального магазина графиню де Сесиль. Они проводили ее до экипажа.

— Господин де Катрфей, почему вас не было видно вчера в клинике профессора Кийбефа? И вас также, господин де Сен-Сильвен? Напрасно вы не пришли, было очень интересно. На пятичасовую операцию, прелестное удаление яичника, профессор Кийбеф пригласил элегантнейшее общество, целую толпу и в то же время только самых изысканных людей. Были цветы, красивые туалеты, музыка; подавали мороженое. Профессор был на редкость изящен и грациозен. Он велел сделать снимки для кинематографа.

Катрфей не был особенно удивлен этим описанием. Он знал, что профессор Кийбеф совершает операции в

обстановке роскоши и удовольствия. Он попросил бы у него рубашку, если бы за несколько дней перед этим не застал прославленного профессора в неутешном горе из-за того, что ему не пришлось оперировать двух модных знаменитостей: германского императора, которому профессор Хильмахер только что вырезал кисту, и карлицу из Фоли-Бержер, которая проглотила сотню гвоздей, но не хотела, чтобы ей вскрывали желудок, а отпивалась касторкой.

Остановившись у витрины музыкального магазина, Сен-Сильвен предался созерцанию бюста Сигизмунда Дукса и громко воскликнул:

— Вот тот, кого мы ищем! Вот он — счастливый человек!

С бюста, очень похожего, глядели правильные и благородные черты, — одно из тех гармонических и полных лиц, которые напоминают земной шар. Хотя и облысевший и уже старый, великий композитор имел столь же обворожительный, сколь и величественный вид. Его голова округлялась наподобие церковного купола, но несколько грузный нос был посажен с любовной и отнюдь не духовной устойчивостью; подстриженная борода не скрывала мясистых губ и похотливого вакхического рта. Это было совершенно точное изображение гения, создававшего самые благочестивые оратории и самую страстную, самую чувственную оперную музыку.

— Как могли мы не вспомнить про Сигизмунда Дукса? — продолжал Сен-Сильвен. — Он с такой полнотой наслаждается своей славой, что сумел из нее извлечь все преимущества, и он ровно настолько безумен, что не чувствует стеснительности и скуки высокого положения. Как могли мы забыть о самом одухотворенном и чувственном из гениев, счастливом, как бог, спокойном, как животное, сочетающем в своих бесчисленных любовных похождениях изысканнейшую деликатность с самым грубым цинизмом?

— Да, — согласился Катрфей, — это богатый темперамент. Его рубашка может быть весьма полезна его величеству. Идемте же за ней.

Их ввели в зал, обширный и гулкий, как зал кафешантана. Орг*а*н, приподнятый на высоту трех ступеней,

закрывал часть стены своим корпусом с бесчисленными трубами. Сигизмунд Дукс, в шапочке дожа * и в парчовой мантии на плечах, был занят импровизацией, и звуки, рождавшиеся из-под его пальцев, волновали души присутствующих и расплавляли их сердца. На трех ступенях, затянутых темно-красной материей, корчилось у его ног множество распростертых женщин. Иные роскошные, иные очаровательные — длинные, тонкие, гибкие, как змеи, шли полные, с могучими формами, массивно-пышные, все одинаково прекрасные от любви и желания, все пламенные и разомлевшие. А в зале, составляя одну сплошную трепещущую толпу, колыхалось сборище молодых американок, финансистов-евреев, дипломатов, танцовщиц, певиц, католических, англиканских и буддийских священников, чернокожих принцев, фортепьянных настройщиков, газетных репортеров, лирических поэтов, театральных антрепренеров, фотографов, мужчин, переодетых женщинами, и женщин, переодетых мужчинами, — сдавленных, перемешанных, сплющенных в одно обожающее целое, поверх которого, забравшись на колонны, сидя верхом на канделябрах, подвесившись к люстрам, трепыхались молодые, юркие, благоговеющие поклонники. Вся эта толпа пребывала в упоении: это называлось закрытым утренним концертом.

Орган умолк. Туча женщин окутала маэстро; иногда он полувыступал из нее, как яркое небесное светило, потом снова окунался в нее. Он был ласков, кокетливо-вкрадчив, сладострастен и скользок. Любезный, в меру фатоватый, великий, как мир, и крошечный, как амурчик, он при каждой улыбке обнажал ряд младенческих зубов, скрытых за седой бородой, и говорил всем женщинам простые, изящные вещи, от которых они приходили в восторг, тут же забывая сказанное, — до того оно было легко: поэтому обаяние его слов, усиленное таинственностью, сохранялось во всей своей полноте. Так же приветлив и ласков был он и с мужчинами и, увидав Сен-Сильвена, трижды с ним облобызался и сказал ему, что горячо его любит. Начальник канцелярии не стал терять времени попусту: он от имени короля попросил у маэстро две минуты для секретного раз-

говора и, объяснив в общих чертах, какое важное поручение возложено на него, сказал:

— Маэстро, дайте мне вашу руб...

Он тут же запнулся, видя, как внезапно исказились черты Сигизмунда Дукса.

Шарманка замолола на улице польку «Жонкиль». И с первых же ее тактов лицо великого человека покрылось бледностью. Эта полька «Жонкиль», пользовавшаяся в тот год огромным успехом, была сочинена жалким, полуграмотным, бездарным трактирным скрипачом по фамилии Букен. А маэстро, увенчанный сорока годами славы и любви, не мог допустить, чтобы малая толика похвал перепала на долю Букена; он это принимал как нестерпимое оскорбление. Сам бог ведь ревнив и огорчается человеческой неблагодарностью. Стоило Сигизмунду Duksу услышать несколько тактов польки «Жонкиль», и ему становилось дурно. Он резко покинул Сен-Сильвена, толпу обожателей и великолепное стадо разомлевших женщин, бросился к себе в уборную и извергнул полный таз желчи.

— Он достоин жалости, — вздохнул Сен-Сильвен.

И, потянув Катрфея за фалды, вышел из дома несчастного музыканта.

Глава XII

Является ли порок добродетелью?

Целых четырнадцать месяцев с утра до вечера и с вечера до утра сновали они по городу и его окрестностям, безуспешно наблюдая, высматривая и опрашивая. Король, с каждым днем терявший силы и имевший теперь представление о трудности предпринятых розысков, приказал министру внутренних дел учредить чрезвычайную комиссию, возглавляемую господами Катрфеем, Шодзэгом, Сен-Сильвеном и Фруадефоном, и, снабдив эту комиссию неограниченными полномочиями, обязать ее приступить к тайному дознанию о счастливых людях, живущих в королевстве. Следуя указанию министра, начальник полиции предоставил

в распоряжение членов комиссии своих наиболее расторопных агентов, и в скором времени счастливые люди стали разыскиваться в столице с таким же рвением и горячностью, как разыскиваются в других странах преступники и анархисты. Стоило только какому-нибудь гражданину прослыть счастливым, как о нем немедленно доносили, и он попадал под негласное наблюдение полиции. По два полицейских агента ночью и днем шаркали грузными, подбитыми железом башмаками под окнами всех лиц, заподозренных в благополучии. За светским человеком, взявшим себе ложу в театр, тотчас же начинали присматривать. Владелец скаковой конюшни, у которого лошадь выигрывала приз, брался на заметку. Полицейский чиновник, сидевший в конторе каждого дома свиданий, отмечал посетителей. Вследствие сделанного господином начальником полиции наблюдения, что добродетель приносит людям счастье, все крупные благотворители, основатели богоугодных учреждений, щедрые жертвователи, покинутые и верные жены, граждане, отличившиеся самоотверженными поступками, герои и мученики — все были тоже переписаны и подвергнуты самому тщательному допросу.

Этот надзор тяготел над всем городом, но решительно никто не знал его причины. Катрфей и Сен-Сильвен никому не рассказывали о поисках благодетельной рубашки вследствие уже упомянутого опасения, как бы честолюбивые и корыстные люди, прикинувшись вполне благополучными, не подсунули королю рубашки, якобы счастливой, а на самом деле насквозь пропитанной горестями, печалями и заботами. Чрезвычайные меры, принятые полицией, вызывали тревогу среди высших классов общества, и в городе отмечалось некоторое брожение. Несколько весьма уважаемых дам оказались скомпрометированными, вследствие чего последовал ряд скандалов.

Комиссия собиралась каждое утро в королевской библиотеке под председательством г-на Катрфея, в соприсутствии государственных советников для особых поручений гг. Тру и Бонкаси. Она рассматривала в каждом заседании в среднем до полутора тысяч дел. Про-

работав в течение четырех месяцев, комиссия не уловила даже признака счастливого человека.

— Увы! — воскликнул г-н Бонкаси в ответ на сетования председателя Катрфея. — Пороки вызывают страдания, а у всех есть пороки.

— У меня их нет, — вздохнул г-н Шодзэг, — и это ввергает меня в отчаяние. Жизнь без пороков — сплошное томление, уныние и тоска. Порок — единственное развлечение, доступное нам в этом мире: порок расцвечивает существование, это соль души, это искра ума. Да что я говорю, порок — единственное своеобразие, единственная творческая сила человека: это — попытка вооружить природу против природы, возвеличить царство человека над царством животных, дать место человеческому созиданию взамен созидания безыменного, выделить мир сознательный из всеобщей бессознательности. Порок — единственное достояние, действительно принадлежащее человеку, его естественное наследие, его истинное мужество и добродетель в буквальном смысле слова, ибо латинское «virtus» — доблесть, добродетель — производное от слова «vir» — человек, муж.

Я пробовал обзавестись пороками: из этого ничего не вышло; тут требуется особое дарование, особая природная склонность. Напускной порок — уже не порок.

— Постойте! А что вы называете пороком? — спросил Катрфей.

— Я называю пороком привычное предрасположение к тому, что большинство людей признает за нечто ненормальное и дурное, то есть индивидуальную нравственность, индивидуальную силу, индивидуальную добродетель, красоту, мощь, дарование.

— Ну вот и прекрасно! — воскликнул советник Тру. — Главное — между собой договориться.

Но Сен-Сильвен стал горячо опровергать точку зрения библиотекаря.

— Не говорите о пороках, раз у вас их нет, — сказал он. — Вы не знаете, что это такое. У меня они есть, у меня их несколько. И я вас уверяю, что получаю от них значительно меньше удовлетворения, чем неприятностей. Нет ничего тягостнее порока. Волнуешься, горячишься, выбиваешься из сил, чтобы

как-нибудь его удовлетворить, а как только он удовлетворен, испытываешь безграничное отвращение.

— Вы так не говорили бы, — возразил Шодзэг, — если бы у вас были красивые пороки, — благородные, гордые, властные, возвышенные, в самом деле доблестные. У вас же только маленькие, трусливые пороки, чванливые и смешные. Нет, сударь, вас никак не причислишь к великим хулителям богов.

Сначала Сен-Сильвен почувствовал себя обиженным такими словами, но библиотекарь доказал ему, что в них нет ничего оскорбительного. Сен-Сильвен милостиво с этим согласился и спокойно и твердо высказал следующее соображение:

— Увы, порок, как добродетель, и добродетель, как и порок, связаны с усилием, принуждением, борьбой, трудом, работой, истощением. Поэтому-то мы все и несчастны.

Но председатель Катрфей стал жаловаться, что у него скоро лопнет голова.

— Не будем вдаваться в рассуждения, господа, — сказал он, — мы к этому не приспособлены.

И закрыл заседание.

Из этой комиссии счастья вышло то же самое, что выходит из всех парламентских и внепарламентских комиссий, назначаемых во все времена и во всех государствах: она ничего не решила и, прозаседав пять лет, распалась, не приведя ни к каким результатам.

Король не поправлялся. Чтобы окончательно его доконать, неврастения принимала, как Старец Морей, разные обличья — один ужаснее другого. Король жаловался, что все его органы блуждают, непрестанно передвигаются в его теле и переносятся на несвойственные им места: почка — в гортань, сердце — в икру, кишки — в нос, печень — в горло, мозг — в живот.

— Вы не можете себе представить, как тягостны эти ощущения и какую путаницу вносят они в мои мысли, — пояснил он.

— Государь, — отвечал Катрфей, — мне это тем легче понять, что в дни молодости живот мой нередко поднимался до самых мозгов, и нетрудно себе пред-

ставить, какой оборот это придавало моим мыслям. Мои математические занятия немало от этого пострадали.

Чем хуже чувствовал себя Христофор, тем настойчивее требовал он прописанную ему рубашку.

Глава XIII

Кюре Митон

— Я снова начинаю думать, что мы только потому ничего не нашли, что плохо искали, — оказал Сен-Сильвен Катрфею. — Я решительно верю в добродетель и верю в счастье. Они неразделимы. Они редки и прячутся от нас. Мы их разыщем под скромными кровлями, в глуши деревень. Я, со своей стороны, стал бы их в первую очередь искать в той горной суровой местности, которую мы считаем нашей Савойей и нашим Тиролем.

В следующие дни недели они объездили шестьдесят горных деревень, не повстречав ни одного счастливого человека. Все бедствия, терзающие города, наблюдались и в этих деревушках, а грубость и невежество жителей придавали им еще большую остроту. Два главных бича, которыми располагает природа — голод и любовь, — обрушивались здесь на несчастные человеческие существа еще сильнее и чаще. Перед их глазами прошли хозяева-скупцы, мужья-ревнивцы, жены-обманщицы, служанки-отравительницы, работники-убийцы, отцы-кровосмесители и дети, опрокидывающие квашню на голову деда, задремавшего возле очага. Крестьяне находили удовольствие в одном только пьянстве; и даже радости их были грубы, игры их жестоки. Праздники заканчивались кровавыми драками.

Чем больше Катрфей и Сен-Сильвен наблюдали народ, тем больше убеждались они, что нравы его не могут быть ни лучше, ни чище, что скупая земля делает его скупым, что черствая жизнь вызывает в нем черствость и к чужим и к собственным страданиям и что завистливость, жадность, двоедушие, лживость и

постоянный взаимный обман являются естественным следствием нищеты и невзгод.

— И как я только мог хоть на одно мгновение поверить, что счастье ютится под соломенной кровлей? — спрашивал себя Сен-Сильвен. — Это только может быть плодом полученного мною классического образования. В своей административной поэме, названной «Георгики», Вергилий говорит, что земледельцы были бы счастливы, если бы знали о своем счастье. Он, следовательно, признает, что они об этом счастье не знают. На самом же деле Вергилий писал по приказанию Августа, прекрасного управляющего государством, который беспокоился, как бы Рим не остался без хлеба, и поэтому всеми силами стремился как можно гуще заселить деревню. Вергилий знал не хуже всякого другого, что жизнь крестьянина тяжела. Гесиод обрисовал ее в ужасных картинах.

— Можно не сомневаться, что нет такой местности, где бы деревенские парни и девушки не лелеяли мечты устроиться в городе, — сказал Катрфей. — В приморских местностях девушки мечтают о поступлении на консервную фабрику. В каменноугольных районах у парней одно помышление: поскорее спуститься в шахту.

Был в тех горах один человек, выделявшийся среди озабоченных лбов и насупленных лиц своею простодушною улыбкой. Этот человек не умел ни обрабатывать землю, ни управляться со скотиной; он ничего не знал из того, что знают прочие люди, он вел бессмысленные разговоры и с утра до вечера распевал одну и ту же песенку, которую никогда не доводил до конца. Он всем восторгался. Он всегда был вне себя от радости. Его одежда была сшита из разноцветных, причудливо подобранных лоскутков. Ребятишки бегали за ним, преследуя его насмешками; но так как считалось, что он приносит счастье, ему не причиняли зла и подавали ему те пустяки, в которых он нуждался. Это был дурачок Юртепуа. Он кормился у подворотен заодно с собаками и ночевал в сараях.

Видя, что он счастлив, и полагая, что местные жители недаром почитают его носителем счастья, Сен-

Сильвен, основательно поразмыслив, разыскал его, чтобы взять у него рубашку. Он застал его в горьких слезах, распростертым на церковной паперти. Юртепуа только что узнал о смерти Иисуса Христа, распятого ради спасения человечества.

Королевские чиновники, спустившись в деревню, где мэр был кабатчиком, пригласили его выпить с ними и спросили, не знает ли он счастливого человека.

— Господа, — ответил им мэр, — поезжайте вон в ту деревню, белые домики которой, прилепившиеся к склону горы, виднеются на той стороне долины, и зайдите к кюре Митону; он примет вас как нельзя лучше, и вы окажетесь в обществе счастливого человека, к тому же вполне достойного своего благополучия. Дорога займет у вас часа два.

Мэр предложил им внаймы лошадей, и после завтрака они тронулись в путь.

На первом перегоне их нагнал молодой человек, ехавший в одном направлении с ними верхом на лучшей, чем у них, лошади. У него было открытое лицо, веселый и довольный вид. Они разговорились.

Узнав, что они направляются к кюре Митону, молодой человек сказал:

— Передайте ему от меня поклон. Сам я еду несколько выше, в Сизере, где живу среди прекрасных пастбищ. Мне не терпится поскорее туда попасть.

Он рассказал, что женат на приятнейшей, лучшей в мире женщине, подарившей ему двух детей, красивых, как день, — мальчика и девочку.

— Я еду из нашего города, — весело продолжал он, — и везу с собой оттуда отличных материй на платья, с выкройками и модными картинками, по которым можно судить о готовых нарядах. Алиса (так зовут мою жену) не подозревает о приготовленных ей подарках. Я отдам ей покупки не развертывая и буду наслаждаться зрелищем, как ее быстрые пальчики станут нетерпеливо развязывать бечевку. До чего она будет рада! Она поднимет на меня восторженные, полные свежей ясности глаза и поцелует меня. Мы очень счастливы. За четыре года, что мы женаты, мы с каждым днем все сильнее любим друг друга. У нас самые

сочные луга во всей окрестности. И рабочие наши тоже счастливы; они молодцы и косить и плясать. Приезжайте к нам, господа, как-нибудь в воскресенье: попробуете нашего белого винца и полюбуетесь, как танцуют наши ловкие девушки и сильные парни, которым ничего не стоит подхватить девушку и подбросить ее в воздух, как перышко. Наш дом — в получасе езды отсюда. Надо свернуть направо между вон теми двумя скалами, что видны в пятидесяти шагах впереди и известны под названием «Ноги серны». Надо миновать деревянный мост, переброшенный через горную речку, и пересечь сосновый лесок, оберегающий нас от северного ветра. Не пройдет и получаса, как я уже буду в кругу своей милой семьи, и мы все четверо порадуемся нашему общему благополучию.

— Надо попросить у него рубашку, — прошептал Катрфей Сен-Сильвену, — я думаю, что она не уступит рубашке кюре Митона.

— И я тоже так думаю, — отвечал Сен-Сильвен.

В то время как они обменивались этими словами, между скалами показался всадник, остановившийся перед путниками в сумрачном молчании.

— Что случилось, Ульрих? — спросил молодой человек, узнав в нем одного из своих арендаторов.

Ульрих ничего не ответил.

— Несчастье? Да говори же!

— Сударь, ваша супруга, спеша поскорее вас увидеть, решила отправиться вам навстречу. Мост провалился, и она утонула в потоке вместе с детьми.

Расставшись с обезумевшим от горя молодым горцем, они прибыли к кюре Митону и были введены в комнату, одновременно служившую приемной и библиотекой. На полках из еловых досок стояло до тысячи томов разных книг, а на выбеленных известью стенах были развешаны гравюры с пейзажей Клода Лоррена и Пуссена *. Все здесь говорило о культурных и умственных запросах хозяина, мало обычных для дома сельского священника. У кюре Митона, человека средних лет, было умное, доброе лицо.

Он расхвалил посетителям, якобы желающим поселиться в этой местности, климат, плодородие и кра-

соту долины. Он угостил их белым хлебом, фруктами, сыром и молоком, после чего повел в очаровательный по свежести и чистоте огород. Шпалерные деревья с геометрической точностью простирали свои ветви по стене, обращенной к солнцу; безукоризненно правильные и богато увешанные плодами кроны фруктовых деревьев стояли на одинаковом друг от друга расстоянии.

— Вам никогда не бывает скучно, господин кюре? — спросил Катрфей.

— Время между занятиями в библиотеке и саду кажется мне коротким, — ответил кюре. — Как бы спокойно и безмятежно ни протекала моя жизнь, она все же деятельна и трудолюбива. Я справляю службы, навещаю больных и неимущих, исповедую прихожан и прихожанок. У бедных созданий не слишком длинный перечень грехов; не жаловаться же мне на это? Но перечисляют они их подолгу. Мне нужно приберечь немного времени на подготовку к проповедям и урокам закона божьего: уроки даются мне особенно трудно, хотя я и веду их уже более двадцати лет. Так страшно говорить с детьми: они верят всему, что им ни скажешь. У меня имеются и часы развлечения. Я много гуляю. Прогулки у меня всегда те же, и вместе с тем они бесконечно разнообразны. Вид природы меняется с каждым временем года, с каждым днем, каждым часом, каждой минутой; он всегда различен, всегда нов. Я с приятностью провожу долгие осенние вечера в обществе старых друзей — аптекаря, сборщика податей и мирового судьи. Мы музицируем. Моя служанка Морина замечательно жарит каштаны; мы лакомимся ими. Что может быть вкуснее каштанов со стаканом белого вина?

— Сударь, — обратился Катрфей к славному кюре, — мы на службе у его величества. Мы надеемся услышать от вас признание, имеющее огромное значение и для нашей страны и для всего мира. От этого зависит здоровье, а может быть и жизнь, нашего монарха. Вот почему мы просим простить нас за вопрос и, не считаясь с его необычайностью и нескромностью, ответить на него совершенно откровенно и без всяких недомолвок. Вы счастливы, господин кюре?

Господин Митон взял Катрфея за руку, крепко ее сжал и едва слышно проговорил:

— Моя жизнь — оплошная пытка. Я живу в непрерывном обмане. Я не верую.

И две слезы скатились по его щекам.

Глава XIV и последняя

Счастливый человек

Понапрасну изъездив в течение целого года все королевство, Катрфей и Сен-Сильвен прибыли в замок Фонбланд, куда король приказал себя доставить, чтобы подышать свежим лесным воздухом. Они застали его в подавленном состоянии, приводившем в отчаяние двор.

Никто из приглашенных не жил в этом замке, бывшем не более как охотничьим домом. Начальник королевской канцелярии и обер-шталмейстер поселились в деревне и, пользуясь лесной тропинкой, ежедневно являлись к государю. На пути им часто попадался маленький человечек, живший в лесу, в дупле большого платана. Его звали Муском. Плоское лицо, выступающие скулы и широкий нос с совершенно круглыми отверстиями ноздрей отнюдь не красили его. Но квадратные зубы, сверкавшие между красными губами, которые часто раскрывались от смеха, придавали красочность и приятность его дикому лицу. Никто не знал, как ему удалось завладеть большим дуплистым платаном, но он устроил себе в нем чистенькую комнатку, снабженную всем необходимым. По правде оказать, ему нужно было немного. Он жил лесом и прудом, и жил совсем не плохо. Неопределенность положения прощалась ему благодаря его услужливости и умению угодить людям. Когда дамы из замка катались в экипажах по лесу, он подносил им в собственноручно сплетенных ивовых корзинах сотовый мед, землянику и горько-сладкие ягоды дикой вишни. Он всегда охотно подпирал плечом увязшую телегу и помогал убирать сено, когда угрожала непогода. Нисколько от этого не уставая, он делал больше всякого другого. Сила и про-

ворство были у него недюжинные. Он ломал голыми руками челюсти волку, ловил на бегу зайца и лазил по деревьям, как кошка. Он мастерил для забавы детей тростниковые дудочки, маленькие ветряные мельницы и героновы фонтаны *.

Катрфею и Сен-Сильвену часто приходилось слышать на деревне: «Счастлив, как Муск». Эта поговорка поразила их; однажды, проходя под большим платаном, они увидели Муска: он забавлялся с молодым мопсом и казался таким же довольным, как и собака. Им вздумалось спросить его, счастлив ли он.

Муск не смог им ответить, так как никогда не размышлял о счастье. Они в самых общих чертах и самым простым языком объяснили ему, что оно собой представляет. И тогда, немного подумав, Муск ответил, что счастлив.

Тут Сен-Сильвен бурно воскликнул:

— Муск, мы тебе предоставим все, что тебе вздумается — золото, дворец, новые сапоги, все, что ты захочешь, — дай нам свою рубашку.

На добродушном лице Муска отразилось не сожаление и не разочарование — чувства эти были ему недоступны, — а великое изумление. Он без слов показал, что не может предоставить просимого. У него не было рубашки.

БОГИ ЖАЖДУТ

Перевод *Бенедикта Лифшица*
под редакцией *Е. А. Гунста*

I

Эварист Гамлен, художник, ученик Давида *, член секции * Нового моста, прежде — секции Генриха IV, ранним утром отправился в бывшую церковь варнавитов *, которая уже в течение трех лет, с 21 мая 1790 года, служила местом общих собраний секции. Церковь эта находилась на тесной, мрачной площади, близ решетки Дворца правосудия. На фасаде, составленном из двух классических ордеров, украшенном плошками и опрокинутыми консолями, пострадавшем от времени, потерпевшем от людей, религиозные эмблемы были сбиты, и на их месте, над главным входом, черными буквами вывели республиканский девиз: *Свобода, Равенство и Братство — или Смерть.* Эварист Гамлен вошел внутрь: своды, некогда внимавшие богослужениям клириков конгрегации апостола Павла, облаченных в стихари, теперь взирали на патриотов в красных колпаках, которые сходились сюда для выборов муниципальных чиновников и для обсуждения дел секции. Святых вытащили из ниш и заменили бюстами Брута, Жан-Жака и Лепелетье *. На разоренном алтаре высилась доска с Декларацией Прав Человека *.

Здесь-то дважды в неделю, от пяти до одиннадцати вечера, и происходили публичные собрания. Церковная кафедра, убранная национальными флагами, служила ораторам трибуной. Против нее, направо, соорудили из грубо отесанных досок помост для женщин и детей, которые охотно посещали эти собрания. В то утро за

столом у самого подножья кафедры сидел в красном колпаке и карманьоле * столяр с Тионвилльской площади, гражданин Дюпон-старший, один из двенадцати членов Наблюдательного комитета. На столе стояли бутылка, стаканы, чернильница и лежала тетрадка с текстом петиции, предлагавшей Конвенту изъятие из его лона двадцати двух недостойных членов.

Эварист Гамлен взял перо и поставил свою подпись.

— Я был уверен, что ты присоединишь свой голос, гражданин Гамлен, — сказал член комитета. — Ты настоящий патриот. Но в секции мало пыла; ей не хватает доблести. Я предложил Наблюдательному комитету не выдавать свидетельства о гражданской благонадежности тем, кто не подпишет петиции.

— Я готов своей кровью подписать приговор предателям-федералистам, — сказал Гамлен. — Они хотели смерти Марата: пусть погибнут сами.

— Равнодушие — вот что нас губит, — ответил Дюпон-старший. — В секции, насчитывающей девятьсот полноправных членов, не наберется и полсотни посещающих собрания. Вчера нас было двадцать восемь человек.

— Что ж, — заметил Гамлен, — надо под угрозою штрафа обязать граждан приходить на собрания.

— Ну нет, — возразил столяр, хмуря брови, — если явятся все, то патриоты окажутся в меньшинстве... Гражданин Гамлен, хочешь выпить стаканчик вина за здоровье славных санкюлотов?.. *

На церковной стене, налево от алтаря, рядом с надписями *Гражданский комитет, Наблюдательный комитет, Комитет призрения,* красовалась черная рука с вытянутым указательным пальцем, направленным в сторону коридора, соединявшего церковь с монастырем. Немного дальше, над входом в бывшую ризницу, была выведена надпись: *Военный комитет.* Войдя в эту дверь, Гамлен увидел секретаря комитета за большим столом, заваленным книгами, бумагами, стальными болванками, патронами и образцами селитроносных пород.

— Привет, гражданин Трюбер, Как поживаешь?

— Я?.. Великолепно.

Секретарь Военного комитета Фортюне Трюбер неизменно отвечал так всем, кто справлялся о его здоровье, и делал это не столько с целью удовлетворить их любопытство, сколько из желания прекратить дальнейшие разговоры на эту тему. Ему было только двадцать восемь лет, но он уже начинал лысеть и сильно горбился; кожа у него была сухая, на щеках играл лихорадочный румянец. Владелец оптической мастерской на набережной Ювелиров, он продал в девяносто первом году старинную отцовскую фирму одному из своих старых приказчиков, чтобы всецело отдаться общественным обязанностям. От матери — прелестной женщины, которая скончалась в возрасте двадцати лет и о которой местные старожилы вспоминали с умилением, — он унаследовал красивые глаза, мечтательные и страстные, бледность и застенчивость. Отца, ученого оптика, придворного поставщика, умершего, не достигнув тридцати лет, от того же недуга, он напоминал прилежанием и точным умом.

— А ты, гражданин, как поживаешь? — спросил он, продолжая писать.

— Прекрасно. Что нового?

— Ровно ничего. Как видишь, здесь все спокойно.

— Каково положение?

— Положение по-прежнему без перемен.

Положение было ужасно. Лучшая армия Республики была блокирована на Майнце; Валансьен — осажден, Фонтене — захвачен вандейцеми, Лион восстал, Севенны — тоже, испанская граница обнажена; две трети департаментов были объяты возмущением или находились в руках неприятеля. Париж — без денег, без хлеба, под угрозой австрийских пушек.

Фортюне Трюбер продолжал спокойно писать. Постановлением Коммуны * секциям было предложено произвести набор двенадцати тысяч человек для отправки в Вандею, и он был занят составлением инструкций по вопросу о вербовке и снабжении оружием солдат, которых была обязана выставить от себя секция Нового моста, бывшая секция Генриха IV. Все ружья военного образца должны были быть сданы

вновь сформированным отрядам. Национальная же гвардия оставляла себе только охотничьи ружья и пики.

— Я принес тебе список колоколов, которые надлежит отправить в Люксембург для переливки в пушки, — сказал Гамлен.

Эварист Гамлен, при всей своей бедности, был полноправным членом секции: по закону избирателем мог быть лишь гражданин, уплачивавший налог в размере трехдневного заработка; а правом быть избранным пользовались лишь те, кто уплатил налог в сумме десятидневного заработка. Однако секция Нового моста, увлеченная идеей равенства и ревностно оберегающая свою автономию, предоставляла и активное и пассивное право всякому гражданину, приобретшему на собственные средства полное обмундирование национального гвардейца. Именно так обстояло дело с Гамленом, который был полноправным членом секции и членом Военного комитета.

Фортюне Трюбер отложил в сторону перо.

— Гражданин Эварист, ступай в Конвент и потребуй присылки инструкций для обследования почвы в погребах, выщелачивания земли и камней в них и добычи селитры. Пушки — еще не все: нужен также и порох.

В бывшую ризницу вошел маленький горбун, с пером за ухом и бумагами в руке. Это был гражданин Бовизаж, член Наблюдательного комитета.

— Граждане, — сказал он, — мы получили дурные вести: Кюстин * вывел войска из Ландау.

— Кюстин — изменник! — воскликнул Гамлен.

— Он будет гильотинирован, — сказал Бовизаж.

Трюбер своим слегка запинающимся голосом проговорил с присущим ему спокойствием:

— Конвент недаром учредил Комитет общественного спасения. Там расследуют вопрос о поведении Кюстина. Независимо от того, изменник ли Кюстин, или просто человек неспособный, на его место назначат полководца, твердо решившего победить, и Ça ira! [1]

---

[1] Все пойдет на лад! (*франц.*).

Он перебрал несколько бумаг, скользнув по ним усталым взором.

— Чтобы наши солдаты без смущения и колебаний выполняли свой долг, им необходимо знать, что судьба тех, кого они оставили дома, обеспечена. Если ты, гражданин Гамлен, согласен с этим, то на ближайшем собрании потребуй вместе со мной, чтобы Комитет призрения сообща с Военным комитетом установили выдачу пособий неимущим семьям, родственники которых в армии.

Он улыбнулся и стал напевать:

— Ça ira! Ça ira!

Просиживая по двенадцать, по четырнадцать часов в день за своим некрашеным столом, на страже отечества, находящегося в опасности, скромный секретарь комитета секции не замечал несоответствия между огромностью задачи и ничтожностью средств, бывших в его распоряжении, — настолько чувствовал он себя слитым в едином порыве со всеми патриотами, настолько был он нераздельною частью нации, настолько его жизнь растворилась в жизни великого народа. Он принадлежал к числу тех терпеливых энтузиастов, которые после каждого поражения подготовляли немыслимый и вместе с тем верный триумф. Ведь им следовало победить во что бы то ни стало. Эта голь перекатная, уничтожившая королевскую власть, опрокинувшая старый мир, этот незначительный оптик Трюбер, этот безвестный художник Эварист Гамлен не ждали пощады от врагов. Победа или смерть — другого выбора для них не было. Отсюда — их пыл и спокойствие духа.

II

Выйдя из церкви варнавитов, Эварист Гамлен направился на площадь Дофина, переименованную в Тионвилльскую в честь города, стойко выдержавшего осаду.

Расположенная в одном из наиболее людных кварталов Парижа, площадь эта уже около века назад утратила свою красивую внешность: особняки, все, как

один, из красного кирпича с подпорками из белого камня, сооруженные по трем сторонам ее в царствование Генриха IV для видных магистратов, теперь либо сменили благородные аспидные крыши на жалкие оштукатуренные надстройки в два-три этажа, либо были срыты до основания, бесславно уступив место домам с неправильными, плохо выбеленными фасадами, убогими, грязными, прорезанными множеством узких не одинакового размера окон, в которых пестрели цветочные горшки, клетки с птицами и сушившееся белье. Дома были густо населены ремесленным людом: золотых дел мастерами, чеканщиками, часовщиками, оптиками, типографами, белошвейками, модистками, прачками и несколькими старыми стряпчими, пощаженными шквалом, который смел представителей королевской юстиции.

Было утро. Была весна. Юные солнечные лучи, пьянящие, как молодое вино, смеялись на стенах и весело пробирались в мансарды. Опускающиеся, как гильотина, оконные рамы все были подняты, и под ними виднелись нечесаные головы хозяек. Секретарь Революционного трибунала, направляясь на службу, мимоходом трепал по щекам детей, игравших под деревьями. На Новом мосту кричали об измене негодяя Дюмурье *.

Эварист Гамлен жил на набережной Башенных Часов, в здании, сооруженном при Генрихе IV, которое и по сие время сохранило бы довольно привлекательный вид, если бы не маленький чердак, крытый черепицей, надстроенный при предпоследнем тиране. С целью приспособить особняк какого-то старого члена парламента * к укладу семей мещан и ремесленников, населявших этот дом, в нем, где только можно было, понастроили перегородок и антресолей. В одной из таких каморок, сильно уменьшенных в вышину и в ширину, проживал гражданин Ремакль, консьерж и в то же время портной. Сквозь стеклянную дверь с улицы было видно, как он сидел на столе, поджав под себя ноги и упершись затылком в потолок, за шитьем мундира национального гвардейца, между тем как гражданка Ремакль, плита которой не имела другой тяги,

кроме лестницы, отравляла жильцов чадом своей стряпни, а на пороге Жозефина, их дочурка, перепачканная патокой, но прелестная, как ясный день, играла с Мутоном, собакой столяра. По слухам, любвеобильная гражданка Ремакль, пышногрудая и пышнобедрая женщина, дарила благосклонностью гражданина Дюпона-старшего, одного из двенадцати членов Наблюдательного комитета. Во всяком случае, муж сильно подозревал ее в этом, и супруги Ремакль оглашали дом бурными ссорами, чередовавшимися с не менее бурными примирениями. Верхние этажи занимали гражданин Шапрон, ювелир, державший лавку на набережной Башенных Часов, военный лекарь, стряпчий, золотобит и несколько судейских служащих.

Эварист Гамлен поднялся по старинной лестнице на пятый и последний этаж, где у него была мастерская с комнаткой для матери. Тут уже кончались деревянные, выложенные изразцами ступени, сменившие широкие каменные ступени нижних этажей. Приставленная к стене лесенка вела в чердачное помещение, откуда в эту минуту как раз спускался пожилой толстяк. Румяное лицо его дышало здоровьем. С трудом прижимая к груди огромный сверток, он все же напевал: «Я потерял, увы, слугу...»

Прекратив пение, он учтиво пожелал Гамлену доброго утра. Эварист дружески поздоровался с ним и помог снести вниз пакет, за что старик был ему очень признателен.

— Это — картонные плясуны, — пояснил он, снова беря свою ношу, — я несу их торговцу игрушками на улице Закона. Здесь целый народ, все — мои создания, я даровал им бренное тело, не знающее ни радостей, ни страданий. Но я не наделил их способностью мыслить, ибо я — бог благостный.

Это был гражданин Морис Бротто, бывший откупщик и дворянин: его отец, нажившись на делах, купил себе дворянство. В доброе старое время Морис Бротто именовался господином дез Илетт и в своем особняке на улице Лашез задавал изысканные ужины, которые освещала своим присутствием прелестная г-жа де Рошмор, жена прокурора, превосходная женщина, честно

сохранявшая неизменную верность Морису Бротто дез Илетт, пока Революция не лишила его должностей, доходов, особняка, поместий, титула. Революция отняла у него все. Ему пришлось зарабатывать себе на жизнь, рисуя в воротах портреты прохожих, продавая на Сыромятной набережной блины и оладьи собственного изготовления, сочиняя речи для народных представителей, обучая танцам юных гражданок. В настоящее время у себя на чердаке, куда надо было карабкаться по приставной лесенке и где нельзя было выпрямиться во весь рост, Морис Бротто, запасшись горшком с клеем, клубком веревки, ящиком акварельных красок, обрезками картона, мастерил картонных плясунов и сбывал свои изделия оптовикам, а те перепродавали их бродячим торговцам игрушками, которые носили их по Елисейским полям на длинных жердях, вызывая вожделение ребятишек. В водовороте общественных событий, невзирая на бедствия, постигшие его лично, Бротто сохранял безмятежную ясность духа и читал для развлечения Лукреция, которого всюду таскал с собою в оттопыренном кармане коричневого сюртука.

Эварист Гамлен толкнул входную дверь в свое жилище. Она сразу подалась. Бедность позволяла ему не заводить замка, и, когда мать по привычке задвигала засов, он говорил: «К чему? Никто не станет воровать паутину, а мои картины — тем паче» [1]. Покрытые толстым слоем пыли или прислоненные к стене, грудами были свалены в мастерской его первые работы, когда он писал, следуя моде, любовные сцены, робкой, зализанной кистью выводил колчаны без стрел, спугнутых птиц, опасные забавы, мечты о счастье, приподымал юбки у птичниц и расцвечивал розами перси пастушек.

Но эта манера отнюдь не соответствовала его темпераменту. Холодно трактованные игривые сцены обличали неисправимое целомудрие живописца. Знатоки не ошибались на его счет, и Гамлен никогда не слыл у них мастером эротического жанра. Теперь, хотя он еще

---

[1] Игра слов: toile — картина, холст; toile d'araignée — паутина.

не достиг тридцати лет, ему казалось, что сюжеты эти относятся к незапамятным временам. Он видел в них растление нравов, неизбежное при монархическом строе, и развращенность двора. Он раскаивался в том, что сам увлекался столь презренным жанром и под влиянием рабства дошел до нравственного падения. Теперь, гражданин свободной нации, он мощными штрихами набрасывал фигуры Свобод, Прав Человека, французских Конституций, республиканских Добродетелей, народных Гераклов, повергающих наземь гидру Тирании, и вкладывал в эти произведения весь свой патриотический пыл. Увы, эти картины тоже не давали ему средств к существованию. Времена для художников были тяжелые. И, разумеется, не по вине Конвента, рассылавшего во все стороны свои армии против королей; гордого, неустрашимого Конвента, не отступившего перед сплоченной Европой, вероломного и безжалостного по отношению к самому себе; Конвента, раздиравшего себя собственными руками, провозгласившего очередной задачей террор, учредившего для наказания заговорщиков беспощадный Трибунал, с тем чтобы вскоре отдать ему на съедение собственных членов, и в то же время спокойного, вдумчивого друга наук и всего прекрасного; Конвента, реформировавшего календарь, основывавшего специальные школы, объявлявшего конкурсы живописи и ваяния, учредившего премии для поощрения художников, устраивавшего ежегодные выставки, открывшего Музей и, по примеру Афин и Рима, придававшего торжественный характер общественным празднествам и дням народного траура. Но французское искусство, когда-то пользовавшееся таким успехом в Англии, в Германии, в России и в Польше, не находило теперь сбыта за границей. Любители живописи, ценители искусства, вельможи и финансисты были разорены, эмигрировали или скрывались. Люди же, которых Революция обогатила, — крестьяне, скупавшие национализированные поместья, спекулянты, поставщики армий, содержатели игорных домов в Пале-Рояле — еще не отваживались выставить напоказ свое богатство да к тому же совсем не интересовались живописью. Чтобы продать картину,

нужно было обладать известностью Реньо или ловкостью молодого Жерара *. Грёз, Фрагонар, Гуэн * дошли до нищеты. Прюдону * с трудом удавалось прокормить жену и детей, делая рисунки, которые Копиа * гравировал пунктиром. Художники-патриоты, Эннекен, Викар, Топино-Лебрен *, голодали. Гамлен, у которого не было средств ни на оплату натурщика, ни на покупку красок, поневоле оставил, едва приступив к работе, огромное полотно, изображавшее «Тирана, преследуемого фуриями в аду». Оно занимало половину мастерской своими незаконченными страшными фигурами больше натуральной величины и множеством зеленых змей с изогнутыми раздвоенными жалами, На переднем плане, слева, стоял в лодке худой, свирепого вида Харон — мощный, прекрасно прорисованный кусок, в котором, однако, чувствовалось ученичество. Гораздо больше даровитости и естественности было в другой картине, меньших размеров, тоже незаконченной и висевшей в самом светлом углу мастерской. Она изображала Ореста, которого сестра его Электра приподымает на ложе скорби *. Девушка трогательным жестом поправляла брату спутанные волосы, падающие ему на глаза. Голова Ореста была трагически прекрасна, и в ней нетрудно было уловить сходство с лицом художника.

Гамлен часто с грустью смотрел на эту композицию. Порою его руки, дрожавшие от желания схватить кисть, тянулись к смело набросанной фигуре Электры, но сразу же беспомощно опускались. Художник горел воодушевлением и был полон великих замыслов. Но ему приходилось тратить силы на выполнение заказов, которые удавались ему весьма посредственно, потому что он должен был удовлетворять пошлым вкусам толпы, а также и потому, что не умел сообщать отпечаток таланта всяким пустякам. Он рисовал маленькие аллегорические картинки, которые его товарищ Демаи довольно искусно гравировал в одну или несколько красок и которые за бесценок скупал гражданин Блез, торговец эстампами на улице Оноре. Но продажа эстампов шла изо дня в день хуже и хуже, как уверял Блез, с некоторого времени уже не желавший ничего приобретать.

На этот раз, однако, Гамлену, которого нужда делала изобретательным, пришла в голову счастливая и, так по крайней мере казалось ему, новая мысль, осуществление которой должно было обогатить торговца эстампами, гравера и его самого. Речь шла о колоде патриотических карт, в которой короли, дамы и валеты старого режима были бы заменены Гениями, Свободами и Равенствами. Он сделал наброски всех фигур, большинство закончил совсем и торопился сдать Демаи те, которые уже можно было гравировать. Фигура, казавшаяся ему наиболее удачной, представляла собой волонтера в треуголке, синем мундире, с красными отворотами, желтых штанах и черных гетрах; он сидел на барабане, зажав ружье между колен и упершись ногами в кучу ядер. Это был «гражданин червей», явившийся на смену валету червей. Уже больше полугода рисовал Гамлен волонтеров, и все с тем же увлечением. В дни всеобщего подъема он продал несколько рисунков. Остальные висели на стенах в мастерской. Пять-шесть набросков, исполненных акварелью, гуашью, двухцветным карандашом, валялись на столе и на стульях. В июле девяносто второго года, когда на всех парижских площадях были воздвигнуты помосты для вербовки солдат, когда из всех кабачков, украшенных гирляндами, неслись крики: «Да здравствует нация! Жить свободно или умереть!» — Гамлен, проходя по Новому мосту или мимо ратуши, всем существом рвался туда, к убранному национальными флагами шатру, где магистраты в трехцветных повязках, под звуки марсельезы, производили запись добровольцев. Но, поступив в армию, он оставил бы мать без куска хлеба.

Тяжело дыша, так что ее было слышно еще за дверью, вся красная, взволнованная, обливаясь потом, вошла в мастерскую гражданка вдова Гамлен. Национальная кокарда, небрежно приколотая ею к чепцу, могла упасть каждую минуту. Поставив на стул корзинку, она остановилась, чтобы передохнуть, и стала жаловаться на дороговизну продовольствия.

При жизни мужа гражданка Гамлен торговала ножевыми изделиями на улице Гренель-Сен-Жермен, под

вывеской «Город Шательро», а теперь, находясь на иждивении сына-художника, вела его скромное хозяйство. Эварист был старший из двух ее детей. О дочери Жюли, бывшей модистке с улицы Оноре, лучше было и не спрашивать: она бежала за границу с аристократом.

— Господи боже мой, — вздохнула гражданка, показывая сыну серую, плохо пропеченную ковригу, — хлеб все дорожает, да он теперь и не чистый пшеничный. На рынке не найти ни яиц, ни овощей, ни сыру. А питаясь каштанами, сам станешь каштановым.

Помолчав, она продолжала:

— Я видела на улице женщин, которым нечем кормить младенцев. Для бедняков наступили тяжелые времена. И так будет до тех пор, пока не восстановится порядок.

— В недостатке съестных припасов, от которого все мы страдаем, матушка, виноваты скупщики и спекулянты, — сказал Гамлен, нахмурившись, — они морят голодом народ и вступают в соглашения с внешними врагами, стараясь вызвать у граждан ненависть к Республике и уничтожить свободу. Вот к чему приводят заговоры приверженцев Бриссо *, предательство Петионов и Роланов! * Хорошо еще, что федералисты с оружием в руках не явятся в Париж и не перебьют патриотов, не успевших погибнуть от голода. Нельзя терпеть ни минуты: необходимо установить твердые цены на муку и гильотинировать всех, кто спекулирует съестными припасами, сеет в народе смуту или завязывает преступные сношения с заграницей. Конвент только что учредил Чрезвычайный трибунал для дел о заговорах. В него входят одни лишь патриоты, но хватит ли у них энергии, чтобы защищать отечество от всех его врагов? Будем надеяться на Робеспьера: он добродетелен. В особенности будем надеяться на Марата: он любит народ, понимает его подлинные нужды и служит им. Он первый всегда разоблачал изменников, раскрывал заговоры. Он неподкупен и неустрашим. Он один может спасти Республику, которой угрожает гибель.

Гражданка Гамлен покачала головой, и кокарда упала с ее чепца.

— Полно, Эварист: твой Марат такой же человек, как и все, и ничем не лучше других. Ты молод, ты увлекаешься. То, что ты сейчас говоришь о Марате, ты говорил прежде о Мирабо *, о Лафайете *, Петионе, Бриссо.

— Никогда этого не было! — запротестовал Гамлен, искренне позабыв о недавнем прошлом.

Очистив местечко на некрашеном деревянном столе, заваленном бумагами, книгами, кистями и карандашами, гражданка Гамлен поставила фаянсовый супник, две оловянных миски и кружку дешевого вина, затем положила две железных вилки и пеклеванный хлеб.

Сын и мать молча съели суп и завершили трапезу кусочком свиного сала. Мать степенно подносила к беззубому рту на кончике карманного ножа ломтики хлеба с салом и с уважением прожевывала пищу, стоившую так дорого.

Большую часть она оставила сыну, но тот глубоко о чем-то задумался и казался рассеянным.

— Ешь, Эварист, — говорила она ему время от времени, — ешь.

И эти слова звучали в ее устах торжественно, как некая заповедь.

Она снова принялась жаловаться на дороговизну жизни. Гамлен еще раз заявил, что твердые цены — единственный выход из положения.

— Ни у кого уже нет денег, — возражала она. — Эмигранты все забрали. И верить больше некому. Есть от чего прийти в отчаяние.

— Перестаньте, матушка, перестаньте! — накинулся на нее Гамлен. — Разве можно придавать значение временным лишениям и невзгодам? Революция навсегда осчастливит человечество!

Старушка обмакнула ломтик хлеба в вино; на душе у нее отлегло, и она с улыбкой стала вспоминать времена своей молодости, когда в день рождения короля она плясала на открытом воздухе. Ей пришел на память день, когда Жозеф Гамлен, ножовщик по профессии, посватался к ней. И она обстоятельно стала излагать, как это произошло. Мать сказала ей: «При-

оденься. Мы сейчас отправимся на Гревскую площадь в магазин господина Бьенасси, ювелира, и посмотрим, как будут четвертовать Дамьена» *. Им с трудом удалось пробраться сквозь толпу любопытных. У г-на Бьенасси девушка встретила Жозефа Гамлена, в прекрасном розовом полукафтане, и сразу догадалась, к чему идет дело. Все время, пока она смотрела в окно, как цареубийцу терзали щипцами, обливали расплавленным свинцом, разрывали на части, привязав к четырем лошадям, и наконец бросили в огонь, Жозеф Гамлен, стоя сзади, не переставал восхищаться цветом ее лица, прической, стройностью ее фигуры.

Осушив до дна стакан, она продолжала мысленно переживать свою жизнь.

— Я родила тебя, Эварист, раньше, чем ожидала... потому что я испугалась, когда меня, беременную, чуть не сбили с ног на Новом мосту любопытные, торопившиеся на казнь господина де Лалли *. Ты появился на свет совсем крохотным, и лекарь не думал, что ты выживешь. Но я-то не сомневалась, что господь по милости своей сохранит мне тебя. Я воспитывала тебя как только могла, не жалея ни трудов, ни затрат. Что и говорить, Эварист, ты всегда выказывал мне признательность и уже с детских лет старался отплатить мне за заботы чем только мог. Ты от рождения был кроток и ласков. У твоей сестры тоже не злое сердце, но она отличалась себялюбием и вспыльчивостью. Ты был жалостливее ее ко всем несчастным. Когда соседские мальчишки разоряли птичьи гнезда, ты старался вырвать у них птенцов, чтобы вернуть их матерям, и нередко случалось так, что ты уступал лишь после того, как тебя валили наземь и нещадно избивали. Семилетним ребенком, никогда не вступая в драку с сорванцами, ты спокойно шел по улице, повторяя про себя катехизис; всех нищих, попадавшихся тебе навстречу, ты приводил домой, чтобы я помогла им; мне даже пришлось высечь тебя, чтобы отучить от этой привычки. Ты не мог смотреть без слез на чьи-либо страдания. Когда ты вырос, ты стал очень хорош собою. К великому моему удивлению, ты как будто не догадывался об этом, в отличие от большинства смазливых

молодых людей, которые щеголяют и чванятся своей наружностью.

Старушка говорила правду. В двадцать лет у Эвариста было очаровательное и вместе с тем серьезное лицо; это была женственно-строгая красота, черты Минервы. Теперь его темные глаза и бледные щеки свидетельствовали о глубокой печали и затаенных страстях. Но взгляд его, когда он посмотрел на мать, принял на мгновение то кроткое выражение, которое ему было свойственно в ранней юности.

Она продолжала:

— Ты мог бы воспользоваться своей привлекательностью и ухаживать за девушками, но ты предпочитал оставаться со мною в лавке, так что иногда я сама предлагала тебе не держаться за мою юбку, а развлечься с товарищами. И на смертном одре я повторю, Эварист, что ты хороший сын. После кончины отца ты не побоялся взять на себя заботы обо мне, хотя твоя профессия не приносит почти ничего; я благодаря тебе не знала, что такое нужда, и если теперь мы с тобою разорены и обнищали, я тебя не упрекаю: виною всему Революция.

У него вырвался жест протеста, но она, пожав плечами, продолжала:

— Я не дворянка. Я знавала аристократов, когда сила была на их стороне, и могу оказать, что они злоупотребляли своими привилегиями. На моих глазах слуги герцога Каналея избили палками твоего отца за то, что он недостаточно быстро посторонился, чтобы уступить дорогу их господину. Я не любила Австриячки * она была слишком высокомерна и расточительна. Короля, правда, я считала неплохим человеком и только после его процесса и осуждения переменила мнение о нем. Словом, я не жалею о старом режиме, хотя и при нем я знавала кой-какую радость. Но не говори мне, что Революция установит равенство: люди никогда не будут равны. Это невозможно, хотя бы вы всё здесь перевернули вверх дном: всегда будут люди знатные и безвестные, жирные и тощие.

Говоря, она убирала посуду. Художник уже не слушал ее. Он набрасывал силуэт санкюлота в красном

колпаке и карманьоле, который должен был в его колоде заменить упраздненного валета пик.

Кто-то постучался в дверь, и на пороге показалась молодая крестьянка, коренастая, занимавшая больше места в ширину, чем в высоту, рыжая, кривоногая, с бельмом на левом глазу; правый глаз, бледно-голубого цвета, казался совсем белым; непомерно толстые губы были оттопырены торчащими вперед зубами.

Обратившись к Гамлену, она осведомилась, не он ли живописец и не согласится ли он написать портрет ее жениха, Феррана (Жюля), волонтера Арденнской армии.

Гамлен ответил, что охотно сделает портрет, когда доблестный воин вернется в Париж.

Девушка кротко, но вместе с тем настойчиво продолжала упрашивать, чтобы он сделал это тут же.

Художник, невольно улыбнувшись, возразил, что без оригинала это совершенно невозможно.

Бедняжка ничего не ответила: она не предвидела такого затруднения. Склоняв голову на левое плечо, скрестив руки на животе, она не трогалась с места и молчала, по-видимому сильно огорченная. Ее простодушие и трогало и забавляло Гамлена; чтобы утешить незадачливую влюбленную, он сунул ей акварельный рисунок, изображавший волонтера, и спросил, не напоминает ли он ей жениха, находящегося в Арденнах.

Она устремила на бумагу тусклый взор; мало-помалу ее зрячий глаз оживился, потом разгорелся, просиял; широкое лицо расплылось в счастливую улыбку.

— Да это он и есть, — выговорила она наконец. — Это Ферран (Жюль) как живой, вылитый Ферран (Жюль).

Прежде чем художник успел взять у нее рисунок, она толстыми красными пальцами бережно сложила его, так что он превратился в небольшой квадратик, и, сунув его себе за пазуху между рубахой и корсажем, вручила Гамлену ассигнацию в пять ливров, пожелала присутствующим счастливо оставаться и вперевалку радостно вышла из комнаты.

III

В тот же день, после обеда, Эварист отправился к гражданину Жану Блезу, торговавшему под вывеской «Амур Живописец» не только эстампами, но также ларцами, картонажами и всякого рода играми на улице Оноре, напротив Оратории, неподалеку от почтовой конторы. Лавка помещалась в нижнем этаже старого дома, построенного лет шестьдесят тому назад. Над сводчатым пролетом входной двери находилось лепное украшение в виде рогатой головы человекоподобного чудовища, а самая фрамуга была заполнена картиной, писанной маслом и изображавшей «Сицилийца, или Амура Живописца», — копией с картины Буше; * она была повешена отцом Жака Блеза еще в 1770 году и с тех пор сильно пострадала от солнца и дождей. По обе стороны двери оконные проемы были украшены наверху головами нимф, а в окнах, за самыми большими стеклами, какие только нашлись в Париже, были выставлены модные эстампы и последние новинки в области цветной гравюры. В тот день там можно было увидеть любовные сцены, грациозно, но, пожалуй, с излишней сухостью изображенные Буайи: * «Уроки супружеской любви» и «Кроткое сопротивление», возмущавшие якобинцев и служившие поводом к доносам, которые наиболее ревностные из них делали в Общество искусств; «Народное гулянье» Дебюкура *, с щеголем в панталонах канареечного цвета, рассевшимся на трех стульях; коней работы молодого Карла Верне *, аэростаты *, «Купанье Виргинии» и копии с произведений античной скульптуры.

Из числа граждан, беспрерывным потоком движущихся мимо лавки, дольше всех простаивали перед соблазнительными витринами самые оборванные: наиболее впечатлительные, падкие на всякие зрелища, они старались хотя бы только глазами завладеть своей долей наслаждения в этом мире; раскрыв от восхищения рот, они замирали на месте, между тем как аристократы, скользнув небрежным взором, хмурили брови и проходили мимо.

Издалека еще, едва завидя дом, Эварист устремил взгляд на одно из окон второго этажа, на то, что было налево от входа и в котором за узорной железной решеткой стоял горшок красной гвоздики. Это окно освещало комнату Элоди, дочери Жана Блеза. Торговец эстампами занимал со своей единственной дочерью весь этаж над лавкой.

Задержавшись перед входом как будто для того, чтобы перевести дух, Эварист повернул дверную ручку. Гражданка Элоди только что продала две гравюры Фрагонара-сына * и Нежона *, которые покупатель тщательно отобрал среди других; прежде чем спрятать в ящик полученные ассигнации, она поочередно подносила их к своим красивым глазам, внимательно рассматривая на свет водяные знаки, полосы и сетку, так как в то время в обращении находилось столько же фальшивых денежных знаков, сколько и настоящих, что наносило большой ущерб торговле. Фальшивомонетчики карались смертной казнью, как некогда преступники, подделывавшие королевскую подпись; тем не менее доски для печатания ассигнаций находили в каждом погребе; швейцарцы миллионами ввозили фальшивые ассигнации во Францию, их разбрасывали пачками в харчевнях; англичане ежедневно выгружали на нашем берегу целые тюки поддельных билетов, чтобы дискредитировать Республику и повергнуть патриотов в нищету. Элоди боялась, что ей всучат фальшивую бумажку, но еще больше боялась, как бы самой не сбыть поддельную ассигнацию и не прослыть таким образом сообщницей Питта *. Однако она полагалась на свою счастливую звезду и была уверена, что всегда сумеет выкрутиться.

Эварист посмотрел на нее с тем мрачным видом, который лучше всяких улыбок говорит о любви. Она взглянула на него с чуть-чуть насмешливой гримаской, слегка прищурив черные глаза; придала же она своему лицу такое выражение, во-первых, потому, что сознавала себя любимой, причем это вовсе не было ей неприятно; во-вторых, потому, что такое выражение лица подзадоривает влюбленного, побуждает его изливаться в жалобах, приводит к объяснению, если он

этого еще не сделал, — а в данном случае так оно и было.

Спрятав ассигнации в ящик, она достала из рабочей корзинки белый шарф, который вышивала, и принялась за рукоделье. Она была трудолюбива и кокетлива, и так как, сидя над иглой, инстинктивно преследовала две цели одновременно: понравиться мужчине и изготовить себе наряд, то вышивала различно, в зависимости от того, кто смотрел на нее: она вышивала небрежно при тех, кото ей хотелось истомить сладостным ожиданием, и вышивала капризно при тех, кого ей было приятно довести до отчаянья. Теперь она притворилась, будто вся ушла в работу, так как в Эваристе она желала пробудить серьезное чувство.

Элоди была не так уж молода и не так уж хороша собой. С первого взгляда она могла показаться некрасивой. Брюнетка, с оливковым цветом лица, она небрежно повязывала голову белой косынкой, из-под которой выбивались иссиня-черные локоны и сверкали, как угли, темно-карие глаза. В ее круглом веселом лице, немного курносом, с выступающими скулами, грубоватом и страстном, художник находил сходство с головою фавна Боргезе *, слепок с которой приводил его в восторг своей божественно-шаловливой улыбкой. Усики оттеняли страстность ее рта. Под косынкой, по моде того года повязанной накрест, вздымалась, словно от преизбытка нежности, высокая грудь. Ее гибкий стан, проворные ноги, все ее сильное тело двигалось с очаровательно дикой грацией. Взгляд, дыхание, трепет плоти — все в ней говорило сердцу и сулило любовь. За прилавком она казалась нимфой танца, оперной вакханкой, у которой отняли рысью шкуру, тирс и венок из плюща, чтобы чудесным образом превратить ее в скромную хозяйку в духе Шардена *.

— Отца нет дома, — оказала она художнику. — Подождите немного: он скоро вернется.

Смуглые маленькие ручки быстро продевали иглу сквозь тонкий батист.

— Нравится вам этот рисунок, господин Гамлен?

Гамлен не умел притворяться. Да и любовь, придавая смелость, побуждала его быть откровенным.

— Вы вышиваете очень искусно, гражданка, но, если вам угодно знать мое мнение, узор, который вам сделали, недостаточно прост, недостаточно строг и отзывается вычурным вкусом, слишком долго господствовавшим во Франции в искусстве отделки тканей, мебели, панелей. Эти банты, эти гирлянды напоминают бессодержательный, пошловатый стиль, пользовавшийся успехом при последнем тиране. Теперь вкус возрождается. Увы! До хорошего вкуса нам еще далеко. В эпоху гнусного Людовика Пятнадцатого в декоративное искусство проникли китайские влияния. Комоды делали пузатыми, с изогнутыми, нелепыми ручками, и годны они лишь на то, чтобы топить ими печи патриотов. Прекрасна только простота. Необходимо вернуться к древности. Давид делает рисунки кроватей и кресел, заимствуя мотивы с этрусских ваз и фресок Геркуланума *.

— Я видела эти кровати и кресла, — подхватила Элоди, — они восхитительны! Скоро на другую мебель никто и смотреть не захочет. Как и вы, я обожаю древность.

— Ну так вот, гражданка, — продолжал Эварист, — если бы вы украсили свой шарф греческим орнаментом, листьями плюща, змеями или скрещенными стрелами, он был бы достоин спартанки... и вас. Вы, впрочем, могли бы сохранить и этот узор, упростив его и сделав более прямолинейным.

Она спросила, что, по его мнению, следует отбросить.

Он наклонился над шарфом: локоны Элоди коснулись его щеки. Руки их встречались, перебирая батист, их дыхание смешивалось. Эварист испытывал в эту минуту бесконечную радость, но, чувствуя губы Элоди так близко от своих губ, он побоялся оскорбить девушку и быстро отстранился.

Гражданка Блез была влюблена в Эвариста Гамлена. Она находила великолепными его большие горящие глаза, его красивое продолговатое лицо, его бледность, густые черные волосы, причесанные на пробор и волнами падавшие на плечи, его важную осанку, холодный вид, суровость его обращения, уверенную речь, свободную от всякой лести. А так как она была в

него влюблена, ей казалось, что он обладает талантом великого художника, который рано или поздно проявится в чудесных произведениях искусства и прославит его имя. Мысль об этом усиливала ее любовь. Гражданка Блез не была поклонницей мужской скромности: ее нравственное чувство нисколько не было бы задето, если бы мужчина, уступив голосу страсти, удовлетворил свои желания. Она любила целомудренного Эвариста; она любила его вовсе не за целомудрие, но тем не менее видела в этом известное преимущество: с ним она никогда не узнает ни ревности, ни подозрений, и ей не придется опасаться соперниц.

Однако в эту минуту она находила, что он слишком сдержан. Расинова Ариция *, влюбленная в Ипполита, восхищалась суровой добродетелью юного героя, но она не теряла надежды восторжествовать и пришла бы в отчаянье от строгости нравов, окажись Ипполит более стойким. И как только представился случай, она почти призналась ему в любви, чтобы вырвать ответное признание. Подобно нежной Ариции, гражданка Блез была недалека от мысли, что в любви женщина должна брать на себя почин. «Самые любящие, — думала она, — вместе с тем и самые робкие: они нуждаются в поддержке и поощрении. Их наивность так велика, что женщина может пойти очень далеко навстречу мужчине, а он и не заметит этого, если только ему оставить иллюзию, будто он смело повел атаку и одержал славную победу». В конечном исходе дела она нисколько не сомневалась, с тех пор как узнала наверняка (на этот счет у нее не было никаких сомнений), что, пока Революция не превратила Эвариста в героя, он любил, как любят все смертные, одну женщину, убогое создание, привратницу Академии.

Элоди, которую никак нельзя было назвать простушкой, различала несколько видов любви. Чувство, внушенное ей Эваристом, было достаточно глубоко, чтобы серьезно задуматься над вопросом о браке. Она охотно вышла бы за него замуж, но опасалась, что отец не согласится на союз единственной дочери с бедным и безвестным художником. У Гамлена не было ничего, торговец же эстампами был крупным денежным

воротилой. «Амур Живописец» приносил ему немало дохода, биржевая игра — еще больше, а в последнее время он вступил в компанию с подрядчиком, поставлявшим в кавалерийские части камыш вместо сена и подмоченный овес. Словом, сын ножовщика с улицы св. Доминика был совсем незначительным человеком по сравнению с издателем эстампов, известным всей Европе, находившимся в родстве с Блезо, Базанами, Дидо *, бывавшим запросто у граждан Сен-Пьера и Флориана *. Не то, чтобы Элоди как послушной дочери представлялось необходимым, устраивая свою судьбу, считаться с волею отца, — Жан Блез, человек алчный, легкомысленный, большой волокита и большой делец, рано овдовев, никогда не уделял дочери особенного внимания; с детства он предоставил ей полную свободу, не навязывая своих советов, дружбы, и не только не наблюдал за ее поведением, а, напротив, старался ничего не замечать, хотя в качестве знатока женщин высоко ценил ее пылкий темперамент и умение пленять сердца — в своем роде более могущественное орудие, чем миловидное лицо. Слишком любвеобильная натура, чтобы беречь себя, слишком рассудительная, чтобы себя погубить, благоразумная даже в своих безумствах, она, принося дань страсти, никогда не забывала требований приличия. Отец был ей чрезвычайно благодарен за эту осторожность, а так как она унаследовала от него коммерческие способности и дух предприимчивости, он не интересовался таинственными причинами, удерживавшими от брака вполне созревшую девушку, и ничего не имел против того, что Элоди остается дома, где она стоит экономки и четырех приказчиков. В двадцать семь лет она сознавала себя достаточно взрослой и опытной, чтобы самой устраивать свою жизнь, и не видела никакой нужды спрашивать совета или следовать воле отца — молодого, легкомысленного и рассеянного. Однако стать женою Гамлена она могла бы лишь в том случае, если бы г-н Блез устроил судьбу своего бедного зятя, сделал его участником фирмы, обеспечил работой, как обеспечивал уже многих художников, — словом, дал бы ему тем или иным способом средства к существованию; но она считала

невозможным, чтобы отец предложил молодому человеку такую поддержку и чтобы тот согласился принять ее: слишком уж мало симпатии питали они друг к другу.

Обстоятельство это ставило в крайне затруднительное положение нежную и умную Элоди. Ее ничуть не пугала мысль соединиться со своим возлюбленным тайными узами, призвав творца природы в качестве единственного свидетеля их взаимной верности. Она, со своими взглядами на жизнь, не находила ничего предосудительного в таком союзе, вполне осуществимом при той свободе, которой она пользовалась: с честным и добродетельным Эваристом он был бы вполне прочен; но Гамлен с трудом добывал себе средства к существованию и должен был еще содержать старуху мать; при такой бедности в сердце у него, повидимому, не оставалось места для любви, даже самой простой. К тому же Эварист еще не объяснился ей, ни словом не обмолвился о своих намерениях. Гражданка Блез, однако, надеялась, что ей скоро удастся вызвать его на признание.

— Гражданин Эварист, — сказала Элоди, разом прервав ход своих мыслей и работу, — этот шарф придется мне по вкусу только в том случае, если он придется по вкусу и вам. Нарисуйте мне, прошу вас, узор. А пока я, как Пенелопа, распорю то, что вышила без вас.

— Хорошо, гражданка, — ответил он с мрачным одушевлением. — Я нарисую вам меч Гармодия: * шпагу, перевитую гирляндой.

Достав карандаш, он принялся набрасывать орнамент из мечей и цветов в строгом, суровом стиле, который он так любил. И в то же время он излагал свои взгляды на искусство.

— Духовно переродившиеся французы, — говорил он, — должны отказаться от рабского наследия: от дурного вкуса, дурной формы, дурного рисунка. Ватто *, Буше, Фрагонар работали на тиранов и на рабов. В их произведениях нет чувства подлинного стиля, чистоты линий, нет ни естественности, ни правды. Все только маски, куклы, тряпки, кривлянье! Потомство с презрением

отнесется к их легкомысленной мазне. Через сто лет картины Ватто, всеми забытые, истлеют на чердаках, в тысяча восемьсот девяносто третьем году ученики художественных школ покроют своими набросками полотна Буше. Давид указал нам новые пути; он приближается к искусству древности, но он еще недостаточно прост, недостаточно велик, недостаточно строг. Нашим живописцам надо еще многому учиться на фресках Геркуланума, на римских барельефах, на этрусских вазах.

Он долго еще говорил об античной красоте, затем возвратился к Фрагонару, которого ненавидел всей душой.

— Вы его знаете, гражданка?

Элоди утвердительно кивнула головой.

— Вы, конечно, знаете и старичка Грёза: он довольно смешон в своем пунцовом полукафтанье и со шпагой на боку. Однако по сравнению с Фрагонаром он производит впечатление древнегреческого мудреца. Недавно я встретил его под арками Пале-Эгалите: он семенил куда-то, напудренный, галантный, вертлявый, игривый, омерзительный. При виде жалкого старика я пожелал, чтобы, за отсутствием Аполлона, какой-нибудь рьяный ревнитель искусства повесил его на дереве, предварительно содрав с него кожу, как с Марсия *, в вечное назидание плохим живописцам.

Элоди пристально посмотрела на него веселым и страстным взглядом.

— Вы умеете ненавидеть, господин Гамлен... Значит ли это, что вы умеете и лю...

— Это вы, Гамлен? — послышался тенор, голос гражданина Блеза, который вошел в лавку, скрипя сапогами, звеня брелоками; полы его сюртука развевались, на голове у него была огромная черная треуголка, загнутые края которой доходили ему до плеч.

Элоди, взяв рабочую корзинку, поднялась к себе в комнату.

— Ну что, Гамлен, — спросил гражданин Блез. — принесли что-нибудь новенькое?

— Пожалуй, — ответил художник.

И изложил свою идею.

— Наши игральные карты находятся в вопиющем противоречии с современными нравами. Названия «валет» и «король» оскорбляют слух патриота. Я придумал и сделал рисунки для новой колоды революционных карт, в которой короли, дамы, валеты заменены Свободами, Равенствами, Братствами, тузы, окруженные ликторскими связками, называются Законами... Вы объявляете Свободу треф, Равенство пик, Братство бубен, Закон червей... Мне кажется, карты нарисованы довольно хорошо. Я намерен поручить Демаи выгравировать их на меди, а там возьму патент.

Достав из папки несколько акварельных рисунков, художник протянул их торговцу эстампами.

Но гражданин Блез, даже не взглянув, отказался принять их.

— Отнесите это, мой друг, в Конвент: там это вызовет гром рукоплесканий. Но не надейтесь извлечь хотя бы грош из вашего нового изобретения, тем более что оно не ново. Вы немного опоздали. Ваша революционная колода — третья по счету, которую мне приносят. Ваш товарищ Дюгур на прошлой неделе предложил мне колоду для игры в пикет с четырьмя Гениями, четырьмя Свободами, четырьмя Равенствами. Меня пытались соблазнить еще другой колодой, где были мудрецы, герои, Катон, Руссо, Ганнибал *, — всех не упомнишь... Все эти карты, мой друг, имели перед вашими одно преимущество: они были грубо нарисованы и вырезаны на дереве перочинным ножом. Мало же вы знаете людей, если воображаете, что игроки станут употреблять карты с рисунками в стиле Давида, гравированными в манере Бартолоцци! * Да и вообще странно предполагать, будто нужно столько церемоний, чтобы приспособить старую колоду к современным идеям. Добрые санкюлоты сами отлично исправляют ее непатриотичность, провозглашая: «Тиран!» или просто «Толстый боров!» Они довольствуются своими старыми замусоленными картами и не покупают новых. В притонах Пале-Эгалите идет игра чуть ли не круглые сутки; советую вам — отправляйтесь туда и предложите крупье и понтерам ваши Свободы, ваши Равенства, ваши... как вы называете их... ваши

Законы червей, а потом расскажите мне, как вас там приняли.

Гражданин Блез сел на прилавок, несколькими щелчками стряхнул с нанковых панталон просыпавшийся на них табак и ласково, с сожалением посмотрел на Гамлена.

— Позвольте дать вам один совет, гражданин художник: если вы хотите заработать себе на жизнь, оставьте ваши патриотические карты, оставьте революционные символы, оставьте ваших Гераклов, гидр, фурий, терзающих преступника, гениев Свободы и пишите красивых девушек. Гражданский пыл у всех с течением времени остывает, но мужчинам всегда будут нравиться женщины. Рисуйте же румяных красоток, с маленькими ножками, с маленькими ручками, и поймите, что никто уже не интересуется Революцией и что о ней больше и слышать не хотят.

Эварист вскочил как ужаленный.

— Что? О Революции и слышать не хотят?.. Но ведь упрочение Свободы, победы наших армий, наказание тиранов — все это события, которые будут вызывать изумление у самых отдаленных потомков! Как же мы можем не поражаться им?.. Секта санкюлота Христа просуществовала около восемнадцати веков, а культ Свободы будет уничтожен, не продержавшись и четырех лет!

— Вы живете мечтами, — с видом явного превосходства возразил Жан Блез, — я же реальной жизнью. Поверьте, друг мой, Революция уже надоела: она слишком затянулась. Пять лет энтузиазма, пять лет братских объятий, убийств, разглагольствований, марсельезы, набата, аристократов на фонарях, голов на пиках, женщин верхом на пушках, деревьев Свободы, увенчанных красными колпаками, девушек и старцев в белых одеяниях на колесницах, разубранных цветами, пять лет заточений в тюрьмах, гильотины, пайков, афиш, кокард, султанов, бряцанья оружием, карманьол... — хватит! В конце концов никто уже ничего не понимает. Насмотрелись мы на великих людей, которых вы лишь затем вводили в Капитолий, чтобы сбросить их потом с Тарпейской скалы! * Видели мы

всех этих Неккеров, Мирабо, Лафайетов, Байи, Петионов, Манюэлей * и стольких других. Кто поручится, что вы не готовите той же участи вашим новым героям?.. Теперь ничему уже нельзя верить!

— Назовите, гражданин Блез, назовите мне героев, которых мы собираемся принести в жертву! — воскликнул Гамлен тоном, напомнившим торговцу эстампами, что надо быть осторожнее.

— Я республиканец и патриот, — возразил он, прижимая руку к сердцу. — Я такой же республиканец, как вы, такой же патриот, как вы, гражданин Эварист Гамлен. Я не сомневаюсь в вашей преданности Республике и не думаю обвинять вас в непостоянстве. Но знайте, что и моя благонамеренность и преданность общему делу неоднократно доказаны мною на деле. Вот мои политические убеждения: я отношусь с доверием к каждому, кто способен служить нации. Я преклоняюсь перед людьми, которых, как Марата, как Робеспьера, глас народа облек опасной честью, возложив на них бремя законодательной власти; в меру отпущенных мне слабых сил я готов помогать им как добропорядочный гражданин, посильно оказывая мое скромное содействие. Комитеты могут засвидетельствовать мое рвение и мою преданность. Сообща с несколькими настоящими патриотами я поставлял нашей доблестной кавалерии овес и прочий фураж, снабжал обувью наших солдат. Только сегодня я отправил из Вернона в Южную армию шестьдесят голов рогатого скота, а ведь их придется гнать через местность, наводненную разбойниками, кишащую эмиссарами Питта и Конде *. Я не разговариваю — я действую.

Гамлен спокойно сложил акварели в папку, завязал тесемки и взял ее под мышку.

— Странное противоречие, — процедил он сквозь зубы. — С одной стороны, помогать нашим солдатам водружать во всем мире знамя Свободы, а с другой — у себя дома предавать эту же Свободу, сея смятение и тревогу в сердцах ее защитников... Прощайте, гражданин Блез!

Прежде чем направиться в переулок, идущий вдоль Оратории, Гамлен, с сердцем, исполненным любви и

гнева, обернулся, чтобы взглянуть на красные гвоздики в окне второго этажа.

Он нисколько не отчаивался в спасении родины. Непатриотическим речам Жана Блеза он противопоставлял свою веру в Революцию. Но все-таки он вынужден был признать, что в словах продавца эстампов заключалась, по-видимому, известная доля правды; население Парижа уже не проявляло прежнего интереса к событиям. К сожалению, было слишком несомненно, что на смену одушевлению первых дней пришло всеобщее равнодушие, что в прошлое канули охваченные общим порывом огромные толпы восемьдесят девятого года, что в прошлое канули миллионы людей-единомышленников, сплотившихся в девяностом году вокруг алтаря федератов. Ну что ж! Доблестные граждане удвоят рвение и смелость, разбудят уснувший народ, предложив ему выбор между свободой и смертью.

Так думал Гамлен, и мысль об Элоди придавала ему мужества.

Очутившись на набережной, он увидел, что солнце садится за тяжелые тучи, похожие на горы добела раскаленной лавы; крыши купались в золотом свете; оконные стекла ослепительно сверкали. И Гамлен представил себе, что это титаны сооружают из пылающих обломков старых миров медные твердыни Дикеи. *

Не зная, где достать хлеба для себя с матерью, Гамлен мечтал о бесконечных столах и всемирной трапезе, в которой он примет участие вместе со всем возрожденным человечеством. А пока он убеждал себя, что родина, как добрая мать, накормит своего верного сына. Возмущенный пренебрежением, с которым торговец эстампами отнесся к его предложению, он старался уверить себя, что идея революционной колоды — идея новая и плодотворная и что у него под мышкой, в папке с прекрасно выполненными акварельными рисунками, заключено целое богатство. «Демаи выгравирует их, — думал он. — Мы сами выпустим в свет патриотические карты и в какой-нибудь месяц наверняка распродадим десять тысяч колод по двадцать су каждая».

Сгорая от нетерпения поскорее осуществить свой замысел, он крупными шагами направился на Скобяную набережную, где над лавкой стекольщика жил Демаи.

Вход был через лавку. Жена стекольщика предупредила Гамлена, что гражданина Демаи нет дома, чем не очень удивила художника, так как он знал своего приятеля за человека непоседливого и легкомысленного и поражался, как это, работая лишь урывками, Демаи гравирует так много и так искусно. Гамлен решил подождать его минутку. Жена стекольщика предложила ему стул. Она была мрачно настроена и стала жаловаться на дела, которые шли из рук вон плохо, хотя можно было предполагать, что Революция, разбивая столько оконных стекол, обогатит стекольщиков.

Смеркалось. Отказавшись от мысли дождаться товарища, Гамлен простился с женой стекольщика. Проходя по Новому мосту, он увидел на набережной Морфондю конный отряд национальных гвардейцев, которые, бряцая оружием, расталкивая толпу, с факелами в руках конвоировали телегу, медленно влекшую на гильотину человека, имени которого никто не знал, — какого-то бывшего дворянина, первого, осужденного новым Революционным трибуналом. Между треуголками гвардейцев смутно виднелась его фигура: он сидел лицом к задку телеги, руки у него были связаны за спиной, обнаженная голова беспомощно болталась. Рядом с ним стоял палач, опершись рукой о боковую стенку повозки. Прохожие, остановившись, высказывали предположение, что это, вероятно, какой-нибудь спекулянт, моривший голодом народ, и равнодушно смотрели на осужденного. Гамлен, подойдя поближе, увидел среди зевак Демаи: он старался выбраться из толпы и перебежать дорогу. Эварист окликнул его и дотронулся рукой до его плеча. Демаи обернулся. Это был молодой человек, красивый и сильный. В свое время в Академии говорили, что у него голова Вакха на торсе Геракла. Приятели звали его «Барбару» * — за сходство с этим народным представителем.

— Пойдем, — обратился к нему Гамлен, — мне надо поговорить с тобой о важном деле.

— Оставь меня в покое! — раздраженно ответил Демаи.

Выжидая удобный момент, чтобы протиснуться сквозь толпу, он обронил несколько невнятных слов:

— Я шел следом за божественной женщиной... Соломенная шляпка... золотистые волосы, распущенные вдоль плеч... Вероятно, какая-нибудь модистка... Проклятая телега разъединила нас... Она успела пройти вперед... Она уже в конце моста!

Гамлен попытался удержать его за кафтан, клянясь, что дело очень важное.

Но Демаи уже пробирался между лошадьми, гвардейцами, саблями и факелами, вслед за своей модисткой.

IV

Было десять часов утра. Апрельское солнце заливало светом нежную зелень деревьев. Освеженный ночной грозою воздух был полон сладостной истомы. Изредка всадник, проскакав по Вдовьей аллее, нарушал безмолвие уединенного уголка. В конце тенистой аллеи, напротив хижины, носившей название «Лилльская Красавица», Эварист, сидя на деревянной скамейке, поджидал Элоди. С того дня, как их пальцы встретились на батистовом шарфе и дыхание смешалось, он не был ни разу в «Амуре Живописце». Целую неделю гордый стоицизм и все возраставшая робость удерживали его вдали от Элоди. Он отправил ей пылкое письмо, мрачное и серьезное, в котором, излагая причины своего недовольства гражданином Блезом, но умалчивая о своей любви и скрывая скорбь, заявлял о принятом им решении не переступать порога лавки и, по-видимому, собирался сдержать слово с твердостью, которая вовсе не улыбалась влюбленной девушке.

Обладая совсем противоположным характером, Элоди, ни за что не желавшая поступаться тем, что она считала своим добром, сразу стала раздумывать, как бы вернуть себе друга сердца. Сначала она намеревалась пойти прямо к нему в мастерскую, на Тионвилльскую площадь. Но, зная, что он отличается хму-

рым нравом и, судя по письму, сильно раздражен, а также опасаясь, как бы он не перенес на нее злобы, которую питал к отцу, и не стал избегать ее в дальнейшем, она решила, что лучше назначить ему сентиментальное и романическое свидание, от которого он никак не может уклониться и которое даст возможность переубедить и пленить его, ибо уединение поможет ей его очаровать и покорить.

В ту пору во всех английских парках, во всех модных местах гуляний по чертежам искусных архитекторов были сооружены хижины, удовлетворявшие склонности горожан к сельской жизни. Хижина «Лилльская Красавица», арендованная продавцом лимонада, упиралась одной из своих якобы ветхих стен в искусственные развалины старинной башни, соединяя таким образом прелесть сельского ландшафта с меланхолией руин. Очевидно, считая, что для чувствительных сердец еще недостаточно хижины и разрушенной башни, продавец лимонада соорудил под ивой могильный холм и водрузил на нем колонну с погребальной урной, украшенную надписью: «Клеониса своему верному Азору». Хижины, развалины, гробницы! Накануне своей гибели аристократия воздвигала в наследственных парках эти символы нищеты, уничтожения и смерти. А теперь горожане-патриоты с удовольствием пили, плясали, предавались любви в искусственных хижинах, в тени искусственных развалин искусственных монастырей, среди искусственных гробниц, ибо они тоже были поклонниками природы, учениками Жан-Жака, тоже обладали чувствительными, мечтательными сердцами.

Явившись на свидание ранее назначенного часа, Эварист стал ожидать, измеряя время, как маятником, биением собственного сердца. Прошел патруль, ведя куда-то арестованных. Минут через десять женщина, вся в розовом, с букетом в руке, как этого требовала мода, проскользнула в хижину в сопровождении кавалера в треуголке, красном фраке, полосатом жилете и полосатых панталонах; оба до того были похожи на старорежимных щеголей, что поневоле приходилось согласиться с гражданином Блезом, утверждавшим,

будто у людей есть такие свойства, которых не в состоянии изменить никакая революция.

Спустя еще несколько минут старуха, пришедшая из Рюэля или Сен-Клу, с цилиндрической ярко размалеванной коробкой в руках уселась на скамью, на которой ожидал Гамлен. Коробку, крышка которой была снабжена рулеткой со стрелой для гадания, женщина поставила перед собой. Она предлагала детишкам, игравшим в саду, попытать счастья. Торговала она печеньем, называвшимся прежде «облатками», а теперь переименованным в «утехи». Потому ли, что традиционный термин «облатка» наводил на докучливую мысль об евхаристии и христианском долге, потому ли, что всем надоело старое название, но «облатки» стали называть тогда «утехами».

Старуха отерла концом передника пот со лба и разразилась жалобами, обращаясь к небу и обвиняя бога в несправедливости за то, что его созданиям приходится так тяжело. Ее муж держал кабачок в Сен-Клу, на берегу реки, а она ежедневно ходила по Елисейским полям со своей трещоткой, выкликая: «Утех, кому утех, сударыни!» И все-таки они не могли прокормить себя на старости лет.

Видя, что сосед по скамейке готов пожалеть ее, она принялась обстоятельно излагать причину своих невзгод. Виной всему Республика, которая, разорив богачей, вырвала у бедняков последний кусок хлеба изо рта. Нечего и надеяться на лучшее. Напротив, судя по многим признакам, дела пойдут все хуже и хуже. В Нантере женщина родила ребенка с головой гадюки; в Рюэле молния ударила в церковь и расплавила крест на колокольне; в Шавильском лесу видели оборотня. Люди в масках отравляют источники и разбрасывают порошки, распространяющие заразу...

Эварист увидел Элоди, выходившую из коляски. Он кинулся ей навстречу. Глаза молодой женщины блестели в прозрачной тени соломенной шляпы; на губах, пунцовых, как гвоздики, которые она держала в руке, играла улыбка. Черный шелковый шарф, перекрещивавшийся на груди, сзади был завязан бантом. Желтое платье подчеркивало быстрые движения колен и от-

крывало ноги в туфельках без каблуков. Бедра не были стянуты, так как Революция освободила стан гражданок от корсета; однако юбка, еще вздувавшаяся на боках, скрывала формы, преувеличивая их и пряча под своею пышностью подлинные очертания фигуры.

Он хотел заговорить, но не находил слов и упрекал себя за смущение, не зная, что Элоди оно приятнее самых любезных речей. От ее внимания также не ускользнуло, — и она сочла это хорошим признаком, — что галстук у него повязан тщательнее обыкновенного. Она протянула Эваристу руку.

— Я хотела повидать вас, побеседовать с вами, — сказала она. — На ваше письмо я не ответила: оно мне не понравилось; я не узнала в нем вас. Будь оно более естественно, оно было бы любезнее. Я умалила бы достоинства вашего характера и вашего ума, если бы поверила, что вы в самом деле не желаете больше приходить на улицу Оноре только потому, что слегка повздорили о политике с человеком гораздо старше вас. Будьте покойны, вам нечего опасаться дурного приема со стороны отца, когда вы снова явитесь к нам. Вы не знаете его: он не помнит ни того, что сам сказал, ни того, что вы ответили. Я вовсе не утверждаю, что между вами существует большая симпатия, но он не злопамятен. Говорю вам откровенно: он не слишком интересуется ни вами... ни мной. Он поглощен своими делами и развлечениями.

Она направилась к деревьям, окружавшим хижину, куда он последовал за нею не без некоторого отвращения, так как знал, что это — место свиданий с продажными женщинами и приют мимолетной любви. Она выбрала столик в самом укромном уголке.

— Как много должна я вам сказать, Эварист! Дружба имеет свои права: вы позволите мне воспользоваться ими? Я хочу поговорить с вами — главным образом о вас... и немножко о себе, если вы ничего не имеете против.

Продавец лимонада принес графин и стаканы, и Элоди сама, как хорошая хозяйка, наполнила их; затем она рассказала Эваристу про свое детство, про мать, красоту которой она охотно превозносила и как

любящая дочь и потому, что считала ее источником собственной красоты. Она с уважением говорила о том, какие крепкие люди были ее предки, — ибо она гордилась своей буржуазной кровью! Она рассказала также, как, потеряв в шестнадцатилетнем возрасте обожаемую мать, она с тех пор жила без ласки, без поддержки. Обрисовала себя, какой была и в самом деле: живой, чувствительной, смелой женщиной, и прибавила:

— Эварист, я провела слишком печальную и одинокую юность, чтобы не оценить такого сердца, как ваше, и, предупреждаю вас, не откажусь по собственной воле и без борьбы от чувства симпатии, на которое, мне казалось, я могу рассчитывать и которое мне дорого.

Эварист с нежностью посмотрел на нее.

— Неужели, Элоди, я вам не безразличен? Смею ли я этому верить?..

Он замолчал из боязни оказать лишнее и, следовательно, злоупотребить столь доверчиво предложенной дружбой.

Она с открытым видом протянула ему свою маленькую руку, выглядывавшую наполовину из длинного, узкого, отделанного кружевом рукава. Грудь ее вздымалась от глубоких вздохов.

— Припишите мне, Эварист, все чувства, которые вы хотели бы, чтобы я к вам питала, и вы не ошибетесь.

— Элоди, Элоди, повторите ли вы это, когда узнаете...

Он запнулся.

Она опустила глаза.

Он шепотом докончил:

— ...что я люблю вас?

При этих словах она покраснела от удовольствия. В ее глазах он мог бы прочитать нежную страсть, но в то же время, против воли, насмешливая улыбка приподымала уголки ее рта.

Она думала: «И он воображает, будто объяснился первым!.. А может быть, он даже боится, что рассердил меня!..»

Она ласково оказала ему:

— Вы, значит, не заметили, друг мой, что я вас люблю?

Им казалось, что они одни во всем мире. В порыве восторга Эварист устремил взор к залитому солнцем лазурному небосводу.

— Глядите: небо смотрит на нас! Оно так же восхитительно, так же благосклонно, как и вы, моя любимая: оно, подобно вам, ослепляет своим блеском, подобно вам, кротко улыбается...

Он чувствовал себя слившимся со всей природой, он приобщил ее к своей радости, к своему торжеству. Ему представлялось, что, празднуя его обручение, канделябрами загорались цветы каштанов и вспыхивали исполинские факелы тополей.

Он наслаждался своей силой и величием. Она, более нежная и тонкая, более гибкая и податливая, уже считала себя вправе воспользоваться преимуществами слабого пола и, покорив Эвариста, подчинялась его воле; завладев им, она теперь видела в нем господина, героя, бога, сгорала от желания восхищаться им, повиноваться, отдаваться ему. В тени деревьев он запечатлел на ее устах долгий пламенный поцелуй; она запрокинула голову и в объятиях юноши почувствовала, что тело ее становится мягким, как воск.

Они еще долго разговаривали о самих себе, позабыв обо всем на свете. Эварист высказывал мысли, преимущественно неопределенные и возвышенные, от которых молодая женщина приходила в восторг. Элоди вела речь о вещах приятных, практических и касавшихся только их. Потом, когда она сочла, что дольше оставаться нельзя, она поднялась с решительным видом, дала своему возлюбленному три пунцовых гвоздики, взращенные ею на окне, и впорхнула в кабриолет, в котором приехала. Это была наемная коляска на очень высоких колесах, выкрашенная в желтый цвет; ни в ней, ни в кучере не было решительно ничего примечательного, но Гамлен никогда не пользовался наемными колясками и все окружавшие его тоже. Когда он увидел Элоди в кабриолете на огромных, быстро катящихся колесах, у него сжалось сердце от печального предчувствия: он мучительно ясно, как это бывает

только при галлюцинации, представил себе, что лошадь увозит Элоди прочь от действительности, за пределы настоящего, в какой-то роскошный, веселый город, к пышным чертогам, на лоно наслаждений, куда он не вступит никогда.

Кабриолет скрылся из виду. Смятение Эвариста улеглось, но осталась глухая тоска: он чувствовал, что пережитых здесь часов нежности и забвения ему уже больше не испытать.

Он направился домой Елисейскими полями, где женщины в светлых платьях шили или вышивали, сидя на деревянных стульях, между тем как дети их играли под деревьями. Увидев торговку «утехами» с коробкой в форме барабана, он вспомнил торговку «утехами» во Вдовьей аллее, и ему показалось, будто между этими двумя встречами прошла целая полоса его жизни. Он пересек площадь Революции. В Тюильрийском саду он издали услыхал мощный гул великих дней Революции, единодушный голос людских толп, который, по мнению врагов Республики, умолк навсегда. Ускорив шаги навстречу все возраставшему шуму, он очутился на улице Оноре, сплошь усеянной мужчинами и женщинами, кричавшими: «Да здравствует Республика! Да здравствует Свобода!» Стены садов, окна, балконы, крыши были унизаны зрителями, махавшими шляпами и носовыми платками. Предшествуемый сапером, который расчищал дорогу кортежу, окруженный муниципальными властями, национальными гвардейцами, артиллеристами, жандармами, гусарами, медленно плыл над головами граждан человек с желчным цветом лица; на лбу у него красовался венок из дубовых листьев, на плечи был накинут ветхий зеленый плащ с горностаевым воротником. Женщины осыпали его цветами. Он смотрел вокруг желтыми пронизывающими насквозь глазами, как будто в этой охваченной энтузиазмом толпе выискивал врагов народа, которых надлежало разоблачить, изменников, которых надлежало покарать. Поравнявшись с ним, Гамлен обнажил голову и, присоединяя свой голос к сотням тысяч других голосов, крикнул:

— Да здравствует Марат!

Триумфатор вступил, как Рок, в залу Конвента. Между тем как толпа медленно расходилась, Гамлен, сидя на тумбе, сдерживал рукою биение сердца. Зрелище, очевидцем которого он только что был, наполнило все его существо возвышенным волнением и пламенным восторгом.

Он чтил и любил Марата, который, страдая воспалением вен, больной, мучимый язвами, отдавал остаток своих сил на служение Республике и в своем бедном, для всех открытом доме принимал его с распростертыми объятиями, говорил ему с увлечением об общем благе, порою расспрашивал о происках злодеев. Теперь Эварист был в восхищении, увидав, что враги Марата, замышлявшие его гибель, уготовили ему триумф; он благословлял Революционный трибунал, который, оправдав Друга Народа, вернул Конвенту самого ревностного и самого безупречного из законодателей. Он еще видел перед собою лихорадочный взор, чело, увенчанное символом гражданской доблести, лицо, выражавшее благородную гордость и безжалостную любовь, изнуренное недугом, высохшее, неотразимое, перекошенный рот, широкую грудь, всю фигуру умирающего исполина, который с высоты людской победной колесницы, казалось, обращался к согражданам: «Будьте, подобно мне, патриотами до гробовой доски!»

Улица уже опустела, ночь покрыла ее мраком; с фонарем в руке прошел мимо ламповщик, а Гамлен все еще повторял про себя:

— До гробовой доски!..

V

В девять часов утра Эварист уже застал в Люксембургском саду Элоди, ожидавшую его на скамье.

Прошел месяц с тех пор, как они объяснились в любви, и теперь они ежедневно встречались то в «Амуре Живописце», то в мастерской на Тионвилльской площади. Свидания эти были очень нежны, но все же носили на себе печать известной сдержанности, которую налагал на них добродетельный и степенный характер Гамлена: деист и безупречный гражданин, он

готов был соединить свою судьбу с судьбою любимой женщины, смотря по обстоятельствам — перед лицом закона или перед лицом одного лишь господа, но соглашался сделать это лишь открыто, не таясь от людей. Элоди отдавала должное столь благородному решению, но, отчаявшись вступить в брак, невозможный по многим причинам, и отказываясь вместе с тем кинуть вызов общественным приличиям, она в глубине души лелеяла мысль о тайной связи, которая, не бросаясь в глаза, с течением времени приобрела бы уважение окружающих. Она надеялась, что в один прекрасный день ей удастся преодолеть щепетильность своего слишком почтительного возлюбленного, и, не желая дольше откладывать необходимых признаний, она назначила ему свидание в безлюдном саду, близ монастыря картезианцев.

Взглянув на Эвариста с неподдельной нежностью, она взяла его за руку, усадила рядом с собой и заговорила, тщательно выбирая каждое слово:

— Я слишком уважаю вас, Эварист, чтобы таиться от вас. Я считаю себя достойной вас: я не была бы такой, если бы не сказала вам всего. Выслушайте меня и будьте моим судьей. Я не могу упрекнуть себя в подлом, низком или хотя бы корыстном поступке. Я была лишь слишком слаба и легковерна... Не упускайте из виду, мой друг, тяжелых обстоятельств, в которых я находилась. Вы знаете, я рано потеряла мать; отец, еще молодой человек, думал только о развлечениях и уделял мне мало внимания. Я выросла чувствительной девушкой: природа наделила меня нежным, любвеобильным сердцем, и, хотя она не отказала мне в здравом смысле, в ту пору чувство брало во мне верх над рассудком. Увы, оно и сейчас оказалось бы сильнее, если бы они оба — чувство и рассудок — не советовали мне, Эварист, отдаться вам безраздельно и навсегда!

Она выражалась сдержанно и вместе с тем энергично. Каждое слово ее было обдумано заранее; она уже давно решилась на эту исповедь: во-первых, потому, что обладала открытым характером, во-вторых, потому, что ей нравилось подражать Жан-Жаку, и, наконец, потому, что она благоразумно убеждала самое

себя: «Рано или поздно Эваристу откроется тайна, которая принадлежит не мне одной; добровольное признание возвысит меня в его глазах и избавит от позора разоблачений со стороны». Влюбчивая, покорная голосу природы, она считала себя не очень виновной, и потому эта исповедь не слишком тяготила ее; кроме того, она собиралась рассказать Эваристу лишь самое необходимое.

— Ах, дорогой Эварист, — вздохнула она, — почему мы с вами не встретились в то время, когда я была одна, покинутая?

Гамлен понял буквально просьбу Элоди быть ей судьей. Предрасположенный от природы и подготовленный литературным воспитанием к роли доморощенного блюстителя справедливости, он собирался выслушать признание Элоди.

Видя, что она колеблется, он знаком предложил ей говорить.

И она сказала совсем просто:

— Один молодой человек, обладавший помимо дурных качеств также и хорошими и выставлявший напоказ только хорошие, нашел меня довольно привлекательной и стал ухаживать за мной с настойчивостью, которая в нем могла показаться даже странной: он был во цвете лет, изящен и имел несколько любовниц, прелестных женщин, откровенно обожавших его. Не красотой и даже не умом пленил он меня... Ему удалось тронуть меня своей любовью, и я думаю, что он действительно меня любил. Он был нежен, предупредителен. Я не требовала от него ничего, кроме сердца, а сердце его было непостоянно... Я виню только себя: это — моя исповедь, а не его. Я не жалуюсь на него: ведь он стал мне чужим. О, клянусь вам, Эварист, его как будто и не существовало!

Она умолкла. Гамлен ничего не ответил; он скрестил руки на груди, мрачным взором он уставился на подругу. Он думал о ней и о своей сестре Жюли. Жюли тоже вняла уговорам любовника. Но, в отличие от несчастной Элоди, она дала себя увезти не потому, что по неопытности послушалась голоса сердца, а потому, что хотела найти вдали от своих роскошь и

наслаждения. Со свойственной ему суровостью Гамлен осудил сестру и склонен был осудить свою возлюбленную.

Элоди кротким голосом продолжала:

— Начитавшись философских книг, я верила, что все люди по самой природе своей честны *. К несчастью, судьба толкнула меня в объятия человека, который не был воспитан в школе природы и нравственности и которого общественные предрассудки, тщеславие, самолюбие и ложное понятие о чести сделали вероломным эгоистом.

Эти заранее заготовленные слова произвели желаемое впечатление. Взор Гамлена смягчился.

— Кто ваш соблазнитель? — спросил он. — Знаю ли я его?

— Вы его не знаете.

— Назовите его имя.

Она предвидела этот вопрос и твердо решила не отвечать на него.

— Избавьте меня от этого, прошу вас, — убеждала она его. — И без того я слишком много сказала вам, слишком много — и для себя и для вас.

Так как он продолжал настаивать, она прибавила:

— В интересах священной для нас любви я не скажу ничего, что позволило бы вам представить себе облик этого... чужого мне человека. Я не хочу давать пищу вашей ревности, не хочу ставить между вами и мной назойливый призрак. К чему теперь, когда я позабыла об этом человеке, вам о нем знать?

Гамлен все-таки добивался, чтобы она назвала имя соблазнителя: он упорно употреблял это слово, ибо не сомневался, что Элоди была соблазнена, обманута, пала жертвой своей доверчивости. Он даже не допускал мысли, что дело могло обстоять иначе, что Элоди уступила своему влечению, влечению непреодолимому, вняла тайному голосу плоти и крови; он не допускал мысли, что это сладострастное и нежное создание, эта очаровательная жертва любви отдалась добровольно; ему, в соответствии с его взглядами, надо было верить, что ею овладели силой или хитростью, что ее принудили к этому, что она попалась в одну из ловушек, расставленных на каждом шагу. Он задавал ей во-

просы, внешне сдержанные, но точные, сжатые и смущавшие ее. Он допытывался, как возникла эта связь, сколько она продолжалась, была ли она спокойной или бурной и как прекратилась. Без конца он осведомлялся, к каким средствам обольщения прибег этот человек, как будто это должны были быть какие-то необыкновенные, неслыханные приемы. Все эти вопросы он задавал напрасно. Молча взывая о пощаде, она смотрела на него кроткими, полными слез глазами и не проронила ни звука.

Но когда он пожелал узнать, где в настоящее время находится этот человек, она ответила:

— Он покинул королевство...

И сразу поправилась:

— ...Францию.

— Эмигрант! — вскричал Гамлен.

Она безмолвно взглянула на него, успокоенная и в то же время опечаленная тем, что он создал себе домысел, соответствовавший его политическим убеждениям, и, не имея на то никаких оснований, сообщил своей ревности якобинскую окраску.

В действительности же любовник Элоди был писец прокурора, очень красивый юноша, мелкий клерк с головой херувима, в которого она без памяти была влюблена, так что даже теперь, по прошествии трех лет, мысль о нем вызвала жар у нее в груди. Он искал близости с женщинами немолодыми, но богатыми, и оставил Элоди ради дамы, искушенной в науке страсти и щедро вознаграждавшей его заслуги. После упразднения старых учреждений он поступил на службу в парижскую мэрию, а в настоящее время был драгуном-санкюлотом и находился на содержании у бывшей дворянки.

— Аристократ! Эмигрант! — повторял Гамлен, а она не разуверяла его, так как совсем не хотела, чтобы он знал всю правду. — И он подло бросил тебя?

Она наклонила голову.

Он прижал ее к сердцу.

— Дорогая жертва безнравственного самовластья! Я отомщу этому гнусному развратнику! Только бы небо помогло мне встретить его! Я узнаю его!

Она отвернулась, улыбаясь, но в то же время огорченная и разочарованная. Ей хотелось, чтобы он был смышленее в делах любви, проще, грубее. Она сознавала, что он простил ее так скоро только потому, что обладал недостаточно пылким воображением, что ее исповедь не пробудила в нем ни одной из тех картин, которые так мучительны для людей чувственных, и, наконец, потому, что он увидел в ее обольщении лишь факт морального и социального значения.

Они поднялись и пошли по зеленым аллеям сада. Он говорил ей, что еще больше уважает ее за пережитые страдания. Элоди этого и не требовала. Она любила его, каков он есть, и восхищалась его талантливостью, которую считала бесспорной.

По выходе из Люксембургского сада они увидели на улице Равенства и вокруг Национального театра большое скопление народа, что не было для них неожиданностью, — уже несколько дней в наиболее патриотически настроенных секциях царило сильное возбуждение: там раскрыли заговор орлеанистов * и сообщников Бриссо, которые, по слухам, поставили себе целью погубить Париж и перебить всех республиканцев. Гамлен сам еще недавно подписал петицию Коммуны, требовавшую исключения из Конвента группы «Двадцати одного».

Прежде чем пройти под аркой, соединявшей театр с соседним домом, им пришлось пробраться сквозь толпу граждан в карманьолах, к которым, стоя на галерее, обращался с речью молодой военный в шлеме, обтянутом шкурой пантеры. Этот красавец, который мог бы поспорить наружностью с «Эротом» Праксителя *, обвинял Друга Народа в беспечности.

— Ты спишь, Марат, — восклицал он, — а федералисты меж тем куют для нас оковы!

Как только Элоди заметила его, она взволнованно обратилась к Гамлену:

— Уйдем отсюда, Эварист!

Толпа, говорила она, пугает ее: она боится упасть в обморок в этой давке.

Они расстались на Национальной площади, обменявшись клятвами в вечной любви.

В тот же день, рано утром, гражданин Бротто принес в подарок гражданке Гамлен великолепного каплуна. С его стороны было бы крайней неосторожностью рассказать, каким образом он раздобыл его, ибо он получил его от рыночной торговки, которой иногда писал письма, примостившись у одного из выступов церкви св. Евстафия, а ни для кого не было тайной, что рыночные торговки питают роялистские чувства и поддерживают сношения с эмигрантами. Гражданка Гамлен с признательностью приняла каплуна. Такой птицы давно уже никто не видывал: съестные припасы дорожали с каждым днем. Народ опасался голода; аристократы, по слухам, желали, а спекулянты всеми способами подготовляли его.

Гражданин Бротто, которого пригласили полакомиться каплуном, явившись в полдень, пришел в восхищение от приятного запаха стряпни и высказал это хозяйке. В самом деле, мастерская художника была полна благоуханием жирного бульона.

— Вы очень любезны, сударь, — ответила старушка. — Чтобы подготовить желудки к восприятию вашего каплуна, я сварила суп из зелени, положив туда корочку свиного сала и толстую говяжью кость. Ничто не придает такого аромата супу, как мозговая кость.

— Весьма похвальное суждение, гражданка, — заметил старик Бротто. — Вы поступите вполне благоразумно, если завтра, послезавтра и до конца недели будете класть драгоценную кость в кастрюлю, — она придаст супу аромат. Сивилла из Панзуста * поступала именно таким образом: она варила похлебку из свежей капусты с корочкой пожелтевшего свиного сала и с уже бывшим в употреблении саворадо. Саворадо у нее на родине — кстати сказать, это и моя родина — называют мозговую кость, которая так вкусна и питательна.

— А не находите ли вы, сударь, что дама, о которой вы говорите, была слишком уж расчетлива, варя так долго одну и ту же кость? — заметила гражданка Гамлен.

— Она жила очень скромно, — ответил Бротто. — Она очень нуждалась, хотя и была прорицательницей.

В эту минуту вошел Эварист Гамлен. Глубоко взволнованный только что сделанными ему признаниями, он дал себе слово выяснить, кто соблазнитель Элоди, чтобы отомстить одновременно и за Республику и за любимую женщину.

Обменявшись с Эваристом обычными приветствиями, гражданин Бротто продолжал:

— Лишь в самых редких случаях люди, занимающиеся предсказанием судьбы, наживают себе состояние. Их проделки очень скоро всплывают наружу. Их начинают ненавидеть за обман. Но их следовало бы ненавидеть еще больше, если бы они действительно предрекали будущее. Ведь жизнь человека стала бы невыносима, если бы он знал, что с ним должно приключиться. Его взору предстали бы все грядущие несчастья, и он страдал бы от них заранее и уже не мог бы наслаждаться благами, отпущенными ему судьбой, так как предвидел бы их конец. Неведение — условие, необходимое для человеческого счастья, и надо признать, что чаще всего люди вполне удовлетворяют этому требованию. О самих себе мы не знаем почти ничего, о наших ближних — ничего. Неведение обеспечивает нам спокойствие, а ложь — счастье.

Гражданка Гамлен поставила миску с супом на стол, прочла Benedicite [1], усадила сына и гостя, а сама принялась есть стоя, отказавшись от предложения Бротто сесть рядом с ним, так как, объяснила она, ей известно, к чему ее обязывает учтивость.

VI

Десять часов утра. Ни ветерка. Такого жаркого июля еще не помнили. На узкой Иерусалимской улице около сотни граждан местной секции стояло в очереди перед дверьми булочной; четыре национальных гвардейца, опустив ружья и покуривая трубки, наблюдали за порядком.

---

[1] Католическая молитва, которую читают перед едой.

Национальный конвент установил твердые цены — тотчас же исчезли зерно и мука. Подобно израильтянам в пустыне, парижане, не желавшие голодать, подымались до света. Все эти люди — мужчины, женщины, дети — напирали на соседей, толкались, перекликались, смотрели друг на друга со всеми чувствами, какие только может испытывать человек к своему ближнему: с ненавистью, отвращением, любопытством, вожделением, равнодушием, а раскаленное небо нагревало гниющие отбросы в канавах и обостряло запах пота и грязи. На основании горького опыта было известно, что хлеба на всех не хватит, поэтому опоздавшие старались пролезть вперед; те, кого оттесняли, разражались жалобами, возмущались, тщетно ссылались на свое попранное право. Женщины с ожесточением работали локтями и бедрами, чтобы сохранить за собой место или пробраться ближе. Когда давка увеличивалась, подымались крики: «Не толкайтесь!» И каждый оправдывался, утверждая, что его толкают.

Дабы избежать этих ежедневных беспорядков, комиссары, уполномоченные секцией, распорядились протянуть от дверей булочной до конца очереди веревку, за которую все должны были держаться. Однако руки стоявших рядом то и дело сталкивались и вступали в борьбу. Выпустивший веревку уже не имел возможности снова ухватиться за нее. Недовольные или просто озорники перерезали ее, и от этой меры пришлось отказаться.

В очереди задыхались, теряли сознание, обменивались остротами, вольными замечаниями, ругали аристократов и федералистов, виновников всех бед. Когда мимо пробегала собака, шутники называли ее Питтом. Порой раздавалась звонкая пощечина, отпущенная какому-нибудь нахалу одной из оскорбленных им гражданок, между тем как молоденькая служанка, прижатая соседом, томно вздыхала, потупив взор, полураскрыв рот. На каждое слово, на каждый жест, на каждое положение, способные привести веселых французов в игривое настроение, кучка юных озорников затягивала «Ça ira», не обращая внимания на протесты старого якобинца, возмущенного тем, что опошляют грязными

намеками припев, выражавший республиканскую веру в грядущую справедливость и всеобщее счастье.

С лестницей под мышкой подошел расклейщик афиш и налепил на стене против булочной объявление Коммуны о введении мясного пайка. Прохожие останавливались и читали еще не успевшую просохнуть бумагу. Торговка капустой, с плетенкой за плечами, заворчала сиплым, надтреснутым голосом:

— Ну, теперь поминай как звали наших бычков! Теперь ветер загуляет у нас в кишках!

Вдруг из сточной канавы потянуло такой чудовищной вонью, что многих стошнило; одной женщине стало дурно, и ее без чувств сдали на руки двум национальным гвардейцам, которые оттащили ее в сторону, к насосу. Люди затыкали себе нос; поднялся ропот, обменивались отрывистыми замечаниями, в которых сквозило беспокойство и страх. Допытывались, не закопана ли здесь дохлятина, не положили ли сюда злоумышленники отраву, или — это казалось правдоподобнее всего — не разлагается ли забытое поблизости в одном из погребов тело какого-нибудь дворянина или священника, убитого в сентябрьские дни *.

— Разве их сваливали здесь?

— Их сваливали повсюду!

— Это, должно быть, один из тех, с которыми расправились в Шатле. Второго числа я видел триста трупов, нагроможденных в кучу на мосту Менял.

Парижане боялись, как бы мертвые аристократы из мести не отравили их.

Эварист Гамлен стал в очередь: он решил избавить старуху мать от утомительного стояния. Вместе с ним пришел его сосед, гражданин Бротто, спокойный, улыбающийся, с Лукрецием в оттопыренном кармане коричневого сюртука.

Славный старик восхищался этой сценой: она представлялась ему сюжетом из простонародной жизни, достойным кисти современного Тенирса *.

— Эти грузчики и кумушки занимательнее греков и римлян, так полюбившихся в настоящее время нашим художникам, — сказал он. — Что касается меня, я всегда питал пристрастие к фламандскому жанру.

Из благоразумия и из чувства такта он не упомянул о том, что в свое время у него была целая галерея голландских картин, с которой по числу и подбору полотен могло сравниться только собрание г-на де Шуазеля.

— Прекрасна только древность и то, что ею вдохновлено, — возразил художник, — тем не менее я готов согласиться, что простонародные сюжеты Тенирса, Стена, Остаде * гораздо выше ничего не стоящей мазни Ватто, Буше или Ван-Лоо: * людские существа у них изображены уродливыми, но они не опошлены, как у какого-нибудь Бодуэна * или Фрагонара.

Мимо прошел продавец газет, выкликая:

— Бюллетень Революционного трибунала! Список осужденных!

— Одного Революционного трибунала недостаточно, — заметил Гамлен. — Надо учредить трибунал в каждом городе... Да что я! В каждой коммуне, в каждом кантоне. Необходимо, чтобы все отцы семейств, все граждане сделались судьями. Когда нации угрожают пушки неприятеля и кинжалы изменников, милосердие — тягчайшее преступление. Подумать только, Лион, Марсель, Бордо восстали, Корсика охвачена возмущением, Вандея в огне, Майнц и Валансьен во власти коалиции, измена — всюду: в городах, в деревнях, в лагерях; измена заседает на скамьях Национального конвента, измена с картою в руке принимает участие в военных советах наших полководцев!.. Пусть же гильотина спасет отечество!

— У меня нет существенных возражений против гильотины, — ответил старик Бротто. — Природа, моя единственная наставница и учительница, в самом деле не дает мне никаких указаний на то, что жизнь человеческая представляет собою какую-либо ценность; напротив, она всячески учит, что человеческая жизнь ничего не стоит. По-видимому, единственное назначение всякого живого существа — стать пищей другого существа, предназначенного в свою очередь для той же цели. Убийство не противоречит естественному праву, — следовательно, смертная казнь вполне законна, если только к ней прибегают не ради добродетели и

справедливости, а из необходимости или ради выгоды. Должен, однако, признаться, что у меня, вероятно, извращенный инстинкт, так как я не выношу зрелища крови, и эту противоестественную черту не в состоянии побороть вся моя философия.

— Республиканцы — люди гуманные и чувствительные, — снова заговорил Эварист. — Одни только деспоты утверждают, будто смертная казнь — необходимый атрибут власти. Державный народ со временем отменит ее. Робеспьер выступил против нее, и все патриоты были на его стороне; чем скорее будет издан декрет об ее отмене, тем лучше. Однако в действие его можно будет ввести не раньше, чем последний враг Республики погибнет, сраженный мечом закона.

За Гамленом и Бротто уже стали в ряд запоздавшие, по преимуществу женщины из этой секции; среди них обращали на себя внимание рослая красивая «вязальщица» в косынке и деревянных башмаках, опоясанная саблей, хорошенькая блондинка, растрепанная, в измятом платке, и молодая мать, худая и бледная, кормившая грудью хилого ребенка.

Младенец, которому не хватало молока, кричал, но крик был слабый, и ребенок захлебывался от рыданий. Он был жалкий и маленький, с прозрачным сморщенным личиком, с воспаленными глазами; мать с нежностью и скорбью смотрела на него.

— Да он совсем крохотный, — сказал Гамлен, оборачиваясь к несчастному стонущему младенцу, прижатому к его спине напиравшей толпой.

— Ему полгодика, моему сокровищу!.. Отец в армии: он из тех, что отбросили австрийцев в Конде. Зовут его Дюмонтей (Мишель); по профессии он приказчик в суконной лавке. Записался на подмостках, которые соорудили перед ратушей. Бедняжка, он хотел защищать родину, а заодно повидать свет... Он пишет, что надо запастись терпением. Но как же мне кормить Поля (моего сыночка зовут Полем)... когда мне самой нечего есть?

— Да мы тут еще час протолчемся, а вечером предстоит та же церемония у дверей бакалейщицы! — вос-

кликнула хорошенькая блондинка. — Ради трех яиц и кусочка масла рискуешь жизнью!

— Масла! — вздохнула гражданка Дюмонтей. — Я его уже месяца три как не видала!

И женщины хором стали жаловаться на недостаток и дороговизну продовольствия, проклинать эмигрантов, возмущаться, что не отправляют на гильотину комиссаров секции, раздающих всяким потаскухам, в награду за их презренные ласки, четырехфунтовые хлебы и откормленных кур. Передавали тревожные слухи о коровах, потопленных в Сене, о мешках муки, высыпанных в сточные канавы, о хлебе, брошенном в отхожие места... Все это дела роялистов, роландистов, бриссотинцев — они поставили себе целью уморить голодом население Парижа.

Вдруг хорошенькая блондинка в измятом платке подняла такие вопли, как будто на ней загорелась юбка; она трясла ее изо всех сил, выворачивала карманы, заявляя, что у нее вытащили кошелек.

При вести о краже эта толпа простонародья, громившая особняки Сен-Жерменского предместья и врывавшаяся в Тюильри, но не польстившаяся на чужое добро, загорелась негодованием; все эти ремесленники и хозяйки с легким сердцем сожгли бы Версальский дворец, но сочли бы для себя величайшим позором унести оттуда хотя бы булавку. Молодые озорники попробовали было отпустить несколько колких замечаний, издеваясь над потерпевшей красоткой, но общий ропот заглушил их остроты. Уже поговаривали о том, что надо вздернуть вора на фонарь. Шумно и пристрастно стали доискиваться виновника. Рослая «вязальщица», указывая пальцем на старика, смахивающего на расстриженного монаха, клялась, что это дело рук «капуцина». Толпа, без колебаний поверив ее словам, потребовала немедленной расправы.

Старик, на которого так неожиданно обрушилось обвинение, все время скромно стоял впереди гражданина Бротто. Правду сказать, он сильно походил на бывшего монаха. Держался он с большим достоинством, хотя и был испуган неистовством толпы, пробудившим в нем еще свежее воспоминание о сентябрьских днях.

Страх, написанный у него на лице, подтверждал подозрения, ибо простой народ убежден, что только виновные боятся его суда, как будто поспешность, с которой он выносит свои необдуманные приговоры, не может напугать и ни в чем не повинного.

Бротто поставил себе правилом никогда не идти наперекор чувствам толпы, особенно когда они принимают нелепые и жестокие формы, «ибо в этих случаях, — говаривал он, — глас народа — глас божий». Но Бротто был непоследователен: он заявил, что этот человек, капуцин ли он, или нет, не мог украсть кошелек у гражданки, так как ни на одно мгновение не подходил к ней.

Толпа решила, что тот, кто защищает вора, — его сообщник, и теперь речь шла уже о расправе с двумя злоумышленниками; когда же Гамлен поручился за Бротто, то наиболее благоразумные стали поговаривать, что и его вместе с обоими надо отправить в секцию.

Вдруг хорошенькая блондинка радостно закричала, что нашла кошелек. Тотчас же на нее заулюлюкали и даже пригрозили высечь ее на глазах у всех присутствующих, как пороли монахинь.

— Позвольте поблагодарить вас за ваше заступничество, сударь, — обратился монах к Бротто. — Мое имя ничего не скажет вам, но все же разрешите представиться: меня зовут Луи де Лонгмар. Я действительно монах, но не капуцин, как утверждали эти женщины. Это глубоко неверно: я принадлежу к ордену варнавитов, которому церковь обязана столькими учеными и святыми. Те, которые ведут происхождение ордена от святого Карла Борромео, ошибаются: подлинным его учредителем следует считать святого апостола Павла; недаром его имя значится на гербе ордена. Мне пришлось покинуть монастырь, когда в нем обосновалась секция Нового моста, и одеться мирянином.

— Ваша внешность, отец мой, в достаточной мерз свидетельствует, что вы не отреклись от своего звания, — заметил Бротто, рассматривая долгополую хламиду Лонгмара. — Глядя на вас, можно скорее подумать, что вы реформировали свой орден, а не вышли

из него совсем. В этом строгом одеянии вы добровольно подвергаете себя поношениям нечестивой черни.

— Не могу же я щеголять в голубом фраке, словно какой-нибудь танцор, — возразил монах.

— Отец мой, я позволил себе сделать замечание по поводу вашего платья только потому, что мне хотелось воздать должное вашему мужеству и обратить ваше внимание на опасности, которые вам угрожают.

— Было бы лучше, сударь, если бы вы, наоборот, поддержали во мне стремление исповедовать мою веру, ибо я и так склонен бояться опасностей. Я перестал носить монашеское одеяние, а это уже некоторое отступничество; я хотел по крайней мере не покидать крова, под которым, по милости божьей, прожил столько лет вдали от мирской суеты. Мне разрешили остаться в своей келье, между тем как церковь и монастырь превратили в маленькую ратушу, которую они называют секцией. У меня на глазах, сударь, у меня на глазах сбивали со стен эмблемы святой истины; у меня на глазах, на том самом месте, где красовалось имя апостола Петра, водрузили колпак каторжника. Иногда я даже присутствовал на совещаниях секции и слышал, как там высказывались глубоко ошибочные суждения. В конце концов я покинул этот оскверненный кров и на пенсию в сто пистолей, которую мне назначило Учредительное собрание, поселился в конюшне, откуда всех лошадей забрали для нужд армии. Там я служу обедню для нескольких верующих, которые своим присутствием утверждают непреходящую жизнь Церкви Христовой.

— Меня, отец мой, — ответил его собеседник, — зовут, если вам угодно знать, Бротто, и в прежнее время я был мытарем.

— Сударь, — возразил отец Лонгмар, — пример апостола Матфея показывает, что и от мытаря можно услышать слово истины.

— Вы слишком любезны, отец мой.

— Гражданин Бротто, — обратился к нему Гамлен, — неужели вас не приводит в восхищение этот народ, алчущий справедливости больше, чем хлеба? Ведь каждый здесь был готов потерять свое место, лишь бы

наказать вора. Эти мужчины и женщины, бедняки, испытывающие нужду в самом необходимом, безукоризненно честны и не могут примириться с бессовестным поступком.

— Надо признаться, — ответил Бротто, что, стремясь во что бы то ни стало повесить вора, эти люди могли оказать плохую услугу почтенному монаху, его защитнику и защитнику его защитника. В данном случае они руководились любостяжанием и эгоистической привязанностью к собственности: вор, обокрав одного из них, угрожал всем; наказывая его, они предохраняли себя... Впрочем, вполне возможно, что большинство этих ремесленников и хозяек честны и относятся с уважением к чужому добру. Чувства эти с детства были внушены им отцами и матерями, которые не жалели розог, внедряя добродетель через то место, откуда растут ноги.

Гамлен не скрыл от старика, что подобная речь представляется ему недостойной философа.

— Добродетель свойственна человеку от рождения, — сказал он, — семена ее заложены богом в сердце каждого смертного.

Старик Бротто был атеист, и атеизм являлся для него неисчерпаемым источником наслаждений.

— Я вижу, гражданин Гамлен, что вы революционер, лишь поскольку речь идет о делах земных; что же касается дел небесных — вы консерватор и даже реакционер. Робеспьер и Марат — такие же ретрограды, как вы. Мне кажется странным, что французы, уже не признающие над собою власти смертного самодержца, упорно цепляются за самодержца бессмертного, куда более деспотического и свирепого. Ибо что такое Бастилия и даже чрезвычайный суд с его приговорами к сожжению по сравнению с адом? Человечество создает себе богов по образцу своих тиранов, а вы, отвергая оригинал, сохраняете копию!

— О! Гражданин! И вам не стыдно вести такие речи? — воскликнул Гамлен. — Как можете вы смешивать мрачные божества, порожденные невежеством и страхом, с творцом природы. Вера в благостного бога — необходимое условие нравственности. Верховное суще-

ство — источник всех добродетелей: нельзя быть республиканцем, не веруя в бога. Робеспьер отлично сознавал это, когда распорядился убрать из залы заседаний якобинцев бюст философа Гельвеция *, ибо Гельвеций, внушая французам идеи безбожия, тем самым предрасполагал их к рабству... Надеюсь по крайней мере, гражданин Бротто, что, когда республика установит культ Разума, вы не откажетесь стать последователем столь мудрой религии.

— Я люблю разум, но я не фанатический его поклонник, — ответил Бротто. — Разум руководит нами и служит нам светочем: когда вы сделаете из него божество, он ослепит вас и будет толкать на преступления.

И Бротто продолжал рассуждать, стоя в канаве, точно так же, как делал это прежде, сидя в одном из тех позолоченных кресел барона Гольбаха *, которые, по его выражению, служили основой философии природы.

— Жан-Жак Руссо, человек не совсем бездарный, особенно в области музыки, был пустомеля, — говорил Бротто, — он воображал, будто выводит свою философию из природы, а на самом деле заимствовал ее у Кальвина *. Природа учит нас пожирать друг друга и являет нам пример всех преступлений и пороков, которые общественный строй исправляет или облекает покровом приличия. Надо любить добродетель, но не мешает знать, что это всего лишь средство, придуманное людьми ради удобства совместной жизни. То, что мы называем нравственностью, есть безнадежное посягательство нам подобных на мировой порядок, сущность которого — борьба, взаимоистребление и слепая игра враждебных сил. Нравственность сама себя уничтожает, и чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что весь мир одержим бешенством. Богословы и философы, объявляющие бога творцом природы и зодчим вселенной, изображают его нелепым и злым. Они говорят о его благости, потому что боятся его, но вынуждены признать, что дела его крайне жестоки. Они приписывают ему злобу, редкую даже у человека. Именно этим способом они внушают к нему благоговение. Ибо жалкий род людской не создал бы

культа справедливых и милосердных божеств, которых ему нечего было бы бояться, и не питал бы к ним ненужной признательности за их благодеяния. Без чистилища и без ада господь бог был бы ничтожнейшим из всех существ.

— Сударь, — вмешался отец Лонгмар, — не говорите о природе: вы ее не знаете.

— Смею вас уверить, что знаю ее так же хорошо, как и вы, отец мой!

— Вы не можете знать ее, ибо вы человек неверующий, а только вера учит нас тому, чт*о* представляет собою природа, чт*о* в ней добро и каким образом ее извратили. Впрочем, не думайте, что я собираюсь возражать вам: господь не одарил меня ни пламенным красноречием, ни достаточной силой ума, чтобы я мог опровергнуть ваши заблуждения. Боюсь, как бы, по неумению своему, я не подал вам лишнего повода к богохульству и еще большему ожесточению, так что, несмотря на мое горячее желание быть вам полезным, единственным плодом моего навязчивого благожелательства могло бы оказаться...

Речь его прервал громкий гул голосов, прокатившийся от начала до конца очереди и возвестивший голодным людям, что двери булочной отпирают. Все стали подвигаться вперед, но чрезвычайно медленно. Национальный гвардеец впускал покупателей по одному. Булочнику, стоявшему за прилавком вместе с женою и подмастерьем, помогали два гражданских комиссара с трехцветной повязкой на левой руке, проверявшие, принадлежит ли потребитель к этой секции, и следившие за тем, чтобы он получил лишь то количество хлеба, какое полагалось ему по числу ртов в семье.

Гражданин Бротто видел конечную цель жизни в поисках наслаждений: он полагал, что разум и чувства, за отсутствием богов, — единственные судьи человека, не могут иметь иной цели. Поэтому, найдя, что речи художника слишком фанатичны, а речи монаха слишком просты, чтобы доставить какое бы то ни было удовольствие, этот мудрый человек, стремясь согласовать при данных обстоятельствах свое поведение со своими философскими убеждениями и скрасить томительное

ожидание, вытащил из оттопыренного кармана своего коричневого сюртука томик Лукреция, бывший для него источником самых драгоценных утех и подлинного удовлетворения. Красный сафьяновый переплет был сильно потрепан от постоянного употребления; кроме того, гражданин Бротто благоразумно соскреб с него три тисненных золотом островка * — герб, за который его отец, откупщик, в свое время заплатил немалые деньги. Он раскрыл книгу на той странице, где поэт-философ, желая исцелить мужчин от напрасных мук любви, рассказывает о женщине, которую он застал в объятиях ее служанок в позе, способной оскорбить чувства любовника. Гражданин Бротто, перечитывая эти стихи, в то же время поглядывал на золотистый затылок своей хорошенькой соседки и сладострастно вдыхал запах влажной кожи этой замарашки. Поэт Лукреций признавал только одну мудрость; его ученик Бротто был многостороннее.

Он читал, подвигаясь каждые четверть часа на два шага. Тщетно в его слух, наслаждавшийся величавым и разнообразным ритмом латинской музы, пытались вторгнуться крикливые жалобы кумушек на дороговизну хлеба, сахара, кофе, свечей и мыла. Так, невозмутимо спокойный, дошел он до двери булочной. Стоя за ним, Эварист Гамлен видел у него над головой золоченый сноп на железной решетке дверной фрамуги.

Художник в свою очередь вошел в булочную: корзины и полки были пусты. Булочник отпустил ему последний кусок хлеба, в котором не было и двух фунтов. Эварист заплатил, и за ним тотчас же закрыли решетку из опасения, как бы возмущенный народ не ворвался в булочную. Но страхи эти были напрасны: бедные люди, приученные к подчинению своими прежними угнетателями и нынешними освободителями, поплелись прочь, понурив головы.

Дойдя до угла, Гамлен увидел гражданку Дюмонтей. Бледная, без кровинки в лице, сидела она на тумбе с младенцем на руках. Она не двигалась, не плакала, не глядела. Ребенок жадно сосал ее палец. Гамлен на мгновение задержался перед ней, растеряв-

шись, не зная, что делать. Она, казалось, не замечала его.

Он пробормотал несколько несвязных слов, затем вынул из кармана складной нож с роговым черенком, разрезал хлеб пополам и положил половину на колени молодой матери, которая с удивлением посмотрела на него, но он уже скрылся за углом.

Вернувшись домой, Эварист застал мать у окна за штопаньем чулок. Он с веселой улыбкой вручил ей остаток хлеба.

— Простите, матушка, но я очень устал, простояв так долго в очереди, на жаре, на улице, и по дороге домой съел по кусочку половину пайка. Осталась только ваша доля.

И он притворился, будто стряхивает крошки с жилета.

VII

Вдова Гамлен как-то заметила, припомнив старинное изречение: «Питаясь одними каштанами, сам станешь каштановым». В тот день, 13 июля, они с сыном пообедали в полдень кашицей из каштанов. Когда они кончали скромную трапезу, дверь распахнулась, и в мастерскую вошла дама, сразу наполнив все помещение блеском своей особы и запахом духов. Эварист узнал гражданку Рошмор. Решив, что она ошиблась дверью, разыскивая своего давнишнего друга, гражданина Бротто, он уже собрался показать ей ход на чердак, где жил бывший дворянин, или позвать Бротто вниз, чтобы не заставлять изящную женщину карабкаться по приставной лесенке; однако, как выяснилось сразу, ей нужен был именно гражданин Эварист Гамлен: по его словам, она была счастлива, что застала его дома и может засвидетельствовать ему свое почтение.

Они были немного знакомы: несколько раз встречались в мастерской Давида, в местах для зрителей на заседаниях Учредительного собрания, у якобинцев, у ресторатора Венюа: красота, молодость и незаурядная внешность Эвариста привлекли ее внимание.

Шляпа гостьи была перевита лентами, словно пастушья свирель, и украшена султанами из перьев, словно головной убор посланника; в парике, надушенная мускусом, облепленная мушками, гражданка Рошмор под густым слоем румян и белил еще сохранила свежесть кожи: все эти яростные ухищрения моды свидетельствовали о лихорадочной жажде жизни тех ужасных дней, когда никто не был уверен в будущем. Корсаж с большими отворотами и длинными басками, сверкавший огромными стальными пуговицами, был кроваво-красного цвета, но трудно было бы сказать, является ли этот цвет эмблемой жертв или палача, — до того гражданка Рошмор производила одновременно впечатление и аристократки и революционерки. Ее сопровождал молодой военный, драгун.

С длинной перламутровой тростью в руке, высокая, полная, пышногрудая, красивая, она обходила мастерскую и, поднося к серым глазам золотой лорнет, разглядывала висевшие по стенам полотна. Улыбаясь, громко выражая свой восторг, вызванный красотою художника, она рассыпалась в похвалах, чтобы в свою очередь заслужить похвалы.

— Что это? Что означает эта картина? — спросила гражданка. — Какой благородный и трогательный вид у этой прекрасной кроткой женщины, склонившейся к юному больному!

Гамлен объяснил, что это «Электра у изголовья Ореста» и что, если бы ему удалось окончить картину, она, пожалуй, была бы наиболее удачным его произведением.

— Сюжет заимствован из Еврипидова «Ореста», — прибавил он. — Я как-то прочел в одном старинном переводе этой трагедии сцену, которая привела меня в восторг: юная Электра, приподняв брата на ложе скорби, вытирает пену на губах страдальца, поправляет волосы, падающие ему на глаза, и умоляет горячо любимого брата выслушать ее, пока безмолвствуют фурии... Перечитав несколько раз это место, я все-таки чувствовал, что мой взор застилает как бы туман, мешающий мне различать греческие формы, и я никак не мог его рассеять. Мне казалось, что текст ориги-

нала должен звучать несколько иначе и во всяком случае взволнованнее. Охваченный горячим желанием получить о нем ясное понятие, я попросил господина Геля, преподававшего тогда (это было в девяносто первом году) греческий язык во французском коллеже, перевести мне эту сцену дословно. Он исполнил мою просьбу, и я убедился, что древние гораздо проще и безыскусственнее, чем мы воображаем. Так, например, Электра говорит Оресту: «Любимый брат, как я рада, что ты уснул! Хочешь, я помогу тебе привстать?» А Орест отвечает: «Да, помоги мне, приподыми меня, вытри пену, засохшую на губах и на глазах. Прижми меня к своей груди и поправь мне волосы: они закрывают мне глаза...» Взволнованный до глубины души этой поэзией, столь юной и столь живой, этими словами, наивными и в то же время исполненными силы, я сделал этот набросок, привлекший к себе ваше внимание, гражданка.

Художник, обычно высказывавшийся крайне сдержанно о своих произведениях, по поводу этой картины мог говорить без конца. Ободренный знаком, который ему сделала гражданка Рошмор, поднося лорнет к глазам, он продолжал:

— Эннекен мастерски изобразил ярость Ореста. Но Орест волнует нас своей скорбью еще больше, чем яростью. Как трагична его судьба! Движимый сыновней любовью, покорный священному долгу, совершил он преступление, в котором боги должны его оправдать, но которого люди ему никогда не простят. Чтобы отомстить за поруганную справедливость, он преступил законы естества, отрекся от своей человеческой природы, вырвал сердце из своей груди. Он гордо несет бремя своего ужасного и доблестного злодеяния... Вот что мне хотелось выразить этой группой.

Подойдя к холсту, он любовно разглядывал его.

— Некоторые места дописаны почти совсем, — заметил он, — например, голова и рука Ореста.

— Восхитительная вещь... А Орест похож на вас, гражданин Гамлен.

— Вы находите? — с мрачной улыбкой заметил художник.

Она села на стул, который ей пододвинул Гамлен. Молодой драгун, стоя подле нее, оперся рукой на спинку стула. Уже одно это свидетельствовало о том, что произошла революция: при старом режиме мужчина никогда не позволил бы себе в обществе даже пальцем дотронуться до кресла, в котором сидит дама; мужчины тогда были воспитаны в правилах вежливости, иногда весьма стеснительных, и, кроме того, считали, что сдержанность в обществе придает особую цену вольному обращению с глазу на глаз и что, дабы потерять уважение, надлежит его иметь.

Луиза Маше-де-Рошмор, дочь поручика королевского егерского полка, вдова прокурора и в течение двадцати лет верная подруга финансиста Бротто дез Илетта, примкнула к новым идеям. В июле 1790 года видели, как она рыла землю на Марсовом поле *. Свою неодолимую склонность к властям предержащим она легко перенесла с фельянов на жирондистов, затем на монтаньяров, но в то же время, в силу врожденной любви к компромиссам, чрезмерной общительности и какой-то страсти к интригам, гражданка Рошмор не порывала связи с аристократами и контрреволюционерами. Это была особа, знакомая решительно со всеми, посещавшая кабачки, театры, модных рестораторов, игорные дома, салоны, редакции газет, приемные комитетов. Революция принесла ей всякие новшества, развлечения, удовольствия, радости, дела, доходные предприятия. Заводя политические и любовные интриги, играя на арфе, рисуя пейзажи, исполняя романсы, танцуя греческие танцы, задавая ужины, принимая у себя красивых женщин, вроде графини де Бофор или актрисы Декуэн, просиживая ночи напролет за игрой в тридцать одно, бириби или рулетку, она находила еще время для друзей, которых не оставляла своим вниманием. Любопытная, деятельная, взбалмошная, фривольная, изучив мужчин, но совсем не зная толпы, чуждая взглядам, которые она разделяла в той же мере, что и те, которые она принуждена была отвергать, решительно не понимая того, что творится во Франции, она была предприимчива, смела в отважна, как потому, что не сознавала опасности, так

и потому, что безгранично верила в могущество своих чар.

Сопровождавший ее военный был совсем молодой человек. Медный шлем, украшенный шкурой пантеры, с гребнем, отделанным пунцовой синелью, отбрасывал тень на его лицо, напоминавшее херувима, а страшная длинная грива ниспадала на спину. Красная куртка в форме нагрудника доходила лишь до бедер, чтобы не скрывать их изящного изгиба. У пояса висел огромный палаш со сверкающей рукоятью в виде орлиного клюва. Бледно-голубые штаны, застегивавшиеся сбоку, плотно облегали его красивые ноги, пышные узоры темно-синего сутажа украшали ляжки. У него был вид танцовщика, наряженного для воинственной и галантной роли, чтобы какой-нибудь ученик Давида, стремящийся лаконично передать формы, мог писать с него «Ахилла на Скиросе» или «Бракосочетание Александра».

Гамлен смутно помнил, что где-то уже встречал его. Действительно, это был тот самый военный, которого он недели две тому назад видел на галерее Национального театра ораторствующим перед толпой.

Гражданка Рошмор представила его:

— Гражданин Анри, член Революционного комитета секции Прав Человека.

Она всюду таскала его с собой: он был для нее зеркалом любви и живой порукой ее патриотизма.

Гражданка еще раз рассыпалась в похвалах таланту Гамлена и спросила, не согласится ли он написать вывеску для модистки, которой ей хотелось бы помочь. Он мог бы изобразить подходящий сюжет: например, женщину, примеряющую шарф перед «псише» *, или юную мастерицу со шляпной картонкой в руке.

Как на людей, способных выполнить эту небольшую работу, ей указали на Фрагонара-сына, на молодого Дюсиса, а также на некоего Прюдона, но она предпочла обратиться к Эваристу Гамлену. Однако она не высказалась определенно по этому поводу, и вообще чувствовалось, что заказ был лишь предлогом, чтобы завязать разговор. На самом деле ее привело сюда нечто совсем другое. Зная, что гражданин Гамлен знаком с гражданином Маратом, она просила оказать ей

услугу и познакомить ее с Другом Народа *, с которым она желала побеседовать.

Гамлен ответил, что он человек слишком незначительный, чтобы ввести ее в дом к Марату, и что вообще ей не нужно никакого посредника: как ни занят Марат, он все-таки, вопреки молве, доступен любому гражданину.

И Гамлен прибавил:

— Он примет вас, гражданка, если вы несчастны, ибо у него великое сердце, отзывчивое на страдания и жалостливое к скорбящим. Он примет вас, если вы намерены сделать ему какое-нибудь сообщение, касающееся общественного блага: он посвятил себя делу разоблачения изменников.

Гражданка Рошмор ответила, что она была бы счастлива приветствовать в лице Марата знаменитого гражданина, оказавшего отечеству великие услуги, способного оказать в дальнейшем еще бóльшие, и что она хотела бы свести этого законодателя с богатыми филантропами, которые имеют благие намерения и могли бы дать ему новые средства удовлетворить его пылкую любовь к человечеству.

— Хотелось бы привлечь богачей к деятельности на пользу общества, — прибавила она.

На самом же деле гражданка обещала банкиру Morхардту свести его за обедом с Маратом.

Швейцарец, как и Друг Народа, Морхардт вошел в соглашение с несколькими членами Конвента — Жюльеном (из Тулузы), Делоне (из Анже) и бывшим капуцином Шабо * — в целях спекуляции акциями Индийской компании. Эта крайне несложная игра сводилась к тому, чтобы путем мошеннических махинаций вызвать падение акций до шестисот пятидесяти ливров и, скупив их по этой цене в возможно большем количестве, успокоительными мероприятиями вздуть затем цену до четырех-пяти тысяч. Но Шабо, Жюльен, Делоне были окончательно скомпрометированы. Лакруа, Фабр д'Эглантин * и даже Дантон находились под подозрением. Главный биржевой воротила, барон де Батц, искал в Конвенте новых сообщников и советовал банкиру Морхардту познакомиться с Маратом.

Мысль контрреволюционной шайки спекулянтов была не так безрассудна, как это казалось с первого взгляда. Эти люди всегда старались завязать сношения с теми, кто в данный момент стоял у власти, а Марат благодаря своей популярности, перу, характеру являлся огромной силой. Дни жирондистов были сочтены; дантонисты, сраженные бурей, выпустили из рук кормило правления. Народный кумир, Робеспьер, был неподкупно честен, подозрителен и недоступен. Поэтому необходимо было обойти Марата, заручиться его благосклонностью в ожидании того дня, когда он станет диктатором; а все говорило за то, что он им станет: его популярность, его честолюбие, его склонность к решительным мерам. В конце концов не было ничего невозможного в том, что Марат восстановит порядок, финансы, благосостояние. Уже не раз ополчался он против фанатиков, пытавшихся превзойти его своим патриотизмом; с некоторого времени он изобличал демагогов почти так же, как умеренных. После того как он убеждал народ вешать спекулянтов, разграбив их лавки, теперь он призывал граждан к спокойствию и благоразумию: он становился государственным мужем.

Несмотря на слухи, распространяемые о нем, как и о прочих деятелях Революции, эти хищники не сомневались в его неподкупности; но они знали, что он тщеславен и легковерен, и надеялись обойти его лестью и в особенности снисходительно-фамильярным обращением, которое, по их мнению, было приятней всякой лести. Они рассчитывали при его содействии играть на повышении и понижении любых ценностей, которые они пожелали бы купить или продать, и полагали, что он будет служить их интересам, воображая, будто работает лишь на благо общества.

Сводня по призванию, хотя она еще не достигла того возраста, когда женщина отказывается от любви, гражданка Рошмор задалась целью свести законодателя-журналиста с банкиром, и ее безумная фантазия рисовала ей революционера, с руками, еще обагренными кровью сентябрьских жертв, участником шайки финансистов, агентом которых она состояла; она уже

ясно представляла себе его втянутым, в силу свойственной ему чувствительности и доверчивости, в самый центр биржевых спекуляций, в круг людей, которых она так любила, — в мир скупщиков, поставщиков, заграничных эмиссаров, крупье, светских авантюристок.

Она настаивала на том, чтобы Гамлен повел ее к Другу Народа, живущему неподалеку, на улице Кордельеров, близ церкви. После некоторого сопротивления художник уступил желанию гражданки.

Драгун Анри, которому они предложили присоединиться к ним, отказался, ссылаясь на то, что он хочет сохранить свободу даже по отношению к гражданину Марату, оказавшему, бесспорно, услуги Республике, но в последнее время обнаружившему некоторые признаки слабости: ведь он в своей газете советует парижскому населению мириться с выпадающими ему на долю тяготами!

И Анри мелодичным голосом, перемежая речь глубокими вздохами, оплакивал Республику, преданную теми, на кого она возложила все свои упования: Дантоном, отвергающим проект налога на богачей; Робеспьером, восстающим против несменяемости секций; Маратом, чьи малодушные советы угашают пыл граждан.

— Какими слабыми кажутся эти люди по сравнению с Леклерком и Жаком Ру!.. * — воскликнул он. — Ру!.. Леклерк! Вы — истинные друзья народа!

Гамлен не слышал этих речей, которые, несомненно, возмутили бы его: он вышел в соседнюю комнату, чтобы переодеться в голубой фрак.

— Вы можете гордиться своим сыном, — сказала гражданка Рошмор гражданке Гамлен. — Он так талантлив и так благороден!

Вдова Гамлен подтвердила достоинства своего сына, однако сделала это нисколько не кичась перед дамой знатного происхождения, так как ей с детства внушали, что смирение перед сильными мира сего — первейшая обязанность бедняков. Имея немало поводов быть недовольной своей судьбой, она всегда была

склонна жаловаться на нее, и эти жалобы приносили ей некоторое облегчение. Она охотно делилась своим горем со всяким, кого считала в состоянии помочь ей, а г-жа Рошмор произвела на нее впечатление именно такой особы. Воспользовавшись благоприятным моментом, она одним духом рассказала о нужде, в которой находились они с сыном, чуть не помирая с голоду. Картин никто не покупал: Революция, как ножом, подрезала торговлю. Съестных припасов мало, и они недоступны.

И старушка с поспешностью, на какую только были способны ее дряблые губы и неповоротливый язык, торопилась выложить все, что могла, до появления Эвариста, который из гордости не одобрил бы этих сетований. Она старалась поскорее разжалобить и заинтересовать участью сына даму, которую считала богатой и влиятельной. И она сознавала, что красота Эвариста поможет ей растрогать знатную посетительницу.

Действительно, гражданка Рошмор не осталась нечувствительной: она растрогалась при мысли о страданиях Эвариста и его матери и призадумалась над тем, как бы им помочь. Она уговорит своих друзей, богатых людей, покупать картины художника!

— Есть еще деньги во Франции, — сказала она улыбаясь, — только их не держат на виду.

А еще лучше: раз искусство погибло, она устроит Эвариста на службу к Морхардту либо к братьям Перрего, либо определит его в качестве доверенного лица к какому-нибудь военному поставщику.

Но потом она решила, что для человека с таким характером это неподходящее дело. После минутного размышления она радостно всплеснула руками:

— Остается назначить еще нескольких присяжных заседателей в Революционный трибунал. Присяжный, судья — вот кем должен быть ваш сын! Я знакома с членами Комитета общественного спасения; я знаю Робеспьера-старшего; его брат часто ужинает у меня *. Я переговорю с ними. Я попрошу кого следует переговорить с Монтане, с Дюма *, с Фукье *.

Гражданка Гамлен, взволнованная, преисполненная благодарности, приложила палец к губам: в мастерскую входил Эварист.

Вместе с гражданкой Рошмор он спустился по темной лестнице, деревянные ступени которой, выложенные изразцами, были покрыты слоем давнишней грязи.

На Новом мосту, где солнце, уже клонившееся к закату, удлиняло тень от пьедестала, на котором некогда красовался бронзовый конь и который теперь был расцвечен национальными флагами, группы мужчин и женщин из простонародья прислушивались к речам отдельных граждан, говоривших шепотом. Толпа, подавленная, хранила молчание, порою прерывая его стонами и гневными возгласами. Многие поспешным шагом направлялись на Тионвилльскую улицу, бывшую улицу Дофина. Гамлен, подойдя к одной из кучек, узнал, что только что убили Марата *.

Мало-помалу известие подтвердилось; сообщали подробности: его заколола в ванне женщина, прибывшая нарочно из Кана, чтобы совершить это преступление.

Некоторые предполагали, что ей удалось скрыться, но большинство утверждало, что ее задержали.

Люди толклись, как стадо, покинутое пастухом.

«Нет уже Марата, — думали они, — чувствительного, отзывчивого, доброго Марата, который руководил нами, никогда не ошибался, угадывал все, смело разоблачал все козни!.. Как быть, что делать? Мы лишились наставника, защитника, друга!» Они знали, откуда нанесен удар и кто направил руку этой женщины.

— Марат убит теми же преступными руками, которые хотят и нас уничтожить, — тяжко вздыхали они. — Его смерть — сигнал к поголовному истреблению всех патриотов.

По-разному передавали подробности этой трагической смерти и последние слова жертвы; расспрашивали об убийце, о которой было известно только то, что это молодая женщина, подосланная изменниками-федералистами. Гражданки в исступлении настаивали на немедленной казни преступницы и, находя смерть на гильотине слишком легкой, требовали для этого изверга

бича, колесования, четвертования, — изобретали новые пытки.

Национальные гвардейцы, с шашками наголо, волокли в секцию какого-то человека с решительным выражением лица. Одежда на нем висела клочьями; кровь тонкими струйками стекала по бледным щекам. Его схватили в ту минуту, когда он говорил, что Марат заслужил свою участь, так как сам постоянно призывал к грабежам и убийствам. И с большим трудом страже удалось укрыть его от ярости толпы. На него указывали пальцем, как на сообщника убийцы, ему угрожали смертью.

Гамлен оцепенел от скорби. Скудные слезы сохли у него на воспаленных глазах. К сыновнему горю примешивались патриотическая тревога и любовь к народу, раздиравшие ему сердце.

«После Лепелетье, — думал он, — после Бурдона — Марат!.. Вот он, жребий патриотов: перебитые на Марсовом поле, в Нанси, в Париже, они погибнут все». И мысль его обращалась к изменнику Вимпфену *, который еще недавно, во главе шестидесятитысячной орды роялистов, шел на Париж, и, если бы под Верноном ему не преградили дороги доблестные патриоты, он предал бы огню и мечу героический, многострадальный город.

А сколько еще впереди опасностей, сколько преступных замыслов, сколько измен, которые могла бы предугадать и раскрыть только мудрость и бдительность Марата! Кто, кроме него, мог бы изобличить Кюстина, бездействующего в лагере Цезаря и отказывающегося освободить от блокады Валансьен, Бирона *, ничего не предпринимающего в Нижней Вандее, допустившего взятие Сомюра и Нанта? Диллона *, предающего родину в Аргоннах *?..

Вокруг него с каждой минутой усиливались зловещие вопли:

— Марата нет в живых! Его убили аристократы!

Когда, исполненный скорби, ненависти и любви, он уже направлялся отдать последний долг мученику свободы, старуха крестьянка в шерстяном чепце подошла к нему и спросила, какого это господина Марата убили: не священника ли из Сен-Пьер-де-Керуа?

VIII

Накануне праздника, ясным и тихим вечером, Элоди под руку с Эваристом прогуливалась по полю Федерации. Рабочие спешно заканчивали возведение колонн, статуй, храмов, горы, жертвенника. Гигантские символы — народ в образе Геракла, размахивающего палицей, и Природа, питающая своими неистощимыми сосцами вселенную, — внезапно выросли в столице, находившейся во власти голода и террора, прислушивавшейся, не грохочут ли уже на дороге из Мо австрийские пушки. Вандея смелыми победами возмещала свое поражение под Нантом. Кольцо железа, огня и ненависти смыкалось вокруг великого революционного города. И все же с великолепием властелина обширной империи он принимал депутатов провинциальных собраний, признавших конституцию. Федерализм был побежден: единая, неделимая Республика одержит верх над всеми врагами.

— Вот здесь, — промолвил Эварист, указывая на площадь, усеянную толпой, — семнадцатого июня девяносто первого года гнусный Байи расстреливал народ у подножия алтаря отечества *. Гренадер Пассаван, очевидец этой бойни, вернувшись домой, изорвал на себе мундир и воскликнул: «Я дал клятву умереть вместе со свободой; ее больше не существует — я умираю!» И пустил себе пулю в лоб.

Но художники и мирные буржуа глазели на приготовления к празднику, и на их лицах можно было прочесть такую же тусклую любовь к жизни, какой была и сама их жизнь: величайшие события, проникая в их сознание, приноравливались к их мерке и становились столь же ничтожными, как и они. Каждая чета шла, держа на руках, волоча за руку или пропустив вперед детей, которые были не красивее своих родителей, не обещали стать счастливее их и должны были дать жизнь другим детям, также обделенным радостью и красотой. Лишь изредка попадалась навстречу рослая, красивая девушка, внушавшая молодым людям дерзкие желания, а старикам — сожаление о прежней, милой их сердцу жизни.

Около Военной школы Эварист обратил внимание Элоди на изображения египетских статуй, исполненные Давидом по римским образцам эпохи Августа. При виде их какой-то напудренный старик, парижанин, воскликнул:

— Можно подумать, что находишься на берегах Нила!

За те три дня, что Элоди не видала своего друга, в «Амуре Живописце» произошли важные события. На гражданина Блеза был сделан донос в Комитет общественной безопасности по обвинению в мошенничестве при поставках в армию. К счастью, у торговца эстампами оказались знакомства в секции: Наблюдательный комитет секции Пик поручился за его благонадежность перед Комитетом общественной безопасности, и Блеза совершенно оправдали.

С волнением рассказав об этом, Элоди прибавила:

— Теперь мы успокоились, но тревоги было достаточно. Отца чуть было не посадили в тюрьму. Еще немного, и я обратилась бы к вам, Эварист, с просьбой похлопотать за отца у ваших влиятельных друзей.

Эварист ничего не ответил. Элоди, однако, не поняла всей значительности его молчания.

Они шли, держась за руки, вдоль крутого берега Сены. Они обменивались нежностями на языке Юлии и Сен-Пре: * добрый Жан-Жак предоставил к их услугам все средства расписывать и приукрашать свою любовь.

Городское управление совершило чудо, создав на один день в голодающем городе полное изобилие. На площади Инвалидов, близ реки, раскинулась ярмарка: в лавках продавали колбасу с чесноком, с перцем, печеночную колбасу, окорока, обложенные лавровым листом, нантерские пирожки, пряники, блины, четырехфунтовые хлебы, лимонад и вино. В других ларьках торговали патриотическими песнями, кокардами, трехцветными лентами, кошельками, медными цепочками и иными мелкими украшениями. Остановившись у прилавка скромного ювелира, Эварист выбрал серебряное кольцо с рельефным изображением головы Марата, повязанной платком. Он надел этот перстень на палец Элоди.

В тот же вечер Гамлен отправился на улицу Сухого Дерева к гражданке Рошмор, пригласившей его по неотложному делу. Она приняла его в спальне, лежа на кушетке, в кокетливом пеньюаре.

Поза гражданки выражала сладострастную томность, а все вокруг говорило об ее прелестях, об ее вкусах и талантах: арфа возле приоткрытого клавесина; гитара на кресле; пяльцы с натянутым для вышивания атласом; на столе — начатая миниатюра, бумага, книги; книжный шкаф, в беспорядке перерытый прелестной ручкой, казалось торопившейся все изведать и перечувствовать.

— Привет вам, гражданин присяжный!.. — сказала она, протягивая ему руку для поцелуя. — Сегодня Робеспьер-старший передал мне для вас отлично составленное письмо к председателю Эрману; * вот приблизительно его содержание: «Рекомендую вам гражданина Гамлена, своими способностями и патриотизмом заслуживающего, чтобы на него обратили внимание. Считаю долгом указать вам на патриота, чьи принципы и поведение во всем согласуются с революционными идеями. Вы не преминете воспользоваться случаем быть полезным республиканцу...» Я немедленно отвезла письмо Эрману, который принял меня с отменной любезностью и тотчас же подписал приказ о вашем назначении. Это дело решенное.

— Гражданка, — ответил после минутной паузы Гамлен, — хотя мне нечем прокормить даже мать, — клянусь честью, что я принимаю должность присяжного только затем, чтобы служить Республике и отомстить всем ее врагам.

Гражданка нашла благодарность холодной, а поклон сдержанным. Она даже заподозрила Гамлена в невежливости. Но она слишком любила молодых людей, чтобы не простить ему суровости. Гамлен был хорош собою: в ее глазах это было достоинством. «На него можно навести лоск», — подумала она и пригласила его к себе на ужины: каждый вечер после театра у нее бывали гости.

— Вы встретите у меня умных и талантливых людей: Эллевью, Тальма, гражданина Виже *, с порази-

тельной легкостью пишущего стихи на заданные рифмы. Гражданин Франсуа * читал нам свою «Памелу», которую теперь репетируют в Народном театре. Ее стиль изящен и чист, как все, что выходит из-под пера гражданина Франсуа. Пьеса трогательная: мы все проливали слезы. Роль Памелы поручена молодой Ланж *.

— Вполне полагаюсь на ваше суждение, гражданка, — ответил Гамлен. — Но нахожу, что Народный театр недостаточно народен. Обидно за гражданина Франсуа, что его сочинения выносятся на подмостки, оскверненные жалкими виршами Лейа: * у всех еще на памяти позорный провал «Друга законов»...

— Я не собираюсь заступаться за Лейа, гражданин Гамлен, он не принадлежит к числу моих друзей.

Вовсе не по доброте сердечной, пустив в ход все свое влияние, добилась гражданка Рошмор назначения Гамлена на завидную должность, которой домогались многие: после всего, что она сделала и при случае еще могла бы сделать для него, она надеялась завоевать его расположение и заручиться поддержкой в суде, с которым рано или поздно ей, возможно, придется иметь дело, ибо она рассылала много писем во Франции и за границу, а такая переписка в то время казалась подозрительной.

— Часто бываете вы в театре, гражданин?

В эту минуту в комнату вошел драгун Анри, превосходящий красотою юного Бафилла *. Два огромных пистолета были заткнуты у него за пояс.

Он поцеловал руку очаровательной гражданки.

— Вот, — обратилась к нему она, — гражданин Эварист Гамлен, ради которого я провела целый день в Комитете общественной безопасности, а он и не думает быть мне признательным. Пожурите его.

— Ах, гражданка, — воскликнул драгун, — вы были у наших законодателей в Тюильри! Какое удручающее зрелище! Допустимо ли, чтобы представители свободного народа заседали в чертогах деспотизма? Наши законодатели работают по ночам при свете тех же самых люстр, которые освещали заговоры Капета и

оргии Антуанетты! * Вся природа содрогается при виде этого!

— Поздравьте, друг мой, гражданина Гамлена, — ответила она, — он назначен присяжным Революционного трибунала.

— Поздравляю, гражданин! — сказал Анри. — Я счастлив видеть человека с твоим характером, облеченного судебной властью. Но, говоря правду, я мало доверяю этой методической юстиции, созданной умеренными элементами Конвента, этой благодушной Немезиде *, которая попустительствует заговорщикам, щадит изменников, не осмеливается нанести решительный удар федералистам и боится призвать к ответу Австриячку. Нет, не Революционный трибунал спасет Республику! Тяжкую вину взяли на свою душу те, кто при нашем отчаянном положении остановил стихийный порыв народного правосудия!

— Анри, — сказала гражданка Рошмор, — дайте-ка мне вон тот флакон...

Вернувшись домой, Гамлен застал мать и старика Бротто за игрой в пикет при свете сальной свечи. Гражданка без тени смущения объявляла «терц с королем».

Узнав, что сын ее назначен присяжным, она пылко обняла его, подумав, что это большая честь для них обоих и что отныне они каждый день будут сыты.

— Я счастлива и горда тем, что я мать присяжного, — сказала она. — Правосудие — прекрасная вещь и самая необходимая на свете: без правосудия слабые терпели бы притеснения на каждом шагу. Я верю, мой Эварист, что из тебя выйдет хороший судья, потому что с малых лет ты во всем был справедлив и мягкосердечен. Ты не мирился с несправедливостью и всегда по мере сил противился насилию. Ты жалел обездоленных, а ведь ничто так не украшает судью, как сострадание... Но скажи мне, Эварист, как вы одеты в этом Трибунале?

Гамлен объяснил, что судьи носят шляпу с черными перьями, но что для присяжных не установлено

никакой формы: они заседают в обыкновенном платье.

— Было бы лучше, если бы они носили мантию и парик, — возразила гражданка, — это придавало бы им более внушительный вид. Правда, ты хорош собой, невзирая на то, что часто одеваешься небрежно, и не платье красит тебя, а ты его, но большинству мужчин необходимо принарядиться, если они хотят произвести впечатление: было бы лучше, если бы присяжные облачились в мантию и парик.

Гражданка слышала, что должность присяжного в Трибунале связана с какими-то доходами; она не удержалась и спросила, достаточно ли велики эти доходы, чтобы можно было жить прилично, потому что, — объяснила она, — положение присяжного обязывает.

Она с удовлетворением узнала, что присяжные получают вознаграждение в размере восемнадцати ливров за заседание и что большое количество преступлений против государственной безопасности требует частых заседаний.

Старик Бротто собрал карты и, встав из-за стола, сказал Гамлену:

— На вас возложены высокие и грозные полномочия, гражданин. Поздравляю вас: вы предоставите отныне свою просвещенную совесть на службу Трибуналу, действующему, быть может, более уверенно и непогрешимо, чем всякий иной, ибо он пытается установить сущность добра и зла не самих по себе, а лишь соотносительно с определенными интересами и очевидными чувствами. Вам придется выбирать между ненавистью и любовью, что всегда происходит непосредственно, а не между истиной и заблуждением, распознавание коих недоступно слабому человеческому разуму. Подчиняясь влечениям своего сердца, вы не рискуете ошибиться, так как ваш приговор всегда будет правилен, если только он будет основываться на страстях, являющихся для вас священным законом. Впрочем, если бы я был вашим председателем, я поступал бы всякий раз, как Бридуа: * разрешал бы вопрос метанием игорных костей. В деле правосудия это все-таки самый верный способ.

IX

Эварист Гамлен должен был вступить в отправление своих обязанностей 14 сентября, как раз во время реорганизации Трибунала, разделенного отныне на четыре секции с пятнадцатью присяжными в каждой. Тюрьмы были переполнены; общественный обвинитель работал по восемнадцати часов в сутки. Разгрому армий, восстаниям в провинциях, заговорам, проискам, изменам Конвент противопоставлял террор. Боги жаждали.

Прежде всего новый присяжный отправился засвидетельствовать свое почтение председателю Эрману, который очаровал его кротостью речей и любезным обхождением. Земляк и друг Робеспьера, безоговорочно разделявший его взгляды, он был, по-видимому, человеком добродетельным и чувствительным. Он был насквозь проникнут гуманными чувствами, которые слишком долго оставались чуждыми сердцам судей и которые навеки осенили славой имена Дюпати * и Беккарии *. Он искренне радовался смягчению нравов, в области судебной выразившемуся в отмене пытки и позорных или жестоких казней. Он с удовлетворением думал о том, что смертная казнь, которая некогда так широко применялась и еще недавно служила обычной мерой пресечения даже незначительных проступков, теперь стала более редким явлением и к ней приговаривают лишь за тяжкие преступления. Со своей стороны, он, как и Робеспьер, охотно отказался бы от нее во всех случаях, когда дело не касается общественной безопасности. Но он счел бы изменой государству не карать смертью преступлений, совершенных против верховной власти народа.

Все его товарищи придерживались такого же образа мыслей; в основе деятельности Революционного трибунала лежала старая монархическая идея государственного блага. Восемь веков абсолютизма наложили печать на этих судей, и они судили врагов свободы, исходя из принципов божественного права.

В тот же день Эварист Гамлен представился общественному обвинителю, гражданину Фукье *, который

принял его в своем кабинете, где работал вместе с секретарем. Это был человек могучего телосложения, с грубым голосом и кошачьими глазами; его широкое рябое лицо со свинцовым оттенком явно свидетельствовало о вреде, который приносит сидячая, затворническая жизнь людям крепким, созданным для здорового физического труда на вольном воздухе. Папки с делами обступали его со всех сторон, как стены гробницы, но ему, по-видимому, нравилась эта чудовищная груда бумаг, казалось собиравшаяся схоронить его под собою. Говорил он, как должно говорить трудолюбивому, поглощенному исполнением своих обязанностей чиновнику, умственный кругозор которого ограничен интересами службы. От него разило водкой, которую он пил для поддержания сил, но, казалось, она нисколько не влияла на его мозг — столько трезвости было в его суждениях, всегда посредственных.

Жил он в маленькой квартирке в здании суда с молодой женой, подарившей ему двух близнецов. Она, да тетка Анриетта, да служанка Пелажи составляли все его семейство. Со всеми тремя женщинами он был ласков и добр. Словом, это был отличный семьянин и превосходный работник, довольно недалекий и лишенный всякого воображения.

Гамлен не без огорчения заметил, как сильно похожи образом мыслей и манерами теперешние судейские на судейских старого режима. Да они и были ими: Эрман в прежнее время занимал должность помощника прокурора при окружном суде в Артуа; Фукье служил прокурором в Шатле. Они ни в чем не изменились. Но Эварист Гамлен верил, что Революция способна совершенно переродить человека.

Выйдя из здания суда, он прошел через галерею и остановился перед лотками, на которых были искусно расставлены всевозможные предметы. На прилавке, за которым торговала гражданка Тено, он перелистал несколько исторических, политических и философских сочинений: «Оковы рабства», «Опыт о деспотизме», «Преступления королев». «В добрый час! Это подлинно республиканские произведения», — подумал он и спро-

сил у продавщицы, покупают ли эти книги. Гражданка Тено покачала головой:

— Идут только песенки да романы.

И, достав из ящика небольшой томик, она показала его Гамлену.

— Вот хорошая книжка.

Гамлен прочитал заглавие: «Монахиня в сорочке».

Перед соседним ларем, принадлежавшим гражданке Сен-Жор, среди флаконов с духами, саше и коробок пудры он увидел Филиппа Демаи: обаятельный и нежный, он уверял прелестную продавщицу в любви, обещал нарисовать ее портрет и просил назначить ему вечером свидание в Тюильрийском саду. Он был красив. Убедительность текла с его уст и сверкала в глазах. Гражданка Сен-Жор молча внимала ему и, почти поддавшись на его уверения, потупляла взор.

Желая поближе познакомиться с грозными обязанностями, которыми отныне он был облечен, вновь назначенный присяжный решил присутствовать на одном из заседаний Трибунала в качестве зрителя. Он поднялся по лестнице, на которой, как в амфитеатре, сидело множество народу, и вошел в старинный зал парижского парламента.

Там была давка: судили какого-то генерала. В ту пору, как говорил старик Бротто, «Конвент, по примеру его величества, короля Великобритании, привлекал к ответственности полководцев побежденных за отсутствием полководцев изменивших, которые находились за пределами досягаемости. И делалось это, — прибавлял Бротто, — вовсе не потому, что побежденный полководец — непременно преступник; ведь в каждом сражении одна сторона всегда оказывается побежденной. Но нет лучшего средства поднять воинский дух полководцев, как приговорив к смерти одного из них...»

Уже немало этих легкомысленных упрямцев, с птичьими мозгами в бычьих черепах, перебывало к тому времени на скамье подсудимых. Тот, что сидел на ней сегодня, разбирался в осадах и сражениях, которые он вел, не больше, чем допрашивавшие его судьи: и обви-

нение и защита путались в численном составе войск, боевых заданиях, снаряжении, маршах и контрмаршах. А толпе граждан, следившей, ничего не понимая, за бесконечными прениями, мерещилась за спиной этого тупицы-военного родина, открытая вторжению неприятеля, раздираемая на части, истекающая кровью; взглядами и возгласами зрители понуждали присяжных, спокойно сидевших на скамье, обрушить приговор, как тяжкую палицу, на врагов Республики.

Эварист всем своим существом сознавал: в лице этого ничтожного человека следует нанести удар двум страшным чудовищам, терзавшим отечество, — мятежу и поражению. Стоило, в самом деле, выяснять, виновен или не виновен этот военный! Когда Вандея опять подымала голову, когда Тулон сдавался неприятелю, когда Рейнская армия отступала перед майнцскими победителями, когда Северная армия, стянутая к лагерю Цезаря, могла в результате стремительного натиска врага оказаться в плену у имперских войск, англичан и голландцев, уже завладевших Валансьеном, — только одно было важно: научить генералов побеждать или умирать. При виде этого немощного и слабоумного солдафона, запутавшегося на суде в своих картах так же, как он растерялся там, в равнинах севера, Гамлен, чтобы не крикнуть вместе со всеми «Смерть ему!», поспешно вышел из зала.

На собрании секции председатель ее, Оливье, поздравил Гамлена с назначением, заставил нового присяжного поклясться на бывшем алтаре варнавитов, превращенном в алтарь отечества, что он заглушит в своей душе, во имя священного человечества, все человеческие слабости.

Гамлен, подняв руку, призвал в свидетели своей клятвы великую тень Марата, мученика Свободы, бюст которого недавно водрузили у подножия одной из колонн бывшей церкви, напротив бюста Лепелетье.

Раздались аплодисменты, но послышался и ропот. Собрание было бурное. У входа горланила группа секционеров, вооруженных пиками.

— Это совсем не по-республикански, — заметил председатель, — являться вооруженными на собрание свободных людей.

И приказал немедленно сложить ружья и пики в бывшей ризнице.

Горбун с живыми глазами и выпяченными губами, гражданин Бовизаж, член Наблюдательного комитета, поднялся на кафедру, превращенную в трибуну и увенчанную красным колпаком.

— Генералы нам изменяют и предают наши армии неприятелю, — сказал он. — Имперские войска совершают кавалерийские рейды до Перона и Сен-Кантена. Тулон сдан англичанам, которые высадили там четырнадцать тысяч человек. Враги Республики злоумышляют в лоне самого Конвента. В столице не оберешься заговоров, направленных к освобождению Австриячки. В настоящую минуту носятся слухи, что сын Капета, бежавший из Тампля, торжественно доставлен в Сен-Клу; для него хотят восстановить престол тирана. Вздорожание съестных припасов, обесценение ассигнаций — все это результаты происков иностранных агентов к сердце нашей страны, и все это происходит у нас на глазах. Во имя общественного спасения я требую от гражданина присяжного быть беспощадным к заговорщикам и предателям.

Когда он спускался с трибуны, в собрании раздались возгласы: «Долой Революционный трибунал! Долой умеренных!»

На трибуну взошел жирный, румяный гражданин Дюпон-старший, столяр с Тионвилльской площади; он заявил, что желает обратиться с вопросом к гражданину присяжному. И он осведомился у Гамлена, как тот намерен повести себя в деле бриссотинцев и вдовы Капета.

Эварист был робок и не умел говорить публично. Но негодование вдохновило его. Он поднялся, бледный, и произнес глухим голосом:

— Я — судья. Я прислушиваюсь только к голосу своей совести. Всякое обещание, которое я дам вам, будет противно моему долгу. Я обязан говорить в Трибунале и хранить молчание вне его. Я вас не

знаю больше. Я — судья: я не знаю ни друзей, ни врагов.

Собрание, как и все собрания, разношерстное, нерешительное и непостоянное, наградило его рукоплесканиями. Но гражданин Дюпон-старший не унимался: он не мог простить Гамлену, что тот занял должность, на которую он сам зарился.

— Я понимаю и даже одобряю щепетильность гражданина присяжного, — сказал он, — Говорят, он патриот: пускай же сам подумает, позволяет ли ему совесть заседать в Трибунале, учрежденном для уничтожения врагов Республики, в действительности же решившем их щадить. Есть дела, от участия в которых добропорядочный гражданин обязан воздерживаться. Разве не доказано, что несколько присяжных этого Трибунала были подкуплены золотом обвиняемых и что председатель Монтане совершил подлог, чтобы спасти голову девицы Корде?

При этих словах зал разразился громом аплодисментов. Последние их всплески еще оглашали своды, когда на трибуну поднялся Фортюне Трюбер. За последние месяцы он очень похудел. На бледном лице резко выделялись красные скулы; веки у него были воспалены, а глаза казались стеклянными.

— Граждане, — начал он слабым, немного задыхающимся, но глубоко проникновенным голосом, — нельзя подозревать Революционный трибунал, не подозревая в то же время Конвента и Комитета общественного спасения, учредивших его. Гражданин Бовизаж поселил в наших сердцах тревогу, указав на председателя Монтане, который прибегнул к подлогу в интересах подсудимого. Почему же он не прибавил для нашего успокоения, что, по донесению общественного обвинителя, Монтане отрешили от должности и посадили в тюрьму?.. Разве нельзя заботиться об общественном спасении, не сея повсюду подозрений? Разве Конвент уже окончательно оскудел талантами и добродетелями? Неужели Робеспьер, Кутон, Сен-Жюст не честные люди? Странно, что самые неистовые речи произносят люди, которые, как всем известно, не сражались за Республику, Можно подумать,

что, говоря так, они задались целью вызвать к ней всеобщую ненависть! Граждане, поменьше шума и побольше дела! Францию спасут не крики, а пушки. Половина погребов в нашей секции еще не обыскана. У многих граждан до сих пор находится значительное количество бронзы. Напоминаем богачам, что патриотические пожертвования — лучшая для них гарантия. Поручаю вашей щедрости дочерей и жен наших солдат, покрывающих себя славой на границе и на Луаре. Один из них, гусар Помье (Огюстен), служивший раньше помощником кладовщика на Иерусалимской улице, десятого числа истекшего месяца был атакован неподалеку от лагеря Конде, в то время как вел коней на водопой, шестью австрийскими кавалеристами: он убил двух, а остальных захватил в плен. Прошу секцию объявить, что Помье (Огюстен) исполнил свой долг.

Речь вызвала аплодисменты, и собрание разошлось при криках: «Да здравствует Республика!»

Оставшись в церкви вдвоем с Трюбером, Гамлен пожал ему руку:

— Благодарю тебя. Как ты поживаешь?

— Превосходно, превосходно! — ответил Трюбер, харкая кровью в носовой платок. — У Республики много врагов, внешних и внутренних. В нашей секции их тоже немало. Не криками, а железом и законами создаются государства... До свиданья, Гамлен: мне надо отослать несколько писем.

И он ушел в бывшую ризницу, прижимая ко рту платок.

Гражданка Гамлен, отныне крепче прицеплявшая кокарду к чепцу, со дня на день приобретала все большую буржуазную степенность, республиканскую гордость и достойную осанку, приличествующую матери гражданина присяжного. Уважение к правосудию, в котором она была воспитана, восхищение, которое с детства ей внушали судейские платье и мантия, священный трепет, всегда овладевавший ею при виде людей, которым сам бог уступил на земле свое право

казнить и миловать, — все эти чувства вызывали теперь у нее благоговейное преклонение перед сыном, которого она до последнего времени считала чуть ли не ребенком. По простоте душевной она верила в преемственность судебной власти, невзирая на Революцию, столь же твердо, как законодатели Конвента верили в преемственность государственной власти, несмотря на смену политического строя, и Революционный трибунал в ее глазах был окружен тем же ореолом величия, что и прежние судебные установления, которые она привыкла глубоко чтить.

Гражданин Бротто выказывал вновь назначенному присяжному интерес, смешанный с удивлением и вынужденным уважением. Подобно гражданке Гамлен, он считал, что судебная власть остается непрерывной, вопреки смене политического строя; но в противоположность этой даме он презирал революционные трибуналы так же, как и суды старого режима. Не осмеливаясь открыто высказывать свою мысль и не чувствуя себя в силах молчать, он пускался в парадоксы, которые Гамлен понимал ровно настолько, чтобы заподозрить собеседника в неблагонадежности.

— Высокий Трибунал, в заседаниях которого вы скоро примете участие, — сказал он ему однажды, — учрежден французским сенатом для спасения Республики, и, бесспорно, нашим законодателям пришла в голову благая мысль — дать судей своим врагам. Я сознаю все великодушие такого образа действий, но не нахожу его дальновидным. По-моему, было бы благоразумнее расправляться с наиболее непримиримыми противниками негласно, а остальных привлекать на свою сторону путем подкупа или обещаний. Всякий суд разит медленно и не столько поражает преступника, сколько устрашает его: он прежде всего преследует показательную цель. Недостаток вашего суда заключается в том, что он примиряет друг с другом всех, кому он может внушить ужас, благодаря чему из хаоса противоположных интересов и страстей он сам создает могущественную партию, способную действовать сплоченно и решительно. Вы сеете страх, но страх в большей мере, чем мужество, порождает героев; желаю

вам, гражданин Гамлен, чтобы в будущем подвиги, воодушевленные страхом, не ударили бы по вам самим!

Гравер Демаи, влюбленный на этой неделе в некую девицу из Пале-Эгалите, брюнетку огромного роста, Флору, все-таки улучил минуту, чтобы поздравить товарища и сказать ему, что его назначение на столь высокий пост весьма почетно для искусства.

Даже Элоди, относившаяся с безотчетным отвращением ко всему связанному с Революцией и видевшая в общественной деятельности самую опасную соперницу, которая может завладеть сердцем ее возлюбленного, — даже нежная Элоди сознавала превосходство над собою человека, призванного быть судьею в важнейших делах. Кроме того, назначение Эвариста присяжным имело еще одно счастливое последствие, которому чувствительная девушка искренне обрадовалась: гражданин Жан Блез явился в мастерскую на Тионвилльской площади и в порыве мужественной нежности крепко обнял нового присяжного.

Как все контрреволюционеры, он питал уважение к республиканским властям, а с тех пор как его обвинили в мошенничестве при поставках в армию, Революционный трибунал внушал ему почтительный страх. Он считал себя лицом слишком заметным и вел слишком много дел, чтобы наслаждаться полным спокойствием: гражданин Гамлен представлялся ему человеком, за которым стоило поухаживать. В конце концов он, Блез, был благонамеренный гражданин, сторонник законности.

Он протянул руку художнику-судье, выказал себя искренним патриотом, поклонником искусств и свободы. Гамлен великодушно пожал протянутую ему от всего сердца руку.

— Гражданин Эварист Гамлен, — сказал Жан Блез, — я обращаюсь к вашим дружеским чувствам и к вашим талантам. Поедемте завтра на два дня в деревню: вы порисуете, и мы поболтаем на свободе.

Несколько раз в течение года торговец эстампами предпринимал загородную прогулку на два-три дня в обществе художников, зарисовывавших по его

указаниям пейзажи и руины. Схватывая на лету все, что могло понравиться публике, он привозил из этих поездок наброски, которые потом заканчивались в мастерской, искусно гравировались и превращались в одноцветные или многоцветные эстампы, приносившие ему немалый доход. По этим же наброскам он заказывал карнизы для дверей и трюмо, которые имели успех у покупателей не меньший, а иногда и больший, чем декоративные произведения Юбера Робера *.

В этот раз он хотел взять с собой гражданина Гамлена, чтобы тот сделал несколько эскизов с натуры: настолько звание присяжного подняло в его глазах Эвариста как художника. Кроме Гамлена, в прогулке принимали участие еще гравер Демаи, отличный рисовальщик, и никому не известный Филипп Дюбуа, превосходно работавший в жанре Робера. Как всегда, художников сопровождала гражданка Элоди с подругою, гражданкой Азар. Жан Блез, умевший сочетать приятное с полезным, пригласил также гражданку Тевенен, актрису «Водевиля», с которой, по слухам, он был в близких отношениях.

X

В субботу, в семь часов утра, гражданин Блез, в черной шляпе с загнутыми кверху углами, в пунцовом жилете, лосинах и желтых ботфортах с отворотами, постучал ручкой хлыста в дверь мастерской. Гражданка Гамлен мирно беседовала в это время с гражданином Бротто, между тем как Эварист завязывал перед осколком зеркала высокий белый галстук.

— Счастливого пути, господин Блез! — сказала гражданка. — Но раз вы отправляетесь рисовать, возьмите с собой и господина Бротто: ведь он тоже художник.

— Что ж, гражданин Бротто, едемте с нами, — ответил Жан Блез.

Убедившись, что он не будет в тягость, Бротто — человек общительный и любитель всяких развлечений — охотно согласился.

Гражданка Элоди поднялась на пятый этаж, чтобы поцеловать гражданку Гамлен, которую она называла своей маменькой. Она была одета во все белое и благоухала лавандой.

Старый дорожный берлин с опущенным верхом, запряженный парой лошадей, ожидал на площади. На задней скамейке сидела Роза Тевенен с Жюльеной Азар. Элоди предложила актрисе сесть с правой стороны, сама села с левой, а худощавую Жюльену поместили между ними. Бротто устроился на передней скамейке, против гражданки Тевенен, Филипп Дюбуа — против гражданки Азар, Эварист — против Элоди. Что же касается Филиппа Демаи, его атлетический торс красовался на козлах, по левую руку от возницы, которого он поражал россказнями о том, что есть в Америке местность, где на деревьях растут колбасы.

Гражданин Блез, превосходный наездник, ехал верхом и, не желая глотать пыль, поднятую берлином, скакал впереди.

По мере того как берлин катил по мостовой предместья, путники забывали о своих заботах; при виде полей, деревьев, неба мысли их становились радостными и приятными. Элоди думала, что могла бы прожить всю жизнь с Эваристом на лоне природы, на берегу реки, близ лесной опушки; она разводила бы кур, а он был бы мировым судьею где-нибудь в деревне. Придорожные вязы убегали от них. При въезде в селения наперерез экипажу с лаем устремлялись дворняжки, кидаясь под ноги лошадям, меж тем как рослый спаньель, разлегшийся поперек дороги, с сожалением подымался с места; куры разлетались во всех направлениях и, спасаясь, перебегали дорогу; гуси, сбившись в кучу, удалялись неспешно. Чумазые дети глазели на берлин. Утро выдалось жаркое, на небе — ни облака. Потрескавшаяся почва жаждала дождя. Они вышли из экипажа у Вильжюифа. Когда они проходили через селенье, Демаи зашел к фруктовщице купить вишен, чтобы угостить гражданок, которым хотелось пить. Торговка оказалась смазливой:

Демаи пропал надолго. Филипп Дюбуа окликнул его по прозвищу:

— Эй! Барбару!.. Барбару!

Этим прозвищем его обычно звали приятели.

Услыхав ненавистное имя, прохожие насторожились; во всех окнах появились лица. Когда же санкюлоты увидели выходящего от фруктовщицы красивого молодого человека, в распахнутом жилете, с развевающимся на атлетической груди жабо, с корзиной вишен на плече и с фраком на кончике трости, они приняли художника за объявленного вне закона жирондиста, бесцеремонно схватили его и, не обращая внимания на его негодующие протесты, наверное отвели бы в мэрию, если бы старик Бротто, Гамлен и все три женщины не подтвердили согласно, что задержанного гражданина зовут Филипп Демаи, что он гравер и истый якобинец. И все-таки заподозренному пришлось предъявить удостоверение о благонадежности, которое оказалось при нем совершенно случайно, ибо в делах такого рода он отличался крайней беззаботностью. Только этой ценой удалось ему вырваться из рук деревенских патриотов, поплатившись пустяком — разорванной кружевной манжетой. Национальные гвардейцы, от которых ему досталось больше, чем от прочих, даже извинялись перед ним: теперь они предлагали торжественно отнести его на руках в мэрию.

Получив свободу, окруженный гражданками Элоди, Розой, Жюльеной, Демаи с горькой усмешкой посмотрел сверху вниз на Филиппа Дюбуа, которого он недолюбливал и подозревал в вероломстве.

— Дюбуа, — сказал он, — если ты еще раз назовешь меня Барбару, я буду звать тебя Бриссо; это толстый, смешной человечек, с жирными волосами, лоснящейся кожей и липкими руками. Никто не усомнится, что именно ты гнусный Бриссо, враг народа, и республиканцы, охваченные при виде тебя ужасом и отвращением, повесят тебя на первом же фонаре... Понял?

Гражданин Блез, приведший свою лошадь с водопоя, уверял, будто это он уладил все дело, хотя всем казалось, что оно уладилось без него.

Сели опять в экипаж. Дорогою Демаи сообщил вознице, что некогда на равнину Лонжюмо, которую они проезжали, свалилось несколько обитателей луны и что формой тела и цветом кожи они походили на лягушек, но ростом были значительно выше. Филипп Дюбуа и Гамлен беседовали об искусстве. Дюбуа, ученик Реньо *, побывал в Риме. Он видел там фрески Рафаэля и ставил их выше всех шедевров живописи. Его восхищали колорит Корреджо, изобретательность Аннибала Каррачи, рисунок Доменикино *, но он не находил ничего, что могло бы сравниться по стилю с картинами Помпео Баттони *. В Риме он посещал господина Менажо * и госпожу Лебрен *, но так как оба они относились к Революции враждебно, то он не упомянул о них. Зато он расхваливал Анжелику Кауфман * за ее изящный вкус и знание античности.

Гамлен с сожалением говорил о том, что вслед за расцветом французской живописи — запоздалым, ибо он начался только с Лесюэра, Клода и Пуссена * и соответствует по времени упадку итальянской и фламандской школ, — последовало такое стремительное и глубокое падение. Он считал причиной этого общественные нравы и Академию, бывшую, так сказать, их зеркалом. Но Академию, к счастью, упразднили, и теперь Давид и его ученики на основе новых принципов создают искусство, достойное свободного народа. Среди молодых художников Гамлен без малейшей зависти ставил на первое место Эннекена и Топино-Лебрена *. Филипп Дюбуа предпочитал Давиду своего учителя Реньо, а в юном Жераре * видел надежду современной живописи.

Элоди восхищалась красным бархатным током и белым платьем гражданки Тевенен. Актриса в свою очередь хвалила туалеты своих спутниц и давала им советы, как одеваться еще лучше: для этого, по ее мнению, следует отказаться от всяких отделок.

— Простота — вот к чему надо постоянно стремиться, — говорила она. — Мы учимся этому на сцене, где платье должно не скрывать, а подчеркивать каждое движение. В этом вся красота наряда, и другой красоты ему не нужно.

— Вы совершенно правы, душенька, — отвечала Элоди. — Но ничто не обходится так дорого, как простота. Не всегда мы только по отсутствию вкуса всячески украшаем свой туалет отделкой: иногда мы поступаем так из соображений экономии.

Они с оживлением заговорили об осенних модах: совершенно гладких платьях с короткой талией.

— Сколько женщин уродуют себя, подчиняясь моде! — заметила гражданка Тевенен. — Следует считаться прежде всего с собственной фигурой.

— Красивы только ткани, набрасываемые на фигуру целыми и драпирующиеся Затем складками, — вмешался Гамлен. — Все, что скроено и сшито, — ужасно.

Эти мысли, более уместные в книге Винкельмана *, чем в устах человека, обращающегося к парижанкам, встретили равнодушно-пренебрежительный отпор.

— Зимою будут носить ватные пальто под лапландские, из флоранса и из сицилиена и казакины с отрезной талией, застегивающиеся, на турецкий манер, жилетом, — сказала Элоди.

— Все это жалкие ухищрения тех, кто не имеет возможности хорошо одеваться, — возразила актриса. — Это продается в лавках готового платья. У меня есть портниха, работающая на дому; у нее золотые руки, и берет она совсем недорого; я вам пришлю ее, милочка.

И полились слова, легкие, торопливые; перебирались, обсуждались тонкие ткани, полосатый флоранс, гладкая тафта, сицилиен, газ, нанка.

А старик Бротто, прислушиваясь к их разговору, со сладостной меланхолией думал об этих легких, прихотливо сменяющих одна другую тканях, облекающих очаровательные, недолговечные формы, беспрестанно возрождающиеся, как цветы в полях. И его взор, переходя с трех молодых женщин на васильки и маки, росшие вдоль дороги, увлажнялся слезами светлой грусти.

Около десяти часов они приехали в Оранжи и остановились в харчевне «Колокол», где супруги Пуатрин давали приют и пешим и конным. Гражданин Блез,

уже успевший почиститься и помыться, помог гражданкам выйти из экипажа. Обед заказали к полудню, после чего все двинулись пешком, предшествуемые деревенским мальчуганом, который нес ящики с красками, папки, мольберты и зонтики, прямо полем, к месту слияния Оржа и Иветты, в тот очаровательный уголок, откуда открывается вид на зеленеющую равнину Лонжюмо, окаймленную Сеной и лесом святой Женевьевы.

Жан Блез, взявший на себя роль проводника, вступил с бывшим финансистом в шутливый разговор, в котором прихотливо мелькали имена Вербоке Великодушного, разносчицы Катерины Гиссо, девиц Шодрон, кудесника Галише и более современные персонажи — Каде-Руссель и мадам Анго *.

При виде жнецов, вязавших снопы, Эварист, охваченный внезапным влечением к природе, почувствовал, что на глаза ему навертываются слезы; мечты о всеобщей любви и согласии переполнили его сердце. Демаи сдувал гражданкам на волосы крылатые семена одуванчиков. Как большинству горожанок, им нравились букеты, и они принялись собирать медвежьи ушки, цветы которых расположены колосьями вокруг стебля, нежно-лиловые колокольчики, хрупкие веточки душистой вербены, бузину, мяту, желтяницу, тысячелистник, — словом, всю полевую флору позднего лета. Жан-Жак ввел ботанику в моду среди городских девиц, поэтому все три знали название и любовное значение каждого цветка. Когда нежные, истомленные засухой венчики осыпались в руках Элоди и дождем падали к ее ногам, она вздыхала:

— Ах, цветы уже увядают!

Все взялись за работу, стараясь изобразить природу так, как она им представлялась; но каждый воспринимал ее сквозь призму творчества того или иного мастера. Филипп Дюбуа живо набросал в жанре Юбера Робера покинутую ферму, срубленные деревья, высохший ручей. Эварист Гамлен находил на берегах Иветты пейзажи Пуссена. Филипп Демаи, облюбовав голубятню, трактовал сюжет в шутливой манере Калло * и Дюплесси *. Старик Бротто, считавший, что

подражает фламандцам, тщательно зарисовывал корову. Элоди набрасывала хижину, а ее подруга Жюльена, дочь торговца красками, подбирала для нее краски. Ребятишки, обступив ее, смотрели, как она пишет. Когда они слишком заслоняли ей свет, она отстраняла их, называла мошкарой и угощала леденцами. А гражданка Тевенен, выискивая среди детей хорошеньких, умывала их, целовала, втыкала им в волосы цветы. Она ласкала их с меланхолической нежностью потому, что ей не было дано испытать радости материнства, а еще для того, чтобы приукрасить себя выражением нежного чувства, равно как поупражняться в искусстве поз и группировок.

Одна она не рисовала, не писала красками. Занята она была разучиванием роли, а еще более тем, чтобы понравиться окружающим. С тетрадкой в руке, она переходила от одного к другому, воздушная, очаровательная. «Ни цвета лица, ни форм, ни фигуры, ни голоса», — говорили про нее женщины, а между тем она наполняла пространство движением, красками, гармонией. Увядшая, миловидная, усталая, неутомимая, она была украшением и отрадой всего общества. Капризная, но всегда веселая, обидчивая, вспыльчивая, но вместе с тем доброжелательная и уживчивая, острая на язык, но тем не менее изысканно-вежливая, тщеславная, скромная, правдивая, фальшивая, обворожительная, Роза Тевенен, обладая всеми этими качествами, все же не преуспевала в жизни и не стала богиней; но объяснялось это лишь жестокими временами, когда в Париже уже не находилось ни алтарей, ни фимиама для Граций. Даже гражданка Блез, говорившая о ней с гримаской и называвшая ее «мачехой», и та не могла не поддаться ее обаянию.

В театре Фейдо репетировали «Визитандинок» *, и Роза радовалась, что ей придется играть роль, в которой главное — естественность. Она стремилась к естественности, добивалась и находила ее.

— Значит, мы уже не увидим «Памелы»? * — спросил красавец Демаи.

Народный театр закрыли, а актеров и актрис посадили в Исправительный дом и в тюрьму Пелажи.

— И это называется свободой! — с негодованием воскликнула Роза Тевенен, поднимая к небу свои прекрасные голубые глаза.

— Актеры Народного театра — аристократы, — заметил Гамлен, — а пьеса гражданина Франсуа стремится вызвать у зрителей сожаление о привилегиях, утраченных дворянством.

— Неужели, господа, вы согласны слушать только тех, кто вам льстит? — возмутилась Роза Тевенен.

К полудню все проголодались и решили вернуться в харчевню.

Эварист, идя рядом с Элоди, напоминал ей, улыбаясь, их первые встречи:

— Два птенчика упали из гнезда под крышей на ваш подоконник. Вы вскормили их; один выжил и улетел. Другой умер в гнездышке из ваты, которое вы ему устроили. «Этого я особенно любила», — сказали вы. В тот день, Элоди, у вас в волосах был красный бант.

Филипп Дюбуа и Бротто, немного отстав, разговаривали о Риме, где они оба побывали — один в семьдесят втором году, другой — в последние дни существования Академии. И старик Бротто вспомнил княгиню Мондрагоне, которой он охотно бы объяснился в любви, не будь тут графа Альтиери, всюду следовавшего за ней, как тень. Филипп Дюбуа не упустил случая упомянуть, что его пригласил к себе на обед кардинал де Берни, который оказался весьма гостеприимным хозяином.

— Я знавал его, — заметил Бротто, — и могу сказать без хвастовства, что некоторое время был с ним очень близок: ему нравилось общаться со всяким сбродом. Это был очень любезный человек, и, хотя он любил рассказывать небылицы, в одном его мизинце было больше здравого смысла, чем в головах всех ваших якобинцев, которые стремятся во что бы то ни стало начинить нас добродетелью и религиозностью. Разумеется, я предпочитаю наших бесхитростных «богоедов», не понимающих ни того, что говорят, ни того, что делают, этим невеждам, одержимым манией законодательства, которые прилежно гильотинируют нам головы, стремясь таким способом превратить нас в

добродетельных мудрецов и заставить поклоняться Верховному существу, создавшему их по своему образу и подобию. В былые времена у меня в часовне дез Илетт служил обедню бедняга священник, который говаривал после выпивки: «Не будем осуждать грешников: ведь мы, недостойные пастыри, только благодаря им и кормимся». Согласитесь, сударь, что у этого присяжного молебщика были здравые понятия о власти. Этого следовало бы держаться и управлять людьми такими, каковы они есть, а не такими, какими мы желаем, чтобы они были.

К старику Бротто подошла Роза Тевенен. Она знала, что этот человек жил когда-то очень широко, и в ее воображении блестящее прошлое бывшего финансиста заслоняло его теперешнюю нищету, которая казалась ей менее унизительной, ибо была вызвана общим разорением и коснулась всех. С любопытством, не лишенным уважения, присматривалась она к нему, как к живому обломку того поколения щедрых Крезов, которых, вздыхая, прославляли актрисы прежних лет. Кроме того, ей нравились манеры этого старика в поношенном, по столь опрятном коричневом сюртуке.

— Господин Бротто, — обратилась она к нему, — всем известно, что некогда в прекрасном парке, среди озаренной иллюминацией ночи, под звуки флейт и скрипок, доносившихся издалека, вы прогуливались в миртовых рощах с актрисами и танцовщицами... Увы! Не правда ли, ваши богини из Оперы и Французской Комедии были красивее нас, скромных народных актрис?

— Вы ошибаетесь, сударыня, — ответил Бротто. — Знайте, если бы в то время встретилась мне особа, подобная вам, то она одна, — пожелай только она этого, — прогуливалась бы без всяких соперниц полновластной госпожою в парке, о котором вам было угодно составить себе столь лестное представление...

Харчевня «Колокол» имела вполне деревенский вид. Над воротами, которые вели во двор, где в никогда не высыхавшей грязи копались куры, висела ветка остролиста. В конце двора стоял двухэтажный домик,

увенчанный черепичной крышей, поросшей мхом, и весь утопавший в огромных кустах цветущих роз. Справа из-за низкой садовой ограды торчали остроконечные верхушки малорослых фруктовых деревьев. Налево находилась конюшня с приделанной снаружи решеткой для сена и рига с дощатыми переборками. К стене была прислонена деревянная лесенка. Там же, под навесом, где были свалены сельскохозяйственные орудия и выкорчеванные пни, с высоты старой одноколки белый петух наблюдал за курами. Двор с этой стороны замыкался хлевом, перед которым гордым могильным курганом возвышалась куча навоза; молодая крестьянка с волосами цвета соломы, невероятно раздавшаяся в ширину, перебрасывала его вилами. Ее деревянные башмаки, надетые на босу ногу, были полны навозной жижей, и время от времени из них вылезали пятки, желтые, как шафран. Из-под подоткнутой юбки виднелись грязные икры, толстые и низкие. Филипп Демаи, удивленный и заинтересованный странной игрою природы, предоставившей этой девушке расти не вверх, а вширь, загляделся на нее. В эту минуту хозяин крикнул:

— Эй, Колода! Сходи-ка за водой!

Она обернулась. У нее было пунцовое лицо и широкий рот, в котором недоставало одного резца. Нужен был по меньшей мере бычий рог, чтобы проделать брешь в этих могучих зубах. Держа вилы на плече, она улыбалась. Ее руки, обнаженные выше локтя и похожие на ляжки, блестели на солнце.

Стол был накрыт в низкой комнате, где под кожухом очага, украшенного старинными ружьями, дожаривались куры. Выбеленная комната имела в длину футов двадцать с лишним; свет проникал только через зеленоватые стекла двери да через единственное, окаймленное розами, окошко, у которого за прялкой сидела старуха бабка. На ней был чепец и кружевной убор времен Регентства. Узловатые, землистого цвета пальцы держали кудель. Мухи садились ей на края век, и она не сгоняла их. Ребенком, на руках у матери, она видела Людовика XIV, проезжавшего в карете.

Шестьдесят лет назад она побывала в Париже. Слабым, певучим голосом рассказывала она трем молодым женщинам, стоявшим перед нею, что она видела ратушу, Тюильри, здание водокачки «Самаритянка» и что, когда она проходила по Королевскому мосту, внизу, на барке, груженной яблоками и направлявшейся на Майльский рынок, открылась брешь, яблоки упали в воду и вся река окрасилась в пурпурный цвет.

Она была осведомлена о переменах, происшедших в королевстве, и особенно — о распре между священниками, принесшими присягу и отказавшимися присягать. Слышала она также про войну, про голод, про небесные знамения. Ей никак не верилось, что короля казнили. Ему помогли бежать подземным ходом, утверждала она, а вместо него палачу выдали какого-то простолюдина.

У ног старухи, в плетеной корзинке, лежал грудной младенец Жанно, самый младший член семьи Пуатрин: у него прорезывались зубы. Роза Тевенен подняла ивовую колыбель и улыбнулась ребенку; он слабо застонал, истощенный жаром и судорогами. Должно быть, он был очень болен, так как к нему вызвали лекаря; правда, гражданин Пельпор, запасной депутат Конвента, не брал платы за посещения.

Гражданка Тевенен, на все руки мастерица, везде чувствовала себя как дома. Недовольная тем, как Колода вымыла посуду, она принялась перетирать тарелки, стаканы и вилки. Покуда гражданка Пуатрин варила суп, то и дело, как хорошая хозяйка, пробуя его, Элоди разрезала на ломти еще горячий, только что вынутый из печи четырехфунтовый хлеб. Гамлен, увидев ее за этим занятием, сказал ей:

— На днях я прочитал в отличном французском переводе книгу, написанную молодым немцем, — имя его я забыл. Там изображена прелестная девушка, по имени Шарлотта, которая, так же как и вы, Элоди, разрезает на ломти хлеб и, подобно вам, делает это так грациозно и мило, что, застав ее за этим занятием, в нее влюбляется юный Вертер *.

— И дело кончается женитьбой? — спросила Элоди.

— Нет, — ответил Эварист, — кончается самоубийством Вертера.

Все проголодались и ели с аппетитом. Но обед был очень скромным. Жан Блез остался недоволен: он был лакомка и привык к изысканному столу, а общий голод побудил его возвести чревоугодие в систему. Ветром Революции в каждом доме загасило плиту. У большинства граждан не было ни крошки хлеба. Ловкие люди, вроде Жана Блеза, нагревавшие руки на народном бедствии, шли к ресторатору, где и проявляли свою сущность, обжираясь до отвала. Что же касается Бротто, который на втором году Свободы питался каштанами да сухарями, он утешался воспоминаниями об ужинах у Гримо де ла Реньера *, при въезде в Елисейские поля. Желая блеснуть своими гастрономическими познаниями, он, сидя перед тушенной в сале капустой, изготовленной тетушкой Пуатрин, сыпал замысловатыми кулинарными рецептами и тонкими замечаниями по поводу разных кушаний. Когда же Гамлен заявил, что республиканец относится с презрением к чревоугодию, старый откупщик, знаток древности, сообщил молодому спартанцу точный способ приготовления черной похлебки.

После обеда Жан Блез, никогда не забывавший о деле, заставил свою бродячую академию заняться набросками с харчевни, которая в своем запустении казалась ему довольно романтичной. Когда Филипп Демаи и Филипп Дюбуа зарисовывали хлев, явилась Колода задать корму свиньям. Гражданин Пельпор, врач, выйдя из дому, где он только что осмотрел наследника Пуатринов, подошел к художникам и, наговорив любезностей по поводу их талантов, которыми, по его словам, могла гордиться вся нация, обратил их внимание на Колоду, возившуюся со свиньями.

— Взгляните на это создание, — сказал он. — Это не одна девушка, как можно предположить, а целых две. Поймите, я говорю буквально. Я был так поражен невероятными размерами ее костяка, что исследовал ее и убедился, что большинство костей у нее в двойном количестве; в каждой ляжке — две сросшиеся берцовые

кости; в каждом плече — две плечевые. Мускулы у нее тоже в двойном количестве. По-моему, это два близнеца, теснейшим образом спаянные друг с другом, или, вернее, слитые воедино. Случай интересный. Я сообщил о нем господину Сент-Илеру *, и он был мне очень признателен. Перед вами, граждане, урод. Хозяева зовут ее Колодой. По-настоящему следовало бы называть ее Колодами: их две, а не одна. Да, в природе бывают всякие странности... Добрый вечер, граждане художники! К ночи надо ждать грозы...

Поужинав при свечах, академия Блеза затеяла во дворе харчевни, вместе с сыном и дочерью Пуатринов, игру в жмурки, в которой молодежь проявила живость, в достаточной мере объяснимую ее возрастом, чтобы не искать причины этого веселья в жестоких временах и общей неуверенности в завтрашнем дне. Когда совершенно стемнело, Жан Блез подал мысль поиграть в фанты в обеденной зале. Элоди предложила «охоту за сердцем», и все согласились с нею. По указанию девушки, Филипп Демаи начертил мелом на мебели, на дверях и на стенах семь сердец, то есть одним меньше числа играющих, причем и старик Бротто любезно согласился принять участие в игре. Завели хоровод, распевая «Ла-Тур, берегись», и, по знаку Элоди, поспешили схватиться рукой за выведенное мелом сердце. Гамлен, рассеянный и неловкий, опоздал: все сердца уже были заняты. Он дал фант: перочинный ножик, купленный за шесть су на Сен-Жерменской ярмарке, тот самый, которым он отрезал кусок хлеба для гражданки Дюмонтей. Игру начали снова, и друг за другом, Блез, Элоди, Бротто, Роза Тевенен, не находя свободного сердца, давали фанты: кольцо, ридикюль, книжку в сафьяновом переплете, браслет. Затем стали тянуть наудачу фанты, которые Элоди держала у себя на коленях, и каждый участник игры, чтобы выкупить свой фант, должен был проявить какой-либо талант: спеть песенку или прочесть стихи. Бротто продекламировал речь патрона Франции из первой песни «Орлеанской девственницы»: *

Ведь я Денис, а ремеслом — святой,
Я Галлии любимой просветитель.

Гражданин Блез, хотя и менее образованный, привел без запинки ответ Ричмонда:

Мне кажется, вы вздумали напрасно
Покинуть ваш приют весьма прекрасный...

В ту пору все читали и перечитывали шедевр французского Ариоста: самые серьезные люди смеялись над любовными похождениями Жанны и Дюнуа, над приключениями Агнесы и Монроза и над подвигами крылатого осла. Образованные люди знали наизусть лучшие места этой веселой философской поэмы. Эварист Гамлен, при всей своей строгости, охотно продекламировал, взяв с колен Элоди свой перочинный ножик, сцену сошествия Грибурдона в ад. Гражданка Тевенен исполнила без аккомпанемента романс Нины: «Когда любимый мой вернется». Демаи спел на мотив «Фаридондены»:

Свинью одели впопыхах
(Не вашу ли, святой Антоний? *)
В плащ капуцина, и монах,
Укрывши рыло в капюшоне,
О смертных хрюкает грехах...

Однако Демаи был озабочен. В эту минуту он пылко был влюблен во всех трех женщин, с которыми играл в фанты, и на каждую из них кидал пламенные и нежные взоры. Роза Тевенен нравилась ему своей грацией, гибкостью, своим искусством, голосом, проникавшим ему в сердце, и многозначительными взглядами; Элоди ему нравилась потому, что он угадывал в ней богатую, щедрую, увлекающуюся натуру. Ему нравилась Жюльена Азар, несмотря на ее белесые ресницы, бесцветные волосы, веснушки и тощую грудь, потому что, подобно Дюнуа, которого выводит Вольтер в «Орлеанской девственнице», он всегда был готов великодушно предъявить наименее красивой женщине доказательства своей любви, тем более что сейчас она казалась ему никем не занятой и, следовательно, более доступной, чем остальные. Отнюдь не тщеславный, он никогда не был уверен, что его домогательства встретят благосклонный прием, но у него никогда не

было уверенности и в противном. Поэтому он предлагал себя на всякий случай. Воспользовавшись удобной минутой при розыгрыше фантов, он шепнул несколько нежных слов Розе Тевенен, которая не рассердилась, но не могла ничего ответить, так как с нее не спускал ревнивого взора гражданин Блез. Еще более пылко объяснился он Элоди, хотя ему и было известно, что она любит Гамлена; но он не был настолько требователен, чтобы стремиться к безраздельному обладанию сердцем. Элоди не могла любить его, но находила его красивым и не умела это скрыть. Однако самое пылкое признание он излил на ухо гражданке Азар; она ответила на это взором, полным изумления, который мог выражать и глубочайшую покорность и мрачное безразличие. Но Демаи не верилось, что она равнодушна.

В харчевне было всего две спальни, обе во втором этаже и на одной площадке. Та, что находилась налево, более красивая, была оклеена обоями в цветах; на одной из стен висело зеркальце, величиной с ладонь, в позолоченной раме, засиженной мухами еще со времен малолетства Людовика XV. Там, под ситцевым в разводах пологом, две кровати, покрытые стегаными одеялами, вздувались горой подушек и перин. Эту комнату отвели трем гражданкам.

Когда настало время ложиться спать, Демаи и гражданка Азар, каждый с подсвечником в руке, пожелали друг другу на площадке спокойной ночи. Влюбленный гравер сунул дочери торговца красками записочку, в которой умолял, когда все заснут, прийти к нему на чердак, находившийся над спальнею гражданок.

Предусмотрительный и благоразумный, он еще днем изучил внутреннее расположение дома и исследовал этот чердак, заваленный сундуками, старыми чемоданами, связками лука, фруктами, которые сушились, осаждаемые роем ос. Он даже заметил там хромоногую складную кровать, которой, как ему казалось, никто не пользовался, и распоротый тюфяк, где на приволье прыгали блохи.

Напротив спальни гражданок была комнатушка с тремя кроватями, предназначенными для граждан пу-

тешественников. Но сибарит Бротто ушел спать на сеновал. Жан Блез куда-то скрылся, Дюбуа же и Гамлен заснули сразу. Демаи лег в постель, но когда ночное безмолвие, как стоячая вода, затопило весь дом, гравер выбрался из комнаты и босиком стал подниматься по деревянной лестнице, скрипевшей у него под ногами. Дверь чердака была полуоткрыта. Оттуда несло спертым горячим воздухом и острым запахом гнилых плодов. На хромоногой кровати в задранной кверху сорочке, раскинувшись, спала с разинутым ртом Колода. Она была огромна. Лунный луч, проникая через чердачное окно, заливал голубоватым серебром ее кожу, блиставшую молодой свежестью в тех местах, где она не была покрыта чешуей грязи и брызгами навозной жижи. Демаи навалился на спящую. Сразу проснувшись, она сначала испугалась и закричала; но, сообразив, чего от нее хотят, успокоилась и не выказала ни изумления, ни досады: она притворилась, будто погружена в полудремоту и как бы не сознает происходящего, но это не мешало ей испытывать некоторое наслаждение...

Демаи вернулся к себе в комнату и проспал до утра спокойным и глубоким сном.

На другой день, поработав до вечера, странствующая академия собралась обратно в Париж. Когда Жан Блез расплатился с хозяином ассигнациями, гражданин Пуатрин стал жаловаться, что уже давно не видал других денег, кроме «четырехугольных», и обещал поставить толстую свечку за того молодца, который опять пустит в ход золотые кругляши.

Гражданкам он поднес цветы. По его приказанию, Колода, в деревянных башмаках, подоткнув подол, заголив грязные, сверкающие икры, вскарабкалась на лесенку и неутомимо срезала цветы с ползучих кустов роз, покрывавших стену. Из ее широких рук цветы дождем, потоком, лавиной падали в подставленные юбки к Элоди, Жюльене и Розе Тевенен. Берлин утопал в розах. Вернувшись к ночи домой, все захватили по охапке, и сон и пробуждение их были овеяны благоуханием.

XI

Утром седьмого сентября гражданка Рошмор отправилась к присяжному Гамлену, у которого хотела просить заступничества за своего знакомого, взятого под подозрение, и на площадке лестницы повстречалась с бывшим дворянином Бротто дез Илетт, которого она любила в прежние, счастливые дни. Бротто шел к торговцу игрушками на улице Закона с двенадцатью дюжинами картонных плясунов своей работы; чтобы легче оправиться с ношей, он нанизал их, по обычаю разносчиков, на жердь. Он был изысканно любезен со всеми женщинами, даже с теми, которые в силу долгой привычки утратили для него всякую привлекательность; так было бы, видимо, и с г-жой де Рошмор, хотя, может быть, измена, разлука, неверность, приятная полнота сделали ее в его глазах несколько привлекательнее. Во всяком случае, встретившись с ней на грязной площадке с разошедшимися изразцами, он отвесил ей тот же церемонный поклон, как некогда на ступенях крыльца в дез Иллет, и попросил оказать ему честь, посетив его мансарду. Гражданка Рошмор поднялась довольно легко по приставной лесенке и очутилась на чердаке; черепичная крыша, в которой было проделано слуховое окно, поддерживалась толстыми наклонными балками. Выпрямиться во весь рост было невозможно. Она села на единственный стул, имевшийся в убогом жилище, и, скользнув удивленно-грустным взором по разъехавшимся черепицам, спросила:

— Так вот где вы живете, Морис? Вам здесь нечего опасаться непрошеных гостей. Надо быть дьяволом или котом, чтобы навестить вас.

— Да, у меня здесь тесновато, — ответил бывший дворянин. — И не скрою от вас, что, когда идет дождь, вода попадает на мое ложе. Это небольшое неудобство. Зато в ясные ночи я вижу луну, прообраз и свидетельницу человеческой любви. Ведь луна, сударыня, во все времена признавалась покровительницей влюбленных, и в полнолунье она своим бледным, круглым ликом напоминает любовнику предмет его вожделений.

— Вы правы, — согласилась гражданка.

— Временами коты устраивают у меня над головой чудовищные концерты, — продолжал Бротто. — Но разве можно укорять любовь за то, что она мяукает и приносит клятвы верности на крышах, если она насыщает страданиями и преступлениями жизнь людей!

Оба они были настолько умны, что встретились, как два друга, которые расстались лишь накануне, и, хотя между ними уже не было никакой близости, они мило, по-приятельски беседовали.

Однако г-жа де Рошмор казалась озабоченной. Революция, которая долго была для нее источником развлечений и всяких благ, теперь приносила ей лишь заботы и тревоги; ее ужины утрачивали свой блеск и веселье. Омраченные лица уже не прояснялись при звуках ее арфы. За ломберными столами она недосчитывалась самых богатых игроков. Многие из ее постоянных посетителей были объявлены неблагонадежными и где-то скрывались; ее друг, банкир Морхардт, был арестован: о нем-то она и пришла похлопотать перед Гамленом. Она сама находилась под подозрением. Национальные гвардейцы произвели у нее обыск, перерыли все ящики в комодах, приподнимали половицы, истыкали штыками матрацы. Они ничего не нашли, извинились перед ней и удалились, отведав вина из ее погреба. Но они едва не наткнулись на ее переписку с эмигрантом, г-ном д'Экспийи. Кое-кто из ее приятелей-якобинцев предупредил ее, что красавец Анри, которого она содержала, возбуждает подозрение своими выступлениями, слишком резкими, чтобы можно было поверить в их искренность.

Облокотившись о колено и подпирая руками подбородок, она задумчиво опросила своего старого друга, сидевшего на соломенном тюфяке:

— Что вы думаете обо всем этом, Морис?

— Думаю, что эти люди дают философу и любителю зрелищ обильный материал для раздумий и развлечений, но что для вас, дорогая, было бы лучше, если бы вы находились за пределами Франции. *

— Морис, куда это нас приведет?

— Тот же вопрос вы мне задали, Луиза, как-то в коляске, по дороге в дез Илетт, ведущей вдоль берега Шера, когда наша лошадь, закусив удила, понеслась бешеным галопом. Ну и любопытны же женщины! И сегодня вам хочется знать, к чему мы идем. Спросите у гадалок. Я, моя милая, не предсказатель, а философия, даже самая здравая, — слабая помощница, чтобы предвидеть будущее. Это кончится, потому что всему бывает конец. Мне представляется несколько исходов. Победа коалиции и вступление союзников в Париж. Они уже недалеко, но все-таки я сомневаюсь, чтобы они пришли сюда. Республиканские солдаты сражаются с пылом, который ничто не в силах угасить. Возможно, что Робеспьер женится на дочери короля и провозгласит себя протектором королевства до совершеннолетия Людовика Семнадцатого.

— Вы думаете? — воскликнула гражданка, сгорая от нетерпения вмешаться в эту замечательную интригу.

— Возможно также, — продолжал Бротто, — что одержит верх Вандея и что над грудами развалин и горою трупов снова утвердит свою власть духовенство. Вы, дорогая, не отдаете себе отчета, сколько человеческих туш насчитывают в своем стаде эти пастыри... Я хотел сказать «душ», но обмолвился. Вероятнее же всего, на мой взгляд, что Революционный трибунал вызовет падение режима, которому он обязан своим существованием: слишком большому количеству голов угрожает это судилище. Числа нет людям, которые трепещут пред ним: они объединятся и, чтобы уничтожить его, уничтожат весь политический строй. Если не ошибаюсь, вы способствовали назначению присяжным молодого Гамлена. Он добродетелен: он будет страшен. Чем больше я думаю над этим, мой милый друг, тем больше я прихожу к мысли, что Трибунал, призванный спасти Республику, погубит ее. Конвент захотел, подобно королевской власти, учредить свой чрезвычайный суд, установить свои выездные сессии и поручить заботу о государственной безопасности судьям, назначаемым им и зависимым от него. Но насколько праздники Конвента уступают праздникам монархии и насколько его чрезвычайный суд менее дальновиден, чем

суд Людовика Четырнадцатого! В Революционном трибунале господствует дух примитивной справедливости и пошлого равенства, который вскоре вызовет к нему ненависть и отвращение всех решительно. Знаете ли вы, Луиза, что этот Трибунал, собирающийся посадить на скамью подсудимых французскую королеву и двадцать одного законодателя, вчера приговорил к смертной казни служанку, вина которой заключается в том, что она, с целью погубить Республику, злонамеренно крикнула: «Да здравствует король!»? Наши судьи в черных плюмажах действуют в духе Вильяма Шекспира, столь любезного сердцу англичан, который вводит в наиболее трагические сцены самое грубое шутовство.

— Скажите, Морис, вы по-прежнему счастливы в любви? — спросила гражданка.

— Увы, — вздохнул Бротто, — голуби порхают вокруг новенькой голубятни и не садятся на развалины башни.

— Вы нисколько не изменились... До свиданья, друг мой!

В тот же вечер драгун Анри, явившись без приглашения к г-же де Рошмор, застал ее, когда она запечатывала конверт, на котором он прочитал адрес гражданина Ролина в Верноне. Это письмо, он знал, должно было уйти в Англию... Ролин, получая с дилижансом корреспонденцию г-жи де Рошмор, пересылал ее через торговку рыбой в Дьепп. Там один судохозяин ночью переправлял письма на британский корабль, крейсировавший вдоль берегов; в Лондоне их получал эмигрант, г-н д'Экспийи, и в тех случаях, когда находил это целесообразным, передавал их Сен-Джемскому кабинету.

Анри был молод и красив: сам Ахилл, облаченный в доспехи, подаренные Уллисом, не мог бы поспорить изяществом и силой с юным драгуном. Однако гражданка Рошмор, недавно еще неравнодушная к чарам юного героя Коммуны, отвратила от него и взоры и мысли с тех пор, как ее предупредили, что юный воин, заподозренный якобинцами в неискренности, может

скомпрометировать и погубить ее. Анри сознавал, что разрыв с г-жой де Рошмор, пожалуй, не будет для него слишком большим горем, но ему было неприятно, что она уже не отличала его. Он рассчитывал на нее, чтобы возместить некоторые издержки, понесенные им на службе Республике. Кроме того, думая о крайностях, на которые способны женщины, и о том, как быстро они переходят от самой пылкой нежности к самому холодному безразличию, как им легко отказаться от того, чем они дорожили, и погубить то, чему поклонялись, он был недалек от мысли, что в один прекрасный день обворожительная Луиза может посадить его в тюрьму, дабы развязаться с ним. Благоразумие подсказывало ему вернуть сердце охладевшей к нему красавицы. Потому-то он и явился к ней во всеоружии своих чар. Он то приближался к ней, то удалялся, вновь подходил, слегка касался ее и внезапно отстранялся, следуя балетным правилам обольщения. Наконец он сел в кресло и своим неотразимым голосом, перед которым не могла устоять ни одна женщина, стал превозносить красоты природы, прелесть уединения и, вздыхая, предложил ей совершить прогулку в Эрменонвиль.

Она меж тем водила рукой по струнам арфы и кидала вокруг себя нетерпеливые и скучающие взоры. Вдруг Анри, поднявшись с мрачным и решительным видом, заявил, что уезжает в армию и через несколько дней будет уже под Мобежем.

Не выказав ни сомнений, ни удивления, она одобрительно, кивнула головой.

— Вы находите разумным мое намерение?

— Вполне разумным.

Она ждала прихода нового друга, который ей нравился бесконечно и близость с которым сулила ей множество выгод. Он был полной противоположностью Анри: воскресший Мирабо, Дантон, обтесавшийся и сделавшийся поставщиком, лев, поговаривавший о том, что всех патриотов пора бросить в Сену. Каждую минуту ей чудился его звонок, и она испуганно вздрагивала.

Чтобы поскорее избавиться от Анри, она умолкла, зевнула, перелистала ноты и зевнула еще раз. Видя,

что он не собирается уходить, она сказала, что ей нужно выйти из дому, и прошла к себе в будуар.

Он крикнул ей взволнованным голосом:

— Прощайте, Луиза!.. Увижу ли я вас когда-нибудь еще?

А руки его между тем шарили в ящике письменного стола.

Очутившись на улице, он распечатал письмо, адресованное гражданину Ролину, и с интересом прочел его. Письмо действительно было любопытным отражением настроений во Франции. В нем сообщалось о королеве, о Розе Тевенен, о Революционном трибунале, цитировались совсем не предназначенные для огласки суждения милейшего Бротто дез Илетта.

Окончив чтение, Анри положил письмо в карман и на минуту задумался; затем, как человек, принявший твердое решение и убежденный, что чем скорее все произойдет, тем лучше, направился к Тюильрийскому дворцу и вошел в приемную Комитета общественной безопасности.

В тот же день, в три часа пополудни, Эварист Гамлен впервые занял место на скамье присяжных среди четырнадцати других заседателей, с большинством которых он был знаком; все это были простые, честные люди и патриоты: ученые, художники или ремесленники — один живописец, как и он, один рисовальщик, оба чрезвычайно талантливые, хирург, башмачник, бывший маркиз, неопровержимо доказавший свою преданность Революции, типограф, несколько мелких торговцев, — словом, представители всех слоев парижского населения. Они явились сюда в рабочем платье или в костюме буржуа, остриженные по-римски в кружок или с короткой косицей, перехваченной бантом, в треуголке, надвинутой на глаза, в круглой шляпе, съехавшей на затылок, или в красном колпаке, натянутом на уши. Одни были в жилете, фраке и коротких панталонах, как при старом режиме, другие — в карманьоле и полосатых штанах на манер санкюлотов. Обутые в высокие сапоги, в туфли с пряжками или в деревянные

башмаки, они являли своим видом все разнообразие мужской одежды, бывшей тогда в ходу. Каждый из них заседал уже не в первый раз, поэтому они чувствовали себя на скамье присяжных непринужденно, и Гамлен завидовал их спокойствию. Сердце у него учащенно билось, в ушах звенело, глаза заволакивал туман, и все окружающее принимало тусклый оттенок.

Когда судебный пристав объявил: «Суд идет!», трое судей, поднявшись на небольшое возвышение, уселись за зеленым столом. На них были треуголки с кокардами, украшенные пышным черным плюмажем, и судейские мантии; на груди, на трехцветной ленте, висела большая серебряная медаль. Впереди них, у подножия эстрады, в таком же костюме сидел товарищ общественного обвинителя. Секретарь занял место между судейским столом и пустым креслом обвиняемого. Гамлен видел этих людей, непохожих на то, какими он знал их до сих пор; они казались более красивыми, более величественными, более грозными, хотя держались очень просто: перелистывали бумаги, подзывали судебного пристава, откинувшись назад, выслушивали сообщение какого-нибудь присяжного или дежурного офицера.

Над местами для судей висели таблицы с Декларацией Прав Человека; по обеим сторонам от них, у старинных, феодальных стен, — бюсты Лепелетье де Сен-Фаржо и Марата. Напротив судейского стола, в глубине зала, находилась трибуна для публики. Первый ряд занимали женщины: блондинки, брюнетки, седые — все в высоких чепцах, плиссированные кружева которых затеняли им щеки; на груди, которой мода придавала однообразную полноту груди кормилицы, лежала крест-накрест белая косынка или топорщился нагрудник синего передника. Все сидели, скрестив руки на перилах трибуны. Позади них ступеньки лестницы были усеяны гражданами, одетыми с тем разнообразием, которое придавало тогда парижской толпе странный и живописный вид. Направо, у входа, за сплошным барьером, были стоячие места для публики. На этот раз там было мало народу. Дело, подлежавшее рассмотрению этой секции, привлекало немногих зри-

телей: видимо, в других секциях Трибунала, заседавших одновременно, разбирались более интересные дела.

Это обстоятельство несколько успокаивало Гамлена: он был слишком взволнован, чтобы вынести лихорадочную атмосферу крупных процессов. Он подмечал мельчайшие подробности: вату в ухе секретаря, чернильное пятно на папке обвинителя. Словно сквозь увеличительное стекло, видел он капители, изваянные в эпоху, когда было утрачено всякое понимание классических стилей, и венчавшие гирляндами крапивы и остролиста готические колонны. Но взгляд его ежеминутно обращался к старомодному креслу, обитому алым утрехтским бархатом, потертым на сиденье и потемневшим на ручках. У всех входов стояли вооруженные национальные гвардейцы.

Наконец, под конвоем гренадеров, появился обвиняемый. Как полагалось по закону, он не был закован в кандалы. Это был мужчина лет пятидесяти, худощавый, сухой, смуглый, почти совсем лысый, со впалыми щеками, с тонкими фиолетовыми губами, одетый по старинной моде во фрак цвета бычьей крови. У него, вероятно, была лихорадка, ибо глаза блестели, как драгоценные камни, а щеки, казалось, были покрыты лаком. Он сел, скрестив непомерно худые ноги, и обхватил колени большими руками с узловатыми пальцами. Звали его Мари-Адольф Гийерг, и обвинялся он в хищениях по интендантским поставкам Республике. Обвинительным актом ему инкриминировалось множество серьезных злоупотреблений, но ни одно из них не было доказано безусловно. На вопрос, признает ли он себя виновным, Гийерг отверг большинство приписываемых ему деяний, остальные же объяснил в благоприятном для себя смысле. Он выражался чрезвычайно точно и сдержанно, удивительно искусно и производил впечатление человека, с которым лучше не иметь деловых сношений. У него находился ответ на все. Когда судья задавал ему затруднительный вопрос, его лицо было все так же спокойно, а речь уверенна, но руки, сложенные на груди, судорожно сжимались. Гамлен заметил это и шепнул на ухо своему соседу, художнику:

— Посмотрите на его большие пальцы!

Первый свидетель, которого выслушали, дал крайне невыгодные для подсудимого показания. На них-то и было построено все обвинение. Следующие свидетельства, напротив, были благоприятны для Гийерга. Обвинитель выступил с горячей речью, но не доказал ничего определенного. Адвокат говорил с подкупающей искренностью и этим завоевал своему подзащитному симпатии, которые тот сам не мог вызвать у суда. Объявили перерыв, и присяжные удалились в комнату для совещаний. Там, после довольно путаных и ничего не выяснивших прений, голоса разделились приблизительно поровну. На одной стороне оказались безучастные, холодные резонеры, остававшиеся бесстрастными при любых обстоятельствах; на другой — те, которые давали волю чувству, мало считались с доводами разума и судили, слушаясь сердца. Эти всегда выносили обвинительный приговор. То были подлинные патриоты: они думали только о Республике и не заботились об остальном. Их позиция произвела сильное впечатление на Гамлена, который сознавал себя солидарным с ними.

«Этот Гийерг, — размышлял он, — ловкий мошенник, негодяй, спекулировавший на фураже нашей кавалерии. Оправдать его — значит отпустить на свободу изменника, предать отечество, обречь армию на разгром». И Гамлену уже мерещились республиканские гусары на спотыкающихся лошадях, изрубленные неприятельской конницей... «А что, если Гийерг невиновен?»

Он вспомнил вдруг о Жане Блезе, которого тоже подозревали в злоупотреблениях при поставках. А сколько их еще, таких Гийергов и Блезов, играющих на руку врагам Республики, подготовляющих ее гибель? Необходим устрашающий пример! Но если Гийерг невиновен?..

— Нет улик, — произнес вслух Гамлен.

— Бесспорных доказательств никогда не бывает, — возразил, пожимая плечами, старшина присяжных, испытанный патриот.

В конце концов семь голосов высказалось за осуждение и восемь за оправдание.

Присяжные вернулись в зал, и заседание возобновилось. Каждый должен был мотивировать приговор, и все по очереди говорили перед пустым креслом подсудимого. Одни были многоречивы; другие ограничивались двумя-тремя словами; некоторые говорили совсем невразумительно.

Когда дошла очередь до Гамлена, он встал и произнес:

— Чтобы обвинить кого-либо в столь тяжком преступлении, как лишение защитников отечества средств к победе, нужны неопровержимые улики, а их у нас нет.

Большинством голосов подсудимый был признан невиновным.

Гийерга опять ввели в зал суда; его появление вызвало среди публики благожелательный шепот, возвещавший ему оправдательный приговор. Теперь это был совсем другой человек. Сухие черты расправились, рот смягчился. Весь его вид внушал уважение, лицо выражало невинность. Председатель взволнованным голосом прочитал постановление суда, объявлявшее его свободным; зал разразился рукоплесканиями. Жандарм, который привел Гийерга, кинулся ему в объятия. Председатель поздравил его и братски облобызал. Присяжные расцеловали его, Гамлен обливался слезами радости.

Во дворе суда, освещенном последними лучами солнца, гудела толпа. Четыре секции Трибунала вынесли накануне тридцать смертных приговоров, и «вязальщицы», примостившись на ступенях парадной лестницы, ожидали отъезда телег. Но Гамлен, опускаясь вниз вместе с присяжными и публикой, не видел, не слышал ничего; он думал лишь об акте справедливости и человеколюбия, который он только что совершил, и радовался, что ему удалось распознать невинного. Во дворе Элоди, бледная, улыбаясь сквозь слезы, кинулась к нему в объятия и замерла в них. Придя немного в себя, она заговорила:

— Эварист, вы прекрасны, вы добры, вы великодушны! Здесь, в зале, звук вашего голоса, мужественный и мягкий, пронизывал меня всю магнетическими

волнами. Я была наэлектризована им. Я все время любовалась вами там, на скамье. Я видела только вас. А вы, друг мой, и не догадывались о моем присутствии? Ничто не подсказало вам, что я здесь? Я сидела на трибуне, во втором ряду, направо. Боже, как приятно делать добро! Вы спасли этого несчастного. Если бы не вы, все было бы кончено: он бы погиб. Вы вернули его жизни, ласкам близких. В эту минуту он, должно быть, благословляет вас, Эварист, я счастлива и горда тем, что люблю вас!

Под руку, тесно прижавшись друг к другу, шли они по улицам и чувствовали себя такими легкими, словно крылья выросли у них за плечами.

Они направились к «Амуру Живописцу».

— Пройдем не через магазин, — сказала Элоди, когда они уже свернули на улицу Оратории.

Войдя через ворота во двор, она поднялась с ним во второй этаж. На площадке она вынула из ридикюля большой железный ключ.

— Можно подумать, что это ключ от тюрьмы, — заметила она. — Эварист, вы будете моим узником.

Они прошли через столовую и очутились в спальне девушки.

Эварист чувствовал на губах свежесть губ Элоди. Он сжал ее в своих объятиях. Откинув голову, томно закатив глаза, изогнув стан, так, что волосы (рассыпались у нее по плечам, почти теряя сознание, она выскользнула из его рук и поспешно задвинула засов...

Было уже далеко за полночь, когда гражданка Блез отперла своему любовнику дверь квартиры и шепнула ему в темноте:

— Прощай, любовь моя! Сейчас должен вернуться отец. Если услышишь шаги на лестнице, быстро поднимись этажом выше и не опускайся, пока не убедишься, что опасность миновала. Внизу постучи три раза в окно привратнице: она выпустит тебя на улицу. Прощай, жизнь моя! Прощай, моя душа!

Очутившись на улице, Эварист увидел, как приоткрылось окно в комнате Элоди, и алая гвоздика, сорванная маленькой ручкой, упала, точно капля крови, к его ногам.

XII

Однажды вечером, когда старик Бротто принес двенадцать дюжин картонных плясунов гражданину Кайу, владельцу лавки на улице Закона, торговец игрушками, обычно вежливый и обходительный, встретил его, среди своих кукол и паяцев, крайне неприветливо.

— Берегитесь, гражданин Бротто, — сказал он, — берегитесь! Не всегда время шутить, и не всякая шутка уместна. Член Комитета общественной безопасности нашей секции, посетивший вчера мое заведение, видел ваших плясунов и нашел, что они контрреволюционны.

— Он пошутил! — ответил Бротто.

— Как бы не так, гражданин, как бы не так. Этот человек шуток не любит. Он сказал, что эти фигурки — прямое издевательство над представителями нации, что в некоторых из них можно определенно узнать карикатуры на Кутона, Сен-Жюста и Робеспьера, и он их забрал. Для меня это чистый убыток, не говоря уже об опасности, которой я подвергаюсь.

— Как? Эти Арлекины, Жили, Скарамуши, Колены и Кодетты, которых я рисую так же, как рисовал их Буше полвека назад, — карикатуры на Кутона и Сен-Жюста? Да ни один разумный человек этому не поверит.

— Возможно, — возразил гражданин Кайу, — что вы действовали без злого умысла, хотя никогда не мешает относиться с опаской к остроумцам вроде вас. Но это все-таки игра с огнем. Незачем далеко ходить за примером: позавчера арестовали за неблагонадежность владельца театрика на Елисейских полях, Натуаля; его обвиняют в том, что он Полишинелем высмеивает Конвент.

— Взгляните еще раз на эти маски и лица, — сказал Бротто, поднимая холстину, которой были прикрыты его маленькие висельники, — ведь это же персонажи комедий и пасторалей! Как же вы позволили себя уверить, гражданин Кайу, что я высмеиваю Национальный конвент?

Бротто был изумлен. Зная, как беспредельна человеческая глупость, он все же никогда бы не подумал, что его Скарамуши и Колинетты могут кому-то показаться подозрительными. Он вступился за них, отстаивая свою и их невинность. Но гражданин Кайу и слышать не хотел ни о чем.

— Забирайте обратно ваших плясунов, гражданин Бротто. Я почитаю, я высоко ценю вас, но не желаю, чтобы меня поносили и беспокоили из-за вас. Я уважаю закон. Я хочу быть благонадежным гражданином и таковым считаться. До свиданья, гражданин Бротто! Забирайте своих плясунов!

Старик Бротто побрел домой, унося на плече, на кончике жерди, своих опальных человечков; по дороге ребята осыпали его насмешками, воображая, что это продавец крысиного мора. Мысли его были печальны. Конечно, он жил не одними только плясунами; он рисовал под воротами и в винном погребке на рынке, окруженный «вязальщицами», портреты по двадцати су за штуку, и главными его заказчиками были молодые люди, уезжавшие в армию и желавшие оставить свой портрет подруге сердца. Но эта грошовая работа чрезвычайно претила ему, и надо было очень стараться, чтобы портрет вышел таким же удачным, как картонный плясун. Иногда он исполнял обязанности писца у рыночных торговок, но это значило впутываться в роялистские заговоры и рисковать слишком многим. Он вспомнил, что на улице Нев-де-Пти-Шан, недалеко от бывшей Вандомской площади, есть другой торговец игрушками, гражданин Жоли, и решил завтра же предложить ему товар, от которого малодушно отказался Кайу.

Стал накрапывать мелкий дождь. Бротто побоялся, как бы не пострадали его плясуны, и прибавил шагу. Проходя по Новому мосту, мрачному и безлюдному, и собираясь свернуть на Тионвилльскую площадь, он увидал при свете фонаря худощавого старика, сидевшего на тумбе: истощенный голодом и усталостью, в дырявом плаще, без шляпы, незнакомец все-таки сохранял полную достоинства осанку; на вид ему было лет за шестьдесят. Приблизившись к несчастному,

Бротто узнал в нем отца Лонгмара, которого полгода назад спас от петли, когда они оба стояли в очереди у булочной на Иерусалимской улице. Оказанная тогда монаху услуга побудила Бротто подойти к нему и напомнить, что он тот самый мытарь, который как-то во время голода очутился рядом с ним в толпе, дожидавшейся выдачи хлеба; Бротто спросил, не может ли он быть ему чем-нибудь полезен.

— Вы, по-видимому, очень устали, отец мой. Вам надо подкрепиться.

И Бротто извлек из кармана своего коричневого сюртука небольшой пузырек с водкой, который обретался там вместе с Лукрецием.

— Выпейте. Я помогу вам добраться домой.

Отец Лонгмар отстранил от себя пузырек и попробовал подняться. Но тотчас же снова опустился на тумбу.

— Сударь, уже три месяца как я живу в Пикпюсе *, — сказал он слабым, но твердым голосом. — Узнав, что вчера в пять часов пополудни приходили арестовать меня, я не вернулся домой. У меня нет пристанища; я брожу по улицам и немного устал.

— В таком случае, отец мой, — сказал Бротто, — позвольте просить вас оказать мне честь и поселиться у меня на чердаке.

— Но поймите, сударь, я ведь под подозрением, — возразил варнавит.

— Я тоже, — ответил Бротто, — и мои плясуны также, что, пожалуй, хуже всего. Вот они здесь, под жалкой холстиной, на дожде, от которого мы дрогнем. Надо вам сказать, отец мой, что, после того как я был мытарем, я теперь зарабатываю себе на хлеб игрушками.

Отец Лонгмар принял руку, протянутую ему бывшим финансистом, и согласился воспользоваться предложенным гостеприимством. В своей мансарде Бротто угостил его сыром, хлебом и вином, которое он предварительно поставил охладить в желоб, так как был сибаритом.

— Сударь, — заговорил отец Лонгмар, утолив голод, — я должен рассказать вам об обстоятельствах,

вынудивших меня бежать и доведших до печального состояния, в котором вы нашли меня на тумбе. После того как меня изгнали из монастыря, я жил на жалкое пособие, установленное мне еще Учредительным собранием; я давал уроки латыни и математики и сочинял брошюры о преследованиях церкви во Франции. Я даже написал довольно объемистый труд, с целью доказать, что конституционная присяга священников противоречит церковной дисциплине. Успехи Революции лишили меня всех учеников, а пенсию мне перестали выплачивать, так как я не мог представить требуемое законом свидетельство о гражданской благонадежности. За этим-то свидетельством я и отправился в мэрию, вполне убежденный, что заслуживаю его. Являясь членом ордена, учрежденного самим апостолом Павлом, который гордился своим римским гражданством, я льстил себя надеждой, что поступаю по его примеру, как добрый французский гражданин, относящийся с уважением ко всем человеческим законам, если только они не идут вразрез с законами божескими. Я подал свое прошение господину Колену, колбаснику и муниципальному чиновнику, ведающему выдачей такого рода удостоверений. Он спросил меня о моем звании. Я сказал, что я священник. Тогда он осведомился, женат ли я, и, получив отрицательный ответ, заявил, что тем хуже для меня. Наконец, после целого ряда вопросов, он спросил, доказал ли я свой патриотизм десятого августа, второго сентября и тридцать первого мая *. «Свидетельство гражданской благонадежности, — прибавил он, — выдается только тем, кто доказал свой патриотизм в эти дни». Мой ответ не удовлетворил его. Тем не менее он записал мое имя и адрес и пообещал в ближайшее же время навести обо мне необходимые справки. Он сдержал слово, и в результате наведенных справок два комиссара пикпюсского Комитета общественной безопасности, в сопровождении вооруженной силы, явились в мое отсутствие ко мне на дом, дабы отвести меня в тюрьму. Не знаю, в каком преступлении меня обвиняют. Но согласитесь, нельзя не пожалеть господина Колена, рассудок которого изрядно помрачен, раз он может упрекать лицо

духовное в том, что тот не доказал своего патриотизма десятого августа, второго сентября и тридцать первого мая. Человек, способный думать таким образом, поистине достоин жалости.

— У меня тоже нет удостоверения, — ответил Бротто. — Мы оба находимся под подозрением. Но вы устали, отец мой. Ложитесь спать. Завтра мы обсудим, как устроить вас понадежнее.

Он уступил было гостю матрац, а сам уже собирался лечь на соломенный тюфяк; но монах так настоятельно просил уступить тюфяк ему, что Бротто пришлось удовлетворить просьбу: иначе отец Лонгмар улегся бы на голом полу.

Покончив с приготовлениями, Бротто задул свечу — из экономии и из осторожности.

— Сударь, я сознаю, как много вы делаете для меня, — сказал монах. — Но, увы, я ничем не могу отблагодарить вас. Да вознаградит вас за все господь: это было бы для вас гораздо существеннее. Но бог не считает заслугой то, что делается не во славу его и что является лишь выражением природной добродетели. Поэтому умоляю вас, сударь, сделайте во имя его то, что вы намеревались сделать ради меня.

— Не утруждайте себя какой бы то ни было признательностью, отец мой, — возразил Бротто, — и не благодарите меня. Все, что я сейчас делаю и значение чего вы сильно преувеличиваете, я делаю не из любви к вам: ибо в конце концов, хотя вы и приятны мне, отец мой, я все-таки слишком мало знаю вас, чтобы любить. Я поступаю так и не из любви к человечеству: ибо я не настолько наивен, как Дон-Жуан, чтобы, подобно ему, полагать, будто человечество имеет какие-то права; этот предрассудок в человеке, столь просвещенном, как он, меня даже огорчает. Я действую так из эгоизма, который внушает человеку все великодушные и самоотверженные поступки: ибо эгоизм помогает человеку узнавать самого себя во всяком страждущем, предрасполагает оплакивать в чужом несчастье свое собственное, побуждает оказывать поддержку ближнему, до того похожему на тебя и своей природой и судьбой, что, помогая ему, ты как бы помогаешь себе

самому. Я поступаю так еще и от безделья: жизнь до такой степени бесцветна, что надо развлекаться какой угодно ценой; благотворительность — развлечение довольно пошлое, но ему предаешься за отсутствием других, более приятных; я поступаю так из гордости и чтобы иметь преимущество перед вами; наконец, я поступаю так из любви к системе и из желания показать вам, на что способен безбожник.

— Не клевещите на себя, сударь, — ответил отец Лонгмар. — Я сподобился от господа бога б*о*льших милостей, чем те, какими он взыскал вас по сей день; но я не стою вас и уступаю вам во всех достоинствах. Позвольте мне, однако, оказать вам, что у меня есть одно преимущество перед вами. Не зная меня, вы не можете меня любить. А я, сударь, не зная вас, люблю вас больше, чем самого себя: так повелевает мне господь.

С этими словами отец Лонгмар опустился на колени, прочел молитвы, затем растянулся на соломенном тюфяке и спокойно заснул.

XIII

Эварист Гамлен второй раз заседал в Трибунале. Перед началом заседания он беседовал с товарищами по суду о новостях, полученных утром. Были среди них неточные и ложные, но то, что не вызывало сомнений, было ужасно: союзные армии, завладев всеми путями к Парижу, наступали разом. Вандея побеждала, Лион восстал, Тулон уже сдан англичанам, которые высадили там четырнадцать тысяч человек.

Для присяжных это были факты, непосредственно их касавшиеся, а не только события, за которыми следил весь мир. Твердо зная, что гибель отечества будет их собственной гибелью, они рассматривали благо государства как свое личное дело. Интересы нации, слитые с их личными интересами, определяли их чувства, страсти, поступки.

Гамлен, уже сидя на скамье, получил письмо от Трюбера, секретаря Комитета обороны: это было изве-

щение о назначении Эвариста секционным комиссаром по снабжению войск порохом и селитрой.

> Произведи обыск во всех подвалах, в пределах секции, с тем чтобы изъять оттуда все вещества, необходимые для приготовления пороха. Неприятель, быть может, завтра будет под стенами Парижа: надо, чтобы отечественная почва породила молнию, которой мы поразим врага. Посылаю тебе при сем инструкцию Конвента об устройстве селитроварен. Братский привет!

В эту минуту ввели обвиняемого. Это был один из последних разбитых врагом генералов, которых Конвент отдал суду Трибунала, — едва ли не самый незначительный из них. Увидев его, Гамлен вздрогнул: ему показалось, что это тот самый военный, которого три недели назад судили и отправили на гильотину, когда он, Гамлен, сидел в местах для зрителей. Это был тот же человек, упрямый и ограниченный; это был тот же процесс. Подсудимый отвечал так угрюмо и резко, что портил самые выигрышные из своих ответов. Придирки, словесные уловки, обвинения, возводимые им на подчиненных, заслоняли почетную задачу, которую он выполнял, защищая свою честь и жизнь. В этом деле все было неясно и спорно: расположение армий, численность войск, количество боевых припасов, приказы полученные, приказы отданные, передвижение частей, — ни в чем не было определенности. Никто ничего не понимал в этих операциях, запутанных, нелепых, бесцельных, приведших к катастрофе: защитник и даже сам подсудимый понимали не больше, чем обвинитель, судьи и присяжные; но, странное дело, никто не признавался ни другим, ни самому себе, что он ничего не понимает. Судьи с явным удовольствием зарывались в планы, обсуждали вопросы тактики и стратегии; обвиняемый обнаруживал свою прирожденную склонность к крючкотворству.

Спорили без конца. А Гамлену во время этих прений чудилось, как на ухабистых дорогах севера вязнут в грязи зарядные ящики, опрокидываются в канавы пушки, по всем направлениям бегут в беспорядке

разбитые колонны, меж тем как неприятельская кавалерия надвигается отовсюду сквозь покинутые проходы. И ему казалось, что он слышит чудовищный вопль армии, преданной своими полководцами, вопль, обвиняющий генерала. К концу прений в зале уже было темно, и бюст Марата неясным призраком белел над головой председателя. Мнения присяжных разделились. Гамлен глухим, застревающим в горле голосом, в котором, однако, звучала решимость, объявил, что подсудимый виновен в измене Республике, и шепот одобрения, прошедший по толпе, был наградой его молодому рвению. Приговор прочли при свете факелов, и багровый их отблеск дрожал на впалых висках осужденного, покрывшихся каплями пота. У выхода, на ступеньках лестницы, где копошились досужие кумушки с кокардами на чепцах, Гамлен услышал, как называли его имя: оно уже становилось известным посетителям Трибунала; толпа «вязальщиц» преградила юному заседателю дорогу и, потрясая кулаками, требовала казни Австриячки.

На другой день Эваристу пришлось высказаться по вопросу о виновности некоей бедной женщины, вдовы Мерион, разносчицы хлеба. Она развозила свой товар в ручной тележке, отмечая зарубками на деревянной дощечке, висевшей у нее на поясе, количество проданного хлеба. Зарабатывала она восемь су в день. Товарищ общественного обвинителя проявил особую жестокость по отношению к этой несчастной, которая якобы не раз кричала: «Да здравствует король», вела контрреволюционные речи в домах, куда она ежедневно доставляла хлеб, и участвовала в заговоре, имевшем целью способствовать бегству жены Капета. Допрошенная судьей, она признала инкриминируемые ей факты; то ли по простоте, то ли из фанатизма, она с чрезвычайным воодушевлением высказала свои роялистские симпатии и этим сама себя погубила.

Революционный трибунал стремился к торжеству идеи равенства и поэтому карал грузчиков и служанок так же сурово, как аристократов и финансистов. Гамлен не допускал мысли, чтобы это могло быть иначе при демократическом режиме. Он счел бы позором,

оскорблением для народа, если бы наказание не распространялось и на него. Это значило бы признать народ, так сказать, недостойным кары. Сохранить гильотину для одних аристократов, по его мнению, было бы равносильным установлению несправедливой привилегии. В глазах Гамлена идея возмездия получала религиозную, мистическую окраску; оно становилось чем-то положительным, приобретало какие-то достоинства. Он считал, что кара есть долг по отношению к преступникам и что лишать их ее значит умалять их права. Он объявил, что считает вдову Мерион виновной и заслуживающей смертной казни, но выразил при этом сожаление, что фанатики, погубившие ее и более виновные, нежели она, остались на свободе и не разделяют ее участи.

Почти каждый вечер Эварист отправлялся на собрания якобинцев, происходившие на улице Оноре, в старинной доминиканской церкви, известной в просторечии под именем «якобинской». Во дворе, где росло дерево Свободы — тополь, листья которого вечно трепетали и шелестели, — стояла невзрачная, угрюмая церковь, придавленная тяжелой черепичной кровлей с оголенным щипцом; фасад здания был прорезан слуховым оконцем и сводчатой дверью, над которой красовалось трехцветное знамя, увенчанное колпаком Свободы. Якобинцы, подобно кордельерам и фельянам, захватили у изгнанных монахов не только помещение, но и имя. Гамлен, в свое время не пропускавший ни одного заседания кордельеров, не заметил у якобинцев ни деревянных башмаков, ни карманьол, ни криков дантонистов. В клубе Робеспьера царили чиновничья сдержанность и буржуазная степенность. С тех пор как Друга Народа не было в живых, Эварист внимал наставлениям Максимилиана, подчинившего авторитету своей мысли Клуб якобинцев и оттуда, при посредстве нескольких тысяч местных клубов, простиравшего свое влияние на всю Францию. Пока читали протокол, он скользил взором по голым, унылым стенам, которые прежде служили приютом духовным

сынам беспощадного борца с ересью, а теперь были свидетелями сборищ не менее ревностных борцов с преступлениями против отечества.

Здесь пребывала без пышности и проявляла себя в слове самая могущественная власть в стране. Она управляла Парижем, государством, диктовала свои декреты Конвенту. Эти основоположники нового строя, столь уважавшие закон, что оставались роялистами в 1791 году, и, из упрямой приверженности к Конституции, даже после Варенна *, эти друзья установленного порядка, не изменившие ему и после резни на Марсовом поле *, никогда не восстававшие против Революции, чуждые народным движениям, — эти люди питали в своей мрачной и могучей душе любовь к отечеству, сумевшую создать четырнадцать армий и воздвигнуть гильотину. Эварист восхищался их бдительностью, прозорливостью, догматичностью мышления, любовью к порядку, государственной мудростью и умением управлять.

Публика, наполнявшая залу, время от времени единодушно и размеренно вздрагивала, как листья на дереве Свободы, раскинувшемся у входа.

В этот день, одиннадцатого вандемьера, на трибуну поспешно поднялся молодой человек, остроносый, рябой, с покатым лбом, выступающим подбородком и бесстрастным выражением лица. Он был в слегка напудренном парике и голубом фраке, обрисовывавшем талию. У него была та сдержанность движений, та рассчитанность поз, которые позволяли одним насмешливо утверждать, что он похож на учителя танцев, а другим — именовать его более почтительно — «французским Орфеем». Робеспьер звонким голосом произнес громовую речь против врагов Республики, он обрушился с убийственными метафизическими доводами на Бриссо и его сообщников. Он говорил долго, цветисто и плавно. Витая в небесных сферах философии, он поражал молниями заговорщиков, пресмыкавшихся на земле.

Эварист услышал и понял. До сих пор он обвинял Жиронду в том, что она подготовляет восстановление монархии или торжество орлеанистов и замышляет гибель героического города, который освободил Фран-

цию и со временем освободит весь мир. Теперь же, внимая голосу мудреца, он прозревал более возвышенные и более чистые истины; он постигал революционную метафизику, подымавшую его дух над преходящими явлениями грубой действительности, уводившую прочь от заблуждений чувств в область абсолютной достоверности. Все вещи сами по себе запутаны и полны неясностей; события так сложны, что в них можно потеряться. Робеспьер упрощал ему все, представлял добро и зло в простых, ясных формулах. Федерализм, неделимость: в единстве и неделимости заключается спасение, в федерализме — вечные муки. Гамлен испытывал глубокую радость верующего, который знает, в чем спасение и в чем погибель. Отныне Революционный трибунал, как некогда церковные суды, будет иметь дело с преступлением абсолютным, с преступлением словесным. И так как Эварист обладал религиозным складом ума, он воспринимал эти откровения с мрачным энтузиазмом; его сердце радостно трепетало, воспламенялось и ликовало: отныне он знает, как распознать преступление и невинность. О сокровища веры, вы заменяете людям все!

Мудрый Максимилиан разъяснял ему также коварные намерения тех, кто желает уравнять имущественные блага, разделить землю, уничтожить богатство и нищету и установить для всех благодатную посредственность. Увлеченный их теориями, Эварист сначала одобрял подобные намерения, ибо считал, что они вполне соответствуют принципам истинного республиканца. Но Робеспьер своими речами в Якобинском клубе разоблачил их происки и вывел на чистую воду людей, которые под благовидным предлогом стремятся к ниспровержению Республики и возбуждают богачей лишь для того, чтобы в их лице законная власть приобрела могущественных и непримиримых врагов. В самом деле, при первой же угрозе собственности все население, тем более привязанное к своему имуществу, чем это имущество незначительнее, восстанет как один человек против Республики. Затрагивать материальные интересы значит плодить заговоры. Якобы подготовляя всеобщее счастье и царство справедливости, те, кто

предлагает гражданам добиваться равенства и общности имущества, являются в действительности изменниками и злодеями, более опасными, чем федералисты.

Но главное, на что ему открыл глаза мудрый Робеспьер, это гнусный, преступный характер атеизма. Гамлен никогда не отрицал существования бога: он был деистом и верил в провидение, которое бдит над людьми. Не сознаваясь самому себе, что он крайне неясно постигает природу Верховного существа, и будучи убежденным сторонником свободы совести, он охотно допускал, что даже честные люди могут, по примеру Ламетри, Буланже, барона Гольбаха, Лаланда, Гельвеция, гражданина Дюпюи *, отрицать существование бога, устанавливая наряду с этим основы естественной морали и находя в самих себе источник справедливости и принципы добродетельной жизни. Он даже испытывал сочувствие к атеистам, когда видел, что их поносят или преследуют. Максимилиан просветил его ум, снял пелену с глаз. Своим возвышенным красноречием этот великий человек вскрыл перед ним подлинную сущность безбожия, его природу, его тенденции, его последствия; он доказал, что эта доктрина, возникшая в салонах и будуарах аристократии, — наиболее коварное измышление врагов народа, стремившихся таким путем развратить и поработить его; что преступно лишать несчастных утешительной надежды на провидение, которое каждому воздает по заслугам, и оставлять их без руководства, без сдерживающего начала, во власти страстей, унижающих человека и делающих из него гнусного раба; что, наконец, монархический эпикуреизм какого-нибудь Гельвеция ведет к безнравственности, к жестокости, ко всем преступлениям. И, с тех пор как уроки великого гражданина просветили его, он возненавидел атеистов, в особенности если они обладают жизнерадостным, веселым характером, вроде старика Бротто.

В следующие дни Эваристу пришлось одного за другим судить: бывшего дворянина, изобличенного в уничтожении зерна с целью довести народ до голода;

трех эмигрантов, вернувшихся во Францию, чтобы разжечь гражданскую войну; двух девиц из Пале-Эгалите; четырнадцать заговорщиков-бретонцев — женщин, стариков, юношей, хозяев и слуг. Преступление было доказано, закон — точен. В числе подсудимых была женщина лет двадцати, в расцвете молодости и красоты, которой близость неизбежного конца сообщала особое очарование. Ее золотистые волосы были перевязаны голубой лентой, а батистовая косынка прикрывала гибкую белую шею.

Эварист неуклонно голосовал за смертную казнь, и всех обвиняемых, за исключением одного старика садовника, отправили на эшафот.

В течение следующей недели Эварист и его товарищи скосили сорок пять мужчин и восемнадцать женщин.

Судьи Революционного трибунала не делали различия между мужчинами и женщинами, руководствуясь в этом отношении принципом не менее древним, чем само правосудие. И если председатель Монтане, тронутый мужеством и красотою Шарлотты Корде, пытался спасти ее, прибегнув ради этого к подлогу, за что и был смещен с должности, то в большинстве случаев женщин опрашивали без всяких поблажек, в соответствии с общими правилами судопроизводства. Присяжные побаивались женщин, опасались их лукавства, их всегдашнего притворства, их чар. Не уступая в смелости мужчинам, они тем самым давали Трибуналу основания обращаться с ними так же, как с мужчинами. Большинство тех, кто их судил, люди, в которых чувственность спала или пробуждалась лишь в положенное время, нисколько этим не смущались. Они приговаривали женщин к гильотине или оправдывали их, руководствуясь совестью, предрассудками, рвением, степенью своей любви к Республике. Почти все женщины являлись в суд тщательно причесанными и одетыми с той изысканностью, какая только была возможна в их грустном положении. Но между ними было мало молодых и еще меньше красивых. Тюрьма и заботы иссушали их, яркий свет в зале выдавал их усталость, их страх, подчеркивал поблекшие веки,

нездоровый румянец, бледные, судорожно сжатые губы. Но все-таки в роковом кресле не раз можно было увидать молодую, прекрасную, несмотря на бледность, женщину, глаза которой были подернуты мрачной тенью, словно томною поволокой страсти. Сколько присяжных при таком зрелище испытывало нежность или раздражение! Сколько их, в глубине своей развращенной души, пытались проникнуть в самые сокровенные тайны этого создания, которое они представляли себе одновременно живым и мертвым! Сколько таких судей, вызывая перед собой сладострастные и кровавые картины, не отказывали себе в жестоком удовлетворении предать в руки палача вожделенное тело жертвы! Обо всем этом следовало бы, может быть, умолчать, но отрицать это, зная мужчин, нельзя никак. Эварист Гамлен, холодный и сведущий художник, признавал только античную красоту, и красота не столько волновала его, сколько внушала ему уважение. Его классический вкус был до того строг, что редкая женщина нравилась ему: он был нечувствителен к прелести миловидного личика так же, как к краскам Фрагонара или формам Буше. Чтобы испытать желание, он должен был глубоко любить.

Как большинство его товарищей по Трибуналу, он считал женщин опаснее мужчин. Он ненавидел бывших принцесс, которые представлялись ему в ночных кошмарах изготовляющими, вместе с Елизаветой и Австриячкой, пули для убийства патриотов; он ненавидел также всех подруг сердца финансистов, философов, писателей, повинных в том, что они предавались чувственным и духовным наслаждениям и жили в такое время, когда жилось привольно. Он ненавидел их, не признаваясь самому себе в этой ненависти, и когда ему приходилось судить одну из таких женщин, он приговаривал ее к смерти, давая волю кипевшей в нем злобе, но убежденный, что действует справедливо и в интересах общего блага. И его честность, его мужское целомудрие, его холодная рассудительность, его преданность государству, его добродетели подводили под секиру одну трогательную головку за другой.

Но что случилось, что означает это чудо? Еще недавно надо было разыскивать виновных, прилагать старания, чтобы обнаружить их в убежищах, и чуть не силою вырывать у них признание. А теперь это уже не охота со сворою ищеек, не преследование пугливой дичи: теперь жертвы уже со всех сторон сами предлагают себя. Дворяне, девицы, солдаты, публичные женщины потоком устремляются в Трибунал, торопят судей, медлящих с приговором, требуют смерти, как права, которым им не терпится воспользоваться. Как будто недостаточно того множества людей, которыми наполнили тюрьмы ревностные доносчики и которых общественный обвинитель со своими помощниками с трудом успевают провести перед Трибуналом, — надо еще заботиться о казни тех, кто не хочет ждать! А сколько есть и таких, еще более горячих и гордых, которые, не желая уступать эту честь судьям и палачам, сами убивают себя! Жажде убийства сопутствует жажда смерти. Вот, в Консьержери, молодой военный, красавец, пышущий здоровьем, любимый; он оставил в тюрьме прелестную любовницу, которая сказала ему: «Живи для меня!» Но он не хочет жить ни для нее, ни для любви, ни для славы. Обвинительным актом он разжег трубку. И, республиканец до мозга костей, ибо он страстно любит свободу, он объявляет себя роялистом для того, чтобы умереть. Трибунал прилагает все старания, чтобы оправдать его, но обвиняемый оказывается сильнее: судья и присяжные вынуждены уступить.

От природы беспокойный и добросовестный ум Эвариста под влиянием уроков якобинцев в окружающей жизни стал подозрителен и тревожен. Когда ночью, направляясь к Элоди, Эварист проходил по плохо освещенным улицам, ему казалось, что сквозь каждую отдушину он видит в погребе доску для печатания фальшивых ассигнаций; за пустой лавкой булочника или бакалейного торговца ему мерещились целые склады, ломящиеся от съестных припасов, припрятанных с целью спекуляции; за ярко освещенными окнами ресторанов ему чудились речи биржевиков, обсуждающих за бутылкой шабли или бонского вина, как

довести страну до гибели; в зловонных переулках он видел гулящих девок, готовых под рукоплескания молодых щеголей втоптать в грязь национальную кокарду; на каждом шагу он встречал заговорщиков и изменников. И он думал: «Республика! Против стольких врагов, тайных и явных, у тебя одно только средство. Святая гильотина, спаси отечество!..»

Элоди ожидала его в своей голубой спаленке над «Амуром Живописцем». Чтобы он знал, что можно войти, она ставила на подоконник, рядом с горшком гвоздики, зеленую леечку. Теперь он внушал ей ужас, казался каким-то чудовищем: она боялась его и в то же время обожала. Всю ночь напролет кровожадный любовник и сладострастная девушка, не размыкая неистовых объятий, молча обменивались яростными поцелуями.

XIV

Встав на рассвете, отец Лонгмар подмел комнату, затем отправился на улицу Ада прослушать обедню в часовне, где обязанности пастыря нес священник, отказавшийся присягнуть конституции. В Париже было множество таких убежищ, в которых ослушное духовенство тайно собирало небольшие паствы. Секционная полиция, несмотря на всю настороженность и подозрительность, закрывала глаза на эти потаенные приюты веры, из опасения возмутить верующих, а также из остатка благоговения перед святыней. Варнавит попрощался со своим хозяином, который с трудом уговорил его вернуться к обеду, да и то лишь после того, как гостю было обещано, что трапеза не будет ни обильной, ни изысканной.

Оставшись один, Бротто затопил маленькую плиту; готовя трапезу монаха и эпикурейца, он перечитывал Лукреция и размышлял о человеческой судьбе.

Этот мудрец нисколько не удивлялся, что жалкие существа, ничтожные игралища стихийных сил, обычно оказываются в нелепом и тяжелом положении, но он имел слабость думать, будто революционеры злее и глупее других людей, что, разумеется, было уже идео-

логией. Впрочем, он не был пессимистом и не находил, чтобы жизнь была из рук вон плоха. Он восхищался природой в некоторых ее проявлениях, особенно небесной механикой и физической любовью, и кое-как приспособлялся к тяготам жизни, в ожидании того неизбежного дня, когда ему уже не придется испытывать ни страха, ни желаний.

Он тщательно раскрасил несколько плясунов и сделал Церлину, походившую на Розу Тевенен. Эта женщина нравилась ему, и в качестве эпикурейца он вполне одобрял сочетание атомов, ее составлявших.

В этих делах он провел все время до возвращения варнавита.

— Я предупредил вас, отец мой, что трапеза будет скудная, — сказал он, открывая ему дверь. — У нас нет ничего, кроме каштанов. Да и приправить их нечем.

— Каштаны! — воскликнул, улыбаясь, отец Лонгмар. — Что может быть лучше. Мой отец, сударь, был бедным лимузинским дворянином, все имущество которого заключалось в разрушенной голубятне, запущенном плодовом саде и небольшой каштановой рощице. Вся его семья, состоявшая из жены и дюжины ребят, и сам он питались только зелеными крупными каштанами, однако все мы выросли сильными и здоровыми. Я был самым младшим и самым буйным: отец, шутя, говаривал, что мне следовало бы отправиться в Америку и заняться там морским разбоем... Ах, сударь, как чудесно пахнет ваш суп из каштанов! Он напоминает мне стол, окруженный венцом ребятишек, которым улыбалась моя мать.

После обеда Бротто отправился к Жоли, торговцу игрушками с улицы Нев-де-Пти-Шан, который купил у него плясунов, отвергнутых Кайу, и заказал не двенадцать дюжин, как тот, а для начала целых двадцать четыре дюжины сразу.

Дойдя до бывшей Королевской улицы, Бротто увидел на площади Революции сверкающий стальной треугольник между двумя деревянными брусьями: это была гильотина. Несметная веселая толпа зевак

теснилась вокруг эшафота, ожидая прибытия телег с осужденными. Женщины с лотками у живота выкликали свой товар — нантерские пирожки. Продавцы целебных настоек звонили в колокольчик; у подножия статуи Свободы старик показывал передвижные картины в райке, на верху которого сидела на качелях обезьяна. Под эшафотом псы лизали кровь, оставшуюся со вчерашнего дня. Бротто повернул назад, на улицу Оноре.

Возвратясь к себе на чердак, где варнавит читал молитвенник, он тщательно вытер стол, затем поставил на него ящик с красками и все свои инструменты и материалы.

— Отец мой, — сказал он, — если вы не считаете это недостойным священного сана, которым вы облечены, помогите мне, пожалуйста, мастерить плясунов. Сегодня утром я получил крупный заказ от некоего господина Жоли. Вы оказали бы мне большое одолжение, если бы согласились вырезывать по этим патронкам головы, руки, ноги и туловища, а я буду раскрашивать уже готовые фигурки. Лучших образцов не найти: они срисованы с картин Ватто и Буше.

— Я думаю, сударь, что Ватто и Буше действительно были мастерами на такие безделушки, — ответил Лонгмар, — не сомневаюсь, что их слава только выиграла бы, если бы они ограничились этими невинными паяцами. Я был бы счастлив пособить вам, но боюсь, что окажусь недостаточно искусным помощником.

Отец Лонгмар был прав, сомневаясь в своих способностях: после нескольких неудачных попыток пришлось признать, что у него решительно нет таланта вырезывать из тонкого картона перочинным ножиком изящные контуры. Но когда по его просьбе Бротто дал ему веревки и большую иглу с тупым концом, он проявил настоящее искусство, приводя в движение крошечные существа, которых не умел мастерить, и уча их танцевать. Он проверял их, заставляя каждого проделывать несколько па гавота, и, когда бывал ими доволен, легкая улыбка скользила по его суровым губам.

— Сударь, — сказал он, дергая в такт за веревочку Скарамуша, — эта фигурка напоминает мне странную историю. Дело происходило в тысяча семьсот сорок шестом году. Кончался срок моего послушничества под руководством отца Мажито, человека почтенного возраста, глубокой учености и весьма строгих нравов. В ту пору, если только вы помните, плясуны, предназначенные прежде на забаву детям, вызывали к себе необычайный интерес у женщин и даже у мужчин, у стариков и молодежи, — они производили в Париже настоящий фурор. Лавки торговцев, бывших тогда в ходу, ломились от паяцев. Даже люди знатные заводили их себе, и нередко можно было встретить важную особу, которая, прогуливаясь, дергала за веревочку паяца. Ни возраст, ни характер, ни сан отца Мажито не уберегли его от общей заразы. Видя, как у всех вокруг пляшет в руках картонный человечек, он чувствовал зуд в пальцах, вскоре ставший совсем нестерпимым. Однажды он отправился по весьма важному делу, касавшемуся всего ордена, на дом к господину Шовелю, адвокату при парламенте, и, увидав подвешенного к камину плясуна, испытал сильнейшее желание дернуть его за веревочку. Лишь с великим трудом поборол он в себе искушение. Но это легкомысленное желание продолжало смущать его и не давало ему покоя. Оно преследовало его во время научных занятий, в часы размышлений и молитв, в церкви, в капитуле, в исповедальне, на кафедре. Проведя несколько дней в ужасном смятении, он рассказал об этом необыкновенном случае командору ордена, по счастью находившемуся об эту пору в Париже. Это был ученый муж и один из князей миланской церкви. Он посоветовал отцу Мажито удовлетворить желание, невинное по существу, но чрезвычайно неприятное по своим последствиям, ибо, если не дать ему выхода, оно угрожало внести в обуреваемую им душу великое смятение. По совету, или, вернее, по приказанию, командора, отец Мажито снова поехал к господину Шовелю, который, как и в первый раз, принял его в кабинете. Так, увидев плясуна, подвешенного к камину, он быстро подошел к нему и попросил у хозяина позволения подергать

веревочку. Адвокат охотно разрешил и признался, что нередко, обдумывая предстоящие выступления в суде, он сам заставляет плясать Скарамуша (так звали паяца) и что еще накануне он составил под его движения речь в защиту женщины, несправедливо обвиненной в отравлении мужа. Отец Мажито с трепетом схватил веревочку и увидел, как по его воле Скарамуш запрыгал и заметался, точно одержимый, из которого изгоняют бесов. Удовлетворив таким образом свою прихоть, он избавился от наваждения.

— Ваша история меня не удивляет, отец мой, — сказал Бротто. — В жизни человека бывают наваждения. Но не всегда их вызывают картонные фигурки.

Отец Лонгмар, хотя и был монахом, никогда не говорил о религии. Бротто, напротив, заговаривал о ней постоянно. А так как он чувствовал к варнавиту некоторое расположение, ему доставляло удовольствие смущать его и ставить в тупик доводами против различных пунктов христианского вероучения.

Однажды, мастеря вместе с Лонгмаром Церлин и Скарамушей, Бротто заметил:

— Размышляя над событиями, которые привели нас к нынешнему положению, я не могу сказать, какая из партий проявила себя наиболее безумной среди повального безумия, охватившего всех, и порою склонен думать, что первенство в этом отношении принадлежит придворной партии.

— Сударь, все люди теряют рассудок, когда их, как Навуходоносора *, покидает бог, — ответил монах. — Однако ни один из наших современников не погряз столь глубоко в невежестве и заблуждении, никто не оказался для королевства столь роковым человеком, как аббат Фоше *. Поистине, господь сильно разгневался на Францию, если послал ей аббата Фоше!

— Мне кажется, мы видели злодеев, ни в чем не уступавших несчастному Фоше.

— Аббат Грегуар * натворил также немало зла.

— А Бриссо, а Дантон, а Марат, а сотни других? Что скажете вы о них, отец мой?

— Сударь, это миряне: миряне не несут такой ответственности, как духовенство. Они не так возне-

сены, и содеянное ими зло не может иметь столь общее значение.

— А ваш бог, отец мой? Что вы скажете об его поведении в переживаемой нами революции?

— Не понимаю вас, сударь.

— Эпикур сказал: либо бог хочет воспрепятствовать злу, но не может, либо он может, но не хочет, либо он не может и не хочет, либо, наконец, он хочет и может. Если он хочет, но не может, он бессилен; если он может, но не хочет, он жесток; если он не может и не хочет, он бессилен и жесток; если же он может и хочет, почему он этого не делает, отец мой?

И Бротто торжествующе взглянул на собеседника.

— Нет ничего более жалкого, чем приводимые вами доводы, сударь, — ответил монах. — Когда я рассматриваю аргументы, на которые опирается неверие, мне кажется, что я вижу перед собой муравьев, пытающихся несколькими былинками преградить дорогу потоку, низвергающемуся с гор. Разрешите мне не вступать с вами в спор: у меня много доказательств, но мало находчивости. К тому же вы найдете опровержение ваших суждений у аббата Гене и у множества других духовных писателей. Скажу только, что слова Эпикура, которые вы привели, — глупость: ваш мудрец подходит к богу, как к простому смертному, подчиненному законам человеческой морали. Что ж! Неверующие, начиная с Цельсия * и кончая Бейлем * и Вольтером, всегда водили за нос дураков при помощи таких же парадоксов.

— Вот видите, отец мой, на что толкает вас вера, — возразил Бротто. — Мало того, что для вас вся истина в теологии: вы не находите ни крупинки истины в произведениях стольких гениев, мыслящих иначе, чем вы.

— Вы глубоко ошибаетесь, сударь, — ответил Лонгмар. — Напротив, я убежден, что нет такой неверной мысли, которая была бы ложной до конца. Атеисты находятся на низшей ступени познания мира; но и тут можно встретить проблески понимания и зарницы истины; даже в тех случаях, когда человек целиком погружен во мрак, он подъемлет кверху чело, которое господь осеняет светом разума: таков удел Люцифера,

— Ну, сударь, я не буду столь великодушен и признаюсь, что во всех сочинениях богословов не нахожу ни атома здравого смысла, — сказал Бротто.

Тем не менее он утверждал, что не нападает на религию, так как он считает ее необходимой для народа; ему только хочется, чтобы ее служителями были философы, а не спорщики. Он сожалел, что якобинцы желают заменить ее более молодой и более вредной религией, религией свободы, равенства, республики, отечества. Он убедился, что в раннюю пору своего расцвета религии бывают всего яростнее и свирепее, а под старость становятся значительно мягче. Поэтому он стоял за сохранение католицизма, который в эпоху расцвета поглотил немало жертв, а теперь, отяжелев с годами, проявляет гораздо меньший аппетит, довольствуясь четырьмя-пятью поджаренными еретиками в столетие.

— Впрочем, — прибавил он, — я всегда отлично уживался с богоедами и христопоклонниками. У меня в дез Илетт был свой священник: каждое воскресенье он служил обедню в присутствии всех моих гостей. Среди них философы были самыми сосредоточенными, а оперные фигурантки самыми ревностными. Тогда я был счастлив и насчитывал много друзей.

— Друзей! — воскликнул отец Лонгмар. — Друзей!.. Ах, сударь, неужели и вы полагаете, что они вас любили, все эти философы и куртизанки, которые до такой степени извратили вашу душу, что сам господь с трудом узнал бы в ней один из храмов, воздвигнутых им во славу свою!

Целую неделю прожил отец Лонгмар у бывшего откупщика, и никто его за это время не потревожил. Он соблюдал, насколько это было возможно, правила ордена и в урочные часы поднимался с тюфяка, чтобы на коленях читать ночные молитвы. Хотя оба они питались крайне скудно, он соблюдал пост и воздержание. Философ, с грустной улыбкой следивший за этим самоистязанием, однажды спросил:

— Неужели вы в самом деле думаете, что богу приятно видеть, как вы страдаете от холода и голода?

— Сам господь, — ответил монах, — подал нам пример страдания.

На девятый день пребывания варнавита на чердаке у философа Бротто, когда уже стемнело, понес своих плясунов торговцу игрушками с улицы Нев-де-Пти-Шан. Он возвращался довольный, что расторговался, как вдруг на бывшей площади Карусели навстречу ему устремилась, прихрамывая, молоденькая девушка в голубой атласной шубке, отделанной горностаем. Она бросилась к нему в объятия и обхватила его руками, как это делали во все времена те, кто молит о защите.

Она дрожала; сердце ее громко и часто билось. Восхищенный тем, сколь патетична была она при всей ее вульгарности, старый театрал Бротто подумал, что даже мадемуазель Рокур могла бы извлечь из этого зрелища кое-какую для себя пользу.

Девушка говорила прерывающимся голосом, понижая его до шепота из опасения, что ее услышат прохожие:

— Уведите меня, гражданин, спрячьте меня, умоляю вас! Они у меня в спальне, на улице Фроманто. Пока они подымались по лестнице, я укрылась у Флоры, моей соседки, а потом выпрыгнула из окна на улицу и повредила себе при этом ногу... Они гонятся за мной; они хотят засадить меня в тюрьму и казнить... На прошлой неделе они казнили Виргинию.

Бротто понял, что она говорит о делегатах Революционного комитета секции или о комиссарах Комитета общественной безопасности. Коммуна имела в ту пору добродетельного прокурора гражданина Шометта, преследовавшего публичных женщин как самых опасных врагов Республики. Он хотел очистить нравы. Правду сказать, девицы из Пале-Эгалите были неважные патриотки. Они сожалели о старом порядке и не всегда скрывали это. Некоторых из них уже гильотинировали как заговорщиц, и их трагическая судьба побудила многих им подобных последовать их примеру.

Гражданин Бротто спросил у девушки, чем вызвала она приказ об аресте.

Она поклялась, что ничего не знает, что ей не в чем себя упрекнуть.

— В таком случае, дитя мое, ты вне подозрений: тебе нечего бояться, — сказал Бротто. — Иди спать я оставь меня в покое.

Тогда она призналась во всем:

— Я сорвала с себя кокарду и крикнула: «Да здравствует король!»

Он пошел с ней вдоль пустынных набережных. Опираясь на его руку, она рассказывала:

— И не так уж я его люблю, короля-то; сами понимаете, я его никогда и не видала, и, быть может, он мало чем отличается от других людей. Но нынешние очень злы. Они жестоко обращаются с бедными девушками. Они меня мучат, притесняют и всячески оскорбляют; они хотят помешать мне заниматься моим ремеслом. Другого-то ведь у меня нет. Можете мне поверить, что, будь у меня другое ремесло, я бы не занималась этим... Чего они хотят? Они бесчеловечно преследуют слабых и беззащитных — молочника, угольщика, водоноса, прачку. Они успокоятся только тогда, когда восстановят против себя весь бедный люд.

Он посмотрел на нее: она показалась ему совсем ребенком. Ей уже не было страшно. Теперь она улыбалась и шла легко, лишь чуточку прихрамывая. Он спросил, как ее зовут. Она ответила, что ее имя Атенаис и что ей шестнадцать лет.

Бротто предложил отвезти ее, куда она хочет. У нее не было знакомых в Париже, но в Палезо была тетка-служанка, которая, может быть, приютит ее у себя.

Бротто принял решение.

— Пойдем, дитя мое, — сказал он.

И, взяв ее под руку, повел к себе.

В мансарде он застал отца Лонгмара за чтением молитвенника.

Он указал ему на Атенаис, которую держал за руку:

— Отец мой, это девушка с улицы Фроманто; она крикнула: «Да здравствует король!» Революционная полиция гонится за ней по пятам. Ей негде преклонить голову. Вы позволите ей переночевать здесь?

Отец Лонгмар захлопнул молитвенник.

— Если я вас правильно понял, — сказал он, — вы меня спрашиваете, сударь, может ли эта молодая дева, которой так же, как и мне, угрожает арест, ради своего временного спасения провести ночь в одной комнате со мной?

— Да, отец мой.

— На каком же основании я мог бы противиться этому? Разве я уверен, что я лучше ее, чтобы считать себя оскорбленным ее присутствием?

Он расположился на ночь в старом колченогом кресле, уверяя, что прекрасно выспится в нем. Атенаис легла на матрац. Бротто растянулся на соломенном тюфяке и задул свечу.

На колокольнях отзванивали часы и половины. Бротто не спал и прислушивался к дыханию монаха, смешивавшегося с дыханием девушки. Взошла луна, образ и свидетельница его былых любовных утех, и ее серебряный луч, проникнув в мансарду, осветил белокурые волосы, золотистые ресницы, тонкий нос и пухлые пунцовые губы Атенаис, которая спала, сжав кулачки.

«Вот, — подумал он, — страшный враг Республики!»

Когда Атенаис проснулась, было уже совсем светло. Монах ушел. Бротто у оконца читал Лукреция и учился у латинской музы жить без страха и без желаний. Однако его одолевали и сожаления и тревоги.

Открыв глаза, Атенаис с удивлением заметила у себя над головой голые балки чердака. Но потом вспомнила все, улыбнулась своему спасителю и доверчиво протянула ему прелестные грязные ручки.

Приподнявшись на ложе, она указала пальцем на ветхое кресло, в котором провел ночь монах.

— Он ушел?.. Как по-вашему, он не донесет на меня?

— Нет, дитя мое. Трудно найти более порядочного человека, чем этот старый безумец.

Атенаис спросила, в чем проявляется его безумие. Когда же Бротто сказал, что он помешан на религии, она с серьезным видом стала укорять его, зачем он так говорит, и заявила, что люди без религии хуже

скотов; что же касается ее, она часто молится богу в надежде, что он простит ей все грехи и по великой милости своей примет ее в лоно свое.

Заметив в руках у Бротто книгу, она решила, что это требник.

— Вот видите, и вы тоже молитесь богу! — воскликнула она. — Господь вознаградит вас за все, что вы сделали для меня.

Бротто ответил, что эта книга не требник и что она написана в то время, когда никаких треб еще не существовало; тогда она подумала, что это сонник, и спросила, нет ли в нем объяснения странному сну, который она видела этой ночью. Она не умела читать и понаслышке знала только эти два рода сочинений.

Бротто ответил, что книга эта объясняет только жизненный сон. Найдя ответ непонятным, красотка отказалась от мысли постигнуть его и окунула кончик носа в глиняную чашку, заменявшую Бротто серебряные тазы, которыми он пользовался прежде. Затем она тщательно и чрезвычайно деловито стала приводить в порядок свою прическу перед зеркальцем для бритья, принадлежавшем ее хозяину. Запрокинув белые руки над головой, она роняла время от времени несколько слов.

— По-моему, вы когда-то были богаты.

— Откуда ты это взяла?

— Сама не знаю. Но вы были богаты, и вы аристократ, я в этом уверена.

Она вынула из кармана серебряную иконку божьей матери в круглой оправе из слоновой кости, кусочек сахару, нитки, ножницы, огниво, два-три игольника и, отобрав то, что было ей нужно, принялась зашивать юбку, порванную в нескольких местах.

— Ради собственной безопасности, дитя мое, приколите вот это себе к чепцу! — сказал Бротто, протягивая ей трехцветную кокарду.

— Охотно сделаю это, сударь, — ответила она, — но это будет из любви к вам, а не из любви к народу.

Одевшись и тщательно прихорошившись, она взялась обеими руками за юбку и, как учили ее этому в деревне, сделала Бротто реверанс:

— Ваша покорнейшая слуга, сударь.

Она готова была отплатить своему благодетелю любым способом, но находила вполне уместным, что он от нее ничего не требовал и что она ничего не предлагала: ей казалось, что будет очень мило, если они так и расстанутся, соблюдая все правила приличия.

Бротто сунул ей в руку несколько ассигнаций, чтобы она могла добраться в почтовой карете до Палезо. Это была половина его состояния, и, хотя он славился своей щедростью по отношению к женщинам, ни с одной он еще не делился так по-братски всем, что имел.

Она спросила, как его зовут.

— Меня зовут Морис.

Он с сожалением раскрыл перед нею дверь мансарды.

— Прощайте, Атенаис.

Она поцеловала его.

— Господин Морис, если вы когда-нибудь вспомните обо мне, называйте меня Мартой: этим именем меня крестили, этим именем звали в деревне... Прощайте... Благодарю вас... Ваша покорнейшая слуга, господин Морис!

XV

Надо было разгрузить переполненные тюрьмы, надо было судить, — судить без отдыха и передышки. Сидя вдоль стен, декорированных пучками дикторских прутьев и красными колпаками, подобно тому как их предшественники заседали среди королевских лилий, члены Революционного трибунала хранили важность и ужасающее спокойствие королевских судей. Общественный обвинитель и его помощники, измученные усталостью, изнуренные бессонницей и алкоголем, с величайшим усилием стряхивали с себя оцепенение: вконец расшатанное здоровье делало их трагичными. Присяжные, люди различные по происхождению и по характеру, одни образованные, другие невежественные, подлые или великодушные, кроткие или свирепые, лицемерные или искренние, — все они перед лицом

опасности, угрожавшей отечеству и Республике, испытывали или притворялись, будто испытывают, одну и ту же тревогу, одно и то же пламенное горение; все они, жестокие из добродетели или из страха, составляли одно существо, одну глухую, разъяренную голову, одну душу, одного апокалипсического зверя, который, выполняя свое естественное назначение, обильно сеял вокруг себя смерть. Эмоциональные как в снисходительности, так и в беспощадности, они иногда под влиянием внезапного порыва жалости, со слезами на глазах, оправдывали обвиняемого, которого час назад, осыпав градом насмешек, отправили бы на эшафот. По мере того как они подвигались вперед в осуществлении своей задачи, эти люди все порывистее следовали велениям своего сердца.

Они судили в лихорадочно-дремотном состоянии, вызванном переутомлением, судили, подстрекаемые извне, подчиняясь приказам свыше, под угрозами санкюлотов и «вязальщиц», толпившихся на трибунах и местах для публики, судили, основываясь на вынужденных показаниях свидетелей и бредовых обвинениях, в духоте, отравлявшей мозг, вызывавшей шум в ушах и боль в висках, застилавшей глаза кровавым туманом. В народе смутно поговаривали, что некоторые присяжные подкуплены обвиняемыми. Но на эти слухи суд в полном составе отвечал негодующими протестами и беспощадными приговорами. Словом, это были люди не хуже и не лучше других. Безупречность чаще всего дело счастья, а не добродетель: всякий, кто согласился бы стать на их место, действовал бы точно так же, как они, и выполнял бы с грехом пополам возложенные на них чудовищные задачи.

Долгожданная Антуанетта, вся в черном, села наконец в роковое кресло, и ее появление сопровождалось таким взрывом ненависти, что только всеобщая уверенность в исходе процесса позволила соблюсти нужные формальности. На задаваемые ей убийственные вопросы обвиняемая отвечала, то руководствуясь инстинктом самосохранения, то движимая своим обычным высокомерием, а однажды, в ответ на гнусную выходку одного из обвинителей, — и с величием матери.

Свидетелям разрешались только оскорбления и клевета; защита онемела от страха. Трибунал, скрепя сердце соблюдавший все правила судопроизводства, ждал, когда все это кончится, чтобы швырнуть в лицо Европе голову Австриячки.

Три дня спустя после казни Марии-Антуанетты Гамлена позвали к гражданину Фортюне Трюберу, умиравшему на складной кровати, в келье изгнанного варнавита, в тридцати шагах от канцелярии Военного комитета, где он окончательно надорвал себе здоровье. Его бледная голова глубоко ушла в подушки. Невидящим взором стеклянных глаз он посмотрел на Эвариста; иссохшая рука схватила руку друга и сжала ее с неожиданной силой. На протяжении двух последних дней у него три раза шла горлом кровь. Он сделал попытку заговорить; голос, сначала глухой и слабый, как шепот, окреп, зазвучал громче:

— Ватиньи! Ватиньи!.. Журдан * разбил неприятеля в его лагере... принудил снять осаду с Мобежа... Мы снова захватили Маршьен. Ça ira... ça ira...

И он улыбнулся.

Это не было бредом больного. Ясное сознание действительности еще освещало этот мозг, на который надвигался вечный мрак. Отныне вторжение врага было, по-видимому, приостановлено: терроризованные генералы убедились, что им не остается ничего другого, как побеждать. То, чего нельзя было создать путем вербовки добровольцев, — мощную и дисциплинированную армию, — создали принудительным набором. Еще усилие — и Республика будет спасена.

Пролежав около получаса в забытьи, Фортюне Трюбер, на лицо которого смерть уже наложила свою печать, оживился, приподнял руки.

Он указал пальцем на ореховый письменный стол, составлявший всю обстановку в его комнате, и слабым задыхающимся голосом, но в полном сознании, проговорил:

— Друг мой, как Евдамид *, я завещаю тебе свои долги: триста двадцать ливров... список там... в

красной тетради... Прощай, Гамлен. Бодрствуй. Стой на страже Республики. Ça ira.

Вечерние сумерки уже сгущались в келье. Слышно было, как тяжело дышит умирающий и как его пальцы царапают одеяло.

В полночь он обронил несколько бессвязных слов:

— Еще селитры... Отберите ружья... Здоровье?.. Отлично... Снимите эти колокола...

В пять часов утра он испустил дух.

По распоряжению секции тело выставили в бывшей церкви варнавитов, у подножия алтаря Отечества, на походной койке, покрыв его трехцветным знаменем и возложив на голову покойника дубовый венок.

Двенадцать стариков, в римских тогах, с пальмовой ветвью в руках, и двенадцать девушек, в длинных покрывалах и с гирляндами цветов, окружали смертное ложе. У ног покойного двое детей держали по опрокинутому факелу. В одном ребенке Эварист узнал дочку консьержки Жозефину, своей детской серьезностью и очаровательной красотой напомнившую ему тех гениев Любви и Смерти, которых римляне изваивали на саркофагах.

Под пение марсельезы и «Ça ira» погребальное шествие направилось на кладбище Сент-Андре-дез-Ар.

Запечатлевая прощальный поцелуй на челе Фортюне Трюбера, Эварист плакал. Он оплакивал самого себя, завидуя тому, кто, исполнив свой долг, покоился вечным сном.

Возвратившись домой, он получил извещение, что назначен членом Генерального совета Коммуны. Уже четыре месяца он числился кандидатом и теперь был избран, не имея конкурентов, после нескольких баллотировок, всего тридцатью голосами. Избирать было некому: секции обезлюдели; и богатые и бедные всячески старались уклониться от общественных повинностей. Даже самые крупные события не возбуждали уже ни энтузиазма, ни любопытства; газет никто не читал. Эварист сомневался, найдется ли среди семисот тысяч обитателей столицы три-четыре тысячи настоящих республиканцев.

В этот самый день начался процесс «Двадцати одного» *.

Неповинные или виновные в несчастьях и преступлениях Республики, тщеславные, неосторожные, честолюбивые и легкомысленные, в одно и то же время умеренные и неистовые, нерешительные и в терроре и в милосердии, торопливые в объявлении войны и медлительные в ее ведении, привлеченные к суду по примеру, который они сами дали, эти люди и теперь еще были ослепительной молодостью Революции; а вчера они были ее очарованием и славой. Этот судья, который сейчас станет их допрашивать с изощренным пристрастием; этот обвинитель с бескровным лицом, там, у своего столика, готовящий им смерть и бесчестие; эти присяжные, которые не пожелают даже выслушать защиту; эта публика на трибунах, встречающая их бранью и свистом, — все они, судья, присяжные, народ, еще недавно рукоплескали их красноречию, превозносили их таланты, их добродетели. Но теперь они не помнят об этом.

Верньо был когда-то для Эвариста богом, а Бриссо — оракулом. Но он совершенно забыл об этом, и если в его памяти еще сохранился какой-то след былого преклонения, то лишь настолько, чтоб относиться к этим людям как к чудовищам, увлекшим за собою лучших граждан.

Возвращаясь после заседания домой, Гамлен услыхал душераздирающие вопли. Это кричала маленькая Жозефина, которую мать секла за то, что, играя на площади с ребятишками, она перепачкала прелестное белое платьице, которое на нее надели для участия в похоронах гражданина Трюбера.

XVI

Три месяца кряду изо дня в день приносил Эварист в жертву родине людей знаменитых и безвестных, пока наконец ему не пришлось быть судьей в процессе, касавшемся лично его: одного из обвиняемых он сделал своим обвиняемым.

С тех пор как Гамлен заседал в Трибунале, он жадно выискивал в толпе привлеченных к суду, проходившей у него перед глазами, соблазнителя Элоди: в своем неугомонном воображении он составил себе образ этого человека, причем некоторые его черты представлялись ему совершенно ясно. Он рисовал его себе юным, красивым, дерзким и почему-то был уверен, что тот эмигрировал в Англию. Ему почудилось, что он обнаружил его в лице молодого эмигранта Мобеля, который, возвратившись во Францию, был арестован в Пасси по доносу содержателя гостиницы и дело которого, вместе с несколькими сотнями однородных дел, находилось в производстве у Фукье-Тенвиля. При задержанном оказались письма, в которых следствие усматривало доказательства заговора, составленного Мобелем и агентами Питта; в действительности же это были письма лондонских банкиров, у которых эмигрант поместил свои деньги. Мобель, молодой красавец, по-видимому, больше всего был занят любовными делами. В его записной книжке нашлись заметки, свидетельствовавшие о сношениях с Испанией, с которой Франция в то время вела войну; эти записи носили в сущности совершенно интимный характер, и если суд еще не постановил прекратить дело Мобеля за отсутствием улик, то лишь в силу принципа, что никогда не следует торопиться с освобождением арестованного.

Ознакомившись с подробностями первого допроса Мобеля, Гамлен был поражен сходством характера молодого аристократа с теми чертами, которые он приписывал человеку, злоупотребившему доверием Элоди. С тех пор Эварист, запираясь на целые часы в кабинете секретаря Трибунала, с жаром изучал дело. Его подозрения чрезвычайно усилились, когда он наткнулся в старой записной книжке эмигранта на адрес «Амура Живописца», правда рядом с адресами «Зеленой Обезьяны», «Портрета (бывшей) Дофины» и еще других лавок, торговавших эстампами и картинами. Но когда он узнал, что в той же записной книжке нашли несколько лепестков красной гвоздики, тщательно переложенных папиросной бумагой, то, помня, что красная гвоздика — любимый цветок Элоди, который она

взращивает у себя на окне, носит в волосах, дарит (он сам это знал) в знак любви, Эварист уже больше не сомневался.

Теперь, когда его предположения перешли в уверенность, он решил допросить Элоди, утаив от нее, однако, обстоятельства, которые помогли ему обнаружить преступника.

Подымаясь по лестнице к себе, он еще на нижней площадке почувствовал одуряющий запах фруктов и в мастерской застал Элоди, помогавшую гражданке Гамлен варить айвовое варенье. Пока старая хозяйка, растапливая плиту, прикидывала в уме, как бы сэкономить уголь и сахарный песок без ущерба для качества варенья, гражданка Блез, сидя на соломенном стуле, в сером холщовом переднике, с грудой золотистых плодов на коленях, чистила айву и, разрезая на четвертинки, бросала в медный таз. Боковые рюши ее чепца были отведены назад, пряди черных волос спускались ей на влажный лоб; от всего ее существа исходило очарование домашнего уюта и непринужденной грации, которое вызывало нежные мысли и не будило чувственности.

Не двигаясь с места, она подняла на своего любовника прекрасные глаза цвета расплавленного золота.

— Видите, Эварист, мы хлопочем для вас, — сказала она. — Всю зиму вы будете есть восхитительное желе из айвы: это укрепит вам желудок и улучшит настроение.

Но Гамлен, подойдя, шепнул ей на ухо:

— Жак Мобель...

В эту минуту в приотворенную дверь мастерской сунул свой красный нос сапожник Комбало. Вместе с башмаками, к которым приделал новые каблуки, он принес счет за прежние починки.

Из опасения прослыть плохим гражданином он пользовался новым календарем *. Гражданка Гамлен, любившая ясность в счетах, совершенно терялась в фрюктидорах и вандемьерах.

Она вздохнула:

— Господи Иисусе! Все-то они хотят переиначить: дни, месяцы, времена года, солнце и луну! Боже мой,

господин Комбало, что это за пара галош восьмого вандемьера?

— Взгляните на ваш календарь, гражданка, и вам все станет ясно.

Она сняла со стены календарь, взглянула на него и тотчас отвела глаза.

— Он какой-то совсем не христианский! — воскликнула она в испуге.

— Мало того, гражданка, — подхватил сапожник, — у нас теперь только три воскресенья вместо четырех. И это еще не все: скоро переменят нашу систему счета. Не будет больше ни ливров, ни денье, за основу счисленья будет взята дистиллированная вода.

При этих словах у гражданки Гамлен дрогнули губы. Она подняла глаза к потолку и вздохнула:

— Это уж слишком!

Пока она сокрушалась, напоминая своим видом тех святых жен, которых изображают у подножия сельских распятий, головешка, разгоревшаяся на пылающих углях, наполнила мастерскую смрадом, что вместе с одуряющим запахом айвы делало воздух невыносимым.

Элоди стала жаловаться, что у нее першит в горле, и попросила открыть окно. Но как только сапожник ушел и гражданка Гамлен вернулась к плите, Эварист вторично шепнул на ухо гражданке Блез:

— Жак Мобель!

Она взглянула на него, немного удивленная, и с невозмутимым спокойствием, продолжая разрезать айву на четвертинки, спросила:

— Ну и что же?.. Жак Мобель?..

— Это он!

— Кто он?

— Тот, которому ты подарила красную гвоздику.

Она сказала, что ничего не понимает, и потребовала, чтоб он объяснил, в чем дело.

— Аристократ! Эмигрант! Подлец!..

Она пожала плечами и с глубокой искренностью стала уверять, что не была знакома ни с каким Жаком Мобелем.

И действительно она его не знала.

По ее словам, она никому, кроме Эвариста, не дарила красных гвоздик. Но в этом пункте, пожалуй, память ей и изменяла.

Он плохо знал женщин и не слишком хорошо изучил характер Элоди, однако считал, что она способна притворяться и может легко обмануть человека и более опытного, чем он.

— Зачем отпираться? — сказал он. — Я знаю.

Она снова попыталась убедить его, что никогда не была знакома ни с каким Мобелем. И, кончив чистить айву, попросила дать ей воды: у нее липли пальцы,

Гамлен принес таз с водой.

Моя руки, она снова стала разубеждать его.

Он повторил, что знает все, и на этот раз она ничего не возразила.

Она не догадывалась, куда клонятся расспросы ее любовника, и была бесконечно далека от мысли, что этот Мобель, о котором она никогда не слыхала, должен будет предстать перед Революционным трибуналом; она ничего не понимала в подозрениях, которыми ей докучал Эварист, но знала всю их неосновательность. Поэтому, не надеясь их рассеять, она и не стремилась сделать это. Она больше не отрицала, что знакома с Мобелем, предпочитая направить ревнивца по ложному следу, ибо в любую минуту малейшая случайность могла навести его на верный путь. Прежний избранник ее сердца, юный писец, превратившийся в патриота-драгуна, был теперь в ссоре со своей любовницей-аристократкой. Встречая Элоди на улице, он смотрел на нее взором, который, казалось, говорил: «Ну, ну, моя красотка! Чувствую, что скоро я прощу вам свою измену и не сегодня-завтра верну вам благосклонность». Поэтому она больше не старалась излечить возлюбленного от того, что называла его причудами, и Гамлен остался в убеждении, что Жак Мобель — соблазнитель Элоди.

В последующие дни Трибунал занимался без передышки изничтожением федерализма, который, как гидра, угрожал поглотить свободу. Это были страдные

дни, и присяжные, изнемогая от усталости, поспешили отправить на эшафот гражданку Ролан *, вдохновительницу или соучастницу преступления бриссотинцев.

Между тем Гамлен каждое утро являлся в суд, настаивая на скорейшем рассмотрении дела Мобеля. Важные документы, касающиеся этого дела, находились в Бордо: он добился того, что за ними отправили на почтовых комиссара. Наконец они прибыли.

Помощник общественного обвинителя ознакомился с ними, поморщился и сказал Эваристу:

— Ну, бумаги-то твои не из важных, ничего существенного. Всякий вздор! Будь у нас хотя бы уверенность, что этот бывший граф Мобель эмигрировал!..

Наконец Гамлен добился своего. Молодой Мобель получил обвинительный акт и девятнадцатого брюмера предстал перед Революционным трибуналом.

С самого начала заседания у председателя было угрюмое и зловещее выражение, которое он стремился придать своему лицу всякий раз, когда дело было неясное. Товарищ общественного обвинителя пером почесывал себе подбородок и всячески старался принять вид человека, совесть которого чиста. Секретарь огласил обвинительный акт: всех поразила его необоснованность.

Председатель спросил у подсудимого, знал ли он о законах, изданных против эмигрантов.

— Да, я знал их и соблюдал, — ответил Мобель. — Когда я уезжал из Франции, мой паспорт был в полной исправности.

По поводу обстоятельств, вызвавших его путешествие в Англию и возвращение на родину, он дал вполне удовлетворительные объяснения. Лицо у него было приятное; откровенность и достоинство, с которым он держался, располагали в его пользу. Женщины, завсегдатаи трибун, смотрели на него благосклонным взором. Обвинение утверждало, что он проживал в Испании уже в то время, когда эта страна находилась в состоянии войны с Францией. Он же утверждал, что в ту пору не покидал Байонны. Один только пункт оставался невыясненным. В бумагах, которые он в момент ареста бросил в камин и от которых остались

лишь клочки, можно было разобрать испанские слова и имя «Ниевес».

Жак Мобель наотрез отказался дать по этому поводу какие бы то ни было объяснения. А когда председатель указал ему, что в интересах самого подсудимого осветить это обстоятельство, он ответил, что не всегда должно руководствоваться своими интересами.

Гамлен старался изобличить Мобеля лишь в одном преступлении: три раза он заставлял председателя спрашивать у подсудимого, может ли тот объяснить, что это за гвоздика, высохшие лепестки которой он так тщательно хранил.

Мобель ответил, что не считает себя обязанным отвечать на вопрос, не имеющий к суду никакого отношения, ибо в этом цветке не нашли спрятанной записки.

Присяжные удалились в совещательную комнату, настроенные в пользу молодого человека, в запутанном деле которого главное место, по-видимому, занимали любовные тайны. На этот раз даже самые горячие, самые правоверные патриоты охотно высказались бы за оправдательный приговор. Один из них, бывший дворянин, доказавший свою преданность Революции, спросил:

— Неужели ему вменяют в вину его происхождение? Я, например, тоже имел несчастье родиться аристократом.

— Да, но ты порвал с этой средой, — возразил Гамлен, — а он остается в ней и поныне.

И он с такой яростью обрушился на этого заговорщика, на этого эмиссара Питта, на этого сообщника Кобурга, отправившегося чуть ли не на край света, чтобы поднять против свободы ее врагов, он с таким жаром добивался осуждения изменника, что всколыхнул в суровой душе патриотов тревогу, всегда готовую пробудиться.

Один из них цинично заявил ему:

— Есть услуги, в которых нельзя отказать товарищу.

Смертный приговор был вынесен большинством одного голоса.

Осужденный выслушал его с невозмутимой улыбкой. Взгляд, которым он спокойно окинул весь зал, натолкнувшись на лицо Гамлена, исполнился невыразимым презрением.

Приговор был встречен гробовым молчанием.

Жака Мобеля отвели в Консьержери, и там, в ожидании казни, которая должна была состояться в тот же вечер, при свете факелов, он набросал письмо:

> Дорогая сестра, Трибунал отправляет меня на эшафот, доставляя мне этим единственную радость, которую я еще могу испытать после смерти моей обожаемой Ниевес. Они отняли у меня последнее, что мне от нее оставалось, — цветок граната, который они почему-то называли гвоздикой.
>
> Я любил искусство: в Париже, в счастливые времена, я собрал коллекцию картин и гравюр; они теперь спрятаны в надежном месте и будут тебе переданы при первой возможности. Прошу тебя, дорогая сестра, сохрани их на память обо мне.

Отрезав прядь волос, он вложил ее в письмо, запечатал конверт и надписал:

Гражданке Клеманс Деземери, урожденной Мобель. Ла Реоль.

Он отдал все находившиеся при нем деньги тюремщику с тем, чтобы тот вручил письмо по назначению, затем спросил бутылку вина и в ожидании принялся пить его маленькими глотками.

После ужина Гамлен поспешил к «Амуру Живописцу» и стремительно вбежал в голубую комнату, где каждую ночь его ожидала Элоди.

— Ты отомщена! — сказал он. — Жака Мобеля уже нет в живых. Телега, в которой его повезли на казнь, проехала под твоими окнами, окруженная факелами.

Она поняла.

— Негодяй! Это ты его убил, а он не был моим любовником! Я не знала этого человека... никогда не ви-

дала его... Каков он был собою? Наверно, молод, красив?.. И ни в тем не повинен!.. А ты убил его, негодяй! Негодяй!

Она лишилась сознания. Но и в обмороке, так походившем на смерть, она чувствовала, как, вместе с ужасом, ее заливает волною страсть. Она наполовину пришла в себя: из-под отяжелевших век показались белки глаз, грудь вздымалась, бессильно повисшие руки искали любовника. Она сжала его в своих объятиях, впилась ему в тело ногтями и, прильнув судорожно раскрытым ртом, запечатлела на его губах самый немой, самый глухой, самый долгий, самый скорбный и самый восхитительный из поцелуев.

Она тянулась к нему всем телом, и чем ужаснее, беспощадней и свирепей он ей представлялся, чем больше обагрял он себя кровью своих жертв, тем сильнее жаждала она его.

XVII

Двадцать четвертого брюмера, в десять часов утра, когда лучи солнца, окрасив небо в розовый цвет, уже разгоняли холод ночи, в бывшую церковь варнавитов явились граждане Гено и Делурмель, делегаты Комитета общественной безопасности, и потребовали, чтобы их провели в Наблюдательный комитет секции, в залу капитула, где находился в это время гражданин Бовизаж, подкладывавший поленья в камин. Но из-за его маленького роста вошедшие не сразу заметили его.

Надтреснутым, слабым, как у большинства горбунов, голосом гражданин Бовизаж предложил делегатам присесть и заявил, что он к их услугам.

Гено спросил его, не знает ли он бывшего дворянина дез Илетта, проживающего близ Нового моста.

— Это субъект, которого мне поручено арестовать, — прибавил он.

И он предъявил приказ Комитета общественной безопасности.

Бовизаж, порывшись немного в памяти, ответил, что не знает никого по имени дез Илетт; что подозри-

тельная личность, носящая эту фамилию, возможно, даже не живет в их секции: ведь некоторые участки секций Музея, Единства, Марата и Марселя тоже расположены близ Нового моста; что если этот человек и живет в их секции, то не под именем, которое обозначено в приказе Комитета, но что тем не менее он будет немедленно разыскан.

— Не будем терять времени! — сказал Гено. — Нашу бдительность пробудило письмо одной из его сообщниц, которое было перехвачено и доставлено в Комитет еще недели две тому назад, но гражданин Лакруа только вчера вечером получил возможность ознакомиться с его содержанием. Мы завалены доносами: они поступают отовсюду и в таком изобилии, что мы не знаем, за кого раньше приняться.

— Доносы стекаются и к нам, в Наблюдательный комитет, — не без гордости ответил Бовизаж. — Одни доносят из чувства гражданского долга, другие — ради награды в сто су. Есть много детей, которые доносят на родителей, зарясь на наследство.

— Это письмо, — снова заговорил Гено, — исходит от бывшей дворянки Рошмор, распутной женщины, у которой играли в бириби, и адресовано оно гражданину Ролину, но в действительности предназначено какому-нибудь эмигранту, находящемуся на службе у Питта. Я захватил письмо с собою, чтобы сообщить вам все, что касается дез Илетта.

Он вынул письмо из кармана.

— Начинается оно длинным перечнем членов Конвента, который, по словам этой женщины, можно было бы подкупить деньгами или обещанием предоставить им крупный пост при новом правительстве, более прочном, чем теперешнее. Затем идет следующее место:

> Я только что была у господина дез Илетта, живущего близ Нового моста, на чердаке, где его сам черт не найдет; он вынужден зарабатывать себе на хлеб, делая картонных паяцев. В его суждениях много здравого смысла, вот почему я передаю вам наиболее существенное из того, что он говорил мне. Ему не верится, что настоящее

положение вещей продержится долго. Он не думает, что конец нынешнему порядку наступит только с победой коалиции, и события, по-видимому, подтверждают его мнение: вы ведь знаете, что за последнее время вести с войны далеко не отрадны. Он считает более вероятным исходом восстание простонародья, восстание, в котором сыграют видную роль и женщины, еще глубоко приверженные религии. Он полагает, что ужас, внушаемый Революционным трибуналом, вскоре объединит всю Францию против якобинцев. «Этот трибунал, — заметил он шутя, — который судит французскую королеву и разносчицу хлеба, похож на Вильяма Шекспира, столь любезного сердцу англичан...» По его мнению, не исключена возможность, что Робеспьер женится на дочери короля и провозгласит себя протектором королевства.

Я была бы вам весьма признательна, милостивый государь, если бы вы прислали причитающуюся мне сумму, а именно тысячу фунтов стерлингов тем путем, каким вы всегда это делаете, но остерегайтесь писать господину Мορхардту: его только что арестовали, посадили в тюрьму...

— Господин дез Илетт делает паяцев, — заметил Бовизаж, — это ценная примета... хотя у нас в секции немало мелких ремесленников такого рода.

— Это напомнило мне, что я обещал принести куклу моей младшей дочке, Натали, — сказал Делурмель. — У нее скарлатина. Вчера показалась сыпь. Болезнь эта не опасная, но требует ухода. А Натали очень умный ребенок, развита не по возрасту, но здоровье у нее слабое.

— У меня, — сообщил Гено, — один только мальчик. Он катает обручи от бочек и пускает воздушные шары, надувая бумажные мешочки.

— Дети чаще всего забавляются предметами, не имеющими ничего общего с игрушками, — заметил Бовизаж. — Мой племянник Эмиль — очень смышленый

семилетний мальчуган — целый день возится с кубиками, сооружает из них постройки. Не хотите ли?..

И Бовизаж протянул делегатам раскрытую табакерку.

— Ну а теперь пойдемте прихлопнем нашего молодчика, — сказал Делурмель, носивший длинные усы и свирепо вращавший глазами. — Я сегодня не прочь позавтракать потрохами аристократа и запить их стаканом белого вина.

Бовизаж предложил делегатам отправиться на площадь Дофина, в лавку его товарища Дюпона-старшего, который, по всей вероятности, знает дез Илетта.

Они шли в сопровождении четырех секционных гренадеров, дыша прохладным воздухом.

— Видели вы «Королей на Страшном суде»? — спросил спутников Делурмель. — Пьесу стоит посмотреть. Автор выводит в ней королей Европы, укрывшихся на необитаемом острове, у подножья вулкана, который в конце концов поглощает их. Произведение патриотическое.

Делурмель указал на углу улицы Арле на тележку, блестевшую, точно внутренность часовни; ее толкала старуха в клеенчатой шляпе, надетой поверх чепца.

— Чем она торгует? — спросил он.

Старуха сама ответила:

— Вот, взгляните, господа. Выбор у меня большой: четки всех сортов, нательные кресты, образки святого Антония, плащаницы, платки святой Вероники, Ecce homo, Agnus Dei, охотничьи рога и кольца святого Губерта и всякие предметы для благочестивых людей.

— Да ведь это настоящий арсенал фанатизма! — возмутился Делурмель.

Он решил обстоятельно допросить старуху, но та на все его вопросы отвечала одной и той же фразой:

— Сынок, вот уж сорок лет как я торгую этим товаром.

Один из делегатов Комитета общественной безопасности, увидав проходившего мимо солдата, приказал ему, к удивлению старухи, отвести ее в Консьержери.

Гражданин Бовизаж заметил Делурмелю, что, собственно говоря, арестовать торговку и отправить ее в секцию должен был бы Наблюдательный комитет и что вообще никто не знает, какой политики следует придерживаться относительно бывшего культа, чтобы действовать согласно видам правительства: надлежит ли все разрешать, или же все запрещать.

Подходя к мастерской столяра, делегаты и комиссар услыхали яростные крики, скрип пилы и громкое шуршанье рубанка. Это ссорились столяр Дюпон-старший и его сосед, консьерж Ремакль. Причиной ссоры была гражданка Ремакль, которую неодолимая сила постоянно влекла в столярную мастерскую, откуда она возвращалась домой вся в стружках и опилках. Оскорбленный консьерж толкнул ногою собаку столяра как раз в ту минуту, когда его дочь Жозефина нежно обнимала Мутона. Возмущенная Жозефина накинулась с проклятиями на отца, а столяр вне себя от гнева заорал:

— Негодяй! Не смей бить мою собаку!

— А ты, — ответил Ремакль, замахиваясь на него метлой, — не смей...

Он не докончил фразы: фуганок столяра пролетел у него над самой головой.

Заметив издали гражданина Бовизажа в сопровождении делегатов, он устремился к нему навстречу.

— Гражданин комиссар, будь свидетелем, что этот разбойник чуть не убил меня! — крикнул он.

Гражданин Бовизаж в красном колпаке, отличительном признаке занимаемой им должности, умиротворяюще простер свои длинные руки.

— Сто су тому из вас, — сказал он, обращаясь к консьержу и к столяру, — кто укажет местонахождение подозрительной личности, разыскиваемой Комитетом общественной безопасности, — бывшего дворянина дез Илетта, делающего паяцев.

Оба, и консьерж и столяр, в один голос назвав квартиру Бротто, стали теперь пререкаться лишь из-за ассигнации в сто су, обещанной доносчику.

Делурмель, Гено и Бовизаж, в сопровождении четырех гренадеров, консьержа Ремакля, столяра Дюпона

и дюжины соседских мальчишек, поднялись гуськом по ступенькам, дрожавшим под ногами, затем вскарабкались по приставной лесенке на самый верх.

Бротто на своем чердаке вырезывал плясунов, а отец Лонгмар, сидя напротив него, соединял ниткой разрозненные части тела и улыбался, видя, как у него под руками возникают ритм и гармония.

Когда на площадке раздался стук ружейных при кладов, он весь затрясся, — не потому, чтобы был трусливее, чем Бротто, сохранивший невозмутимое спокойствие, но потому, что уважение окружающих избавляло его до сих пор от необходимости заботиться об осанке. По вопросам гражданина Делурмеля Бротто сообразил, откуда исходит удар, и немного поздно убедился, что нельзя доверяться женщинам. Получив предложение последовать за гражданином комиссаром, он взял с собой Лукреция и все три сорочки.

— Этот гражданин — мой подручный, — заявил он, указывая на отца Лонгмара, — я взял его к себе в помощь, мастерить плясунов. Он живет здесь же, в мансарде.

Но так как монах не мог представить свидетельства о гражданской благонадежности, его арестовали вместе с Бротто.

Когда шествие проходило мимо каморки консьержа, гражданка Ремакль, опираясь на метлу, окинула своего жильца взглядом добродетели, торжествующей при виде преступника в руках правосудия. Малютка Жозефина, на хорошеньком личике которой было написано презрение, удержала за ошейник Мутона, когда пес захотел лизнуть руку старому приятелю, не раз кормившему его сахаром. Толпа любопытных наполняла Тионвилльскую площадь.

На нижней площадке лестницы Бротто встретил молоденькую крестьянку, собиравшуюся подняться наверх. На одной руке у нее висела корзина с яйцами, в другой она держала большую лепешку, завернутую в кусок холста. Это была Атенаис, привезшая из Палезо своему спасителю в знак благодарности эти скромные гостинцы. Увидев, что какие-то должностные лица и четыре гренадера уводят с собой «господина Мориса»,

она остолбенела, не веря своим глазам, потом подошла к комиссару.

— Ведь не собираетесь же вы увести его? — ласково спросила она. — Это невозможно... Вы просто не знаете его! Он добрее господа бога.

Гражданин Делурмель отстранил ее и приказал гренадерам идти вперед. Тогда Атенаис разразилась неистовой бранью, осыпая самыми бесстыдными ругательствами делегатов и гренадеров, которым казалось, что на их головы выливают помои изо всех лоханок Пале-Рояля и улицы Фроманто. Затем голосом, прозвучавшим на всю Тионвилльскую площадь и ужаснувшим толпу зевак, она крикнула:

— Да здравствует король! Да здравствует король!

XVIII

Гражданка Гамлен любила старика Бротто и считала его самым любезным и почтенным человеком из всех, кого она встречала на своем веку. Она не попрощалась с ним, когда его арестовали, потому что боялась проявить этим неуважение к властям и потому что, привыкнув в своем скромном положении смиряться перед сильными, вменяла трусость себе в долг. Но ото происшествие было для нее потрясением, от которого она никак не могла оправиться.

Кусок не шел ей в горло, и она сокрушалась, что утратила аппетит как раз в то время, когда наконец получила возможность удовлетворять его. Она продолжала восхищаться сыном, но боялась даже думать о странных обязанностях, выполняемых им, и радовалась тому, что она простая невежественная женщина, которая вправе не иметь собственного мнения.

Бедная мать нашла на дне чемодана старые четки; она не знала толком, как с ними обращаться, но беспрестанно перебирала их дрожащими пальцами. Прожив до старости без религии, она теперь стала набожной: по целым дням, сидя у печки, она молила бога спасти ее сына и добрейшего господина Бротто. Нередко ее навещала Элоди; не смея взглянуть друг другу в

глаза, они говорили, усевшись рядом, о незначительных, глубоко безразличных им вещах.

В один из дней плювиоза, когда от снега, падавшего крупными хлопьями, потемнело небо и звуки города доносились совсем глухо, гражданка Гамлен, находившаяся одна в квартире, услыхала стук в дверь. Она вздрогнула: уже несколько месяцев малейший шум повергал ее в трепет. Она открыла дверь. Не снимая шляпы, в мастерскую вошел молодой человек лет восемнадцати — двадцати. На нем был бутылочного цвета каррик, трехъярусный воротник которого, закрывая грудь, доходил до самого пояса, и английские ботфорты с отворотами. Каштановые волосы локонами спускались ему на плечи. Он прошел до середины комнаты, как будто желая, чтобы весь свет, проникавший через запорошенное снегом окно, падал на него, и несколько мгновений неподвижно и молча постоял на месте.

Видя, что гражданка Гамлен смотрит на него в недоумении, он наконец спросил:

— Ты не узнаешь своей дочери?

Старуха всплеснула руками:

— Жюли!.. Это ты!.. Возможно ли?

— Разумеется, я. Поцелуй же меня, мама!

Вдова Гамлен сжала дочь в объятиях и уронила слезу на воротник каррика.

— Ты! В Париже! — с тревогой в голосе воскликнула она.

— Ах, мама, почему я не приехала одна! Меня-то никто не узнает в этом наряде.

В самом деле, каррик скрывал ее формы, и она ничем не отличалась от множества юношей, носивших, как она, длинные волосы, расчесанные на прямой пробор. Ее тонкое, очаровательное личико, загорелое, изможденное от усталости, огрубевшее от невзгод, выражало мужество и смелость. Худощавая, стройная, с длинными прямыми ногами, она держалась совершенно непринужденно; только слишком звонкий голос мог выдать ее.

Мать спросила, не голодна ли она. Жюли ответила, что охотно закусила бы, и когда мать поставила перед

ней хлеб, вино и ветчину, она с жадностью принялась за еду, опершись локтем о край стола, прекрасная, как проголодавшаяся Церера * в хижине старой Баубо.

Продолжая отпивать глотками вино, она спросила:

— Ты не знаешь, мама, когда вернется брат? Я пришла поговорить с ним.

Мать в замешательстве посмотрела на дочь и ничего не ответила.

— Мне надо повидать его. Мужа сегодня арестовали и отвели в Люксембург.

Она называла мужем Фортюне де Шассаня — бывшего дворянина и офицера одного из полков Буйе. Он сошелся с нею, когда она работала мастерицей у модистки на Ломбардской улице, затем похитил и увез ее в Англию, куда он эмигрировал после десятого августа. Он был ее любовником, но она находила более приличным, говоря о нем с матерью, называть его супругом. Она действительно считала, что невзгоды сочетали их прочными узами и что несчастие ** то же таинство.

Не одну ночь провели они вдвоем на скамейке в лондонских парках, и не раз приходилось им подбирать корки хлеба под столом в тавернах Пикадилли.

Мать не отвечала и уныло глядела на нее.

— Ты не слушаешь меня, мама? Время не терпит, мне необходимо немедленно повидать Эвариста: он один может спасти Фортюне.

— Жюли, — ответила мать, — лучше тебе не говорить с братом.

— Как? Что ты сказала, мама?

— Я сказала, что лучше тебе не говорить с братом о господине Шассане.

— Однако это необходимо, мама!

— Дитя мое, Эварист до сих пор не может простить господину Шассаню, что он похитил тебя. Ты знаешь, с какой яростью он говорил о нем, какими именами он называл его.

— Да, он называл его соблазнителем, — с резким смехом сказала, пожимая плечами, Жюли.

— Дитя мое, он был смертельно оскорблен. Эварист дал себе слово не произносить никогда имени господина

де Шассаня. И вот уже два года как он ни одним словом не обмолвился ни о нем, ни о тебе. Но чувства его не изменились. Ты знаешь его: он не простил вас.

— Но, мама, ведь Фортюне обвенчался со мною... в Лондоне...

Бедная мать, подняв глаза кверху, развела руками.

— Достаточно того, что Фортюне аристократ и эмигрант, чтобы Эварист относился к нему как к врагу.

— Ответь мне прямо, мама. Неужели ты думаешь, что, если я попрошу Эвариста похлопотать за Фортюне перед общественным обвинителем и в Комитете общественного спасения, он не согласится? Мама, ведь надо быть извергом, чтобы отказать мне в этом!

— Твой брат, дитя мое, порядочный человек и отличный сын. Но не требуй, заклинаю тебя, не требуй от него, чтобы он заступился за господина де Шассаня... Послушай, Жюли: он не посвящает меня в свои мысли, да, вероятно, я и не поняла бы его... Но он судья; у него твердые убеждения; он действует по совести. Не проси его ни о чем, Жюли.

— Вижу, что ты узнала его теперь. Ты знаешь, что это холодный, бесчувственный, злой человек, властолюбивый и тщеславный. А ты всегда предпочитала его мне. Когда мы жили все вместе, ты ставила его мне в пример. Его рассчитанные движения и степенная речь производили на тебя впечатление: ты находила в нем все добродетели. Меня же ты всегда осуждала, приписывала мне всевозможные пороки только потому, что я не притворялась и лазила по деревьям. Ты меня не выносила. Ты любила его одного. Так знай же: я ненавижу твоего Эвариста! Это лицемер.

— Замолчи, Жюли! Я была хорошей матерью и для тебя и для него. Я дала тебе в руки ремесло. Не моя вина, если ты не осталась честной девушкой и не вышла замуж за человека из нашей среды. Я нежно любила и люблю тебя. Но не отзывайся дурно об Эваристе. Он прекрасный сын. Он неустанно заботится обо мне. Когда ты ушла от меня, дитя мое, когда ты забросила свое ремесло и магазин и перебралась к господину де Шассаню, что сталось бы со мной, если бы не он? Я умерла бы от нужды и от голода.

— Не говори так, мама; тебе отлично известно, что мы с Фортюне окружили бы тебя заботами, если бы ты под влиянием Эвариста не отвернулась от нас. Не убеждай меня: он не способен на доброе дело. Он притворяется, будто заботится о тебе, только для того, чтобы ты возненавидела меня. Он любит тебя?.. Да разве он может любить кого-нибудь? У него нет ни сердца, ни ума. Он совершенно бездарен, совершенно бездарен... Чтобы быть живописцем, надо иметь более тонкую натуру.

Она скользнула взором по полотнам Эвариста и нашла их в том самом состоянии, в каком оставила.

— Вот она, его душа! Холодная и мрачная, она вся в его полотнах. Его Орест, его Орест с бессмысленным взором, с отвратительным ртом, похожий на человека, которого посадили на кол, да ведь это он сам, в точности... Слушай, мама, разве ты не понимаешь? Я не могу оставить Фортюне в тюрьме. Ты ведь знаешь их, этих якобинцев и патриотов, всю эту шайку Эвариста. Они убьют его! А я его люблю! Я люблю его! Он был так добр ко мне, и мы так много перестрадали вместе! Вот и каррик, что на мне, — с его плеча. У меня не осталось даже сорочки. Один из приятелей Фортюне одолжил мне куртку, и в Дувре я поступила на службу в кабачок, а он работал подмастерьем у парикмахера. Мы знали, что, возвращаясь во Францию, рискуем жизнью; но нам предложили отправиться в Париж с важным поручением... Мы согласились: мы приняли бы поручение к самому дьяволу. Нам дали денег на дорогу и чек к одному из парижских банкиров. Но его контора оказалась закрытой: сам он в тюрьме, и не сегодня-завтра его гильотинируют. У нас в кармане не было ни гроша. Все лица, с которыми мы были связаны и к которым мы могли бы обратиться, либо бежали, либо арестованы. Ни одной двери, куда можно бы постучаться. Мы ночевали в конюшне на улице Безголовой Женщины. Сердобольный чистильщик сапог, спавший вместе с нами на соломе, одолжил моему другу ящик, щетку и банку с ваксой, уже на три четверти пустую. Фортюне две недели зарабатывал на жизнь нам обоим, чистя сапоги на Гревской площади.

Но в понедельник к нему подошел какой-то член Коммуны и, поставив ногу на ящик, предложил почистить сапоги. Раньше он был мясником, и Фортюне как-то дал ему хорошего пинка в зад за то, что мошенник обвесил его. Когда Фортюне поднял голову, чтобы получить причитающиеся ему два су, мерзавец узнал его, обозвал аристократом и пригрозил арестовать. Собралась толпа; в ней были и порядочные люди, но несколько негодяев стали кричать: «Смерть эмигранту!» — и звать жандармов. Как раз в эту минуту я принесла суп для Фортюне. У меня на глазах его повели в секцию и заперли в церкви святого Иоанна. Я хотела обнять его, но меня оттолкнули. Я провела ночь, как собака, на церковной паперти... А сегодня утром его отвезли...

Жюли не могла договорить: рыдания душили ее.

Она бросила шляпу на пол и упала перед матерью на колени.

— Сегодня утром его отвезли в Люксембургскую тюрьму. Мама, мама, помоги мне спасти его! Сжалься над своей дочкой!

Вся в слезах, она распахнула каррик и, чтобы в ней легче было признать любящую женщину и дочь, обнажила грудь; схватив руки матери, она прижала их к трепещущей груди.

— Дочка моя дорогая, Жюли, моя Жюли! — вздохнула вдова Гамлен.

И прильнула влажным от слез лицом к щекам молодой женщины.

Несколько мгновений они хранили молчание. Бедная мать соображала, как бы помочь дочери, а Жюли не сводила взора с ее заплаканных глаз.

«Быть может, — думала мать Эвариста, — быть может, если я с ним поговорю, мне удастся его смягчить. Сердце у него доброе, нежное. Если бы политика не ожесточила его, если бы он не подпал под влияние якобинцев, у него не было бы этой суровости, которая пугает меня, потому что я не понимаю ее».

Она взяла в обе руки голову Жюли.

— Послушай, дочка. Я поговорю с Эваристом. Я подготовлю его к встрече с тобой. А то, неожиданно

увидав тебя, он может прийти в ярость... Я боюсь его первого движения... И потом, я ведь знаю твоего брата: этот наряд неприятно поразил бы его; он строго относится но всему, что касается нравов, приличий. Я сама была немного удивлена, увидав мою Жюли в мужском костюме.

— Ах, мама, эмиграция и страшные события в стране сделали переодевание вещью совсем обычной. На это идешь, чтобы заняться ремеслом, чтобы не быть узнанной, чтобы иметь возможность жить по чужому паспорту или свидетельству о благонадежности. В Лондоне я видела молодого Жире, переодетого в женское платье: он казался прехорошенькой девушкой, но согласись, мама, что такой маскарад гораздо неприличнее моего.

— Дитя мое дорогое, тебе незачем оправдываться передо мной ни в этом, ни в чем-либо другом. Я — твоя мать: для меня ты всегда будешь невинной. Я поговорю с Эваристом, я скажу ему...

Она не докончила фразы. Она догадывалась, что такое ее сын, — догадывалась, но не хотела верить, не хотела знать,

— У него доброе сердце. Он сделает для меня... для тебя все, о чем я его попрошу.

И обе женщины, бесконечно уставшие, замолчали. Жюли уснула, положив голову на те самые колени, на которых засыпала ребенком. Убитая горем мать, перебирая четки, плакала в предчувствии несчастий, неслышно подступавших в тишине этого снежного дня, тишине, когда безмолвствовало все: шаги, колеса, само небо.

Вдруг своим чутким слухом, еще обостренным беспокойством, она расслышала, что ее сын подымается по лестнице.

— Эварист! — шепнула она. — Спрячься.

И втолкнула дочь к себе в спальню.

— Как вы себя чувствуете, матушка?

Эварист повесил шляпу на вешалку, снял с себя голубой фрак и, надев рабочую блузу, уселся перед мольбертом. Уже несколько дней он набрасывал углем фигуру Победы, возлагающей венок на голову солдата,

умершего за родину. Он с увлечением отдался бы этой работе, но Трибунал отнимал у него все время, поглощал его целиком. Его рука, отвыкшая рисовать, двигалась медленно и лениво.

Он стал напевать «Ça ira».

— Ты поешь, дитя мое, — сказала гражданка Гамлен, — ты в веселом настроении.

— Как же не радоваться, матушка: получены хорошие вести. Вандея раздавлена, австрийцы разбиты; Рейнская армия прорвала линию неприятельских укреплений в Лаутерне и Вейсенбурге. Близок день, когда победившая Республика проявит свое милосердие. Но почему дерзость заговорщиков растет по мере укрепления сил Республики и почему изменники изощряются в тайных кознях против родины в то время, когда она поражает врагов, которые открыто нападают на нее?

Гражданка Гамлен, продолжая вязать чулок, наблюдала за сыном поверх очков.

— Твой старый натурщик, Берзелиус, приходил за десятью ливрами, которые ты остался ему должен. Я отдала ему деньги. У малютки Жозефины были сильные колики в животе: она объелась вареньем, которым ее угостил столяр. Я приготовила ей настойку... Заходил Демаи. Он сожалел, что не застал тебя, и говорил, что с удовольствием взялся бы выгравировать один из твоих рисунков. Он находит, что у тебя большой талант. Славный малый рассматривал твои наброски и восхищался.

— Когда мы заключим мир и уничтожим всех заговорщиков, — сказал художник, — я снова примусь за Ореста. Я не люблю хвастать, но это голова, достойная Давида.

Величественной линией он наметил руку своей Победы.

— Она протягивает пальмовые ветви, — сказал он. — Но было бы лучше, если бы самые руки ее были пальмовыми ветвями.

— Эварист!

— Что, матушка?

— Я получила известие... угадай от кого...

— Не знаю.

— От Жюли... от твоей сестры... Ей живется совсем не сладко.

— Было бы возмутительно, если бы ей жилось хорошо.

— Не говори так, дитя мое: она тебе сестра. Жюли неплохой человек. Она способна на добрые чувства, а несчастие еще взрастило их. Она тебя любит. Могу тебя уверить. Эварист, что она стремится зажить честной, трудовой жизнью и только о том и думает, как бы опять сблизиться с нами. Почему бы тебе не повидаться с нею? Она вышла замуж за Фортюне Шассаня.

— Она писала вам?

— Нет.

— Как же вы получили известия от нее?

— Я узнала это не из письма, дитя мое; я...

Он поднялся и прервал ее голосом, от которого ей стало страшно.

— Замолчите, мама! Не говорите мне, что они оба вернулись во Францию... Раз они должны погибнуть, пускай это произойдет без моего участия. Ради них, ради себя, ради меня сделайте так, чтобы я не знал, что они в Париже... Не открывайте мне глаз на то, чего я не желаю видеть, иначе...

— Что ты хочешь этим сказать, дитя мое? Ты мог бы, ты дерзнул бы...?

— Матушка, выслушайте меня: если бы я знал, что моя сестра находится в этой комнате... (он показал пальцем на запертую дверь), я немедленно заявил бы об этом в Наблюдательный комитет секции.

Бедная мать, лицо которой стало белым, как ее чепец, выронила вязанье из дрожащих рук и еле слышно прошептала:

— Я не хотела верить, но теперь вижу сама: это — чудовище...

Побледнев не меньше, чем она, Эварист с пеной у рта выскочил из комнаты и бросился к Элоди, чтобы в ее объятиях найти забвенье, сон, восхитительное предвкушение небытия.

XIX

Пока отца Лонгмара и девицу Атенаис допрашивали в секции, Бротто под конвоем двух жандармов препроводили в Люксембург; но привратник отказался принять его, заявив, что у него нет больше мест. Старого откупщика доставили в Консьержери и ввели в канцелярию, маленькую комнату, разделенную надвое стеклянной перегородкой. Пока письмоводитель вносил его имя в реестр арестованных, Бротто успел рассмотреть за стеклом двух человек, лежавших на дрянных матрацах; они лежали неподвижно, как мертвецы, и, устремив глаза в одну точку, казалось, ничего не видели. Тарелки, бутылки, остатки хлеба и мяса валялись вокруг них на полу. Это были приговоренные к смертной казни, дожидавшиеся телеги.

Бывшего дворянина дез Илетта отвели в подземную темницу, где при свете фонаря он разглядел две простертые на полу фигуры: у одного из арестантов лицо было свирепое, изуродованное отвратительными рубцами, у другого — привлекательное и кроткое. Оба заключенных уступили ему немного соломы, — прогнившей, кишевшей насекомыми, — чтобы ему не пришлось ложиться на голую землю, загаженную испражнениями. Бротто опустился на скамью, охваченный со всех сторон зловонным мраком, и, прислонив голову к стене, сидел не двигаясь, не говоря ни слова. Его отчаяние было так велико, что, будь у него достаточно сил, он размозжил бы себе голову о стену. Он задыхался. Глаза заволоклись туманом; протяжный шум, спокойный, как безмолвие, наполнил ему уши; он почувствовал, что все его существо погружается в сладостное небытие. В течение одного ни с чем не сравнимого мгновенья все вокруг него стало гармонией, прозрачной ясностью, благоуханием, сладостью. Затем он перестал существовать.

Когда он снова пришел в себя, первым его душевным движением была горестная мысль о том, что обморок кончился: оставаясь философом даже в минуты самого страшного отчаяния, он подумал, что ему надо было спуститься в каменный мешок и ждать гильотины,

чтобы пережить острейшее наслаждение, на какое когда-либо были способны его чувства. Он попытался снова впасть в обморочное состояние, но это ему не удавалось, — наоборот, он чувствовал, как зараженный воздух, проникая ему в легкие, вместе с ощущением жизненного тепла, мало-помалу возвращает ему сознание невыносимой действительности.

Между тем оба соседа приняли его молчание за жестокое оскорбление. Бротто, человек общительный, постарался удовлетворить их любопытство, но, узнав, что он один из тех, кого называют «политическими», то есть человек, все преступление которого выразилось только в слове или образе мыслей, они сразу утратили к нему всякое уважение и симпатию. Им обоим вменялись в вину более тяжкие деяния: старший из них был убийца, другой занимался подделыванием ассигнаций. Они вполне освоились со своим положением и даже находили в нем какое-то удовлетворение. Бротто вдруг вспомнил, что у него над головой живет и движется шумная, залитая светом улица, что хорошенькие продавщицы Пале-Рояля улыбаются за своими прилавками с парфюмерией и галантереей свободному, счастливому прохожему, и эта мысль еще усилила его отчаяние.

Наступила ночь, не заметная во мраке и молчании темницы, но тем не менее гнетущая и зловещая. Протянув одну ногу на скамейке и опершись спиною о стену, Бротто уснул. Ему приснилось, что он сидит у подножия густолиственного бука, в ветвях которого поют птицы; заходящее солнце покрывает поверхность реки жидким пламенем, а края облаков окрашены пурпуром. Ночь прошла. Он горел в мучительной лихорадке и жадно пил прямо из кувшина воду, от которой его недуг только усиливался.

На следующее утро тюремщик, принесший похлебку, предложил Бротто перевести его за известную мзду в другое помещение, где заключенные содержались за свой собственный счет; он обещал сделать это, как только освободится место, чего, по его славам, придется ждать недолго. Действительно, через день он велел старому откупщику выйти из камеры. С каждой

ступенькой, на которую поднимался Бротто, он чувствовал, как к нему возвращаются силы и жизнь, а когда на кирпичном полу комнаты, куда его ввели, он увидел перед собою складную койку, прикрытую плохоньким шерстяным одеялом, он заплакал от радости. Раззолоченная кровать с целующимися голубками, которую он некогда заказал для красивейшей из танцовщиц Оперы, менее радовала его взор и не сулила стольких наслаждений.

Койка помещалась в большой, довольно опрятной зале, где находилось еще семнадцать таких же коек, отгороженных одна от другой высокими переборками. Новые соседи, в большинстве своем бывшие дворяне, торговцы, банкиры и ремесленники, пришлись по вкусу старому откупщику, который умел уживаться со всякого рода людьми. Он заметил, что эти несчастные, подобно ему лишенные всяких развлечений и осужденные погибнуть от руки палача, проявляют веселость и большую склонность к шуткам. Не слишком расположенный восхищаться людьми, он объяснял хорошее настроение своих товарищей их легкомыслием, которое мешало им призадуматься как следует над собственной участью. Он утвердился в этом мнении, увидев, что наиболее умные из них были печальны. Вскоре он обнаружил, что большинство его соседей черпало бодрость в вине и в водке, сообщавших их веселью неистовый и безрассудный характер. Не все они обладали мужеством, но все старались выказывать его. Бротто нисколько не был удивлен этим: он знал, что мужчины охотно сознаются в жестокости, в гневе, даже в скупости, но в трусости — никогда, так как подобное признание подвергло бы их смертельной опасности не только среди дикарей, но и в цивилизованном обществе. Именно поэтому, думал он, все народы — народы героические, и все армии состоят из одних храбрецов.

Еще сильнее, чем вино и водка, действовали на заключенных, — одних повергая в грусть, других доводя до бреда и исступления, — лязг оружия, звяканье ключей, скрежет замков, оклики часовых, топот ног у дверей Трибунала. Некоторые перерезывали себе горло бритвой или выбрасывались из окна.

На четвертый день после перевода в новое помещение Бротто узнал от тюремного сторожа, что отец Лонгмар томится на гнилой, кишащей насекомыми соломе, в обществе воров и убийц. Тогда он добился, чтобы Лонгмара перевели в ту же камеру, где жил он, на только что освободившуюся койку. Обязавшись платить за содержание монаха, старый откупщик, у которого денег было в обрез, принялся рисовать портреты по экю за штуку. Он раздобыл через тюремщика маленькие черные рамочки и вставлял в них миниатюрные изделия из волос, которые он мастерил довольно искусно. Среди людей, желавших оставить своим близким что-нибудь на память о себе, эти вещицы пользовались большим успехом.

Отец Лонгмар держался мужественно и стойко. В ожидании часа, когда ему надо будет предстать перед Революционным трибуналом, он готовился к защите. Не отделяя своего личного дела от дела церкви, он собирался растолковать судьям беспорядки и соблазны, жертвой которых пала невеста Христова в результате гражданского устройства духовенства. Он намеревался изобразить старшую дочь церкви святотатственно ополчившеюся против папы; французских священников — лишенными последнего достояния, оскорбляемыми, поставленными в гнусную зависимость от мирян; монахов, подлинное воинство Христово, — ограбленными и рассеянными по лицу земли. Он цитировал Григория Великого и святого Иринея, приводил множество ссылок из кодекса канонического права и целые параграфы Декреталий.

Весь день, сидя у изножья кровати, он что-то торопливо набрасывал у себя на коленях, макая огрызки перьев в чернила, в сажу, в кофейную гущу; он покрывал мельчайшим почерком бумагу из-под свечей, оберточную бумагу, газеты, форзацы книг, старые письма, старые счета, игральные карты и даже намеревался использовать для этого свою сорочку, предварительно накрахмалив ее. Он исписывал лист за листом и, показывая на неразборчивую мазню, говорил:

— Когда я предстану перед судьями, я ослеплю их светом истины.

Однажды, окинув довольным взором свою неудержимо растущую защитительную речь и думая о судьях, которых ему не терпелось пристыдить, он воскликнул:

— Не хотел бы я быть на их месте!

Заключенные, которых судьба свела вместе в этой камере, были либо роялистами, либо федералистами; среди них затесался даже один якобинец. Они придерживались различных мнений насчет системы государственного управления, но ни у кого из них не сохранилось и следа христианских верований. Фельяны, конституционалисты, жирондисты находили, подобно Бротто, что им бог не нужен, но что он необходим для народа. Якобинцы ставили на место Иеговы якобинского бога для того, чтобы возвести самое якобинство на недосягаемую высоту; но поскольку ни те, ни другие не могли допустить., что есть наивные люди, способные верить в какую бы то ни было религию откровения, постольку они, видя, что отец Лонгмар вовсе не глуп, считали его плутом. А так как он, желая, должно быть, подготовиться к мученическому венцу, исповедовал свою веру перед первым встречным, то чем с большим чистосердечием он это делал, тем больше товарищи по заключению склонны были принимать его за обманщика.

Напрасно Бротто ручался, что монах — человек честный и убежденный; все считали, что и сам Бротто не особенно верит тому, что говорит. Его идеи были слишком своеобразны, чтобы казаться искренними, и никого не удовлетворяли вполне. Он отзывался о Жан-Жаке как о пошлом мошеннике. Напротив, Вольтера боготворил, хотя все же не ставил на одну доску с любезным его сердцу Гельвецием, с Дидро или бароном Гольбахом. По его мнению, величайшим гением последнего столетия был Буланже. Он также очень уважал астронома Лаланда и Дюпюи, автора «Трактата о происхождении созвездий». Присяжные шутники всячески издевались над бедным варнавитом, но он не замечал ничего: его прекраснодушие разрушало все козни.

Стараясь отогнать мысли, не дававшие им покоя, и не страдать от безделья, заключенные играли в шашки,

в карты и в триктрак. Иметь при себе музыкальные инструменты было запрещено. После ужина пели хором или читали стихи. «Орлеанская девственница» Вольтера вносила некоторое веселье в сердца этих несчастных, и они с удовольствием выслушивали по нескольку раз наиболее удачные места. Но так как им не удавалось окончательно избавиться от гнетущей мысли, гнездившейся у них в сердце, они иногда старались превратить ее в развлечение, и в камере, где помещалось восемнадцать коек, играли перед сном в Революционный трибунал. Роли распределялись в соответствии с наклонностями и способностями каждого. Одни представляли судей и обвинителя, другие — обвиняемых или свидетелей, остальные — палача и его помощников. Все процессы неизменно заканчивались казнью осужденных, которых укладывали на койке, опуская им на шею доску, Затем действие переносилось в ад. Наиболее искусные актеры, завернувшись в простыни, изображали духов. Молодой адвокат из Бордо, по фамилии Дюбоск, маленький, черный, косой, горбатый, кривоногий, воплощенный Хромой Бес, подходил, устроив себе рога, к отцу Лонгмару, стаскивал его за ноги с койки и объявлял ему, что он осужден на вечные муки за то, что сделал из творца вселенной существо завистливое, глупое и злое, врага веселья и любви.

— А-а-а! — надрывался чудовищным криком черт. — Ты учил, старый бонза, что богу нравится, когда его создания изнуряют себя постом и молитвой, воздерживаясь от самых лучших его даров. Обманщик, лицемер, ханжа, сиди на гвоздях и питайся до скончания века яичной скорлупой!

Отец Лонгмар ограничивался репликой, что в этой речи из-под личины дьявола выглядывает философ и что самый ничтожный из духов ада никогда не наговорил бы столько глупостей, так как набрался кое-каких сведений в богословии и уж, конечно, менее невежественен, чем любой энциклопедист.

Но когда адвокат-жирондист называл его капуцином, он выходил из себя и уверял, что человек, не умеющий отличить варнавита от францисканца *, не заметит и мухи в молоке.

Революционный трибунал разгружал тюрьмы, которые комитеты беспрестанно наполняли: за три месяца камера восемнадцати наполовину обновилась. Отец Лонгмар лишился своего маленького беса. Адвокат Дюбоск, представший перед Революционным трибуналом, был приговорен к смерти как федералист и как участник заговора против единства Республики. Выйдя из Трибунала, он, как и вое осужденные, проходил коридором, тянущимся из одного конца тюрьмы в другой и ведущим мимо двери той самой камеры, которую он в течение трех месяцев оживлял своей веселостью. При прощании с товарищами он сохранял свой обычный легкомысленный тон и жизнерадостный вид.

— Простите, сударь, за то, что я стаскивал вас за ноги с постели, — обратился он к отцу Лонгмару. — Больше не буду.

Повернувшись к старику Бротто, произнес:

— Прощайте, я раньше вас погружаюсь в небытие. Я охотно возвращаю природе элементы, составляющие меня, и желаю, чтобы в будущем она лучше использовала их, ибо, надо сознаться, я совсем не удался ей.

И он спустился в канцелярию; Бротто был подавлен, а отец Лонгмар задрожал и позеленел, как лист: монах перепугался насмерть, видя, что нечестивец смеется и на краю бездны.

Когда с жерминалем вернулись ясные дни, Бротто, по натуре человек чувственный, по нескольку раз на день спускался во двор, куда выходили окна женского корпуса, к водоему, где узницы по утрам стирали белье. Двор был перегорожен пополам решеткой, но не настолько частой, чтобы руки не могли обменяться пожатием, а губы слиться в поцелуе. Под покровом снисходительной ночи к решетке приникали пары. В таких случаях Бротто скромно отходил к лестнице и, усевшись на ступеньке, доставал из кармана своего коричневого сюртука томик Лукреция. При свете фонаря он прочитывал несколько сурово-утешительных изречений: «Sic ubi non erimus... Когда мы перестанем существовать, ничто уже не будет в состоянии волновать нас, — даже небо, земля и море, смешавшие воедино все, что

от них осталось...» Но, упиваясь этой высокой мудростью, Бротто все же завидовал безумию варнавита, скрывавшему от него вселенную.

Террор усиливался с каждым месяцем. Еженощно пьяные тюремщики, обходя со своими сторожевыми псами камеры, разносили обвинительные акты, выкрикивали хриплым голосом имена и фамилии, коверкая их, будили заключенных и из-за двадцати намеченных жертв повергали в смертельный ужас двести человек. По коридорам, полным кровавых теней, каждый день проходили без единой жалобы двадцать, тридцать, пятьдесят осужденных — стариков, женщин, юношей, столь различных по общественному положению, характеру, убеждениям, что невольно возникал вопрос, не по жребию ли их отобрали.

А узники продолжали играть в карты, пить бургундское, строить всякие планы, ходить по ночам на свидания к решетке. Население тюрьмы, почти целиком обновившееся, состояло теперь главным образом из «крайних» и «бешеных» *. Тем не менее камера восемнадцати все еще служила приютом изысканного обращения и хорошего тона и сохраняла свой прежний облик: за исключением двух арестантов, граждан Наветта и Бэлье, недавно переведенных в Консьержери из Люксембурга и подозреваемых в том, что они «наседки», то есть шпионы, все остальные были люди порядочные, относившиеся друг к другу с доверием. В этой каморе праздновали с бокалами в руках военные успехи Республики. Там нашлось и несколько поэтов, которых всегда можно встретить в обществе ничем не занятых людей. Наиболее искусные сочиняли оды в честь победоносной Рейнской армии и с пафосом декламировали их. Им шумно рукоплескали. Один лишь Бротто весьма умеренно похваливал и победителей и их певцов.

— Еще со времен Гомера среди поэтов наблюдается странная мания воспевать воинов, — заметил он однажды. — Война — не искусство, и только случай решает судьбу сражения. Из двух одинаково бездарных полководцев, действующих друг против друга, один неизбежно должен оказаться победителем. Будьте готовы к тому, что рано или поздно какой-нибудь из этих

солдафонов, которых вы обожествляете, проглотит вас всех, как в басне журавль глотает лягушек. Тогда-то он в самом деле станет богом! Ибо боги познаются по их аппетиту.

Бротто никогда не трогала слава оружия. Он нисколько не радовался победам Республики, которые еще раньше предвидел. Ему не нравился политический строй, укреплявшийся с каждой новой победой. Он был недоволен. Недовольными становились и по менее веским причинам.

Однажды утром заключенным сообщили, что комиссары Комитета общественной безопасности произведут у них обыск, причем будут отобраны ассигнации, золотые и серебряные вещи, ножи, ножницы; что такие обыски уже были произведены в Люксембурге и что там забрали письма, бумаги, книги.

Каждый постарался найти укромное местечко и спрятать туда то, что ему было дороже всего. Отец Лонгмар охапками снес свою защитительную речь к водосточной трубе и засунул ее в желоб, Бротто зарыл своего Лукреция в пепел камина.

Когда комиссары с трехцветными лентами на шее явились для обыска, они нашли лишь то, что заключенные сочли нужным оставить для них. После их ухода отец Лонгмар кинулся к желобу и подобрал остатки защитительной речи, сильно пострадавшей от ветра и воды. Бротто вытащил из камина своего Лукреция, черного от сажи.

«Будем наслаждаться настоящим часом, — решил он, — так как по некоторым признакам я вижу, что времени в нашем распоряжении уже очень мало».

В теплую прериальскую ночь, когда над тюремным двором в побледневшем небе сверкал серебром двурогий месяц, старый откупщик сидел на ступеньке каменной лестницы, перечитывая, по обыкновению, Лукреция, как вдруг его окликнул женский голос, очаровательный голос, показавшийся ему совсем незнакомым, Бротто спустился во двор и увидал за решеткой женскую фигуру: он не узнал ее, так же как и голоса, но по изящным и неясным очертаниям она напоминала ему всех женщин, которых он любил. Лунный свет заливал

ее лазурью и серебром. Вдруг Бротто узнал миловидную актрису с улицы Фейдо, Розу Тевенен.

— Вы, дитя мое? Что за жестокая радость — видеть вас здесь! Давно ли и почему вы тут?

— Со вчерашнего дня.

Она прибавила шепотом:

— На меня донесли как на роялистку. Меня обвиняют в том, что я принимала участие в заговоре, имевшем целью освободить королеву. Зная, что вы здесь, я сразу постаралась отыскать вас. Выслушайте меня, мой друг... вы ведь позволите мне называть вас так? У меня есть знакомства среди людей с положением... Я пользуюсь, мне это известно, симпатиями и кое у кого из Комитета общественного спасения. Я поручу друзьям похлопотать: они освободят меня, а я в свою очередь освобожу вас.

Но Бротто голосом, в котором звучала настойчивая мольба, стал отговаривать ее:

— Во имя всего, что вам дорого, дитя мое, не предпринимайте ничего! Не пишите никому, не ходатайствуйте ни перед кем! Заклинаю вас, ни о чем никого не просите, пускай о вас забудут совсем.

Она, по-видимому, не сознавала важности его слов; поэтому Бротто принялся умолять ее еще настойчивее:

— Храните молчание, Роза, пускай вас забудут: в этом — спасение. Все, что попытались бы сделать ваши друзья, только ускорило бы вашу гибель. Старайтесь выиграть время. Теперь уже остается ждать немного, надеюсь, совсем немного... Но, главное, откажитесь от мысли разжалобить судей, присяжных, какого-нибудь Гамлена. Это не люди, это — неодушевленные предметы, а с неодушевленными предметами бесцельно вступать в объяснения. Пускай о вас забудут. Если вы последуете моему совету, друг мой, я умру, счастливый тем, что спас вам жизнь.

— Я послушаюсь вас, — ответила она, — Не говорите о смерти.

Он пожал плечами.

— Моя жизнь кончена, дитя мое. А вы — живите и будьте счастливы.

Она взяла его руки и прижала их к груди.

— Выслушайте меня, друг мой... Я видела вас только в течение одного дня, и все-таки вы мне не безразличны. И если то, что я вам скажу, может хоть немного привязать вас к жизни — знайте: я буду для вас всем... чем вы пожелаете.

И, прильнув к решетке, они поцеловались.

XX

Во время одного из продолжительных заседаний Трибунала Эварист, сидя на судейской скамье в душном воздухе, размышляет, закрыв глаза:

«Злодеи, заставившие Марата прятаться по темным углам, превратили его в ночную птицу, птицу Минервы, чье око настигало заговорщиков и во мраке. Теперь холодный и спокойный взор голубых глаз видит насквозь врагов Республики и разоблачает изменников с проницательностью, которой не знал даже Друг Народа, уснувший навеки в саду Кордельеров *. Новый спаситель, не менее ревностный, но еще более прозорливый, чем первый, замечает то, чего никто не замечает, и его поднятый перст порождает вокруг ужас. Он различает мельчайшие неуловимые оттенки, отделяющие зло от добра, порок от добродетели; не будь его, их бы смешивали в ущерб отечеству и свободе; он проводит тонкую, прямую черту, вне которой направо и налево только заблуждение, преступление и злодейство. Неподкупный * разъясняет, как служат внешнему врагу те, которые впадают в крайности или обнаруживают чрезмерную слабость; те, кто преследует религиозные культы во имя разума, и те, кто во имя религии оказывает сопротивление законам Республики. Не в меньшей степени, чем негодяи, убившие Лепелетье и Марата, служат внешнему врагу те, кто воздает им божеские почести с целью набросить тень на их память. Агентом заграницы является всякий, кто отвергает идеи порядка, благоразумия и своевременных мероприятий; агентом заграницы является и тот, кто бросает вызов морали, оскорбляет добродетель и в своей чудовищной разнузданности отрицает бога. Фанатики-священники

заслуживают смерти; но есть и контрреволюционный способ борьбы с фанатизмом; в иных случаях отречение бывает преступным. Человек умеренный губит Республику, неистовый тоже губит ее.

О, страшные обязанности судьи, указанные мудрейшим из людей! Уже надо поражать не одних только аристократов, федералистов, злодеев-орлеанистов, этих явных врагов отечества. Заговорщик, агент заграницы — Протей, принимающий всевозможные личины. Он прикидывается патриотом, революционером, врагом королей; он уверяет, будто его сердце бьется для одной лишь свободы: он возвышает голос и повергает в трепет врагов Республики: это — Дантон; его неистовые выступления плохо прикрывают его гнусную умеренность, и в конце концов всем становится ясной его продажность. Заговорщик, агент заграницы, — это тот красноречивый заика, который первым прикрепил к своей шляпе революционную кокарду; это тот памфлетист, который с жестокой иронией примерного гражданина называл себя «прокурором фонаря»; это — Камиль Демулен *. Он выдал себя, защищая изменников-генералов и настаивая на совершенно неуместном милосердии при назначении кары. Это — Филиппо *, это — Эро *, это — презренный Лакруа *. Заговорщик, агент заграницы, — это отец Дюшен *, унижающий свободу своей подлой демагогией, Дюшен, чья отвратительная клевета внушила многим сочувствие даже к Антуанетте. Это Шометт; * правда, стоя во главе Коммуны, он выказывал себя человеком кротким, доступным, умеренным, благожелательным и добродетельным, но он был атеистом! Заговорщики, агенты заграницы, — это вое санкюлоты в красных колпаках, карманьолах, в деревянных башмаках, старавшиеся во что бы то ни стало перещеголять якобинцев патриотизмом. Заговорщик, агент заграницы, — это Анахарсис Клоотс *, защитник рода человеческого, осужденный на смерть монархиями всего мира; но от него можно было ожидать всего: ведь он был пруссак.

Теперь все эти злодеи, неистовые и умеренные, все эти изменники, Дантон, Демулен, Эбер, Шометт,

погибли на плахе. Республика спасена: согласный хор похвал несется из всех комитетов, из всех народных собраний навстречу Максимилиану и Горе *. Добрые граждане восклицают: «Достойные представители свободного народа, тщетно сыны Титанов подняли высокомерную главу: благодетельная Гора, покровитель Синай *, из твоих кипящих недр изошла спасительная молния...»

В этом хоре известная часть похвал приходится и на долю Трибунала. Как приятно быть добродетельным и как любезна сердцу неподкупного судьи признательность общества!

Но вместе с тем может ли подлинный патриот не изумляться и не испытывать тревоги? Как? Значит, для того чтобы предать интересы народа, было недостаточно Мирабо, Лафайета, Байи, Петиона, Бриссо? Понадобились, оказывается, еще и те, кто изобличал этих изменников. Как? Все эти люди, совершившие Революцию, сделали это только для того, чтобы ее погубить? Эти великие вдохновители великих идей подготовляли, вкупе с Питтом и Кобургом, воцарение династии Орлеанов или опеку над Людовиком XVII? Как? Дантон это был Монк? * Как? Шометт и эбертисты, еще более вероломные, чем федералисты, которых они отправили на гильотину, замышляли гибель государства? Но среди тех, кто толкает в объятия смерти вероломных Дантонов и вероломных Шометтов, не найдут ли завтра голубые глаза Робеспьера еще более вероломных? Где же оборвется проницательность Неподкупного и омерзительная цепь предающих друг друга предателей?»

XXI

Между тем Жюли Гамлен, в своем бутылочного цвета каррике, ежедневно отправлялась в Люксембургский сад и там, сидя на скамье, в конце аллеи, поджидала минуту, когда ее любовник покажется в одном из слуховых окон дворца. Они обменивались знаками, разговаривали на немом языке, который сами изобрели.

Таким путем ей стало известно, что заключенный помещается в довольно сносной камере, в приятной компании, что он нуждается в одеяле и в грелке и что он нежно любит свою подругу.

Не одна Жюли высматривала любимое лицо в окнах дворца, превращенного в тюрьму. Рядом с ней молодая мать не сводила взоров с одного из окон, и, как только оно открывалось, она поднимала как можно выше младенца, которого держала на руках. Старая дама в кружевной вуали по целым часам неподвижно сидела на складном стуле в тщетной надежде увидать хотя бы на мгновение сына, который, чтобы не растрогаться при виде матери, занимался метанием диска на тюремном дворе до тех пор, пока не закрывали сада.

Во время этих долгих ожиданий, и в ясную и в дождливую погоду, на соседней с Жюли скамейке располагался пожилой, довольно полный, чрезвычайно опрятно одетый мужчина, то игравший брелоками и табакеркой, то разворачивавший газету, которую, однако, никогда не читал. Он был одет по старинной буржуазной моде: треуголка, отделанная золотым галуном, красно-фиолетовый фрак и голубой, вышитый серебром жилет. Он производил весьма почтенное впечатление. Судя по флейте, конец которой торчал у него из кармана, он был музыкантом. Ни на минуту не спускал он глаз с переодетого юноши, беспрестанно улыбался ему и, как только замечал, что тот собирается уходить, тоже поднимался и следовал за ним на расстоянии. Несчастную, одинокую Жюли трогало тайное сочувствие, которое проявлял к ней этот старик.

Однажды, когда она выходила из сада, незнакомец подошел к ней и, раскрыв огромный красный зонт, ибо накрапывал дождь, попросил разрешения укрыть ее от непогоды. Она тихо ответила своим ясным голосом, что согласна. Но, услыхав этот голос и почувствовав, быть может, неуловимый запах женщины, он поспешно удалился, оставив Жюли под проливным дождем; она поняла все и, хотя на душе у нее было невесело, не могла удержаться от улыбки.

Жюли жила в мансарде на улице Шерш-Миди и выдавала себя за приказчика-суконщика, ищущего

места. Вдова Гамлен, убедившись наконец, что ее дочь нигде не подвергается такой опасности, как у нее в доме, постаралась поселить молодую женщину подальше от Тионвилльской площади и от секции Нового моста и помогала ей по мере возможности продовольствием и бельем. Жюли готовила себе скромный обед, ходила в Люксембургский сад, чтобы взглянуть на своего возлюбленного, и возвращалась к себе в конуру; однообразие жизни немного усыпляло ее горе, и, так как она была молодая и сильная, то всю ночь спала глубоким сном. Смелая по характеру, побывавшая во всяких переделках и, пожалуй, чувствовавшая себя свободнее благодаря своему мужскому костюму, она отправлялась иногда по вечерам в кабачок под вывеской «Красный крест» на улице Дюфур, где собирались всякие люди и женщины вольного поведения. Там она читала газеты и играла в триктрак с каким-нибудь сидельцем лавки или военным, пускавшим ей дым из трубки прямо в нос. В этом заведении пили, играли в карты, занимались любовью, и драки были там обычным явлением. Как-то вечером один из посетителей, услыхав на улице конский топот, приподнял штору и, узнав начальника национальной гвардии, гражданина Анрио *, проскакавшего галопом со своим штабом, процедил сквозь зубы:

— Робеспьеровский прихвостень!

При этих словах Жюли громко расхохоталась.

Но какой-то усатый патриот резко положил этому конец.

— Тот, кто позволяет себе подобные выражения, — г... аристократ, и я с удовольствием увижу, как его голова упадет в корзину к Сансону. Да будет всем известно, что генерал Анрио — честный патриот, который сумеет в случае нужды защитить Париж и Конвент. Вот этого-то роялисты и не прощают ему.

И, взглянув в упор на Жюли, продолжавшую заливаться смехом, усач прикрикнул на нее:

— Эй, ты, молокосос! Смотри, как бы я не влепил тебе такого пинка в зад, который научит тебя относиться с уважением к патриотам.

Раздались возгласы:

— Анрио — пьяница и дурак!

— Анрио — честный якобинец! Да здравствует Анрио!

Образовались два лагеря. Завязалась драка, кулаки заработали, продавливая шляпы, столы опрокинулись, стаканы полетели во все стороны, лампы погасли, женщины принялись пронзительно визжать. Жюли, к которой подступило несколько патриотов, вооружилась скамейкой, но была сбита с ног и, защищаясь, стала царапаться и кусаться. Каррик на ней распахнулся, и из разорванного жабо выглянула трепещущая грудь. На шум прибежал патруль, и молодая аристократка еле ускользнула из рук жандармов.

Каждый день переполненные телеги увозили осужденных.

— Не могу же я допустить, чтобы они казнили моего возлюбленного! — говорила Жюли матери.

Она решила ходатайствовать, хлопотать, пойти в комитеты, в канцелярии, к народным представителям, к судьям — всюду, куда только понадобится. У нее но было женского платья. Мать достала для нее у гражданки Блез полосатое платье, косынку, кружевной чепец, и Жюли в женском и патриотическом наряде отправилась к судье Ренодену, в сырой и мрачный дом на улице Мазарини.

Вся дрожа, поднялась она по деревянной, выложенной изразцами лестнице; судья принял ее в невзрачном кабинете, все убранство которого состояло из соснового стола и двух соломенных стульев. Обои клочьями висели на стенах. Реноден, с черными, слипшимися волосами, с угрюмым взглядом, с поджатыми губами и выступающим вперед подбородком, знаком предложил ей говорить и молча выслушал ее.

Она сказала, что она сестра гражданина Шассаня, заключенного в Люксембургскую тюрьму, изложила как могла искуснее обстоятельства, при которых он был арестован, изобразила его несчастной, ни в чем не повинной жертвой, проявила огромную настойчивость.

Он был равнодушен и непоколебим.

Она с мольбой упала к его ногам и заплакала.

Как только он увидел слезы, его лицо изменилось: красновато-черные глаза загорелись огнем, огромные синие челюсти задвигались, точно он хотел освежить слюной пересохшее горло.

— Гражданка, все необходимое будет сделано. Не беспокойтесь.

И, распахнув дверь, он втолкнул просительницу в маленькую розовую, с расписанными простенками гостиную, где были фарфоровые группы, золоченые стенные часы и канделябры, глубокие кресла, диван с гобеленом, изображавшим сцену из пастушеской жизни по рисунку Буше. Жюли была готова на все, лишь бы спасти своего друга.

Реноден действовал грубо и быстро. Когда она поднялась, оправляя нарядное платье гражданки Элоди, ее взгляд встретился с его жестоким и насмешливым взглядом; она тотчас же почувствовала, что принесла бесполезную жертву.

— Вы обещали мне освободить брата, — сказала она.

Он усмехнулся.

— Я сказал тебе, гражданка, что все необходимое будет сделано, то есть что с твоим братом поступят по закону, ни больше, ни меньше. Я сказал тебе, чтобы ты не беспокоилась, да и чего тебе беспокоиться? Революционный трибунал всегда справедлив.

Ей хотелось кинуться на него, искусать его, выцарапать ему глаза. Но, сознавая, что этим она окончательно погубила бы Фортюне Шассаня, она стремительно вышла из комнаты и, поспешно вернувшись к себе в мансарду, сбросила оскверненное платье Элоди, И всю ночь напролет она проплакала от ярости и горя.

На другое утро, придя в Люксембург, она увидала, что сад занят жандармами, которые выгоняют оттуда женщин и детей. Часовые, расставленные в аллеях, не позволяли прохожим переговариваться с заключенными. Молодая мать, приходившая каждый день с ребенком на руках, сообщила Жюли, будто носятся слухи о заговоре в тюрьмах и будто женщин обвиняют в том, что они собираются в саду с целью вызвать в народе движение в пользу аристократов и изменников.

XXII

Внезапно в Тюильрийском саду выросла гора. Небо безоблачно. Максимилиан в голубом фраке и желтых панталонах, с букетом колосьев, васильков и маков в руке, шествует впереди своих товарищей. Он всходит на гору и возвещает умиленной Республике бога Жан-Жака *. О чистота! О кротость! О вера! О античная простота! О слезы сострадания! О благодатная роса! О милосердие! О братское единение людей!

Тщетно подымает еще свой омерзительный лик безбожие: Максимилиан хватает факел; пламя пожирает чудовище, и на смену ему является Мудрость, одной рукой указуя на небо, а другой держа венец из звезд.

На помосте, возведенном напротив Тюильрийского дворца, Эварист, среди растроганной толпы, проливает слезы радости и благодарит бога. Он видит, что наступает эра блаженства.

Он вздыхает:

«Наконец-то мы будем счастливы, чисты и невинны, если только злодеи не станут нам поперек пути!»

Увы, злодеи стали поперек пути. Нужны еще казни; нужно еще проливать потоками нечистую кровь. Три дня спустя после празднования нового союза и примирения неба с землей Конвент издает прериальский закон *, отменяющий с чудовищным благодушием все обычные законные формы, все, что еще со времени справедливых римлян было придумано для защиты заподозренной невинности. Отныне нет ни следствия, ни допросов, ни свидетелей, ни защитников: любовь к отечеству заменяет все. Обвиняемый, хороня у себя в груди свое преступление или свою невинность, молча проходит мимо судьи-патриота. И за это время нужно разобраться в его деле, порою сложном, нередко запутанном и темном. Как теперь судить? Как отличить в одно мгновение честного человека от злодея, патриота от врага родины?

После минутного замешательства Гамлен понял, в чем состоит отныне его долг, и приспособился к своим новым обязанностям. Он видел в сокращении процедуры истинное воплощение того спасительного

и грозного правосудия, исполнителями которого являются не ученые буквоеды, неторопливо взвешивающие на своих устарелых весах все доводы за и против, но санкюлоты, руководствующиеся патриотическим озарением и постигающие истину во мгновение ока. Между тем как право защиты и меры предосторожности погубили бы все, порывы честного сердца все спасают. Надлежало следовать внушениям природы, этой доброй матери, которая никогда не ошибается; надо было судить сердцем, и Гамлен взывал к тени Жан-Жака: «Вдохнови меня, добродетельный муж, на любовь к людям и на ревностное служение делу их возрождения!»

Большинство его товарищей испытывало то же, что и он. Это были по преимуществу люди простые, и, когда процессуальные формы упростились, они почувствовали себя превосходно. Сокращенное судопроизводство удовлетворяло их. При его ускоренном темпе уже ничто их не смущало. Они осведомлялись только об убеждениях обвиняемых, не допуская, что можно, и не будучи злодеем, мыслить иначе, чем они. Они полагали, что обладают истиной, мудростью, высшим благом, и поэтому приписывали своим противникам заблуждения и злобу. Они чувствовали себя сильными: они воочию зрели бога.

Они воочию зрели бога, эти присяжные Революционного трибунала. Верховное существо, призванное Максимилианом, пламенем спускалось на них. Они любили, они веровали.

Кресло подсудимого заменили большим помостом, на котором могло поместиться пятьдесят человек: теперь судили только целыми партиями. Общественный обвинитель соединял в одно дело и обвинял как сообщников людей, которые нередко встречались в первый раз в Трибунале. С ужасающей легкостью, на которую ему давал право прериальский закон, Трибунал разбирал дела о мнимых тюремных заговорах, следовавших по времени за осуждением дантонистов и Коммуны и пристегнутых к ним путем всевозможных ухищрений изворотливой мысли. Чтобы констатировать в них оба существенных признака за-

говора против Республики, организованного на заграничное золото, — неуместную умеренность и нарочитую крайность, — чтобы видеть в них, кроме того, преступление дантонистов и преступление эбертистов, во главе их поставили еще двух обвиняемых, двух совершенно разных женщин: вдову Камиля, очаровательную Люсиль *, и вдову эбертиста Моморо *, однодневную богиню и веселую болтушку. Обеих ради симметрии заключили в одну и ту же тюрьму, где они вместе плакали на одной и той же каменной скамье; обеих ради симметрии отправили на эшафот. Это было слишком остроумным символом, шедевром равновесия, измышленным, вероятно, какой-нибудь прокурорской душой, но честь этого изобретения приписывали Максимилиану. Этому представителю народа приписывали все события, счастливые или несчастные, происходившие в стране, — законы, нравы, смену времен года, урожаи, эпидемии. И это было заслуженной несправедливостью, ибо щуплый, невзрачный, чистенький человек с кошачьим лицом имел неограниченную власть над народом...

В этот день Трибунал отправлял на тот свет участников большого тюремного заговора, около трех десятков заговорщиков из Люксембурга, чрезвычайно смирных заключенных, но заведомых роялистов и федералистов. Обвинение целиком покоилось на показаниях единственного доносчика. Присяжные совершенно не были знакомы с делом: они не знали даже фамилий заговорщиков. Гамлен скользнул взором по скамье подсудимых и увидал среди них Фортюне Шассаня. Любовник Жюли, исхудавший за время долгого заключения, бледный, с чертами лица, казавшимися резче из-за яркого освещения судебного зала, сохранил еще частицу присущего ему изящества и гордости. Взор его встретился со взором Гамлена и загорелся презрением.

Гамлен поднялся, охваченный холодной яростью, попросил слова и, устремив глаза на бюст древнего Брута, высившийся над головами судей, произнес:

— Гражданин председатель, хотя между одним из подсудимых и мною существуют узы, которые, носи

они гласный характер, могли бы быть сочтены узами родства, тем не менее я не ходатайствую об отводе. Оба Брута не требовали для себя отвода, когда ради спасения Республики или ради дела свободы им пришлось осудить сына, поразить насмерть приемного отца.

Он снова уселся на свое место.

— Какой негодяй! — процедил сквозь зубы Шассань.

Публика осталась равнодушной к выступлению присяжного, то ли потому, что всем уже надоели возвышенные характеры, то ли потому, что Гамлен слишком легко одержал верх над естественными чувствами.

— Гражданин Гамлен, — сказал председатель, — по точному смыслу закона, всякий отвод должен быть заявлен в письменной форме за сутки до начала прений. Но тебе и незачем было делать это: патриот-присяжный выше всех страстей.

Допрос каждого подсудимого продолжался не больше трех-четырех минут. Обвинитель требовал смертной казни для всех. Присяжные высказались за нее единогласно, односложной репликой или просто кивком головы. Когда дошла очередь до Гамлена, он произнес:

— Все подсудимые уличены, а закон ясен и не допускает никаких толкований.

Когда он спускался по лестнице суда, его резко остановил юноша лет семнадцати — восемнадцати, одетый в каррик бутылочного цвета. На нем была круглая, сдвинутая на затылок шляпа, поля которой образовали черный ореол вокруг его прекрасного бледного лица. Загородив присяжному дорогу, он крикнул ему голосом, полным ненависти и отчаяния.

— Негодяй! Изверг! Убийца! Рази и меня, злодей. Я — женщина! Прикажи меня арестовать, прикажи гильотинировать, Каин! Я — твоя сестра.

И Жюли плюнула ему в лицо.

Толпа «вязальщиц» и санкюлотов к тому времени уже не отличалась прежней революционной бдитель-

ностью; их патриотический пыл поостыл: вокруг Гамлена и его обидчика произошло лишь нерешительное движение. Жюли протиснулась сквозь кучку любопытных и исчезла в сумерках.

XXIII

Эварист Гамлен был утомлен и никак не мог отдохнуть: ночью он раз по двадцать внезапно просыпался, преследуемый кошмарами. Только в голубой комнате, в объятиях Элоди, ему удавалось заснуть на несколько часов. Во сне он разговаривал, кричал и будил ее, но она не понимала его слов.

Однажды утром, после того как ночью ему приснились Эвмениды, он пробудился, измученный страшными видениями и слабый, как ребенок. Бледные стрелы зари уже пронизывали оконные занавеси. Волосы Эвариста, спутавшиеся на лбу, черной дымкой застилали ему глаза; Элоди, сидя у изголовья, осторожно отводила назад непокорные пряди. На этот раз она смотрела на него с сестринской нежностью и носовым платком вытирала ему со лба холодный пот. Тогда он вспомнил прекрасную сцену из Еврипидова «Ореста» — ту, что он набросал для своей картины, которая, закончи он ее, могла бы стать его шедевром: сцену, где несчастная Электра удаляет пену, выступающую на губах у брата. И ему казалось, что Элоди, как Электра, обращается к нему кротким голосом: «Выслушай меня, милый брат, пока фурии не отняли у тебя рассудка...»

«И все-таки, — думал он, — я не отцеубийца. Напротив, именно движимый сыновней любовью, я проливал нечистую кровь врагов моей родины».

XXIV

Конца не было этим тюремным заговорам. Еще сорок девять человек посадили на скамью подсудимых. Морис Бротто занимал почетное место в верхнем ряду направо. На нем был его коричневый сюртук,

который он накануне тщательно вычистил и заштопал в том месте, где томик Лукреция в конце концов протер дыру в кармане. Рядом с Бротто сидела гражданка Рошмор, накрашенная, набеленная, разряженная, чудовищная. Отца Лонгмара посадили между нею и девицей Атенаис, которая вновь обрела в Мадлонет всю свежесть ранней юности.

На скамью подсудимых жандармы пригнали людей, которых никто из перечисленных лиц не знал и которые, быть может, не знали друг друга, что не мешало объявить соумышленниками всех этих депутатов, поденщиков, бывших дворян, мещан и мещанок. Гражданка Рошмор заметила Гамлена на скамье присяжных. Хотя он ни разу не ответил на ее настойчивые письма, на ее неоднократные послания, она тем не менее надеялась и кинула на него умоляющий взор, стараясь пленить и растрогать его. Но холодный взгляд молодого судьи разрушил все ее иллюзии.

Секретарь прочел обвинительный акт: как ни мало уделялось в нем внимания каждому подсудимому в отдельности, все же чтение его заняло много времени из-за большого числа обвиняемых. Широкими штрихами набрасывал он картину заговора, организованного в тюрьмах, с целью утопить Республику в крови народных представителей и парижского населения; останавливаясь на отдельных подсудимых, акт отмечал:

«Один из наиболее опасных инициаторов этого гнусного заговора некий Бротто, прежде — дез Илетт, откупщик податей в царствование тирана. Эта личность, даже во времена тирании выделявшаяся своим развратным поведением, является наглядным доказательством того, что распутство и безнравственность — величайшие враги свободы и благоденствия народов: действительно, растратив казенные суммы и расточив в кутежах значительную часть народного достояния, этот субъект вошел в сношения со своей бывшей сожительницей, подсудимой Рошмор, чтобы поддерживать переписку с эмигрантами и изменнически осведомлять зарубежных заговорщиков о состоянии наших

финансов, о передвижениях наших войск, о переменах в общественном настроении.

Бротто, который в этот период своего презренного существования сожительствовал с девицей Атенаис, проституткой, подобранной им в грязи улицы Фроманто, без особого труда втянул ее в свои планы и подговорил к контрреволюционным выступлениям, выразившимся в бесстыдных возгласах и непристойных призывах.

Несколько изречений этого зловредного человека ясно характеризуют его гнусные идеи и пагубную цель. Говоря о патриотическом Трибунале, ныне призванном покарать его, он нагло утверждал: «Революционный трибунал похож на пьесу Вильяма Шекспира, в которой самые кровавые сцены перемежаются с пошлейшим шутовством». Он неустанно проповедовал безбожие как наиболее верное средство ослабления и развращения народа. В тюрьме Консьержери, где он содержался, он оплакивал, как худшие бедствия, успехи наших доблестных армий и старался навлечь подозрение на полководцев, неоднократно доказавших свой патриотизм, приписывая им стремления к захвату государственной власти. «Будьте готовы, — угрожал он на своем чудовищном языке, который перо не решается передать, — будьте готовы к тому, что один из этих солдафонов, которым вы обязаны своим спасением, проглотит вас всех, как в басне журавль проглотил лягушек».

Далее обвинительный акт гласил:

«Рошмор, бывшая дворянка, сожительница Бротто, виновна не менее его. Она не только переписывалась с заграницей и получала денежную поддержку от самого Питта, но в сообществе с подкупленными лицами, а именно Жюльеном (из Тулузы) и Шабо, и состоя в сношениях с бывшим бароном де Батцем, она совместно с этим злодеем изобретала всевозможные махинации с целью понизить курс акций Индийской компании, чтобы, скупив их за бесценок, поднять затем их стоимость путем противоположных махинаций, нанося таким образом вред собственности частной и собственности государственной. Находясь

в заключении в Бурбе и Мадлонет, она и в тюрьме не переставала принимать участие в заговорах, в биржевых спекуляциях, одновременно пытаясь подкупить судей и присяжных.

Луи Лонгмар, бывший дворянин, бывший капуцин, уже давно принимал участие во всяких гнусностях и преступлениях, раньше чем решился посвятить себя делу измены, за что и привлекается теперь к ответственности. Живя в постыдной связи с девицей Горкю, именуемой Атенаис, под одной кровлей с Бротто, он является сообщником вышеназванной девицы и бывшего дворянина. Во время заключения в Консьержери он ни на один день не прекратил писания пасквилей, посягающих на свободу и на общественное спокойствие.

По поводу Марты Горкю, именуемой Атенаис, уместно будет отметить, что публичные женщины — величайший бич народных нравов, которые они оскорбляют, и позор для общества, которое они бесчестят. Но к чему распространяться об омерзительных преступлениях, в которых подсудимая сама бесстыдно сознается!..»

Обвинительный акт переходил затем к остальным пятидесяти четырем подсудимым, которых ни Бротто, ни отец Лонгмар, ни гражданка Рошмор совсем не знали, если не считать того, что кое-кого из них они видали в тюрьмах, но которые вместе с ними были объявлены соучастниками «гнусного заговора, не имеющего себе примера в летописях народов».

Обвинительный акт требовал смертной казни для всех обвиняемых.

Первым допросили Бротто.

— Ты принимал участие в заговоре?

— Нет, не принимал. В только что оглашенном обвинительном акте все — ложь.

— Вот видишь: ты и сейчас злоумышляешь против Трибунала.

И председатель перешел к подсудимой Рошмор, отвечавшей на все вопросы отчаянным отрицанием, слезами и уловками.

Отец Лонгмар всецело положился на волю божию. Он даже не захватил с собой написанной им защитительной речи.

На все предложенные ему вопросы он отвечал с полным самоотречением. Однако, когда председатель назвал его капуцином, в нем пробудился прежний человек.

— Я не капуцин, — сказал он, — я — священник и член ордена варнавитов.

— Это одно и то же, — благодушно возразил председатель.

Отец Лонгмар посмотрел на него с возмущением.

— Трудно допустить более странную ошибку, чем смешение капуцина с членом ордена варнавитов, основанного самим апостолом Павлом.

В публике раздались хохот и шиканье.

Отец Лонгмар, принимая эти насмешки за выражение несогласия с ним, заявил, что он готов умереть членом святого ордена Варнавы, одеяние которого он носит в сердце.

— Признаешь ли ты, — спросил председатель, — что участвовал в заговоре вместе с девицей Горкю, именуемой Атенаис, которая дарила тебя своими презренными ласками?

Отец Лонгмар устремил к небу скорбный взор и ответил на этот вопрос молчанием, выражавшим изумление чистой души и суровость монаха, опасающегося всяких суетных слов.

— Девица Горкю, — обратился председатель к юной Атенаис, — признаешь ли ты, что участвовала в заговоре с Бротто?

— Господин Бротто, насколько я понимаю, делал только добро, — кротко ответила она. — Побольше бы таких людей на свете! Я не знаю человека лучше его. Те, кто говорит о нем противное, заблуждаются. Вот и все, что я могу сказать.

Председатель спросил ее, сознается ли она в том, что находилась с Бротто в незаконном сожительстве. Пришлось разъяснить ей этот термин, которого она не понимала. Когда же она уразумела, о чем идет речь,

она ответила, что остановка была только за ним, но что он никогда не предлагал ей этого.

В трибунах послышался смех, и председатель пригрозил девице Горкю, что ее выведут вон, если она еще раз позволит себе ответить так бесстыдно.

Тогда она назвала его ханжой, постной рожей, рогоносцем, обрушила на него, на судей, на присяжных потоки площадной брани и продолжала неистовствовать до тех пор, пока жандармы не стащили ее со скамьи и не удалили из зала.

Затем председатель кратко допросил остальных подсудимых в том порядке, в каком они сидели на скамьях. Некий Наветт ответил, что он не мог быть участником заговора в тюрьме, ибо находился там всего четыре дня. Председатель признал это объяснение заслуживающим внимания и попросил граждан присяжных принять его к сведению. То же ответил некий Бэлье, и председатель опять обратился к присяжным с замечанием в его пользу. Одни истолковывали эту благосклонность судьи как следствие достохвальной справедливости, другие же считали ее наградой за донос.

Слово взял заместитель общественного обвинителя. Он только развил основные положения обвинительного акта и поставил следующие вопросы:

— Доказано ли, что Морис Бротто, Луиза Рошмор, Луи Лонгмар, Марта Горкю, именуемая Атенаис, Эзеб Роше, Пьер Гитон-Фабюле, Марселина Декурти и прочие составили заговор, средствами к достижению которого были: убийства, голод, подделка ассигнаций и металлических денег, развращение общественной нравственности, общественного мнения и мятеж в тюрьмах, а целью: гражданская война, роспуск народного представительства, восстановление королевской власти?

Присяжные удалились в совещательную комнату. Они единогласно признали виновными всех подсудимых, за исключением вышеназванных Наветта и Бэлье, на которых сначала председатель, а за ним общественный обвинитель указали как на людей, в известной

мере не причастных к делу. Гамлен мотивировал свой приговор следующим образом:

— Виновность подсудимых совершенно очевидна: наказание их необходимо для блага нации, и они сами должны желать для себя смертной казни как единственного средства искупить свою вину.

Председатель огласил приговор в отсутствии подсудимых. В дни больших процессов, вопреки требованию закона, осужденных не вводили в зал, чтобы объявить им постановление суда, — очевидно потому, что опасались взрыва отчаяния со стороны такого значительного количества людей. Напрасный страх, ибо в то время покорность жертв не имела предела! Секретарь спустился вниз прочесть приговор: его выслушали в таком безмолвии и с таким спокойствием, что невольно хотелось сравнить эти прериальские жертвы с деревьями, предназначенными к рубке.

Гражданка Рошмор заявила, что она беременна. Среди присяжных оказался лекарь, которому и поручили осмотреть ее. В обмороке ее унесли в тюрьму.

— Эти судьи достойны глубокого сожаления, — сокрушенно заметил отец Лонгмар, — их душевное состояние поистине плачевно. Они путают все и смешивают варнавита с францисканцем.

Казнь должна была совершиться в тот же день у заставы Поверженного Трона. Осужденные, которым остригли волосы и вырезали ворот сорочки, ожидали палача, загнанные, как скотина, в небольшое помещение, отделенное от канцелярии стеклянной перегородкой.

Когда прибыл со своими помощниками палач, Бротто, спокойно читавший Лукреция, заложил на начатой странице закладку, захлопнул книгу, сунул ее в карман сюртука и сказал варнавиту:

— Меня бесит, преподобный отец, что мне уже не удастся переубедить вас. Мы оба сейчас заснем последним сном, и я не смогу дернуть вас за рукав и разбудить, чтобы сказать вам: «Вот видите, вы больше ничего не чувствуете и не сознаете: души у вас нет. То, что следует за жизнью, ничем не отличается от того, что ей предшествует».

Он хотел было улыбнуться, но внезапно ощутил такую острую боль в груди, что едва не упал в обморок.

Однако он продолжал:

— Не скрою от вас свою слабость, отец мой, я люблю жизнь и расстаюсь с ней не без сожаления.

— Сударь, — кротко ответил монах, — обратите внимание на то, что, хотя вы и мужественнее меня, тем не менее смерть повергает вас в большее смятение. Ведь это означает, что я вижу свет, которого вы еще не видите.

— А может быть, это объясняется тем, — возразил Бротто, — что я сожалею о жизни, которой пользовался лучше, чем вы, ибо вы все время старались сделать ее подобием смерти.

— Сударь, — сказал отец Лонгмар, бледнея, — сейчас торжественная минута. Да поможет мне господь! Теперь уже ясно, что мы умрем без причастия. Вероятно, я некогда принимал святые дары без должного трепета и благодарности, если небо отказывает мне в них сегодня, когда я так в этом нуждаюсь.

Телеги уже ожидали внизу. Осужденных со связанными руками усадили вплотную друг к другу. Рошмор, у которой лекарь не нашел признаков беременности, втащили на один из возков. Собрав последние силы, она пристально всматривалась в толпу зрителей, надеясь, вопреки всякой надежде, найти среди них спасителей. Ее глаза были полны мольбы. Стечение народа было значительно меньше, чем прежде, и состояние умов менее возбужденное. Только несколько женщин кричали: «Смерть им!» — или издевались над теми, кому предстояло сейчас умереть. Мужчины же пожимали плечами, отворачивались и хранили молчание не то из осторожности, не то из уважения к закону.

Трепет пробежал по толпе, когда Атенаис переступила порог: она казалась совсем ребенком.

Она склонила голову перед монахом.

— Господин кюре, дайте мне отпущение грехов, — попросила она.

Отец Лонгмар торжественно прошептал слова молитвы и потом сказал:

— Дочь моя, вы дошли до ужасного падения, но я желал бы вознести к престолу всевышнего сердце, столь же бесхитростное, как ваше.

Она легко впорхнула в телегу и там, выпрямившись, гордо вскинув свою детскую головку, крикнула:

— Да здравствует король!

Она сделала Бротто знак, что рядом с ней есть место. Бротто помог взобраться варнавиту и затем поместился между монахом и простодушной девушкой.

— Сударь, — обратился отец Лонгмар к философу-эпикурейцу, — прошу вас, как о милости: помолитесь за меня богу, в которого вы еще не веруете. Как знать: быть может, вы даже ближе к нему, чем я. Одно мгновение может все решить. Чтобы стать любимым сыном господа, нужен всего лишь миг. Помолитесь за меня, сударь.

Все время, пока колеса, скрипя, катились по мостовой обширного предместья, монах и сердцем и устами твердил отходную.

Бротто вспоминал стихи вдохновенного певца природы: «Sic ubi non erimus...» Руки его были связаны, он подскакивал при каждом толчке, но и в позорной телеге он сохранял спокойную осанку и даже как будто старался устроиться поудобнее. Рядом с ним Атенаис, гордая тем, что умирает так же, как королева Франции, окидывала толпу высокомерным взглядом, и старый откупщик, взглядом знатока созерцая белую грудь молоденькой женщины, сожалел о том, что его жизнь сейчас оборвется.

XXV

Между тем как окруженные конными жандармами телеги приближались к площади Поверженного Трона, везя на казнь Бротто и его сообщников, Эварист сидел, задумавшись, на скамье в Тюильрийском саду. Он поджидал Элоди. Солнце, склоняясь к горизонту, пронизывало огневыми стрелами густую листву

каштанов. У садовой решетки Слава верхом на крылатом коне неустанно трубила в свою трубу. Газетчики выкрикивали последнее сообщение о крупной победе под Флерюсом.

«Да, — размышлял Гамлен, — победа на нашей стороне. Но мы дорого заплатили за нее».

Ему мерещились тени осужденных за бездарность генералов: он видел их в кровавой пыли на площади Революции, где они сложили головы. И он гордо улыбнулся, подумав, что без суровых мер, в осуществлении которых и он принимал участие, лошади австрийцев сейчас обгладывали бы тут кору с деревьев.

«О спасительный террор, святой террор! — мысленно восклицал он. — В прошлом году, в эту самую пору, нашими защитниками были побежденные герои в отрепьях; неприятель попирал почву нашей родины; две трети департаментов были охвачены мятежом. Теперь же наши войска, хорошо снаряженные, хорошо обученные, под начальством искусных полководцев переходят в наступление и готовы разнести свободу но всему свету... На всей территории Республики царит мир... О спасительный террор, святой террор! О бесценная гильотина! В прошлом году, в эту пору, Республику раздирали на части заговоры, гидра федерализма чуть-чуть не пожрала ее. А ныне тесно сплоченные якобинцы простирают свою мудрую власть над всем государством...»

И все-таки он был мрачен. Глубокая морщина прорезала ему лоб; горькая складка залегла у рта. Он думал: «Мы говорили: *победить или умереть.* Мы ошиблись. Надо было сказать: *победить и умереть».*

Он посмотрел вокруг себя. Дети играли песком. Гражданки, сидя под деревьями на стульях, шили или вышивали. Изящные мужчины во фраках и странного покроя панталонах возвращались к себе домой, занятые делами и развлечениями. И Гамлен чувствовал себя среди них одиноким: он не был ни их соотечественником, ни их современником. Что же такое произошло? Каким образом на смену энтузиазму прекрасных лет явились безразличие, усталость, а быть может, и отвращение? Эти люди явно не желали больше слышать

о Революционном трибунале и отворачивались от гильотины. Она уже слишком намозолила всем глаза на площади Революции, и ее загнали в самый конец Антуанского предместья. Но и там вид роковых телег вызывал ропот. Говорят, будто несколько голосов однажды даже крикнуло: «Довольно!»

«Довольно, когда есть еще изменники и заговорщики! Довольно, когда следует обновить комитеты, очистить Конвент! Довольно, когда негодяи позорят народное представительство! Довольно, когда даже в Революционном трибунале замышляют гибель Праведника! Страшно подумать, но тем не менее это так: сам Фукье подготовляет заговор, и именно для того, чтобы погубить Максимилиана, он торжественно принес ему в жертву пятьдесят семь человек, которых, точно отцеубийц, доставили к эшафоту в красных рубахах! Откуда же эта преступная жалость, внезапно овладевшая Францией? Значит, ее необходимо спасать вопреки ее воле, когда она умоляет о пощаде, затыкать себе уши и разить. Увы, это было предначертано роком: отечество проклинало своих спасителей. Пускай оно клянет нас, лишь бы оно было спасено!

Мало приносить безвестные жертвы — аристократов, финансистов, публицистов, поэтов, какого-нибудь Лавуазье, Руше, Андре Шенье *. Необходимо поразить всесильных злодеев, загребающих золото, обагренными кровью руками, всех этих Фуше, Тальенов, Роверов, Каррье, Бурдонов *, которые готовят гибель Горе. Надо освободить государство от всех его врагов. Если бы восторжествовал Эбер, Конвент был бы разогнан и Республика скатилась бы в пропасть; если бы восторжествовали Демулен и Дантон, Конвент, дойдя до нравственного падения, отдал бы Республику на растерзание аристократам, биржевикам и генералам. Если восторжествуют Тальены и Фуше, эти чудовища, упившиеся кровью и грабежами, Франция потонет в преступлениях и позоре... Ты спишь, Робеспьер, а изверги, пьяные от ярости и ужаса, замышляют покончить с тобой и навеки похоронить Свободу. Кутон *, Сен-Жюст *, почему вы медлите с изобличением заговорщиков?

Как! Прежнее государство, тираническое чудовище, утверждало свою власть, ежегодно заточая в тюрьму по четыреста тысяч человек, вешая по пятнадцать тысяч, колесуя по три тысячи, а Республика никак не может решиться пожертвовать несколькими сотнями голов в интересах собственной безопасности и могущества? Пусть мы захлебнемся в крови, но мы спасем отечество...»

Он все еще размышлял над этим, когда, бледная, небрежно одетая, подбежала к нему Элоди:

— Что ты хотел мне сказать, Эварист? Почему ты не пришел в «Амур Живописец», в голубую комнатку? Зачем ты вызвал меня сюда?

— Чтобы навек проститься с тобой.

Она пролепетала, что он безумец, что она ничего не понимает...

Он остановил ее еле заметным движением руки:

— Элоди, я больше не могу принимать твою любовь.

— Замолчи, Эварист, замолчи!

Она предложила ему отойти подальше: здесь их могут увидеть, могут подслушать.

Он прошел шагов двадцать и заговорил совершенно спокойно:

— Я принес в жертву родине и жизнь и честь. Я умру опозоренным и ничего не смогу завещать тебе, несчастная, кроме всем ненавистного имени... Любить друг друга? Но разве меня еще можно любить?.. И разве я могу любить?

Она еще раз назвала его сумасшедшим, стала уверять, что любит и будет любить всегда. Она говорила пылко, искренне. Однако, так же как он, и даже лучше его, она сознавала всю правоту его слов. Она спорила против очевидности.

— Я ни в чем не упрекаю себя, — продолжал он. — Я и впредь поступал бы так, как поступал до сих пор. Ради отечества я подверг себя отлучению. Я проклят. Я поставил себя вне человечества и никогда не вернусь к нему. Нет! Великая задача еще не завершена. Милосердие! Прощение!.. А разве изменники прощают? Разве заговорщики милосердны? Предателей родины с каждым часом становится все больше и больше; они

вырастают из-под земли, они стекаются со всех границ: молодые люди, которым более пристало бы погибать в рядах наших армий, старики, дети, женщины, напяливающие на себя личины невинности, чистоты и грации. А когда их казнят, на их месте появляются другие, в еще большем количестве... Ты сама видишь, что я должен отказаться от любви, от утех, от всякой радости в жизни, от самой жизни.

Он умолк. По своей природе склонная к мирным наслаждениям, Элоди за последнее время уже не раз с ужасом замечала, что к сладострастным ощущениям, которые она испытывала в объятиях своего трагического любовника, все чаще примешиваются кровавые картины. Она ничего не ответила. Эварист, как горькую чашу, испил молчание молодой женщины...

— Ты сама видишь, Элоди: мы с головокружительной быстротой стремимся вперед. Наше дело поглощает нас. Наши дни, наши часы — это годы. Мне скоро исполнится сто лет. Посмотри на мое чело, разве это чело любовника? Любить!..

— Эварист, ты мой, я не отпущу тебя, я не верну тебе свободы.

Это было самопожертвованием. Он почувствовал это по интонации. Да и сама она это чувствовала.

— Элоди, решишься ли ты когда-нибудь подтвердить, что я был верен своему долгу, что помыслы мои были честны и душа чиста, что я не ведал иной страсти, кроме заботы об общественном благе, что по натуре я был человеком чувствительным и нежным? Скажешь ли ты: «Он исполнил свой долг»? Нет! Ты этого не скажешь. И я не прошу тебя об этом. Пускай бесследно исчезнет память обо мне! Вся моя слава схоронена у меня в сердце, а окружает меня позор. Если ты меня любила, никогда ни единым словом не упоминай обо мне.

В эту минуту ребенок лет восьми-девяти, кативший обруч, с разбегу уткнулся в колени Гамлену.

Эварист подхватил его на руки.

— Дитя! Ты вырастешь свободным, счастливым человеком и этим будешь обязан презренному Гамлену. Я свиреп, так как хочу, чтобы ты был счастлив. Я

жесток, так как хочу, чтобы ты был добр. Я беспощаден, так как хочу, чтобы завтра все французы, проливая слезы радости, бросились друг другу в объятия.

Он прижал его к груди.

— Малыш, когда ты станешь мужчиной, ты будешь обязан мне своим счастьем, своей невинностью. А между тем, услыхав мое имя, ты предашь его проклятию.

И он спустил на землю ребенка, который в страхе кинулся к матери, уже спешившей ему навстречу.

Молодая мать, красивая женщина в белом батистовом платье, судя по наружности — аристократка, с надменным видом увела своего мальчика.

Гамлен, дико сверкнув глазами, обернулся к Элоди:

— Я расцеловал этого ребенка, а его мать, быть может, я отправлю на эшафот.

И он удалился большими шагами, держась в тени деревьев.

С минуту Элоди простояла неподвижно, опустив взор и глядя в одну точку. Потом она вдруг кинулась вслед своему любовнику; в порыве исступления, с развевающимися, как у менады, волосами, она схватила его, словно желая растерзать, и сдавленным от слез голосом крикнула:

— Ну что ж, и меня, возлюбленный мой, пошли на гильотину! Прикажи и мне отрубить голову!

И, представив себе, как нож касается ее шеи, она почувствовала, что все ее тело содрогается от ужаса и сладострастия.

XXVI

Термидорианское солнце уже садилось в кровавом пурпуре. Эварист, мрачный и озабоченный, бродил по аллеям Марбефского сада, ставшего национальной собственностью и местом прогулок праздных парижан. Там пили лимонад, ели мороженое; были там и карусель и тиры для юных патриотов. Под деревом мальчик-савояр в отрепьях и черном колпаке играл на волынке, и под ее резкие звуки плясал сурок. Стройный, довольно моложавый мужчина в голубом фраке, с напудренными волосами, шедший в сопровождении большой собаки,

остановился послушать эту сельскую музыку. Эварист узнал Робеспьера. Он заметил его бледность, его худобу; лицо стало жестче, и на лбу залегла скорбная морщина.

«Сколько трудов, сколько страданий наложили печать на это чело! — подумал оп. — Как тяжело работать для счастья человечества! О чем размышляет он сейчас? Отвлекает ли его от дел и забот звук горной волынки? Думает ли он о том, что заключил договор со смертью и что недалек уже час расплаты? Изыскивает ли он способы победоносно вернуться в Комитет общественного спасения, из которого ушел вместе с Кутоном и Сен-Жюстом из-за мятежного большинства? Какие надежды, какие опасения скрываются за этими непроницаемыми чертами?»

Максимилиан меж тем улыбнулся мальчику, кротким благожелательным голосом задал ему несколько вопросов об его родной долине, о хижине, о родителях, которых бедняжка покинул, бросил ему мелкую серебряную монету и направился дальше. Пройдя несколько шагов, он обернулся и подозвал собаку, которая, почуяв грызуна, оскалила зубы на ощетинившегося сурка.

— Браунт! Браунт!

Потом он углубился в сумрак аллеи.

Гамлен из уважения не пожелал нарушить его одиночество. Но, наблюдая издали тонкий силуэт, сливавшийся с окружающей тьмою, он мысленно обратился к нему с речью:

«Я видел твою грусть, Максимилиан; я понял твою мысль. Скорбь, усталость и даже выражение ужаса, застывшее у тебя во взгляде, — все в тебе говорит: «Пусть прекратится террор и наступит братство! Французы, будьте едины, будьте добродетельны, будьте мягкосердечны. Любите друг друга...» Ну что ж! Я помогу тебе в осуществлении этих намерений; чтобы, мудрый и благостный, ты мог положить конец гражданским распрям, угасить братоубийственную ненависть, сделать палача огородником, который будет срезать не человеческие головы, а капусту и латук, я вместе с товарищами по Трибуналу уготовлю стези милосердию, уничтожая заговорщиков и изменников. Мы удвоим

нашу бдительность и суровость. Ни один виновный не ускользнет от нас. И когда голова последнего врага Республики падет под ножом, тогда ты сможешь быть милосердным, не совершая преступления, и установишь во Франции царство невинности и добродетели, о отец отечества!»

Неподкупный был уже далеко. Двое мужчин в круглых шляпах и нанковых панталонах, из которых один, высокий, худой, свирепый на вид, с бельмом на глазу, был похож на Тальена, встретились с ним на повороте аллеи, искоса взглянули на него и, притворившись, будто не узнали, прошли дальше. Отойдя на достаточное расстояние и уверившись, что их никто не слышит, они зашептались:

— Вот он, наш король, наш папа, наш бог. Ибо он действительно бог. А Катерина Тео * — его пророчица.

— Диктатор, предатель, тиран! И на тебя найдутся Бруты!

— Трепещи, злодей! Тарпейская скала недалеко от Капитолия *.

К ним приблизился пес Браунт. Они замолчали и ускорили шаг.

XXVII

Ты спишь, Робеспьер! Часы уходят, драгоценное время бежит...

Наконец 8-го термидора, в Конвенте, Неподкупный поднимается и хочет говорить. Солнце тридцать первого мая *, неужели ты восходишь во второй раз? Гамлен ждет, надеется. Робеспьер навсегда изгонит с опозоренных ими скамей законодателей, более преступных, чем федералисты, более опасных, чем Дантон... Нет, еще не сейчас! «Я не могу, — говорит он, — решиться разорвать до конца завесу, прикрывающую глубокую тайну беззакония». И молния, рассеивающаяся в воздухе, не поражая никого из заговорщиков, приводит их всех в трепет. Уже две недели шестьдесят человек из их числа не решались ночевать у себя дома. Марат — тот называл предателей по именам, он указы-

вал на них пальцами. Неподкупный колеблется, и с этой минуты обвиняемый — он.

Вечером в Клубе якобинцев невероятная давка — в зале, в коридорах, во дворе.

Здесь все налицо — шумные друзья и немые враги. Робеспьер читает им речь, которую Конвент выслушивает в страшном молчании и якобинцы покрывают бурными рукоплесканиями.

— Это мое завещание, — говорит он, — вы увидите, как я, не дрогнув, выпью чашу цикуты.

— Я выпью ее вместе с тобой, — отвечает Давид.

— Все мы, все мы выпьем! — кричат якобинцы и расходятся, не приняв никакого решения.

В то время как враги готовили Праведнику смерть, Эварист спал сном учеников Христовых в Гефсиманском саду *. Утром он отправился в Трибунал, где заседали две секции. Та из них, в которую входил он, разбирала дело двадцати одного участника заговора в Сен-Лазарской тюрьме. А в это время уже распространялась весть: «Конвент после шестичасового заседания постановил привлечь к ответственности Максимилиана Робеспьера, Кутона, Сен-Жюста, а также Огюстена Робеспьера и Леба, пожелавших разделить участь обвиняемых. Все пятеро заключены под стражу».

Становится также известным, что председатель секции, помещающейся в соседнем зале, гражданин Дюма, арестован во время исполнения обязанностей, но что заседание продолжается. Слышно, как трубят сбор и бьют в набат.

Эваристу на скамье присяжных вручают приказ Коммуны отправиться в ратушу для участия в заседании Генерального совета. Под звон набата и бой барабанов он вместе с товарищами выносит приговор и бежит к себе — обнять мать и надеть трехцветную перевязь. Тионвилльская площадь безлюдна. Секция не решается высказаться ни за Конвент, ни против него. Прохожие робко жмутся к стенам, норовят поскорее скрыться в воротах, попасть к себе домой. На звуки набата и барабанную дробь откликаются захлопывающиеся ставни и громыхающие засовы дверей. Гражданин Дюпон-старший спрятался у себя в мастерской;

консьерж Ремакль запирается в своей привратницкой. Малютка Жозефина боязливо сжимает в объятиях Мутона. Вдова Гамлен сокрушенно вздыхает о дороговизне съестных припасов — причине всех бед. На нижней площадке лестницы Эварист сталкивается с Элоди. Она запыхалась, пряди черных волос прилипли к влажной шее.

— Я искала тебя в Трибунале. Ты только что ушел оттуда. Куда ты?

— В ратушу.

— Не ходи туда! Ты погубишь себя: Анрио арестован... секции не выступят. Секция Пик, оплот Робеспьера, спокойна. Я знаю наверняка: мой отец ведь член ее. Если ты отправишься в ратушу, ты напрасно погубишь себя.

— Ты хочешь, чтобы я был трусом?

— Напротив: сейчас мужество заключается в верности Конвенту и в повиновении закону.

— Закон мертв, если торжествуют злодеи.

— Эварист, послушайся своей Элоди, послушайся своей сестры: сядь рядом с ней, чтобы она успокоила твою смятенную душу.

Он взглянул на нее: никогда еще не казалась она ему такой желанной; никогда этот голос не звучал для него так страстно, так убедительно.

— Два шага, только два шага, мой любимый!

Она увлекла его к высокому газону, на котором находился пьедестал опрокинутой статуи. Вокруг стояли скамьи, пестревшие нарядными мужчинами и женщинами. Торговка галантереей предлагала купить у нее кружева. Продавец целебной настойки, с бутылью за плечами, звонил в колокольчик; девочки играли в серсо. На отлогом берегу рыболовы застыли в неподвижных позах с удочкой в руке. Погода была ветреная, небо в тучах. Гамлен, склонившись над парапетом, смотрел на остров, заостренный, точно корабельный нос, слушал, как стонут на ветру верхушки деревьев, и чувствовал, что всем его существом овладевает бесконечное желание покоя и уединения.

И, словно сладостный отголосок его мысли, звучал рядом тихий голос Элоди:

— Помнишь, как при виде полей тебе захотелось быть мировым судьею где-нибудь в деревушке? Ведь это было бы счастьем.

Но, покрывая шелест листьев и голос женщины, до него доносились звуки набата, барабанный бой, отдаленный конский топот и громыханье пушек по мостовой.

В двух шагах от него молодой человек, беседовавший с изящной гражданкой, сказал:

— Слыхали последнюю новость?.. Оперу перевели на улицу Закона.

Однако все уже было известно: шепотом произносили имя Робеспьера, но делали это с опаской, так как он продолжал еще внушать страх. И женщины, боязливо передавая из уст в уста слух об его падении, старались сдержать улыбку.

Эварист Гамлен схватил руку Элоди и тотчас же выпустил ее.

— Прощай! Я приобщил тебя к своей ужасной судьбе, я погубил твою жизнь. Прощай! Постарайся забыть меня!

— Смотри не возвращайся сегодня ночью к себе, — ответила она. — Приходи к «Амуру Живописцу». Не звони: кинь камешком мне в ставни. Я сама отопру дверь и спрячу тебя на чердаке.

— Либо я вернусь к тебе победителем, либо не вернусь совсем. Прощай!

Подходя к ратуше, он услышал подымающийся к нависшему небу гул, как в минувшие великие дни. На Гревской площади раздавался лязг оружия, пестрели трехцветные перевязи и мундиры, выстраивались в боевом порядке пушки Анрио. Он поднимается по парадной лестнице, у входа в зал совета расписывается на листе. Члены Генерального совета Коммуны в числе четырехсот девяноста одного единогласно высказываются в пользу обвиняемых.

Мэр отдает распоряжение принести таблицу Прав Человека и читает вслух статью, где говорится: «Когда правительство нарушает народные права, восстание является священнейшим и необходимейшим долгом народа». И главное должностное лицо Парижа объявляет,

что государственному перевороту, совершенному Конвентом, Коммуна противопоставляет народное восстание.

Члены Генерального совета клянутся умереть на своем посту. Двум муниципальным офицерам поручается отправиться на Гревскую площадь и предложить народу присоединиться к Коммуне, в целях спасения отечества и свободы.

Люди ищут друг друга, обмениваются новостями, подают советы. Здесь, среди магистратов, мало ремесленников. Коммуна, члены которой тут собрались, имеет то лицо, какое ей придала якобинская чистка, это — судьи и присяжные Революционного трибунала, художники, вроде Бовале и Гамлена, рантье и учителя, зажиточные мещане, крупные торговцы в напудренных париках, с брелоками на животе; тут почти не видно деревянных башмаков, широких штанов, карманьол, красных колпаков. Их много, этих буржуа, и все они полны решимости. Но в сущности ими почти исчерпывается все, что есть в Париже подлинно республиканского. Они сгрудились в ратуше, как на скале свободы, окруженные со всех сторон океаном равнодушия.

Между тем приходят благоприятные вести. Все тюрьмы, куда заключили обвиняемых, раскрывают двери и отпускают их на волю. Огюстен Робеспьер, явившийся из Форс, первым приходит в ратушу; его встречают аплодисментами. В восемь часов становится известно, что Максимилиан, после продолжительных колебаний, тоже направляется в Коммуну. Его ждут, он сейчас должен явиться, он явился: чудовищный гром рукоплесканий сотрясает своды старинного муниципального здания. Его торжественно вносят на руках. Этот щуплый, опрятный человечек в голубом фраке и желтых панталонах, это — он. Он занимает свое место, он говорит.

Не успевает он переступить порог, как Генеральный совет приказывает немедленно иллюминировать ратушу. В нем воплощена сама Республика. Он говорит, говорит своим высоким голосом, тщательно выбирая выражения. Он говорит изысканно, пространно. Те, кто здесь собрался, кто жизнью рискует из-за него, с ужасом

замечают, что это говорун, умеющий ораторствовать в комитетах и на трибуне, но неспособный на быстрое решение, на революционный шаг.

Его увлекают в зал совещаний. Теперь они все в сборе, эти славные преступники: Леба, Сен-Жюст, Кутон. Робеспьер говорит. Половина первого ночи: он все еще говорит. Между тем Гамлен, прижавшись лбом к стеклу, в зале совета, тоскливо всматривается в темноту; он видит, как чадят плошки во мраке ночи. Пушки Анрио выстроились перед ратушей. На совершенно черной площади волнуется встревоженная, растерянная толпа. В половине первого из-за угла улицы Ваннри показываются факелы — они окружают делегата Конвента, облеченного знаками своего достоинства. Он разворачивает бумагу и, залитый красным светом факелов, читает вслух декрет Конвента, постановившего объявить вне закона членов мятежной Коммуны, членов Генерального совета, действующих с ней заодно, и всех граждан, которые откликнутся на ее призыв.

Объявление вне закона, казнь без следствия и суда! От одной мысли об этом даже самые решительные бледнеют. Гамлен чувствует, как на лбу у него выступает холодный пот. Он смотрит на толпу, которая торопливо покидает Гревскую площадь.

Он поворачивается и видит, что зал, где только что яблоку негде было упасть, почти пуст.

Но напрасно бежали все эти члены Генерального совета: они ведь расписались.

Два часа ночи. В соседнем зале Неподкупный совещается с Коммуной и магистратами, объявленными вне закона.

Гамлен устремляет безнадежный взор на черную площадь. При свете фонарей он замечает, как со стуком, словно кегли, ударяются друг о дружку деревянные подпорки у навеса бакалейной лавки. Фонари покачиваются и мерцают: поднялся сильный ветер. Минуту спустя разражается гроза; площадь окончательно пустеет: тех, кого не разогнал ужасный декрет, обращают в бегство несколько капель дождя. Пушки Анрио покинуты на произвол судьбы. И когда войска Конвента при вспышках молнии подходят одновременно

с набережной и с улицы Антуан, у подъездов ратуши нет уже никого.

Наконец Максимилиан решается обратиться за поддержкой против Конвента к секции Пик.

Генеральный совет приказывает доставить ему сабли, пистолеты, ружья. Но лязг оружия, шум шагов, звон разбиваемых стекол уже наполняет здание. Словно лавина, проносятся войска Конвента через зал совещаний и устремляются в зал совета. Раздается выстрел: Гамлен видит, как падает с раздробленной челюстью Робеспьер *. Гамлен выхватывает карманный нож, тот самый дешевый нож, которым когда-то, в дни голода, он отрезал ломоть хлеба для бедной матери, тот самый, который прелестным вечером на ферме в Оранжи лежал на коленях у его возлюбленной во время игры в фанты; он раскрывает его и хочет вонзить себе в сердце: лезвие натыкается на ребро, гнется, и он ранит себе два пальца. Гамлен падает, обливаясь кровью. Он лежит неподвижно, но страдает от страшного холода, и в шуме и сумятице ужасной борьбы, попираемый ногами, явственно слышит голос молодого драгуна Анри:

— Тирана уже нет в живых! Его приспешники разбиты. Революция снова пойдет своим величественным и грозным путем.

Гамлен теряет сознание.

В семь часов утра лекарь, присланный Конвентом, перевязал ему раны. Конвент очень заботился о сообщниках Робеспьера: он желал, чтобы ни один из них неизбежал гильотины. Художника, бывшего присяжного, бывшего члена Генерального совета Коммуны, на носилках доставили в Консьержери.

XXVIII

Десятого термидора, когда Эварист, после лихорадочного сна, вдруг очнулся в невыразимом ужасе на тюремной койке, Париж, огромный и прекрасный, радостно улыбался солнцу; в сердцах узников воскресала надежда: торговцы весело открывали лавки, буржуа чувствовали себя богаче, молодые люди — счастливее,

женщины — красивее, и все это благодаря падению Робеспьера. Только горсточка якобинцев, несколько священников, присягнувших конституции, да десяток старух трепетали при мысли, что власть перешла в руки людей дурных и порочных. Революционный трибунал отправил в Конвент делегацию в составе общественного обвинителя и двух судей с поздравлениями по случаю пресечения заговора. Собрание постановило, что эшафот опять будет воздвигнут на площади Революции. Оно хотело, чтобы богачи, щеголи, красивые женщины могли со всеми удобствами смотреть на казнь Робеспьера, которая должна была состояться в тот же день. Диктатор и его приспешники были объявлены вне закона; достаточно было двум муниципальным чиновникам удостоверить их личность, чтобы Трибунал немедленно передал их палачу. Но тут возникло неожиданное затруднение: удостоверение личности не могло быть совершено с соблюдением требуемых законом формальностей, так как вся Коммуна была объявлена вне закона. Ввиду этого собрание разрешило Трибуналу удостоверить личность преступников при помощи обыкновенных свидетелей.

Триумвиров * и их главных сообщников повлекли к эшафоту среди криков восторга и ярости, среди проклятий, смеха и танцев.

На следующий день Эвариста, который уже оправился и кое-как мог держаться на ногах, вывели из камеры, доставили в Трибунал и усадили на помосте, на том самом помосте, где он не раз видел толпу осужденных и где до него перебывало столько знаменитых и безвестных жертв. Теперь помост стонал под тяжестью семидесяти человек, в большинстве своем членов Коммуны; некоторые из них были, как и Гамлен, присяжными, объявленными, как и он, вне закона. Гамлен увидел свою скамью, спинку, к которой обычно прислонялся, место, откуда он наводил ужас на несчастных, место, где ему пришлось выдержать взгляды Жака Мобеля, Фортюне Шассаня, Мориса Бротто, умоляющие взоры гражданки Рошмор, стараниями которой его назначили присяжным и которую он отблагодарил смертным приговором. Над возвышением, где на трех

креслах красного дерева, обитых алым утрехтским бархатом, заседали судьи, он увидел бюсты Шалье и Марата и бюст Брута, чью тень он однажды призвал в свидетели. Ничто не изменилось: ни секиры, ни ликторские прутья, ни красные колпаки на обоях, ни оскорбления, которыми «вязальщицы» осыпали с трибун тех, кому предстояло умереть, ни душа Фукье-Тенвиля, упрямого, трудолюбивого, усердно роющегося в своих человекоубийственных документах и отправляющего, как безупречный судья, своих вчерашних друзей на эшафот.

Гражданин Ремакль, консьерж и портной, и гражданин Дюпон-старший, столяр с Тионвилльской площади, член Наблюдательного комитета секции Нового моста, удостоверили личность Гамлена (Эвариста), художника, бывшего присяжного Революционного трибунала, бывшего члена Генерального совета Коммуны. Они свидетельствовали за вознаграждение в сто су ассигнациями, выплаченное им секцией. Но так как они находились с Гамленом в добрососедских и даже приятельских отношениях, им было совестно смотреть ему в глаза. Кроме того, было жарко, им хотелось пить, и они поспешили уйти, чтобы осушить по стакану вина.

Гамлен не без труда взобрался на телегу: он потерял много крови, и рана причиняла ему жестокую боль. Возница хлестнул свою клячу, и шествие тронулось под улюлюканье столпившихся зевак.

Женщины, узнавшие Гамлена, кричали:

— Туда тебе и дорога, кровопийца! Убийца, подрядившийся за восемнадцать франков в день!.. Он уже не смеется: смотрите, какой он бледный... трус!

Это были те же самые женщины, которые недавно осыпали бранью заговорщиков и аристократов, крайних и умеренных — всех, кого Гамлен и его товарищи посылали на гильотину.

Телега свернула на набережную Морфондю и не спеша двинулась по Новому мосту и Монетной улице: дорога вела на площадь Революции, к эшафоту Робеспьера. Лошадь прихрамывала; кучер поминутно стегал ее кнутом по ушам. Веселая, оживленная толпа любопытных замедляла движение конвоя. Публика приветствовала жандармов, которым приходилось сдерживать

коней. На углу улицы Оноре оскорбления удвоились. Молодые люди, сидевшие за столиками в залах второго этажа модных ресторанов, высыпали к окнам, с салфетками в руках.

— Каннибалы! Людоеды! Вампиры! — кричали они.

Когда телега застряла в куче нечистот, которых не убирали за эти два дня всеобщего смятения, золотая молодежь пришла в восторг:

— Телега увязла в навозе!.. Там вам и место, якобинцы!

Гамлен был занят своими мыслями, и ему казалось, что он все понимает.

«Я заслуживаю смерти, — думал он — Все мы поделом терпим поношения, которыми в нашем лице осыпают Республику и от которых нам следовало оградить ее. Мы проявили слабость. Мы грешили снисходительностью. Мы предали Республику. Мы заслужили свой жребий. Робеспьер, безупречный, праведный Робеспьер, и тот повинен в кротости и в снисходительности; он искупил эти ошибки своим мученичеством. Подобно ему, я тоже предал Республику; она погибает, — справедливость требует, чтобы я умер вместе с ней. Я щадил кровь других: пускай же прольется моя собственная кровь! Пусть я погибну! Я это заслужил...»

Предаваясь этим размышлениям, он вдруг заметил вывеску «Амура Живописца»; воспоминания, и горестные и сладостные, бурным потоком нахлынули на него.

Лавка была заперта; жалюзи на всех трех окнах во втором этаже были спущены донизу. Когда телега проезжала под левым окном, окном голубой спальни, женская рука с серебряным кольцом на безымянном пальце слегка приподняла край жалюзи и кинула Гамлену красную гвоздику, которую он не мог поймать, так как руки у него были связаны, но он впился в нее взглядом, ибо она была для него символом и образом красных благоуханных уст, столько раз даривших прохладу его губам. Глаза его наполнились слезами, и, еще весь проникнутый очарованием этого последнего привета, он увидел на площади Революции сверкающий над толпою окровавленный нож.

XXIX

На Сене уже показался первый лед нивоза. Бассейны Тюильри, ручейки, фонтаны замерзли. Северный ветер поднимал на улицах облака снежной пыли. У лошадей шел из ноздрей белый пар. Горожане, проходя мимо лавок оптиков, взглядывали на термометр. Приказчик протирал заиндевелые окна «Амура Живописца», и любопытные останавливались поглазеть на модные эстампы: на Робеспьера, выжимающего над чашей человеческое сердце, словно лимон, чтобы напиться крови, и на большие аллегорические картины, вроде «Тигрократии Робеспьера», представлявшей сплошное нагромождение гидр, змей, страшных чудовищ, которых тиран спустил на Францию. Тут же были выставлены: «Ужасный заговор Робеспьера», «Арест Робеспьера», «Смерть Робеспьера».

В этот день, после обеда, Филипп Демаи с папкой под мышкой вошел в лавку Жана Блеза. Он принес ему доску, на которой выгравировал пунктиром «Самоубийство Робеспьера». Язвительно-насмешливый резец гравера изобразил Робеспьера настолько отвратительным, насколько это было возможно. Французский народ еще не насытился подобными произведениями, пытавшимися увековечить чудовищные и позорные деяния человека, которого теперь винили во всех преступлениях Революции. Однако торговец эстампами, хорошо знавший публику, предупредил Демаи, что отныне он будет заказывать ему только военные сюжеты.

— Нам теперь понадобятся победы и завоевания, сабли, султаны, генералы. Мы вступили на путь славы. Я это чувствую по себе; сердце у меня усиленно бьется при рассказах о подвигах наших доблестных армий. А когда я испытываю какое-нибудь чувство, редко бывает, чтобы все не испытывали его одновременно со мной. Воины и женщины, Марс и Венера — вот что нам нужно.

— Гражданин Блез, у меня остались еще два-три рисунка Гамлена, которые вы дали мне гравировать. Надо ли с этим поторопиться?

— Совершенно незачем.

— Кстати о Гамлене: вчера, проходя по бульвару Тампль, я видел у одного старьевщика, лавка которого помещается как раз напротив дома Бомарше, все полотна этого несчастного, в том числе его «Ореста и Электру». Голова Ореста, похожая на самого Гамлена, прекрасна, уверяю вас... голова и плечо великолепны... Старьевщик мне сказал, что эти холсты покупают у него художники, которые заново будут писать на них свои картины... Бедняга Гамлен! Из него, быть может, выработался бы первоклассный живописец, не займись он политикой.

— У него была душа преступника! — возразил гражданин Блез. — Я вывел его на чистую воду вот на этом самом месте, еще в ту пору, когда он не давал воли своим кровожадным инстинктам. Этого он никак не мог мне простить... О, это был редкий мерзавец!

— Бедняга! Он был искренен. Его погубили фанатики.

— Надеюсь, вы не станете оправдывать его, Демаи?.. Ему нет оправдания.

— Да, гражданин Блез, оправдания ему нет.

Гражданин Блез похлопал красавца Демаи по плечу.

— Времена изменились. Теперь, когда Конвент зовет изгнанников обратно, вас можно называть «Барбару»... Знаете, Демаи, что мне пришло в голову? Выгравируйте-ка портрет Шарлотты Корде.

В лавку вошла закутанная в меха высокая красивая брюнетка и по-приятельски кивнула гражданину Блезу головой. Это была Жюли Гамлен; но она уже не носила этой обесчещенной фамилии, она называла себя вдовой Шассань, и под шубкой на ней была надета красная туника в честь красных рубашек эпохи террора.

Сначала Жюли испытывала недобрые чувства к любовнице Эвариста: все, что имело какое-либо отношение к брату, было ей ненавистно. Но гражданка Блез после смерти Эвариста приютила его несчастную мать в каморке под самой крышей «Амура Живописца». Жюли на первых порах тоже нашла там убежище, затем она получила место в модной лавке на Ломбардской улице. Волосы, коротко остриженные в стиле «жертвы

гильотины», аристократическая внешность, траур привлекали к ней симпатии золотой молодежи. Жан Блез, с которым Роза Тевенен почти рассталась, начал проявлять к ней усиленное внимание, и она не отвергла его ухаживаний. Как в прежние трагические дни, Жюли любила одеваться в мужской костюм: она заказала себе щегольский фрак и часто отправлялась с огромной тростью в руке в Севр или в Медон * поужинать там со знакомой модисткой в каком-нибудь кабачке. Мужественная Жюли все еще не могла утешиться после смерти молодого дворянина, чье имя она носила, и только в ярости находила некоторое облегчение своей скорби: встречая якобинцев, она натравливала на них прохожих, подстрекала к расправе с ними. Матери она уделяла мало времени, и та, одна в своей каморке, по целым дням перебирала четки: трагическая гибель сына до того потрясла ее, что она даже не чувствовала горя. Роза также стала близкой подругой. Элоди, которая обладала способностью отлично уживаться со своими «мачехами».

— Где Элоди? — спросила гражданка Шассань,

Жан Блез покачал головой. Он никогда не знал, где его дочь: это было правилом, которого он твердо держался.

Жюли зашла за ней, чтобы вместе отправиться к Розе Тевенен, в Монсо, где у актрисы был маленький домик с английским садом.

В Консьержери Роза Тевенен познакомилась с гражданином Монфором, занимавшимся крупными поставками на армию. Когда ее благодаря хлопотам Жана Блеза выпустили на свободу, она добилась освобождения гражданина Монфора, и тот сейчас же по выходе из тюрьмы занялся поставками провианта в воинские части, а также стал скупать земельные участки в квартале Пепиньер. Архитекторы Леду, Оливье и Вайи настроили там целый ряд хорошеньких домиков, и в каких-нибудь три месяца цена земли поднялась втрое. Монфор со времени совместного заключения в Люксембурге был любовником Розы Тевенен; он подарил ей небольшой особняк близ Тиволи, на улице Роше. Дом этот стоил больших денег, но Монфору, можно сказать,

достался даром, так как продажа соседних участков с излишком покрыла все расходы. Жан Блез был человек воспитанный: он полагал, что надо мириться с тем, чему мы не в силах воспрепятствовать, — он уступил Розу Тевенен Монфору без ссоры.

Вскоре после прихода Жюли в лавку спустилась нарядно одетая Элоди. Несмотря на мороз, на ней под шубкой было надето открытое платье из белой ткани; лицо ее побледнело, талия стала тоньше, глаза подернулись томностью, и все ее существо дышало сладострастием.

Женщины отправились к Розе Тевенен, которая ждала их. Демаи поехал с ними: актриса, обставляя свой особняк, пользовалась его советами, а он был влюблен в Элоди, которая уже почти решилась избавить его от дальнейших мук ожидания. Когда они проезжали мимо Монсо, где под слоем извести были зарыты казненные на площади Революции, Жюли заметила:

— Пока стоят холода, это еще ничего; но весной трупный запах отравит половину города.

Роза Тевенен приняла подруг в гостиной, выдержанной в античном стиле; все диваны и кресла были исполнены по рисункам Давида. По стенам, над статуями, над бюстами, над канделябрами, раскрашенными под бронзу, висели одноцветные копии с римских барельефов. Актриса носила белокурый, цвета соломы, парик в буклях. По парикам в ту эпоху сходили с ума: их клали по шести, по двенадцати, по восемнадцати штук в свадебные корзины. Платье «в стиле Киприды», узкое, как чехол, облегало ее тело.

Накинув на плечи манто, она повела приятельниц и гравера в сад, который разбивали по плану Леду, но в котором пока были свалены голые деревья и груды щебня. Тем не менее она показала им Фингалов грот *, готическую часовню с колоколом, храм, поток.

— Здесь, — вздохнула она, подведя гостей к группе елей, — я хотела бы воздвигнуть кенотафию * в память несчастного Бротто дез Илетта, к которому я не осталась равнодушной. Изверги убили его: я пролила немало слез. Демаи, нарисуйте мне урну на колонне.

И почти сейчас же вслед за тем прибавила:

— Ужасно... Я хотела дать бал на этой неделе, но все скрипачи приглашены на три недели вперед. У гражданки Тальен танцуют каждый вечер.

После обеда коляска Розы Тевенен отвезла трех приятельниц и Демаи в театр Фейдо. Там собралось все, что было наиболее изящного в Париже: женщины, причесанные в стиле «античном» или в стиле «жертвы», в сильно декольтированных платьях, пурпурных или белых, усеянных золотыми блестками, мужчины в очень высоких черных воротниках и в широких белых галстуках, в которых утопали подбородки.

В этот вечер ставили «Федру» * и «Собаку на сене»*. Весь зал потребовал исполнить «Пробуждение народа» — гимн, любимый щеголями и золотой молодежью.

Взвился занавес, и на сцену вышел толстый, низкорослый человек: это был знаменитый Лаис *. Прекрасным тенором он спел:

Народ французский, все мы братья!

Раздался такой гром рукоплесканий, что зазвенели хрустальные подвески люстры. Затем послышался невнятный ропот, и голос какого-то гражданина в круглой шляпе ответил из партера «Гимном марсельцев»:

Вперед, сыны отчизны милой!
День вашей славы засверкал...

Ему не дали кончить. Раздались свистки и крики:

— Долой террористов! Смерть якобинцам!

И Лаис, вызванный еще раз, снова спел гимн термидорианцев:

Народ французский, все мы братья!

В зрительных залах решительно всех театров на колонне или на цоколе стоял бюст Марата; в театре Фейдо этот бюст возвышался на пьедестале в одной из ниш, расположенных по обе стороны рампы.

Во время исполнения оркестром увертюры из «Федры и Ипполита» какой-то молодой щеголь крикнул, указывая на бюст концом трости:

— Долой Марата!

И весь зал подхватил:

— Долой Марата! Долой Марата!

Из общего гула вырвались отдельные красноречивые возгласы:

— Позор, что этот бюст еще здесь!

— Гнусный Марат, к стыду нашему, царит еще повсюду! Бюстов его не меньше, чем голов, которые он хотел отсечь.

— Ядовитая жаба!

— Тигр!

— Черная змея!

Вдруг какой-то франт взбирается на выступ ложи, толкает бюст и сбрасывает его. Осколки гипса падают на головы музыкантам под рукоплескания всего зрительного зала, который подымается и стоя поет «Пробуждение народа»:

Народ французский, все мы братья!

Среди наиболее восторженных певцов Элоди узнала красавца драгуна Анри, прокурорского писца, свою первую любовь.

После спектакля Демаи позвал кабриолет и отвез гражданку Элоди к «Амуру Живописцу».

В коляске молодой человек взял руку Элоди в обе руки:

— Верите вы, Элоди, что я вас люблю?

— Верю, потому что вы любите всех женщин.

— Я люблю их в вашем лице.

Она улыбнулась.

— Я взяла бы на себя нелегкую задачу, даже несмотря на модные теперь черные, белокурые и рыжие парики, если бы решилась заменять вам женщин всех типов.

— Элоди, клянусь вам...

— Что? Клятвы, гражданин Демаи? Либо вы меня считаете наивной, либо вы сами слишком наивны.

Демаи не нашелся что ответить, и она с удовольствием подумала, что он от нее без ума.

На углу улицы Закона они услыхали пение и крики; вокруг костра суетились какие-то тени. Это была кучка

щеголей, которые по выходе из Французского театра сжигали чучело, представлявшее Друга Народа.

На улице Оноре кучер задел шляпой карикатурное изображение Марата, повешенное на фонаре.

Придя в веселое настроение, возница обернулся к седокам и рассказал им, как накануне продавец требухи на улице Монторгей вымазал кровью бюст Марата, приговаривая: «Это он любил больше всего на свете»; как затем десятилетние мальчишки бросили бюст в сточную канаву и как присутствовавшие при этом граждане воскликнули: «Вот его Пантеон!»

Во всех ресторанах и кабачках, мимо которых они проезжали, публика пела:

Народ французский, все мы братья!

Когда они очутились у ворот «Амура Живописца», Элоди, выпрыгнув из кабриолета, сказала:

— Прощайте!

Но молодой человек так нежно, так настойчиво и вместе с тем так кротко стал умолять ее, что у нее не хватило решимости захлопнуть перед ним дверь.

— Уже поздно, — сказала она. — Я впущу вас только на минутку.

В голубой спальне она сбросила шубку и осталась в белом «античном» платье, обрисовывавшем ее формы и согретом ее телом.

— Может быть, вам холодно? — спросила она. — Я разведу огонь: дрова уже приготовлены.

Она высекла огонь и положила горящую лучинку в камин.

Филипп заключил ее в объятья с той нежной осторожностью, которая свидетельствует о силе, и это доставило ей какое-то особое удовольствие. Уже почти не сопротивляясь его поцелуям, она вдруг высвободилась из его рук:

— Оставьте меня!

Стоя перед каминным зеркалом, она медленно сняла шляпу, затем взглянула с грустью на кольцо, которое носила на безымянном пальце левой руки, маленький серебряный перстенек со сплющенным, полустертым изображением Марата. Она смотрела на него, пока

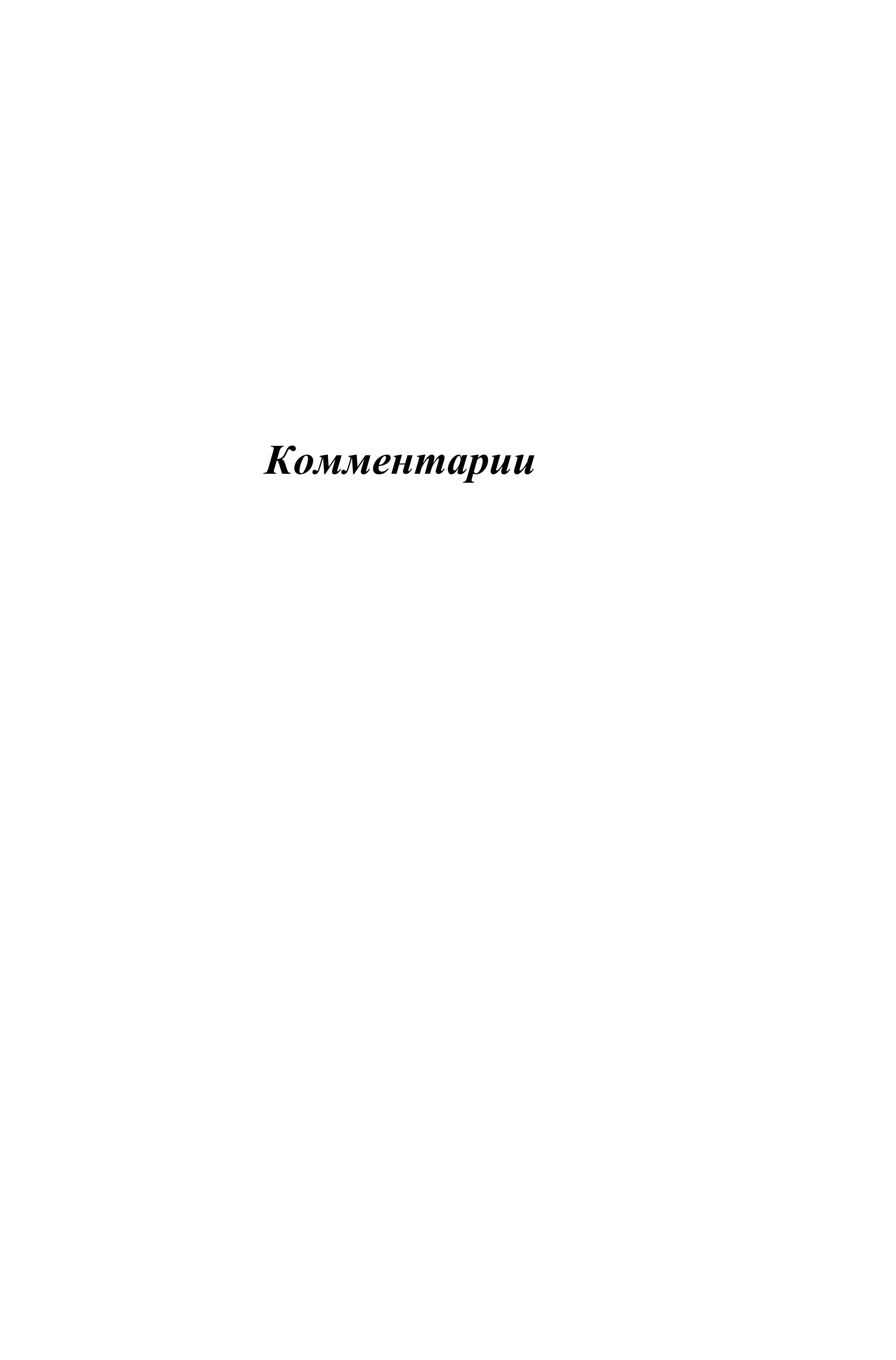
слезы не затуманили ей глаза, потом тихонько сняла его и кинула в огонь.

И лишь после этого, улыбаясь сквозь слезы, похорошев от нежности и любви, она бросилась в объятья Филиппа.

Было уже далеко за полночь, когда гражданка Блез отперла своему любовнику дверь квартиры и шепнула ему в темноте:

— Прощай, любовь моя!.. Сейчас должен вернуться отец. Если услышишь шаги на лестнице, быстро поднимись этажом выше и не спускайся, пока не убедишься, что опасность миновала. Внизу постучи три раза в окно привратнице: она выпустит тебя на улицу. Прощай, жизнь моя! Прощай, моя душа!

Последние угли догорели в камине. Элоди, счастливая и усталая, бессильно опустила голову на подушку.



Комментарии

ОСТРОВ ПИНГВИНОВ

«Остров пингвинов» — произведение А. Франса, во многих отношениях подводящее итог большой полосе творческого развития писателя и открывающее новый период в его деятельности публициста и художника. Вместе с тем — это один из шедевров сатиры в мировой литературе.

«Остров пингвинов» первоначально представлял собой небольшой рассказ из восьми главок — пародию на жития святых и церковные чудеса. Здесь говорилось о житии святого Маэля, об искушении его королевой Гламорганой и о том, как в старости он по ошибке окрестил пингвинов, которые, по решению небесного совета, были превращены после этого в людей. В таком виде, под заголовком «Остров пингвинов, рождественский рассказ», новое произведение А. Франса появилось 17 декабря 1905 г. в рождественском номере газеты «New-York Herald» (иллюстрированное приложение к европейскому изданию этой газеты).

Однако этим не исчерпывались все сатирические возможности найденного Франсом сюжета; уже 8 апреля 1906 г. в той же газете был напечатан «Дракон острова Альки» — рассказ из одиннадцати главок, с некоторыми изменениями использованных впоследствии в романе.

К концу года писатель отдает в «New-York Herald» (рождественский номер, 16 декабря 1906 г.) новый рассказ «Агарик и Корнемюз, пингвинская история», где в рамке сюжета о пингвинах повторяются мотивы «Современной истории» — показывается реакционная роль церкви в политической борьбе Третьей республики.

Если иметь в виду, что почти в эти же годы Л. Франс работал над историей Жанны д'Арк, над такими антицерковными новеллами, как «Похвальба Оливье», «Чудо святого Николая», «Чудо, сотворенное сорокой», то станет ясно, что и «Остров пингвинов» вырос из сатиры на католическую церковь.

Только через год появляется свидетельство более широкого замысла: 15 декабря 1907 г. в рождественском номере «New-York Herald» напечатана «История без конца», которая с некоторыми изменениями составит впоследствии заключительную часть романа.

В окончательной редакции «Остров пингвинов» вышел отдельной книгой в издательстве Кальман-Леви 14 октября 1908 г. В том же 1908 г. роман появился в русском переводе в Петербурге. Предвидя цензурные затруднения, переводчица Зинаида Венгерова проявила, как выразился в своем донесении начальству цензор, «похвальную осторожность», смягчив или выпустив многие острые места, в результате чего русский текст романа Франса существенно отличался от подлинника. Печальна была судьба второго русского перевода «Острова пингвинов», сделанного Я. Мацкевичем и И. Хвойником и вышедшего в начале 1909 г. в Москве, в книгоиздательстве «Заря». Уже 15 мая Московский комитет по делам печати доносил прокурору Московского окружного суда по поводу «Острова пингвинов»:

«Красной нитью через все произведение проходит нагло-кощунственное глумление над христианством и специально над св. таинствами крещения и причастия и над поклонением святым мощам».

Таким образом царскую цензуру встревожил прежде всего антирелигиозный характер «Острова пингвинов». Комитет по делам печати наложил на книгу арест и потребовал привлечения к судебной ответственности всех лиц, причастных к изданию. Приговором Московского окружного суда от 10 февраля 1911 г. было постановлено книгу Франса в переводе на русский язык уничтожить.

«Остров пингвинов» продолжает лучшие национальные традиции антиклерикальной и антирелигиозной сатиры; здесь царит дух Вольтера и Рабле, дух свободомыслия и ненависти ко всякому мракобесию. Почти каждая из новелл, составивших книгу, — это «философская повесть» в духе XVIII в., форма, излюбленная Франсом еще в раннем творчестве. А. В. Луначар-

ский справедливо отмечал, что в своей фантастике Франс является «прямым потомком Вольтера», причем сознательно стилизует эти свои произведения, ибо «он преследовал те же цели, что Вольтер, продолжал дело Вольтера». Не только своеобразная реалистическая фантастика «Острова пингвинов», сквозь которую всегда просвечивает живая жизнь Франции, восходит к Просвещению; Франс порой откровенно использует литературные приемы своих учителей; так, подобно тому как это было в «Персидских письмах» Монтескье или в «Простодушном» Вольтера, в книге Франса нелепости социальной действительности показываются через обостренное восприятие неискушенного наблюдателя: ученый пингвин доктор Обнюбиль отправляется в незнакомую ему страну Атлантиду; «молодой малайский махараджа Джамби» с удивлением наблюдает империю вояки Тринко. В книге Франса поражает многообразие художественных средств, от пародии и тонкой иронии до раблезианской гиперболы, злого гротеска, прямой буффонады (как в сцене «укрощения дракона» девой Орброзой). Кажется, что рядом с умной издевкой Вольтера в некоторых местах книги слышится буйный хохот Рабле.

Как антиклерикальная и антирелигиозная сатира, «Остров пингвинов» закономерно вытекает из предыдущего творчества Франса, из его постоянной борьбы против католицизма, начатой еще во времена «Коринфской свадьбы» и продолженной в «Таис» и «Аметистовом перстне». Но в окончательной редакции это произведение значительно переросло рамки первичного замысла. Антиклерикальная тема приобрела подчиненное значение, а произведение в целом превратилось в беспощадный памфлет против всей цивилизации классового общества, в особенности буржуазной цивилизации.

«Остров пингвинов» стоит в том же ряду, что «Путешествия Гулливера» Свифта, «История одного города» Салтыкова-Щедрина. Подобно Щедрину, Франс выдает «Остров пингвинов» за историческое исследование; при этом он высмеивает буржуазную историографию. Сама композиция книги пародирует официальные учебники истории Франции. Для вящей научности в ней сохранена даже общепринятая историческая периодизация: Древние времена, Средние века и Возрождение, Новое время, Новейшее время; в книге распознаются многие персонажи и события французской истории — древняя королевская

династия Меровингов (династия Драконидов), Карл Великий (Дракон Великий), Столетняя война с Англией (война королевы Крюш*а* с дельфинами), французская революция конца XVIII в., Наполеон (Тринко) и т. д. Наконец, постоянные ссылки на «документы» (часто вымышленные) и «теоретическое» введение к истории пингвинов довершают пародию.

На рубеже XIX и XX вв. Франс обратился к жанру социального романа из современной жизни, но его интерес к исторической тематике не ослабел; долгие годы работает он над «Жизнью Жанны д'Арк» (1904—1908), создает множество рассказов на исторические сюжеты, обдумывает роман о Наполеоне, о французской революции конца XVIII в. и т. д. Взгляд писателя на исторический жанр в литературе меняется. В 80—90-е гг. XIX в., в период написания «Таис» и «Прокуратора Иудеи», А. Франс вслед за релятивистом Ренаном отрицал историческую науку как таковую, считал бессмысленными всякие попытки толковать исторические факты и устанавливать закономерности в истории. Он утверждал, что поэт скорее, чем ученый, может проникнуть в историю и воскресить прошлое силой своего воображения. Единственной задачей исторического жанра в литературе он считал воссоздание психологии, страстей, деталей быта отдаленных эпох. Теперь же, в произведениях девятисотых годов, Франс стремится обобщить исторические факты, установить причины и следствия событий и даже ставит вопрос о перспективах исторического развития («На белом камне», «Остров пингвинов»). В «Острове пингвинов» Франс пародирует не историческую науку вообще, а эмпирический метод буржуазных историков, бессмысленное собирание мертвых фактов. «Разве мы стремимся извлечь из текста, из документа хотя бы крупицу жизни или правды? Мы попросту, не мудрствуя лукаво, издаем тексты. Мы во всем придерживаемся буквы», — иронически пишет он в «Предисловии».

Дружелюбная усмешка над оторванными от жизни учеными с их бесполезной эрудицией (Сильвестр Боннар, г-н Пижонно) сменяется теперь в творчестве Франса беспощадным осмеянием мертвой науки. В «Острове пингвинов» появляется гротескный образ историка Фульгенция Тапира, тонущего в море никому не нужных исторических документов, а в «Восстании ангелов» (1913) — образ полусумасшедшего маньяка библиотекаря Сарьетта, который не дает людям дотронуться до

книг и тратит долгие годы на составление каталогов, в которых никто, кроме него, не в состоянии разобраться.

Более того, Франс, автор «Острова пингвинов», ясно видит классовый характер буржуазной исторической науки и направляет острие своей сатиры именно против тех историков, которые, «списывая друг у друга», потакают обывательским вкусам и являются апологетами ненавистного писателю буржуазного общества,

«Если вы хотите, чтобы ваша книга была хорошо принята, — пишет он в «Предисловии», — не упускайте в ней ни малейшего повода прославить добродетели, составляющие основу всякого общества: почитание богатых, благочестие и особенно смирение бедняков — этот краеугольный камень общественного порядка. Заверьте читателей, что происхождение собственности, благородного сословия и жандармерии будет рассмотрено в вашем труде с подобающим уважением».

Этой иронической декларацией А. Франс заранее отвергал нападки на «Остров пингвинов», которые он справедливо предвидел (виднейшие французские критики — Мишо, Виктор Жиро — враждебно встретили книгу), а также отвечал на неодобрительные отзывы буржуазных историков о незадолго до того опубликованной «Жизни Жанны д'Арк»,

Полемика с буржуазной историографией пронизывает все связанные с историей произведения Франса тех лет и прежде всего «Остров пингвинов», в котором перед автором не столько историческая, сколько сатирическая задача. Бесполезно искать в этом произведении, как в других книгах Франса, историческую экзотику, полнокровные образы, последовательное изложение исторических событий. Центральное место здесь (даже по количеству страниц) занимает сатира на буржуазную Францию, чуть прикрытая прозрачной аллегорией; все предыдущие главы книги только подводят к этой главной теме; фантастическая история пингвинов нужна Франсу для того, чтобы осмеять идею разумности и незыблемости буржуазного общества, показать истоки собственнического строя и его историческую обреченность.

В оценке феодального прошлого Франс перекликается с гуманистами и просветителями. Перефразируя Вольтера, он пишет: «Как сказал один из великих писателей Альки, жизнь народа соткана из преступлений, бедствий и безумств»;

подобно Вольтеру и Рабле, он высмеивает теорию божественного происхождения королевской власти (первый король пингвинов, основатель династии — сын разбойника и вора Кракена), развенчивает восхваляемых историками монархов (Дракон Великий, королева Крюш*а* и др.), обличает феодальные войны, церковные чудеса. Антирелигиозные страницы «Острова пингвинов» не раз заставляют вспомнить «Орлеанскую девственницу» Вольтера. В главах «Марбод» и «Знаки на луне» А. Франс противопоставляет феодальному средневековью античность и прославляет прогрессивную культуру Возрождения. Но прошлое интересует его в свете основной задачи книги — сатиры на современность; этим объясняется фрагментарность ее композиции и беглость некоторых разделов, отмеченная самим автором. (Так лишь несколько строк посвящено революции 1789 г.)

Изображение пингвинской буржуазной республики преемственно связано с «Современной историей» и также представляет собой острый политический памфлет. Здесь те же события, сходные образы, эпизоды, порой та же авторская интонация. С гневом и сарказмом рисует Франс насквозь прогнивший государственный строй, всеобщую продажность, алчность и разложение. Прикрываясь видимостью демократии, в Пингвинии фактически хозяйничает финансовая олигархия. Автор язвительно замечает, что слово «республиканцы» стало в буржуазной республике синонимом слов «поддельщики» или «плуты». Перед читателем проходит галерея стоящих у власти авантюристов, спекулянтов, бездарностей и пройдох. Политическое лицо буржуазной демократии художественно обобщено в гротескном образе министерства Визира, о котором в специальном авторском примечании сказано, что оно «оказало значительное воздействие на судьбы страны и всего мира».

Но даже такая республика в опасности: ее хозяевам-финансистам по существу безразлично, какой политический строй в их стране, так как они уверены, «что могут беспрепятственно действовать при любом правлении»; но они в любую минуту готовы продать республику ради монархии, «лучше всего вооруженной против социалистов». Как и в «Современной истории», Франс показывает заговор против республики, в котором объединились финансисты, аристократы, церковь и военщина. Благочестивый Агарик, князь де Босено, виконтесса Олив, интригующие для восстановления на престоле последнего потомка драконидов — принца Крюшо, — достойные собратья Жозефа

Лакриса, баронессы де Бомон, стремящихся возвратить на французский престол Орлеанскую династию, свергнутую революцией 1848 г. Заговор эмирала Шатильона воспроизводит перипетии провалившейся в конце 80-х гг. попытки генерала Буланже произвести во Франции государственный переворот.

Блестящий образец сатирического мастерства Франса — эпизод «Дело о восьмидесяти тысячах копен сена», с вольтеровским остроумием высмеивающий буржуазное правосудие. Основой для этого сюжета послужил нашумевший в 90-е годы судебный процесс французского офицера Дрейфуса, ложно обвиненного в государственной измене, процесс, явившийся поводом к ожесточенной борьбе реакционных и прогрессивных сил страны. В свое время А. Франс, так же как Эмиль Золя, принял активное участие в этой борьбе на стороне демократии и затем, по свежим следам событий, рассказал о них в «Современной истории». В «Острове пингвинов», вновь возвращаясь к этому эпизоду из политической жизни Франции, Франс ставит перед собой задачу на единичном примере показать гнилость всей нравственно-политической системы буржуазного общества.

Но если А. Франс с огромной художественной убедительностью разоблачил реакционную клику Гретоков, Пантеров и их соратников, то прогрессивный лагерь, противостоявший реакции, в книге показан мало. В действии даны только одиночки-гуманисты: писатель Коломбан, астроном Бидо-Кокий, а также садовод Шоспье. В «Острове пингвинов» излюбленные герои Франса выходят из своего уединения, чтобы броситься в гущу общественной борьбы; однако их деятельность носит печать донкихотства, ибо сам автор в этот период уже разочаровался в борьбе в одиночку. С горечью отмечает А. Франс слабость и разрозненность социалистического движения во Франции (об этом он писал и в романе «На белом камне» и, еще раньше, в «Современной истории»), отсутствие единства в рядах социалистов в минуту, когда над республикой нависла угроза. Наконец, с большой проницательностью он бичует предательство и оппортунизм лидеров II Интернационала в сатирических образах «товарищей» Лариве и Лаперсона. Что же касается народных масс, то они проходят лишь на заднем плане романа, как некая страдающая и пассивная толпа, хотя симпатии автора явно на их стороне. Франс лишь мельком упоминает о том, что единственная надежная опора буржуазно-демократической республики — это рабочие, хотя они «и не получили от

нее облегчения своей участи», что именно рабочие, «выступая на ее защиту в дни опасности, валили толпами из каменоломен и эргастул» и были «готовы умереть за нее».

«Остров пингвинов» создавался в годы усилившейся во всем мире реакции после поражения русской революции 1905 г., которую Франс горячо приветствовал и справедливо оценил как всемирно-историческое явление. Писатель наблюдал мировой промышленный кризис 1907 г., жестокую расправу с бастующими рабочими, с крестьянскими восстаниями во Франции, увеличение налогового гнета во всех странах, повсеместное ренегатство и оппортунизм социал-демократических лидеров, гонку вооружений и подготовку великими державами грабительской войны. Тяжелое впечатление от этих событий не могло не отразиться на книге и усилило мрачный колорит ее последних частей.

Самым страшным порождением капитализма в глазах Франса были войны. И в публицистике и в художественном творчестве он многократно указывал на это и решительно выступал против войны. Обличение агрессивных войн — одна из главных сквозных тем «Острова пингвинов». Не случайно раздел «Новое время» начинается с двух рядом стоящих эпизодов «Тринко» и «Путешествие доктора Обнюбиля», в которых показано, что история буржуазного общества начинается и кончается войной. В главе о Тринко, в котором нетрудно узнать Наполеона I, Франс продолжает разоблачение наполеоновской легенды, начатое еще в произведениях 80—90-х гг. («Мюирон», «Бонапарт в Сан-Миньято», «Красная лилия»). Но если прежде устами одного из своих героев он называл Наполеона «гением посредственности», «революцией в ботфортах», то теперь Наполеон для Франса «убийца республики», олицетворение милитаризма и политической реакции, «новый дракон» пингвинов, который «в течение четырнадцати лет, подобно аисту, призванному на царство лягушками, пожирал их своим ненасытным клювом», опустошил страну войнами и превратил своих подданных в калек.

Империя Тринко — прошлое Франции; в Атлантиде (Соединенных Штатах Америки), где законодатели, «положив ноги на пюпитры», в пять минут решают вопрос об истребительных «промышленных войнах» против малых народов, которых они хотят заставить покупать их колбасы и подтяжки, писатель с тревогой видит будущее своей страны. Американский эпизод

включен был в книгу только в последней редакции, как бы для того, чтобы показать, что Пингвиния не исключение, а лишь частица мировой системы капитализма.

По силе обличения, по тону, по зловещему колориту франсовская сатира на американскую демократию приближается к «Американским памфлетам» М. Горького. Как и Горький, А. Франс видит в «величайшей из демократических республик» наиболее уродливую форму буржуазной цивилизации; Гигантополис — тот же Город Желтого Дьявола. Знаменательно, что оба произведения созданы почти одновременно. «Американские памфлеты» Горького были опубликованы на английском языке в американской прессе в 1906 г. и должны были произвести сильное впечатление на Франса, который внимательно следил за деятельностью Горького, состоял с ним в переписке в связи с событиями русской революции 1905 г. и публично горячо протестовал против ареста Горького царским правительством. Сходство картины Америки в произведениях обоих писателей лишний раз подтверждает принадлежность А. Франса к прогрессивному лагерю в литературе.

Однако в «Острове пингвинов» нашли отражение глубокие противоречия мировоззрения Франса. Заключительная часть книги, «История без конца», рисует безотрадную перспективу вырождения человеческого общества, достигшего своего апогея. Тот же самый А. Франс, который с такой пылкостью приветствовал революцию 1905 г., в год выхода «Острова пингвинов» писал в своих статьях об «исторической неизбежности» социалистического строя и называл себя убежденным социалистом, не нашел в своем романе места для изображения борющегося и побеждающего народа. В будущем он видит не массовое революционное движение пролетариата, а бессмысленную разрушительную деятельность разрозненных анархических групп. Франс всегда отрицательно относился к анархизму, и современная прогрессивная французская критика не без оснований усматривает в финале «Острова пингвинов» грозное предостережение рабочему классу Франции, картину того, что может ожидать его в будущем, если не будет преодолена слабость и разрозненность социалистического движения, которую наблюдал на своей родине писатель.

Задавая себе вопрос о дальнейшей судьбе человечестве, А. Франс не находит решительного ответа, — над ним тяготеет старый груз скептицизма: то берет верх его вера в светлое

будущее, то — горький пессимизм. В период общественного подъема, в 1904 г., писатель создает социалистическую утопию романа «На белом камне»; под тяжелым впечатлением от поражения революции 1905 г. в России и подавления вызванного ею освободительного движения в других странах, в обстановке политической реакции, в 1907 г. он пишет «Историю без конца», мрачную утопию в духе «Машины времени» Г. Уэллса (1895) или «Межзвездного скитальца» Д. Лондона (1915).

Следует отметить, что в варианте 1907 г. «История без конца» завершалась картиной запустения после взрыва столицы Пингвинии и обрывалась на словах: «На склоне холма, в саду Форта св. Михаила дикие кони щипали сочную траву». О том, что будет после крушения капиталистической цивилизации, тогда вопрос не ставился.

Через год, включая этот эпизод в роман в качестве его последней главы, Франс дописал еще одну страницу, показав возрождение буржуазной цивилизации в ее прежнем виде...

Автор сам делится с читателем основаниями для такого безнадежного вывода: он заменяет эпиграф к «Истории без конца» и на место стиха из библии, говорящего о гибели погрязшего в пороках города Содома, помещает следующие горькие строки: «После того как французы освободились из-под власти королей и императоров, после того как они трижды провозглашали свою свободу, они подчинились воле финансовых компаний, которые располагают богатствами страны и при помощи купленной прессы воздействуют на общественное мнение».

Эти слова написаны криптограммой, которую читатель должен расшифровать, и это как бы подчеркивает, что они являются ключом к книге. По словам Мориса Тореза, А. Франс «сумел разглядеть, кому именно в нашей «демократической» стране принадлежит подлинная власть»; [1] но неблагоприятный поворот исторических событий, временная победа реакции в период создания романа вызвали у Франса, автора «Острова пингвинов», сомнение в возможности навсегда сокрушить ненавистное ему общество. В этом проявилась неустойчивость идейной позиции писателя в первое десятилетие XX в.

Однако для Франса ясно, что буржуазная цивилизация исчерпала себя, что у нее нет будущего, она может только топ-

---

[1] М. Торез. Сын народа, М. 1950, стр. 60.

таться все в том же кругу, что капитализм обречен историей и неизбежно погибнет под тяжестью собственных противоречий. И в этой мысли большая правда «Острова пингвинов», хотя это не вся правда истории, так же как Франс — автор этой книги — еще не весь Франс. Дальнейшая жизнь и деятельность писателя показали это с достаточной убедительностью.

Стр. 7. *Луи-Филипп I.* — Король Луи-Филипп (1830—1848), свергнутый революцией 1818 г., был последним французским королем.

...Иоанна Тальпы, монаха Бергарденского монастыря. — Тальпа по-латыни значит крот; Бергарденский — название, созвучное названию бернардинского монашеского ордена, распространенного во Франции.

Стр. 10. *«Belgica»* — норвежское судно, совершившее в 1896—1899 гг. антарктическую экспедицию, первое судно, перезимовавшее в южных льдах.

Шарко Жан-Батист (1867—1936) — сын известного врача Шарко, видный океанограф; совершил два путешествия в Антарктику (1903 и 1908).

...эти птицы получили название «pinguinos», очевидно, за свою тучность. — Это объяснение носит пародийный характер. В действительности название пингвинов происходит от слов pen gwen, что на бретонском языке означает «белая голова».

Стр. 11. *Гиперборейцы.* — Древние греки называли так жителей Севера.

Стр. 12. *Алька* — слово, созвучное научному названию группы перепончатолапых птиц, в которую входят пингвины.

Жако Философ. — В этом имени кроется насмешка автора: Жако — принятая во Франции кличка попугаев.

Дельфины. — Автор имеет в виду англичан.

Стр. 14. *Тапир* — млекопитающее с вытянутым в виде хоботка носом.

Стр. 15. *Французский Институт* — высшее научное учреждение Франции, объединение пяти академий.

Стр. 20. *Поэт Вергилий возвестил о ней в Сивиллиных песнях...* — Сивиллы — древнегреческие странствующие пророчицы. Далее приведено начало стиха из 4-й эклоги древнеримского поэта Вергилия (70—19 гг. до н. э.). Дева, о которой идет речь в стихотворении, — богиня справедливости, дева Дика; согласно мифу она покинула землю, но, по мысли поэта, вернулась к

людям с воцарением в Риме императора Августа (42—14 гг. до н. э.). Средневековые богословы истолковали это место у Вергилия как предсказание о пришествии богородицы, девы Марии.

Колон — мелкий земледелец в рабовладельческом Риме, юридически свободный, но фактически прикрепленный к земле.

Стр. 22. *«Я — твоя Ависага. Я — твоя Сунамитянка...»* — Согласно библии юная сунамитянка Ависага была подругой старости царя Давида.

Стр. 26. *Фивы* — один из семи крупнейших городов древнего Египта.

Форум — главная городская площадь в римских городах.

Левиафан — морское чудовище, упоминаемое в библии, изображался в виде огромного кита.

Стр. 27. *Маленький мальчик, начни...* — строка из 4-й эклоги Вергилия. В средние века эти слова считались пророчеством о пришествии Христа.

Стр. 31. *Св. Патрик* — по церковному преданию, проповедник, живший в середине V в. и обративший в христианство жителей Ирландии (кельтов).

Св. Галл (551—646) — христианский проповедник в Ирландии, основатель в Швейцарии Сен-Галленского аббатства.

Стр. 33. *Св. Августин* (354—430) — епископ гиппонский, один из «отцов церкви».

Апулей (II в.) — римский писатель, автор романа «Метаморфозы, или Золотой осел», где дается широкая картина быта и описание суеверий того времени. Родина Апулея, Мадавра, славилась колдунами и ворожеями.

Проб — Probus (лат.) — честный, скромный.

Стр. 34. *Гордиан* — римский император с 238 по 244 г,

Стр. 36. *...во имя отцов, сынов и святых духов...* — образец невежества средневекового духовенства, искажение латинской богослужебной формулы «Во имя отца и сына и святого духа».

Луи де Поттер (1786—1859) — бельгийский политический деятель, боровшийся за независимость Бельгии; автор ряда трудов по истории церкви.

...уступающим в изяществе языку Платона, и с латынью, отнюдь не цицероновской... — Греческий философ Платон (427—347 гг. до н. э.) и римский политический деятель, писатель и оратор Цицерон (106—43 гг. до н. э.) считались величайшими стилистами.

Но вернемся к нашим пингвинам. — Перефразировка летучего выражения из средневекового французского фарса «Адвокат Патлен» — «Но вернемся к нашим баранам».

Стр. 37. *Св. Ириней* (II в.) — епископ города Лиона; католическая церковь считала его христианским мучеником.

Тертуллиан (160—240) — христианский писатель родом из Карфагена.

Стр. 38. *Григорий Навианзин* — византийский богослов, председатель первого вселенского собора церкви в Константинополе (381 г.).

Лактанций (ум. в 325 г.) — христианский проповедник, прозванный за свое красноречие «христианским Цицероном».

Сын Моники — то есть блаженный Августин.

...достаточно сравнить Ветхий завет с Новым. — Образ сурового, карающего бога из Ветхого завета сильно отличается от человечного образа Христа из Нового завета (евангелие).

Екатерина Александрийская — одна из самых популярных католических «святых». По легенде, отличалась такой ученостью, что приводила в смущение языческих философов, побудив таким образом многих из них перейти в христианство. Приговоренная к колесованию, была спасена ангелом, который сломал колесо и разметал в стороны палачей.

Стр. 39. *...в девичьих одеждах...* — девятилетнего Ахилла переодела в женское платье его мать Фетида, чтобы уберечь от участия в Троянской войне, в которой он согласно предсказанию должен был погибнуть (греч. миф.).

Траян — римский император (98—117).

Стр. 40. *Святой Павел* (I в.) — один из легендарных основателей христианства, о котором рассказывается в евангелии.

Стр. 41. *Вторая Ева искупила грех первой.* — Вторая Ева — богородица, праматерь верующих христиан.

Павел Орозий (V в.) — христианский писатель и историк.

Боссюэ Жак-Бенинь (1627—1704) — французский епископ, один из видных идеологов абсолютизма.

Геродот, Фукидид, Полибий, Диодор Сицилийский, Диан Кассий — греческие историки; *Тит Ливий, Веллей Патеркул, Корнелий Непот, Светоний, Лампридий, Тацит* — римские историки; *Манефон* (III в. до н. э.) — египетский жрец, которому приписывается «История Египта».

Стр. 42. *Церковь торжествующая, церковь воинствующая.* — Согласно богословской фразеологии церковь воинствующая

означает: верующие в их земной жизни; церковь торжествующая — верующие, которые вкушают райское блаженство после смерти.

Стр. 51. *Бэда Достопочтенный* (начало VIII в.) — англосаксонский монах, один из виднейших историков раннего средневековья.

Стр. 54. *Греток, герцог Скаллский.* — Греток (Great auk, англ.) — великий пингвин; скалл (Skull, англ.) — череп.

Стр. 57. *Литтре* Эмиль (1801—1881) — французский философ-позитивист и филолог, составитель французского толкового словаря.

Стр. 58. *Джакомо Казанова* (1725—1798) — итальянский авантюрист, автор скандальных мемуаров.

Стр. 60. *Цвет у него драконий.* — Весь диалог о драконе повторяет аналогичное место из рассказа «Пютуа», где А. Франс показывает процесс возникновения мифа.

Стр. 61. *...месяц, посвященный... богу Марсу...* — то есть март.

...месяца, название которого... означает «открытие»... — то есть апреля (от лат. aperire — открывать).

Стр. 64. *Колхида* — древнее название Кавказа. Далее при-одятся сюжеты нескольких греческих мифов. *Ясон* — предводитель аргонавтов (пловцов на корабле «Арго»), отправившихся в Колхиду за золотым руном, которое сторожил дракон. *Геспериды* — дочери великана Атланта — ухаживали за садом с золотыми яблоками, который охранялся страшным драконом Ладоном. *Кастальский ключ* — источник у подножья горы Парнаса, посвященный музам и считавшийся способным пробуждать поэтическое вдохновение. *Андромеда* — прекрасная дочь царя Эфиопии, которая была принесена в жертву дракону, но спасена героем Персеем. А. Франс иронически указывает на совпадение языческих и христианских мифов.

Стр. 66. *Гнатон* — персонаж римской комедии — «паразит» (блюдолиз в богатом доме).

Стр. 68. *Василиск* — мифическое чудовище, взглядом убивающее все живое. В средние века его изображали с петушиной головой, туловищем жабы и хвостом дракона.

Стр. 75. *Плиний* Старший (24—79 гг. н. э.) — римский писатель и ученый.

Стр. 78. *...стала небесной покровительницей Пингвинии.* — История святой Орброзы — пародия на церковную легенду о

святой Женевьеве, покровительнице Парижа, которая будто бы спасла город от нашествия вождя гуннов — Атиллы.

Стр. 81. *Лукреция* — по античному преданию, римлянка, имя которой стало олицетворением добродетели; будучи обесчещена сыном царя Тарквиния Гордого (VI в.. до н. э.), она заставила своего мужа и отца принести клятву мести и закололась у них на глазах; этот случай согласно легенде послужил причиной народного восстания и падения царской власти в древнем Риме.

Стр. 85. *Королева Крюша.* — По-французски cruche значит — кружка, кувшин, в переносном смысле — дура.

Стр. 86. *Семирамида, Пентесилея, Саломея* — легендарные красавицы. Семирамида — ассиро-вавилонская царица; Пентесилея, по греческим сказаниям, царица амазонок — племени женщин-воительниц, будто бы живших на побережье Черного моря; Саломея — по библейской легенде, иудейская царевна, пленившая своей красотой царя Ирода и добившаяся от него смерти Иоанна Крестителя.

Стр. 87. *«Деяния пингвинов»* — название, пародирующее «Деяния апостолов».

Стр. 89. *Амикус* (Amicus) — по-латыни «друг», *Инимикус* (Inimicus) — «враг».

Стр. 92. *...последних Валуа и Генриха IV.* — Валуа — династия французских королей, правивших с 1328 по 1589 г.; Генрих IV (1589—1610) — первый французский король династии Бурбонов.

Братья Ван-Эйк, Мемлинг, Рогир Ван-дер-Вейден, Амброджо Лоренцетти, старые умбрийцы. — Братья Ван-Эйк — знаменитые нидерландские живописцы XVII в.; Мемлинг и Рогир Ван-дер-Вейден — нидерландские живописцы XV в.; Амброджо Лоренцетти — итальянский живописец XV в.; умбрийцы — итальянская школа живописи второй половины XV в.

Брюгге, Кельн, Сиена, Перуджа, Ареццо — города, в которых находится много старинных памятников искусства.

Маргаритоне — итальянский живописец XIII в.

Стр. 93. *Аббат Ланци* (1732—1810) — итальянский археолог и историк искусства.

...маленьких Самуилов и святых Иоаннов... — намек на персонажей с картин итальянских художников на темы из Священного писания.

Прерафаэлизм — эстетское направление в английской живописи, возникшее в середине XIX в. Прерафаэлиты считали вершиной искусства творчество предшественников Рафаэля и стремились возродить мистицизм и наивность средневековых художников. Главные представители прерафаэлизма — Данте-Габриель Россети, Медокс Браун, Берн-Джонс.

Стр. 94. *Вазари* Джорджо (1512—1574) — итальянский живописец, архитектор и историк искусства.

Стр. 96. *Болонская школа* — академическое направление в итальянской живописи, возникшее в Болонье во второй половине XVI в.

Стр. 97. *«Плавание святого Брендана»* (XII в.) — англо-нормандская поэма; *«Видение Альберика»* (XIII в.) — латинская поэма; *«Чистилище св. Патрика»* (XII в.) — ирландская поэма о загробном мире.

Град Елены и Великого Константина — город Византия, впоследствии переименованный в Константинополь. В 1453 г. Константинополь был захвачен турками.

...Дидона Финикиянка влачит дни свои под миртами преисподней... — Дидона — карфагенская царица, возлюбленная Энея; когда Эней, по велению богов, покинул ее, чтобы плыть к берегам Италии, Дидона, взойдя на погребальный костер, закололась мечом («Энеида» Вергилия).

...поэзия Мантуанца... — Вергилий был родом из Мантуи; похоронен в Неаполе.

Стр. 98. *Сын Анхиза* — Эней.

Дочь царя Приама — Кассандра (греч. миф.), одна из пятидесяти дочерей и сыновей троянского царя Приама, обладавшая даром зловещих пророчеств.

Стр. 99. *Марон* — Вергилий (полное имя Публий Вергилий Марон).

Стр. 100. *Борей* (греч. миф.) — бог северного ветра.

...Сивилла, охранительница священной Авернской рощи... — Авернская роща находилась близ Неаполя, вокруг озера с серными испарениями; это послужило основанием для веры в то, что там находится вход в Аид.

...золотую ветвь, любезную прекрасной Прозерпине. — По античному мифу, Прозерпина, дочь богини плодородия Цереры, была похищена богом подземного царства Плутоном, заманившим ее в лес зрелищем прекрасной ветки граната.

Стикс (греч. миф.) — река в подземном царстве, через которую перевозчик Харон перевозит в ладье души умерших.

Стр. 101. *...судит смертных Минос.* — Минос — персонаж греческих мифов, царь Крита, сделанный за свою справедливость судьей в загробном мире. В «Божественной Комедии» Данте Минос сидит у врат ада с весами в руках и определяет вину и меру наказания каждого грешника.

...влачатся жертвы любви... — далее перечисляются персонажи античных мифов: Федра — молодая жена царя Тезея, погибшая из-за преступной любви к своему пасынку Ипполиту; Прокрида — верная жена героя Кефала, убитая по ошибке собственным мужем; Эрифила — дочь царя Тезея и Елены, пленница Ахилла, влюбленная в него. В трагедии Расина «Ифигения в Авлиде» Эрифила пытается погубить свою соперницу Ифигению, но должна быть принесена в жертву богам вместо нее и кончает самоубийством; Эвадна — жена одного из участников похода против Фив, бросилась в погребальный костер своего мужа; Пасифая — дочь бога солнца Гелия, воспылала страстью к быку; Лаодамия — жена героя Троянской войны Протесилая, которая так любила своего мужа, что оживила заклинаниями его статую, а когда он умер, умерла вместе с ним; Кения — одна из нимф.

Елисейские поля, обитель Дия. — Елисейские поля (описаны Вергилием в «Энеиде») — обитель блаженства умерших героев; Дий — то же, что Плутон.

Солон, Демокрит, Пифагор. — Солон (VII—VI вв. до н. э.) — афинский политический деятель, реформатор; Демокрит (V в. до н. э.) — древнегреческий философ-материалист, основоположник атомистической теории; Пифагор (VI в. до н. э.) — философ и математик.

Гесиод, Орфей, Еврипид, Сафо. — Гесиод (VIII—VII вв. до н. э.) — первый известный нам древнегреческий поэт, автор дидактической поэмы «Труды и дни»; Орфей — легендарный поэт древней Греции, по преданию сдвигавший камни силой своих песен; Еврипид (V в. до н. э.) — один из трех великих греческих поэтов-трагиков; Сафо (VII в. до н. э.) — греческая поэтесса.

Гораций, Варий, Галл. — Гораций (65—8 гг. до н. э.) — выдающийся римский поэт; Варий (I в. до н. э.) — римский поэт,

автор трагедий и поэм; Галл (I в. до н. э.) — римский поэт, воспевавший в своих элегиях куртизанку Ликориду (Ликорис).

Авзонийские музы. — Авзония — древнее, сохранившееся в поэзии название Италии.

Стр. 102. *Партенопея* — древнее название Неаполя.

Стр. 103. *Макр* (ум. в 16 г. до н. э.) — римский поэт, друг Вергилия и Овидия.

Стр. 104. *Сирон* — древнегреческий философ-эпикуреец, содержавший в Неаполе школу, где учился Вергилий.

Зенон из Китиона (III в. до н. э.) — древнегреческий философ, основатель школы стоиков.

...что «Сора» принадлежит Вергилию. — «Сора» (по-латыни «Трактирщица») — поэма, приписываемая Вергилию.

Стр. 105. *Александрийцы.* — Греческие ученые эпохи эллинизма (IV—III вв. до н. э.), когда центр культуры переместился в Александрию, изучали и систематизировали греческую науку и искусство классического периода.

Стр. 105. *Нерей* (греч. миф.) — бог моря.

Аристарх Самосский (III в. до н. э.) — древнегреческий астроном.

Сын Реи, мать Энеад, Пан, Силен. — Сын Реи — Зевс; Рея — дочь Урана и Геи (Неба и Земли). Матерью Энея считалась богиня Венера; Энеады — потомки Энея. Пан — бог гор и рощ, воплощение сил природы. Силен — постоянный спутник Диониса, бога вина и земледелия.

Эгле — одна из нимф.

...преемнику Юпитера — здесь — христианскому богу.

Коммодиан (III в.), *Пруденций* (IV в.), *Фортунат* (V в.) — латинские христианские поэты.

Стр. 106. *Он был высокою роста...* — Внешность Данте описана Франсом в соответствии с портретом великого итальянского поэта на картине Микеланджело «Страшный суд».

Божественный Юлий — Юлий Цезарь.

Фезулы (ныне Фьезоле) — городок близ Флоренции — родины Данте.

Сулла (138—78 гг. до н. э.) — римский полководец и государственный деятель.

...воздыхающей о приходе нового Августа. — Воцарение Августа положило конец периоду гражданских войн в Риме.

Он не знал ни поэзии, ни науки греков, ни даже их языка... — Греческий язык стал известен в Италии только в

XV в., когда турки захватили Константинополь (1453) и многие греки бежали в итальянские города.

...одно из их должностных лиц... — Данте до своего изгнания был членом Совета приоров — высшего правительственного органа купеческой республики Флоренции.

Стр. 107. *Порсена* (VI в. до н. э.) — этрусский царь, воевавший с римлянами после свержения ими царя Тарквиния Гордого, союзником которого он был.

...стихи... на новом наречии, которое он называет народным языком... — Данте был основоположником общеитальянского литературного языка, в основе которого лежит тосканское наречие. О преимуществах итальянского языка перед латынью, непонятной в его время простому народу, Данте писал в трактате «О народном языке».

Бавий и Мевий — римские поэты, жившие в I в. до н. э. Их имена стали синонимами самодовольной бездарности в литературе.

Асфодели — цветы, растущие, по описанию Вергилия, на Елисейских полях.

Стр. 108. *...ко вратам из рога.* — По античному мифу, через врата из рога вылетали из Аида пророческие сны. Франс использовал этот образ в своем романе «На белом камне» (1904).

Жиль Луазелье — французское имя, которое в латинизированной форме звучит как Эгидий Авкупис. Второе слово на обоих языках значит — «птицевод», но латинское слово означает, кроме того, еще «болтун», «пустослов».

Кьюзи и Корнето — местности в Северной Италии, где сохранились в изобилии памятники древней этрусской культуры.

Орканья — флорентинский художник и архитектор XIV в.

Стр. 109. *Эринское море* — Ирландское море.

Стр. 110. *Эразм* Роттердамский (1460—1536) — выдающийся нидерландский гуманист, автор сатиры «Похвала глупости».

Стр. 111. *Симплициссимус,* так же как Овидий Капито, — смысловые имена; Симплициссимус по-латыни значит «величайший простак», Капито — «большеголовый».

Делос — один из Цикладских островов; по греческому мифу, плавучий остров, на котором родились Аполлон и Артемида.

Стр. 112. *...знаменитый отрывок из «Опыта о нравственности».* — В нижеследующих строках Франс в сатирических

целях перефразирует высказывания французских просветителей.

Стр. 113. *Пий X* — папа римский (1903—1914), крайний реакционер, преследовавший демократические течения в христианстве.

...король предан смертной казни... — Далее Франс намекает на события французской буржуазной революции конца XVIII в.

Месяц цветов — то есть флореаль, один из весенних месяцев по календарю французской революции.

Стр. 115. *...подобно Агриппине, вынашивала в своем чреве своего собственного убийцу.* — Агриппина (I в.) — мать императора Нерона, убитая по его приказанию.

Анахарсис (VII—VI вв. до н. э.) — скиф из царского рода; движимый жаждой знаний, совершил путешествие в Грецию и был впоследствии причислен греками к величайшим мудрецам древности. «Путешествие юного Анахарсиса в Грецию» (1779) — произведение французского писателя и историка Бартелеми.

Стр. 118. *Обнюбиль* — имя, произведенное от латинского слова obnubilis — окутанный облаками, то есть мрачный.

«Общественное дело». — Слово «Республика» (Res publica) по-латыни буквально значит «общественное дело».

Стр. 119. *Новая Атлантида* — подразумеваются США.

Титанпорт — Нью-Йорк.

Планета Старца — то есть планета Сатурн; бог Сатурн изображался в виде согбенного старца с длинной бородой.

Гигантополис — Вашингтон.

Стр. 123. *Агарик и Корнемюз* — по-французски эти имена означают Гриб и Волынка.

Стр. 124. *Эргастулы* — в древнеримском государстве — обширные подземелья, где содержались закованные в цепи провинившиеся рабы, выполнявшие там тяжелые работы.

Формоз. — В этом образе содержится намек на деятельность французского реакционера Сади Карно (1817—1894), который был президентом в 1887 г.

Конгрегация — объединение католических монастырей, принадлежавших к одному и тому же монашескому ордену.

Стр. 130. *Читтерлингс* (англ. chitterlings) — значит «требуха».

Стр. 132. *Септе* (франц. sept plaies) — значит «семь ран».

Стр. 133. *Де Плюм* — от франц. plume, что значит — «перо».

Тортиколь (франц. torticolis — искривление шеи) — «Кривошеий».

Стр. 138. *Полковник Маршан* — Маршан Жан-Батист (1863—1934) — французский офицер, впоследствии генерал, командовал колониальными войсками, подавлял восстание боксеров в Китае (1904); участник первой мировой войны.

...битвой при Ялу... — Ялу (Ялуцзян) — пограничная река между Маньчжурией и Кореей, где во время русско-японской войны 1 мая 1904 г. произошло первое сражение между русской и японской армиями, окончившееся победой японцев.

Шатийон. — Под этим именем выведен генерал Жорж Буланже (1837—1891). Беспринципный авантюрист, связанный с монархическими кругами, Буланже в конце 80-х гг. XIX в. с помощью туманных демагогических лозунгов добился некоторого влияния среди неустойчивых кругов мелкой буржуазии и стал подготавливать реакционный государственный переворот. Вскоре, однако, Буланже был разоблачен, в 1889 г. бежал в Бельгию и в 1891 г. застрелился на могиле своей возлюбленной г-жи Бонмэн.

Стр. 140. *Коннетабль* — высшее военное звание в феодальной Франции.

Стр. 141. *Рем* — один из легендарных основателей Рима. «Потомки Рема» — итальянцы.

Стр. 143. *Он любил ее безумно.* — Роман Шатильона и виконтессы Олив намекает на роман генерала Буланже и г-жи де Бонмэн.

Стр. 148. *«Мельница деньжат»* (Moulin de la Galette) — название кафешантана. На парижском уличном жаргоне galette значит деньги.

Стр. 152. *Барботан.* — Под этим именем выведен министр внутренних дел Констан, спровоцировавший побег Буланже.

Стр. 154. *«Теперь время пить»* — слова из оды Горация, посвященной победе Августа над флотом Антония и Клеопатры.

Стр. 158. *Пиро.* — Под этим именем подразумевается Дрейфус. 14 сентября 1894 г. военный министр Мерсье (в сатире Франса — Греток) выдвинул против офицера Генерального штаба Альфреда Дрейфуса заведомо ложное обвинение в продаже Германии секретных военных документов. Несмотря на полное отсутствие улик, военный суд приговорил Дрейфуса к пожизненной каторге. Этот процесс был использован реакцион-

ными кругами для борьбы против республиканского режима и демократических свобод.

Стр. 164. *В эту клетку, пустовавшую уже триста лет, заключили Пиро...* — После суда Дрейфус был сослан на Чертов остров, во французскую колонию Кайену, где содержался в крайне тяжелых условиях в каторжной тюрьме.

Стр. 165. *Граф де Мобек де ла Дандюленкс.* — Дандюленкс (Dent du lynx) по-французски значит «рысий зуб». Под этим именем изображен светский авантюрист офицер французского генерального штаба граф Эстергази, истинный виновник преступления, ложно приписанного Дрейфусу. Франс изобразил его в «Современной истории» под именем Рауля Марсьена (Рарà).

Стр. 167. *Робен Медоточивый* — премьер-министр Мелин (1896—1893), который в деле Дрейфуса поддерживал реакционеров. Этот персонаж действовал уже в «Современной истории».

Стр. 168. *Коломбан.* — Под этим именем выведен Эмиль Золя.

Стр. 169. *Грубые животные!* — Намек на действительный факт: Золя, после вынесения ему обвинительного приговора, в ответ на выкрики реакционеров воскликнул: «Каннибалы!»

Стр. 172. *Пиротисты.* — Под именем «пиротистов» подразумеваются дрейфусары — сторонники пересмотра дела Дрейфуса; под именем «антипиротистов» или «патриотов» — антидрейфусары, противники пересмотра «Дела», которых поддерживала реакция.

Стр. 180. *Бидо-Кокий.* — Этот персонаж частично является носителем авторского отношения к делу Дрейфуса, что дало основание некоторым исследователям отождествлять его с А. Франсом.

Стр. 182. *Товарищ Феникс.* — Под этим именем выведен руководитель правого реформистского крыла французских социалистов Жан Жорес (1859—1914). Группа Жореса не поняла сущности дела Дрейфуса и защищала обвиняемого как личность с позиций буржуазного гуманизма, отказываясь использовать борьбу для решения самостоятельных задач рабочего класса.

Стр. 183. *Сапор* (лат. sapor — вкус, остроумие). — Под этим именем выведен Жюль Гэд (1845—1922) — один из основателей французской рабочей партии, впоследствии один из лидеров II Интернационала. В деле Дрейфуса Гэд и его сторонники

держались порочной политики нейтралитета, полагая, что это борьба двух буржуазных группировок, которая не может интересовать рабочих.

Стр. 184. *Лаперсон.* — В образе Лаперсона Франс заклеймил французского «социалиста» Мильерана (1859—1943), который в 1899 г. впервые в истории рабочего движения вошел в реакционное буржуазное правительство (кабинет Вальдека-Руссо) в качестве министра торговли. «Казус Мильерана» был практическим выражением ревизионизма.

Лариве (от франц. l'arrivé — сделавший карьеру). — Прототип этого образа французский «социалист» Аристид Бриан (1862—1932), который в 90-х гг. примыкал к Жоресу и щеголял «левыми» фразами, в 1902 г. вошел в парламент и затем быстро превратился в реакционного буржуазного политика, открыто враждебного рабочему классу.

Стр. 186. *Процесс Коломбана.* — Военно-клерикальная клика добилась предания суду Эмиля Золя «за оскорбление армии».

Стр. 188. *Полковник Астен.* — Прототип этого образа — начальник информационного бюро французского генерального штаба полковник Пикар, который в 1896 г. выступил с разоблачением судебных махинаций в деле Дрейфуса и с обвинением Эстергази.

Стр. 189. *Вермийяр* (от франц. vermiller — рыться в земле). — В эпизоде с экспертизой записной книжки Пиро содержится сатира на аналогичный эпизод дела Дрейфуса — тенденциозную экспертизу клочков письма, подобранного на полу в германском посольстве в Париже и приписанного Дрейфусу.

Стр. 190. *Отец Дуйяр* — фамилия, образованная от франц. douillet — душегрейка.

Леена (VI в. до н. э.) — афинская куртизанка, которая знала о заговоре против тирании и, несмотря на пытки, которым ее подвергли, не выдала заговорщиков; за это ей была впоследствии поставлена статуя.

Эпихарида (I в.) — греческая вольноотпущенница, участница заговора против римского императора Нерона; была схвачена и покончила с собой, чтобы не выдать соучастников.

Стр. 194. *...как Саул истребил филистимлян...* — По библейскому преданию, первый иудейский царь Саул (XI в. до н. э.), воевавший с филистимлянами, истребил их по велению бога.

Стр. 195. *Эдилы* — в древнем Риме чиновники, ведавшие благоустройством города.

Стр. 197. *Шоспье* (франц. Chaussepied) — «Обуй ногу».

Ла Тринитэ (франц. la Trinité) — троица.

Стр. 198. *Ван Жюлеп* — имя, образованное от франц. julep — прохладительное питье.

Пениш (франц. péniche) — лодка.

Стр. 200. *Эльбивор* — фамилия, созвучная с франц. herbivore — жвачное животное.

Стр. 201. *В этом втором процессе...* — В 1899 г. под давлением общественности было пересмотрено дело Дрейфуса. Однако вторичный процесс снова окончился его осуждением, Впоследствии Дрейфус был помилован.

Стр. 206. *Граф Робер де Монтескью* (1885—1921) — второстепенный французский поэт.

Стр. 215. *Тэн* — Ипполит Тэн (1828—1893) — французский философ-позитивист, автор реакционной «Истории французской революции».

Климент Александрийский (III в.) — видный богослов.

Стр. 216. *Колесница Джаганнатхи.* — Джаганнатхи (Джагернаут) — одно из имен индийского бога Вишну. Во время празднества «шествия колесницы» религиозные фанатики бросались под колеса священной колесницы Джаганнатхи.

Стр. 217. *Леон Блюм* (ум. в 1950 г.) — лидер французских правых социалистов, предатель рабочего движения, впоследствии — ярый реакционер.

Стр. 221. *Мария Лещинская, Мария Жозефа.* — Мария Лещинская, французская королева, жена Людовика XV; Мария Жозефа — ее дочь.

Брюнхильда, Сигурд. — Брюнхильда — в древнегерманских и скандинавских сказаниях, прекрасная валькирия (воинственная дева), дочь верховного бога Одина (Вотана); за неподчинение отцу она обречена была спать волшебным сном на горе, окруженной огненным кольцом, пока ее не разбудит тот, кто решится проникнуть сквозь огонь. Это совершил рыцарь Сигурд (в германских сказаниях — Зигфрид).

Стр. 224. *Министерство Визира.* — После вторичного процесса над Дрейфусом реакционная «Лига патриотов» пыталась в феврале 1899 г. произвести государственный переворот. Провал этой авантюры, повлекшей за собой массовые рабочие демонстрации, побудил вчерашних противников — дрейфусаров и антидрейфусаров — объединиться против рабочего класса. Внешним выражением этой сделки различных буря:уазных

группировок было образование в июне 1899 г. умеренно республиканского правительства Вальдека-Руссо (выведено в романе под названием министерства Визира).

Стр. 226. *Бук* (франц. bouc) — значит козел.

Дебоннер (франц. débonnaire) — добродушный.

Мюрен (франц. murène) — угорь.

Конкордат — соглашение между главой государства и папой римским.

Стр. 228. *...военного и финансового протектората над Нигритией.* — Здесь и далее намек на захват Францией г. Томбукту в Судане и продвижение французских войск по реке Нигеру (ниже названа рекой Гиппопотамов).

Стр. 254. *...РСБГЕЙГЬКТГЙЕЖУЖМЭ.* — Этот эпиграф представляет собой криптограмму; чтобы ее расшифровать, нужно каждую букву заменить предыдущей буквой алфавита, и тогда получится следующий текст:

«После того как французы освободились из-под власти королей и императоров, после того как они трижды провозглашали свою свободу, они подчинились воле финансовых компаний, которые располагают богатствами страны и при помощи купленной прессы воздействуют на общественное мнение.

Правдивый свидетель».

В газетной публикации романа на месте этого эпиграфа стоял другой, взятый из библии: «И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли (Книга Бытия, XIX, 25)».

...концентрированной энергии... — Здесь и ниже, в разговоре анархистов относительно радия, подразумевается явление радиоактивности, открытое супругами Кюри незадолго до написания «Острова пингвинов», в 1903 г. Высказывание, приписанное английскому химику Уильяму Рамзаю (1852—1916), принадлежит самому А. Франсу.

Было так, что бедность навеки сроднилась с Элладой... — Эти строки, принадлежащие греческому историку Геродоту (V в. до н. э.), появились лишь в отдельном издании «Острова пингвинов»; в газетной публикации был другой вариант эпиграфа!

«Своим счастьем эллины были обязаны бедности».

Строки из Геродота А. Франс снова приводит в книге «Жизнь в Цвету».

Стр. 262. *...из костей гемионов* — то есть диких лошадей.

РАССКАЗЫ ЖАКА ТУРНЕБРОША

Сборник «Рассказы Жака Турнеброша» вышел в свет в декабре 1908 г. в издательстве Кальман-Леви. Большая часть вошедших в него новелл была опубликована в периодической прессе еще в 90-е гг. XIX в. и перекликалась с произведениями Франса тех лет, в особенности с книгами о Куаньяре (об этом говорит само название сборника: Жак Турнеброш, как и его учитель аббат Жером Куаньяр, — главные герои «Харчевни королевы Гусиные Лапы» и «Суждений господина Жерома Куаньяра»). С другой стороны, новеллы сборника связаны с историческими интересами Франса начала 900-х гг. и объединены исторической тематикой. Из девяти новелл, составляющих сборник, действие четырех приурочено к XV в., который в эти годы особенно интересовал писателя в связи с его работой над «Жизнью Жанны д'Арк».

В новелле «Брат Жоконд» (впервые опубликована в приложении к газете «New-York Herald» 18 декабря 1904 г.) дается развернутая картина жизни Франции времен Столетней войны. Столетняя война с Англией (1337—1453) началась при первом короле династии Валуа Филиппе VI и принесла Франции неисчислимые бедствия и страшное разорение. Непосредственным ее результатом были непрекращающиеся крестьянские восстания, крестьянская война «Жакерия» и парижское восстание Этьена Марселя в середине XIV в. Положение осложнилось тем, что при психически больном короле Карле VI (1380—1422) началась ожесточенная усобица двух феодальных клик, стремившихся захватить государственную власть, чинивших насилия и расхищавших казну, — борьба «бургундцев» и «арманьяков». Во главе одной клики стояли герцоги Бургундии, представлявшей собой в то время сильное государство, во главе другой — герцоги Орлеанские и их родственники графы Арманьяки. Воспользовавшись смутой, английский король Генрих V наголову разбил французов под Азенкуром (1415) и постепенно захватил почти всю Францию и Париж. Герцог Бургундский Филипп II Смелый вошел в открытый союз с англичанами и вскоре сделался хозяином Парижа. В мае 1420 г. больной король Карл VI, находившийся целиком под влиянием бургундской партии, заключил договор с Генрихом V английским, по которому тот делался правителем Франции, а после смерти Карла VI — французским королем в обход прав

дофина (наследного принца, будущего короля Карла VII). Однако оба короля, Карл VI и Генрих V, умерли в один год (1422), и во Франции оказалось два новых короля: на севере Генрих VI английский (малолетний сын умершего Генриха V, за которого правил регент герцог Бедфорд), а на юге Карл VII, который и не подумал отказываться от престола. Война возобновилась с новой силой, англичане осадили город Орлеан — ключ к югу Франции; и тогда началась партизанская народная война против захватчиков, выражением которой явилась деятельность Жанны д'Арк. Именно к этому периоду отнес Франс действие новеллы «Брат Жоконд», воскрешающей один эпизод из осады Парижа войсками Жанны д'Арк и Карла Валуа. С обычным для Франса знанием исторических деталей и ощущением эпохи воссоздана атмосфера Парижа XV в., атмосфера военной и политической смуты, религиозного исступления, темных суеверий. В новелле нашли отражение гуманистическая позиция автора и вместе с тем его скептический подход к истории, характерный и для других произведений того же периода; полуосознанные попытки монаха Жоконда протестовать против междоусобицы и войны, его призывы к миру остаются непонятыми. Жоконд гибнет от рук тех же самых средневековых людей, которые допустили сожжение как колдуньи народной героини Жанны д'Арк.

Новелла «Женщины из Пикардии, Пуатье, Тура, Лиона и Парижа», а также «Паштет из языков» были впервые опубликованы в газете «Écho De Paris» 6 сентября 1893 г. вместе с двумя другими произведениями Франса под общим заглавием «Благочестивые рассказы брата Оливье Майяра». Сюжет первой новеллы был кратко изложен писателем еще ранее, в статье из серии «Литературная жизнь» — «Народный проповедник Оливье Майяр» (газета «Temps», 3 апреля 1892 г.). В последующие годы, до включения в сборник, эта новелла появлялась в печати под названием «Пять красавиц». Новелла «Паштет из языков» в марте 1895 г. была опубликована в газете «Univers illustré» под названием «Любимое блюдо дьявола». Оба произведения написаны в форме назидательных притч и содержат антиклерикальную сатиру. Не случайно Франс связывает их сюжеты с именами монахов-проповедников позднего средневековья, в частности с Оливье Майяром (XV в.); проповеди последнего были использованы писателем для многих новелл «Перламутрового ларца».

Сюда же примыкают новеллы «Чудо, сотворенное сорокой» (впервые появилась в приложении к «New-York Herald» 23 марта 1902 г.) и «Новогодний подарок мадемуазель де Дусин» (впервые напечатана в «Temps» 31 декабря 1892 г.). В первой содержится издевка над церковными чудесами, вторая высмеивает ханжескую церковную мораль.

Новелла «Хорошо усвоенный урок», сюжет которой был изложен в упомянутой выше статье Франса об Оливье Майяре («Temps», 3 апреля 1892 г.), впервые появилась в «Écho de Paris» 6 сентября 1893 г., затем подверглась переработке и до включения в сборник печаталась также под названием «История о некоем священнике, кокетке и черепе». Это произведение, написанное в духе итальянских новелл эпохи Возрождения, подобно им, прославляет земные наслаждения в противовес христианскому аскетизму.

Наконец новелла «О некоем в ужас повергающем изображении» была первоначально предназначена в качестве завершающей главы для романа «Господин Бержере в Париже» (последняя часть тетралогии «Современная история»); эта глава была даже напечатана, но затем снята автором и опубликована вместе со статьей о первопечатнике Иоганне Гутенберге под названием «Рассуждение Николя Ланжелье о призраках» (1900). К новелле был приложен портрет Николя Ланжелье (в действительности — самого Франса), что позволяет связать ее с романом «На белом камне», где действует тот же франсовский герой-гуманист. Новелла, стилизованная под средневековую летопись, написанная архаичным языком, представляет собой гимн жизнеутверждающему античному искусству. Рассуждения упоминаемого в новелле Филемона, который отвергает средневековый идеал воинской доблести ради человечности и мирного наслаждения красотой, воскрешают идеологию гуманистов Возрождения. Таким образом, большая часть «Рассказов Жака Турнеброша» тематически и идейно связаны между собой, несмотря на то, что создавались в разное время.

Новелла «Роксана» (впервые напечатана в феврале 1897 г. в газете «Cosmopolis») представляет собой эпизод из куаньяровского цикла и вновь выводит на сцену мудрого аббата-бродягу и его простодушного ученика. Сентиментальная история соблазненной девушки, ставшей знаменитой актрисой,

в изложении Турнеброша получает своеобразный колорит повествования в стиле XVIII в.

Особняком стоит в сборнике новелла «Похвальба Оливье», созданная по мотивам средневекового французского народного эпоса (впервые напечатана 22 февраля 1893 г. в газете «Écho de Paris»). Сюжет ее взят из «Песней о деяниях» (Chansons de geste) X—XI вв., впоследствии использованных в рыцарских романах XIII—XIV вв. Большая часть этих поэм (к которым принадлежит знаменитая «Песнь о Роланде») рассказывала о подвигах франкских рыцарей в борьбе против арабов (мавров), вторгшихся в VIII в. из Испании в Южную Галлию; анонимные авторы поэм связывали эту борьбу с именами короля Карла Великого и его двенадцати пэров, которые стали героями целого цикла.

В основу новеллы Франс положил сюжет о «Паломничестве Карла Великого», в котором он нашел не только рассказ о чудесах богоматери, но и фольклорные мотивы похвальбы воинов, сказочных подвигов, наконец юного простодушно-лукавого героя, успешно преодолевающего все преграды, ускользающего от смертельной опасности, чтобы в конце концов прийти к полному торжеству и получить руку красавицы. Под пером А. Франса этот сюжет превратился в тонкую пародию, смысл которой в осмеянии церковных чудес.

Похвальба Оливье

Стр. 275. *Я возьму мой рог...* — В истории рыцаря Роланда играет большую роль его чудесный меч Дюрандаль и чудесный рог Олифант, звуки которого разносятся на сотни миль.

Геркулес Греческий, Магом. — Авторы французских героических поэм, складывавшихся в эпоху борьбы с арабами, не делали различия между античным язычеством и мусульманством. Так в «Песне о Роланде» мавританский эмир поклоняется одновременно «Магому и Аполлину» (то есть Аполлону).

Стр. 276. *Сарацины* — арабы.

Стр. 277. *Королевство лилий* — Франция. Стилизованный цветок лилии издавна входил в гербы французских королей.

Чудо, сотворенное сорокой

Стр. 286. *...сосуд из Каны Галилейской.* — По евангельской легенде, Иисус Христос, присутствовавший на свадебном пиршестве в Кане Галилейской, превратил налитую в сосуд воду в вино.

Стр. 287. *Иаков, Ефрем, Манассия.* — В одном эпизоде библии рассказывается, что иудейский патриарх Иаков, благословляя перед смертью своих внуков Ефрема и Манассию, предоставил право первородства Ефрему.

Стр. 288. *...хотя их уже немного пообрезали...* — В средние века купцы и ростовщики нередко обрезали или спиливали по краям золотые монеты (что уменьшало их ценность) и незаконно присваивали полученные крупицы золота.

Стр. 289. *Людовик Святой* — французский король Людовик IX (1226—1270); в 1248 г. отправился в крестовый поход в Египет и попал в плен. Откупившись, он еще четыре года оставался в Сирии, дожидаясь новой партии крестоносцев.

Брат Жоконд

Стр. 293. *...маленького короля из Буржа... сильно подозреваемого в подлом убийстве на мосту Монтеро...* — В 1403 г. во время свидания на мосту Монтеро сын герцога бургундского Филиппа Смелого, Иоанн Неустрашимый, был убит людьми дофина Карла. В 1418 г., когда войска герцога бургундского вошли в Париж, наследник попавшего в плен короля Карла VI, дофин Карл (будущий король Карл VII), бежал в город Бурж.

Стр. 294. *Максимиан, Диоклетиан* — римские императоры. Диоклетиан (284—305), не в силах один удержать за собой власть в распадавшемся римском рабовладельческом государстве, взял себе в соправители Максимиана, которому поручил управление западными областями Империи; Максимиан жестоко подавил восстание земледельцев (колонов) и рабов в Галлии, а Диоклетиан расправился с восстанием в Египте.

Брат Ришар (XV в.) — монах-проповедник ордена кордельеров, пользовавшийся огромной популярностью в Париже и Лионе в 1429 г., когда там господствовали англичане. Открыто высказывался за партию Карла VII, затем уехал в Орлеан и присоединился к Жанне д'Арк.

Стр. 301. *Маршал де Рэ* Жиль (1404—1440) — французский феодал, сражался в войсках Жанны д'Арк, затем поселился в своем замке, где согласно молве совершал чудовищные жестокости и преступления. Был за это судим и казнен.

Фашины — пучки хвороста, перевязанные скрученными прутьями; в средние века употреблялись для постройки военных укреплений, заполнения рвов или возвышения местности.

Женщины из Пикардии, Пуату, Тура, Лиона и Парижа

Стр. 306. *Оливье Майяр* (XV в.) — монах-кордельер, проповедник, речи которого были пересыпаны насмешками над церковниками и резкими выпадами против дворян и богачей. А. Франс очень интересовался Оливье Майяром, посвятил ему статью в «Литературной жизни» («Народный проповедник Оливье Майяр») и многие его проповеди положил в основу своих иронических стилизаций христианских легенд.

Макаронические проповеди — то есть проповеди, составленные из перемешанных французских и латинских слов и фраз; названы так по аналогии с макаронической поэзией, пародировавшей испорченную латынь, имевшую хождение в средние века.

Хорошо усвоенный урок

Стр. 309. *Схолии к Страбону.* — Страбон (I в. до н. э.) — крупнейший древнегреческий географ (главный труд — «География»); схолии — краткие разъяснения трудных мест, писавшиеся античными авторами на полях древних рукописей.

Лютеция — древнее название Парижа, происходит от галльского слова, означавшего «болото», «грязь» (а не «белая»).

О некоем в ужас повергающем изображении

Стр. 317. *Апеллес* (вторая половина IV в. до н. э.) — выдающийся древнегреческий живописец, придворный портретист Александра Македонского.

Стр. 318. *Корифайолы* — «потрясающие шлемом» (древ. греч.).

Стр. 319. *...Вергилий в своих «Георгиках»...* — В поэме «Георгики» Вергилий воспевал мирный труд земледельца и прослав-

лял императора Августа, положившего своим воцарением конец гражданским войнам.

Гномоны — древнейшие астрономические приборы для определения высоты солнца и направления меридиана; гномон представлял собой вертикальный шест, укрепленный на горизонтальной плоскости.

Новогодний подарок мадемуазель де Дусин

Стр. 323. *Бог Янус* (рим. миф.) — бог всякого начала, управлявший движением времени. Ему был посвящен первый месяц года, названный в его честь январем.

...посвящайте... первый день каждого месяца Юноне. — Первый день каждого месяца (календы) был посвящен богине Юноне, покровительнице женщины в браке. В день 1 марта происходил специально женский праздник. В этот день римляне, по обычаю, делали подарки своим женам.

Стр. 324. *Субботы, новолуния... сатурналии, январские календы...* — Субботы. — Иудейская суббота требовала соблюдения полного отдыха. Новолуния. — Начала месяцев и праздники древние иудеи определяли по стоянию солнца и появлению молодой луны. Сутарналии — празднества в честь древнего италийского бога Сатурна — праздновались после окончания жатвы; в эти дни принято было обмениваться подарками. Январские календы — праздник начала нового года; римляне в этот день посещали друг друга и приносили с собой подарки, символизирующие изобилие.

Тертуллиан — см. примеч. к стр. 37.

Стр. 325. *Капуцин... Святой Франциск.* — Капуцины (то есть монахи в капюшонах) — наименование миноритов, монахов одной ветви нищенствующего ордена францисканцев, основателем которого был итальянский мистик Франциск Ассизский (1182—1226), он же святой Франциск.

Роксана

Стр. 327. *Премонстрантский монах* — монах католического ордена премонстрантов, или норбертинов, носивших белую одежду и четырехугольный берет (на улице — плащ и широкополую шляпу).

...о слабостях Дианы... — Намек на античный миф о любви Дианы, богини Луны, к прекрасному юноше Эндимиону.

Стр. 328. *Лукреций.* — Тит Лукреций Кар (I в. до н. э.), римский поэт, философ-материалист, последователь Эпикура, учившего, что счастье состоит в отказе от «ложных» желаний и невозмутимом покое; автор поэмы «О природе вещей».

Башня Шатле. — Шатле — старинная крепость в Париже, служившая в XVIII в. тюрьмой.

Стр. 334. *Интендант финансов.* — В феодальной Франции интенданты — должностные лица, заведовавшие отдельными отраслями государственного управления.

Стр. 339. *Мадемуазель Лекуврер* Адриенна (1692—1730) — выдающаяся французская трагическая актриса.

Семь жен Синей Бороды и другие чудесные рассказы

Сборник «Семь жен Синей Бороды» появился 4 июня 1909 г. в издательстве Кальман-Леви. Из четырех составляющих его новелл три были напечатаны в периодике в предыдущие месяцы, так что сборник целиком относится к 1908 — началу 1909 г. и несет на себе печать творчества А. Франса этого периода. Все новеллы построены на сказочном или легендарном сюжете; но в них отсутствует мягкая доброжелательность, характерная для ранних франсовских произведений такого рода; теперь ее сменяет скепсис, злой обличительный смех, какой мы находим в «Острове пингвинов», вышедшем почти одновременно с новеллами этого сборника.

Первые две новеллы — «Семь жен Синей Бороды» (впервые опубликована в приложении к «New-York Herald» 12 апреля 1908 г.) и «История герцогини де Сиконь и г-на Буленгрена» — берут за основу широко известные волшебные сказки Шарля Перро. В этих новеллах отразился интерес А. Франса к народной сказке, внушивший ему многие страницы «Книги моего друга», несколько специальных статей и стилизованную под волшебную сказку «Пчелку». Но раньше мир сказки преломлялся у Франса сквозь призму свежего воображения ребенка, теперь же писатель подходит к сказкам как умудренный исследователь, с грустной скептической усмешкой. Мир фантазии переплетается в новеллах с прозой

реальной действительности и гаснет, линяет от соприкосновения с ней. В новеллах снимается поэзия сказки: фантастический злодей Синяя Борода оказывается простаком, одураченным своими женами, при дворе Спящей Красавицы царят мелочные интриги, разбудивший ее прекрасный принц — это только «немецкий князек с хорошенькими усиками и толстыми ляжками», и самые удивительные чудеса не в состоянии убедить трезвого эпикурейца Буленгрена в существовании фей. В социальной действительности, окружающей писателя, нет места для поэзии.

«Чудо святого Николая» (новелла опубликована в приложении к «New-York Herald» от 12 апреля 1908 г.) — злая сатира на христианскую церковь, по тону не имеющая ничего общего с ироническими пересказами христианских легенд в «Перламутровом ларце». В основе новеллы — издевка писателя над церковной моралью с ее понятиями добра и зла. Святой Николай, воскресив убитых мальчиков, которые превращаются в распутного грабителя, ростовщика и еретика, думает, что действует «во славу господа», но на самом деле приносит в мир зло, тогда как раскаявшийся убийца Гаром становится святым, не приложив к тому никаких усилий. Эту парадоксальную ситуацию Франс первоначально предполагал разработать на другом материале: разбойники, убившие старуху, покаялись и вкусили после смерти райское блаженство, а их жертва умерла без покаяния и поэтому попала в ад. Нелепость догматического понимания церковью моральных категорий добра и зла наглядно выступает в обоих случаях.

В «Чуде святого Николая» высмеивается христианская «мудрость» самого святого, благочестивые иноки в своем монастыре, похожем на «клетку с обезьянами», религиозные фанатики, уподобляющиеся голым зверям на четвереньках, феодальные войны и бесчинства. По силе обличения эта новелла непосредственно примыкает к «Острову пингвинов».

Новелла «Рубашка» (впервые опубликована в журнале «Revue de Paris» 15 февраля и 1 марта 1909 г.) представляет собой типичную философскую повесть вольтеровского типа — излюбленный жанр А. Франса. Философский тезис об отсутствии счастья на земле иллюстрируется рядом эпизодов, связанных между собой проходящими героями, как это было в «Кандиде» Вольтера, «Персидских письмах» Монтескье и т. д. Франс также рисует широкую картину социальной жизни, пол-

ной бедствий, пороков, мнимых и действительных страданий, низких страстей; подобно просветителям, он осмеивает нравы высших классов. Но в новелле отсутствует просветительский оптимизм: по мысли Франса, богатство, слава, любовь, искусство бессильны дать счастье людям; мыслящие личности мучаются вопросами философии и религии; мертвая наука доводит библиотекаря Фруадефона до слабоумия, а растительное существование Муска — злая карикатура на счастье «естественного человека» Жан-Жака Руссо. Таким образом, социальная критика перерастает в новелле «Рубашка» в философский скепсис, характерный для А. Франса в первое десятилетие двадцатого века.

Семь жен Синей Бороды

Стр. 344. *Шарль Перро* (1628—1703) — автор сборника волшебных сказок, основанных на французском фольклоре (1697).

Стр. 346. *...смут, раздиравших королевство в правление покойного короля Людовика...* — Имеется в виду правление короля Людовика XIII (1610—1643), ознаменованное феодальными междоусобицами и крестьянскими восстаниями.

Стр. 347. *Тифон* (греч. миф.) — огнедышащее чудовище огромной силы с несколькими драконьими головами.

Сражение при Мариньяно. — Во время итальянских войн короля Франциска I, в 1515 г., французы одержали блестящую победу над наемными швейцарскими войсками на территории Миланского герцогства, близ городка Мариньяно.

Стр. 359. *Сражение при Дюнах* — произошло в 1658 г., во время войн «Фронды принцев» (крупных феодалов, не желавших подчиняться абсолютизму) против французского короля. В этом сражении маршал Тюренн одержал победу над принцем Конде, возглавлявшим испанские войска.

Чудо святого Николая

Стр. 367. *Константин Великий.* — Речь идет о римском императоре Константине (306—337), который, пытаясь посредством единства религии предотвратить распад Римского государства, разрешил свободное исповедание христианства; за это он прозван был церковью «Великим».

«Золотая легенда» — так было названо в XV в. полное самой нелепой фантастики собрание «житий святых», составлен-

ное около 1260 г. епископом Генуи Иаковом Ворагинским; «Золотая легенда» многократно переводилась на французский язык, и пользовалась большой популярностью.

Стр. 381. *...учения манихеев, ариан, несториан, сабеллиан, вальденсов, альбигойцев и бегардов* — так называемые «ереси», религиозные течения, враждебные ортодоксальной католической церкви, за которыми часто скрывался протест против феодализма.

Стр. 386. *...того, кто приложил к прежнему месту ухо Малха...* — Согласно евангелию в то утро, когда рабы первосвященника пришли, чтобы схватить Иисуса Христа, один из учеников его, апостол Петр, ударил раба Малха и отсек ему ухо. Но Христос удержал гнев учеников и, коснувшись уха Малха, исцелил раба.

Стр. 392. *...называли себя эдемитами...* — Слово эдемит образовано от названия Эдем — земной рай, где согласно библейской легенде жили до грехопадения Адам и Ева.

История герцогини де Сиконь и г-на де Буленгрена

Стр. 397. *Император Гонорий* (Гонорий Флавий) — западноримский император (395—423).

Королева Титания — королева эльфов, персонаж английского фольклора, выведена в комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Королева Маб — добрая фея снов из английского фольклора, героиня философской поэмы Шелли «Королева Маб» (1813).

Стр. 398. *Вивиана, Мерлин, Мелюзина, Уржела* — персонажи средневековых рыцарских романов бретонского цикла. *Жан Аррасский* (XIV в.) — французский писатель-сказочник, автор «Романа о Мелюзине», написанного в конце XIV в., изданного в 1478 г.

Госпожа де Ментенон (Франсуаза д'Обинье, 1635—1719) — внучка поэта Агриппы д'Обинье, фаворитка, потом тайная жена короля Людовика XIV, оказывавшая большое влияние на государственные дела.

Стр. 400. *Эпименид Кносский* — по древнегреческой легенде, жрец, заснувший в зачарованной пещере, где он проспал 57 лет, а затем проснулся и прожил до 154-летнего возраста.

Фридрих Барбаросса — германский император (1152—1190) из династии Гогенштауфенов; во время 3-го крестового похода утонул в реке Салефе в Малой Азии. Согласно легенде он не умер, а спит зачарованным сном, окруженный своими воинами, в пещере горы Кифгейзер на берегу Рейна.

Стр. 402. *Салический закон* — запись законов древних франков, в которой отразилось зарождение феодальных отношений у варварских племен.

Стр. 402—403. *Вскормленный Лукрецием... пропитанный учениями Эпикура и Гассенди...* — то есть материалистическими воззрениями; Лукреций, Эпикур — см. примеч. к стр. 328; Гассенди Пьер (1592—1655) — французский философ-материалист, пропагандировал атомистические воззрения и этику Эпикура.

Стр. 404. *...увидел трех сгорбленных старух...* — Эпизод с тремя старухами представляет собой переосмысление в других художественных целях аналогичного эпизода из новеллы А. Франса «Святой сатир» (сб. «Колодезь святой Клары»).

Стр. 404—405. *Эндимион, Адонис, Нарцисс* (греч. миф.) — прекрасные юноши; Эндимион — возлюбленный богини охоты и луны Артемиды (Дианы); Адонис — возлюбленный богини любви Афродиты; Нарцисс — юноша, влюбившийся в свое собственное отражение в ручье.

Стр. 406. *«Невеста короля Гарба».* — Имеется в виду новелла Боккаччо, на сюжет которой написана одна из стихотворных сказок Лафонтена (XVII в.).

Стр. 408. *Урания* (греч. миф.) — одна из девяти муз, покровительница астрономии, руководящая ходом времен года.

Рубашка

Стр. 413. *Госпожа де ла Пуль.* — Пуль по-французски значит курица.

Стр. 415. *Носологически* — то есть в свете носологии, раздела медицины, посвященного систематизации болезней.

Протей (греч. миф.) — морской бог, старец, постоянно меняющий свое обличье.

Стр. 426. *...выражаетесь языком босяка Жан-Жака.* — Имеется в виду французский революционный писатель эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо (1712—1778), который обличал пороки высших классов, отвергал цивилизацию и утверждал,

что счастье — в возвращении человека к «естественному состоянию», к природе.

Стр. 428. *...времен Марии-Аитуанетты...* — то есть конца XVIII в.; Мария-Антуанетта — французская королева, жена Людовика XVI, была гильотинирована во время первой буржуазной революции.

Стр. 429. *...героем, исключительно неудачливым по части рубашек...* — Согласно греческому мифу герой Геркулес, проданный однажды в рабство, попал к лидийской царице Омфале и был так очарован ее красотой, что отказался от воинских подвигов, сложил у ее ног свою дубину и львиную шкуру, облекся в женские одежды и стал прясть шерсть в кругу рабынь. В другом эпизоде жена Геркулеса Деянира, желая усилить любовь своего мужа, послала ему в качестве приворотного средства одежду убитого им кентавра Несса, что послужило причиной смерти героя.

Стр. 432. *...такую же игру, какую вел Мирабо.* — Оноре-Габриель Рикетти граф де Мирабо (1749—1791) — деятель французской буржуазной революции конца XVIII в.; напуганный размахом народного движения, тайно перешел на сторону короля Людовика XVI и стал платным агентом двора.

Стр. 437. *Кибела* (греч. миф.) — богиня, олицетворявшая природу.

Стр. 438. *«Счастливцем никого до смерти не зовите».* — В трагедии «Царь Эдип» великого древнегреческого поэта Софокла (V в. до н. э.) Эдип в расцвете жизни и благополучия узнает, что является отцеубийцей и кровосмесителем.

Стр. 439. *Беллона* (рим. миф.) — богиня войны.

Маршал Саксонский — граф Мориц Саксонский (1696—1750), полководец и военный писатель. Принимал участие в войне Петра I против шведов, потом был на службе у Франции и отличился в войне за австрийское наследство.

Борисфен — древнегреческое название Днепра.

Стр. 440. *Алута* — приток Дуная.

Стр. 444. *...Праксителева резца...* — Пракситель (IV в. до н. э.) — выдающийся древнегреческий скульптор.

Г-жа де Помпадур — Жанна-Антуанетта Пуассон (1721—1704), могущественная фаворитка французского короля Людовика XV.

Стр. 445. *...клады Гильдесгейма и Боско-Реале.* — Поблизости от немецкого города Гильдесгейма и близ итальянского

города Боско-Реале у подножья Везувия было найдено много античной утвари.

Энгр Жан-Огюст-Доминик (1780—1867) — выдающийся французский живописец.

Стр. 453. *...янсенист, носящий в самом себе ту бездну, по краю которой ходил Паскаль.* — Янсенизм — течение внутри католической церкви, направленное против папства. Французский философ, физик и математик Блез Паскаль (1623—1662) был сторонником янсенизма и всю жизнь метался между наукой и религией.

Стр. 454. *Андре Шенье* (1762—1791) — французский поэт, восторженный поклонник классической древности.

Франсуа Вийон (XV в.) — крупнейший французский поэт позднего средневековья, связанный с народными низами.

Стр. 456. *Монтень* Мишель (1533—1592) — французский писатель-гуманист, автор книги «Опыты», пронизанной философией скептицизма. Последние годы жизни Монтеня были омрачены тяжелой болезнью, о которой упоминает А. Франс.

...подобно Антонию и Клеопатре, растворивших в поцелуях целое царство... — Древнеримский полководец и государственный деятель Марк Антоний (83—30 гг. до н. э.), один из трех правителей Рима (триумвиров) после убийства Цезаря, сблизился с египетской царицей Клеопатрой и приносил государственные интересы в жертву своему любовному увлечению.

Стр. 457. *...украшенных слезами Андромах, Артемид, Магдалин и Элоиз.* — Андромаха (греч. миф.) — супруга троянского героя Гектора, пережившая смерть мужа, гибель родного города и попавшая в рабство к грекам. Артемида — см. примеч. к стр. 404—405. Магдалина (христ. миф.) — раскаявшаяся блудница, обращенная в христианство Иисусом Христом. Элоиза — подруга средневекового французского философа Пьера Абеляра (XI—XII вв.), разлученного с ней.

Стр. 457. *...Адриенны Лекуврер в роли Корнелии...* — Адриенна Лекуврер — см. примеч. к стр. 339. Корнелия — жена римского полководца Помпея (I в. до н. э.); после сражения при Филиппах (42 г. до н. э.), где Помпей был разбит своим соперником Октавианом, последовала за мужем в Египет и была свидетельницей его убийства; героиня трагедии Корнеля «Помпей» (1641).

Стр. 462. *Шапочка дожа* — головной убор, какой носили

выборные правители купеческих республик Венеции и Генуи в средние века.

Стр. 470. *Клод Лоррен* (1600—1682), *Пуссен* Никола (1594—1665) — выдающиеся французские живописцы, создатели особого жанра пейзажей-картин, характерных для французского классицизма.

Стр. 473. *Героновы фонтаны* — игрушечные фонтанчики, устроенные по модели, созданной древнегреческим (александрийским) механиком и математиком Героном, жившим как предполагают, в I в. до н. э.

БОГИ ЖАЖДУТ

Исторический роман «Боги жаждут» впервые появился в журнале «Revue de Paris», где он печатался главами с 15 ноября 1911 г. до 1 января 1912 г. Отдельным изданием произведение вышло в свет 12 июня 1912 г. в издательстве Кальман-Леви. Через несколько месяцев в том же 1912 г. появился первый русский перевод романа.

Впоследствии, в 1923 г., еще при жизни автора, роман Франса был переделан Пьером Шен в пятиактную драму, которая шла в парижском театре «Одеон» под названием «Боги жаждут».

Эпоха французской буржуазной революции конца XVIII в. издавна занимала творческое воображение А. Франса как один из узловых моментов национальной истории. Еще в молодости писатель задумал роман на эту тему «Алтари страха», который не был осуществлен, но доставил материал для нескольких новелл, включенных в сборник «Перламутровый ларец» (1892). В это время Франс следовал за реакционными буржуазными историками, в частности за И. Тэном, и осветил события революции тенденциозно, в разрез с исторической правдой.

Позднее, в связи с усиленными научно-историческими занятиями, результатом которых была «Жизнь Жанны д'Арк», вновь вспыхивает интерес Франса к эпохе первой буржуазной революции, и он задумывает историческое исследование об одном из деятелей революции в духе своей работы о Жанне д'Арк. Сперва он выбрал Дантона, которого незадолго до того сделал героем своей драмы Ромен Роллан («Дантон», 1900), потом Робеспьера; однако ни один из этих замыслов не был

приведен в исполнение; А. Франс в этот период уже отвергал взгляд на деятелей революции реакционных историков, но сам еще колебался в их оценке. В 1901 г. была опубликована книга либерального историка А. Олара «Политическая история французской революции», направленная против клеветнического труда о французской революции И. Тэна и представившая события в ином свете. В последующие годы вокруг книги Тэна разгорелись страстные споры среди историков не только Франции, но и других стран, в том числе России, споры, которые не могли пройти незамеченными для А. Франса.

Тщательно изучая эпоху, использовав огромный исторический материал, Франс от вождей революции переходит к ее рядовым участникам. Его внимание привлекает фигура участника революции, художника Пьера Прюдона (1758—1823), от которого уже недалеко до героя романа «Боги жаждут», художника Эвариста Гамлена. Роман и вырос из этих исторических замыслов. Даже имя Гамлена Франс нашел во французской истории XVIII в. С другой стороны, некоторые черты этого образа наметились уже в замысле новеллы «Инквизитор», которая так и не была написана.

По свидетельству самого автора, высказанному им в газетном интервью в 1911 г., роман окончательно сформировался и систематическая работа над ним началась около 1908 г., после завершения «Жизни Жанны д'Арк». В течение последующих лет Франс внес в роман много изменений, главным образом касавшихся освещения исторических событий и политических вопросов периода революции.

В романе «Боги жаждут» прежде всего поражает мастерски воссозданный колорит эпохи. Как и в период написания своего первого большого произведения на историческую тему, «Таис», Франс считал это главной задачей историка; он воскрешает с огромным знанием исторического материала неповторимый быт революционного Парижа 1793 г., внешний и духовный облик людей того времени, их интересы, тревоги, заботы. В книге немало исторически достоверных ярких сцен и эпизодов (например, описание деятельности революционных комитетов и других низовых органов якобинской диктатуры, описание переворота 9 термидора). Частные судьбы героев переплетаются с грандиозными событиями. Роман весь как будто освещен заревом революции, в нем чувствуется дыхание героической эпохи.

Но внешней картины и общей «психологической» атмосферы эпохи писателю уже недостаточно; скептическая благожелательность к самым различным жизненным позициям — пройденный этап для автора «Современной истории» и «Острова пингвинов». Он не может не ответить на вопрос о своем отношении к событиям, изображенным в романе, и к революции вообще.

Действие романа происходит в самый драматический момент революции: с апреля 1793 г. — кануна изгнания из Конвента жирондистов (выражавших интересы крупной буржуазии) — и до контрреволюционного переворота 9 термидора (27 июля 1794 г.), то есть охватывает весь период революционно-демократической диктатуры якобинцев. Это был период наивысшего развития революции и начала ее упадка.

Французская революция конца XVIII в. по своему объективному содержанию была буржуазной, то есть шла под руководством буржуазии и привела к победе класса буржуазии, но по движущим силам она была демократической, — огромную роль в ней сыграли народные массы. В 1793 г. якобинская диктатура выражала интересы и волю народных масс. Историческая роль якобинской диктатуры огромна: действуя от лица масс, опираясь на революционное большинство народа и в союзе с ним, якобинцы спасли буржуазную революцию от интервенции монархических армий и от внутренней контрреволюции и обеспечили выполнение главной исторической задачи того времени — ликвидацию феодализма.

Осуществление этой грандиозной задачи потребовало огромных трудов, жертв и предельного напряжения всех сил народа. В обстановке непрекращающейся войны, голода, разрухи, постоянных заговоров и мятежей против республики, сложной борьбы партий якобинский Конвент вынужден был в 1793 г. стать на путь революционного террора. Наряду с этим Конвент вел громадную созидательную работу во всех областях государственного строительства. В этом проявилась революционная сторона якобинской диктатуры.

Но когда основные задачи революции в области ликвидации феодальных отношений во Франции были разрешены, стала обнаруживаться буржуазная ограниченность якобинцев. Они не способны были удовлетворить нужды трудящихся, «плебейских масс», уничтожить нищету, голод, эксплуатацию, разрешить аграрный вопрос. Руководившие Конвентом Ро-

беспьер и его сторонники не решились провести в жизнь даже свои собственные декреты о наделении бедняков имуществом за счет богачей, они обрушились с репрессиями на всех, кто так или иначе покушался на буржуазный принцип частной собственности (процессы эбертистов и «бешеных»), запретили стачки и союзы рабочих (на основе «закона Ла Шапелье», принятого еще в 1791 г.); за четыре дня до контрреволюционного переворота Парижская Коммуна, руководимая якобинцами, в полтора — два раза снизила заработную плату многим категориям рабочих, что вызвало недовольство в рабочих районах Парижа, вследствие чего они не оказали Робеспьеру и его сторонникам активной поддержки в решительную минуту (в романе это обстоятельство не отражено). Уже весной 1794 г. стало намечаться ослабление связи робеспьеристов с массами; они стали терять опору в народе — источнике их силы, а вместе с тем и способность противостоять контрреволюции. Это и привело к падению якобинской диктатуры 9 термидора.

В период создания романа «Боги жаждут» А. Франс пересмотрел свое былое отрицательное отношение к якобинцам. Теперь он видит масштаб их деятельности, их бескорыстие и нравственную высоту. В одном из газетных интервью тех лет Франс назвал Робеспьера «единственным подлинно государственным деятелем революции». В последнюю минуту он включил в роман «Боги жаждут» заново написанную главу (ныне глава XXVI), в которой ясно выразил свое новое понимание личности и роли Робеспьера. Образы Марата и Робеспьера в романе исполнены значительности. Главным героем произведения писатель сделал якобинца.

В первой редакции романа Гамлен был чеканщик по профессии и носил имя Жозефа Клемана; его образ был менее исторически конкретным и подвергся затем переработке в сторону углубления реализма. В 1924 г. в журнале «Comoedia» был опубликован первый вариант главы VI романа «Боги жаждут», где Жозеф Клеман, отдав свой хлеб голодной женщине с грудным младенцем, сейчас же садится за стол и пишет донос в трибунал на своего соседа Никол*а* Бургада (впоследствии переименованного в Бротто). В окончательной редакции Франс снял этот эпизод, который противоречил художественной правде. Глава завершалась словами: «Этот человек непостижим. Все люди непостижимы», — то есть конкретно исторические черты героя сводились к некоей вечной человеческой природе.

Эварист Гамлен в последней редакции романа — прежде всего исторически правдивый характер рядового якобинца 1793 г. Все в нем типично, начиная от его профессии художника (большинство членов Конвента принадлежало к буржуазной интеллигенции) и до его наивной добродетели, преданности идее и беспощадности к врагам революции в сочетании с чувствительным сердцем.

В первой редакции романа Никол*а* Бургад, который был тогда положительным героем, высказывал открытую враждебность революции и, как сообщал в своем доносе Жозеф Клеман, называл якобинский Конвент «национальной мясорубкой». В окончательной редакции Бротто, вызывающий более сложное отношение автора, глубже понимает события и уподобляет деятельность Конвента трагедии Шекспира.

Однако, изменив свой взгляд на якобинскую диктатуру, А. Франс дал в романе «Боги жаждут» ее неполное, одностороннее изображение.

Отвергнув реакционную историографию и опираясь теперь на труды буржуазно-либеральных и демократических историков, Франс и в этих новых источниках не нашел подлинно научного исторического анализа революции конца XVIII в. и правильной постановки вопроса о ее движущих силах. В его романе народные массы и их подлинная роль в революции не показаны; они фигурируют здесь лишь как страдающая, доверчивая, но темная толпа, которая не разбирается в существе событий и только несет на себе их тяжесть. В романе не раскрыта классовая борьба, лежавшая в основе борьбы политических партий периода революции. Поэтому писатель не мог до конца понять исторический смысл якобинской диктатуры. С одной стороны, он справедливо критиковал ее действительно слабые стороны: мечты о «справедливом» обществе, построенном на частной собственности, политику в области религии, робеспьеровский культ Верховного существа; с другой стороны, всю сложную проблематику революции он фактически свел к вопросу о революционном терроре, масштабы которого в романе сильно преувеличены. В действительности якобинский террор был направлен не против всего населения Франции, в том числе против простых людей, как это представлено в книге Франса, а в основном и главным образом против активных врагов революции; в значительной мере он явился ответом на террористические акты контрреволюционеров и их зверские жестокости в провинциях.

Однобоко оценивая революционный террор, Франс судит о нем с точки зрения абстрактной гуманности. Не случайно действие романа сосредоточено главным образом на весне 1794 г., когда границы Франции были уже в безопасности, когда обнаружились противоречия между якобинским Конвентом и большинством народа и террор стал превращаться из революционной необходимости в средство для Робеспьера и его сторонников удержать власть в своих руках.

Франс с большой силой художественного проникновения показал этот переломный момент революции. Эварист Гамлен становится активным участником событий как раз тогда, когда «на смену одушевлению первых дней пришло всеобщее равнодушие» и «в прошлое канули охваченные общим порывом огромные толпы восемьдесят девятого года... миллионы единомышленников, сплотившихся в девяностом году вокруг алтаря федератов».

Писатель показал действительный разрыв на этом этапе между вождями революции и народом, но социально-исторические причины разрыва ему не ясны; Франс видит в нем следствие того, что якобинцы исходили в своей деятельности из норм отвлеченной «добродетели» и «человечности» и приносили в жертву мертвой догме живую жизнь и счастье живых людей.

В романе «Боги жаждут» Франс далеко ушел от реакционных историков, в том числе своего бывшего учителя И. Тэна, которые изображали революционный террор якобинцев как проявление их личной кровожадности. Писатель понимает теперь историческую неизбежность революционного насилия. Но в противоположность Виктору Гюго, который в романе «Девяносто третий год» (1874) стремился морально оправдать насильственные методы буржуазной революции ее гуманистическими идеалами, в осуществление которых сам писатель беззаветно верил, А. Франс не видит реальной почвы для осуществления надежд своих героев на будущее. Это будущее представало взору писателя в облике ненавистной ему, столько раз заклейменной в его творчестве буржуазной Третьей республики. И в своем страстном отрицании буржуазного общества А. Франс отказывался видеть исторически прогрессивное значение буржуазной революции конца XVIII в.

Следует также отметить, что в недоверии А. Франса к французской революции конца XVIII в. содержалась скрытая полемика с современными ему реакционными историками,

которые идеализировали эту революцию как буржуазную, противопоставляя ее пролетарским движениям конца XIX и начала XX в., Парижской Коммуне и революции 1905 г.

Если судить по роману «Боги жаждут», все жертвы, принесенные революции, были напрасны, ибо она ничего не изменила в судьбах и в душах людей; они не стали «ни красивее, ни счастливее», ими владеют все те же пороки, страсти и мелочные интересы, их биологическая природа осталась прежней — даже к благородным побуждениям самих революционеров примешивается личный интерес (осуждение Гамленом молодого аристократа — мнимого соблазнителя Элоди); учреждения и понятия, порожденные революцией, целиком выросли из учреждений и понятий старого режима, и даже крайности террора подготовлены старой монархией, приучившей народ к жестокости, — мать Гамлена в девичестве простодушно развлекалась зрелищем публичных казней, а теперь гильотина заменила виселицу и колесо.

А. Франс чутко уловил реальное историческое противоречие французской революции конца XVIII в., которая под лозунгами борьбы за царство разума и справедливости расчищала дорогу эксплуататорскому буржуазному строю; но, не умея дать этому научно-материалистическое объяснение, писатель истолковал конкретное явление истории как общую трагедию революционной борьбы, как нравственно-философскую проблему права человека вмешиваться в историю. К моменту написания романа А. Франс был активным участником общественной борьбы своего времени и отвечал на этот вопрос утвердительно. Но в обстановке реакции, в годы подготовки к первой мировой войне, он начинал сомневаться в плодотворности такого вмешательства, в возможности для человека влиять на ход исторических событий. Это нашло отражение в романе. Противоречие между субъективными намерениями деятелей революции и ее объективными результатами в романе «Боги жаждут» выглядит как проявление роковых сил, неподвластных человеку; герои, отдавшие свои жизни борьбе за благо людей, независимо от своей воли превращаются в бессердечных палачей и фанатиков. Подобно персонажам античной трагедии, якобинцы в романе оказываются во власти рока, некиих «жаждущих богов», которые неуклонно ведут их к гибели.

Франс двойственно оценивает деятельность якобинцев: он оправдывает их непреклонность и энергию в борьбе с контрре-

волюцией тем, что они были искренне убеждены в необходимости любым путем «спасти отечество», но вместе с тем в революционном терроре он видит «трагическую вину» якобинцев, за которую они понесли неизбежное возмездие.

Эта мысль художественно воплощена в образе Эвариста Гамлена.

Трагическая судьба Гамлена отражает судьбу революции; ее поэтический символ — образ античного героя Ореста, терзаемого фуриями, образ, настойчивым рефреном проходящий через весь роман. Подобно Оресту, Гамлен — герой-мученик, мститель и убийца, палач и жертва в одном лице. Как и вожди якобинцев, названные в одном месте романа «славными преступниками», Гамлен питает «безжалостную любовь» к людям. Он все отдал родине, даже добрую память о себе в потомстве, и, зная, что обречен, все же не отступает с раз избранного пути.

И хотя нетерпимость Гамлена неприемлема для автора, который видит в ней проявление слепого фанатизма, все же этот образ окружен ореолом жертвенного величия. Ключом к образу Гамлена и ко всему роману является глава XXV, где герой накануне 9 термидора говорит встреченному на улице ребенку:

«Дитя, ты вырастешь свободным и счастливым человеком и этим будешь обязан презренному Гамлену. Я свиреп, так как хочу, чтобы ты был счастлив. Я жесток, так как хочу, чтобы ты был добр. Я беспощаден, так как хочу, чтобы завтра все французы... упали друг другу в объятия». Знаменательно, что в следующей, появившейся лишь в последней редакции романа главе XXVI та же мысль повторяется применительно к Робеспьеру. Накануне термидора, чувствуя свою обреченность, он тоже мечтает об эре всеобщего мира и братства, но сознает, что «может быть милосердным» только тогда, когда «голова последнего врага Республики падет под ножом гильотины».

Как уже отмечалось, писателю не было достаточно ясно, что в основе политической борьбы времен революции лежала классовая борьба. Подобно историкам типа Кине и Луи Блана, Франс склонен видеть здесь скорее борьбу философских доктрин. Писатель неоднократно высказывал мысль о том, что в событиях революции столкнулись две идейные линии французского Просвещения, линия Вольтера и линия Руссо. Якобинцев он считал последователями Руссо.

Идейная связь Робеспьера и его соратников с социально-политическими теориями Руссо, в частности с его «Общественным договором», является исторической истиной; но вольтерианство и руссоизм в действительности — не просто две разные линии Просвещения, а ранний и более поздний этапы в его развитии, причем каждый из них имеет свои прогрессивные стороны и свои слабости. Для Франса же Вольтер олицетворял свободную критическую мысль XVIII в., связанную в его сознании с гуманизмом Возрождения и античной эпикурейской философией; в руссоизме он видел узкую социальную догму; на страницах романа он многократно выводит фанатизм и жестокости якобинцев из руссоистской чувствительности и добродетели. Но, в отличие от буржуазно-либеральных историков, Франс нигде не пытается использовать это противопоставление для защиты и оправдания жирондистов, которых те изображали наследниками Вольтера.

Носителем идей Вольтера в романе сделан не политический деятель революции, а гуманист-эпикуреец Бротто, в прошлом друг энциклопедистов, далекий от общественной борьбы. Именно он является философским антагонистом Гамлена, показанного как убежденный соратник Робеспьера, выросший на идеях «Жан-Жака».

В связи с образами Гамлена и Бротто в романе встает старая франсовская проблема мысли и действия. При всей своей симпатии к Бротто, образ которого варьирует образы героев-гуманистов раннего Франса, писатель все же вынужден признать беспомощность и обреченность его пассивно-созерцательной позиции перед бурным натиском жизни. С другой стороны, при всем скептицизме в оценке деятельности Гамлена Франс не может не уважать его энтузиазма и самоотверженности.

Философские и политические вопросы, поднятые в романе «Боги жаждут» в связи с французской буржуазной революцией конца XVIII в., имели для А. Франса и более общее значение и волновали его в связи с современностью. Произведение полно скрытых аналогий с социальной действительностью Третьей республики. В вопросе о вмешательстве личности в жизнь общества, о перспективах революционной борьбы, о возможностях преобразования общества на основе справедливости писатель проявит еще немало сомнений и колебаний. Только исторический опыт Октябрьской социалистической революции

помог А. Франсу твердо стать на путь признания массового революционного движения как действенного средства борьбы за светлое будущее человечества.

Стр. 477. *Давид* Жак-Луи (1748—1825) — выдающийся французский художник, главный представитель революционного классицизма в живописи, активный деятель французской буржуазной революции конца XVIII в., близкий к Робеспьеру.

...член секции... — В период французской буржуазной революции конца XVIII в. Париж был разделен на секции, которые являлись первичными ячейками городского самоуправления.

Церковь варнавитов в Париже находилась на площади напротив Дворца правосудия. Варнавиты — католический монашеский орден, основанный в 1530 г. в Милане. Назван но имени св. Варнавы — по церковному преданию, одного из первых христианских священников; вскоре папа римский присвоил варнавитам наименование каноников св. Павла.

...бюстами Брута, Жан-Жака и Лепелетье. — Юний Брут (I в. до н. э.) — римский патриций, убивший Юлия Цезаря; в период французской революции конца XVIII в. почитался как образец республиканской добродетели. Жан-Жак Руссо был одним из главных философских учителей якобинцев. Лепелетье де Сен-Фаржо Луи-Мишель (1760—1793) — видный деятель революции, пламенный якобинец, последователь просветителей, считавший, что решающая роль в преобразовании общества принадлежит воспитанию и труду. Был убит роялистом накануне казни короля; это событие привело к открытому разрыву между якобинцами и жирондистами (партией крупной буржуазии).

Декларация Прав Человека, точнее Декларация Прав Человека и Гражданина — один из важнейших программных документов французской революции конца XVIII в., провозгласивший принципы буржуазной демократии; была принята Учредительным собранием 26 августа 1789 г.

Стр. 478. *Карманьола* — короткополая куртка с несколькими рядами металлических пуговиц, какую носили жители города Карманьолы в Пьемонте. В сочетании с длинными черными штанами, трехцветным жилетом и красным колпаком — одежда, широко распространенная в народе в период французской

революции конца XVIII в. Отсюда и название революционной народной песни и танца «Карманьолы».

Санкюлоты — в период французской революции конца XVIII в. широко принятое название революционных народных масс. Слово «санкюлот» буквально значит — человек, который не носит коротких штанов (одежды аристократов).

Стр. 479. *Коммуна.* — Революция уничтожила старое средневековое административное деление Франции. По декретам 1789—1790 гг. страна была разделена на департаменты, дистрикты (округа), кантоны и коммуны. Речь идет о городском совете Парижа, игравшем большую роль в системе якобинской диктатуры.

Стр. 480. *Кюстин* Адам-Филипп, маркиз (1740—1793) — французский политический и военный деятель. В 1792—1793 гг. командовал войсками французской республики и одержал ряд значительных побед; в условиях углубления революций проявил предательское бездействие и сдал войскам монархической коалиции город Майнц. Был казнен по приговору якобинского Революционного трибунала.

Стр. 482. *Дюмурье* Шарль-Франсуа (1739—1823) — французский генерал и политический деятель, честолюбивый авантюрист; был близок к жирондистам; командуя центральной армией Французской республики, вел предательские переговоры с австрийским командованием о совместном походе на Париж для восстановления монархии, но солдаты не поддержали изменника, и в апреле 1793 г. он перебежал к австрийцам.

Парламент — высший судебный орган в дореволюционной феодальной Франции. Во всей стране было двенадцать парламентов.

Стр. 486. *Реньо, Жерар.* — Реньо Жан-Батист (1754—1829) — французский художник, примыкавший к классицизму XVIII в., жил в Италии; приобрел популярность благодаря размноженной в гравюрах картине «Обучение Ахилла». Жерар Франсуа (1770—1837) — художник, в начале революции работавший в мастерской Давида; известен серией портретов исторических деятелей и коронованных лиц своего времени.

Грёз, Фрагонар, Гуэн. — Грёз Жан-Батист (1725—1805) — французский художник, близкий к просветителям; писал сентиментальные картины из буржуазного быта, прославляя семейные добродетели. Фрагонар Оноре (1732—1806) — выдающийся французский художник-пейзажист, автор картин на

бытовые и «галантные» сюжеты. В период революции был хранителем Национального музея в Париже. Гуэн Клод (1750—1817) — живописец, рисовальщик и гравер, ученик Грёза.

Прюдон, Копиа. — Прюдон Пьер-Поль (1758—1823) — французский художник, горячий сторонник революции; в 80—90-е годы сильно бедствовал, зарабатывал себе на пропитание рисунками пером, миниатюрами и портретами. Наиболее удачной его работой считался портрет жены гравера Копиа.

Эннекен, Викар, Топино-Лебрен. — Эннекен Пьер-Антуан (1763—1833) — художник, ученик Давида, пылкий революционер, примыкавший к левым якобинцам; автор полотен, запечатлевших события революции; в период правления Наполеона создал картину «Орест, преследуемый фуриями». Викар Жан-Батист-Жозеф (1762—1834) — художник, ученик Давида, вместе с ним в 1785 г. уехал в Италию и более не возвращался на родину; автор картин в духе классицизма на исторические сюжеты. Топино-Лебрен Франсуа-Жан-Батист (1769—1801) — художник, ученик Давида; активный деятель революция, присяжный Революционного трибунала; якобинцы подозревали его в близости к одному из самых левых политических течений того времени — эбертистам.

...Ореста, которого сестра его Электра приподнимает на ложе скорби. — Согласно античному мифу Орест, мстя за отца, убил свою мать, и за это богини мщения фурии (у греков эринии, или Эвмениды, то есть «Милостивые») терзают его так, что доводят до безумия.

Стр. 488. *Бриссо* Жан-Пьер (1754—1793) — видный деятель французской революции, вождь и теоретик жирондистов («бриссотинцев»), идеолог крупной буржуазии. Отвергая все требования трудящихся о борьбе со спекуляцией, провозгласил лозунг «неограниченной экономической свободы собственников»; требовал «кончить революцию», распустить Парижскую Коммуну и закрыть Якобинский клуб. После восстания народных масс 31 мая 1793 г. исключен из Конвента и 31 октября казнен по решению Революционного трибунала.

...предательство Петионое и Роланов. — Петион де Вильнев Жером (1753—1794) — политический деятель, одно время близкий к Робеспьеру. С ноября 1791 до сентября 1792 г. был мэром Парижа и приобрел на этом посту огромную популярность; избранный в Конвент, стал его первым председателем. После изгнания жирондистов и победы якобинцев бежал из Па-

рижа и принял активное участие в контрреволюционном «федералистском» мятеже жирондистов; в связи с разгромом мятежников покончил самоубийством, Ролан де ла Платьер Жан-Мари (1734—1793) — один из главарей жирондистов, враг монтаньяров и Парижской Коммуны. После падения жирондистов 31 мая — 2 июня 1793 г. бежал из Парижа и покончил жизнь самоубийством, узнав о казни своей жены Манон Ролан.

Стр. 489. *Мирабо* — см. примеч. к стр. 432. Политические интриги Мирабо были разоблачены Маратом. После смерти Мирабо его предательство было документально доказано, и прах его из Пантеона перенесен на кладбище для преступников.

Лафайет Мари-Жозеф-Поль, маркиз (1757—1834) — видный французский политический деятель, участник американской войны за независимость; в начале французской революции был начальником национальной гвардии, затем примкнул к контрреволюции, лично руководил расстрелом народной республиканской демонстрации 17 июля 1791 г. на Марсовом поле, возникшей после неудачной попытки короля бежать за границу. (Этот расстрел, произведенный по приказу Учредительного собрания, знаменовал превращение крупной буржуазии из консервативной силы в контрреволюционную.) После свержения королевской власти 10 августа 1792 г., став генералом, пытался двинуть войска на революционный Париж. Бежал из Франции и вернулся уже после победы реакции.

Стр. 490. *Дамьен* Робер-Франсуа — человек из народа, который в 1757 г. ранил перочинным ножом короля Людовика XV, желая «предупредить его, что Франция погибает».

Де Лалли Томас-Артур, граф (1702—1766) — ирландец по происхождению, губернатор французских владений в Индии. Ввиду неудачных военных действий против англичан был обвинен в предательстве интересов французского короля и обезглавлен. В 1773 г. Вольтер поднял голос в защиту памяти де Лалли и добился его реабилитации.

Стр. 491. *Австриячка* — прозвище французской королевы Марии-Антуанетты, которая была дочерью австрийского императора Франца Габсбурга,

Стр. 493. *Буше* Франсуа (1703—1770) — французский живописец и гравер, крупнейший представитель стиля рококо — порождения умиравшей дворянской культуры. Его искусство в целом носит развлекательный характер, отличается декоративностью и пристрастием к эротическим темам.

Буайи Луи-Леопольд (1761—1845) — французский художник, автор картин на бытовые темы и широко популярных в его время литографий.

Дебюкур Филибер-Луи (1755—1832) — художник и гравер, известный жанровыми картинками.

Карл Верне (1758—1835) — художник, рисовавший главным образом лошадей, поездки и прогулки; позднее обратился к политической карикатуре и военным сюжетам.

Аэростаты. — 26 июня 1794 г. французские войска под командованием генерала Журдана одержали крупную победу над превосходящими силами австрийцев в Бельгии, при селении Флерюс. В этом сражении французы впервые в истории применили наблюдение за полем боя с привязного воздушного шара. Сражение при Флерюсе дважды послужило темой для картин французских художников: Белланже (1836) и Манзюисса (1837).

Стр. 494. *Фрагонар-сын* Александр-Эварист (1780—1850) — художник и скульптор, ученик Давида; выдвинулся уже после революции, во время Наполеоновской империи и реставрации Бурбонов.

Нежон Жан (1753—1832) — художник, ученик Давида, писал на античные сюжеты.

...прослыть... сообщницей Питта. — Питт Младший Вильям (1759—1806) — английский политический деятель, главный организатор коалиций европейских держав против революционной, а затем наполеоновской Франции. В годы революции правящие круги Англии не останавливались перед выпуском во Франции фальшивых ассигнаций с целью усилить голод и дороговизну.

Стр. 495. *Фавн Боргезе* — античная скульптура, изображающая танцующего сатира; хранилась в Риме, в «Вилле Боргезе», принадлежавшей старинному богатому роду князей Боргезе, где собраны были многочисленные сокровища искусства.

Шарден Жан-Батист-Симеон (1699—1779) — выдающийся французский живописец реалистического направления, создавал жанровые картины, проникнутые любовью к миру простых людей.

Стр. 496. *Фрески Геркуланума.* — Геркуланум — древний город в Кампании (Италия), у подошвы Везувия. Погиб вместе с Помпеями и засыпан пеплом во время извержения 79 г. н. э.

С XVIII в. начались раскопки Геркуланума, при которых было извлечено большое количество памятников живописи и скульптуры.

Стр. 497. *Ариция* — персонаж трагедии французского драматурга Жана Расина «Федра» (1677), юная царевна, возлюбленная Ипполита, отвергшего преступную страсть своей мачехи Федры.

Стр. 498. *Базаны, Дидо.* — Базан Пьер-Франсуа (1723—1797) — популярный во Франции издатель эстампов. Дидо — семья знаменитых французских книгоиздателей-типографов XVIII—XIX вв.

Сен-Пьер и Флориан. — Бернарден де Сен-Пьер Жак-Анри (1737—1814) — французский писатель, естествоиспытатель, ученик Руссо (известен своим романом «Павел и Виргиния»); во время революции был далек от политики, занимал поет интенданта Ботанического сада в Париже. Флориан Жан-Пьер (1755—1794) — французский писатель, автор галантно-идиллических пастушеских романов, комедий и новелл.

Стр. 499. *Меч Гармодия.* — Гармодий и Аристогитон — легендарные древнегреческие герои-тираноборцы; убили брата тирана Гиппия во время народного празднества, куда отправились, спрятав мечи в пучках мирта.

Ватто Антуан (1684—1721) — выдающийся французский художник, автор картин, изображающих главным образом галантные или театральные сцены.

Стр. 500. *Марсий* (антич. миф.) — силен (козлоногий), который, будучи искусным флейтистом, осмелился вступить в музыкальное состязание с богом Аполлоном; за это Аполлон повесил его на сосне и содрал с него кожу.

Стр. 501. *...мудрецы, герои, Катон, Руссо, Ганнибал...* — Катон Утический, Марк Порций (95—46 гг. до н. э.) — вождь аристократической республиканской партии в древнем Риме; узнав о падения республики, покончил с собой. Руссо — см. примеч. к стр. 426. Ганнибал Барка (247—189 гг. до н. э.) — карфагенский полководец, заклятый враг римлян, боровшийся с ними всю жизнь. В шестидесятилетнем возрасте покончил с собой, чтобы избежать позорного плена.

Бартолоцци Франческо (1727—1815) — выдающийся гравер; работал в Италии, потом в Лондоне и Лиссабоне. Славился чистотой и изяществом рисунка.

Стр. 502. *Тарпейская скала* — утес с западной стороны Капитолийского холма в Риме, откуда в древние времена сбрасывали приговоренных к смерти преступников.

Стр. 503. *Неккеры, Мирабо, Лафайеты, Байи, Петионы, Манюэли...* — Неккер Жак (1732—1804) — женевский банкир, переселившийся во Францию, руководил финансовым ведомством, сыграл видную роль в созыве Генеральных штатов 1789 г.; вынужденная отставка Неккера послужила сигналом к восстанию 14 июля, но возвращенный к власти Неккер разошелся с Национальным собранием и удалился от дел. Мирабо, Лафайет — см. примеч. к стр. 489. Байи (Бальи) Жан-Сильвен (1736—1793) — деятель французской революции, идеолог крупной буржуазии; ученый-астроном. После взятия Бастилии — мэр города Парижа, один из организаторов кровавой расправы над республиканской демонстрацией на Марсовом поле 17 июля 1791 г. Петион — см. примеч. к стр. 488. Манюэль Луи-Пьер (1751—1793) — член Конвента, прокурор Парижской Коммуны до сентября 1792 г. Ушел в отставку после решения о казни короля.

Конде Луи-Жозеф, принц (1736—1818) — член династии Бурбонов, главнокомандующий войсками дворян-эмигрантов в Кобленце, сражавшихся против Французской республики.

Стр. 505. *Барбару* Шарль-Жан-Мари (1767—1794) — член Конвента, жирондист, враг якобинцев; был казнен после неудачной попытки поднять восстание против Конвента. Барбару славился своей красотой и любовными похождениями; ходили слухи о его связи с г-жой Ролан, в него была влюблена Шарлотта Корде (убийца Марата).

Стр. 516. *...все люди по самой природе своей честны.* — Одно из главных положений просветительской этики. Утверждая, что человек по природе добр, просветители требовали полного освобождения его от средневековых социальных и религиозных пут.

Стр. 518. *Заговор орлеанистов.* — Орлеанисты — сторонники герцога Орлеанского Филиппа (представителя младший ветви династии Бурбонов); демагогически заигрывали с Конвентом; сам герцог отказался от своего титула и принял имя Филиппа Эгалите (Равенство); однако к 1793 г. обнаружилась причастность орлеанистов к заговору генерала Дюмурье против Французской республики, и Филипп Эгалите был казнен но обвинению в стремлении захватить королевский престол.

«Эрот» Праксителя. — Имеется в виду скульптура древнегреческого ваятеля Праксителя (IV в. до н. э.), известная под

названием «Эрот Ченточелле»; отличается тонким изяществом.

Стр. 519. *Сивилла из Панзуста,* или Панзуйская сивилла — образ из сатирического романа великого французского гуманиста Франсуа Рабле (1494—1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Стр. 522. *Сентябрьские дни.* — 2—5 сентября 1792 г. при известии о падении Вердена, о роялистских волнениях в Вандее парижский народ стихийно начал казни заключенных в тюрьмы врагов революции (священников, аристократов, фальшивомонетчиков и т. д.), в том числе заключенных в тюрьму Шатле.

Тенирс Давид Младший (1610—1690) — крупный фламандский живописец, писал жанровые картины, изображающие народный быт («Крестьянская свадьба», «Деревенский праздник»).

Стр. 523. *Стен, Остаде.* — Стен Ян (1626—1679), Остаде Адриан (1610—1685) — видные представители реалистического направления в голландской живописи XVII в. Изображали сельские пирушки, свадьбы и другие бытовые народные сцены. В том же духе писал художник Исаак Остаде, брат Адриана.

Ван-Лоо — семья французских живописцев (нидерландцев по происхождению). Здесь, очевидно, имеется в виду Шарль-Андре Ван-Лоо (1705—1767) — директор французской Академии художеств и «первый живописец короля». Писал религиозные и мифологические композиции, портреты и «галантные сцены».

Бодуэн Пьер-Антуан (1723—1769) — французский художник, ученик Буше, писал галантно-эротические сценки.

Стр. 529. *Гельвеций* Клод-Адриан (1715—1771) — выдающийся французский философ-материалист, один из идеологов Просвещения, был близок к Вольтеру, потом к Дидро.

Гольбах Поль-Анри (1723—1789) — выдающийся французский просветитель, философ-материалист. Его салон стал центром передовой мысли предреволюционной Франции.

Кальвин Жан (1509—1569) — крупный деятель религиозной Реформации, основатель нового направления в протестантстве — кальвинизма. Жил в Женеве; считал суровую буржуазную мораль основой человеческой и религиозной нравственности; отличался исключительной нетерпимостью к инакомыслящим.

Стр. 531. *...три тисненных золотом островка...* — фамилия дез Илетт образована от франц. слова îlet — островок.

Стр. 535. *В июле 1870 года... рыла землю на Марсовом*

поле. — 14 июля 1890 г. в Париже состоялся праздник Федерации в честь годовщины взятия Бастилии; к этому массовому народному торжеству необходимо было провести огромную подготовку: насыпать вокруг Марсова поля земляной амфитеатр для зрителей, выстроить триумфальные арки и т. д.; 15 тысяч рабочих не смогли в срок выполнить эти работы, и тогда к ним присоединились в патриотическом порыве 300 тысяч добровольцев из населения города.

Стр. 536. *«Псише»* — большое зеркало, укрепленное на шарнирах, позволяющих наклонить его под нужным углом.

Стр. 537. *Друг Народа* — прозвище Марата, издававшего газету под этим названием.

Шабо Франсуа (1759—1794) — деятель французской революции, присоединившийся к монтаньярам, в прошлом монах-капуцин. Женившись на дочери австрийского банкира, был втянут в финансовые интриги барона де Батца и получил деньги, чтобы подкупить членов Конвента (в частности, Фабра д'Эглантина, Жюльена из Тулузы и Делоне) с целью фальсификации декрета о порядке ликвидации бывшей Ост-Индской компании. Казнен по обвинению в коррупции.

Лакруа, Фабр д'Эглантин. — Лакруа Жан-Франсуа (1754—1794) — друг и соратник Дантона, вместе с ним три раза побывал в Бельгии (1793) и подозревался в сношениях с предателем генералом Дюмурье. Был казнен вместе с Дантоном 5 апреля 1794 г. Фабр д'Эглантин Филипп-Франсуа-Назэр (1755—1794) — также друг и политический приверженец Дантона, казненный вместе с ним; драматург и поэт. Якобинцы подозревали его в причастности к финансовым спекуляциям.

Стр. 539. *Леклерк... Жак Ру.* — Жак Ру (1752—1794) — видный деятель французской революции, вождь группы «бешеных», отражавшей интересы плебейских масс. Требовал от якобинского Конвента установить максимум на цены и под страхом смерти запретить спекуляцию. Арестованный и присужденный к казни по ложному обвинению в присвоении общественных средств, покончил самоубийством. Леклерк Теофиль — соратник Жака Ру.

Стр. 540. *...я знаю Робеспьера-старшего; его брат часто ужинает у меня.* — Младший брат вождя революционных якобинцев Максимилиана Робеспьера (1758—1794), Огюстен Робеспьер (1763—1794), был также активным деятелем револю-

ции, ближайшим соратником своего брата и после падения якобинской диктатуры сам пожелал разделить его судьбу.

Дюма Рене-Франсуа (1757—1794). — В 1793 г. был назначен Робеспьером на пост председателя Революционного трибунала.

Фукье — Фукье-Тенвиль Антуан-Кантон (1746—1795) — с марта 1793 г. был общественным обвинителем Революционного трибунала. После победы контрреволюции был казнен.

Стр. 541. *...убили Марата.* — Марат был убит 13 июля 1793 г. связанной с жирондистами Шарлоттой Корде.

Стр. 542. *Вимпфен* Феликс (1745—1814) — французский генерал, в 1793 г. командовал армией в районе Шербура; узнав об изгнании из Конвента жирондистов, с которыми он был связан, собрал небольшую группу добровольцев, принявших название «департаментской армии», и стал грозить якобинскому правительству походом на Париж. Однако его люди разбежались при первой же стычке с посланными из Парижа войсками. Вимпфен бежал.

Бирон Арман-Луи, герцог (1747—1793) — республиканский генерал; в 1792 г. командовал французскими войсками на Рейне, а в 1793 г. начал кампанию против роялистских мятежников в Вандее. Заподозренный в связях с герцогом Орлеанским, был смещен и казнен по приговору Революционного трибунала.

Диллон Артур, граф (1750—1794) — генерал, командовавший северной армией Французской республики, служил под начальством Дюмурье (см. примеч. к стр. 482). Был приговорен к казни по обвинению в переписке с немецкими князьями.

Аргонны — холмистая возвышенность на северо-востоке Франции, покрытая лесами.

Стр. 543. *...гнусный Байи расстреливал народ у подножия алтаря отечества.* — Байи — см. примеч. к стр. 503. Алтарь отечества воздвигался посреди Марсова поля во время массовых народных празднеств.

Стр. 544. *...на языке Юлии и Сен-Прё...* — Юлия и Сен-Прё — герои романа Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1762), которые в чувствительных письмах друг к другу красноречиво описывают свою любовь.

Стр. 545. *Эрман* Арман-Марсиаль-Жозеф (1759—1795) — друг Робеспьера, в 1793 г. был председателем Революционного трибунала. Казнен после термидорианского переворота.

Эллевью, Тальма, Виже. — Эллевью Жан (1769—1842) — певец, выступавший в годы революции в парижской Опере.

Тальма Франсуа-Жозеф (1763—1826) — замечательный французский трагический актер; выступал в пьесах революционного репертуара, стремясь выразить на сцене идеи французской буржуазной революции конца XVIII в. Виже Луи-Жан-Батист (1768—1820) — второстепенный французский поэт и драматург, продолжатель галантно-аристократической салонной литературы; в годы революции писал патриотические стихи.

Стр. 546. *Франсуа* — Франсуа де Нефшато Никол*а*-Луи (1750—1828) — второстепенный французский писатель, участник революции. 1 августа 1793 г. состоялась премьера его комедии «Памела», написанной по одноименному роману английского писателя Ричардсона (1740). Одно место в этой пьесе было воспринято как критика Конвента, что привело к запрещению пьесы, аресту автора и всей труппы театра Сен-Жерменского предместья.

Ланж Анна-Франсуаза-Элизабет (1772—1825) — французская актриса, сыгравшая в 1793 г. роль Памелы в пьесе Нефшато. Это была одна из ее первых ролей; известность она приобрела позднее.

Лейа Жан-Луи (1761—1833) — французский драматург. Его пятиактная комедия в стихах «Друг законов» была поставлена в театре Нации (бывшем театре Французской Комедии) 2 января 1793 г. во время судебного процесса короля; пьеса вызвала большой шум, так как в ней содержалась сатира на Конвент и в карикатурном виде был выведен Марат. Автор находился под арестом до падения якобинцев.

Бафилл — юноша, воспетый в стихах древнегреческим поэтом Анакреонтом (VII—VI вв. до н. э.).

Стр. 547. *...заговоры Капета и оргии Антуанетты.* — Капет (от средневековой династии Капетингов) — официальное наименование короля Людовика XVI после его низложения; как и прочим дворянам, ему было предложено отбросить все титулы и называться по фамилии. Антуанетта — ненавистная народу французская королева Мария-Антуанетта, жена Людовика XVI, стоявшая с самого начала революции в центре всех контрреволюционных заговоров и интриг.

Немезида (греч. миф.) — карающая богиня мщения и восстановления справедливости.

Стр. 548. *Бридуа* — персонаж сатирического романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Стр. 549. *Дюпати* Жан-Батест Мерсье (1746—1788) — французский писатель, близкий к просветителям; был адвокатом в городе Бордо и прославился своей борьбой с феодальным беззаконием; переводил и комментировал труды Беккарии. Его высоко ценил Робеспьер.

Беккария Чезаре (1737—1794) — итальянский публицист и общественный деятель, распространявший в Италии идеи французских просветителей. Боролся против средневекового законодательства во имя гуманности. Ему принадлежит книга «О преступлениях и наказаниях».

Фукье — см. примеч. к стр. 540.

Стр. 558. *Юбер Робер* (1733—1808) — французский художник; его излюбленная тема — развалины античных архитектурных памятников, пейзажи с античными руинами.

Стр. 561. *Реньо* — см. примеч. к стр. 486.

Его восхищали колорит Корреджо, изобретательность Аннибалла Карраччи, рисунок Доменикино... — Корреджо (ок. 1489 или 1494—1534), Аннибалло Карраччи (1560—1609), Доменикино (Доменико Дзампиери, 1581—1641) — художники итальянского Возрождения.

Помпео Баттони (1708—1787) — один из наиболее видных художников итальянского классицизма XVIII в., автор композиций на исторические темы и на сюжеты из Священного писания, а также портретов, выполненных в более реалистической манере.

Менажо Франсуа-Гильом (1744—1816) — французский художник, ученик Буше; позднее перешел к академической живописи в духе классицизма. Работал в Италии.

Г-жа Лебрен — Мари-Анна-Элизабет Виже-Лебрен (1755—1842), французская художница-портретистка; писала портреты королевы Марии-Антуанетты и придворной знати; в самом начале революции уехала в Италию. Приобрела популярность портретами знатных лиц в Англии, в России и других странах Европы.

Анжелика Кауфман (1741—1807) — знаменитая в свое время художница-портретистка; была приглашена в Лондон, чтобы написать портреты королевской фамилии, много лет работала в Италии.

Лесюэр, Клод, Пуссен. — Лесюэр Эсташ (1617—1655) — французский художник, автор картин на мифологические и ре-

лигиозные темы; расписал несколько аристократических особняков. Клод — художник Клод Лоррен (см. примеч. к стр. 470); Пуссен — там же.

Эннекен, Топино-Лебрен, Жерар — см. примеч. к стр. 486.

Стр. 562. *Винкельман* Иоганн-Иоахим (1717—1768) — немецкий историк искусства, близкий к просветителям. В поисках образцов героизма и патриотизма обратился к искусству античности. Его главный труд «История искусства древности» (1764) оказал большое влияние на формирование французского классицизма XVIII в.

Стр. 563. *Каде Руссель... мадам Анго.* — Каде Руссель — персонаж французской популярной песенки, впервые вошедшей в моду среди волонтеров 1792 г. У Каде Русселя — бескорыстного воина революции — всего по три: три коня, три собаки, три глаза, три башмака и т. д., и все его состояние составляют три гроша. Мадам Анго — популярный комический персонаж французского театра времен Директории (начиная с 1795 г.).

Калло Жак (1592—1635) — французский художник и гравер, мастер своеобразного реалистического гротеска.

Дюплесси Берто-Жан (1747—1813 или 1819) — французский гравер-офортист, сторонник революции, отразивший ее события в своих произведениях; реалистически изображал сцены труда, бытовые, театральные и военные сцены. Опирался на традиции Калло.

Стр. 564. *«Визитандинки»* — двухактная комическая опера Девьена, либретто Пикара, впервые поставленная в парижском театре Фейдо 7 июля 1792 г. Сюжет оперы построен на ошибке слуги, принявшего женский монастырь за гостиницу.

«Памела» — см. примеч. к стр. 546. Франсуа.

Стр. 568. *Вертер.* — Роман Гете «Страдания юного Вертера» (1774) был уже в 1776 г. переведен на французский язык и пользовался большой популярностью в предреволюционные годы.

Стр. 569. *Гримо де ла Реньер* (1758—1838) — французский литератор, автор шуточного «Альманаха гастрономов».

Стр. 570. *Сент-Илер* — Жоффруа Сент-Илер Этьен (1772—1884), прогрессивный французский зоолог и анатом, один из предшественников Дарвина.

«Орлеанская девственница» — антицерковная сатирическая поэма Вольтера, который ниже назван «французским Ариостом»

(Лодовико Ариосто — итальянский поэт XVI в., которому принадлежит шутливая поэма «Неистовый Роланд», 1532).

Стр. 571. *Свинью... не вашу ли, святой Антоний?* — По церковному преданию, святой Антоний, удалившись в пустыню, где его искушал дьявол, в знак смирения взял с собой кабана и везде водил его за собой.

Стр. 587. *Пикпюс* — поселок близ Парижа, окружавший монастырь и кладбище.

Стр. 588. *...десятого августа, второго сентября и тридцать первого мая.* — 10 августа 1792 г. в результате народного восстания был свергнут король Людовик XVI и Франция объявлена республикой; 2 сентября 1792 г. — день массовых казней врагов революции в тюрьмах Парижа; 31 мая 1793 г. — день народного восстания, приведшего к установлению якобинской диктатуры.

Стр. 594. *...даже после Варенна...* — то есть после неудачной попытки бегства королевской семьи, задержанной на пути к границе, близ города Варенна в июне 1791 г.

Резня на Марсовом поле — см. примеч. к стр. 489. Лафайет.

Стр. 596. *Ламетри, Буланже, барон Гольбах, Лаланд, Гельвеций, Дюпюи.* — Ламетри Жюльен-Офре (1709—1751) — выдающийся французский философ-материалист, врач. Лаланд Жозеф-Жером-Франсуа (1732—1807) — французский астроном, автор пятизначных логарифмических таблиц. Буланже Никола-Антуан (1722—1759) — французский литератор, философ, близкий к просветителям, автор трудов о происхождении религий и суеверий, опубликованных уже после его смерти. Гольбах, Гельвеций — см. примеч. к стр. 529. Дюпюи Шарль-Франсуа (1742—1809) — французский философ и ученый, депутат Конвента; автор книги «Происхождение всех культов, или Универсальная религия» (1795).

Стр. 604. *...как Навуходоносора, покидает бог.* — По библейской легенде, вавилонский царь Навуходоносор был за свою гордыню наказан богом: он был отлучен от людей и, превращенный в чудовищное животное, в течение семи лет питался травой на лугах.

Аббат Фоше Клод (1744—1793) — священник, ставший депутатом Законодательного собрания 1791—1792 гг. и потребовавший свободы культов. Впоследствии присоединился к жирондистам, помог Шарлотте Корде проникнуть к Марату; был казнен вместе с жирондистами.

Аббат Грегуар Анри (1750—1831) — священник, примкнувший к революции, член Конвента. По предложению Грегуара Конвент 21 сентября 1792 г. провозгласил Францию республикой.

Стр. 605. *Цельсий* Андрес (1701 — 1744) — шведский астроном и физик.

Бейль Пьер (1647—1706) — французский писатель и философ, предшественник просветителей, сыграл видную роль в борьбе против религиозного догматизма. Главный труд «Исторический и критический словарь».

Стр. 613. *Журдан* Жан-Батист (1762—1833) — видный французский полководец, одержал ряд побед, командуя одной из революционных армий (в том числе в сражении при Флерюсе). Впоследствии был маршалом наполеоновской армии.

Евдамид. — Здесь имеется в виду один эпизод из «Диалога о дружбе» греческого писателя Лукиана Самосатского (II в.): неимущий житель Коринфа Евдамид перед смертью завещал своему другу Арете свою старуху мать, чтобы тот ее кормил, а другому другу, Хариксену, — свою дочь, чтобы тот выдал ее замуж. Этот сюжет стал популярен во Франции благодаря картине Никол*а* Пуссена «Смерть Евдамида».

Стр. 615. *Процесс «Двадцати одного».* — После изгнания жирондистов из Конвента в результате восстания 31 мая — 2 июня 1793 г. народ стал требовать суда над ними. Но якобинское правительство откладывало процесс, который состоялся 24—31 октября 1793 г. Все 21 обвиняемый — вожди жирондистов — были приговорены к смерти за измену революции.

Стр. 617. *...пользовался новым календарем.* — Декретом Конвента от 5 декабря 1793 г. был узаконен новый календарь: следующий день после свержения короля и провозглашения республики (22 сентября 1792 г.) объявлялся первым днем Первого года Свободы, вводились новые названия дней недели и месяцев. Фрюктидор (месяц плодов) и вандемьер (месяц сбора винограда) — названия двух осенних месяцев по республиканскому календарю. (Отменен с 1 января 1806 г., при Наполеоне.)

Стр. 620. *Гражданка Ролан* — см. примеч. к стр. 488.

Стр. 631. *...проголодавшаяся Церера.* — По римскому мифу, богиня плодородия Церера, бродя по земле в поисках своей дочери Прозерпины, зашла в хижину старухи Баубо, которая ласково приняла и накормила ее.

Стр. 643. *...отличить варнавита от францисканца...* — Францисканец здесь то же, что капуцин. Капуцинами стала называться одна ветвь францисканского ордена после его реформы в 1530 г.; название — от остроконечного капюшона, пришитого к их бурой власянице.

Стр. 645. *...из «крайних» и «бешеных».* — «Крайние» — левые якобинцы, пестрая по политическому составу группировка в Конвенте в 1793—1794 гг., включавшая ряд лиц (типа Фуше), прятавших свое контрреволюционное лицо за демагогическими фразами и действиями. «Бешеные» — см. примеч. к стр. 539. Жак Ру.

Стр. 648. *...Друг Народа, уснувший навеки в саду Кордельеров.* — В старом монастыре нищенствующего монашеского ордена кордельеров помещался «Клуб кордельеров» — один из самых массовых демократических клубов французской революции конца XVIII в., связанный с народными низами; здесь же был центр одной из административных единиц города Парижа — секции Кордельеров (позднее — секция Французского театра). В помещении бывшей подземной церкви монахов-кордельеров была расположена типография Марата, в которой печаталась его газета «Друг Народа». По требованию секции, Марат был похоронен в саду монастыря, а его сердце торжественно перенесли в зал заседаний секции. Позднее прах Марата был водворен в Пантеон.

Неподкупный — прозвище Робеспьера.

Стр. 649. *Камиль Демулен* (1760—1794) — видный деятель первого этапа революции, талантливый публицист, по профессии адвокат; прославился памфлетом «О фонаре». Издавал газету «Старый кордельер». Позднее примкнул к дантонистам и вместе с ними скатился к контрреволюции. Демулен от природы слегка заикался.

Филиппо Пьер (1754—1794) — политический деятель, дантонист; летом 1793 г. в качестве комиссара Конвента был послан в мятежную Вандею для борьбы против монархистов.

Эро де Сешель Мари-Жан (1760—1794) — друг Дантона; арестованный за укрывательство эмигранта-аристократа, был вовлечен в тюремный заговор дантонистов и казнен вместе с ними.

Лакруа Жан-Франсуа (1754—1794) — член Конвента, дантонист; вместе с Дантоном выполнял поручения Конвента в

Бельгии и был обвинен в использовании своего положения для личного обогащения.

Отец Дюшен. — Под этим псевдонимом писал Жак-Рене Эбер (1757—1794), один из вождей левой политической группировки — эбертистов, который с 1791 г. издавал газету «Отец Дюшен», пользовавшуюся огромным влиянием в массах. В марте 1794 г. Эбер возглавил неудавшееся восстание против робеспьеристского Конвента, после чего вместе с группой своих сторонников (эбертистов) был казнен.

Шометт Пьер-Гаспар (1763—1794) — активный революционер, один из вождей эбертистов, прокурор Парижской Коммуны; был страстным противником католической религии и одним из основателей атеистического культа Разума; распорядился закрыть в Париже все церкви. В вопросе о религии столкнулся с Робеспьером; был казнен по приговору якобинского Революционного трибунала.

Анахарсис Клоотс (1755—1794) — деятель революции, философ и публицист, автор утопического проекта «Всемирного братства» — всемирной атеистической республики. Отец Клоотса был прусский барон из голландского рода.

Стр. 650. *Гора* — название якобинской группы депутатов Конвента; в зале дворца Тюильри, где происходили заседания, они занимали самые верхние скамьи; поэтому якобинцев называли также монтаньярами («горцами»).

Синай — гора в Аравии; по библейской легенде, пророк Моисей получил здесь от бога скрижали закона.

Монк Джордж (1608—1669) — английский генерал; командовал войсками Кромвеля и по его приказу отправился на усмирение восстания в Шотландии. В начале 1660 г. повел свою армию на Лондон будто бы для восстановления древних народных вольностей, без боя занял столицу и способствовал восстановлению на английском престоле династии Стюартов, свергнутой во время буржуазной революции 1648 г.

Стр. 652. *Анрио* Франсуа (1761—1794) — деятель революции, якобинец, близкий к Марату; в 1793 г. Парижская Коммуна назначила его главнокомандующим национальной гвардии. В день контрреволюционного переворота 9 термидора Анрио не смог сопротивляться наступающим на парижскую ратушу войскам Конвента, был арестован и гильотинирован вместе с Робеспьером.

Стр. 655. *...бога Жан-Жака.* — Робеспьер в вопросах религии был последователем «Общественного договора» Жан-Жака Руссо. Он отвергал атеизм и считал, что «гражданская религия» нужна государству из политических соображений, ибо она заставляет граждан любить свой долг и уважать законы.

Прериальскии закон. — По декрету Конвента от 22 прериаля (10 июня 1794 г.) упрощалось судопроизводство в Революционном трибунале: предварительный допрос обвиняемых, институт защитников отменялись, присяжным достаточно было «моральных доводов» (внутреннего убеждения в виновности обвиняемого) для вынесения приговора; для всех дел, подлежащих рассмотрению в Трибунале, предусматривалась лишь одна мера наказания — смертная казнь. Кроме того, было расширено понятие «подозрительный».

Стр. 657. *...вдову Камиля, очаровательную Люсиль...* — Вдова казненного вместе с Дантоном Камиля Демулена (см. примеч. к стр. 649) Люсиль Демулен (1771—1794) была казнена как участница заговора генерала Диллона, ставившего целью освободить из тюрем заключенных противников якобинской диктатуры.

Моморо Антуан-Франсуа (1756—1794) — деятель революции, эбертист, придерживался левых взглядов, приближавшихся к социалистическим; был атеистом, организатором антирелигиозных празднеств Разума, в которых участвовала его жена, изображавшая аллегорическую фигуру богини Разума и Свободы.

Стр. 669. *Лавуазье, Руше, Андре Шенье.* — Ученый химик Антуан-Лоран Лавуазье (1743—1794) с 1779 г. был генеральным откупщиком, поэтому Гамлен называет его финансистом; в мае 1794 г. был арестован и казнен по указу Конвента о смертной казни всем откупщикам. Руше Жан-Антуан (1745—1794) — второстепенный поэт, автор дидактической поэмы «Месяцы года». С начала революции защищал конституционную монархию; был арестован и казнен как «подозрительный». Андре Шенье (1762—1794) — талантливый поэт, поклонник классической древности. Противоречивое отношение к революции, которое привело к его аресту и казни, объясняет тот факт, что в последующие годы в Шенье видели то жертву революции, то певца свободы (Пушкин, «Андрей Шенье»).

Фуше, Тальен, Ровер, Каррье, Бурдон. — Фуше Жозеф — буржуазный политический деятель; в молодости был священником, примкнул к революции, выдавал себя за левого яко-

бинца; будучи комиссаром Конвента в одном из районов Франции, действовал с крайней жестокостью и был отозван Робеспьером. Затем стал одним из организаторов контрреволюционного переворота 9 термидора. Беспринципный карьерист и стяжатель, Фуше и впоследствии предавал все правительства, которым служил. Тальен Жан-Ламбер (1767—1820) — участник революции, примыкал к якобинцам. Осенью 1793 — весной 1794 г. был комиссаром Конвента в Бордо и использовал власть для личного обогащения. Один из организаторов и руководителей контрреволюционного переворота 9 термидора. Ровер Станислав-Робер-Франсуа (1748—1798) — сын богатого буржуа, выдававший себя за потомка угасшего аристократического рода; пытался сделать карьеру на революции, был послан в качестве комиссара на юг Франции, но вскоре был отозван, так как компрометировал Конвент жестокостями. Вместе с Баррасом командовал вооруженными силами, направленными против робеспьеристов 9 термидора; впоследствии проявил себя как ярый реакционер. Вошел в историю как интриган, презираемый всеми партиями. Каррье Жан-Батист (1756—1794) — в 1793—1794 гг. комиссар Конвента в городе Нанте, был отозван в связи со злоупотреблением властью и ненужными жестокостями; примыкал к эбертистам, после их разгрома стал одним из организаторов переворота 9 термидора, накануне которого Робеспьер пытался привлечь его к суду; был казнен уже после победы контрреволюции. Бурдон Леонар (1758—1815) — сперва монтаньяр, потом (зимой 1793/1794 г.) ярый эбертист, враждебный Робеспьеру; один из организаторов переворота 9 термидора, принимал личное участие в аресте вождей якобинцев.

Кутон Жорж-Огюст (1755—1794) — один из наиболее близких к Робеспьеру вождей якобинцев. Несмотря на то, что у него были парализованы ноги, развивал энергичную деятельность, неоднократно посылался комиссаром в провинции. Казнен 10 термидора.

Сен-Жюст Луи-Антуан (1767—1794) — выдающийся деятель революции, ближайший соратник Робеспьера, как и Кутон; вел большую работу в армии. Талантливый теоретик и оратор. Был вместе с Робеспьером казнен без суда на следующий день после термидорианского переворота.

Стр. 674. *Катерина Тео* — полусумасшедшая старуха, которая в 1794 г. проповедовала в Париже пришествие нового мессии. Враги Робеспьера в Конвенте, пытаясь скомпрометировать

его в глазах парода, распустили слухи, что это делалось с целью прославления Робеспьера и с его ведома и являлось частью заговора против республики. Робеспьеру удалось добиться отсрочки процесса Катерины Тео; это была его последняя победа.

Тарпейская скала недалеко от Капитолия. — поговорка, означающая: «От славы недалеко до падения». Капитолий — храм Юпитера в древнем Риме, расположенный на вершине Капитолийского или Тарпейского холма, — центр политической жизни Рима; там, в частности, венчали лаврами триумфаторов. Тарпейская скала — см. примеч. к стр. 502.

Солнце тридцать первого мая... — то есть дня восстания, приведшего к падению Жиронды и установлению революционно-демократической якобинской диктатуры.

Стр. 675. *...сном учеников Христовых в Гефсиманском саду.* — По евангельской легенде, после Тайной вечери Христос всю ночь до кровавого пота молился на Масличной горе в Гефсиманском саду, а ученики его заснули, хотя на заре их учителю суждено было принять мученическую кончину.

Стр. 680. *...падает с раздробленной челюстью Робеспьер.* — При захвате войсками термидорианского Конвента ратуши, где помещалась Парижская Коммуна — оплот якобинцев, Робеспьер, видя, что погиб, пытался застрелиться, но лишь раздробил себе челюсть (по другой версии его ранил молодой жирондист Мерд*а* из отряда Бурдона). Наутро раненый Робеспьер был отправлен на эшафот вместе с 21 ближайшими соратниками; на третий день было казнено еще 28 человек, то есть уничтожен почти весь состав Совета Коммуны.

Стр. 681. *Триумвиры* — в древнем Риме, в период гражданских войн, союз из трех лиц для захвата политической власти; здесь — вожди якобинцев: Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон.

Стр. 686. *...в Севр или в Медон...* — Севр и Медон — в XVIII в. селения в 9—10 км. от Парижа, красиво расположенные на берегу Сены.

Стр. 687. *Фингалов грот.* — В конце XVIII в. во многих европейских странах распространилась мода на «английские парки» (запущенные парки с искусственными руинами, урнами и гротами), так же как мода на готику в архитектуре; в этом проявилась эстетика сентиментализма. Фингал — герой ранне-средневекового кельтского эпоса, стал широко известен благодаря нашумевшей книге шотландского поэта Макферсона «Песни

Оссиана» (1760), которую автор выдал за публикацию на английском языке подлинных песен древнего кельтского барда.

Кенотафия («Пустая могила») — в древней Греции и Риме памятник усопшему, воздвигнутый не на месте его погребения.

Стр. 688. *«Федра»* — трагедия французского драматурга Расина.

«Собака на сене» — комедия испанского драматурга Лопе де Вега.

Лаис Франсуа (1758—1831) — знаменитый в свое время французский певец-тенор, участник революции; с 1792 г. в начале каждого театрального представления в Опере пел «Марсельезу», вдохновляя зрителей на патриотические подвиги; после термидора пел в парижских театрах гимн реакции «Пробуждение народа».

С. Брахман

СОДЕРЖАНИЕ

Книга третья

Средние века и Возрождение

Книга четвертая

Новое время

Тринко

Книга пятая

Новое время

Шатийон

Книга шестая

Новое время

Дело о восьмидесяти тысячах копен сена

Книга седьмая

Новейшее время

Госпожа Серес

Книга восьмая

Будущее время

РАССКАЗЫ ЖАКА ТУРНЕБРОША

СЕМЬ ЖЕН СИНЕЙ БОРОДЫ
и другие чудесные рассказы

АНАТОЛЬ ФРАНС
Собрание сочинений, т. 6

Редактор *Н. Хуцишвили*
Оформление художника *Л. Зусмана*
Худож. редактор *Л. Калитовская*
Технич. редактор *Ф. Артемьева*
Корректор *В. Брагина*
*

Сдано в набор 12/I 1959 г.
Подписано к печати 31/III 1959 г.
Бумага 84 X 108 $^{1}/_{32}$ = 24 печ. л.
39,36 усл. печ. л. 37,37 уч.-изд. л. +
+ 1 вкл. = 37,42 л. Тираж 240 000.
Заказ № 677. Цена 13 р. 50 к.

Гослитиздат, Москва, Б-66,
Ново-Басманная, 19.

Ленинградский Совет народного хозяйства.
Управление полиграфической промышленности.
Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.